

ИВАН  
ФРАНКО



1856-1956



# ІВАН ФРАНКО

*Твори*  
В ДЕСЯТИ ТОМАХ



*Том перший*  
**ОПОВІДАННЯ**

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО  
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
Москва 1956



# ИВАН ФРАНКО

Сочинения  
В ДЕСЯТИ ТОМАХ



*Том первый*

**РАССКАЗЫ**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

*Издание осуществляется под общим наблюдением  
А. И. Белецкого, М. Ф. Рыльского, Б. А. Турганова*

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Редактор тома  
Б. А. Турганов



ИВАН ФРАНКО  
1856—1916



## О Т Р Е Д А К Ц И И

Сочинения Ивана Франка, великого революционно-демократического писателя, классика украинской литературы, издаются в русском переводе в ознаменование столетия со дня его рождения.

Сочинения издаются в десяти томах. По томам материал располагается следующим образом:

Том 1 — Проза. (Рассказы.)

Том 2 — Проза. (Бориславские рассказы. Повести: «Воа-  
constrictor», «Борислав смеется».)

Том 3 — Проза. (Рассказы. Сатиры и сказки.)

Том 4 — Проза. (Повести: «Захар Беркут», «Лель и По-  
лель», «Столпы общества».)

Том 5 — Проза. (Повести: «Раздорожье», «Великий шум».)

Том 6 — Драматические произведения.

Том 7 — Стихотворения и поэмы.

Том 8 — Стихотворения и поэмы.

Том 9 — Статьи о литературе.

Том 10 — Публицистика. Избранные письма.

Подготавливая настоящее издание, редакторы руководствовались текстами украинского 20-томного собрания сочинений И. Франка, осуществленного Институтом Литературы им. Т. Г. Шевченка Академии Наук УССР (Иван Франко, Твори в двадцяти томах. Редакційна колегія: Корнійчук О. Є., Білецький О. І., Козланюк П. С., Копиця Д. Д., Омеляновський М. Г. Державне видавництво художньої літератури, Київ, 1950—1956). За основу работы над переводами принято пятитомное русское

издание сочинений писателя (И в а н Ф р а н к о, Избранные сочинения. Перевод с украинского под редакцией М. Ф. Рыльского и Б. А. Турганова. Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1948—1951). Тексты переводов заново сверены с подлинником и в ряде случаев уточнены. Некоторые переводы заменены новыми. Значительная часть произведений переведена впервые, специально для данного издания.

Внутри томов материал расположен в хронологическом порядке либо в порядке установленном прижизненными изданиями автора. Произведения датируются по украинскому 20-томнику. При отсутствии даты написания отдельных произведений дается — в квадратных скобках — дата первой печатной публикации. Предполагаемые даты написания произведений, не опубликованных при жизни автора, даются в ломаных скобках.

Сокращения текста (в цитатах и т. п.) каждый раз отмечаются знаком [...]. Редакционные пояснения внутри текста также заключены в квадратные скобки.

Украинские тексты печатаются по современному правописанию. В отношении украинских имен и фамилий, оканчивающихся на «о», сохранен принцип издания 1948—1951 гг.: эти имена и фамилии склоняются во всех падежах, как это было принято в русской революционно-демократической литературе XIX века.

Издание открывается очерком жизни и творчества И. Франка. Кроме того, отдельным разделам его творчества (проза, поэзия, драматургия, критика) будут посвящены литературно-критические статьи в соответствующих томах.

Примечания автора и перевод иноязычных слов и выражений печатаются под текстом, в сносках. Примечания редакции содержащие историко-литературный комментарий и пояснения к тексту, отнесены в конец каждого тома. Там же помещен краткий словарь географических наименований и наиболее трудных для понимания слов.

## И В А Н Ф Р А Н К О

### 1

С появлением в 1840 году «Кобзаря» Шевченка украинская литература вполне закономерно привлекает все большее и большее внимание русских читателей и передовой русской критики. Русские революционные демократы считали Тараса Шевченка своим другом и соратником. На всю Россию прозвучали знаменитые слова о нем Добролюбова: «Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем назвать у себя». Трагическая судьба великого украинского поэта-революционера вызвала в свое время деятельное сочувствие всей передовой, мыслящей России.

Иначе складывались отношения другого выдающегося представителя украинской литературы — Ивана Франка — с современным ему русским читателем. Иван Франко вступил на литературное поприще в 1874 году, однако и через двадцать пять лет русский читатель имел о нем представление крайне смутное: за исключением двух-трех стихотворений и рассказов из обширнейшего творчества Франка почти ничего не было переведено на русский язык. Только к началу XX столетия популярность Франка в России несколько возросла, особенно благодаря усилиям Горького.

Но значительную часть произведений Ивана Франка не знал и украинский читатель. Франко жил и писал в Галиции, находившейся в то время на положении европейской колонии Австро-венгерской монархии, которую Герцен справедливо

называл «Бастилией народов». Политический кордон между двумя соседними империями — Российской и Австрийской — зорко охранялся с обеих сторон. Австрийские власти считали Ивана Франка опасным революционером. Того же мнения о нем была и царская полиция в России. Многие произведения Франка не увидели света в «конституционной» Австрии. Не менее свирепо преследовала их и царская цензура. Более того: нередко литераторы, общественные деятели, побывавшие проездом во Львове и посетившие Ивана Франка, за одно это по просьбе царского правительства арестовывались и высылались обратно в Россию, на суд и расправу!

Вследствие этого связь Франка с «зарубежными» русскими читателями была сильно затруднена. Ничтожные тиражи произведений писателя, печатавшихся преимущественно во Львове и с большим трудом проникавших через границу даже к украинскому читателю в России, враждебность к самому имени Франка со стороны царских властей, а одновременно и украинской буржуазно-националистической реакции, — все это сказалось на отношении к нему и украинской критики. Только в 1908 году в реферате Михаила Коцюбинского, прочитанном в Чернигове, наконец прозвучала объективная оценка его деятельности. А на странице печати этот реферат смог попасть лишь после 1917 года.

Под влиянием всех этих обстоятельств, а также и по крайней скромности своей, Франко и сам склонен был умалять значение созданного им, свою роль и заслуги в духовной жизни украинского народа. В 1897 году, за несколько месяцев до своего 25-летнего юбилея, он делил писателей (в предисловии к одной из своих книг) на две категории. К первой отнес он немногих «гениев, избранников судьбы.[...] корифеев литературы, творцов новых направлений»; ко второй — «многочисленную толпу писателей-тружеников и ремесленников, менее или более талантливых, менее или более трудолюбивых, влиятельных, читаемых и заслуженных, которые, однако, не достигают до уровня тех [великих — М. П.] мастеров». Себя самого причислял Франко к этой второй категории.

Только Великая Октябрьская революция сделала произведения Ивана Франка всенародным достоянием, по-настоящему открыла их украинскому и всем другим народам Советского Союза. Советские издательства выпускают в свет произведения писателя на его родном языке и в переводах неслыханными для

его времени тиражами. К концу 1955 года общий тираж изданий сочинений Ивана Франка в Советском Союзе достиг восьми миллионов экземпляров. Советский народ по праву оценил литературное наследие Ивана Франка, его роль в развитии украинской культуры и литературы, его общественную деятельность и революционную борьбу, все содержание его многотрудной жизни.

Велики заслуги Ивана Франка перед украинским народом! Его имя по праву стоит теперь рядом с именем Тараса Шевченка. Как уже отмечалось в советской критике, Франко мог бы повторить слова своего великого предшественника и учителя: «История моей жизни составляет часть истории моей родины».

Талант Ивана Франка был поистине универсален. Самый выдающийся после Тараса Шевченка украинский поэт, он выступает одновременно как прозаик и драматург, пламенный публицист, неутомимый переводчик, редактор и издатель, критик и историк литературы, фольклорист и искусствовед, историк театра и театральный критик. В общей сложности перу Франка принадлежит более пяти тысяч произведений; многие из них входят в золотой фонд украинской классической литературы и науки. Многосторонность литературной и общественной деятельности Ивана Франка была не только следствием универсальности его таланта — она была ответом на требования самой жизни, она была продиктована состоянием современной ему украинской культуры, характером духовных потребностей украинского народа, а вместе с тем неутомимой, кипучей натурой самого писателя, его жадным стремлением объять своей большой душой все человеческое.

Франко однажды сам объяснил это так: «И сам я во всей своей деятельности желал быть не поэтом, не ученым, не публицистом, а прежде всего *человеком*. Меня упрекали в том, что я распыляю свою деятельность, перебрасываюсь от одного занятия к другому. Это было именно следствием моего желания — быть человеком, образованным человеком, не остаться чуждым ничему тому, из чего состоит человеческая жизнь. А познав что-нибудь, я желал и прилагал все силы к тому, чтобы и другие заинтересовались этим, поняли это. Кое-кто обвинял меня в том, что тяжелые жизненные условия, необходимость заработка толкали меня с одного поприща на другое. Но мне кажется, что тут большую роль сыграла моя натура, горячее желание — объять весь круг человеческих интересов. Может быть, этот

недостаток сосредоточенности повредил мне как писателю, но у нас долго еще будут нужны такие, как я, чтобы будить интерес к духовной жизни и собирать материал, хотя бы и грубо отесанный. Фундаменты всегда так строятся; и только на таких фундаментах, на таких стенах может со временем воздвигнуться прекрасное, величественное здание» \*.

Франко выступил вначале как поэт и прозаик. Но в украинской литературе недоставало к тому времени талантливого критика, защитника принципов реализма, и Франко стал критиком. Украинский народ нуждался в пламенном публицисте, который выполнил бы страстный завет Тараса Шевченка: «подать голос», вступить «за этого поруганного бессловесного смерда», — и Франко взялся за перо публициста. Западно-украинский театр нуждался для того, чтобы стать подлинно народным, в соответствующем репертуаре, и Франко принялся за пьесы. Узок, беден был круг чтения украинского народа, и Франко принялся переводить чуть ли не с десяти языков, чтобы пополнить библиотеку украинского читателя. Кажется, нет ни одной области общественной жизни, науки, литературы и искусства, которой не коснулся бы его животворный гений. А самое достопримечательное, пожалуй, то, что во всех областях работа писателя приносила поистине великие плоды: во всех областях духовной культуры украинского народа на многие времена неизгладимо запечатлен труд Ивана Франка, безмерно обогативший родную культуру, двинувший далеко вперед ее развитие.

Вся многогранная деятельность Ивана Франка — писателя и гражданина — выдающийся подвиг патриотического служения украинскому народу. В 1898 году на вечере, посвященном двадцатипятилетию его литературной деятельности, писатель сказал о себе: «Как сын селянина, вскормленный черствым мужицким хлебом, я считал своим долгом отдать труд своей жизни простому народу».

Все области многосторонней, поистине титанической работы Ивана Франка теснейшим образом связаны между собой, дополняют одна другую и в своей совокупности представляют известное единство. Душой этого единства была революционная деятельность писателя. Он был революционером не только на

---

\* Иван Франко, Твори в двадцяти томах. Держлітвидав, Київ, 1955, т. I, стр. 31.

поприще общественной жизни. Революционный характер носило его новаторство во всех областях культуры, которых он касался.

Кривая связь с народом определила идейную направленность творчества Франка. В своих произведениях он показал не только тяжелую долю трудящихся украинцев, но и нараставший протест народа, пробуждение его к борьбе против угнетателей. Еще М. Коцюбинский отметил, что центральной темой творчества Франка была «борьба труда с капиталом», что в его произведениях «люди делятся на два лагеря — на угнетателей, против которых он острит, как меч, свое слово, и угнетенных, которым он отдает свое сердце». Своими произведениями Франко звал к борьбе: он утверждал, что «лишь бороться — значит жить». Его творчество способствовало росту революционного сознания трудящихся.

Идеи безграничной преданности народу, самоотверженного служения ему вдохновляли Ивана Франка во всей его деятельности. «Я всегда, — говорил он, — держался той мысли: пусть исчезнет мое имя, но пусть растет и развивается украинский народ!»

## 2

Иван Яковлевич Франко родился 15 августа 1856 года в семье сельского кузнеца в Галиции (Западная Украина). «На дне моих воспоминаний, — писал он, — где-то там, в самой глубине, горит огонь [...]. Это огонь в кузнице моего отца. И мне кажется, что запас его я ребенком принял в свою душу на долгий жизненный путь и что он не погас и до сих пор» \*.

У этого огня Иван Франко с детства начал трудную школу жизни, здесь он еще детским сердцем впервые почувствовал горе и гнев, услышал стоны обездоленного и угнетенного трудового народа Западной Украины. Через село Нагуевичи, где родился Франко, мимо отцовской кузницы пролегалла дорога, по которой толпы обнищавшего крестьянства шли на заработки в Дрогобыч — центр нефтяной промышленности. Огонь кузнечного горна сулил путникам тепло; доброе, разумное слово кузнеца — человека умного и веселого, гостеприимного и сердечного, как характеризует его в воспоминаниях сам Франко, — заставляло

---

\* Рассказ И. Франка «В кузнице». Перевод А. Островского.

открывать душу. Многое узнал или, скорее, почувствовал будущий писатель из этих рассказов.

В школу он поступил шести лет от роду. Два года спустя переехал в Дрогобыч, где посещал училище при монастыре. К этому времени умер отец, мать вторично вышла замуж. Но и отчим хорошо относился к мальчику, отдал его в дрогобычскую гимназию и делал все от него зависящее, чтобы Франко — мужицкий сын — получил образование.

Еще на гимназической скамье Франко начал писать стихи и прозу, но особенно увлекался тогда драматургией. В 1874 году он написал драму «Три князя на один престол», так же как и другие его юношеские опыты не увидевшую света в печати, но в отличие от них показанную на сцене (любительским студенческим кружком во Львове). В этой драме Франко впервые обратился к истории славян. Здесь, как и в следующей драме «Славой и Хрудош», сказалось (особенно в выборе тематики и в пафосе единства славянских земель) влияние «Слова о полку Игореве», которое Франко перевел на украинский язык в 1873 году.

В те же годы в круг чтения юноши вошли, кроме античных писателей, Шекспир, Шиллер, Гете и многие другие западноевропейские писатели, многие украинские, а затем и русские поэты и прозаики. Из украинских писателей наиболее сильное впечатление произвели на него Марко Вовчок и Тарас Шевченко. «Кобзарь» он скоро (благодаря почти феноменальной памяти) знал весь наизусть. Особенно много переводил юноша Франко с польского, чешского, немецкого, латинского и греческого языков, как бы упражняя и проверяя свои собственные литературные способности. Среди этих переводов — «Уриэль Акоста» Карла Гуцкова, отрывки из «Песни о Нибелунгах», «Краледворская рукопись», две песни «Одиссеи» и другие произведения.

Печататься Франко начал в 1874 году: на страницах львовского студенческого журнала «Друг» появились его стихи. Со следующего года он становится постоянным сотрудником этого журнала, а в 1876 году издает отдельной книгой первый сборник своих стихотворений.

В 1875 году Франко поступил во Львовский университет на философский факультет\*.

---

\* Теперь этот университет носит его имя.

Три фактора определили характер последующего развития Ивана Франка — гражданина и писателя: университет, художественная литература вместе с литературной критикой (в первую очередь передовая русская литература) и общественная мысль в тех ее проявлениях, какими она была связана с революционным движением того времени. Самым слабым из трех было влияние университета. Лекции университетских профессоров вскоре разочаровали Франка. В автобиографии он вспоминал об этом. «Лекции в университете совсем не заинтересовали меня и не дали мне ничего — ни метода, ни знаний. Я слушал классическую филологию у пок[ойного] Венцлевского и зевал, слушал украинскую грамматику и литературу у д-ра Огоновского» \*. Впоследствии упомянутый Огоновский в своей истории украинской литературы засвидетельствовал с некоторой обидой, что Франка на студенческой скамье интересовали прежде всего «вопросы социологии», то есть общественно-политические проблемы. Университетская наука не могла удовлетворить эти запросы рвавшегося в самую гущу жизни молодого писателя и начинающего общественного деятеля. «Я разочаровался, — вспоминает Франко, — почувствовал отвращение и начал искать знаний вне университета» \*\*. И все же он старательно выполнял студенческие обязанности, даже у Огоновского получал на экзаменах отличные оценки.

На третьем году обучения в университете, 12 июня 1877 года, Франко был арестован по обвинению в принадлежности к тайному социалистическому обществу, пробыл в следственной тюрьме до 21 января 1878 года, был осужден еще на шесть недель тюремного заключения и вышел на волю только 15 марта 1878 года. При аресте у него были отобраны «Капитал» К. Маркса, «Что делать?» Чернышевского, «Былое и думы» Герцена и еще более ста восьмидесяти запрещенных или «подозрительных» изданий.

Свыше девяти месяцев пробыл Франко в тюрьме. Тяжелые условия заключения не сломили дух молодого революционера. Наоборот, тюрьма закалила его, способствовала быстрейшему формированию его мировоззрения. И в тюрьме, и сразу после освобождения Франко создает ряд мужественных революционных стихотворений, в которых выражает веру в победу революции и клянется до самой смерти служить ее делу. По выходе

---

\* Иван Франко, Твори в двадцяти томах, т. I, стр. 15.

\*\* Там же, стр. 416.

из тюрьмы Франко возобновил занятия в университете, но все помыслы его были отданы общественной деятельности. Художественными произведениями, особенно стихами, публицистическими статьями, трудами по вопросам политической экономии, переводами книг и статей о социализме — всем этим Франко стремился разбудить дух революционного протеста у рабочих и крестьян Западной Украины, заронить мысль о необходимости организации всех революционных сил,

В 1878 году он начал издавать журнал «Громадський друг» [«Друг общества»]. Этот журнал, дважды менявший под давлением цензуры свое название (потом он назывался «Дзвін» [«Колокол»], и «Молот»), был в руках Франка и его соратников органом революционной пропаганды. С первой же страницы нового журнала зазвучала смелая, призывная речь поэта:

К битвам новым лежит нам дорога... \*

С этих пор началась неустанная журналистская деятельность Ивана Франка. В дальнейшем он был издателем, или редактором, или, наконец, активным сотрудником журналов «Світ» (1881—1882), «Народ» (1890—1894), «Життя і слово» (1894—1897), «Літературно-науковий вісник» (1898—1906) и многих других западноукраинских периодических изданий.

В 1880 году Франка арестовывают во второй, а в 1889 году — в третий раз. Но и это не устрасило его. Неумоимо и отважно продолжал он общественную деятельность, социалистическую пропаганду, переводил на украинский язык произведения Маркса, Энгельса, Чернышевского.

Вскоре, однако, Франко, как и другие социалисты, должен был увидеть, что в среде «галицко-украинской общественности царит страх, что нас, как зачумленных, избегают наши недавние знакомые, а те, кто хочет иметь какое-либо дело с нами, назначают нам рандеву где-нибудь в углу, чтобы никто не видел». Денег на жизнь не хватало, даже угол снять было не на что, Франко жил у товарищей, таких же, как и он, «скомпрометированных» в социалистических процессах, и жестоко голодал вместе с ними. И все же после арестов Франко снова и снова возвращается в университет. Однако окончить Львовский университет писателю так и не удалось, вернее сказать, — ему не

---

\* Стихотворение И. Франка «Товарищам из тюрьмы», Перевод С. Городецкого.

дали его окончить нужда, австрийская полиция и реакционное университетское начальство. Позднее, в 1890 году, уже будучи известным признанным писателем, автором ряда выдающихся научных трудов, Франко подал просьбу допустить его к сдаче экзаменов за последний семестр и к защите докторской диссертации. Но сенат университета решительно отказал ему в этой просьбе. Экзамены пришлось сдать в Черновицком университете, а докторскую диссертацию защищать в Вене.

В 1893 году Франко выехал в Вену, где, работая под руководством известного ученого, слависта Ватрослава Ягича, защитил докторскую диссертацию на тему «Варлаам и Иоасаф, старохристианский духовный роман и его литературная история». Но и здесь полиция не оставляла Франка в покое. В секретной переписке, относящейся к этому периоду и только недавно обнаруженной в бумагах львовского областного архива, львовские жандармы предупреждали своих венских коллег о том, что Франко — опасный революционер и опытный конспиратор, что у него есть помощники, через которых он ведет революционную пропаганду в массах.

Полиция и в дальнейшем не переставала пристально следить за писателем, попрежнему считая всю его деятельность направленной против австрийского «конституционно-монархического» строя. А царская охранка предлагала даже русскому консулу во Львове договориться с австрийскими властями об аресте «известного галицийского социалиста». «Принимая во внимание, — писал директор департамента царской полиции, — что личность галицийского революционера Ивана Франка хорошо известна австро-венгерскому правительству и что революционная деятельность жены его [...] направляется несомненно во вред обоих государств, я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство довести до сведения надлежащих властей и переговорить о возможности принятия соответствующих против супругов Франко мер и привлечения их к ответственности».

Польские и украинские буржуазно-националистические круги с помощью полиции трижды не допустили избрания Франка депутатом в австрийский парламент (в 1895, 1897, 1898 годах). Точно так же не допустили они его, уже известного ученого, к преподаванию во Львовском университете (в 1895 году)

Жизнь писателя в этих условиях была нестерпимо тяжела. Вот как писал об этом Франко известному украинскому ученому Агафангелу Крымскому 22 марта 1894 года (в период

издания журнала «Життя і слово»): «А еще надо вам знать, что я один-одинешенек, пользуясь только помощью больной жены, веду всю техническую сторону издания, корректуру, перевод рукописей, корреспонденцию и заграничную рассылку; при этом (ради свежего воздуха для жены и детей) я живу в полутора километрах от города и должен ежедневно бегать не менее двух раз туда и обратно, а иногда три раза и больше, должен одну половину дня сидеть в редакции («Курьера Львовского») и писать мелочи для ежедневной газеты, а другую — заниматься детьми, которые не дают мне ни читать, ни писать, так что за свою работу я сажусь только в девять, а то и в десять часов вечера и сижу до двенадцати, часу, а то и двух, ко всему этому — глаза у меня болят; представьте все это, и вы будете иметь картину тех обстоятельств, в которых выходит «Життя і слово». Но это еще не все. Докторский экзамен в прошлом году стоил мне многого, пришлось влезть в долги; болезнь жены и питание детей также требуют расходов, а заработок мой в «Курьере Львовском» далеко не достаточен. Довольно сказать, что ежемесячный бюджет моих расходов должен составлять минимум 120 гульденов, а я зарабатываю 85, приходится зарабатывать на стороне, и тут «Життя і слово» мешает мне вдвойне. Во-первых, потому, что само требует много работы, а во-вторых, потому, что в конце года придется вносить значительную сумму денег на покрытие дефицита... Подписчиков до сих пор всего 160, то есть неполная половина того, сколько бы нужно, чтобы издание окупало себя. Я бросился было на драматическое поприще. Успех моей драмы «Украденное счастье» (правда, и здесь конкурсное жюри обокрало меня, присудив первую и вторую премии пьесам совсем слабым, которые не могут держаться на сцене) придал мне охоты. «Руська бесіда» [в ее ведении находился тогда украинский театр в Галиции — М. П.] согласилась платить мне за оригинальную пьесу, занимающую вечер, по 150 гульденов, а за переработку по 50 гульденов. Я написал 2 оригинальных пьесы. За первую заплатили, но полицейская цензура ее запретила. Тогда «Бесіда» и сама отклонила вторую пьесу и не платит и за третью (переделку «Саламейского Алькада» Кальдерона). Вот вам и заработок!

Если бы вы знали, какой тяжелой драмой становится в таких обстоятельствах ежедневная жизнь человека! Ну, да бог с ним! Долголетняя практика научила меня резиныяции... при которой одним утешаешься: повеситься всегда не поздно».

Но невеселые раздумья не определяли (по крайней мере — надолго) ни литературной, ни общественной деятельности Ивана Франка. И в творчестве, и в общественной деятельности, и по всему складу своего характера он всегда оставался бойцом. Не сломила его неукротимого духа и тяжелая болезнь. Уже к 1908 году физические силы писателя иссякли, здоровье было подорвано тюремными заключениями, хроническим голоданием в молодости, тяжелыми условиями жизни и изнурительным, чрезмерным трудом в зрелые годы. Но сила духа этого борца была настолько велика, что даже после того, как его разбил паралич и отнялись пальцы на руках, он продолжал работать. Он диктовал свои новые труды детям или писал сам, держа перо в скрюченных болезнью, неповинующихся пальцах. Немало сделал он и в этот период. Последним большим трудом этих лет была книга переводов всех драматических произведений Пушкина, которые он снабдил вступительной статьей и очень интересными послесловиями.

Творческий труд был главным содержанием жизни Ивана Франка, о зрелом периоде которой однажды сам он сказал так: «Дальнейшее описание моей жизни может заменить библиографический список моих трудов...»

Умер Иван Франко 28 мая 1916 года.

На его могиле во Львове установлен памятник: каменолом, разбивающий молотом гранитную скалу. В стихотворении, по мотивам которого создан этот памятник, Франко писал о революционерах, сокрушающих скалу угнетения и бесправия на пути к народному счастью и свободе:

И всем нам верилось, что нашими руками  
Мы разобьем скалу и камни раздробим... \*

Эту веру в прекрасное будущее своего народа утверждал он и звал к борьбе за него.

### 3

Революционное мировоззрение Ивана Франка формировалось под влиянием идей и творчества Тараса Шевченка и — главным образом — русских революционеров-демократов, осо-

---

\* Стихотворение И. Франка «Каменоломы». Перевод Н. Ушакова

бенно Чернышевского и Герцена; важную роль в этом сыграли также труды Маркса и Энгельса. Пропаганда революционно-демократических идей, пропаганда социализма соединялись у Франка с непосредственным участием в общественной жизни и политической борьбе.

Разумеется, весь процесс развития революционных взглядов Франка был обусловлен конкретными социально-экономическими и политическими условиями жизни украинского народа, насущными задачами общественного движения на Украине и в Галиции. Сложные условия галицкой действительности того времени — общественная и политическая отсталость, мелкоремесленный характер промышленности, слабость промышленного пролетариата и порождаемая этим неразвитость форм рабочего движения — наложили свой отпечаток на все идейно-творческое развитие писателя.

Бурный рост капитализма и успехи рабочего движения на Западе вызвали у Франка интерес к социалистическим теориям и в особенности к марксизму. Заинтересовавшись в конце 70-х годов рабочим движением в самой Галиции и сблизившись с первыми рабочими кружками, он принялся еще более внимательно изучать произведения Маркса и Энгельса. С восторгом отзывался Франко тогда о «Капитале», двадцать четвертую главу первого тома перевел в 1879 году на украинский язык. Точно также перевел он ряд глав из «Анти-Дюринга» Энгельса. Готовя свои работы по политической экономии: так называемый «Катехизис экономического социализма» («Что такое социализм?», 1878) и «Основы социальной экономии» (1879), — он пользовался и «Капиталом» Маркса. В 1878—1881 годах Франко сотрудничает в польской рабочей газете «Ргаса» [«Труд»], пропагандирует идеи классовой солидарности трудящихся украинской и польской национальностей, участвует в составлении «Программы польских и украинских социалистов Восточной Галиции».

Однако марксизм, как боевая теория рабочего движения и пролетарской революции, остался чуждым Франку. Не уяснив себе роли пролетариата, как авангарда всех трудящихся в борьбе за социалистическую революцию, Франко ориентировался преимущественно на крестьянство и передовую демократическую интеллигенцию.

Франко видел, что в западноевропейских странах рабочий класс многочисленнее, нежели в Галиции, а рабочее движение

более организованно. В своих статьях он писал о бурном развитии капитализма, о неуклонном процессе концентрации капитала, о рождении и росте пролетариата, о беспощадной его эксплуатации. Франко понимал неизбежность решительного столкновения труда и капитала и верил, что оно приведет к гибели капитализма. «Пролетарии,— писал он в статье «Мысли об эволюции в истории человечества», — соединяются все теснее и теснее. Фабрика, ежедневный труд приучает их к единству, равенству, дружбе; рабочие общества, местные, краевые, национальные и международные, становятся центрами и двигателями рабочей мысли и рабочего братства». Весь ход развития капитализма и все обстоятельства жизни рабочих приучают их «к совместным действиям и товариществу, к совместной и неустрашимой борьбе» \*. Высказывая эти мысли, он ссылался на произведения Маркса и сочувственно цитировал их.

Однако в тех работах, где речь шла непосредственно о Галиции, Франко высказывал иные мнения. Социально-экономическая отсталость этой австрийской колонии и исключительная напряженность национальных отношений вносили ряд дополнительных моментов в расстановку общественных сил, крайне осложняли условия классовой борьбы. Эти особенности галицкой действительности и приводили Франка к некоторым политически неправильным выводам: он считал, что в условиях Галиции и других подобных ей стран, где самым многочисленным классом было крестьянство, марксистская теория революционного движения не вполне применима. К таким выводам пришел он, например, в статье «Из истории рабочего движения в Австрии» (1886). В статье «Организация демократической партии» (1888) Франко писал, что в Галиции демократическая партия должна носить преимущественно народный [ludowy], аграрный характер», потому что «элемент городской сам по себе слишком слаб [...] Главная сила нашего общества — крестьянство». «Вопросы специально городские не созрели еще у нас до размера вопросов общегосударственных, как в Англии или Германии, и большая часть их может быть с пользой решена в рамках вопросов аграрных» \*\*.

Ошибки Ивана Франка, поначалу (особенно в период его

---

\* «Світ», 1881, № 11—12, стр. 206.

\*\* «Kurjer Lwowski» [«Курьер Львовский»], 1888, № 271.

активного участия в рабочем движении) не очень заметные, впоследствии усугубились и, несомненно, ослабляли последовательность его революционных позиций. Например, в конце 90-х годов он склонен был (в отличие от своих предыдущих высказываний по этому вопросу) считать участие украинцев в общерусском революционном движении бесполезным и даже вредным для украинского общественного развития, так как это участие, дескать, отвлекает украинских революционеров от борьбы за украинские национальные идеалы, за свободу и автономию Украины. Статья «Под конец года» (1896), в которой Франко высказал эти мысли, вызвала резкие возражения Леси Украинки и положила начало острой полемике между этими двумя, до того времени во всем солидарными, поэтами и общественными деятелями. В. И. Ленин осудил «доводы» Франка против участия украинцев в русском революционном движении, назвав их при этом реакционными («Ленинский сборник», т. XXX, стр. 11—12).

Вместе с тем идея революции пронизывает публицистику и художественное творчество Франка. Писатель верил, что «великая всемирная революция разрушит теперешний порядок и создаст новый». «Не отказываться ни от какого, даже самого радикального средства [...], не отказываться даже от социальной революции\*», — призывал он. Борясь с остатками крепостничества в Галиции, яростно ненавидя и австрийскую монархию, и русский царизм, Франко видел в русском народе верного союзника украинского народа в борьбе за свободу. Он всемерно стремился разбудить революционное сознание народных масс и беспощадно разоблачал буржуазных националистов, пытавшихся увести украинскую демократию в сторону от задач революционного переворота. В статье «Формальный и реальный национализм» (1889), направленной против редакции националистического львовского журнала Правда, Франко писал, что «...разразившись громкими и довольно фразистыми обвинениями по адресу деспотизма, она ни разу не поставила вопроса о том, что надо делать украинцам, чтобы повалить этот деспотизм и добыть политическую свободу\*\*».

---

\* «Світ», 1881, № 6, стр. 116.

\*\* Иван Франко, Избранные сочинения. Гослитиздат, М 1951, т. V, стр. 64.

Франко был революционным просветителем. Просвещение и политическая свобода — эти понятия у него неразрывно связаны:

С правдой — за свободу,  
В битву против зла!  
Сеять среди народа  
Вольности слова!

С факелом науки  
Бейтесь против тьмы,  
Трудовые руки,  
Светлые умы! \*

В просвещении Франко видел величайший фактор подготовки революции: оно должно, по его мнению, разжигать в рабочих людях «пламя мысли», «раздувать желанье воли», воспитывать согласие и братство, необходимые для борьбы.

Ему были глубоко чужды идеи украинского либерально-буржуазного «просвітянства». Франко хорошо понимал, что фразы о любви к народу, о стремлении к прогрессу не мешали либералам быть охранителями существующего порядка. Идеалы «просвітян» он критиковал как ничтожные, крохоборческие, совершенно чуждые народу. А между тем интеллигенция, — писал он, — должна быть тесно связана с народом: «Не назад к народу», а «Вперед с народом!» — говорим мы \*\*.

Буржуазия и, в частности, буржуазная школа, заявлял Франко, стремится воспитать в народе «покорность нынешним несправедливым порядкам», сделать каждого трудящегося «верноподданным». Необходимо вырвать народ из-под влияния официального просвещения и воспитать его в духе непокорности существующему строю, в духе борьбы с этим строем. Это — главная задача той части интеллигенции, которая желает служить делу освобождения человечества.

Ненависть, с какою галицкие «либералы» и ретрограды относились к передовой русской демократии, обрушивалась и на голову Франка. Не однажды в галицкой печати появлялись резкие выпады против социализма и его сторонников, которых в Галиции знали всех поименно. «Просвітяне» и клерикалы

---

\* Стихотворение И. Франка «Semper idem». Перевод Н. Асанова.

\*\* Статья «Возвращаться ли нам назад к народу?», «Світ» 1881, стр. 117.

в своих статьях предостерегали «общество» — вернее, правительство и полицию, — что социализм может привести «к перевероту всего существующего, подорвать государство и религию [...], уничтожить законы и частную собственность».

Журнал львовских клерикалов «Русский Сион» упрекал галицкие власти в том, что они не ищут «способов сделать таких людей безопасными», и высказывал сожаление, что «нет у нас безлюдных пустынь», где бы социалисты «могли [...] свободно своим теориям предаваться» \*. Галицкие «либералы» и реакционеры мечтали о сибирской каторге для революционеров. В ряде статей прямо называлось имя социалиста Франка. Эти статьи были по существу полицейскими доносами

После первого же ареста и процесса писатель был исключен из «Просвіти», все более вырождавшейся в реакционную, буржуазно-националистическую организацию. В 1892 году Франко — автор ряда крупнейших в Галиции историко-литературных работ и прославленный поэт — подал заявление о приеме его в члены Научного общества им. Шевченка, но это заявление было отклонено \*\*.

Передовые современники Франка прекрасно понимали причину неистовой ненависти реакционеров к нему и старались поддержать его. Например, прогрессивный западноукраинский писатель и публицист Осип Маковей одну из своих статей в газете «Буковина» (1897, № 97) начал так: «Эта неделя для Франка тяжела, громы падают на него из польских и русинских [западноукраинских] газет. Известное дело, громы бьют не в коряги, а в самые высокие деревья».

Силы для упорной борьбы с галицкой реакцией Иван Франко черпал в народе, с которым он был связан самыми тесными узами. Крестьяне считали Франка лучшим советчиком и учителем. Они знали и нередко посещали его квартиру во Львове. В архиве писателя сохранились исполненные глубокого и трогательного доверия письма галицких крестьян, которые спрашивают его, что им делать, как бороться за свои права.

Франко видел в народе, в его пробуждении ко все более активной общественной и культурной деятельности результаты

---

\* «Русский Сион», 1878, № 2; издавался на русском языке.

\*\* Кстати сказать, Харьковский университет в 1906 г. присудил Ивану Франку ученую степень доктора российской словесности без защиты диссертации.

и своего собственного неустанного труда. Это было самую большую его радостью, это оправдывало в его глазах все жизненные лишения и испытания, перенесенные во имя патриотического долга. «И если что облегчает мне нести это ярмо, — писал он в статье «Кое-что о самом себе», — так это то, что я вижу, как украинский народ [...] все-таки постепенно подымается, испытывает во все более широких массах своих жажду света, правды и справедливости и к ним ищет путей. Значит, стоит трудиться для этого народа и никакой труд не пропадет даром» \*.

4

В общественно-политических взглядах Ивана Франка можно отметить слабые стороны и даже заблуждения. Но не приходится сомневаться в том, что все они пережиты им на пути напряженных исканий истинно научного мировоззрения и такой политической платформы, которая в наибольшей степени соответствовала бы интересам расчлененного и угнетенного украинского народа. Теми же исканиями и стремлениями, тем же пафосом борьбы характерна и собственно литературная позиция Франка-писателя. Он был выдающимся борцом за торжество реалистических принципов в украинской литературе и украинском искусстве. Он вел эту борьбу почти полвека.

Начал он ее, как сказано, еще в студенческие годы. Между учебными интересами Франка-гимназиста и Франка-студента — много сходства. Кроме посещения общих курсов истории греческой и римской литератур, энциклопедии и истории педагогики и других обязательных дисциплин, он по выбору записывался на специальные лекционные курсы и семинары, посвященные изучению произведений великих драматургов античности, произведений Тараса Шевченка, «Слова о полку Игореве», три года слушал курс истории украинской литературы. Но теперь отношение его к официальной науке решительно изменилось. На школьной скамье он еще не подвергал сомнению принципиальные основы той поэтики, которую ему преподавали учителя. В университете, уже в первые годы своего пребывания в нем, Франко критически отнесся к устаревшим эстетическим понятиям и коренным образом пересмотрел свои взгляды.

---

\* І в а н Ф р а н к о , Твори в двадцяти томах, т. I, стр. 28.

Этот перелом в эстетических взглядах Франка совершился в основном под влиянием русских писателей-реалистов, под влиянием литературной критики и эстетики революционных демократов. Об этом свидетельствует сам Франко в своей автобиографии: «В том же году, — вспоминает он 1876 год, — под влиянием беллетристики великорусской, особенно Льва Толстого и Тургенева, а также Эм. Золя, начал я писать ряд небольших эскизов и новелл («Галицких картинок»), в которых задумал, не стесняя себя заранее никаким планом, нарисовать жизнь галицкого люда во всех его слоях и проявлениях, по мере того как жизненный опыт введет меня в соприкосновение с разными типами и моментами этой жизни» \*.

В том же году ему удалось повернуть на этот путь и редакцию журнала «Друг». Журнал этот вначале не имел определенного направления. С приходом Ивана Франка редакция журнала согласилась «придать ему направление школы реальной», а молодые его авторы (Франко среди них главенствовал), преимущественно крестьянские сыновья по происхождению, социалисты по убеждениям [...], принялись изображать ту жизнь, которую они лучше всего знали — сельскую жизнь. Социалистическая критика общественного строя давала им указания, где искать в этой жизни контрасты и конфликты, необходимые для произведения искусства» \*\*.

Литературно-критические статьи Ивана Франка в журнале «Друг» под общим заголовком «Литературные письма» вызвали на страницах галицкой печати напряженную и острую дискуссию вокруг важнейших проблем реализма в украинской литературе. В 1878 году Франко выступил со статьей «Литература ее назначение и важнейшие черты». Эта статья была манифестом реалистического направления в украинской литературе на новом этапе ее развития. Она была продиктована насущными потребностями всей украинской литературы. Но не следует забывать, что на галицкой почве борьба за реализм и передовую идейность литературы и искусства имела тогда и особое значение. Тогда как в российской части Украины литературное развитие уже уверенно шло по пути реализма, а украинская литература

---

\* Иван Франко, Твори в двадцяти томах, т. I, стр. 23—24.

\*\* Иван Франко. «Молода Україна» Львов, 1910, стр. 37—38.

уже выдвинула, кроме Шевченка, ряд выдающихся мастеров-реалистов, в Западной Украине и в семидесятые годы господствовали, как писал Франко, «литературные и эстетические понятия второй половины XVIII века».

Решительно выступив против отсталости и рутины, против идеализма и поповщины в философии и эстетике, Франко одновременно обрушился с сокрушительной критикой на литературную продукцию, созданную с этих идейных и эстетических позиций. Его собственные литературные произведения тех лет явились решительным отрицанием обветшалых литературных канонов. Безоговорочно отбросил он высокопарную «церковнославянщину» и ввел в оборот украинской поэзии неисчерпаемые средства живой народной речи; так же безоговорочно порвал он с насаждавшейся буржуазными националистами идеализацией сельской жизни и «гетманской» исторической старины. Современные село и город, политику и классовую борьбу, науку и просвещение он смело сделал источником тем и сюжетов своей поэзии и таким образом много способствовал развитию публицистической и философской лирики в украинской литературе. Столь же упорную борьбу вел он в области прозы и драматургии, утверждая реализм и народность литературы не только теоретическими статьями и рецензиями, но — и это главное — образцами собственного художественного творчества, в которых стремился дать «реальное изображение современной жизни, глубокий и правдивый анализ фактов и характеров».

Во всей этой борьбе Франко опирался прежде всего на достижения реалистического направления в русской литературе, на новое слово материалистической эстетики русских революционных демократов. Он переводил на украинский язык статьи Добролюбова и Писарева, пропагандировал главнейшие положения эстетики Белинского и Чернышевского, переводил, издавал, рекомендовал читать творения великих русских реалистов — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, Глеба Успенского, Щедрина, Некрасова. Он первый перевел на украинский язык «Мертвые души» Гоголя, драматические произведения Пушкина, поэму «Русские женщины» и многие стихотворения Некрасова. Если мы упомянем наряду с этим переводы Франка из Горация, Овидия, Данте, Шекспира, Кальдерона, Гете, Гейне, Гюго, Золя, Альфонса Доде, Мицкевича, Роберта Бернса, Шелли, Байрона, Томаса Гуда, Гавличка-Боровского, Врхлицкого и еще многих римских и греческих, английских, французских, немец-

ких и испанских, польских и чешских поэтов, прозаиков и драматургов, — мы придем к выводу, что другого столь трудолюбивого и разностороннего переводчика на Украине никогда не было.

Своими переводами приближая к украинскому читателю сокровища русской и мировой литературы, Франко одновременно стремился к тому, чтобы украинская литература и сама обогатилась новыми жанрами, дотоле невиданными в ней. Жанровое богатство его собственного творчества и всей украинской литературы конца XIX — начала XX века было прямым следствием этих стремлений и усилий.

Особенно настаивал Франко на необходимости создания в украинской литературе такого жанра, как роман. «Главное место,— писал он в уже упомянутых «Литературных письмах»,— должен в этой [реалистической] беллетристике занять роман, как такое произведение, рамки которого могут быть как угодно расширены». Заметим к тому же, что речь шла не об историческом романе, а о романе «из жизни общественной», о реалистическом романе на современную тему. Чтобы полностью оценить в этом случае заслуги Франка, новизну и смелость его утверждений, следует вспомнить, что в то время такой роман в украинской литературе еще только-только появился и был представлен всего лишь одним-единственным образцом («Разве ревут волю, когда ясли полны?» — роман Панаса Мирного, написанный в 1872—1875 гг.). Ратуя за роман на современную тему, Франко поднял один из коренных вопросов развития реализма в украинской литературе, как в русской его подняли в свое время Пушкин, а затем Белинский, — вопрос о развитии самой всеобъемлющей и могущественной жанровой формы реалистического искусства.

Одна из крупнейших заслуг Ивана Франка состояла в том, что он, возглавив борьбу передовых сил всей украинской литературы за реализм, довел ее до победного конца и в своей родной Галичине. Упорно защищал Франко реалистическое искусство от проникновения в него тлетворных влияний декадентства. Еще прежде, чем симптомы декадентства проявились в украинской литературе, он бил своими статьями по проявлениям его во французской, немецкой и польской литературах. И чем определеннее становилась угроза декадентства для украинской литературы, тем острее и беспощаднее становилось оружие Ивана Франка в этой борьбе. Когда эпидемия упадочничества докатилась и до украинской литературы, Франко обрушился

на него со всей сокрушительной силой своего гнева и таланта, всеми средствами поэтической сатиры, публицистики и литературной критики. Его позиция в этой борьбе во многом совпала с позицией Горького. Не случайно именно Франко приветствовал борьбу Горького с декадентством в русской литературе и заявил о своей солидарности с ним.

5

В поисках передового мировоззрения и подлинно научной эстетической теории Франко обратился к завоеваниям русской революционно-демократической мысли, к достижениям русской литературы. Борясь за реализм в украинской литературе, он выступил в едином фронте с русской революционно-демократической критикой и эстетикой. Именно в этом направлении развивалось литературное творчество Ивана Франка — поэта, прозаика, драматурга. Его главные, так сказать, этапные произведения и книги были важнейшими вехами на пути украинской классической литературы к вершинам реализма.

Вступив на литературное поприще в середине семидесятых годов прошлого столетия, Франко в скором времени стал самым выдающимся украинским поэтом послешевченковской эпохи. Сборники его стихотворений: «Вершины и низины», «Увядшие листья», «Мой Изумруд», «В дни печали» и «Semper tigo», его поэмы «Панские забавы», «Иван Вишенский», «На Святоюрской горе», «Моисей» и другие, в которых с большой силой сказался его талант, отличаются высокой культурой поэтической формы и не только справедливо относятся к лучшим достижениям украинской поэзии, а представляют заметное явление в развитии всей мировой поэзии конца XIX — начала XX столетия. Поэзия Франка отличалась богатством тематики и невиданным дотоле в украинской литературе разнообразием форм. Реалистичность поэтических образов, одновременно с высоким гражданским пафосом его стихов и поэм, определяют особое место Франка-поэта в период нарастания освободительных идей мирового рабочего движения, разложения буржуазной идеологии и декаданса во всех видах буржуазного искусства. В это время Франко выступает как один из немногих в украинской литературе подлинных наследников и продолжателей лучших традиций Тараса Шевченка и передовой русской поэзии.

В процессе борьбы за реализм и идейность украинской литературы перед Иваном Франком со всей неизбежностью возникла проблема литературных традиций и прежде всего — проблема традиций Тараса Шевченка в украинской поэзии. В то время в Галиции и на всей Украине именем Шевченка клялись даже его враги. Но в руках эпигонов Шевченка украинская поэзия свелась к перепеву преимущественно исторических мотивов, к подмене революционной направленности вздохами сожалений о прошлом или националистическим любованием внешними аксессуарами гетманщины. Франко, глубже всех своих современников понимая значение шевченковских традиций, выступил против извращения их эпигонами.

Прокладывая новые пути для украинской литературы в целом, он указывал на необходимость дальнейшего творческого развития революционных традиций Шевченка. Поэзия Шевченка, считал Франко, была исторически необходимым и закономерным выражением украинского национального гения. Однако дальнейшие задачи состоят отнюдь не в перепевах Шевченка, не в эпигонском заимствовании его стихосложения, и тем более не в эпигонском снижении революционного пафоса его поэзии до уровня культустрегерских идей националистического «просвітянства».

Подлинное, творческое следование традициям Шевченка Франко видел совсем в другом. Он призывал поэтов обратиться к современности и писать:

Не о подвигах казацких,  
Не о море да курганах,  
Не про войны, не про кровы!  
А начнемте, братья, песню  
Мы о нынешнем, насущном,  
О делах насущных наших,  
О труде, какой нас ждет.

И только тогда, когда песня сама станет призывом к борьбе и оружием в ней — только тогда поэт выполнит свое назначение и явится настоящим наследником революционной музыки Кобзаря

Вот сегодня песня наша—  
Песня, как призыв в поход!  
Кто ж на битву выйдет смело,  
Кто ту песню запоет!\*

---

\* Из неоконченной поэмы И. Франка «Сон князя». Перевод Б. Турганова.

Поэзия Шевченка — поэзия революционной борьбы. В самом ее развитии под влиянием «новых идей», как отметил Франко, «староказацкие идеалы бледнеют», а на их место выступает «...любовь ко всем людям, угнетенным путами общественного неравенства, неправды и неволи» \*. Именно этой своей стороной она совершенно чужда эпигонам. Прошли годы после смерти Шевченка, в жизни украинского народа совершились значительные, а по временам и коренные изменения. Родились новые общественные силы, новый общественный класс поднялся на революционную борьбу, с которой связал с конца семидесятых годов свою судьбу и Иван Франко, как поэт и гражданин. В проповеди новых идей, в социалистическом учении зазвучал как бы голос того «апостола правды и науки», о приходе которого мечтал и которого так страстно хотел услышать Шевченко. Вот тут-то и выяснилось, что вся либерально-буржуазная, националистическая братия стала враждебной стеной против идей революции, а вместе с тем отшатнулась и от «своего» поэта. Франко уничтожающе высмеял таких «поклонников» Шевченка в блестящем сатирическом стихотворении «Шевченко и поклонники» (1880):

Апостол правды и науки,  
О ком мечтал ты, изможден,  
Пришел и простирает руки,—  
Ему названье: Легион.

Но те, что под шумок кормились  
Твоих творений молоком,  
Что всюду и везде хвалились  
Тобою, как своим певцом,—

Те, видя гостя молодого,  
Один — хвалы забыл свои,  
Другой — зовет городского,—  
Низкопоклонники твои! \*\*

Не трудно догадаться, кого имеет в виду Иван Франко, говоря об апостоле, имя которому — Легион. Речь идет о народных массах, пробужденных к новой борьбе, о революционных массах пролетариата и крестьянства. Об этом же говорится

---

\* Иван Франко, Избранные сочинения. Гослитиздат, М. 1951, т. V стр. 149.

\*\* Иван Франко, Избранные сочинения, т. I, стр. 445. Перевод Б. Турганова.

в одном из программных стихотворений Франка «Современная песня», написанном в том же 1880 году. Франко решительно выступает в нем против «чистой» поэзии эстетов, против поэзии «бессознательной красоты» за «могучую песню боевую», — поэзию высокой революционной идейности. Такая поэзия, такая песня не умерла вместе с великим Кобзарем, не может умереть, пока живет трудящийся народ, —

Вона жива, як люд робучий,  
В котрім все людськості житє.

Такою была прежде всего поэзия самого Франка. Уже в его стихотворениях второй половины семидесятых годов громко звучат возмущение социальной несправедливостью и пламенные призывы к борьбе против угнетателей. И чем далее, тем более ясно определяется социалистический характер идеалов этой борьбы, их связь с современным этапом развития революционного движения. Тем самым Иван Франко продолжал и поднимал на новую ступень революционно-демократические традиции своих великих предшественников и учителей — Шевченка и Некрасова.

В 1887 году вышел сборник «Вершины и низины» («З вершин і низин») — итог десятилетней работы Франка-поэта. Высокий революционный пафос, пламенная страсть борца выразились здесь с тою степенью силы и художественности, которые делают «Вершины и низины» самым выдающимся событием в развитии украинской поэзии после Шевченка.

Гневно клеймит Франко Австрийскую империю, как «тюрьму народов», разоблачает «внешние признаки свободы» в «конституционной» Австрии:

Где станешь ты ногой — там стон народа,  
Там с подданных сдирают третью шкуру.  
Ты давишь всех, крича: «Даю свободу!»  
И грабишь с воплем: «Двигаю культуру!»\*

На себе самом, в австрийских тюрьмах, испытал поэт прелесть «конституционных свобод». Но это не повергло его в пессимизм. Голосом, полным мужества, стремится он вдохнуть в своих единомышленников и читателей дух революционной

---

\* Сонет «О, среднеевропейское болото!..» Перевод Б. Турганова.

отваги. С особенной силой этот пафос борьбы выражен в программном стихотворении Франка «Гимн» («Вечный революционер»).

Призыв к решительной и беспощадной борьбе за свободу определяет все содержание и поэтические интонации цикла стихов «Думы пролетария».

Боритесь же! Смелей! Для всей земли  
Путь правды расчищайте!..—

эти слова Франка как бы перекликаются с революционным призывом Шевченка к угнетенным народам: «Боритесь, поборете!..»

В стихотворениях «На суде», «Товарищам из тюрьмы» и в ряде других из того же цикла поэт высказывает твердую уверенность в конечном установлении на земле царства свободы:

Даст не бог это царство нам сразу,  
Не святые с небес принесут,  
Утвердит его властный наш разум,  
Наша воля и общий наш труд.

(«Товарищам из тюрьмы».)

Многие из стихов этого цикла звучат как поэтическое изложение революционной программы, которую настойчиво пропагандировал поэт и средствами публицистики.

Могучим выражением революционного пафоса, любви к народу и веры в его конечную победу является цикл стихов «Excelsior!» [«Все вышло!»]. В него входят такие жемчужины лирики Франка, как «Каменоломы», «Батрак», «Беркут». В стихотворении «Беркут» Франко провозглашает идею свержения монархии, в «Каменоломах» с исключительной поэтической силой воспекает людей революционного подвига.

Социалистические идеалы поэта находят выражение почти во всех циклах стихов книги «Вершины и низины». Франко противопоставляет тогдашней безотрадней действительности, особенно картинам из жизни галицкого крестьянства, светлую мечту о будущем. Самым ярким выражением этой мечты справедливо считается стихотворение «Думы на меже». В нем впервые в украинской поэзии с такой конкретностью выразилась социалистическая идея общественной собственности и свободного труда.

Опасность революционного влияния поэзии Франка на читателей сразу почувствовала царская цензура. Издание сборника «Вершины и низины» в России было запрещено. Мотивируя это запрещение, киевский цензор Дроздов в 1888 году писал: «Автор изображает положение малороссов в Австрии и России в самом мрачном свете, как находящихся в неволе, в тюрьме, в цепях и гибнущих от голода. Он приглашает их «сеять думы вольные», вступить на борьбу со своими угнетателями, то есть с правительством и всеми сильными и богатыми людьми, «добывать волю», жертвовать за народ своею кровью и спалить огнем то, чего нельзя смыть кровью (стр. 20 и др.), и, в частности, призывает к борьбе с царем, «обдирающим» Украину (стр. 69—70), и выступает ярким защитником лиц, стремящихся путем насильственного переворота изменить существующий общественный строй\*.

Революционно-демократическая направленность поэтического творчества Франка ярко выразилась и в последующие девяностые — девятисотые годы.

Выпуская в 1893 году вторым, дополненным изданием сборник стихотворений «Вершины и низины», поэт еще более усилил его революционное звучание: в книгу он включил цикл «Тюремных сонетов», написанных в 1889 году.

Второй сборник стихов Франка «Увядшие листья» (с подзаголовком: «лирическая драма») вышел в 1896 году и сразу вызвал ряд противоречивых оценок. Одни из критиков осуждали этот сборник за пессимизм и на этом основании относили его к явлениям декаданса в украинской литературе. В свою очередь сторонники «чистого искусства» заявляли, что Франко наконец-то отказался от идей общественного служения художника и что предметом его поэзии, которая теперь ничего общего не имеет с задачами и потребностями общественной борьбы, стала сугубо интимная драма личности—его собственная духовная драма. Франко отвечал, что он «совсем иначе» понимает свой сборник и с удовольствием отметил, что и многие читатели восприняли и поняли его не так, как критики, осуждавшие или приветствовавшие мнимый пессимизм поэта. Он писал по этому поводу в 1910 году в предисловии ко второму изданию сборника: «Не только сам я, но — это стало мне известно тогда

---

\* Центральный государственный архив. Комитет цензуры иностранной. Рапорты за 1888 год. Дело 8919.

же — также значительная часть публики совсем иначе восприняла эти стихотворения, и я надеюсь, что и теперешнее поколение найдет в них немало такого, что отзовется в его душе отнюдь не пессимистическими тонами».

Правда, время работы поэта над сборником «Увядшие листья» — трудная пора его жизни. К середине девяностых годов травля, которой постоянно подвергался Франко со стороны правительства и всех реакционных сил Австрийской империи, приобрела особенно ожесточенный характер. Украинские буржуазные националисты, польская шляхта и наместник австрийского императора в Галиции, граф Бадени, ненавидели Франка и сообща травили его, как выразителя интересов трудового, угнетенного украинского народа. Как уже сказано, они не допустили его к защите докторской диссертации во Львовском университете. В 1895, 1897 и 1898 годах во время выборов в австрийский парламент они старались подкупить избирателей, мошенничали при подсчете голосов, избивали и расстреливали крестьян, лишь бы не допустить избрания Франка, которого народ хотел видеть своим депутатом. Все труднее и невыносимее для писателя становилась работа в украинской и польской буржуазной прессе. В 1897 году украинские националисты изгнали его из редакции журнала «Зоря», а польские националисты — из редакции газеты «Kurjer Lwowski». К этому же времени относится начало болезни, неудачная любовь и другие тяжелые обстоятельства личной жизни.

И все же могучий дух поэта выстоял, не надломился. Вот почему совершенно не правы те критики, которые и до последнего времени пытались отождествлять личность поэта с образом лирического героя книги «Увядшие листья», — героя, переживающего любовную драму и кончающего самоубийством все расчеты с жизнью. Всем смыслом «лирической драмы» героя, рассказанной стихами, совершенными по форме, великолепно передающими богатейшее разнообразие психологических переживаний, автор утверждает идеи, прямо противоположные пессимизму. Глубоко раскрывая процесс распада личности, Франко показывает губительные следствия замкнутости героя, его оторванности от людей, решительно осуждает индивидуализм. Индивидуалист возводит личное несчастье до космических пределов и порицает окружающий мир отнюдь не во имя счастья людей. Индивидуалист, даже если он недолжнная личность, всегда оказывается перед лицом катастрофы, потому что

в мире сплошного отрицания ему не на что и не на кого опереться.

Лирическая драма «Увядшие листья» утверждает, что богатство духовной жизни возможно для человека только в общении с людьми, только в борьбе за их интересы, за общественные идеалы.

И все же нельзя отрицать, что в «Увядших листьях» нашел известное отражение личный опыт самого автора. Грустные настроения и горестные раздумья содержат, так сказать, и автобиографический элемент. Этого не отрицал и сам Франко. В «Увядших листьях» он показывает губительный для творческой личности (его герой — поэт) вариант развития этих настроений. Беспощадно анализируя их, показывая их в развитии, Франко раскрывает несостоятельность пессимистического мироощущения и одновременно утверждает иную философию, иное отношение к миру, то отношение, которое всегда было присуще ему самому — труженику, деятелю, борцу.

Богатое выражение этих идей и настроений находим в сборнике общественно-философской поэзии «Мой Изумруд» (1898), в сборнике преимущественно интимной лирики «В дни печали» (1900) и еще в большей мере — в последнем сборнике стихов Франка «Semper tigo» (1906).

Сборник «Мой Изумруд» построен на своеобразном переосмыслении образов, тем и мотивов старинных притч и легенд. Франко явно «осовременивает» этот дидактический материал. Вот почему общие категории добра и зла, дружбы, красоты, проблемы смысла жизни (особенно в циклах «Притчи» и «Паренетикон») приобретают яркую социальную окраску и служат выражением демократических, освободительных идей.

Обращение к современной тематике с еще большей определенностью сказалось в несколько обособленном цикле этой книги — «В Бразилию», — в котором показан тяжелый путь обнищавшего галицкого крестьянина, эмигрирующего в Южную Америку. В стихотворениях этого цикла нарисованы образы эмигрантов-изгнанников, совершающих поистине «хождение по мукам».

Революционный патриотизм Франка с большой силой выражен в цикле стихов «Поклоны». Гневно отмечая упреки националистов в том, что он якобы не любит родину, поэт противопоставляет свой патриотизм псевдопатриотизму галицкой националистической буржуазии и буржуазной интеллигенции.

Ряд стихотворений этого цикла посвящен теме призвания поэта, назначения поэзии. Безоговорочно отмежевывается Франко от тех, кто в литературе, как он говорил, «торгует наркотиками», от тех, кто в поэзии звенит формалистическими побрякушками, от всех нытиков и пессимистов. Свое призвание он видит в служении великим гражданским заветам, а судьбы своей поэзии связывает с судьбами народа, поднимающегося к борьбе.

Еще более решительно преодолевает Франко грустные настроения в сборнике стихотворений «В дни печали». Снова возникает тема самоопределения поэта, и снова Франко видит свою поэзию в русле живой жизни и революционной борьбы, в русле реализма. Проявляя «общественное дело», которое способно

...заполнять ревниво

Всю жизнь, всю страсть направить на одно... —

поэт не хочет предаваться пессимизму и решительно не желает от личных невзгод приходить к обобщениям всеобъемлющего характера:

Я еще не стар! Есть силы!  
Ничего, что путь тернист.  
Хоть хандра, хоть горе давит, —  
Я еще не пессимист\*.

В цикле «Воспоминания» поэт разворачивает ряд новых, глубоко реалистических картин из жизни обездоленного галицкого крестьянства. В чарующих красотой и мягкостью тонов стихах цикла «В плен-эре» поэт воспевает «мать-природу», показав себя одновременно и великолепным поэтом-пейзажистом, и философом, способным окинуть мир единым взором, и печальником горя народного, резко контрастирующего с вечной красотой и гармонией природы.

Последний сборник стихов Франка в самом заглавии своем несет ту глубоко оптимистическую идею, которая по существу определяет характер всей его поэзии. «Semper tūo» — всегда начинающий, всегда новичок!

Сборник продолжает почти непрерывную линию публицистической лирики Франка. Циклы «На старые темы» и «Из книги Кааф» перекликаются со сборником «Мой Измарагд», являя своеобразную переработку и переосмысление старинных мотивов

---

\* Стихотворение «Из далеких врат восточных». Перевод П. Железнова.

(из «Слова о полку Игореве», «Псалтыри» и т. п.), но их злободневная политическая направленность еще выразительнее и острее. Франко снова ставит вопрос о месте поэта в современном обществе и снова выступает против теории «чистого искусства», против доморощенных украинских декадентов, против представления об искусстве, как о «забаве беспечной»:

Блажен тот муж, кто на суде неправых  
За правду голос смело поднимает  
И без боязни в сонмищах лукавых  
Уснувшее сознание пробуждает.

Блажен тот муж, который в дни невзгоды,  
Когда молчит у самых чутких совесть,  
Хоть криком будит спящих народы  
И открывает правду им, как новость\*.

Лучшие стихи сборника «Semper tiro» несут в себе тот «огонь в одежде слова», который в украинской поэзии впервые загорелся в стихах Шевченка, с новой силой вспыхнул в гражданской лирике сборника «Вершины и низины» и затем запылал в поэзии Павла Грабовского и Леси Украинки.

В украинской поэзии после смерти Шевченка жанр поэмы был представлен крайне бедно. Нужен был новый большой талант, подлинно национальный, народный поэт, чтобы снова возродить его к жизни. Франко был именно таким поэтом. Он создал ряд крупных эпических и лиро-эпических поэм («Панские забавы» — 1887, «Смерть Каина» — 1889, «Иван Вишенский» — 1900, «На Святоюрской горе» — 1900, «Моисей» — 1905 и другие), которые являются подлинным украшением и гордостью украинской литературы. Главная тема их — судьба народа, его будущее. Особенно богато раскрывается эта тема в поэмах «Иван Вишенский», «На Святоюрской горе» и «Моисей».

В поэме «Иван Вишенский» Франко развивает идею патриотического служения родине.

Герой поэмы — украинский писатель-полемист конца XVI — начала XVII века, автор сочинений, направленных против католической церкви, которая освящала угнетение украинского народа польскими панами, да и сама была жесточайшим угнетателем. Иван Вишенский показан в поэме с того момента, когда разочарование в жизни толкает его на уход от мира. Поселившись на Афоне, он отказывается от борьбы, от всего

---

\* Стихотворение «Блажен тот муж...». Перевод М. Зенкевича.

земного. Он ищет для себя путь к истине, к богу. Но посланцы Украины, пришедшие к Вишенскому, зовут его назад, на родину, снова к борьбе, к битвам за свободу родного края. Старец Иоанн сперва не откликается на их призыв, но вскоре всеми помыслами возвращается к Украине. Гимном любви к родине звучат заключительные строфы поэмы, герой которой стремится в «любимый край родной», чтобы там бороться, «жизнь за други полагая».

В поэме «На Святоюрской горе» поэтически изображен один из эпизодов национально-освободительной войны украинского народа против польской шляхты — осада Львова войсками Богдана Хмельницкого в 1655 году. Воспевая знаменитого украинского гетмана, как выдающегося полководца и вместе с тем как мудрого дипломата, Франко рисует великое народное движение против панского гнета.

Глубокие размышления о судьбах родины характеризуют последнюю, наиболее известную поэму Франка — «Моисей». Используя в своих произведениях исторические и библейские сюжеты, поэт отнюдь не уходит в прошлое, а ставит жгучие вопросы современности. В «Моисее», как и в стихах и поэмах Шевченка, Леси Украинки на исторические и библейские темы, весь круг идей и социальной проблематики глубоко злободневен. Тема поэмы «Моисей», — говорил сам Франко, — «не библейская, а моя собственная, хотя и основанная на библейском рассказе». «...Кроме исторического и психологического интереса, поэма имеет и символическое значение, а как произведение украинца — не лишена также и национальной окраски». Тема «непризнанного народом пророка» (выражение И. Франка) в этой поэме перерастает в тему украинского народа и его судьбы.

Заглядывая в будущее, Франко вдохновенно провидел уничтожение искусственных политических границ, расчленивших Украину, провидел воссоединение родного украинского народа в едином национальном государстве:

Но час придет, в багряном ореоле,  
В кругу народов вольных, за Карпаты  
И к Черноморью рокот новой воли

И радости ты доплеснешь раскаты,  
И, все обняв хозяйскою управой,  
Полями залюбуешься и хатой\*.

---

\* Пролог к поэме «Моисей». Перевод Б. Пастернака.

Оптимистический характер этих надежд был глубоко связан с событиями революции 1905 года в России. Многие в поэме звучит как пророчество, осуществившееся в нашу советскую эпоху, когда полностью восторжествовали идеи братства и дружбы народов.

## 6

Велики заслуги Ивана Франка и в области художественной прозы. Он написал девять повестей и более ста рассказов и новелл, в которых стремился дать «верное описание жизни нашего народа», создать «типы, которые олицетворили бы в себе думы и стремления данной эпохи». Он отказался от идеализации крестьянской жизни, от пристрастия к декоративно-этнографической стороне ее, которое было так характерно для некоторых его предшественников и современников. Вместе с тем он вывел украинскую прозу из узких рамок деревенской тематики, обогатил ее новыми темами и дал правдивую картину жизни всех социальных слоев и классов украинского народа.

Новаторство Франка-прозаика проявилось не только в области тематики, оно сказалось и в широчайшей социальной проблематике, и в революционной направленности идейного содержания, и в жанровом разнообразии его прозы, и, наконец, в обновленном богатстве художественных средств.

Первые опыты Ивана Франка в прозе не свободны от влияния романтизма. В повести «Петрии и Довбошуки» (1873—1875) романтические традиции заметны в характере конфликта, формирующего сюжет (борьба за сокровища, завещанные народу легендарным буковинским народным мстителем Олексой Довбушем). Картины современной жизни перемежаются в повести с историческими событиями столетней давности, представленными скорее в фантастическом, нежели в реальном плане. Привидения, клады, преступления и кровавые злодеяния, резкое противопоставление благородных героев бесчеловечным злодеям — все это определяет колорит повести, которую сам Франко называл «документом юношеского романтизма».

Его первые реалистические рассказы («Угольщик», «Лесихина семья», «Два приятеля»), написанные в 1876 году, после происшедшего перелома в эстетических взглядах, посвящены также крестьянской тематике. Но в них уже безраздельно господствует суровая правда современной социальной действитель-

ности: деревенская нищета, крестьянство, стоящее на пороге полной пролетаризации, его жизнь, его страдания и стремления составляют содержание этих рассказов, проникнутых животворным духом сочувствия автора к своим героям. Однако вскоре внимание Франка привлекает другая тема.

Еще в конце сороковых годов в Бориславе были открыты богатые источники нефти и озокерита. Началась «нефтяная лихорадка». Массы обнищавшего и голодного крестьянства потянулись на заработки. Ужасающие условия труда, беспощадная эксплуатация и ничем не наказуемый обман и ограбление голодных людей — все это вскоре должно было породить и породило дух протеста и возмущения в первом поколении галицкого пролетариата. Осенью 1873 года запылал в огне весь Борислав с его нефтяными скважинами, нефтехранилищами и заводами. Это было зарево первого, хотя и стихийного, но уже массового выступления западноукраинских рабочих.

Галицкие писатели, «на панский лад настроенные», как выразился о них один из соратников Ивана Франка, прошли мимо всех этих «антиэстетических» событий. Франко первый понял общественное и художественное значение этой темы. Он создал цикл из семи рассказов, в которых с потрясающей силой изобразил эту трагедию в жизни трудящихся Галиции, началом которой было открытие, казалось бы, благодатных источников неисчислимого богатства. Лихорадочно быстрый процесс развития капитализма, исполненный душераздирающими страданиями процесс разорения крестьянства и рождение первых поколений пролетариата — все это предстало в незабываемой галерее трагических образов «бориславских» рассказов Франка («Нефтяник», «На работе», «Обращенный грешник»). Чуткий художник, он первый обратил внимание на зарождение в рядах только что возникшего пролетариата нового классового сознания («На работе», «Полуйка»).

Все эти мотивы нашли развитие и синтетическое завершение в повестях «*Voia constrictor*» («Удав») и «Борислав смеется».

В повести «*Voia constrictor*», опубликованной в 1876 году, и в повести «Борислав смеется» (1880—1882) с большой выразительностью воспроизведена атмосфера лихорадочной погони за богатством, путь к которому не только полит нефтью, но и обильно смочен кровью человеческих жерв. Через преступления идет к миллионам и герой обеих повестей — Герман Гольдкремер. С большой художественной убедительностью раскрывает

автор неотвратимый процесс отмирания человеческих начал в душе героя. Трагический вариант этого же процесса представлен в образе жены Гольдкремера — Ривки. В богатстве видит она причину всех своих несчастий: оно отняло у нее мужа, опустошив его душу и оледенив его сердце; оно внушило ее сыну смертельную ненависть к отцу; оно искалечило духовно и физически и ее — Ривку — когда-то такую здоровую и жизнерадостную. Поздно посещает это прозрение Ривку. К этому времени она почти полностью утратила человеческий образ, и прозрение уже не может возродить ее выгоревшую душу.

Капитализм (он представлен в первой из двух повестей в зловещем образе-символе гигантского змея-удава) повинен в неисчислимом количестве других несчастий и человеческих жертв. Его слуги—капиталисты Герман Гольдкремер и конкурирующий с ним Леон Гаммершляг — безнаказанно совершают преступления и обрекают многотысячную массу эксплуатируемых на голод. Развивая мотивы, уже наметившиеся в первых бориславских рассказах, Франко рисует зарождение классовой сознательности пролетариата. В повести «Борислав смеется» он первый в украинской и мировой литературе создает картину начального этапа *организованных* революционных выступлений рабочего класса, правда, еще далекого от правильного понимания конечных целей борьбы. В этой повести впервые в украинской литературе появляется образ пролетария, организатора рабочей массы — прообраз нового положительного героя литературы.

Две повести Франка о Бориславе значительно обогатили украинскую беллетристику. Острая конфликтность сюжетов (героическая борьба трудящихся против эксплуататоров; полная нечеловеческой злобы, жестокости и коварства борьба капиталистов-конкурентов между собой), типичность реалистических образов особенно образов капиталистов, богатство художественных средств — все это обеспечило повестям Франка неослабевающий интерес и любовь читателей.

Богаты правдивыми образами и реалистическими картинками очерки, рассказы и новеллы Франка из жизни галицкого крестьянства (сборник «В поте лица» и другие). Тематически они тесно смыкаются с произведениями бориславского цикла. Разорение и обнищание галицкого села сулит их героям ту же страшную участь, которую уже обрели герои рассказов и

повестей о Бориславе. Изображая многочисленные вариации горя народного, Франко и здесь указал на источник света, способного озарить жизнь людей. «Героями моих произведений, — писал он впоследствии, — почти никогда не бывают люди совсем темные и беспомощные, и если эти произведения будят у читателя симпатии к ним, то, конечно, не за страдания этих героев, а за их жизненную энергию, ум и чувство, которое они проявляют в жизненной борьбе».

Эту общую характеристику можно распространить и на его, в значительной мере автобиографические, «тюремные» рассказы и повести: «На дне», «К свету», «Панталаха» и другие, где среди людей обездоленных, искалеченных, духовно изуродованных мы нередко видим героев свободолюбивых (Панталаха), преданных высоким идеям свободы и просвещения (Андрей Темера в повести «На дне»). На этих рассказах с большой силой отразилось влияние русской революционно-демократической беллетристики 60—80-х годов, особенно Решетникова и Глеба Успенского. Оно чувствуется как в характере идейной проблематики, так и в намеренной скупости художественных средств и в ярко выраженной публицистичности.

Значительное место в прозе Франка занимают повести из жизни украинской и польской интеллигенции: «Столпы общества» (1894—1895), «Ради семейного очага» (1892—1897) и «Раздорожье» \* (1899). В них Франко изобличает паразитов и угнетателей народа, гордящихся «чистотой расы» и в то же время способных даже на зверское убийство ради ограбления ближнего («Столпы общества»), внешне благопристойных, а на самом деле не брезгующих «ради семейного очага» даже торговлей «живым товаром». Особенно уродливые контрасты, отталкивающие явления деградации и разложения показывает Франко в образах представителей польской «золотой молодежи».

В повестях «Раздорожье», «Лель и Полель» (1897), в незаконченном романе «Не спросясь броду» Франко ищет положительного героя в среде интеллигенции. Однако эти поиски приводят к результатам не всегда убедительным. Выводы в этих повестях интеллигентов-украинцев, отстаивающих интересы простого народа, Франко несколько идеализировал легальные возможности борьбы в пределах австрийской конституционной

---

\* В издании Гослитиздата 1948—1951 гг. — «Пути-дороги».

«законности», не всегда ясно представлял себе враждебность либерализма революционным методам изменения действительности. Но, как писатель-реалист, Франко оставался и в этом случае во многом верным жизни. Объективно повести Франка показывают несостоятельность либеральных и радикальных платформ галицкой интеллигенции его времени. Общественная деятельность адвоката Рафаловича, которую тот проводит в строго легальных нормах, оказывается по существу безрезультатной («Раздорожье»). Более радикальные братья-близнецы Калиновичи гибнут на полдороге, как трагические жертвы любви к одной и той же женщине, забыв ради нее о своих клятвах и стремлениях служить народному делу («Лель и Полель»). Малые дела других «положительных» героев Франка, шедших в народ в надежде облегчить его страдания, не всегда приносят удовлетворение и самим героям.

Живительной струей в этих повестях является горячий патриотизм автора, его любовь к своей угнетенной родине и народу. Те же чувства Франка выразились и в его исторической повести «Захар Беркут» (1881—1882). В ней он рассказал о героической борьбе славян в XIII веке против монгольских полчищ Батыя. Герои повести — вожак горного тухольского племени Захар Беркут, его сын Максим и возлюбленная Максима, Мирослава — изображены как люди высокого патриотического подвига. С большим знанием воспроизводя быт, нравы и культуру феодальной эпохи, рисуя не без идеализации «социалистические» черты в жизни древнеславянской общины того времени, Франко стремился разбудить в читателях горячую любовь к родине, воспитать в них гражданские доблести.

Представление о тематическом и жанровом богатстве, разнообразии художественных средств и образов прозы Ивана Франка было бы неполным, если бы мы не назвали его сатирических рассказов, новелл и «сказок». Сатирическая направленность писателя вообще проявляется во многих его произведениях, и прозаических, и поэтических. Не однажды можно отметить близость его сатиры к бичующей и гневной сатире Щедрина. На это Франко не раз указывал и сам. В неоконченной повести «Сморгонская академия» он явно наследует композиционные принципы и особенно принципы сатирической типизации «Истории одного города». Но чаще Франко, как писал он в одном из писем А. Крымскому, «сам себе искал дорогу, пробовал разные тона и разные манеры, стараясь об одном, — чтобы содер-

жание было свое, чтобы душа произведения была частью моей души».

Сатирические произведения Ивана Франка при всей стилевой близости их к Щедрину и Гейне, которого он также очень любил, всегда самобытны, продиктованы обстоятельствами социально-политической действительности и политической борьбы на Украине, и особенно в Галиции тех лет. Его сатира, как и сатира Щедрина, никогда не разменивается на мелкие темы, никогда не скользит по поверхности. Все его сатирические произведения посвящены важной, острой, злободневной и обязательно политической тематике. Он беспощадно и метко бичует «свинцовые мерзости» австрийской монархии, подобно тому как Щедрин бичевал эти мерзости в России. В сказках («Как русин на том свете слонялся», «Как Згода [Согласие] себе дом строила», «Сказка про Добробыт», «Свинья», «Оппозиция», «Звериный бюджет»), в сатирических рассказах («Миссия», «Чума», «Свинская конституция», «Наша публика», «Строгий-престрогий староста», «История одной конфискации», «Доктор Бессервиссер»), в сатирических «думах» и поэмах он разоблачает «конституционный» строй австрийской монархии, продажность и предательство украинской националистической буржуазии и ее депутатов в австрийском парламенте, антинародную сущность австрийского государственного бюджета, филистерство, аполитичность, затхлое мещанство, беспринципность галицкой интеллигенции, реакционную поповскую агентуру Ватикана в Галиции. Франко-сатирик создает потрясающую по своей правдивости и беспощадности картину «среднеевропейского болота», каким являлась австро-венгерская «лоскутная империя», и вызывает то же чувство справедливого гнева, какое вызывал своей сатирой великий Щедрин.

## 7

Крупным вкладом в развитие украинской драмы и театра явилась драматургия Ивана Франка.

Придавая театру огромное значение в жизни народа, Франко отдал много сил борьбе за украинский театр в Галиции и за создание национального репертуара для него. Пафосом этой борьбы преисполнены его статьи о театре («Наш театр», «Украинский театр», «Украинский театр в Галиции», «Наша театральная

мизерия») и многочисленные театральные рецензии. Франко ратует в них за украинский театр, как театр народный. Это совсем не значит, что театр должен ограничиваться изображением жизни одного крестьянства. «Пусть театр будет народным в несколько более широком значении, пусть дает нам картину украинского общества, общества нашего края, картину взаимоотношений различных слоев общества нашего края, украинского народа; это будет задача очень большая, поле для театра очень широкое» \*.

К тому времени, когда Франко писал это, украинский театр в Галиции пробавлялся низкопробными изделиями бесталанных драмоделов вроде Устияновича, Огоновского, Цеглинского, Янчука и других, либо, что было еще чаще, пустыми французскими водевилями и оперетками. Франко объявил решительную войну этому репертуару, заявив, что с таким репертуаром театр не может выполнить своего благородного призвания. «Пусть его не прельщает ни французская оперетка, ни салонная болтовня, ибо первая деморализует не только общественность, но и артистов[...], вторая по самой природе своей не может иметь на украинской сцене успеха», так как украинские артисты не изощрены в исполнении салонных ролей, а украинский язык совсем не приспособлен для салонной болтовни.

Франко рекомендовал украинскому театру в Галиции искать выход в двух направлениях. Во-первых, брать все лучшее из украинского репертуара — пьесы М. Кропивницкого, И. Карпенка-Карого, М. Старицкого в первую очередь. Во-вторых, создавать пьесы на материале галицкой жизни, которые удовлетворяли бы нуждам местного театра и вместе с тем пополняли общеукраинский национальный репертуар.

В борьбе за реалистический украинский театр Франко руководствовался теми требованиями к реалистическому искусству, которые сложились у него под влиянием русской революционно-демократической критики и эстетики. Театр как «школа жизни» должен, по его мнению, «будить в слушателях критическое отношение к этой жизни». «А чтобы такая критика была верна, она должна быть полной и всесторонней, основываться на полном и широком изображении общества. Театр, который подвергает публичной критике лишь некоторые малозначительные явления, высмеивает и клеймит лишь некоторые мало-

---

\* «Kurjer Lwowski», 1893, № 351.

значительные, второстепенные недостатки и оставляет в стороне, замалчивает или лживо прикрывает главные, основные недостатки общества, такой театр никогда не станет вполне национальным, не будет школой жизни или будет плохой школой» \*.

Статьи Ивана Франка, выражавшие его взгляды на театр, его понимание задач театрального искусства, а главное, его пьесы — все это еще раз подтверждает огромную и благотворную силу влияния эстетики и критики русских революционных демократов на его творчество, эстетические и литературно-критические взгляды.

Новаторством отмечено все творчество Франка-драматурга. Он испробовал свои силы почти во всех жанрах драматургии и во всех жанрах создал глубоко оригинальные, своеобразные произведения. Его социально-психологическая драма «Украденное счастье», историческая драма в стихах «Сон князя Святослава», социально-бытовая комедия «Рябина», сатирическая комедия «Учитель», одноактные пьесы в стихах и прозе составляют значительный вклад в украинскую драматургию. Самой сильной стороной драматургии Франка является умение глубоко раскрыть психологию героя, показать в ярком свете художественного изображения драматизм сокровенных человеческих чувств и переживаний.

Вершиной драматургии Франка является драма «Украденное счастье» (1893). Разрабатывая в ней крестьянскую тематику, Франко сумел раскрыть и показать в душе простого труженика сильные и глубокие переживания, сложную и богатую гамму чувств, он обнаружил в этой душе огромный запас сил и страстного протеста против всех видов и форм социального гнета.

Продолжая в «Украденном счастье» лучшие традиции украинской драматургии, Франко вместе с тем создал глубоко новаторское произведение. Его новаторство проявляется и в композиции пьесы, и особенно в силе и правдивости трех наиболее индивидуализированных и показанных в развитии образов пьесы — в образах Анны, Миколы Задорожного и Михайла Гурмана.

---

\* Иван Франко, Твори в двадцяти томах, т. XVI, стр. 179.

В душевной атмосфере «темного царства» забитого и угнетенного западноукраинского села Анна, несомненно, «луч света». Всею чистотой и силой своего чувства она, как и Катерина в «Грозе» Островского, восстает против лжи и насилия. Восстает— и погибает. В величии этого протеста, в духовном богатстве образа Анны с большой полнотой выразились национальные черты украинского женского характера. Образ Анны был и остается одним из самых глубоких женских образов украинской литературы.

В целом художественное творчество Ивана Франка, изобилующее правдивыми картинами жизни и яркими художественными образами, при типичности многих его персонажей и несомненной новизне содержания и формы, представляет подлинно великий вклад в художественное развитие украинского народа. Одновременно—это значительное явление в истории развития реалистического направления всей мировой литературы.

## 8

Иван Франко не был одинок в украинской литературе конца XIX—начала XX века. С каждым десятилетием пополнялись и возрастали ряды ее передовых, прогрессивных деятелей — учеников, соратников и единомышленников Ивана Франка. В удушливом захолустье Галиции вслед за Франком и благодаря его помощи выросли такие выдающиеся таланты, как Стефаник и Черемшина, Мартович и Кобылянская. С признательностью смотрели они на Франка, как на своего учителя, вслед за ним обратились они к живительному источнику прогрессивной русской литературы, особенно к ее революционно-демократическому направлению. Творчество этого нового поколения западноукраинских писателей-реалистов свободно от той ограниченности, которая характеризовала украинскую литературу Галичины в первые десятилетия борьбы Франка за реалистический путь ее развития.

На путях критического реализма развивалось творчество Панаса Мирного, Павла Грабовского, Михаила Коцюбинского, Леси Украинки. Вместе с этими замечательными писателями Иван Франко и его лучшие западноукраинские ученики и последователи возглавили передовые силы украинской литературы. Именно в их творчестве выразился с наибольшей

полнотой ее написанальный характер. В своем творческом содружестве и идейной солидарности они были как бы «могучей кучкой» украинской литературы, они остаются и сегодня ее славой, ее гордостью

И чем шире советский и зарубежный читатель знакомится с их произведениями, чем больше познаёт созданный ими мир образов и идей, тем глубже проникается он уважением к национальному гению украинского народа. Тем выше ценит он творчество одного из самых выдающихся представителей этого народа, каким был Иван Франко.

*М. Пархоменко*

# *В поте лица*

*Рассказы*

1890



## ЛЕСИХИНА СЕМЬЯ

### I

Дивное летнее утро. От прохладного легкого ветерка чуть колышется, переливаясь, широкая полоса ржи. Рожь — как золото. Крупные колосья склонились под тяжестью зерна и жемчужных капель росы, свисающих с каждого стебелька. Стебли, высокие и стройные, желтые и плотные, стоят среди зеленых листьев полевого выюнка, полетицы, молочая и прочего бурьяна, стелющегося по земле. Кое-где виднеется посреди этого золотого шумящего и пахучего моря чарующий синий глазок василька, или цветок куколя, или девичье, пылающее румянцем личико полевого мака.

Взошло солнце. Застрекотали на все лады кузнечики, зажужжали большие полевые мухи, затрепыхались разноцветные мотыльки над колосистым морем. Природа ожила. Ветер подул сильнее, подул теплом со стороны леса и начал стряхивать серебряную росу с трав и цветов.

В селе поднялся шум, закипела жизнь. Выгон запестрел от коров, выпущенных на пастьбу. За коровами шли заспанные и неумытые пастухи. Только некоторые из них, уже успевшие позавтракать, весело напевали, покрикивали и похлопывали длинными кнутами, погоняя скот.

Над хатами закурился дым. Хозяйки топят печи спозаранку, чтобы во-время сварить обед; младших отправляют в поле.

Лишь у старой Лесихи не курится дым над соломенной крышей. Хотя их там трое: старуха, дочка Горпина и молодая невестка Анна, но они никогда с утра не топят, всегда под вечер. Вечером и напекут и наварят что нужно, а весь божий день ни о чем не заботятся. Работящие хозяйки, хоть куда!

Хозяйство у старой Лесихи не из худших. Хата хоть старая, но еще крепкая; постройки во дворе новые, просторные и опрятные; скотинка добрая — гладкая, прости господи, словно послушники монастырские. Пасека тоже после покойника Лесья не пошла прахом. Лесиха пустила к себе в хату старого деда, нищего Зарубу, обшила его, обмыла, — и вот дед летом и за пасекой ходит и в доме за каждой мелочью досмотрит.

Лесиха и взаправду была женщина хозяйственная и усердная. Нрава крутого и твердого. Бывало, если за что возьмется, — так хоть лопни, а поставит на своем. Хотя волосы у нее и поседели, но лицо было румяное и здоровое, как свекла. Она не умела льстиво или красно говорить. Речь у нее была отрывистая и как будто сердитая. Шутки или какого-нибудь другого ласкового и сердечного слова от нее не слышал никто. Любого, кто бы ни был, умела донять своим острым языком. Правда, говорят, не от хорошей жизни стала она такою. Покойник Лесь, сказывают, крепко бил ее с молодых лет, привязывал за косу к скамье и бил... С горя она тогда и напивалась не раз, и эта привычка осталась у ней по сю пору, хотя пьянство никогда не доводило ее до того, чтобы она растратила и промотала нажитое горьким трудом добро. Если пила, то пила одна. Ни у нее в хате, ни в селе никто никогда и не понюхал от нее чарки водки. Старая Лесиха была сурова и скупа.

Лесихин сын Гнат долго не мог жениться. Ни одна девушка на селе не хотела идти за него. Неизвестно, почему: потому ли, что был он зол и задира, потому ли, что очень был некрасив собой. Волосы искрасна-рыжие, глаза маленькие, хитрые, как у татарина, сам большой, голова как горшок, а губы, точно подушки, оттопыренные. Ну, да не о том речь — суди его мать пресвятая богородица! — довольно того, что ни одна девка не хотела идти за него. Еще невесть отчего и почему, — тол-

ковали люди, что Гнат и на руку нечист, что промеж его пальцев иной раз кое-что чужое застревало. Не знаю, где как, но в нашем селе нет худшего позора, как если кого вороватым обзовут. Вроде бы и не вор, ничего такого за ним не водится, а вороватый. Как говорят, «с чужим добром не разминется». Не то ночью пару снопов с поля, не то днем какую-нибудь мелочишку с чужого пустого двора потащил, — словом, видел кто или не видел, а уж если пошла такая слава о человеке, то ничем он ее с себя не смоеет. Так вот и было с Гнатом Лесихиным; вот почему он не мог долгое время жениться. Ни одна не хотела идти за него, и всё.

Но в конце концов нашлась-таки одна — Тимишева Анна. Вышла она за Гната, да на свое горе. Бедная сирота, без отца, без матери, только и принесла она приданого в Лесихину хату, что свои черные брови, карие очи да две руки работающих и терпеливое, послушное и покорное сердце. Ой, и хлебнула же она горя за Гнатом! Не прошло и года, а уж стала вянуть ее краса, погас блеск ее глаз, склонилась к земле красивая головка! Оно и понятно — споры, ссоры и драка. Кого они не пригнут к земле, у кого не отнимут веселости?

Вот вам и вся Лесихина семья. Да, был еще у Лесихи мальчик — батрак Василь, скотину пас. Его прозвали горлопаном за то, что всегда, чуть только загонит скотину в лес, так и начнет орать там во все горло, не переставая ни на минуту. То коломыйку зачистит, то думку затянет, то свадебную, то из псалтыри да гласов церковных. Грамоты он не знал, все перенимал на слух и хоть бы одну песню умел окончить! Напевы и слова песен в его голове переплетались в каком-то диком беспорядке и вскидывались, как клочья сена под буйным ветром. Они не занимали, а только одурманивали его. Он, когда пел, забывал и о себе и обо всем окружающем. Скотина брела куда хотела. А если пел кто другой, он не любил слушать. Словом, какой-то придурковатый. Отчего это с ним случилось, бог весть. Может, тоже от нужды да побоев. Ох, и натерпелся же он всякого горя с той поры, как померли его родители в холеру. Они, говорят, были зажиточные и очень баловали своего Василька. Смерть унесла их внезапно, в один день. Василек

перешел в чужие руки, а чужие руки, известно, не глядят! Били его за изнеженность, за упрямство, за лень. Выгнали из него эти пороки, но затуманили его молодую голову, затоптали последние искорки детской свободы и живости. Добро его расплозлось в чужих руках, как снег в воде, а Василя отдали на службу к старой Лесихе. А тут, конечно, попал он в еще более суровую школу. Тут его донимали не столько побоями, сколько голодом и бесконечными попреками, которыми Лесиха умела точить чужую душу, как ржавчина железо. А Василь словно и не слышит. Пока в хате, среди людей — молчит, ходит, как очумелый, а чуть только вырвется на волю, в лес, на выгон, — все поет-поет, а вернее горланит бессмысленно, людям на смех, а себе, видно, для облегчения, а может, чтобы забыться, одурманить себя и ничего не чувствовать.

## II

Лесиха, сказано, хозяйка — первая выходит жать с дочерью и невесткой.

— Ну, ну, пустит ли и нынче наш горлопан скотину в посевы, или вспомнит вчерашние синяки? — заговорила, как бы шутя, усмехаясь, Лесиха, идя впереди и поблескивая новым серпом, зажатым подмышкой.

— Отчего ж ему не пустить? Как начнет горланить, так обо всем на свете забудет, не то что о скотине! — ответила Горпина. Ее красивое молодое лицо в лучах восходящего солнца светилось здоровым румянцем. Она была, пожалуй, самой счастливой в доме. Мать любила ее, хотя, правду сказать, не раз и Горпине приходилось хлебнуть горя от матери или от брата.

— Вот, затравили бедного парня, как кота очумелого, а теперь добивают! — шепнула как бы про себя Анна. В сердце бедной сироты скорее пробудилась жалость к такому же круглому, несчастному сироте.

— Ага, свой своему поневоле брат! — отрезала ей гневно Лесиха. Она расслышала тихие слова невестки.

— Сирота, сирота, а глотка широка! — продолжала кричать Лесиха. — Небось, моя кошечка, и тебя бы с ним на один сук! Сошлась пара, да и давай друг друга

жалеть. Эх, не дай же вам мать божья светлого часа за то, что вы мой труд даром переводите, мой хлеб даром жрете, а сами еле ползаете!

— Ну, мама, уже снова завели? — огрызнулась Горпина. — И как же вам не совестно такое говорить? Да вы бы, кажется, и камень с места сдвинули своим языком, лишь бы не лежал даром и места не занимал, не то что живого человека. Да разве мы не работаем, даром хлеб едим?

— Ой, ра-бо-о-таете! — растягивая слова, передразнила Лесиха. — Так работаете, словно у вас руки глиняные, а вместо головы кочан капусты. Если не покрикивать на вас, не думать за вас, так было бы с вашей работы столько проку, как от прошлогоднего снега.

Лесиха умолкла. Запыхалась. Никто больше не отзывался.

Пришли на поле. Анна выбрала местечко на меже, сложила там полдник. Лесихина нивка была в шесть полос. Втроем они могли легко управиться с ней за день.

Лесиха уже распоряжается.

— Ты, негодная, — обратилась она сразу же к невестке, — становись здесь! (Указала самую широкую полосу.) Ты (дочке) здесь, а я — с краю!

Стали.

— Господи, благослови! — сказала Лесиха и первая сжала рядок спелой, колосистой ржи, первая скрутила свясло, связала снопок и отставила его в сторону. Первый снопок, как водится, — на урожай.

— Ну, за работу! — повторила она. И три женских лица склонились к земле, зарумянившись. В руках зашуршали серпы, захрустели твердые стебли ржи, подрезанные блестящими зубчатыми лезвиями. Ряд за рядом падает на землю. Красивым плавным движением перебрасывают жницы через голову сжатую рожь и кладут на жнивье. То одна, то другая выпрямится, возьмет охапку ржи, отряхнет от полевого бурьяна, разделит надвое, скрутит свясло и положит на свежем пахучем жнивье. Кузнечики, жуки и всякие мурашки убегают из-под серпов. Иногда и вспугнутая серая мышь-полевка выскочит из своей норы, пробежит под ногами жницы и снова юркнет в норку.

Спозаранку, по холодку, по росе хорошо жать. Хруп-хруп, хруп-хруп... Только всего и слышно, да еще шелестит складываемая в снопы рожь.

Но постепенно свежий полевой воздух, безлюдная ширь и тишина поля, однообразие работы располагают душу высказаться. Но беседу здесь не легко завязать — старая Лесиха сейчас грубо оборвет ее. Только и остается одно — песня.

И вот понемногу из общей тишины и однообразного хруста стеблей выделяется чудесный, серебристый, сначала тихий, как бы несмелый голосок. Это голос Горпины. Старуха жнет, не обращая внимания на песню. Горпина смеется, голос крепнет, из сердца невольно льется грустная песня:

Туди лози хилилися, куди їм похило;  
Туди очі дивилися, куди серцю мило\*.

— Эй ты, негодная тварь! — крикнула Лесиха не вестке. — Ты никак отстаешь уже? Руки у тебя свело, что ли?

Анна, слабая от природы, не попевала на самой широкой полоске идти вровень с другими. Она отстала уже почти на полтора снопа.

— Что вы, мама, нынче прицепились ко мне, как оса? — ответила она, собрав всю свою храбрость, но не поднимая головы. — Не видите разве, что не могу быстрее жать, полоска широкая? Ваш клин — другое дело. Хорошо вам ворчать.

Это разозлило Лесиху.

— О, посмотрите на нее! Какая смелая да дерзкая! Еще и рыло свое задирает! Эх, голубушка моя! Скорее бы вечер, придет Гнат с косовицы, не будешь ты такая разумная!

Анна хотела еще что-то ответить, но Горпина шепнула ей:

— Брось, сестрица! Мама всегда ворчит... Давай жать вместе!

---

\* Туда лозы клонились, куда их клонило, Туда глаза глядели, куда сердцу мило (украинск.)

Анна замолкла. Горпина начала помогать ей, почти половину полоски забрала себе. Добрая она была, не в мать уродилась, лишь иногда поддельвалась под нее, зная жесткую материну натуру. Снова стало тихо, лишь хрустят стебли да иногда серп звякнет о камень.

Горпина немного погодя завела другую песенку. Потянуло Анну на печальное, жалобное, и она тоже попыталась излить их в песне. Она несмело, но ровно, с переливом, затянула:

Зайшло сонінько за віконінько,  
Як промінноє коло;  
Вийди, миленька, вийди, серденько, —  
Промов до мене слово!  
Рада би-м вийти, рада би-м вийти,  
До тебе говорити, —  
Та лежить нелюб по правій руці,  
Боюся го збудити! \*

Лесиха слушала песню, стиснув зубы. Несколько раз она сурово исподлобья взглянула на невестку. Анна не видела этого, она жала и пела. Из ее затуманенных глаз скатилась даже крупная слеза и упала на серп. Видно, и сердце ее пело ту же песню, что и уста.

— Вот что у нее в голове! Хозяюшка моя нечесаная! Какие песенки выводит! — перебила гневно Лесиха.

— Не троньте вы, мама, Анну! — с сердцем отрезала Горпина. — Что за блажь на вас нашла? Ни говорить, ни плакать, ни смеяться не даете, еще и петь не велите! Какой черт выдержит у вас?

— Ну, ну, расстрекоталась, сорока куцехвостая! — прикрикнула мать. — Изволь жать да молчать! Небось знаю я, где у тебя раки зимуют! Лучше молчи, а то и ты узнаешь, чего еще не знала!

Снова пошла работа однообразно, уныло. Старуха время от времени покрикивала то на невестку, то на дочку, точно панский приказчик. Солнце уже поднялось высоко. Сжатая рожь не вязалась в снопы и устилала ши-

---

\* Зашло солнце за оконцем Лучистым кругом; Выйди, милая, выйди, сердечко, Скажи мне хоть слово! — Рада бы выйти, рада бы выйти, Поговорить с тобою, — Да лежит нелюб по правую руку, Боюсь его разбудить! (украинск.)

рокие полосы. Уже три наши жницы пополудневали и, не отдыхая, снова взялись за дело. Солнце пекло, с лиц катился пот. Кузнечики стрекотали громко и пронзительно. Казалось, голос их раздаётся где-то глубоко под землей и проникает в ухо, точно острый кремнистый песок. Кроме кузнечика, все затихло, все спряталось в тень от палящих солнечных лучей. Только люди, цари природы, мучаются тогда, когда сама природа отдыхает.

### III

— Лесиха! Лесиха! — слышен голос какого-то косяря с опушки леса.

Лесиха встала, приложила козырьком руку к глазам, всматриваясь вдаль.

— Не видите, что ли, ваши три коровы в овсах! — продолжал голос.

Из леса долетали вскрики и визгливое пенье Василя:

Ой, там на горбочку  
Сидів д-дько в черепочку,  
А ми його не пізнали...  
Гей...

(это «гей» тянулось бесконечно долго),

мати ж моя, мати,  
Пусти мене погуляти...  
Го-о-о-а-усподи, воззвах тобі, услиши м'я!.. \*

— Ах, чертово отродье! Снова напаскудил! Чтоб ты все печенки из себя выкричал! Василь, гей! Василь, гей! Черти бы тебя разорвали! Болван этакий, гей! Не видишь, что ли, — коровы в овсах, а? Лопнули бы твои глазищи, черт проклятый!

— Господи, помило-о-оуй! — слышался ответ из леса. И это «лой» тянулось снова очень долго и пропало, наконец, где-то в далеком темном лесу.

---

\* Ой, там на пригорке Сидел черт в черепке, А мы его не узнали... Мать моя, мать, Пусти меня погулять... (украинск.) Господи, воззвах тебе, услиши мя! (церковн.-славянск.)

— Горлопан, а Горлопан! — закричал снова косарь с опушки леса. — Что ж ты не выгонишь коров с поля? Расперло бы тебя, как Бачинскую гору, черт!

— Ой дуду-дуду-дуду, за волами я иду! — заливался Василь в лесу.

Косарь, видно, потерял терпение, подхватил косу на плечо и побежал сам выгонять коров из овса. Загнав их в лес, он исчез вместе с ними в густой зелени.

Через несколько минут послышался крик и рев Василя.

— Вот так! Вот так! — приговаривала Лесиха, снова наклонившись над жнивьем. — Пусть с него там хоть три шкуры спустят, слова не скажу! Скотину паси, а не горлань!

Вечерело. Солнце закатилось за синие горы. Мгла опустилась на луга и клубилась все шире и шире густым сизым туманом. Из мглы, словно ребенок из-под теплой перины, отозвались коростели. Перекликались перепелки во ржи.

С мочажин повеяло теплом и запахом озерной купавки и татарника. Хорошо и легко становилось на сердце.

Наши жницы дожали нивку, остановились, расправили плечи и глубоко вздохнули.

— Славный денек будет завтра, — проговорила Лесиха несколько ласковей, чем обычно. — Благодарение богу, управились мы-таки сегодня. Завтра нужно будет ячмень на Базарище начать.

— Славная ночка будет нынче! — прошептала Горпина, слегка покраснев, и вздохнула.

Анна улыбнулась ей, но как-то печально, словно сквозь слезы. Она одна знала тайну девичьего сердца Горпины, знала о ее любви к пригожему чернобровому парубку Дмитру Грому.

— Ну, что стоите! Анна! Собирай траву, коровам отнесем! А ты, девка, беги телят поить! Ну, живей!

Анна сразу молча взялась за работу, охотней, чем всегда. Удивительная сила заключена в одном ласковом слове! Горпина вприпрыжку, напевая, побежала домой, а старая Лесиха, положив серп на голову, острием к платку, и взвалив себе на плечо первый сноп, гордо

пошла за нею. Последней пришла домой Анна, неся на плечах большую охапку свежей, душистой и цветистой травы. Коровы уже ждали ее и, увидев свой обычный ужин, замычали от радости и столпились у ворот сарая, ожидая, когда придет черед каждой из них войти туда, поест вкусной травы и отдать в чистый подойник свой дневной запас молока.

#### IV

Уже совсем смерклось. У Лесихи топится печь, и огонь пылает ярким, красным пламенем. Анна с Горпиной хозяйничают, варят, что нужно на завтра.

Дед Заруба вслух читает молитвы, сидя на лежанке, а Василь, наслушавшись ругани Лесихи и получив дватри подзатыльника, залез на печь и заснул, не дожидаясь ужина.

Под окном послышались тяжелые мужские шаги и звон косы, а немного погодя вошел в хату Гнат, бросил старую соломенную шляпу на лавку и сел у стола.

— Эй, Горлопан! Быки привязаны?

— Привязаны, привязаны, — ответила Анна, перемывая посуду и собирая ужинать.

— А ты, хозяйка, куда серпы сунула?

— Куда же? В сенях, у притолоки! Где же им быть?..

— Ага! А вот не догляди я, так бы ногу на всю жизнь и искалечил! У самого порога лежат!

— То коты, верно...

— Ой, голубка моя! Береги мое добро, как зеницу ока. Своего-то у тебя нечего переводить! Не принесла мне никакого приданого!

Анна замолчала. Ее больно задели эти слова. «Зачем же ты брал меня? Ведь ты и тогда видел, что я бедна!» Такие мысли теснились у нее в голове, но у нее не хватало смелости высказать их в глаза Игнату.

— Ну, спать! — командует Лесиха. — Ты, негодница, огонь в печи погаси, жар отгребни на загнетку, слышишь? Горшки в печь поставь, каша лучше на завтра допреет! Горпина, а воды еще нет! Беги по воду, живей!

Анна начала убирать, а Горпина выбежала в сени. Зазвенели ведра и коромысла, скрипнула дверь, а со двора уже слышалась веселая песенка:

Коби-м була так красна, як та зоря ясна,  
Світила би-м миленькому, ніколи не згасла! \*

— Ишь как у нее в голове ветер гуляет! — отозвался Игнат, раздеваясь. — Мама, не посылайте вы ее никогда вечером за водой!

— Почему?

— Да будто вы не знаете? Тот длинноносый Громик, вон, на той стороне, через дорогу, что-то к ней...

— Что-о? — взвизгнула Лесиха. — Этот сопляк смеет лезть к моей дочке? Да я все волосы повыдергаю с его шелудивой башки! Я пойду к его матери, пусть она его возле себя держит, коли хочет, чтобы с ним беды не случилось!

Гнат уже улегся. Лесиха долго еще не ложилась и ходила по хате.

— Эх, попадись только он мне! Будет меня помниты! Свиненок этакий! Пополам раздери проклятого!

— Ой, мама, да вам-то что? — начала уговаривать ее Анна. Она до сих пор молчала, кончая уборку. — Что вам пришло в голову? Слушайте больше, что Гнат плетет! Пусть скажет, видал ли он своими глазами, как Громик к Горпине приставал?

— Ишь какой аблакат нашелся! — отозвался с постели Гнат. — Ляжешь ты спать, наконец, работница ты моя неоплатная!..

Лесиха разделась и легла на лежанку, где Анна постелила уже для нее мягкую перину и положила две подушки. На печи уже громко храпел дед Заруба, да время от времени вскрикивал во сне Василь.

— Дед, а дед, повернитесь на другой бок! Не храпите так, печь завалится! — крикнула Лесиха, толкая деда в бок.

— Бог заплатит! Ручкам работающим, и ноженькам приходящим, и головам внимающим, — начал было

---

\* Если б я была так же хороша, как светлая звезда, — Светила бы милому, никогда бы не погасла! (украинск.)

Заруба сквозь сон свою обычную молитву, но тут же повернулся на другой бок и затих. Через минуту заснула и Лесиха.

Тихо стало в хате. Месяц несмело, бледно глядится сквозь тусклые окна. Анна еще не легла. Она уперлась головой в окно, а локтями о подоконник и долго стояла глубоко задумавшись. О чем она думала? Бог весть! Быть может, проходили перед ее глазами ее молодые годы, невеселые, сиротские. Быть может, зашевелилась в ее сердце первая, счастливая, бесталанная любовь, потому что в глазах появились две слезинки, а из уст едва слышно полилась печальная думка:

Шуміли верби в Поповій Дебрі,  
Та й лозовое пруття;  
Люблю тя, дівча, люблю, серденько,  
Про людей не візьму тя.  
Не так про людей, не так про людей,  
Отець-мати не велить...  
Мене за тобов, мене за тобов  
Само серденько болить! \*

— Жена, голодранка ты моя бестолковая! Мышей, что ли, ты собралась ловить? Чего спать не идешь? — окликнул Гнат.

Анна встрепенулась, утерла слезы и стала на молитву. Молилась долго, горячо, простыми, сердечными словами.

Со двора доносилось ржанье лошадей, которых пастухи гнали в ночное, жалобный голос сопилки, пиликанье коростелей в траве. Залаяла собака и умолкла. Закричал поздний аист на соседской хате. А на выгоне прощалась Горпина со своим дружкой.

— Горпина, сердце, обожди еще хоть минуточку! Мы еще и не наговорились.

— Нет, Дмитрик, нельзя больше, мама будет браниться. Ты знаешь, какая она! Спокойной ночи тебе! А завтра...

---

\* Шумели вербы в Поповой Чаше, И ветви лозы; Люблю тебя, девушка, люблю, сердечко, Из-за людей не женюсь на тебе. Не из-за людей, не из-за людей, Отец с матерью не велят... У меня по тебе, у меня по тебе Сердце болит! (украинск.)

Не договорила, схватила ведра с водой и побежала к хате.

— Завтра, — шептал ей вслед Дмитро. — Кто знает, какое-то завтра будет?

Долго смотрел он с выгона на Лесихину хату, а потом задумался.

«Не напрасно ли я полюбил ее? Отдаст ли ее за меня старая Лесиха?» — подумал он. Сердце у него сжалось, когда он вспомнил о своей бедности.

«Нужно работать, работать, что есть силы работать, а выйдет ли еще что из этого?.. Такая уж наша доля...

Он глубоко вздохнул, вынул сопилку из-за пазухи и заиграл на ней, да так жалобно и грустно, точно в этих звуках тонули все его надежды на тихое счастье.

— Горькая моя доля! — прошептал Дмитро и пошел к себе на двор, к бедной, обсаженной вербами хатенке, где жила его старуха мать. Из-за густых зеленых верб слышался вскоре молодой голос, он выводил песню:

Ой, ще кури не піли,  
Кажуть люди: день білий!  
Ой, вийди, вийди, хороша дівчино,  
Поговори зо мною! \*

*Долин, июнь 1876*

---

\* Ой, еще петухи не пели, А люди говорят уже день белый! Ой, выйди, выйди, краса-девица, Поговори со мною!  
(украинск.)

## ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Что вы, кум, толкуете о дружбе! Друзья, приятели! А я вот готов на что хотите спорить, что нет на свете ни настоящей дружбы, ни настоящих друзей! Назовите меня как хотите, говорите, что вам угодно, а я буду стоять на своем. Да и что такое — приятель? Найдете вы такого приятеля, который помог бы вам в нужде или чем-нибудь выручил? Говорится только так, чтобы что-нибудь сказать, и все! А коли хотите, так я вам тотчас докажу, чтоб вы знали, как мало теперь можно надеяться на приятеля!

Вы ведь знаете, в какой дружбе я был с Хомой Пидгорбочным. Да и как нам было не подружиться? Мы ведь были первые парни на все село, крепкие такие, словно дубы. Жили мы при отцах, благодарение богу, хорошо и работать не ленились. В праздник, бывало, приоденемся, как бог велел, — не стыдно и на людях показаться. А дивчата! О, уж эти так за нами набегаются, один Андрей святой знает! Известно, парни чистяки были, и не последних родителей дети.

Дружили мы с Хомой так, что просто любо. В лес ли по дрова, в камыши ли на охоту за утками, в пляс ли, на другое какое дело — всё вместе. И не было между нами ни ссоры, ни несогласия. Скажет, бывало, Хома: «Семен, выходи завтра на мой покос, там еще осталась трава,

а у тебя все скошено!» — «Почему не выйти? Выйду!» — говорю. Скажу, бывало, Хома: «Дружище, у вас сейчас нет работы, возьми-ка ты наш бредень да почини хорошенько; с воскресенья пойдем на Днестр рыбачить». — «Ладно», — скажет Хома, тут же возьмет бредень и починит.

Наше село, знаете, у самого Днестра стоит, еще и на равнине. А мы оба очень любили рыбачить. Пойдем, бывало, с вентером, или с бреднем, или, если полая вода, просто с сачками, наловим такой красоты, что просто страсть! И себе хватит и на продажу!

Ну, ничего! Вот так! Дружили мы с Хомой, как родные братья. Не раз удивлялись на нас люди. Как это они меж собой ладят, говорят. Ведь они — огонь и вода! Я, знаете, от роду медлительный, а Хома горячий, словно искра. Но что тут говорить! Подружились, так уж назад не оглядываться! Ладили, да еще как! Кабы наша громада так каждый раз ладила, выбирая нового войта, наверняка не было бы у нас такого шума и драки, как бывает!

Эх, годы молодые! Хороши бы вы были, золотые бы вы были для каждого парубка, кабы не приходилась на вас эта страшная ведьма — солдатчина. Теперь что? Теперь это игрушки. Заберут тебя в солдаты, ну, хоть поступают с тобой по-человечески: не шельмуют, как скотину. Правда, и теперь иному случится натерпеться, пока постигнет эту муштру, да что теперешнее против прежнего? Вот и старики говорят: до тех пор пес не научится плавать, пока ему в ухо вода не затечет. Нет науки без муки. Но теперь самый этот асентерунок \* не такой страшный, как прежде. Явишься в присутствие раз, второй, третий<sup>1</sup> — не возьмут, выпишут, — и ты вольный казак: хочешь — женись, хочешь — дальше гуляй! Но в мое время так не было. Избави господи нас от такого! Тогда, бывало, мандатор\*\* сам составлял списки для воинского присутствия; в набор посылал кого хотел, не справляясь о том, сколько раз он уже призывался, три раза, или

---

\* Рекрутский набор (от польск. asenterunek).

\*\* Судебно-полицейский чиновник в старой Галиции (от польск. mandatarjus).

шесть, или еще больше. Иной бедняга десять, пятнадцать лет живет в вечном страхе. Вот, думает, придут стражники, наденут наручники и становись под мерку! И знаете, тогда было не так, как теперь. Не шли хлопцы сами в бецирк \*, не являлись на призыв, как теперь, — и бегали, и прятались кто куда мог, а мандаторы с полицейскими стражниками гонялись за ними по всем закоулкам. Скверно было жить на свете.

Вот раз в мясоед прослышали и мы: записаны в набор. Боже, замерло во мне сердце, как узнал я об этом. А мой Хома так и остолбенел совсем, сердечный.

— Не будем, Семен, дожидаться беды, — говорит, — убежим.

— Убежим! — ответил я ему, да и кинулся домой собираться. Отец, мать, все домашние, как узнали, что случилось, так и помертвели от великого горя.

— Сыночек, сыночек! — заголосила мать. — Один ты у меня, как одна душа, богом данная, и того отнимают у меня.

— Молчи, старуха, — сказал отец сквозь слезы, — не задерживай его, пусть идет, авось бог милосердный убережет от тяжкой неволи! Собирайся, родимый, прощайся с матерью, с сестрами, пойдем, провожу тебя за село.

Собрался я, попрощался. Мать так и обмерла, когда я выходил.

— Семен, Семен, вернись! — закричала мне.

Я воротился.

— Дай хоть насмотрюсь я на тебя, сыночек мой, радость моя ненаглядная! Может, в последний раз я тебя вижу!

— Успокойтесь, мама, бог милостив! — ответил я дрожжащим голосом, целуя ее, а у самого сердце так и сжималось.

Пошли мы с отцом вниз, к берегу Днестра. Там ждал уже меня Хома. Отец благословил нас, рассказал, где можно спрятаться; мы попрощались и пошли.

Ох, и натерпелись же мы до весны, один бог о том знает! Вот слышим, по селам шныряют стражники — то

---

\* Уездное присутствие (от немецк. Bezirk),

того поймают, то другого. Нас еще как-то господь хранил. Мы все держались приднестровских мест, топей да зарослей.

И вот в одном селе говорят нам: «Бегите в поле! Стражники с двух сторон подошли, обшарят камыши и выловят вас, как рыбу в мешок». Долюшка наша несчастная, куда ты денешься? В селе спрятаться — и думать нечего. В поле бежать — наверняка пропасть: поле открытое, ни куста, ни деревца нет — поймают, будь у нас хоть заячьи ноги или даже скройся мы в мышиные норки.

— Хома, придется пропадать тут! — сказал я, опуская руки. Мы уже три ночи не спали, измучились, с ног сбились, еле дышим. Нет сил и шагу сделать, не то что бежать по полю.

— Знаешь что? — говорит вдруг Хома. — Иди за мной!

— Куда?

— Не спрашивая, иди, если не хочешь пропадать!

Я знал горячий нрав Хома, собрался с силами и иду. Дорогой думаю себе:

«Вот тебе и приятель, друг сердечный. Ведет меня бог весть куда и слова ласкового не скажет, не утешит, не посоветует! Ой, ой, свет мой белый, горькая моя судьбинашка!»

Правда, до тех пор Хома не раз выручал меня из беды, не раз спасал меня, не глядя на опасность для себя самого, — ну, да зато и я никогда не бросал его в тяжелую минуту, слушался его, как отца.

Так и теперь.

Так раздумывая, иду, ноги волочу по задворкам села вслед за Хомой. Иду и угадать не могу, куда он ведет меня.

— Стой! — сказал Хома, подходя к самой крайней хате, — тут мы и отдохнем.

— Тут отдохнем? — вскрикнул я, оглядываясь. — Хома, да ты что? Да ведь это самая крайняя хата, еще и стоит-то она на самой дороге, совсем открыто! Тут нас накроют и изловят, как воробьев в силке!

— Тут и отдохнем, — снова сказал Хома холодно и твердо. — Я не могу идти дальше!

— Побойся бога, Хома! — кричу я ему, ведь ты сам в пропасть лезешь! Что с тобой приключилось? Или ты рехнулся? Я не стану здесь отдыхать, что бы ты мне ни говорил!

— Не будешь? Ну, что ж, как хочешь. Я здесь отдохну!

— Идем хотя бы вон к тому стогу, там зароемся в сено. Не дури ты мне голову, не толкай сам себя в беду!

— Ни шагу не сделаю! — упрямо сказал Хома и вошел в хату.

Боже мой милостивый, да ведь это мой приятель, мой искренний друг! И он сам добровольно толкает и себя и меня на зарез? И не отступится от своего, хоть пропадай! Уперся, как козел рогами! Богородица пречистая! Избавь меня от всего злого и от такого приятеля!

«Но что же теперь делать? — думаю себе дальше. — Придется одному пропадать! Эх, — думаю, — все равно, пропадать мне одному где-то, а Хоме тут, так лучше уж пропадем вместе!»

И я пошел за Хомой в хату.

— Что, одумался, образумился? — спрашивает он меня насмешливо.

Боже, он еще насмехается над моим горем, а я еле на ногах стою!

Хата, куда мы вошли, была полуразрушенная, ветхая лачуга, жил в ней старый дед-нищий. Летом он иногда ночевал в ней, зимой жил где-нибудь в селе, да и летом целыми неделями мыкался по селам за подаянным хлебом. И теперь мы не застали его. Хата была затворена на засов, но Хома отодвинул его палочкой. В хате ничего не было, только несколько мешков, палка нищего, шапка, сшитая из тысячи заплат, да еще какое-то тряпье.

Но странно мне показалось — чему, думаю себе, так радуется Хома да бегаёт по хате.

— Семен, — говорит он мне, — ты, я вижу, дверь затворил? Не затворяй! Отвори немного, а то здесь душно!

Боже мой милостивый, видно он совсем ума решил или еще что приключилось с ним!

— Отвори дверь, слышишь! — прикрикнул он на меня.

Что мне было делать? Должен был я послушаться этого сумасшедшего.

— Раздевайся и ложись спать! Нужно выспаться, потому что ночью некогда будет спать!

Я стою, вытаращив на него глаза, сам не знаю, что со мной делается.

— Слышишь ты, дурак последний! Раздевайся и ложись спать! Как пора будет идти, я тебя разбуджу.

Переворачивалось мое сердце — кипело в нем, как в котле. Слезы выступили на глазах.

— Хома! — говорю я сквозь слезы. — Что с тобой произошло? Или ты сердце потерял? Или ты забыл отца, мать родную?.. Или ты забыл, что стражники, того и гляди, нагрянут сюда? Что же ты делаешь? Побойся бога, не губи нас обоих! Ведь мы с тобою когда-то были товарищами, я любил тебя всей душой, как своего родного брата! Что я тебе сделал? За что ты хочешь мне жизни убавить?

И что вы думаете, — смягчился от этих слов Хома? Как же! Отвернулся он от меня, как зверь какой, потер лоб рукой и давай хохотать.

— Ха-ха-ха!.. Вот так парубок, — хохотал он. — Учужал беду, как слепой колбасу в борще, и ну кричать: «Пропадаю я, пропадаю!»

Вот видите, какой душевный приятель! Положись на такого человека! Подождите, увидите, что он мне еще преподнес!..

— Семен, — говорит Хома через минутку, уже мягче. — Семен, брат ты мой! Или ты думаешь, что я бы не отдал жизни своей за тебя? Или ты забыл, что мы оба на одной дорожке стоим? Так не думай, будто я с ума спятил или хочу и тебя и себя погубить! Делай, брат, что скажу тебе, а тогда увидишь, что я еще не такой дурень, как тебе кажется.

Немножко успокоили меня эти слова, да и что же будешь делать в конце концов? Разделся я, постелил армяк на землю и лег. Но разве заснешь? Дрожу всем телом, как рыба в неводе! Кому в такой тяжелой тревоге сон в голову полезет?

Хома не ложился, шарил что-то по хате. Что он задумал? Господь его знает, ну, никак не могу догадаться!

— Семен, — говорит он, видя, что я не могу заснуть, — на, выпей!

И поднес мне добрую чарку водки. Водка у него была при себе, стакан нашел где-то в углу.

Я выпил. Водка была крепкая, меня всего теплом проняло, усталость сказалась — и через минуту я заснул как камень.

Не знаю, долго ли я спал, или нет, только будит меня Хома снова.

— Семен, Семен, вставай, стражники!

Последнее слово, словно удар грома среди ясного неба, сразу заставило меня очнуться.

— Где, где? — спрашиваю, вскочив на ноги.

— Не спрашивай, делай, что скажу тебе!

— Что же мне делать?

— Зажмурь глаза и не открывай их, что бы там ни было, до тех пор, пока не скажу тебе. Слышишь?

— Ладно, ладно!

— А теперь бери вот это в руки!

Я взял. Это была веревка или оброть какая-то, не знаю.

— Держи крепче!

— Держу.

— Иди теперь за мною!

Мы пошли.

Дорогой слышу: крик, плач, волы ревут, псы лают, под ногами грязь, лужи, — догадываюсь, что идем мы селом.

— Хома, бойся бога, куда ты ведешь меня?

— Ни слова, болван! Стражники идут! — шепнул он мне сурово. Я замер со страху.

«Вот тут нам и крышка, — думаю. — Пропала коза, пропала и береза!»

Идем дальше, а подо мной колени только диль-диль-диль! А тут вдруг слышу:

— A skąd wy, dziady?\* — спрашивает грубый голос.

---

\* Откуда вы, старцы? (польск.)

«Это, наверно, стражник, — думаю я. — Ну, господи, помилуй грешную душу! Сейчас и нас спросит». Только удивляюсь я, почему они сперва спрашивают каких-то нищих.

Смешной старческий голос отвечает возле меня:

— С белого света, паночек милостивый! Мы, божьи старцы, братья близнецы. В реке купались, в воду ныряли; я его закупал, а он в воде глаза потерял. Хотел найти, да не мог, так домой и прибеж...

— Ха-ха-ха! — засмеялось несколько голосов.

Боже милостивый, как видно, тут их много. И почему они не хватают, не вяжут нас? И ни слова не говорят нам?

— Где живете, бродяги? — спросил по-польски кто-то грубым голосом, но заметно было, что сквозь смех.

— У воды, паночек, у воды! Наша хата из лебеды, из репейника засов, крыша из лопухов!

Снова смех слышен, но стражники все еще не берут нас. Я дрожу всем телом и держусь за веревку, не смея и взаправду со страху открыть глаза. Думаю себе: пусть будет что будет, посмотрю, чем все это кончится.

— Веселая bestия! — продолжал, насмеявшись вволю, грубый голос, обращаясь к другим. — Ну, однако, идем. Кажется мне, что в том стоге за селом удастся нам поймать хорошую птичку!

Я слышал, как стражники, смеясь, удалились, и от удивления не знал, что и подумать.

— Иди, слепой братище! — кричал старческий, дряхлый голос прямо передо мною. — Иди туда, где ветер свищет! На ветру мы ляжем, ветром укроемся, ветер под голову возьмем и тепленько заснем.

— Насмешил он меня своими прибаутками! — донеслось до меня издалека. Хома дернул меня за веревку. Я пошел за ним, все еще не понимая, сон или явь — то, что со мною творится.

Мы шли еще довольно долго.

— Ну, открывай глаза, слепой кот! — сказал мне весело Хома. Я глянул. Густой сумрак уже редел во круг; вдали еще виднелось село, его можно было признать по клубам дыма, который то тут, то там подымался над низкими соломенными крышами.

— Ну что, съели нас стражники? — спросил меня, смеясь, Хома.

Я не отвечал ни слова, не мог еще прийти в себя.

— Товарищ мой дорогой, видишь теперь, что не спихнул я тебя в пропасть! — сказал он тихо. Я теперь в первый раз взглянул на него.

Что это такое? Какой-то старец с длинной бородой стоял передо мною.

— Во имя отца и сына, что с тобой, Хома?

— То же, что и с тобой! — отвечал он.

— То же, что и со мной? Что ты говоришь?

— Посмотри в воду на свою рожу! — сказал Хома дряхлым, старческим голосом. Неподалеку была широкая лужа, я поглядел — пропади, нечистая сила! Не знай я, что это я сам, так ни за что не узнал бы себя! Старик и все, хоть провались, не узнать Семена! Обвешанный торбами, с длинной палкой в руке, в пестрой шапке на голове. Хома тоже такой! Вот почему он так настойчиво посылал меня спать в дедову хату! Вот оно что!

Так вот мы и ушли на этот раз от беды, но что вы думаете, на этом и кончилось? Стражники искали, рыскали повсюду; мы шли, кидаясь в разные стороны, как вороны на ветру, колесили да колесили за Днестром. Но вот слышим: уже унялась немного погоня, нет уже стражников в округе. Ну, слава тебе, господи! — думаем, — мы на этот раз всё же спаслись! Теперь нужно подумать, каким способом домой вернуться. Раскинь-ка умом, Хома! Веди, Хома! Хома взялся зести домой.

Мы не спеша возвращались обратно окольными тропами, осторожно, чтобы как-нибудь неожиданно не попасть в лапы стражникам. Бог помог нам, и мы уже подходили к нашему селу: осталось нам, может быть, версты две-три, не больше. Кто бы мог думать, что тут-то мы и найдем то, от чего почти с полгода прятались по чужим селам? А нашли мы свою беду на мосту, как говорится. И все из-за моего приятеля, из-за Хомы!

Сидели мы два дня в камышах. Было слышно, что в нашем селе еще стражники. На другой день к вечеру говорит Хома:

— Знаешь что, Семен. У меня нога болит, может ты сходишь в село, разузнаешь, что слышно, да прине- сешь чего-нибудь поесть?

Я пошел. Только вышел из камыша, смотрю: страж- ники ходят по полю. Я, увидев их, остолбенел с пере- пугу. Господи, — думаю, — а вдруг они увидят меня! Эх, подобрал я полы, и назад в камыши! Но уже было позд- но, — увидали меня, собачьи дети, пустились за мной вдогонку. Вспоминаю теперь, было их четверо.

Как и куда я бежал, не помню. Помню только, что мокрый, оборванный, окровавленный, я упал возле Хома. Хома сразу понял, в чем дело.

— Вставай, — крикнул он мне, — беги под мост!

Неподалеку был мост через речку. Под мостом было укрытие, которое мы оба знали.

Я собрал последние силы и встал.

— А ты-то куда денешься? — спросил я Хому.

— Беги, я о себе позабочусь!

Я побежал, оставив его в камышах.

Не знаю и до сих пор, что за хитрость придумал тогда Хома, чтобы и на этот раз уйти от погони. Через минуту, дрожа всем телом, сидел я под мостом, спрятавшись очень хорошо. Сажу я, сажу, понемногу и страх прошел, присматриваюсь, прислушиваюсь, что делается с Хомой. Ничего не слышно, только река шумит под мостом.

Долго я сидел, согнувшись в три погибели, не шеве- лясь, между двумя бревнами. Но вот слышу какие-то голоса. Выглядываю осторожно, — господи милости- вый! Да ведь это моего приятеля, моего Хому ведут стражники. На руках и на ногах побрякивают кандалы, стражники окружили его и поблескивают карабинами. У меня в глазах потемнело, сердце словно льдом обдало. Гляжу пристальней, — Хома по самую шею мокрый; весь в грязи, да еще на нем гнилые листья, осока, камыш и всякая болотная трава. Видно, бедняга хотел спрятать- ся в болоте, да не удалось, нашли его, словили!

«Слава тебе, господи, хоть я уцелел», — подумал я про себя, сжался, как только мог, и сажу тихо, едва дышу.

Ну, кто бы думал, что Хома даже теперь захочет напортить мне! Ох, ох, боже единый! Приятель,

приятель! Послушайте только, на какую хитрость пустился мой любезный приятель, чтобы и меня погубить и отдать в руки стражникам. Слышу я, издали раздаются шаги. Идут стражники на мост, под которым я сижу! Слышу еще что-то. Точно кто-то поет, что ли! Прислушиваюсь — голос Хома. Идет он и вроде поет, да так протяжно:

Ой, Семене, мій друже Семене!  
Та скажи ти батькові від мене,  
Що не буде вже Хома  
У недільку дома! \*

— Ладно, ладно! — крикнул я из-под моста, взволнованный жалобным Хоминым напевом.

Господи, как я в ту минуту напугался своего собственного голоса! Жить и умирать буду, а той минуты не забуду. Зашумело у меня в ушах, зарябило в глазах, кровь прилила к голове — сам не знаю, что со мной стало...

Я опомнился на мосту. Два стражника держали меня за руки, один запирал на железный замок цепь, которую надели мне на руки. Я двинул ногой, на ней залязгала такая же цепь.

И вы говорите мне о дружбе! Разве по-приятельски поступил со мною Хома? Я поглядел на него. Он стоял хмурый, мокрый, дрожащий. Взглянул на меня — в его глазах блестели слезы... Да что мне с этих слез? Они ни мне, ни ему не помогут!

На другой день уже обстригли нам кудри. Мы были солдатами.

Ох, дружба, дружба! Товарищество! Дались вы мне себя знать, не забуду вас до самой смерти! Из-за вас пропала моя молодость!

*Лолин, июнь 1876*

---

\* Ой, Семен, мой друг Семен! Ты скажи моему отцу, Что не будет уже Хома В воскресенье дома! (*украинск.*)

## КАМЕНЩИК

Ах, этот стук, звон, эти крики на улице перед самым моим окном, они изгоняют любую мысль из головы, не дают мне и минуты покоя, отрывают от работы. И некуда мне деваться, некуда скрыться от этого невыносимого стука: с утра до вечера он не умолкает, а когда я ложусь спать, измученный дневным зноем, я слышу его отчетливо даже во сне. И так уже целых два месяца, подумайте только! С тех пор как перед моими окнами начали строить этот злосчастный каменный дом, я не написал ни одной строчки и у меня в ушах не переставало звенеть и стучать.

Не в состоянии что-нибудь делать сам, сижу день-деньской у окна и смотрю, как трудятся другие. Зрелище движения, беготни, работы нескольких десятков людей, которые снуют и копошатся в этой тесноте, точно муравьи в муравейнике, смягчает мое нервное возбуждение. Я успокаиваюсь, глядя, как мало-помалу под руками этой массы рабочего люда растет большой каменный дом, как поднимаются ввысь его стены, как шипит и дымится известь, которую гасят в больших дощатых ящиках и спускают затем в ямы, как каменщики обтесывают кирпичи, прилаживая их к надлежащему месту, как женщины и девушки носят цемент в ведерках, надетых на палку, как подручные, согнувшись в дугу, на деревянных носилках, ярмом положенных на оба плеча, тащат вверх по лесам кирпич. Весь тяжкий, повседневный

труд этих людей проносится передо мною каким-то смутным облаком, и, слыша их крики, шутки и разговоры, я забываю о себе, словно тону в безбрежном, непроглядном тумане, и быстро, неуловимо текут час за часом, день за днем.

Только подрядчики своим криком, бранью, своими угрозами, издевательством над рабочими и самоуправством вырывают меня из этого непроглядного тумана, напоминают о живой, гнусной действительности. Их всего двое, а между тем кажется, что они всюду и везде; рабочие замолкают и съеживаются, едва кто-нибудь из них проходит. Ничем им не угодишь, всё не по ним, по каждому поводу у них наготове ругань, готово злобное, презрительное слово. А пусть только кто-нибудь из рабочих посмеет ответить, защищаться или вступить за товарища — сразу лицо господина подрядчика наливаются кровью, изо рта брызжет слюна, и достается же тогда от него виновному! И хорошо еще, если ему позволят все это стерпеть, если тут же не прогонят с работы! Ведь они здесь полные хозяева, их власть над рабочими безгранична, а выгнав одного, они тут же найдут взамен четверых, которые еще проситься будут на место уволенного. О, нынешним летом для подрядчиков раздолье! Только выбирай и из платы урывай сколько хочешь, — ничего не скажут рабочие, а если кто вздумает пожаловаться архитектору — вон его, пускай подыхает с голоду, раз не хотел быть покорным!

Однажды, когда я, как обычно, сидя у окна, наблюдал за работой, вдруг поднялся крик на фасадной стене. Из-за чего — я не видел, заметил только, как подрядчик кинулся к одному из рабочих, высокому хмурому каменщику средних лет, и начал его честить последними словами. А тот — ничего, наклонился и продолжает свое дело. Но подрядчика это упорное, угрюмое молчание разъярило еще больше.

— Ты, вор, босяк, арестант, сейчас же убирайся отсюда! — кричал взбешенный подрядчик, наскакивая на рабочего.

Я видел, как хмурое, склоненное над кирпичами лицо каменщика становилось все краснее, точно жаром наливалось. Он стиснул зубы и молчал.

— Сто раз я тебе буду говорить, ты, висельник, голодранец, разбойник, а? Марш отсюда, сейчас же убирайся, а то прикажу вышвырнуть!

Рабочий явно боролся с собою; лицо его даже посинело. Наконец, не меняя позы, только чуть подняв голову, он медленно, с невыразимым презрением в каждом звуке, процедил:

— Мужик и будет мужиком! Хам — хамом! Не дай боже из мужика — пана!

Подрядчик на мгновение точно застыл при этих словах. Видимо, присловье каменщика поразило его в самое больное место: он был из селян и теперь, став «господином подрядчиком», весьма стыдился своего происхождения. Поэтому, после минутного оцепенения, он взорвался, как паровой котел.

— Так? Так ты со мной? Погоди же, я тебе покажу! Я тебя проучу! Марш!

Рабочий не двигался с места и продолжал работать.

— Убирайся, бунтовщик! Катись ко всем чертям, не то велю полицию позвать!

Рабочий упорно постукивал молотком о кирпич. Тогда подрядчик подскочил к нему, вырвал у него молоток из рук и швырнул на мостовую. Возмущенный каменщик заскрежетал зубами и выпрямился.

— Хам! — крикнул он. — Какого дьявола ты ко мне прицепился? Чего тебе от меня надо?

— А, так ты грозишь! — рявкнул подрядчик. — Караул! Караул! Разбой!

На этот крик прибежал второй подрядчик, и они соединенными силами набросились на каменщика. Тот не защищался. Удары посыпались на его спину; провожаемый пинками, немой от ярости и отчаянья, он сошел с лесов и вскинул на плечо свой мешок с инструментами.

Остальные рабочие, видевшие всю эту сцену, молча продолжали работать, нагнувшись над кладкой и стиснув зубы. Никто из них не проронил ни слова.

— Чем хама ни масти, все навозом будет нести! — крикнул каменщик на прощанье, уже с улицы. На лице его снова показалась принужденная усмешка, но в то же время слезы блеснули на глазах.

— Ты еще свернешь себе шею, бунтовщик, довбущук<sup>2</sup> проклятый! — крикнул подрядчик сверху и погрозил уходящему кулаком.

На следующий день я встал рано и выглянул в окно. На улице было еще тихо. Рабочие только еще сходились «на фабрику». Я очень удивился, заметив среди них уволенного вчера каменщика. С любопытством я стал смотреть, что будет, когда придет подрядчик. Другие рабочие изредка переговаривались между собой, а к уволенному и вовсе никто не подходил, он стоял особняком у забора. Но вот и подрядчик пришел, пытаясь почему-то, как кузнечный мех. Он быстро оглядел рабочих; его гневный взгляд остановился на выгнанном вчера каменщике.

— А ты, бунтовщик, опять здесь? Ты тут зачем? Кому ты нужен?

— Господин подрядчик, — произнес рабочий, делая два шага вперед (среди общей тишины слышно было, как дрожит его сдавленный голос), — господин подрядчик, опомнитесь. Что я вам сделал? За что вы меня хлеба лишаете? Ведь вы знаете, что я теперь работы нигде не найду, а дома...

— Марш отсюда, арестантская морда! — заревел подрядчик, которому нынче так же не по нраву пришлось покорность, как вчера упорное, хмурое молчание.

Каменщик повесил голову, взял подмышку свой мешок с инструментами и пошел.

Целую неделю после того я каждое утро наблюдал из окна ту же сцену. Уволенный каменщик, как видно, нигде не мог найти работы и каждое утро приходил просить подрядчика, чтобы тот взял его обратно. Но подрядчик был тверд, как камень. Никакие просьбы, никакие заклинания не трогали его, и чем больше каменщик гнул перед ним спину и чем ниже кланялся, чем глубже западали его потускневшие глаза, тем больше надувался спесью подрядчик, тем более обидными и презрительными словами поносил несчастного рабочего. А тот, бедняга, после каждого отказа только стискивал зубы, молча брал подмышку свой мешок и убегал без оглядки, словно от какого-то страшного искушения, которое так и толкало его на дурное дело,

Было это вечером, в субботу. Внезапный дождь захватил меня на улице, и я принужден был укрыться в ближайшем трактирчике. В трактире было пусто; грязная, сырая комната была слабо освещена одной лампой, печально покачивавшейся под потолком, а за стойкой дремала старая толстая еврейка. Оглядевшись по сторонам, я — вот чудеса! — за одним столом увидел знакомого каменщика рядом с его заклятым врагом подрядчиком. Перед каждым из них стояла до половины отпитая кружка пива.

— Ну, дай нам боже, кум! — сказал каменщик, стукнув своей кружкой о кружку подрядчика.

— Дай боже и вам! — отвечал тот тоном несколько более мягким, чем на улице, за работой.

Меня заинтересовала эта странная дружба. Я спросил себе кружку пива и сел поодаль, в другом конце комнаты, за столом в углу.

— Что ж, кум, — говорил каменщик, с явным трудом стараясь поддерживать свободный тон, — нехорошо это, что ты так на меня взъелся, ей-богу нехорошо! За такие дела, кум, бог наказывает!

Говоря это, он постучал кружкой о стол и заказал еще пару пива.

— Ведь ты, кум, знаешь, что у меня дома, какая нужда! Нечего тебе и говорить. Жинка хвоя, заработать не может, а тут еще я, по твоей милости, целую неделю без гроша!.. Будь я еще один, уж потерпел бы как-нибудь. А то, видишь, хвоя жинка, да и эти козявки бедные, уже еле ползают, пищат — хлеба просят... Сердце разрывается, кум, ей-богу разрывается! Я ведь им, как-никак, отец!

Подрядчик слушал эту речь, опустив голову и кивая, точно в дремоте. А когда хозяйка принесла пиво, он первый взял кружку, стукнул ею о каменщикову и сказал:

— За здоровье твоей жены!

— Дай боже и тебе здоровья, — ответил каменщик и отпил глоток. По его лицу видно было, с какой неохотой губы его касались напиток. Ах, может быть, на него пошел последний грош из занятого четыре дня назад гульдена, который должен был прокормить всю его

несчастную семью до лучших дней, потому что другой, бог его знает, удастся ли еще занять! А теперь он на последние гроши угощает своего врага, чтобы хоть так его задобрить!

— И еще ты, кум дорогой, рассуди по совести, — что я тебе такого сделал? Что со злости грубое слово сказал?.. А ты-то мне сколько наговорил! Ей-богу, кум, нехорошо так обижать бедного человека!

Кум, выпив пиво, снова опустил голову и кивал ею, будто дремал.

— Так уж, — несмело заговорил каменщик, — сделай одолжение, в понедельник... того... Сам видишь, куда бедному человеку деваться? Неужто так всем и пропадать, с жинкой и детьми?

— Ну как, скажешь, чтоб дали еще кружку этой пены? — прервал его подрядчик.

— А как же, а как же! Эй, еще кружку пива!

Хозяйка принесла пиво, подрядчик выпил его и обернул усы.

— Ну, так как же будет? — спросил тревожно каменщик, стараясь ухватить подрядчика за руку и заглядывая ему в лицо.

— Как будет? — ответил тот холодно, вставая и собираясь уходить. — Спасибо тебе за пиво, а на работу в понедельник тебе приходиться незачем, я уже принял другого. А впрочем (эти слова он произнес уже у самых дверей), мне таких бунтовщиков, таких висельников, как ты, не требуется!

И подрядчик одним прыжком выскочил на улицу и захлопнул за собой дверь трактира.

Несчастный каменщик стоял, как громом пораженный.

Долго оставался он неподвижен, не зная, должно быть, что и подумать. Потом очнулся. Какая-то дикая мысль мелькнула у него в голове. Он одной рукой схватил стол, за которым сидел, тут же отломил у него ножку, а затем запустил ею в стойку. Звон, грохот, треск, крик еврейки, возгласы сбегающихся людей, голос полицейского — все мгновенно слилось в одну дикую, оглушительную симфонию. Через минуту несчастный каменщик оказался в толпе ревущих и визжащих лавоч-

ников, которые с отчаянными воплями отдали «полоумного и бесноватого разбойника» в руки полицейского. Грозный страж общественного спокойствия схватил его за шиворот и толкнул перед собой. Рядом с полицейским поплелась еле живая от страха трактирщица, оставив вместо себя за стойкой какую-то другую еврейку, и окружившая их с криками и воплями огромная толпа уличных оборванцев повалила в полицию.

1878

## МАЛЕНЬКИЙ МИРОН

### I

Маленький Мирон — удивительный ребенок. Отец не нарадуется, глядя на него, и говорит, что он удивительно умное дитя, но, известное дело, отец не судья своим детям. Да и к тому же отец Мирона уже в годах, едва дождался ребенка, и, конечно, каков бы ребенок ни был, для него-то он и золотой, и умный, и красивый. Соседи говорили между собою, что Мирон «какой-то не такой, как все дети»: идет — руками размахивает, говорит о чем-то сам с собою, возьмет прутик, со свистом разрезает им воздух или срубает головки у репейника и ласточкиной травы. Среди других детей он несмел и непроворен, а если когда и заговорит о чем-нибудь, то говорит такое, что старшие, услышав, только плечами пожимают.

— Василь! — говорит маленький Мирон маленькому Василю. — Ты до скольких умеешь считать?

— Я? До скольких умею? Пять, семь, парканадцать!

— Парканадцать! Ха-ха-ха! А сколько это — парканадцать?

— Ну, сколько же может быть? Я не знаю!

— Да нисколько. Садись-ка, будем считать!

Василь садится, а Мирон начинает считать, ударяя за каждым разом палкой по земле: один, два, три, четыре...

Василь слушал, слушал, а потом вскочил и убежал. Мирон и не заметил: сидит себе, отстукивает и считает все дальше и дальше. Подошел старик Рябина, покашливая, кряхтя и охая, — Мирон не слышит, продолжает свое. Старик остановился возле него, слушает, слушает... Мирон досчитал уже до четырехсот.

— Ах ты непутевый! — сказал старик своим обычным, немного гнусавым голосом. — Ты что делаешь?

Маленький Мирон так и съежился и посмотрел испуганно на старика Рябину.

— Да ты землю святую бьешь, а? Ты не знаешь, что земля — наша мать? Дай сюда палку!

Мирон отдал, почти не понимая, чего хочет от него старик. Рябина швырнул палку в крапиву. Мирон чуть не заплакал, не из-за палки, а скорее оттого, что старик прервал его счет.

— Ступай домой, да «Отче наш» говори, а не бей землю! — сказал сурово старик и заковылял дальше. Мирон долго глядел ему вслед, все еще не понимая, за что это старик прогневался и чего он хочет от него.

## II

Маленький Мирон больше всего любит один бегать по зеленым, цветистым лугам, среди широколистных лопухов и пахучей ромашки, любит упиваться сладким запахом росистого клевера и украшать себя цепкими головками репейника, которые он насаживал на себя с ног до головы. А еще речка, которую нужно перейти, чтобы попасть на выгон, небольшая, спокойная подгорянская речонка, с высокими, крутыми, обрывистыми берегами, с глинистым дном, с журчащими бродами, дно которых покрыто мелкой галькой, обросшей мягкими, зелеными водорослями, длинными, словно зеленые шелковые пряди, — эта речка подлинная радость и могучая приманка для Мирона. Там он по целым часам любит сидеть, забравшись в высокую зеленую осоку или между густых широких листьев белокопытника. Сидит и глядит на играющую воду, на дрожащую под напором волны траву, на пескарей, которые время от времени

вылезают из своих нор или выплывают из глубины, то шаря по дну и лоя водяных червей, то выставляя свою тупую, усатую мордочку из воды: вдохнут раз другой воздух и вновь поскорей удирают в свои норки, словно отведали невесть какого лакомства. А между тем солнце палит с безоблачного, темноглубого неба, припекает Миرونу плечи и все тело, но не сжигает его, укрытого широкими листьями. Любо ему. Его маленькие серые глазки живо бегают, детский лобик хмурится, — мысль начинает работать.

«Вот солнышко — почему оно такое маленькое, а отец говорил, что оно большое? Это, наверно, в небе такая небольшая дырка прорезана, что его немного только и видно!»

Но сейчас же в его голове закопошилась и другая мысль:

«Ой, да как же так? Восходит там маленькая дырка; заходит — и там дырка. Разве дырка вместе с солнцем по небу ходит?»

Это не может вестись в его голове, и он обещает себе, придя домой, сразу же расспросить отца, какая это в небе для солнца дырка прорезана?

— Мирон! Мирон! — слышен издали крик. Это зовет мать. Мирон услышал и вскочил, сбежал с берега к броду, чтобы перейти речку, да и остановился. Много раз уже переходил он через речку — и ничего, а теперь вдруг увидел нечто новое. Он стоял прямо против солнца и, поглядев в воду, увидел вместо мелкого, каменистого дна и мягких зеленых прядей водорослей — одну бездонную, глубокую синеву. Он не знал еще, что это небо улыбается ему из воды, и остановился. Как же тут идти в такую глубину? И откуда она взялась так неожиданно? Он остановился и начал внимательно всматриваться в глубину. Все попрежнему. Он присел. То же самое — только у самого берега видны знакомые камешки и слышно обычное приятное журчание воды у брода. Он обернулся в другую сторону, от солнца: глубина исчезла, брод мелкий, как и раньше. Это открытие и обрадовало и удивило его. Он начал поворачиваться во все стороны, пробуя, что выйдет, и радуясь дивному явлению. А про зов матери совсем забыл!

Долго так стоял маленький Мирон, то наклоняясь, то отворачиваясь от брода, но войти в воду все же боялся. Все казалось ему, что вот-вот посреди мелкого каменистого брода земля расступится и разверзнется бездонная синяя глубь под рекой, между высокими берегами, и полетит он в эту глубину, далеко-далеко, исчезнет в ней, словно щепочка, брошенная в глубокий, темный колодец. И кто знает, как долго стоял бы он у брода, если не подошел сосед Мартын, который с вилами и граблями спешил на покос.

— Ты чего тут стоишь? Вон там тебя мать кличет. Почему не идешь домой?

— Я хочу идти, да боюсь.

— Чего?

— Да вот, смотрите! И он показал на бездонную синеву в воде. Мартын не понял.

— Ну, и чего ж тут бояться? Здесь мелко.

— Мелко? — спросил недоверчиво Мирон. — А вон как глубоко!

— Глубоко? Смотри, совсем не глубоко, — сказал Мартын, и как был в лаптях, так и перешел брод, почти не замочив их. Переход Мартына придал и Мирону смелости, и он перешел через речку и побежал огородами домой.

— Какой глупый мальчишка! Пять лет ему, а еще броду боится, — пробормотал сосед и пошел своей дорогой.

### III

А когда летом все старшие уходят в поле, Мирон остается один, но не в хате. В хате он боится. Боится «дедов в углах», то есть теней, боится пузатого дымохода, черного внутри от сажи, боится толстого деревянного колка, вбитого в оконце под потолком для вытяжки дыма от лучины, освещающей зимой хату. Мирон остается во дворе. Там он может гулять, рвать травинки и разрывать их на мелкие кусочки, строить домики из прутиков и щепок, которые наберет возле дровяного сарая, или просто лежать на завалинке и греться на солнце, слушая чирикание воробьев на яблонях и глядя в синее

небо. Любо ему, и на детский лобик снова набегают облачко — появляется мысль.

«А чем это человек все видит? И небо, и землю, и отца с мамой? — возникает у него ни с того ни с сего такой вопрос. — Или чем слышит? Вон коршун кричит, куры кудахчут... Отчего это я все слышу?»

Ему кажется, что все это человек делает ртом — и видит и слышит. Открывает рот: так и есть, видно все, слышно все.

«А может быть, нет? Может, глазами?»

Закрывает глаза. О, ничего не видно. Открывает — видно и слышно. Закрывает снова — не видно, не слышно.

«А - а, так вот оно как! Глазами видно, а чем же слышно?» Снова открывает и закрывает рот — слышно! Потом глаза — все слышно. Но вот пришла в голову мысль — заткнуть пальцами уши. Шу-шу-шу... Что это такое? Слышен шум, но не слышно ни кудахтанья кур, ни крика коршуна... Отнимает пальцы — кудахтанье слышно, а шума нет. Еще раз — то же самое.

«Что это значит? — рассуждает Мирон. — Ага, теперь знаю. Ушами слышу кудахтанье, а пальцами — шум! Ну да, ну да».

Пробует еще раз-другой — так, совершенно верно!

А когда жнецы сходятся на обед, он вприпрыжку бежит к отцу.

— Татуня, татуня! Я что-то знаю!

— Что такое, сынок?

— Я знаю, что человек глазами видит.

По лицу отца пробежала улыбка.

— А ушами слышит кудахтанье, а пальцами шум.

— Как, как?

— Да так, ежели не заткнешь уши пальцами, то слышно, как курица кудахчет, а как заткнешь, то слышишь только шум.

Отец захохотал, а мать, сердито взглянув на Мирона, сказала, замахаясь на него ложкой:

— Иди, бродяга, иди! Такой большой парень, женить пора, а такие глупости говорит! Отчего ты никогда не подумаешь, прежде чем сказать, а все так и ляпнешь, словно на лопате вывез?.. Человек все слышит ушами — и шум и кудахтанье.

— А почему же не слышно все вместе? Если не заткнешь уши, так слышно кудахтанье, а если заткнешь, то слышен только шум? — спросил малыш. — Вот попробуйте сами! — И он для большей убедительности заткнул себе уши пальцами.

Мать что-то проворчала, но ответа на этот вопрос не нашла.

#### IV

А уже самая большая беда для Мирона — это «думанье»! Не умел думать, и все! Что, бывало, ни скажет, все как-то не так, как нужно, всегда мать или кто-нибудь другой говорит ему:

— Да отчего ты, дурак непроходимый, не подумаешь наперед, что хочешь сказать, а болтаешь, как рыбак веслом!

И как ни мучился бедный Мирон, чтобы придумать, а потом сказать что-либо разумное, — нет, не может, да и только. Бедный Мирон пришел к убеждению, что он не умеет думать!

Как-то раз сидит вся семья за обедом вокруг большого стола посреди хаты. Мать подает капустняк. Капустняк хороший, с салом, еще и крупы добавлено. Все едят молча. Мирон глотнул раза два, а потом и задумался над тем, почему это так тихо стало в хате, никто и слова не скажет. Ни с того ни с сего запала ему в голову мысль, что именно теперь ему необходимо что-нибудь сказать. Но что бы такое? Нужно раньше обдумать, а то все будут смеяться, а мать и побранит. Что бы это сказать? И маленький Мирон начинает размышлять. Ложка, как нес он ее ото рта к миске, так и застыла в воздухе вместе с рукою. Глаза неподвижно уставились в пустое пространство, а затем невольно остановились на иконе божией матери, висевшей на стене; губы только шевелятся, словно что-то шепчут.

Работники, заметив это, переглянулись между собой, толкнули друг друга локтем, а девушка-батрачка шепнула даже старому Ивану:

— Ну, сейчас какую-нибудь глупость выпалит.

— Вот я не знаю, — медленно начал Мирон, — по-

чему это святая мать смотрит-смотрит, а капусты не ест?..

Бедный Мирон, как он ни мучился, не мог ничего лучшего придумать, может быть потому, что его насильно заставляли думать «так, как все».

Смех, хохот, обычный нагоняй матери, опять: «дурень непроходимый», — бедный Мирон заплакал.

— Что же мне делать, если я не умею думать так, как все, — сказал он, утирая слезы.

## V

Что из него выйдет? Какой цветок разовьется из этой почки? Это предсказать нетрудно. Встречаются в наших селах довольно часто такие удивительные явления. Все у них сызмальства не так, как у людей: и походка, и лицо, и волосы, и слова, и поступки, и если придется такому ребенку весь свой век прожить под убогой сельской крышей, без более широкого опыта, без более ясных познаний, если с малых лет нечуткие родители начнут гнуть его природу и мысли так, чтобы они были «как у всех людей», то им наверняка удастся задушить врожденную склонность к своеобразию; все не нашедшие себе применения и приглушенные способности ребенка застынут и зачахнут в зародыше, и из маленького Мирона выйдет плохой хозяин, или, еще хуже, подавленная, но не уничтоженная живость и быстрота характера толкнут его на злое, не будучи в состоянии развиться в доброе — станет он забиякой, затем знахарем, верящим в собственные видения, и с чистым сердцем будет дурманить людей.

Но если у такого ребенка окажется любящий и, главное, не очень бедный отец, который захочет и сможет, понатужась из последнего, открыть своему ребенку двери в мир, то тогда — что же тогда? Вы думаете, доля ребенка будет лучше, в том смысле, как обычно понимают люди «лучшую долю»? Как бы не так! В школе набросится ребенок на науку, будет упиваться ею, как больной свежим воздухом, и кончит тем, что, проникшись истинами науки, захочет перенести их в жизнь. И станет

маленький Мирон горячим проповедником этих истин, понесет их темным и обездоленным, под родные сельские крыши... Ну и незавидна же будет его доля! Узнает он и стены тюремные и всякие другие норы, муки и насилие людей над людьми, а кончит тем, что либо пропадет где-нибудь в нищете и одиночестве на каком-нибудь глухом чердаке, либо вынесет из тюремных стен зародыш смертельного недуга, который раньше времени сведет его в могилу, либо, утратив веру в святую, высокую правду, начнет водкой заливать тоску до полного забвения. Бедный маленький Мирон!..

1879

## ГРИЦЬ В ШКОЛЕ

Був Гриць премудрий родом з Коломиї,  
Вчився барз добре на філософії\*.

*Старая песенка*

Гуси ничего об этом не знали. Даже в то утро, когда отец надумал отвезти Гриця в школу, гуси не знали об этом намерении. Еще меньше знал о нем сам Гриць. Он, как обычно, встал рано, позавтракал, немного похныкал, почесался, взял прутик и вприпрыжку погнал гусей со двора на пастбище. Старый белый гусак, как обычно, вытянул к нему свою маленькую голову с красными глазами и красным широким клювом, сердито зашипел, а потом, переговариваясь о чем-то с гусынями, пошел впереди всех. Старая, черная с подпалинами гусыня, как обычно, не хотела идти в одном ряду со всеми, а слезла с мостков и забрела в канаву, за что Гриць стегнул ее прутиком и назвал «дляню» — так он имел привычку называть все, что не подчинялось его высокой власти на пастбище. Совершенно очевидно, что ни белый гусак, ни черная с подпалинами гусыня и во-

---

\* Был Гриць премудрий родом из Коломыи, Учился очень хорошо на «философин»<sup>3</sup> (украинск.)

обще никто из всего стада, — хоть их было двадцать пять, — никто из них не знал о скором переселении их владыки и воеводы на иное, далеко не столь почетное место.

Поэтому, когда вдруг, неожиданно-негаданно, пришла новая весть, то есть когда отец, идя с поля, позвал Грицья домой и отдал его в руки матери, чтобы она его умыла, причесала и одела, как бог велел, и когда потом отец взял его с собою и, не говоря ни слова, повел трепещущего через выгон вниз и когда гуси увидели своего недавнего поводыря в совсем ином виде, в новых сапожках, в новой войлочной шляпенке, подвязанного красным кушаком, — поднялся меж ними внезапный и громкий крик удивления. Белый гусак, вытянув шею, близко подбежал к Грицью, словно хотел хорошенько рассмотреть его; черная с подпалинами гусыня также вытянула шею и долгое время не могла издать ни звука от внезапного потрясения, лишь потом быстро заговорила: «Где-где-где-где?»

— Дульная гуска! — гордо ответил Гриць и отвернулся, словно хотел сказать: «Как же, жди! Не в такие я теперь паны вышел, чтобы отвечать тебе на твой гусиный вопрос!» А впрочем, он, быть может, потому ничего не ответил, что и сам ничего не знал.

Пошли по селу. Отец молчит, и Гриць молчит. Так дошли они до большого старого дома под соломенной крышей, с трубой наверху. К этому дому шло много ребят, таких же, как и Гриць, а то и постарше его. Возле дома в саду ходил какой-то пан в жилетке.

— Гриць! — сказал отец.

— А! — сказал Гриць.

— Видишь эту хату?

— Визу.

— Запомни, это школа.

— Ба, — сказал Гриць.

— Сюда будешь ходить учиться.

— Ба, — сказал Гриць.

— Учись хорошенько, не балуйся, пана учителя слушай. Я пойду, чтобы тебя записали.

— Ба, — сказал Гриць, почти ничего не понимая из того, что говорил отец.

— А ты ступай вот с этими мальчиками. Возьмите его, мальчики, с собой!

— Иди! — сказали мальчики и взяли Гриця с собой, а отец между тем пошел в сад поговорить с учителем.

## II

Вошли в сени, в которых было совсем темно и страшно воняло прошлогодней гнилой капустой.

— Видишь там? — сказал Грицю один мальчик, показывая на темный угол.

— Визу, — сказал дрожа Гриць, хотя ровно ничего не видел.

— Там яма, — сказал мальчик.

— Яма! — повторил Гриць.

— Если будешь плохо учиться, то учитель посадит тебя в эту яму, и будешь сидеть там целую ночь.

— Я не хочу! — воскликнул Гриць.

В это время другой мальчик шепнул что-то первому, оба засмеялись, а потом первый, нащупав школьную дверь, сказал Грицю:

— Постучи в дверь! Живо!

— Зацем? — спросил Гриць.

— Нужно! Тут так положено, если кто в первый раз приходит.

В школе стоял шум, как в улье, но когда Гриць постучал кулаком в дверь, все сразу стихло. Мальчики тихонько отворили дверь и втокнули Гриця внутрь. В ту же минуту захлестали гибкие березовые розги по его плечам. Гриць очень перепугался и завизжал.

— Молчи, дурак! — кричали на него насмешники-мальчуганы; они, услышав стук, засели за дверью и подстроили Грицю эту неожиданную встречу.

— Ой-ой-ой! — кричал Гриць. Школьники испугались, как бы не услышал учитель, и стали уговаривать Гриця.

— Молчи, дурень, это так полагается! Тому, кто стучит в дверь, нужно постучать по плечам. Ты разве не знал этого?

— Не-е-е зна-а-ал! — всхлипывал Гриць.

— Почему же ты не знал?

— Я-а-а пе-ел-вый ла-аз в школе.

— Первый раз! А! — вскричали ученики, словно удивившись тому, как это можно быть первый раз в школе.

— Ну, так тебя нужно угостить! — сказал один, подскочил к доске, взял из ящичка большой кусок мела и подал Грицю.

— На, глупый, ешь скорей!

Все молчали и в ожидании глядели на Гриця, который вертел в руках мел, а потом тихонько положил его в рот.

— Ешь, глупый, да скорей!.. — торопили мальчики, а сами давились от смеха.

Гриць начал жевать и насилу съел мел. Хохот раздался в школе такой, что стекла зазвенели.

— Цего смеетесь? — спросил удивленный Гриць.

— Ничего, ничего. Может, еще хочешь?

— Нет, не хоцу. А цто это такое?

— А ты сам-то не знаешь? Вот глупый! Да это иерусалим такой, очень хороший.

— Ой, не оценъ холосый, — сказал Гриць.

— Да это ты еще не разобрал. Его каждый ест, кто первый раз приходит в школу.

В эту минуту вошел учитель. Все ученики, как вспугнутые воробьи, разбежались по своим местам, только Гриць остался со слезами на глазах и с губами, белыми от мела. Учитель грозно приблизился к нему.

— Как тебя зовут? — крикнул он.

— Гриць.

— Что за Гриць? А, ты новичок! Почему не сидишь на скамье? Чего плачешь? Чем губы вымазал? А?

— А я ел елусалим.

— Что? Какой иерусалим? — допытывался учитель.

Ребята еле сдерживали смех.

— Да мальчики давали.

— Какие мальчики?

Гриць оглянулся по сторонам, но никого не мог признать.

— Ну, ну! Иди садись и учись хорошенько, а иерусалим больше не ешь, а то будешь бит!

### III

Начался урок. Учитель говорил что-то, показывая какие-то дощечки, на них были нарисованы какие-то крючки и столбики; мальчики время от времени кричали что-то, когда учитель показывал новую дощечку, но Гриць ничего не понимал. Он почти и не смотрел на учителя: очень смешными ему показались мальчишки, которые сидели вокруг. Один ковырял пальцем в носу, другой, сзади, все время старался воткнуть Грицю в ухо тоненький стебелек; третий долго и усердно трудился, отрывая от своего старого кафтана заплатки, нитки и какие-то клочки; уже перед ним на нижней доске парты лежала целая куча, а он все еще дергал и рвал изо всей силы.

— Зацем ты лвешь? — спросил Гриць.

— Буду дома с бовцом есть, — ответил, шепелявя, мальчик, и Гриць долгое время думал над тем, не обманул ли его этот мальчик.

— А ты, Гриць, голубчик, ничего не слушаешь, — крикнул на него учитель и дернул его за ухо, да так, что у Гриця слезы невольно навернулись на глаза, и он так перепугался, что долгое время не только не мог слушать, но и совсем ничего не соображал. Когда он, наконец, опомнился, ученики уже начали читать склады по подвижным табличкам, которые раскладывал и складывал учитель. Они неумоимо по сто раз повторяли нараспев: «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Грицю, неизвестно почему, очень это понравилось, и он начал выкрикивать раньше других своим пискливым голосом: «А баба галамага». Учитель уже готов был признать его усердным и способным мальчиком и, пожелав еще лучше удостовериться в этом, переставил буквы. Неожиданно он выставил перед учениками буквы «ба-ба», но Гриць, не глядя на них, а только на учителя, тонким певучим голосом крикнул «галамага». Все засмеялись, не исключая и самого учителя, только Гриць удивленно оглянулся и снова громко сказал соседу: «Поцему не клицис галамага?» Только тогда бедняга опомнился, когда учитель за понятливость хлестнул его розгою по плечам.

— Ну, чему тебя там в школе научили? — спросил отец, когда Гриць вернулся в полдень домой.

— Учились мы «а баба галамага», — ответил Гриць.

— А ты умел? — спросил отец, не вникая в то, что это за такая удивительная наука.

— Ну да, умел, — ответил Гриць.

— Ну вот, так и всегда учись! — похвалил отец. — Когда здесь, в селе, выучишься, пойдешь в город, в большую школу, а там выйдешь в попы. Жена, дай-ка ему поесть.

— Ба, — ответил Гриць.

#### IV

Прошел ровно год с того важного дня. Блестящие надежды отца на будущее Гриця давно рассеялись. Учитель прямо сказал ему, что Гриць «совершенный болван», что он лучше сделает, если возьмет его домой и снова заставит пасти гусей. И действительно, после целого года школьной науки Гриць вернулся домой точно таким же мудрым, каким был год тому назад. Правда, «а баба галамага» он твердо заучил, и не раз даже во сне из уст его вылетало это диковинное слово, — первый порог всяческой премудрости, которого ему так и не удалось переступить. Но дальше этих слов Гриць в учении не пошел. Буквы как-то сливались перед его глазами, и он никогда не мог различить, какая из них *ш*, а какая *т*, которая «люди», а которая «мыслете». О чтении уже нечего и говорить. Была ли тут причиной его непонятливость, или плохое преподавание учителя — неизвестно; верно только то, что, кроме Гриця, таких же «совершенных болванов» среди учеников того года было восемнадцать из тридцати, и все они, как один, в течение учебного года только и мечтали, как бы им избавиться от ежедневных розог, подзатыльников, пинков, шлепков, тасканья за волосы и явиться снова в полном блеске своей силы на пастбище.

Но кто-кто, а Гриць, наверно, чаще и больше других думал об этом. Проклятый букварь, который он за год напряженной работы над научными вопросами изорвал

чуть ли не в ключья, проклятое «а баба галамага» и проклятые учительские придирки и поощрения к учению так ему опротивели, что он даже похудел, побледнел и ходил все время, точно лунатик. Наконец, смилоствивился бог и послал месяц июль, и смилоствивился отец, сказав однажды утром:

— Гриць!

— А?.. — отозвался Гриць.

— С этого дня больше не пойдешь в школу.

— Ба! — сказал Гриць.

— Сними сапоги, шляпу и кушак, надо спрятать до воскресенья, а ты подвжись-ка лыком, надень старую шапку да ступай пасти гусей.

— Ба! — радостно сказал Гриць.

## v

Гуси, известно — глупые гуси, они и на этот раз ничего не знали о радостной перемене, ожидавшей их. В течение целого года школьной науки Гриця их маленький соседский мальчик Лучка, который только и делал на выгоне, что копал ямки, лепил куличики из грязи и обсыпался пылью. О гусях он совершенно не заботился, и они ходили самопасом. Не раз им случалось забрести в засеянное поле, и тогда им приходилось вытерпеть много проклятий и даже побоев от пострадавшего хозяина. Кроме того, несколько раз в тот год несчастье коснулось зловещим крылом гусяного стада. Пять молодых гусаков и десять гусынь хозяйка продала в городе; тяжело было остальным разлучаться с ними. Старую темносерую гусыню забил хворостиной сосед на месте потравы и, с варварской бессердечностью привязав бездушный труп за лапу к той же хворостине, волок его таким образом через все поле, а потом бросил во двор хозяину. А одного молодого гусака, украшение и надежду стада, заклевал ястреб, когда тот однажды отбилсся от своих. Но, несмотря на все эти тяжелые и невозвратимые потери, стадо нынешнего года было больше прошлогоднего. Благодаря белому гусаку и черной с подпалинами гусыне да еще двум или трем моло-

дым ее дочкам стадо в этот год превысило сорок штук.

Когда Гриць появился среди них с прутиком — знаком своей наместнической власти, — сразу все глаза обратились к нему и было слышно только удивленное шипение. Но ни белый гусак, ни черная с подпалинами гусыня не забыли еще своего прежнего доброго пастыря и вскоре узнали его. С громкими криками радости, хлопая крыльями, бросились они к нему.

— Где-где-где-где? — гоготала черная с подпалинами гусыня.

— Да вот в школе был, — ответил гордо Гриць.

— Ов! ов! ов! — удивлялся белый гусак.

— Не веришь, глупый? — крикнул на него Гриць и хлестнул его прутом.

— А сё-сё-сё? А сё-сё-сё? — шипели, собираясь вокруг него, остальные гуси.

— То есть, чему я научился? — подсказывал им Гриць.

— Сё-сё-сё-сё? — шипели гуси.

— А баба галамага! — ответил Гриць.

Снова удивленное шипенье, словно ни одна из сорока гусиных голов не могла уразуметь такой глубокой мудрости. Гриць стоял гордый, недосягаемый. Наконец, белый гусак обрел дар речи.

— А баба галамага! А баба галамага! — закричал он своим звонким, металлическим голосом, выпрямившись, подняв высоко голову и хлопая крыльями. А потом, обернувшись к Грицю, добавил, точно желая пристыдить его еще больше: — А кши, а кши!

Гриць был пристыжен, уничтожен! Гусак в одну минуту перенял и повторил ту премудрость, которая стоила ему года ученья!

«Почему они его в школу не отдали?» — подумал Гриць и погнался гусей на выгон.

[1883]

## КАРАНДАШ

Не подумайте, пожалуйста, что рассказ мой хоть на йоту вымышлен или что его заглавие — какая-нибудь метафора. Нет, речь, в самом деле, идет о карандаше, и даже не о целом, а о куске этак примерно с вершок длиною. Впрочем, если кто-нибудь скажет, что в нем полтора вершка, — я тоже не стану спорить. Но в чем я уверен, это — что двух вершков в нем не было. Это я мог бы, как говорят юристы, «показать под присягой» или, как говорят наши ясеничане, «побожиться и поклясться на чем свет стоит». Вершка в полтора длиною, не больше, был герой этого повествования. Правда, немало уже лет прошло с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз, то бишь с той поры, как я видел его, потому что он-то своим очиненным носиком разве мог меня видеть? Да к тому же он целых полтора дня пролежал в моей школьной сумке, под книжками, во тьме кромешной! Если не соврать, прошло никак не меньше шестнадцати лет — достаточный срок, чтобы забыть самого близкого друга. А я не забыл о нем, о кусочке карандаша в полтора вершка длиною, темнокрасного дерева, шестигранном, покрытом желтым лаком, с серебряной тисненой надписью «Mittel»\* на тупом конце; другой конец был очинен — не слишком тонко, но и не толсто, как раз так, как это нужно деревенскому школьнику.

---

\* Средней твердости (немецк.)

В таком виде лежал он однажды зимним утром на снегу, во дворе ясеницкой школы, у самой тропки, которую протоптали с утра школьники. Было погожее, чудесное утро. Мороз все больше крепчал; в воздухе летали крошечные снежинки, совсем прозрачные, заметные только по алмазным отблескам преломлявшихся в них солнечных лучей. Карандаш не зарылся в смерзшийся искристый снег, а лежал на поверхности. Его желтый лак поблескивал на солнце, а серебряные буквы «Mittel» видны были издалека. Наверно, какой-нибудь школьник, торопясь в школу, потерял его. Так он и лежал, выставив свой черный, заостренный носик к стенам школы, как будто хотел сказать каждому прохожему, что там его настоящее место; казалось, он просил своим серебряным взглядом, чтобы его вынули из этой, хотя и прекрасной, но слишком холодной постели и отнесли туда, в школу, откуда далеко по селу разносились голоса мальчиков, дожидавшихся господина учителя.

Скажите же теперь по совести сами, как бы вы поступили, если бы вам случилось увидеть такой «Mittel» и вдобавок в таком, не совсем для его «чина» подобающем, положении? Думаю, что девяносто процентов из вас, не подозревая в нем героя не только рассказа, но даже газетной заметки или ничтожного объявления, подняли бы его и попросту спрятали бы в карман. Остальные десять процентов, наверно, даже не нагнулись бы к нему.

Я, откровенно сознаюсь, принадлежал к первым девяноста и потому, не думая дурного, наклонился к карандашу и, за отсутствием карманов, всунул его в кожаную школьную сумку, где лежали мои книжки. Но что было в этом не совсем обычно, это — что я очень уж обрадовался своей находке. Я был бедный деревенский мальчик, и у меня ни разу в жизни еще не было карандаша, все должен был писать этим проклятушим гусиным пером, которое так отчаянно мазало, брызгало и скользило под нажимом моей руки. А теперь я вдруг нашел карандаш! Да еще какой красивый! Правда, я видел его лишь мельком, еще когда он лежал на снегу, потому что затем схватил его и быстро сунул в сумку, словно боясь,

чтобы солнце, которое так ярко светило, не выкрало его у меня. И еще одно любопытное обстоятельство было во всей истории: мне и в голову не пришло, что его мог потерять кто-нибудь из школьников, — слышите, даже и в голову не пришло. Куда там! Кто это из наших школьников станет терять карандаши! Наверно, какой-нибудь незнакомый пан приезжал к учителю, — вот это он каким-то необъяснимым образом и потерял этот карандаш. А может, это был еврей барышник, которому учитель в прошлом году продал корову, может быть, этот карандаш лежит здесь еще с прошлого года и никто его, бедняжку, не заметил. А может, он упал с неба вместе со снегом? Ведь бабушка мне говорила, что лягушки падают с неба; почему бы и карандашам не падать? Так я размышлял, идя по школьному двору. Что ж, разве шестилетнему парнишке нельзя так размышлять? А впрочем — нет! Мне очень понравился этот карандаш. Я держал руку в сумке, а карандаш был у меня в руке, я поворачивал его гранями то так, то этак, старался ощупать его толщину, восстановить перед глазами его вид, — одним словом, моя фантазия, как мотылек вокруг цветка, неудержимо вертелась вокруг карандаша. Она отгоняла настойчиво всякую мысль о том, что карандаш мог принадлежать кому-нибудь из школьников и что, значит, мне придется возвратить его владельцу.

В классе было уже полно учеников. Кое-кто сидел за партой и бубнил заданный урок, время от времени боязливо оглядываясь на дверь, не идет ли учитель. Другие, посмелее, расхаживали по классу, дрались, сталкивали друг друга со скамеек, рисовали мелом на доске разные диковины и быстро стирали их затем мокрой тряпкой, служившей вместо губки. О карандаше никто не спрашивал. Это меня очень обрадовало, и я быстро, почти крадучись, шмыгнул на вторую скамью и сел на свое обычное место. Вынимая книжку, нужную для следующего урока, я услышал, как карандаш стукнулся о кожу сумки, и весь затрепетал — не знаю, от радости или от какой-то неясной тревоги.

Вот и учитель пришел, начался урок. Ничего! Прошел час, учитель вышел, поднялся прежний крик и шум, — о карандаше никто ни слова. Я сижу, оглядываюсь

вокруг и дрожу, как вор над краденым добром, боясь, что вот-вот придет кто-нибудь и потребует у меня карандаш.

Однако карандаша никто не требует. Ученики ходят и учат уроки, шалят и дерутся попрежнему.

Степан Леськов, мой добрый приятель, подходит ко мне.

— Э, ты, видно, нынче арифметики не знаешь: быть тебе битым! Да еще если мне прикажет учитель бить, ну, тогда держись, парень!

Что за язва этот Степан! Он знает, что арифметика — мое слабое место, и любит подразнить меня. Но я отлично понимаю, что он шутит: кроме того, нынче я не боюсь учителя, потому что я арифметику (писать цифры до ста) выучил. О, еще как выучил! А кто вчера весь день писал цифры пальцем на запотелых оконных стеклах?

— Ну, ну, ты не очень-то заботься о моем уроке, — ответил я Степану. — Смотри, как бы тебе самому не попало!

Чудеса, ей-богу, чудеса! Я хотел ответить Степану тоже шутливо, с улыбкой, ласково, а ответил с какою-то злостью, хмуро, таким сердитым голосом, что даже самому стало гадко. Я почувствовал даже, как все мое лицо залилось краской. Степан с минуту стоял передо мною и, не говоря ни слова, смотрел на меня удивленным взором, а затем отошел, видимо опечаленный тем, что обидел меня своей шуткой. Он так меня любил, этот кроткий, тихий, услужливый и добрый мальчик! Зачем я так сердито ответил ему? Зачем огорчил его? Он ведь шутил со мной, и мне не за что было сердиться на него!

Такие мысли вертелись у меня в голове, когда Степан отошел и молча сел на свою скамью. Это был невысокий, русый мальчик восьми лет. Его отец, бедный крестьянин, был соседом моего дяди, у которого я жил, поэтому и мы, ребята, дружили между собою. Отец Степана когда-то, говорят, был зажиточным человеком, но большой пожар и другие несчастья разорили его. Был он высокого роста, с всегда понурым, мрачным лицом и грубым, резким голосом. Я, сам не понимаю почему, боялся его и считал злым человеком. Зато маленький Степан весь

пошел в мать, тихую, кроткую женщину, с еще красивым добродушным лицом и светлыми серыми глазами. Поэтому-то не раз, стоя за плетнем на выгоне, поджидая, пока старый Леськов уйдет из дому, чтобы хоть на минутку забежать к Степану, поиграть с ним. Правда, мы порою ссорились, как все дети, но ненадолго. Я, более скорый на ссору, а то и на драку, всегда первый шел и мириться, а Степан, всегда ровный, улыбался так ласково, словно хотел сказать: «Вот видишь, я давно знал, что ты без меня соскучишься!»

Но теперь, за что я теперь рассердился на Степана? Да нет, я хорошо знал, что совсем даже и не рассердился на него! Наоборот, его жалобный, печальный взгляд причинил мне боль, сверлил мою детскую душу. Мне было чего-то стыдно, сам не знаю чего, и я забыл о карандаше. Только когда впечатление это немного ослабело и прошло и я увидел перед собой сумку, в которой мои пальцы, казалось, даже на расстоянии ощущали прикосновение карандаша, мое воображение снова вернулось все к тому же, и через минуту я совсем забыл о Степане и о его грустном взгляде.

Снова вошел учитель, начался урок и незаметно прошел; о карандаше никто ни слова.

Третьим уроком была арифметика. Эту высокую и страшную науку проходили таким образом: учитель вызывал кого-нибудь к доске, приказывал ему писать мелом цифры, а все остальные мальчики должны были эти цифры писать в своих тетрадях. Учитель расхаживал между скамьями, заглядывая то в ту, то в другую тетрадку — все ли пишут и так ли пишут, как нужно.

Перед уроком арифметики услышал я на последней скамейке, где сидел Степан, какой-то шум, какие-то тревожные, отрывочные вопросы и ответы, но за общим гамом не мог разобрать, в чем дело. Все-таки в груди у меня что-то екнуло, какое-то беспокойство зашевелилось во мне. Я подумал: не буду сейчас вынимать карандаш. Буду писать, как всегда, пером, хоть оно мне и опротивело.

Вот и учитель вошел. Посидев минуту за столом, он встал и вызвал меня к доске. Я вышел испуганный, дрожащий, потому что писание и цифр и букв было для меня

всегда слишком твердым орешком: все знаки выходили из-под моих пальцев кривыми, крючковатыми, расползшимися и обычно походили на старый плетень, в котором каждый кол торчит вбок, а поперечные хвосты висят сами по себе и никак не могут встретиться с кольями. Но что поделаешь: вызвал учитель, надо идти. Я стал у доски и взял в правую руку тряпку, а в левую мел.

— Тридцать пять! — крикнул учитель и оглянулся на меня. — Ах ты, болван, ты как мел держишь? Левою писать будешь! а!

Я переместил в руках злосчастные орудия премудрости, потом занес правую руку насколько мог высоко и едва достал до середины доски. Задача — написать цифру тридцать пять — была очень трудная, потому что приходилось писать самые «сложные» цифры. Вчера, практикуясь в писании пальцем на оконных стеклах, я долго думал, как бы написать эту проклятую тройку, чтобы она вышла кругленькая и с зубчиком посередине? Спросить было не у кого, вот я и надумал писать ее с середины от зубчика, протянуть отсюда, сначала верхнюю, а затем нижнюю дужку. Так я и научился писать дома, так же начал и теперь дрожащей рукой выводить на доске. А тут еще, как на грех, рука онемела, силы, которых и так немного, словно холодом сковало, и, как я ни мучаюсь, прижимая мел к доске, проклятые линии все выходят такими бледными и тонкими, что их едва видно. С грехом пополам я намалевал тройку.

— Ну что, уже? — кричит учитель и оборачивается ко мне.

— Еще... еще нет, — отвечаю я и, обливаясь холодным потом, начинаю писать пятерку, разумеется опять по собственному методу, то есть начиная снизу.

— Что, что, что? — закричал учитель и подбежал ближе. — Как ты пишешь, как?

Я молчал. Дрожащая рука дотягивала линию на доске. Пятерка походила скорее на букву Г, чем на круглобрюхое, гребенчатое пять.

— Ах ты, поросычья требуха! (Обычный титул, которым учитель величал учеников.) Так ты не знаешь, как пишется пять?

И, не ожидая ответа на этот вопрос, учитель одной рукой схватил со столика широкую линейку, а другой мою руку, из которой вылетел мел, и звонкий удар разнесся по классу. Ладонь моя налилась кровью и стала как будто толще, а по коже мурашки забегали. Я с детства терпелив к боли, и не заплакал, только поморщился.

— Так ты не знаешь, как писать пять? Не видел, как я писал? Ну, смотри, как пишется пять, вот как! — И господин учитель схватил мел и с размаху написал огромную пятерку сначала на доске, а затем (может быть, только не такую правильную и выразительную) и на моем лице.

— Пиши дальше, — крикнул он мне, — сорок восемь! Я взял мел и начал писать. Учитель смотрел еще с минуту. Четверка удовлетворила его, и он снова заходил по классу.

— Почему не пишете? — грозно крикнул он на мальчиков, которые, наполовину с усмешкой, наполовину со страхом смотрели на то, что происходило у доски. От окрика учителя все головы склонились, как рожь под ветром клонит к земле спелые, тяжелые колосья.

— А ты, староста, как написал три? — спрашивает учитель одного.

Не ожидая ответа, вместо пояснения — хлоп линейкой по ладони.

— А это что сверху, над пятеркой? — спрашивает другого.

— Капнуло с пера.

Снова хлоп линейкой по руке.

— А ты, сват, почему не пишешь? — спрашивает третьего.

— Да, я... про... простите, господин учитель, — слышен голос глотающего слезы Степана Леськова.

— Что? — гневно закричал учитель.

— Я где-то карандаш потерял.

В эту минуту из моей руки, неизвестно почему, выпал мел. Повторяю: неизвестно почему, так как я был уверен, что карандаш, спокойно лежавший сейчас в моей сумке, не принадлежал Степану. Ни в коем случае! И все же при этих словах я так испугался, рука моя так задрожала, что мел, словно голец, выскользнул у меня

из рук. Счастье мое, что заданная цифра была уже написана, теперь бы я не мог ее написать.

— Так! — крикнул учитель. — Потерял? Постой-ка, я тебя научу!

Чему собственно хотел учитель научить Степана, кто его знает. Мы, школьники, знали одно: что учитель два дня назад сильно поругался со Степановым отцом и, видимо, искал повод, чтобы сорвать на мальчишке злобу; кроме того, мы видели, что учитель сегодня под хмельком и, значит, без порки не обойдется.

— Марш на середину! — крикнул он Степану.

Бедный мальчик, видно, знал, что его ожидает, и медлил; учитель ухватил его за длинные светлые волосы и выволок на середину.

— Стой тут! А ты, — оборачиваясь ко мне, — написал уже?

— Написал.

— Садись! А ты ступай к доске!

С этими словами учитель толкнул Степана. Я облегченно вздохнул, — во-первых, потому, что сам сидел в безопасном месте, а во-вторых, я думал, что, может быть, Степану уже и не попадет за карандаш, если учитель послал его к доске, — я знал, что Степан писать умеет. Но, слыша, каким сердитым голосом диктовал учитель Степану цифры, как злился, видя, что Степан пишет хорошо, я все же чего-то боялся. Мне было тяжело, — что-то мне нашептывало, что если Степану придется плохо из-за карандаша, то в этом будет и моя вина. Каким образом такие странные мысли забрались мне голову, не знаю, — верно одно, что я дрожал, как осиновый лист.

Степан все пишет да пишет цифры, исписал уже всю доску, учитель все поглядывает на него, чтобы поймать его на чем-нибудь, — но не может.

— Довольно! — кричит он. — А теперь ложись!

— За что же, господин учитель? — говорит Степан.

— Что? За что? Ты еще спрашиваешь? Сейчас же ложись.

Что-то сдавило мне горло, когда я услышал эти слова. Учитель ищет розгуна последней скамье, а бедный Степан, дрожащий, бледный, стоит у доски и мнет тряпку в руках.

— Да за что же вы меня, господин учитель, хотите

бить? — еще раз спросил Степан сквозь слезы, увидев, что учитель приближается с розгой в руке.

— Ложись! — крикнул тот и, не дожидаясь больше, схватил Степана за волосы, кинул его на кресло и начал изо всех сил хлестать розгой. Степан закричал от боли, но крик, казалось, только сильнее раздражал пьяного учителя.

— Чтобы ты знал в другой раз, как карандаши терять! — крикнул он, задыхаясь, прерывистым голосом, и розга засвистала еще сильнее, стегая бедного Степана.

Что творилось со мной в эти долгие ужасные минуты? Первая мысль, мелькнувшая в моей голове, была — встать и сказать, что я во всем виноват, что карандаш Степана у меня, что я нашел его и не отдал Степану. Но страх перед свистящей розгой силой приковал меня к месту, связал мой язык, сжал горло железными клещами. Крик Степана пронзал мне сердце. Я весь покрылся холодным потом: я отчетливо ощущал боль, острую боль от розги, ощущал ее всем телом и так живо, что все мои мускулы невольно сжимались и дрожали, а в горле что-то громко всхлипнуло на весь класс. Но все были охвачены таким смертельным страхом, что, несмотря на гробовую тишину, никто в классе не услышал моего плача.

А учитель все не переставал бить! Бедный Степан уже охрип, лицо его посинело от натуги, пальцы судорожно впились в колени учителя, ноги дергались в воздухе, но розга не переставала свистать, и каждый ее свист, каждый удар по грубой полотняной рубашке Степана потрясал и сжимал тридцать детских сердец в классе, вырывал новый крик боли и отчаяния из груди Степана. Я не помню уже — ох, и вспоминать не хочу! — что творилось со мною в эти страшные минуты, какие ощущения наполняли мое тело, какая боль пронизывала мои суставы, какие мысли проносились в голове. Да нет, — мыслей не было никаких! Я сидел холодный, застывший, как камень! И теперь еще, спустя шестнадцать лет, когда я вспоминаю эту минуту, мне кажется, что она надолго ошеломила меня, как удар обухом по темени, и что, будь таких минут в моем детстве много, из меня вышел бы такой же болван, каких мы сотнями видим в каждой низшей школе нашего края, — несчастные,

забитые физически и духовно дети, чьи нервы сызмалу притупили страшные, отвратительные сцены, а мозги с шести лет засорила учительская муштра.

Наконец, свист розги затих. Учитель выпустил Степана, и тот, бессильный, измученный, без памяти повалился на пол. Учитель, красный как бурак, бросил розгу и сел в кресло, с которого только что свалился Степан. С минуту он отдыхал, не говоря ни слова. В классе стояла унылая, мертвая тишина. Только слышно было, как хрипел, судорожно всхлипывая, бедный мальчик.

— Встанешь ты? — прошипел учитель, толкая его ногой в бок.

Степан еле-еле поднялся на ноги и встал, держась рукой за скамейку.

— Марш на место! Будешь знать в другой раз, как карандаши терять!

Степан поплелся на место. В классе снова стало тихо. Учитель, видимо, немного протрезвился и понял, что неладно поступил, так избив мальчика. Он знал, что Леськова не стоит задевать. Мысль об этом раздражала его еще больше, — он вскочил и молча забегал по классу, сопя и задыхаясь.

— А, голодранцы, разбойники! — крикнул он на ходу, неизвестно к кому обращаясь — к нам, детям, или к отсутствующим ясеницким жителям.

Снова бегают и бегают учитель по классу, снова сопит и ворчит что-то, затем оборачивается к нам и кричит:

— Домой!

Но и это, обычно чудодейственное, слово, возвещавшее нам хоть на один день освобождение от тяготы школьной премудрости, теперь не произвело никакого впечатления. Смятение и страх ошеломили учеников и отняли у них слух. Понадобился второй, более громкий окрик учителя, чтобы все встали на молитву.

Когда после молитвы школьники двинулись со своих мест и начали выходить из класса, это делалось без обычного шума и толкотни; шли медленно, боязливо поглядывая на учителя, который стоял у стола, пока вышли все мальчишки. Все чувствовали себя подавленными. Степан шел, всхлипывая, и когда, уже у дверей, взглянул на

учителя, тот погрозил ему кулаком. Я шел почти последним, едва передвигая ноги. Мне было так страшно и стыдно чего-то, что я готов был в эту минуту провалиться сквозь землю. Не знаю, чувствует ли разбойник после совершенного убийства такую тяжесть на сердце, какую я чувствовал тогда. А на Степана я в ту минуту не взглянул бы ни за что на свете. Я так живо представлял себе его боль, — нет, я страдал не меньше его, — а тут еще проклятый внутренний голос все время шептал мне, что он из-за меня пострадал, что карандаш-то — его! Да, теперь что-то уже ясно говорило мне, что это его карандаш я нашел! И, кажется, самое естественное было бы в таком случае подойти тут же к нему и вернуть ему его потерю! Не так ли? Но нет! Это было бы естественно, но я, убитый страхом, жалостью и стыдом, ни за что не мог этого сделать. И не то, чтобы я еще и теперь хотел утаить карандаш для себя, — куда там! Он теперь тяжелым камнем лежал в моей сумке, на расстоянии жег мне руку, — я теперь ни за что на свете не притронулся бы к нему, не взглянул бы на него! Вот если бы кто-нибудь силой вырвал у меня сумку и вытряхнул из нее все, так, чтобы и карандаш выпал, а Степан смог бы его взять, — ах, как бы я порадовался такому случаю! Но этого не случилось, — да и не до того было школьникам.

Едва только мы покинули класс и школьный двор, все обступили всхлипывающего Степана и стали его расспрашивать, как и где он потерял карандаш, какой это был карандаш; кое-кто громко обвинял учителя, другие жалели Степана и говорили ему, чтобы непременно пожаловался отцу.

— Разве я-а знаю, где я по-отерял, — всхлипывал Степан. — Но что мне теперь отец скажет! Только позавчера купил мне в городе, а я потерял. Ой-ой-ой! — заплакал бедный мальчик, который боялся отца не меньше, чем учителя.

— Да не плачь, глупый, не бойся, — утешали мальчики, хотя, наверно, ни один из них не захотел бы оказаться на его месте.

— Ага, не пла-ачь! — мрачно ответил Степан. — Да он меня у-убьет за карандаш! Шесть крейцеров, сказывает, заплатил за него в городе... А если ты его

мне, говорит, потеряешь, шкуру спущу, слышишь!.. Ой-ой-ой!..

Я не мог этого слушать. Каждое слово Степана кололо меня, как колючка. Я быстро побежал домой, дрожащий, бледный, задыхающийся.

— О, ты уже, верно, дрался где-то с мальчишками! — закричала на меня при моем появлении тетка, — весь запыхался, как гончий пес! Ах ты бродяга этакий, бездельник, несчастье ты мое!

Тетка была еще незамужней девушкой, лет двадцати с лишним. Слыла она «очень доброй», если это можно было сказать про ее язык, который не любил «даром хлеб есть» и никогда не оставался без дела.

Я повесил сумку с книгами на крючок и сел обедать, не говоря ни слова. Поев, я уселся за стол и взял книжку, не для того, чтобы учить заданные на завтра уроки, — не до ученья мне было! Я сидел над книжкой, как пень, и сотый раз перечитывал одни и те же слова, не понимая, что читаю и что они означают. Я старался не думать о Степане, об учителе, о старике Леськове, но их лица непрестанно возникали передо мной, пронизывали меня холодом, терзали и мучили, как мучат грешника воспоминания о старых грехах. Мне хотелось, чтобы, наконец, наступил вечер, но вечер, точно заколдованный, не приходил. Я боялся взглянуть на сумку с карандашом, словно это была не сумка, а страшная нора, и не карандаш, а гадюка.

Как я измучился, пока наступил вечер, не буду рассказывать. Какие страшные сны снились мне ночью, как я кричал, убегал, прятался, как за мною бежали и летели ящерицы с острыми мордами и крупной надписью: «Mittel» на хребте, как меня колот терновник с блестящей желтой корой и шестигранными колючками, очиненными на конце, — пусть и это потонет в бездне забвения. Довольно сказать, что утром я встал как избитый или вываренный в котле, а тетка еще впридачу пожаловалась на меня за то, что я всю ночь метался и кричал, не давая ей спать.

Утром, до того еще как мне идти в школу, приходит из села дядя и, скинув толстые суконные рукавицы, начинает рассказывать разные деревенские новости.

— А за что это вчера учитель так избил Леськова Степана? — вдруг обратился ко мне дядя. Вопрос этот страшно испугал меня, меня будто кипятком обдало.

— Да... да... да... говорит, что где-то по... по... по...

— Ты что, говорить не умеешь, что ли? — вмешалась тетка. — Ну, так что там такое случилось со Степаном? — спросила она у дяди.

— Да вчера учитель так избил его за какой-то карандаш, что он еле живой до дому доплелся.

— За какой такой карандаш?

— А вот купил ему отец в понедельник карандаш, а он вчера потерял. Учитель пьяный, ну и давай мальчишку бить, как будто тот виноват. Слышишь, едва бедный мальчуган до дому дополз. Пришел домой и рассказывает, а старый медведь взбесился и давай бить ребенка! За волосы, да об пол, да каблуками!.. Господи! Старуха плачет, кричит, малец сомлел, едва водой отлили, теперь, говорят, лежит, двинуться не может! Как можно так ребенка мучить!..

Дядя еще не кончил говорить, как я громко расплакался и прервал его рассказ.

— А ты чего? — удивленно спросил дядя.

— Да ты спятил парень, что ли? — закричала тетка.

— Я... я... я... — пролепетал я плача, но рыдания не дали мне закончить.

— Ну, что, что, говори! — ласково сказал дядя.

— Я нашел... Степанов карандаш!

— Нашел? Где? Когда?

— Вчера, перед уроками, на снегу, — проговорил я уже смелее.

— Ну, а почему же ты не отдал Степану?

— Я не знал, что это его, а он не спрашивал.

— А потом, после уроков?

— Я... я боялся.

— Боялся? Да какого же черта ты боялся? — спросила тетка, но я не ответил на этот вопрос.

— Ну, а где же карандаш?

— В сумке.

Дядя заглянул в сумку и вынул злосчастный карандаш. Я не смел на него и взглянуть.

— Ну, поглядите, люди добрые, за такую малость так избили мальчишку! Провались они все!

Дядя сплюнул и вышел, взяв карандаш с собой. Меня тетка погнала в школу. Я еще всхлипывал по дороге, и слезы помимо моей воли текли по лицу, но на душе у меня стало гораздо легче.

В этот день и всю следующую неделю Степан не приходил в школу, лежал больной. Но на второй неделе заболел вдруг и учитель: дядя догадывался, что, верно, его старый Леськов здорово «отделал». Так оно было или нет, точно не знаю, — довольно того, что Степана я после этого не видел целых две недели. Ах, как я теперь боялся этой встречи! Как часто видел я в тревожных снах его доброе, тихое лицо, еще синее от побоев, худое и болезненное; с каким упреком смотрели на меня его серые, добрые глаза! А когда я увидел его, когда услышал его голос, все мучения, все тревоги последних дней, казалось, с новой силой ожили в моей душе, — но только на мгновение. Степан был уже здоров и весел попрежнему, заговорил со мной дружелюбно, будто ничего меж нами и не было; о карандаше и не вспомнил. Знал ли он, что его карандаш был у меня и что я стал причиной его страданий? Не знаю. Достаточно того, что никогда потом о карандаше у нас не было и речи.

*Львов, 1879*

## SCHÖNSCHREIBEN\*

В просторном втором классе нормальной школы<sup>4</sup> отцов базилиан<sup>5</sup> в Дрогобыче — мертвая тишина. Приближается урок чистописания, страшный для всех не столько самим предметом, сколько особою учителя. В базилианской школе по всем предметам преподают сами монахи, только для обучения детей чистописанию они наняли мирянина — какого-то бывшего эконома\*\* или надсмотрщика, пана Валька. Пану Вальку еще и до сих пор кажется, что он эконо́м: хотя ему не приличествует теперь ходить с нагайкой, но все же он не брезгует и тросточкой и никогда не упускает случая воспользоваться ею. Само собой разумеется, что дети, отданные хотя бы только на час под власть такому учителю, заранее начинают дрожать, и чистописание является для них самой большой мукой.

Один только маленький Мирон сидит на скамье спокойный, почти веселый. Он удивляется, отчего это сразу стало так тихо в классе, когда один смельчак, высланный в коридор на разведку, вбежал в класс и крикнул: «Валько пришел!» Мгновенно все замерло. Маленький Мирон не знает еще пана Валька. Он только что пришел из сельской школы, отец определил его к базилианам, во второй класс нормальной школы, и сегодня первый

---

\* Урок чистописания (немецк.)

\*\* Управляющий именем (украинск.)

урок чистописания. И хотя в сельской школе он далеко не силен был в письме, не умел ни пера взять как следует в руки, ни вывести ровно и гладко хотя бы одну линию, — все-таки он еще ребенок и не ему печалиться наперед о том, чего он еще не знает. Он удивился, отчего это сразу так тихо стало, но о причине побоялся расспросить соседей — ведь он с ними еще мало знаком. Да, впрочем, его это и не очень интересовало. Среди этой, для других страшной и тревожной, тишины он весь отдался излюбленному занятию — мыслям о своей родной стороне. Нельзя сказать, чтобы Мирон тосковал по ней: он знал, что каждый понедельник будет видеть и отца и мать. Он только думал о том, как это будет хорошо, когда летом он приедет домой, снова сможет свободно бегать по лугам, сидеть над речкой или бродить по ней, ловя гольцов; эти мысли были скорее веселые, ясные, радужные, а не грустные, тоскливые. Маленький Мирон весь погружался в эти красоты природы, расцветавшие в его воображении посреди серых, холодных стен базилианской школы, и не думал о той грозе, которая надвигалась на класс.

— Эй, а ты почему не приготовишь себе тетрадь для письма? — тихо спросил один из соседей Мирона, толкая его в бок.

— А? — ответил Мирон, грубо разбуженный от своего золотого сна.

— Тетрадь приготовь для письма! — повторил товарищ и показал Мирону, как положить тетрадь, перо, как поставить чернильницу соответственно указаниям пана Валька.

— Идет, идет! — пронесся шепот по классу, словно при приближении некоего грозного царя, когда в коридоре послышались шаги учителя чистописания. Вскоре затем отворилась дверь класса, и Валько вошел. Мирон взглянул на него. Учитель своим видом совсем не напоминал царя. Это был среднего роста человек, с коротко остриженными волосами на круглой бараньей голове, с рыжими короткими усами и рыжей испанской бородкой. Его широкий лоб и широкие, выдающиеся скулы вместе с большими торчащими ушами выражали тупое упрямство и кровожадность. Маленькие лягушачьи глаза сидели

глубоко под бровями и поблескивали оттуда как-то злобно и неприязненно.

— А ну! — крикнул он грозно, затворив за собою дверь класса и помахивая гибкой камышовой тросточкой. И от этого окрика, как от ветра в непогожий летний день склоняются разом колосья ржи, так же склонились головы восьмидесяти пяти учеников над тетрадками, разлинованными красными и синими линейками. У каждого ученика перо дрожало в руке. Один только маленький Мирон, который еще не знал характера Валька, сидел с поднятой головой и разглядывал нового учителя.

— А ты что? — крикнул на него сердито Валько и зашагал прямо к нему.

Маленький Мирон так и остолбенел от внезапного испуга. Он как-то инстинктивно повернулся и принял такое же положение, в каком уже с минуту трепетали его товарищи.

Валько взял в руки мел, подошел к доске, размахнулся и начал писать. Сначала он писал только буквы, маленькие и большие, гласные и согласные, без всякого, впрочем, значения. Но мало-помалу дошел и до слов, а наконец и до целых фраз, как, например: «Бог сотворил мир», «У человека две руки», «Земля — мать наша». Исчерпав таким образом свою мудрость, достаточно показав свое знание каллиграфии всевозможными выкрутасами, а также длинными, как мир, и ровными, как колбаски, хвостиками, Валько положил мел, отступил на шаг, с любовью посмотрел еще раз на исписанную доску и затем, обернувшись к трепещущему классу, грозно крикнул:

— Писать!

Его научная деятельность в эту минуту счастливо закончилась — теперь начиналась его деятельность как эконома. Дабы показать это наглядно, он сильно щелкнул пальцами, чтобы стряхнуть с них ученую меловую пыль, и взамен взял в руки свою тросточку. И точно орел, следящий за добычей из поднебесья, он, озирая класс, сошел с кафедры и начал свой обход.

Первый, к кому привела его злая судьба, был какой-то маленький слабенький и очень запуганный школьник.

Весь в поту, согнувшись над тетрадью, он трудился изо всей силы, стараясь удержать перо в дрожащих пальцах, и ежеминутно поглядывал на доску, стараясь выводить на бумаге такие же крючки, хвостики и колбаски, какие вывела умелая рука эконома на классной доске. Но рука его все-таки дрожала, крючки, хвостики и колбаски выходили ломаные, неровные, — даже перо, не слушаясь его, вертелось ежеминутно в пальцах, скрипело, брызгало, точно сердилось на что-то и стремилось как можно скорее высвободиться из них.

Валько стал над ним, словно черт над грешником, и, злобно усмехаясь, не говоря ни слова, начал присматриваться к его работе. Бедный мальчик почувал беду и окончательно утратил всякую власть над своей рукой и над непослушным пером.

— Так-то ты пишешь? — процедил Валько медленно, но тем быстрее свистнула в воздухе его трость и хлестнула по плечам бедного мальчика.

— Ой-ой-ой! — завизжал он, но сейчас же замолк, встретив грозный, змеиный взгляд учителя.

— Ты не умеешь лучше писать? — спрашивал Валько.

— Умею, умею!.. — лепетал мальчик, сам не сознавая, что он говорит.

Учитель-эконом, может быть, и в самом деле поверил, что мальчик умеет писать лучше и пишет плохо только назло ему или, может быть, от большой любви к его трости.

— Ну, так смотри же! — И Валько пошел дальше, даже не посмотрев, какие спасительные плоды принесло его обстоятельное вразумление. Впрочем, ему не было никакого дела до этих плодов, — он был теперь только экономом и больше никем. Его взор уже обратился в другую сторону и в другом углу класса высмотрел новую жертву. Там сидел еврейский мальчик, который, по старинному обычаю своего племени, писал сзади наперед, стараясь выводить все вальковские выкрутасы справа налево, от конца строчки к началу. Одну строчку он таким образом уже закончил и как раз начал вторую, со слов «сот бог аз к сыр». Написанная, уже готовая строчка выглядела так-сяк, но новая, еще неготовая, начатая с конца, бросилась в глаза Вальку.

— А ты как пишешь, Мойша? — закричал он, подсакивая к нему.

Валько всех евреев в классе звал «Мойша», — за исключением разве только сыновей богатых городских «тузов», к которым он питал большое уважение. Еврейский мальчик, по имени Йонас Туртельтауб, услышав этот окрик и увидав надвигающегося врага, оробел и съежился, как улитка в своей ракушке, и перестал писать.

— Ха-ха-ха!.. — хохотал Валько, глядя на его тетрадь.

— Господин учитель... — начал мальчик и замялся.

— Иди сюда!

И, не дожидаясь, пока Йонас выйдет из-за парты, взял его за ухо и потащил на середину.

Глядя на бедного Йонку, согнутого, дрожащего и плачущего от страха, весь класс громко захохотал, хотя всякий и сам дрожал и ежился... Но такова уже сила деспотизма: достаточно деспоту усмехнуться, как все, находящиеся под его гнетом, будут хохотать, не замечая того, что хохочут они сами над своей же бедой.

— Ступай к доске! Ну-ка, пиши!

Валько собственноручно стер часть своих писаний и вложил мел в руку еврейскому мальчику. Тот начал писать по своей привычке, сзади наперед. Снова захохотал класс, усмехнулся и Валько, но сию же минуту его лицо нахмурилось, он обернулся к последней парте, где сидели великовозрастные здоровые парни, и крикнул:

— Ну-ка, дайте ему!

Еврей задрожал всем телом и что-то залепетал, но к нему быстро подскочили два товарища — секуторы — и повели на кафедру. Тихо стало в классе. Вместо смеха бледность покрыла все лица, только жалобный визг Йонки раздавался в каменных стенах базилианского монастыря.

— Довольно с него! — сказал Валько, и Йонка, всхлипывая, пошел на свое место.

Исполнив это высокопедагогическое дело, Валько продолжал свой обход класса, и снова посыпались удары его трости по плечам и по рукам бедных мальчиков.

Какое впечатление произвело все это ученье на Мирона, трудно передать. Он весь дрожал, как в лихорадке; у него шумело в ушах и рябило в глазах, как во время бури. Ему так и мерещилось, что и его не минет эта буря, что каждый удар страшного учителя обрушится на него. Написанные слова и строчки прыгали перед его глазами, разбухали, переплетались и казались еще более некрасивыми, чем были на самом деле. Он и сам не заметил, когда перестал писать, — серый туман стоял перед его глазами.

— Так-то ты пишешь? — гаркнул Валько над его головой.

Мирон встрепенулся, схватился за перо, ткнул его в чернильницу и поволок по бумаге, словно быка за рога.

— Ты не знаешь, как держать перо?

— Не знаю! — прошептал Мирон.

— Что? — взревел Валько. — Разве я уже не показывал тебе десять раз?..

Мирон уставился удивленными глазами в злобное лицо Валька. Но вместо ответа Валько сжатым кулаком ударил мальчика в лицо. Маленький Мирон как подкошенный повалился на скамью, а со скамьи на пол. Кровь залила его лицо.

— Поднимите его! — крикнул Валько. С задней скамьи подбежали двое, те самые, которые минуту тому назад поролы Йонку, и подняли потерявшего сознание Мирона. Голова его не держалась на плечах и повисла, как у мертвого.

— Бегите за водой! — командовал Валько и еще раз посмотрел на Мирона.

— Что это за мальчик? — спросил он.

— Мирон, — ответил «цензор», самый старший и сильный в классе, которого монахи поставили надсмотрщиком над товарищами.

— Кто он такой? — продолжал спрашивать Валько.

— Сын мужика из Н...

— Мужичкий сын! Тьфу, какого черта эти мужланы лезут сюда! — проворчал Валько. У него отлегло от сердца. Он начал было побаиваться последствий своего поступка, но мужичкий сын — значит, можно его бить

и обижать, как хочешь, никто за мужицкого сына не вступится.

Валько не ошибся в своем расчете. Никто не вступился за мужицкого сына. Бесчеловечный поступок учителя-эконома сошел ему безнаказанно, так же как и многие другие бесчеловечные его поступки. Только в сердце мужицкого сына он не прошел даром, а остался первым зерном возмущения, презрения и вечной вражды против всякого насилия и гнета.

## НА ДНЕ

### I

Однажды, в погожий весенний полдень, в воскресенье, двое полицейских, сидевших в караулке дрогобычской управы, были изрядно удивлены. В караулку привели вдруг какого-то молодого еще, среднего роста, панка, в запыленном, правда, но довольно приличном костюме.

— А этот еще откуда? — спросил капрал, смерив молодого человека с головы до пят посоловевшими от перепоя глазами.

— Из старóства<sup>6</sup>, по этапу поведут, — ответил сопровождавший панка полицейский.

— М-м-м, — промычал капрал и уставился в стоявшую перед ним тарелку с остатками мяса и салата, потом перевел взгляд, чтобы полюбоваться очередной «гальбой»\* пива.

Полицейский тем временем достал из-за пазухи протокол и подал капралу. Это было постановление старóства. Капрал взял бумагу, развернул, оглядел со всех сторон и принялся читать по слогам имя приведенного этапника, но, не в состоянии, очевидно, с этим быстро справиться, спросил его самого:

— А как пана зовут?

— Андрей Темера.

---

\* Кружка (пол-литра, от немецк. die Halbe — половина).

— Откуда родом?

— Из Тернополя.

— Из Тернополя? Гм! А чего это вас сюда занесло, из самого Тернополя? А?

Темера, казалось, и не слышал этого вопроса, — положив свою шляпу и пальто на стул, он стоял и разглядывал караульное помещение.

— Зачем вы сюда явились? — угрожающе переспросил капрал.

— Это не важно! — спокойно и твердо ответил Темера.

Капрал выпучил было на него глаза, однако сдержался.

— Нет, важно, прошу отвечать на мой вопрос!

— Не ваше дело меня об этом допрашивать.

Капрал покраснел от злости, но прикусил язык.

— Экий вы умник, молодой человек, упаси бог! А чем вы занимаетесь?

— Это уж мое дело, — ответил Темера и зашагал по караульному помещению, поглядывая в окна на гимназический сад, весь в пышной зелени. По извилистым дорожкам сада разгуливал празднично одетый пестрый люд, веселый, свободный... Оттуда доносился и детский звонкий смех, и женские серебристые голоса, и какой-то манящий шепот из самой гущи листвы, сквозь шум и шелест свежей буйной растительности. Облачко грусти и сожаления пробежало по красивому юному лицу Андрея, от какой-то тревожной мысли защемило сердце, губы судорожно дрогнули, а глаза так и впились в это зеленое озеро, сверкавшее в жарких солнечных лучах.

— Так-то, молодой человек, я вижу, очень уж вы умны, хоть еще и молоды, — продолжал капрал, сдерживая злость, и опорожнил полкружки пива. — Не к добру это, — кто много знает, скоро и состарится! Ну, а пока не угодно ли вашей милости пожаловать к нам в «гостиную». Мы тут для таких умных панов припасли особую гостиную, великолепную гостиную, ха-ха-ха!

Темера быстро обернулся. На его лице отразилось явное беспокойство.

— А пан инспектор скоро придет? — спросил он.

— О, скоро, — насмешливо ответил капрал.

— Так нельзя ли мне его здесь дождаться? — спросил Темера, не обратив внимания на тон, каким капрал произнес это «скоро».

— Э, не все ли равно, здесь или там, — ответил капрал, — но только там безопаснее, да и там для вас, паночек, самое подходящее место. Ну-ка, будьте любезны, потрудитесь.

— Но я попросил бы оставить меня, если можно, здесь, — настаивал Темера.

— Нельзя, паночек, нельзя, — медовым голосом твердил капрал, довольный, что может отплатить непокорному.

— Пан капрал, — вмешался полицейский, молча сидевший до сих пор у стола, — но там тесно, восемь душ!.. Может, оставим, пока пан вахмистр придет?

— А? что? — гаркнул капрал. — Восемь душ? А мне какое дело? Где восемь, там и девятая поместится! А впрочем, как хочешь, пускай здесь остается, только на твою ответственность!

— На мою? А кто я такой? Разве я могу брать арестанта на свою ответственность?

— А коли не можешь, то не суйся со своим рылом, куда не просят, — отрубил капрал, снял с колышка ключ и двинулся вперед. Темера взял свою шляпу и пальто и последовал за ним.

Небольшие сени вели с одной стороны на длинное, теребовельскими плитами<sup>7</sup> вымощенное крыльцо, а с другой — в коридор. Сверху лился яркий солнечный свет, достигая до самого порога коридора. В коридоре никого не было. Чистые крашенные стены, каменный пол, высокий потолок без сводов, чисто выбеленный, — все это придавало тесному и не очень длинному светлomu коридору довольно просторный и приветливый вид. Идя вдоль этих стен, расписанных зелеными цветочками и узорами, никто, пожалуй, и не подумал бы, что за ними может таиться нечто отвратительное, нечто совсем противоположное этому внешнему виду, совершенно противоречащее общим понятиям о человеческом жилье. Вот и наш Темера спокойно шагал за капралом, чуть задумавшись, но не о своей теперешней судьбе, а о каких-то лучших, давно прошедших минутах.

Остановясь перед низкой буковой, чисто вымытой и почти совсем не окованной дверью, капрал забрякал небольшим висячим железным замком. Он долго возился, пока, наконец, не воткнул ключ в скважину. Ключ как-то смешливо и весело заскрежетал, замок звякнул, дверь отворилась, капрал отступил, взял Темеру за плечо и, подталкивая его вперед, пьяным голосом, насмешливо проговорил:

— Ну, милости просим!

## II

Темера как вкопанный застыл на пороге. Густой мрак, черный как смола, хлестнул его по глазам и на минуту совершенно ослепил. У него даже мелькнула мысль, что перед ним внезапно открылся ход в какое-то таинственное подземелье, о которых он читал в старинных повестях. Поначалу он ничего и никого не мог разобрать в этой темной пещере. Казалось, чья-то сильная невидимая рука схватила его за грудь и удержала на пороге, не пуская внутрь. Но видимая рука капрала, оказавшаяся явно сильнее, толкнула его вглубь и захлопнула за ним дверь мрачной западни.

Андрей стоял возле двери, озирался и прислушивался: не донесется ли откуда-нибудь человеческий голос, — но ничего не было слышно. Только спустя некоторое время его глаза настолько привыкли к темноте и освоились, что он мог, наконец, обстоятельно разглядеть свое новое жилище: это была маленькая камера не более шести шагов в длину и четырех в ширину, с крошечным, заделанным решеткой, окном. Прорубленное очень высоко, чуть ли не под самым потолком, оно выходило на крыльцо, но так, что сквозь него виден был только посеревший от старости гонт да стельги навеса над крыльцом. Солнце никогда не заглядывало сюда. Темные, неописуемо грязные стены этой конуры были внизу почти сплошь усеяны капельками влаги. На асфальтовом полу было мокро от пролитой воды, плевков и бог знает когда нанесенной грязи. Дверь изнутри оказалась вовсе не такой желтой и невинной, как снаружи, — напротив, она почер-

нела от сырости и была окована крест-накрест двумя толстыми железными полосами; даже маленькая, прорезанная в ней квадратная дыра-отдушина была заткнута деревянным брусом и наглухо заколочена. Посредине камеры стояла узенькая железная койка с соломенником, влажным и грязным, как все здесь, набитым давно не переменявшейся истлевшей соломой. В углу у стены стояла вторая такая же койка. Ни простыни, ни какой-нибудь дерюги, даже обычной соломенной арестантской подушки. Воздух в камере был спертый и затхлый — ни окно, ни дверь не пропускали достаточно свежего воздуха. А в углу возле двери стояла, кое-как прикрытая щербатой незакрывающейся крышкой, обычная арестантская посуда — «параша», и от нее исходило убийственное зловоние, заполняя камеру и въедаясь во все окружающие предметы этого адского застенка, как бы обволакивая все смрадом какой-то мерзости и проклятия. А рядом с этой посудиною стояла другая — большая, расширяющаяся кверху, ничем не прикрытая кадушка с водой — для питья!

Долго вглядывался Темера, напрягая сколько было сил свое непривычное зрение, пока разглядел все эти предметы, словно глумившиеся над ним своим безобразием, своею нечеловеческой мерзостью. Казалось, его сердце сдавили какими-то ледяными клещами; отвратительный, зловонный воздух захватил дыхание, и Темера закашлялся, слезы даже проступили на глазах.

В камере никто не подавал голоса, хотя и слышалось тяжелое сопение нескольких, словно сдавленных грудей. Темера стал разглядывать своих товарищей по несчастью.

На соломеннике у стены, растянувшись и попыхивая глиняной трубкой, лежал старик лет пятидесяти с черной, кругло подстриженной бородой, с тяжелым одутловатым лицом и деревяшкой вместо правой ноги. Впрочем, это был плечистый, коренастый мужчина. Его грязная рваная рубаха, очевидно, не была в стирке уже несколько месяцев. Он лежал, подложив локоть под голову, прикрыв ноги грязным полотняным пиджаком. Его небольшие серые глаза спокойно, даже слегка насмешливо, смотрели на новоприбывшего арестанта — панича.

В ногах у старика, свернувшись калачиком, как собачонка, лежал небольшой черноволосый мальчуган в черных «городских» штанах, в грязной рубаше фабричного тонкого полотна, до того немилосердно изодранной, что из-под лохмотьев, куда ни глянь, светилось буробронзовое тело. Лица его Андрей рассмотреть не мог; мальчик спал так крепко, что не проснулся даже от стука двери.

На соседней койке лежал мужчина средних лет, крепкого сложения, приземистый, с бритым подбородком и подстриженными усами. Белье на нем было еще добротное, не слишком грязное, — видимо, он только недавно угодил в эту юдоль «смрада и печали». Однако его угрюмое лицо осунулось, стало землистым, глаза глубоко западали, а мохнатые сильные руки то и дело невольно стискивали железную дужку койки, словно тянулись к своей привычной повседневной работе. Он лежал навзничь, уставясь с каким-то гневным безразличием в потолок, и ни разу не взглянул на нового гостя, пока тот сам к нему не обратился.

Бок о бок с ним, вернее в ногах, на коротком суконном кафтанчике вместо подстилки лежал молодой крестьянский паренек. Его тонкое смуглое лицо светилось здоровьем и той необыкновенно нежной привлекательностью черт, которая нередко встречается среди нашего сельского люда, живущего в непосредственном соприкосновении с природой — матерью всякой красоты. Длинные, пушистые густые волосы волнами спадали на плечи; спереди они были подстрижены в кружок. Большие, блестящие черные глаза светились детской кротостью и любопытством, разглядывая нового товарища. Только мускулистые руки и ноги, заскорузлые и сильно развитые, свидетельствовали о том, что этот красивый паренек не в холе рос, а среди тяжкого труда и долго, упорно боролся за свое существование. Андрей, очень впечатлительный ко всякой красоте, долго не мог оторваться от этого милого лица, тем более прекрасного, что, в отличие от многих красивых лиц, оно светилось природным умом, пылкостью и неиспорченным подлинным чувством.

Прочим обитателям «гостиной» приходилось ютиться на полу. Андрей быстро обежал взглядом этих несчаст-

ных, брошенных сюда на мокрый, липкий от грязи и от непросыхающих плевков асфальт. Там, у стены, возле самой двери, лежал старый еврей с необыкновенно худым, изможденным лицом, костлявыми, как грабли, руками и седой клочкастой бородой. Его коротко остриженная запрокинутая голова тяжело покоилась на мокрых плитах, а жилы на длинной, тонкой шее вздулись, как натянутые веревки. Он крепко спал, разинув беззубый рот, и храпел, как зарезанный, а изо рта по бороде стекала слюна. Рядом с ним сидел какой-то пьяный ободранный мужичонка в кожухе без пол, в обвязанных веревочками сапогах, в облезлой бараньей шапке, в полотняных штанах, у которых одна штанина была оторвана начисто, и подпоясанный лыком вместо ремня. Сидя на полу, он тихо всхлипывал, словно всего за минуту перед этим перестал плакать.

По другую сторону койки, у противоположной стены, лежал молодой еще человек, не более двадцати восьми — тридцати лет, белолицый, голубоглазый, со светлой растительностью на лице и короткими русыми волосами. Его борода, очевидно, давно не видала ни гребня, ни ножниц и торчала взъерошенная, точно разоренное дроздиное гнездо. На этом человеке было намотано и навешано столько тряпья, что, лежа на полу, он казался какой-то копной онуч, дышащей тяжелым, глубоким дыханием в этой битком набитой людьми и давно непрветриваемой конуре.

Андрей Темера беспокожно, с щемящим сердцем, долго обводил взглядом эти тела, эти человеческие лица, не зная, что сказать, что подумать. Сколько горя, жгучего, неожиданного и скрытого копошилось перед его глазами в этой темной, отвратительной конуре!.. Ведь перед ним все это — люди, его братья, способные, так же как и он, чувствовать и красоту и мерзость жизни! А те, кто их запер здесь и держит в этой отвратительной яме, — ведь и они тоже люди, и у них есть дети, и они зарабатывают на хлеб и так же точно, как и он, чувствуют красоту и мерзость жизни! Как же так получилось, что здесь вдруг образовалась такая страшная пропасть между людьми и людьми? Что же это такое? Точно от сильного удара, голова Андрея поникла, плечи опустились.

Ему стало в эту минуту так тяжело, так холодно и тесно на душе, словно его столкнули из свободного светлого мира в глубокий колодезь, и он лежит там, на дне, разбитый, ошеломленный.

«Да, я в самом деле на дне, — подумал он, — на дне общества, а вот эти, вокруг меня — кто же, как не подонки общества, жалкие парии, заклеянные страшным позорным клеймом — нищеты?..»

### III

— А вы, пан, откуда? — первым спросил Андрея старик.

— Из Тернополя.

— Ишь ты, что же это с вами стряслось, за что вас сюда загнали?

— Да что стряслось! Я окончил курс во Львове, ну, и ехал сюда в деревню, к одному товарищу, заниматься с ним. Ну, как водится, если человек не чувствует за собой ничего плохого, то и не думает о беде. Никаких бумаг я с собой не прихватил, ни паспорта, ничего, — ну, а тут, подъезжая, вдруг встречают нас на дороге стражники, начинают допытываться, откуда и зачем, — увидели, что у меня нет документов, и потащили в староство. Там допросили, что и как, и направили сюда — дескать, доставить на родину по этапу. Вот и все!

— Н-ну, все то же! — сказал старик. — Вот, значит, паночек, и у меня такая же история. Я, ежели знаете, из Волощи, — село тут такое, неподалеку отсюда. Служил в солдатах... ногу в Ниталии\* оторвало, ну, и как стал я для службы непригодный, отпустили меня. Доковылял я на своей деревяшке домой, а там ни ложки, ни ложки... хоть милостыню проси, хоть с голоду помирай. А я, сами видите, человек еще в силе, побираться стыдно, а работать в поле без ноги не горазд. Пошел я в Борислав. Работа там другая, стоячая, при вороте. Проработал я там лет с десять... так, зарабатывал, лишь бы прожить.. Но, по правде говоря, иной раз и недоешь, а все же отло-

---

\* В Италии.

жишь малость на болезнь да на старость... Вот, грошик по грошику, и сколотил кое-что, и одежонки накопилось немного... Понятно, живой человек о живом и думает... Как вдруг наслал на меня господь-бог болезнь... свалило меня одним махом, что косою подрезало. Отлежал я шесть месяцев у еврея в каком-то чулане... счастье еще, что не зимой. Выхожу, а тут как раз снег. Что делать?.. Деньги за это время разошлись, одежонку пришлось заложить... здесь бы человеку полежать еще после болезни, а еврей гонит, платить нечем... А на работу становиться — силы нет... Судьбинушка моя горемычная! Что станешь делать? Ну и вижу, хоть круть верть, хоть верть круть, а иного спасения нет, взял я — стыдно, не стыдно — пошил торбы, да и пошел по хатам за хлебушком побираться. Ну, слава богу, зиму эту тяжкую кое-как скоротал, а по весне задумал снова стать на работу, как вдруг встречают меня стражники, вот тут, за Майданом. «А ты, дед, откуда?» — «Да, говорю, из Волощи». — «Разве не знаешь, что теперь запрещается чужим нищим по деревням попрошайничать? Каждая деревня обязана своих нищих содержать, а бродяжничать нельзя». — «Да я, говорю, не нищий; я только несколько раз ходил просить хлебца кусочек, болел я, заработать не мог...» Куда там! И договорить не дали... еще один, дай ему боже царствия небесного, так по шее съездил, что небо с овчинку показалось, ну, и потащили в староство. А тот пан, что заместо старосты — сам-то староста помер, — даже и слушать меня не стал и тут же отдал под «малый суд» за бродяжничество. Присудили мне две недели ареста и к отправке по этапу на место жительства в деревню. Отсидел я эти две недели, потом привели меня сюда, и вот, слава тебе господи, в пятницу стукнет полтора месяца, как здесь кисну. Вроде и не наказание, но избави бог от такого наказания! Сущее пекло, а то и почище! И неизвестно, до каких это пор протянется, здесь не очень спешат, и в мыслях у них этого нет!

— Ну, и как же вы, все время тут и сидите? — спросил Андрей. — На прогулку разве не водят?

— Э, какие тут прогулки! — ответил, усмехаясь, старик. — Но выпускать — выпускают... каждый день по утрам гоняют в город улицы подметать.

— Всех?

— Нет, вот я да Дмитро, да вот еще маленький бойчук, ну и Стебельский, вон тот, что в лохмотьях, а больше никого.

— А остальные — никогда не выходят на свежий воздух?

— Да не выходят, разве иногда вон тот хозяин в город за хлебом. Ну, а этого старого еврея и вон ту плачущую Магдалину в одной штанине да в половине кожуха только сегодня привели, так не знаю, что еще с ними сделают. Еврей — тот уже отсидел в Бориславе месяца два до этапа — говорит, будто его бумаги уже пришли, значит на днях, пожалуй, и отправят. Мы старые знакомые, долгие годы вместе со мной вертел, горемыка, вóрот в Бориславе! А теперь, вишь, всех из Борислава, у кого нет бумаг, по этапу гонят. Вот и его застукали.

Андрей поглядел на изможденное, сухое лицо еврея, которое, казалось, кто-то смастерил из палочек, натянув на них бурый сморщенный сафьян. Тяжкие хрипы в груди предвещали, что этому человеку недолго маяться на свете, а весь его облик слишком убедительно говорил о том, что и прошлая его жизнь — не жизнь, а вечное прозябание и нужда.

— Чистая душа, — продолжал старик, — золотое сердце. В какую беду ни попадет, ни за что плакаться не станет, а другого пожалеет и пособит, чем только может, как брат родной. Да, таких вы не много найдете, ей-ей, не много. Оно, конечно, вырос среди наших, горе мыкал, работал сызмальства, как и наш брат, мужик, и не будь у него бороды, да пейсов, да этого лапсердака, никто бы не сказал, глядя на его натуру, что это еврей!

— Ну, а как же вы тут живете? — продолжал спрашивать Андрей, уже более отчетливо видя камеру — глаза его понемногу привыкли к темноте. Он разглядел железную печь, вмурованную до половины в стену у изголовья койки, где лежал старик, увидел на печи большой ржаной каравай, какой обычно продают поселковые бабы на дрогобычском базаре.

— Да как живем, — ответил старик, — хлеб жуем, только и всего.

— Один хлеб?

— Один хлеб.

— А горячего ничего?

— Э-э, паночек! Слава богу, вот уж полтора месяца как во рту у меня ничего горячего не было! Да и откуда здесь возьмешь? Дают тебе на день четырнадцать крейцеров — что на них купишь? Десяти крейцеров в день на хлеб мало, а тут еще соли прикупить, хоть изредка луку, вот и все деньги. Вот, глядите, беру я каждый второй день по такой буханке, — стоит она двадцать крейцеров, — редко когда останется от нее кусок на третий день, тогда уж прикупаю себе еще брынзы. Водись деньги, купил бы в городе горячих рубцов, но ежели миска, что твоя ладонь, пять крейцеров стоит, то не очень наешься?.. Лучше уж луку купить, по крайности целый пучок хватит с хлебом на весь день. А вон у тех, избави бог, и этого нету; как возьмутся с утра за свои десятикрейцеровые хлебцы — ни крошки не оставят, все подчистят, а потом ждут не дождутся следующего утра. Только бойчук делает так же, как я, — покупает на два дня большой каравай, и ему кое-как хватает. Протянул бы и дольше, потому что не может есть хлеб всухомятку; только еще эти тут, — старик указал ногой в спящего калачиком парня, — эти у него забирают. Свой с утра уплетут, а в полдень к нему, как в собственную кладовую: «Дмитро, давай хлеба!» — а он, дурень, дает.

— Как же, стану я хлеб беречь, когда они голодные сидят? — звонким голосом отозвался Дмитро, и обворожительная, мягкая улыбка разлилась по его красивому лицу, заискрилась в его больших глазах, придавая им еще большую прелесть и привлекательность.

— Ну, ну, ты, дурачок, послушал бы, что б они тебе запели, будь у них хлеб, а не у тебя и ты бы голодал. Выпросил бы ты у них — скорей камнем голову проломил!

— Да что там, — попросту заметил Дмитро, — я бы и не просил у них.

— А ты за что сюда? — спросил Андрей, обращаясь к Дмитру. — За что тебя сюда затащили? Кому ты голову проломил?

Дмитро засмеялся.

— Да никому, — сказал он, растягивая по-бойковски звук «а». — Меня забрали в Бориславе, бумаг у меня нету.

— А ты откуда?

— Да из Дзвинячего. Мать померла еще в холеру, а потом отец запил, продал землю, после заложил и хату, а в прошлую осень взял да и помер. Что было делать? Шли наши парубки в Борислав, и я с ними увязался. Ну, а что я заработаю? Ни договориться толком не умею, ни таскать чего силишек нет, вот разве при насосе да из ковша выбирать, — ну, а за это платили по четыре, самое большее по пяти шисток. Перезимовал я с грехом пополам, а весной задумал куда-нибудь на службу наняться, вот тут-то меня и забрали.

— И долго ты сидишь?

— Да вот уже месяц, — безмятежно ответил Дмитро своим ровным, звонким, почти еще детским голосом. — Мы тут все из Борислава, — продолжал он, — кроме вот Стебельского.

— Ну этот, по правде говоря, сам на себя беду накликал, — грустно улыбаясь, заметил старик. — Человек он ученый, «гимназию»\* окончил, все классы, а подика, тут (старик повертел пальцами у лба) чего-то не хватает. Сначала писцом в самборской управе служил, потом, рассказывает, у какого-то адвоката, а там и вовсе опустился.

— Дедушка, дедушка, — перебил его вялый, точно со сна, голос Стебельского, — говорите же, как есть! Что значит «вовсе опустился»? Как это я вовсе опустился?

Старик улыбнулся.

— Да видите ли, — продолжал он, обращаясь к Андрею, — стало его вдруг что-то грызть да палить. «Что это, говорит, я делаю? Пишу тут, а для чего эта писанина сдалась? От нее только плачут да клянут нас люди. А я еще у них за это деньги беру». Ну, и так из-за людских слез ему эта писанина опротивела, что он взял да и бросил. Продал свою господскую одежонку и принялся все сам себе делать. Поглядите только на его мундир! Это он сам сшил!

---

\* Гимназию.

— Человек, не обслуживающий самого себя, — говорил снова Стебельский, вперив блуждающий взор в темный угол камеры, — берет в долг у других. А кто берет в долг, тот должник... Должен отдавать. А если нечем отдать и не знает, как отдать? А тут кредиторы — мужики, бабы... плачут, проклинают! Ночами не спится... страшно... все слышатся плач да проклятья! А хуже всего эти дети — такие измученные, голые, опухшие... и не проклинают, только плачут и умирают. Как мухи, мрут... Я целых два года вовсе спать не мог, вечно этот плач по ночам слышал. И пришлось все бросить! А как принялся сам себя обслуживать, то и полегчало.

— А как же вы сами себя обслуживаете? — спросил его Темера.

— Как? — И Стебельский устремил на него свой мутный взгляд. — Очень просто. Делаю только то, что необходимо для существования: копаю, ношу воду, пасу скотину. Ем только от трудов своих рук. Одеваюсь в то, что сам себе сделаю. Сплю на земле. А первое дело — не ем мяса и не беру в руки пера. Потому что мясо делает человека дикарем, а перо в его руках страшнее львиных когтей, зубов тигра и змеиного яда.

— Ну, видали, — отозвался старик, когда Стебельский закончил свою речь, — все у него вот этакое дела в голове бродят. Ну, а в остальном он мужик здоровый. И работающий, ничего не скажешь, а какой прямодушный! Уж если за что возьмется — все силы, всю душу вложит. Так вот, скажу вам, бросил он пановать и нанялся к какому-то хозяину батраком. Какое! И там не смог долго выдержать.

— Ага, как же выдержать, — равнодушно произнес Стебельский, — если хозяин-богатея работников нанял, а сам бездельничает и, чуть что не так, батрака по лицу — трах!

— И вот так повсюду! — смеясь, сказал старик. — Точнехонько, как в пословице, — глупого и в церкви бьют. А жалко его! Ученый человек, поповского роду. И книжки у него еще есть, читать не зарекся. Даже сюда с собой прихватил, да полицейские отобрали.

— А откуда же он сюда приехал?

— Да из Самбора же! Там, в Самборе, он жил много лет, и никто его не трогал, как вдруг этой весной услышал, что призывают запасных на ученье. А он, видите ли, родился в здешнем округе, ну и приехал сюда, явился вроде как службу отбывать. А сам уволен вчистую еще с тех пор, как пальцы отморозил.

— А как же он пальцы отморозил?

— Говорят же вам, что у него в голове... того... «Ну, — рассказывал он мне, — иду я как-то зимой в трескучий мороз; иду в Самбор из одной деревни, а на дороге лежит железина, полоса какая-то, что ли. Э, говорит, видно кто-то потерял, надо в полицию отдать, пускай объявят!» Взял, дурень, эту железину голый рукой и тащил больше мили...

— Полторы мили, — поправил безучастно Стебельский, который, лежа на полу, слушал рассказ старика. Андрей взглянул на него, а старик продолжал, словно ему и дела не было до того, что Стебельский его слушает:— Притащил в полицию, а там его на смех подняли. Потом хотят взять у него эту железину, ан нет, железина к руке пристала. Тут его в больницу, да куда — уже ничего не поделаешь, пришлось доктору пальцы ему отрезать.

Стебельский, словно в подтверждение рассказа, поднял правую руку, — на ней все пальцы были без первого сустава.

— А жалко его, ученый человек, и никому зла не делает, смирный. Тоже отправят по месту жительства, вот уже с месяц сидит. Томят его здесь, в этом аду, а мало того, из его же собственных денег каждый день выдают не более четырнадцати крейцеров. Потому, как забрали его полицейские на вокзале, когда он приехал, тут же отобрали свидетельство об увольнении вчистую и тридцать девять гульденов, из этих денег его и кормят.

— И школьное свидетельство за восемь классов, — дополнил Стебельский, — три книжечки, тридцать девять гульденов и свидетельство за восемь классов, — пробубнил он еще раз, точно затверживая эту фразу наизусть. Потом приподнялся, сел на полу и, обернув к Андрею свое бледное, без красок и без всякого выражения лицо, спросил:

— Et dominus... intelligit latine?

— Intelligo.

— Et germanice?

— Intelligo\*.

— Und Sie... Sie kennen die allgemeine Geschichte von Gindely, — die hat man mir abgenommen, drei Bände: Geschichte des Alterthums, Geschichte des Mittelalters und die... die Geschichte der neuen Zeit\*\*.

— Ученый человек... умная голова... — бормотал про себя старик, — жалко, что так свихнулся! Уж такая их семья... И мать, бедняжка, по той же дорожке пошла...

— Et quas scholas dominus absolvit?\*\*\* — продолжал спрашивать Стебельский.

— Я учился во Львове на философском.

— Ergo, philosophiam majorem!\*\*\*\*

— Нет, — ответил Андрей, — философия одна, нет ни высшей, ни низшей, разве что есть менее фальшивая и более фальшивая, — впрочем, и это еще одному господу известно!

Стебельский слушал, вытаращив глаза, словно не понял ни слова, потом опустил голову и снова улегся на мокрый и скользкий от харкотины пол.

#### IV

— А вот этот еврейчик, — сказал старик после минутного молчания, указывая ногой на черноволосого мальчика, спавшего на его койке, — этот здешний. Видать, из «карманных дел мастеров». Не знаю, зачем и на кой его здесь держат? А сидит тоже недели с две. Или как, Дмитро?

— Завтра акурат две недели, — подтвердил Дмитро.

— Не знаю, что с ним будет, его еще ни разу не вызывали на допрос.

---

\* — Господин... понимает по-латыни? — Понимаю. — И по-немецки? — Понимаю (латинск.)

\*\* — А вы... вы знаете всеобщую историю Гиндели, — ее у меня отобрали, три тома: древнюю историю, среднюю историю и... новую историю (немецк.)

\*\*\* А какую школу вы закончили? (латинск.)

\*\*\*\* Следовательно, высшую философию! (латинск.)

— Ни разу не вызывали, за две недели?! — вскрикнул Андрей.

— Вот то-то, что не вызывали. Сидит себе и сидит, и ни одной собаке дела до него нет, а пану инспектору торопиться некуда... Ну, а вон тот, это наш староста, тот уже здесь перезимовал.

— Кто именно? — спросил Андрей, не видя никого.

— А здесь у нас еще один гражданин. Ну-ка, подымайся, ты, лежебок! Шевелись, гнилятина!

Вслед за этим окриком старика в самом темном углу за койкой что-то зашевелилось, и оттуда, точно из могилы, медленно поднялось страшное видение — истый выходец с того света. Это был парень лет двадцати четырех, среднего роста, широколицый, с низким, запавшим лбом, редкой черной растительностью на лице и с длинными всклокоченными лохмами, придававшими еще более жуткий вид его и без того страшному и дикому лицу. Его большие неподвижные глаза отсвечивали мертвенным стеклянным блеском — так светятся в темноте влажные гнилушки. Цвет его лица, как и у остальных обитателей этой норы, был какой-то землистый, к тому же этот несчастный, повидимому, давно не мылся и грязь корой налипла на висках. Ко всему, он был почти совершенно гол, ведь не назовешь одеждой рубаху, от которой остался только ворот, рукава и продолговатый лоскут, свисающий по плечам до поясницы. Больше на нем ничего не было. Андрея даже передернуло от жалости и отвращения при виде этого отверженного и одичалого человеческого существа. Ведь не от хорошей жизни оно так одичало! Вглядевшись еще раз внимательно в этого человека, Андрей увидел, что ноги у него отекли, стали как бревна и лоснятся каким-то синеватым отливом, свойственным водяночной опухоли. Таков же был его огромный, страшно вздувшийся живот, напомнивший Андрею тех американских дикарей, которые питаются землей, чьи изображения, с такими же страшно вздутыми животами, он когда-то видел. Только руки, сильные и крепкие, указывали, что это рабочий, невесть какой злосчастной судьбиной оторванный от труда и брошенный сюда на свою погибель.

— Вот поглядите, это наш «гражданин», а вернее Бовдур-болван, — сказал старик, — такое уж у него прозвище. И здесь в камере он староста, такой здесь обычай, кто дольше всех сидит — становится старостой. А он тут, слава тебе господи, перезимовал. Вишь какой откормленный! Красавец, не сглазить бы! Мы его так и держим — показывать, может кто купит на убой. Уж теперь и кормим понемногу, все лежит да лежит, он так отъелся, что на ногах чуть стоит. Только если что руками ухватит, то уж это его, — в руках сила еще есть, ну, да это безделица, тоже и из этого вырастет!..

Все в камере покатывались со смеху от острот старика, все, кроме Андрея и Бовдура. А тот все еще стоял на том же месте, где впервые явился Андрею, стоял, покачиваясь на своих толстых, отекавших ногах, — стоял и о чем-то раздумывал, точно решался на какой-то отчаянный поступок, а сквозь его полуоткрытые синие губы поблескивали крепко стиснутые зубы, словно он собирался с духом, чтобы осуществить задуманное. Он медленно-медленно водил глазами по камере, то и дело останавливая взгляд на человеке, который лежал навзничь на койке и дремал под сдержанный говор арестантов.

— Он у нас ни в город не выходит, — продолжал старик, — ни на работу, поначалу сам не хотел, а теперь, может, и пошел бы, да не пустят.

— Подумаешь! Я и сам не хочу! — отозвался хрипло Бовдур. — Черт бы их драл с их работой! Что мне за нее дадут?

Сказав это, Бовдур перешагнул через спящего на полу старого еврея, перешагнул через всхлипывающего мужичонку и нетвердой походкой направился к кадушке, поднял ее, как перышко, напился, потом засунул руку под изголовье дремлющего крестьянина, вытащил оттуда небольшую глиняную трубку, выковырял из нее остатки полуистлевшего табака, так называемую «багу», высыпал себе в рот и не торопясь стал жевать, сплевывая время от времени что-то вроде черной мази, прилипавшей к стенам и к полу. Свершив этот смелый поступок, он даже вздохнул облегченно и, стоя среди камеры, махнул рукой:

— Вот не пойду на них работать! Черта лысого им в зубы! Лучше здесь сгнию, а не пойду! — Потом он

снова сплюнул черной мазью на стену, над самым лицом спящего еврея.

— А за что ж тебя здесь так долго держат? — спросил дрожащим голосом Андрей. Бовдур как-то дико на него воззрился, словно Андрей этим вопросом задел его за самое больное и неприкосновенное место.

— Держат, потому что держат! — буркнул он, а потом добавил: — Хотят меня отправить по этапу в то село, где родился, а я говорю: ни в каком селе я не родился. «А где же ты родился?» — «На дороге!» — «Ну, а на чьей земле эта дорога?» — «Та дорога ни на чьей земле, потому что у нее земли нет: я родился на воде, когда мать на пароме через Днестр переправлялась». — «А где ж этот паром?» — «Должно быть, водой унесло, потому что за пазухой у меня его нет». — «Ну, а где тебя крестили?» — «Не помню, ступайте спросите тех, кто меня над купелью держал и счастье-долю отнял». — «Ну, а где же ты скрывался?» — «Среди лихих людей». — «А в каком селе?» — «Да они в каждом лихие!» Вот и весь мой допрос. Больше вопросов не было, приказали только свести сюда, и тут, слава тебе господи, заперли—как запечатали, и уж больше ни с какими глупостями не лезут.

Бовдур снова сплюнул, переступил через всхлиывающего мужика и через спящего еврея и утонул в своем углу, укрыв ноги каким-то драным мешком.

Еще страшней стало Андрею после рассказа Бовдура. Что дала жизнь этому человеку? Каковы должны быть теперь его воспоминания, его надежды? Он старался проникнуться безнадежностью его положения и чувствовал, что мысли путаются в голове, что он очень скоро задохнулся бы в этой страшной бездне. Конечно, расстроенное воображение Андрея сильно сгустило черные краски, рисуя ему незаконнорожденного сироту, которым помыкал всяк, кому не лень, забитого и затоптанного сызмалу людским презрением, не знавшего на своем веку ни радости, ни теплоты душевной, ни любви. А между тем это было хоть и правильно, но не совсем. Выпадали и Бовдуру минуты счастья и любви, были и у него надежные товарищи, такие же горемыки да сироты, как и он,— но все это густо покрылось теперь корой одичания и забвения, и мысль его кружилась, как закла-

тая, между щепоткой «баги» и ломтем хлеба, не заглядывая ни в прошлое, ни в будущее. А «паны инспекторы» не очень-то торопились его выпускать, — вот Бовдур и сидел, покинутый богом и людьми, сидел, и отекал, и гнил живьем, позабыв обо всем, что когда-то окружало его, и по мере упадка сил все больше и больше проникался отвращением к труду.

— Значит, он живет на одном хлебе? — спросил Андрей у старика.

— Вот уже шесть месяцев на одном хлебе всухомятку. Да и то, как живет: с утра принесут ему хлеб за четырнадцать крейцеров, он положит его перед собою и тут же целиком съест, до последней крошки, а потом ждет следующего утра, а нет, так выклянчит у этого глупого бойчука кусочек поужинать, — само собой, с отдачей на вечные времена...

— Так он никогда и не выходит из этой конуры?

— Нет, с тех пор как я здесь, ни разу не видел его на дворе. Не знаю, как прежде. Бовдур, ты прежде выходил куда-нибудь?

Бовдур закашлялся сухим кашлем, а потом проворчал:

— Нет, не выходил никуда, только раз на допрос.

— Но как он здесь выдержал зиму в этом костюме Адама—этого я совсем не пойму, — продолжал старик.— Когда меня привели сюда, стояли уже последние морозы. Вхожу — стужа, не приведи господь, а он один, лежит в том же углу, тем же мешком прикрывшись. Синь-синешенек, и ни слова. Походил я малость, потер руки, потом вижу, что толку мало, и поднял крик: «Эй, кричу, люди, ведь я не сын божий, за что же вы меня так мучаете? Это только фарисей сына божьего так мучили, как вы меня мучаете!» Ну, обругали они меня, а потом взяли и затопили печь, больше для виду, ну мы малость и отошли. И с тех пор, пока не кончились морозы, все же таким манером, хоть через день, протапливали.

— А пока вас не было, не топили? — спросил Андрей, вздрагивая, точно от озноба.

— Да вот Бовдур говорит, что топили, да редко, когда им вздувается.

— Ну, а ты чего ж не напоминал?—спросил его Андрей.

— Да, как же, не напоминал! — сердито огрызнулся Бовдур. — Поначалу и я кричал, да меня били, ведь я-то был один.

— Ты был один! — Андрей даже вскрикнул от удивления. — И долго ты оставался один?

— Целый месяц. Они мне назло никого сюда не приводили, сажали в другие камеры.

— Ну, а врач разве сюда никогда не заходит?

— Э, еще чего выдумал! Врач! А кто ему здесь заплатит? — сказал с горькой усмешкой старик.

— Но ведь существует инструкция, чтобы врач ежедневно или по крайней мере еженедельно осматривал все арестантские дома, как содержатся заключенные.

— Может, где-нибудь и есть такая инструкция, но только не у нас в Дрогобыче! Что нам инструкции! Мы сами себе господа!

— Значит, сюда никакой надзор никогда не приходит?

— И не заглядывает!

## v

В камере поднялся шум. Спящие проснулись, повставали, только Стебельский остался на своем месте, да Бовдур, облокотившись на руку, одурело застыл в своем углу, пережевывая «багу». Старый еврей стал расспрашивать Андрея, сперва по-еврейски, потом по-украински, а сидевший рядом с ним на полу мужик, обхватив голову руками и раскачиваясь, снова заплакал и прерывающимся голосом приговаривал:

— И какая меня-а налегка-ая занесла-а в этот Дрогобыч! Сидеть бы мне спокойно в Борисла-аве или купить на эти жалки-ие пять шисток, что зара-аботал, какой ни на есть мучицы деткам, да и отпра-авляться восвояси!..

— Тоже хозяин! — подшучивал старик. — Поработал день в Бориславе, получил пять шисток, а нынче, по случаю праздника, пожаловал в Дрогобыч хлеб покупать. Да и вырядился, не сглазить бы, как поп на пасху! Штанцы хоть куда — оно и шагать легче, ежели на чловеке поменьше этого холста телепается. И кожух тоже праздничный, — хотел полы подобрать, да, видать,

по ошибке оторвал. А может, где в гостях побывал, а друзья-приятели отпускать не хотели, уцепились за полы, ну, а ему, грешному, не сиделось, в город пора, на людей поглядеть, себя показать, трах — полы оставил, а сам от милых дружков утек! И только он пожаловал, стал у костела на самом видном месте, как подлетели к нему архангелы, подхватили под белые руки и — просим покорно вашу милость в хоромы!

Слушая болтовню старика, все смеялись, а мужичонка плакал.

— Деточки-и мои, — причитал он, — что там с вами станется?.. Оставил я вас в хате одних, мал мала меньше, без крошки хлеба! Ведь помрете вы с голоду, коли завтра домой не вернись!..

— О, далеко еще это завтра! — сказал черноволосый еврейчик. — Надо было нынче возвращаться, а не ходить в Дрогобыч счастья искать!

— Да помолчи ты, не режь меня без ножа! — крикнул мужик и, снова понурясь, захныкал, как ребенок.

— Да нет же, — решительно сказал он спустя минуту, — они должны меня нынче выпустить. В чем я провинился? Разве я что украл? Или кого убил? За что же меня могут держать?.. — Ис этими словами он поднялся с пола, стал у двери и прижался лицом к забитому глазку, где сквозь узкую щелку виднелась часть сеней и мелькали, точно тени, снующие мимо полицейские.

— Дед Панько! — окликнул в это время старика лежавший на койке крестьянин. — Дед Панько, не выли выколотили у меня из трубки остаток табаку?

— Нет, не я, — ответил старик, — к вам другой гость заглядывал.

— Кто такой? — спросил крестьянин угрожающе, насупив густые черные брови.

— Да наш «гражданин»! Вон еще жвачку жует!

Крестьянин с минуту молчал, сердито поглядывая в угол, где притаился Бовдур, потом, не говоря ни слова, подошел к нему и хватил его сверху кулаком по голове с такой силой, что Бовдур стукнулся затылком о стену.

— Ты, Бовдур вонючий! Сказал тебе раз и навсегда, чтоб не совался ко мне в гости! Не трожь моего! Не смей касаться, не ты заработал!

В ответ Бовдур изо всех сил лягнул крестьянина в живот, хотя сам при этом ощутил в ноге такую боль, что даже охнул. Крестьянин зашатался и оперся спиной о стену.

— Разрази тебя гром! — крикнул он. — Значит, так ты платишь за мое добро?

— Чтоб тебе такое добро и на том свете было, сквалыга! — крикнул в ответ Бовдур, с трудом поднимаясь на ноги. — За щепотку табаку готов человеку голову проломить!

— И глаза за свое повыбиваю! — ответил крестьянин. — Что мое, того не трожь! Понятно? Наживи горбом, и у тебя будет. Я небось твоего не трогаю!

— Да, как же, не трогаешь, куда стерегу! А чуть в сторонку отвернусь, тут же и хапнешь! Знаем мы таких!

Вместо ответа крестьянин замахнулся кулаком.

— Да что, жалко тебе этой жвачки? — сказал Бовдур угрюмо, уставясь ему в лицо. — На, подавись, коли на нее так зубы точишь! — И с этими словами Бовдур выплюнул крестьянину в лицо всю пережеванную жвачку.

Черная вонючая жижа поплыла по лицу, по бороде, поплыла по рубашке, за пазуху, оставляя за собой темные полосы. Дед Панько рассмеялся. Дмитро весь съежился на своем кафтанишке, дрожа от страха, что начнется драка.

— Ну, что ты сделал? Что ты, собака, за это заслужи-  
ваешь? — прохрипел крестьянин сдавленным от бешенства голосом, подступая с кулаками к Бовдуру.

— Вернул тебе твое, еще и с придачей, — угрюмо ответил Бовдур и, не ожидая нападения, заехал крестьянину коленом в живот с такой силой, что тот только охнул, зашатался и во всю длину рухнул на пол. Свершив это, Бовдур опять спокойно улегся в своем углу, не обращая больше внимания на крики и ругань потерпевшего поражение крестьянина.

— Это у нас «старший приказчик», — сказал, посмеиваясь, дед Панько Андрею, — пуще глаза свое добро бережет и все прилаживается выбить этому Бовдуру глаз, да как-то до сих пор его милует. А стоило бы, ей-ей стоило, за щепотку «баги»... глаз!

— А вы откуда, хозяин? — спросил Андрей крестьянина, но тот, сердито посапывая, уже лежал на своей

койке, попыхивал трубкой и упорно глядел в потолок, будто и не слышал вопроса.

— Они из Дорожева, — продолжал насмехаться дед Панько. — Это большое село—Дорожев, и живут там великие ухорезы, поджигатели и воры матерые и всё грызутся за мое-твое и до того на этом помешались, что теперь уж и не знают, где мое, а где твое.

— Ты бы, дед, затворил ворота да помалкивал, а не молол чепухи! — огрызнулся дорожевский.

— Чихать я хотел на твою голову, — ответил, посмеиваясь, дед Панько, — и этому завидуешь, жадина! Ведь небось не твое то, что я говорю!.. Вот и его, грешного, — продолжал старик, обращаясь к Андрею, — тоже за «мое» и «твое» заперли: купил где-то у одного еврея кожу за тридцать крейцеров, а кожа стоила гульдена полтора. Ну, продавец тридцать крейцеров в кулак и наутек, а его, раба божьего, евреи за ручки и в «Иванову хату»\*.

Старик снова рассмеялся, за ним Дмитро и черноволосый еврейчик, которого дед Панько назвал «карманных дел мастером». Крестьянин из Дорожева молчал и только сопел, пуская изо рта дым в потолок. Андрей все это время стоял у стены возле койки старика, с переброшенным на руке пальто. Ноги у него разболелись и стали дрожать, но он не мог заставить себя где-нибудь присесть: уж слишком противна была эта грязь и мерзость. Не в силах оставаться на месте; он начал прохаживаться по камере, пробираясь между койками и лежащими на полу людьми, и все же ему не удавалось сделать больше пяти-шести шагов в одну сторону. Все эти отвратительные и печальные события арестантской жизни, вдруг нахлынувшие на него точно из ведра, затуманили ему голову, неслись в его мыслях в какой-то пестрой, беспорядочной и бешеной пляске. Все убожество, вся мерзость, весь разврат, окружавшие его в этой тесной клетушке и вне ее стен, во всем мире, на самом дне человеческого общества, куда и он себя почувствовал вдруг закинутым, — все это человеческое горе навалилось на него тяжким бременем, впилося своими цепкими когтями, заглушило в его душе его собственное жгучее горе.

---

\* В тюрьму.

А там, за стенами этой омерзительной клетушки, в залитом солнцем дворе, вымощенном гладкими плитами, громко и весело хохотали полицейские, играя в «кикс»\*. Сюда, в глубину камеры, доносились удары колотушкой о «кичку»\*\*, слышны были смех и споры, крики каких-то евреев, взятых на дороге вместе со стадом волов и загнанных во двор управы. Слышалось поскрипывание железного рычага — кто-то накачивал воду из колодца. Но больше ничего не было слышно, и не видно было ничего; все тот же унылый полумрак, та же проклятая, недвижная тень на грязных, заплеванных стенах, на койках и на мокром полу.

— Скоро ли уж вечер наступит? — проговорил дед Панько, набивая трубку. — А вы, пан, — спросил он Андрея, — не курите?

— Нет, не курю. Уж чему учился, тому научился, а этому научиться что-то не мог.

— Ну, значит, вы еще счастливый человек. А я, ей-богу, тут бы и подох, если б курить не дали. В неделю у меня два свертка табаку выходит — это выгодней, чем пачками покупать.

Между тем Дмитро, чтобы посмотреть, долго ли еще до вечера, взобрался на железную дужку койки, вытянул руки, ухватился за оконную решетку, подтянулся и выглянул во двор. В тот же миг что-то щелкнуло, и Дмитро, как ошпаренный, выпустил из рук решетку и упал на пол, ударившись боком о железную койку.

— А ты не можешь смирно посидеть, воришка несчастный! Еще выглядывать будешь? — донесся со двора крик капрала, который как раз в это время проходил под окном с ременною плетью и, заметив руки Дмитра на решетке, хватил что было силы плеткой. Дмитро охнул, поднялся и с грустью посмотрел на свои руки — два широких синяка вздувались поперек, как две колбаски. Улыбаясь сквозь слезы, он сказал деду Паньку: «Уж скоро солнышко зайдет!» Потом сел на койку, утер рукавом слезы и принялся дуть на руки, которые болезненно ныли.

---

\* Игра в палки.

\*\* Короткий обрубок палки, который отбивают колотушкой при игре в «кикс».

Пронзительно задребезжал висячий замок, заскрежетал ключ, дверь приотворилась, и в щель, не пропуская со двора ни одного лучика света, просунулась голова капрала.

— Андрей Темера! К пану инспектору! — крикнул он и запер дверь за вышедшим Андреем.

После его ухода в камере на минутку все смолкло.

— Какой обходительный панок, этот бедняга, — подал голос дед Панько.

— Э-э, бродяга, бездельник, — буркнул себе под нос хозяин из Дорожева. — Порядочных панов по этапу не водят!

— А порядочных дорожевских хозяев водят? — едко спросил Дмитро.

— А ты, лягушонок, туда же со своей лапой! Заткнись-ка лучше! — прикрикнул на него дорожевский.

Снова тишина, прерываемая только попыхиваньем трубки в зубах деда Панька да жалобными всхлипываниями мужика-оборванца; он попрежнему неотступно стоял у двери и, казалось, ждал чуда, которое вдруг распахнет перед ним эту окованную дверь и выпустит его на свободу с его пятью шистками к голодным ребятишкам.

Снова звякнул замок, отворилась дверь и впустила Андрея с перекинутым через руку пальто.

— Ну, что вам сказали? — спросило разом несколько голосов.

— Ничего, — грустно ответил Андрей. — Допросили и велели ждать, покуда придут бумаги. — Он умолк и заходил по камере. Примолкли и другие. Все вспомнили, что каждый из них давно ждет этих бумаг, и, быть может, у кое-кого наряду с собственным горем защемило сердце от жалости к этому молодому человеку, который, по одному слову старосты да инспектора, осужден, вероятно, на такое же долгое ожидание, как и они, — что в силу этого слова так же, как и они, оторван от работы, от друзей и знакомых, от всего прекрасного, вольного мира и заключен сюда, в этот отвратительный погреб, на дно общественной неволи!..

Первым нарушил тяжелое молчание Бовдур. Точно призрак, поднялся он из своего угла и, подойдя с протянутой рукой вплотную к Дмитру, резко сказал:

— Дмитро, дай хлеба!

— Ты ему смолы горячей поднеси, а не хлеба! — сказал дорожевский.

Но Бовдур, не обращая внимания на этот любезный совет, протянул руку чуть ли не под самый нос Дмитру и повторил:

— Дмитро, дай хлеба!

— Но ведь и у меня самого мало, нечем будет поснедать, пока свежего принесут. А мне на работу идти.

— Давай хлеба! — настаивал упрямо Бовдур, не слушая никаких доводов.

— Да говорю же тебе, у меня самого мало.

— И у меня ни крошки, а я голоден!

— Не жри все с утра, оставляй на вечер! — сказал дед Панько.

— Молчи, старая торба! — ощерился Бовдур и снова приступил к Дмитру: — Слышь ты, давай хлеба!

Но дед Панько на этот раз не стерпел обидного слова. Как юноша, вскочил он с койки и застучал об пол своєю деревяшкой.

— Ах ты падаль! — закричал он, — Ты что здесь за пан такой, что тебе и слова молвить нельзя? Ах ты голодранец беспорточный! Марш гнить в свой угол, покуда тебя черви вконец не источат!

И он сильной рукой оттолкнул Бовдура от Дмитра так, что тот покатился к самой стенке.

— Ну-ну, толкайся, толкайся, чтоб тебя так лихо-манка толкала! — проворчал сквозь зубы Бовдур.

— Чоб тебя самого трясуха затолкала! — отрезал дед Панько. — Чего лезешь к хлопцу? Твой хлеб он ест? Сует лапищи под самый нос: «Дмитро, давай хлеба»!

— А вот я так хочу, что ты мне сделаешь? — упорствовал Бовдур.

— А что мне с тобой делать, сатана! Пусть с тобой в лесу леший разделяется, а не я!..

Андрею стало невыносимо горько слушать эту перебранку. Сначала он постарался утихомирить старика,

потом вытащил из кармана изрядный кусок хлеба и подал Бовдuru со словами:

— На вот, поужинай, если голоден. Это у меня еще из дому осталось, а мне сейчас не до еды!

— Эх, пан, — сказал дед Панько, — на что вы хлеб раздаете! Не теперь, так через час или завтра утром есть захочется, ведь принесут-то не скоро.

— Нет, нет, не захочется, — ответил Андрей, — а если даже и проголодаюсь, то как-нибудь перетерплю, пока принесут.

— А есть ли у вас хоть на что купить?

— Есть, есть! У меня с собой пятьдесят гульденов; я взял задаток у того, к кому я ехал; придется кое-что поистратить из этих денег, хоть по правде говоря они и не мои.

— Ну, известно, раз уж так пришлось, надо выручать себя из беды, как можешь, — сказал дед Панько.

Бовдур тем временем как-то странно и страшно уставился на Андрея. Не поблагодарив, он молча держал в руке хлеб, будто Андрей подал ему не ломоть хорошего, пшеничного хлеба, а раскаленное железо, — до того исказилось его лицо и приняло какое-то неопишимо дикое выражение. Что было написано на этом лице — боль, жадность, благодарность, — угадать было трудно, впрочем, никто в камере и не обращал на это никакого внимания. А Бовдур, поглядев с минуту на Андрея, точно измеряя его взглядом со всех сторон и оценивая его силу, сдвинул в правой руке хлеб, откусил разом изрядную его часть и, не промолвив ни слова, уполз назад в свой угол и утонул во мраке — слышалось только глухое чавканье рта, жующего черствый хлеб.

— Господи, до чего разные люди бывают на свете! — снова завел дед Панько. — Один, как наш дорожеский, за кусок хлеба готов родному брату глаз вырвать, а другой, хоть и сам голоден, а соседу последнее отдаст. И ведь не только отдельные люди таковы, а целые деревни. В иной деревне народ грызется, дерется из-за меж, из-за мостков, из-за пяди луга, чертополоха — одним словом, сущее пекло! Убогому не подадут, прохожего в хату не пустят, никому не помогут. И только и знают: «А это мое! А это мое!» И так над этим «своим» трясется,

а в то же время это «свое» теряют да теряют, и все как-то им теснее на свете становится. А по другим деревням люди живут, как братья, мирно, согласно... Ни ссор, ни оговоров, один другому и в работе поможет, и деньгами, и скотиной в нужде выручит, и убогого с пустыми руками не отпустит, и прохожего приютит, накормит, — и как-то не беднеют — живут себе, поживают, еще и детям добро оставляют. Кто-кто, а я уж хорошо это знаю, хоть и недолго с сумою ходил. Но могу вам сказать, что по Подгорью народ куда лучше, чем в Долине<sup>8</sup>.

— Может, оттого, что там беднее! — промолвил Андрей.

— Господь его ведает отчего, — ответил старик. — Оно-то, значит, будто и так, а будто и не так. Ведь там, в Долах, и земля лучше и хозяева богаче, а только вражда между народом такая, такой раздор, что упаси боже! А здесь приди к самому что ни на есть бедняку, и он тебя с пустыми руками не отпустит, хоть что нибудь, а сунет в руку.

Тем временем вечерело. Солнце зашло, а в камере уже и совсем стемнело. Дед Панько поднялся, за ним Дмитро, и оба склонились в молитве.

— Ну, пора и нам на покой, — сказал, помолясь, старик. — Не знаю только, куда бы вас, паночек, пристроить. Уступил бы я вам свое место, да стар я, калека...

— Нет, нет, не нужно, — перебил его Андрей. — Этого еще не хватало! Я не хочу спать, ноги у меня молодые, здоровые, — проведу эту ночь на ногах, а там поглядим, что бог даст.

— Э, чего там рассказываете! Говорить легко, но дело так не пойдет, — возразил дед Панько. — Вот бы вы, дорожевский, уступили паничу свое место!

— Нет у нас места для паничей, — буркнул в ответ дорожевский. — Паничам пановать, а не по кутузкам валандаться. А ежели нечистый его сюда принес, пускай под койку ложится. Там вернее, есть где развернуться и уласть некуда!

Больно задели Андрея эти жестокие слова, но он смолчал и еще раз попросил деда Панька не беспокоиться, — он уж как-нибудь позаботится о себе.

Вдруг Дмитро дернул его за полу и прошептал:

— Вы, пан, пока еще малость походите, а я посплю, а как умаетесь и спать захочется, меня разбудите, я встану и вас пущу на свое место.

— Ладно, братец, бог тебя наградит, — сказал Андрей. — На вот возьми мое пальто, укройся, ночью холодно, а мне оно, хоть и легкое, а руку уже оттянуло.

Все улеглись, кто раздевшись, кто нет. Только Андрей, тараща глаза, чтобы не споткнуться в густом мраке, медленно зашагал, как неприкаянный, по камере, мерно постукивая башмаками по мокрому асфальтовому полу.

## VI

Мысли его, придавленные тяжким грузом впечатлений сегодняшнего дня, поначалу обрывались и путались. Всплывали бессвязные обрывки всего, что он нынче увидел и услышал, и жгли его мозг своей вопиющей несправедливостью, леденили кровь своею безграничною мерзостью. Но мало-помалу, по мере того как мрак, сгущаясь, все больше заслонял его телесный взор, — мысли его крепили, успокаивались, приходили в порядок, память возобладала над воображением, и дух его, хотя и с трудом, но все же начал возноситься из этой темной западни к лесным зорям, чистым водам, к привольному веселому миру, который он сегодня утром оставил, увы, кто знает, как надолго!..

А мир этот никогда еще не казался ему таким прекрасным, таким веселым, таким свободным, как в эти последние дни, и особенно нынешним утром! Никогда душа его не чувствовала себя такой смелой, как ныне, именно перед этим страшным и глубоким падением. Никогда еще в голове его не роилось столько блестящих надежд на будущее, как именно сегодня, за несколько минут до удара, разбившего их в самом зародыше. Никогда еще звезда любви не сияла ему так ярко, так чудесно, так маняще, как именно сегодня, за минуту перед тем как погаснуть... может быть, навеки!..

Вся его жизнь прошла в бедности и нужде, в тяжелой борьбе за хлеб насущный, за учение. Он окончил

образование круглым сиротой, без отца, без матери, живя трудом своих рук. Еще с детства привык он к работе, полюбил учение и, по мере того как переходил из класса в класс, все с большим жаром отдавался науке. Величайшим наслаждением было для него попасть к хорошим учителям, которые умели заинтересовать, давали простор самостоятельному мышлению ученика, прививали любовь к самостоятельному труду. Вне науки, вне чтения книг — научных и ненаучных — он не знал жизни; закончил он гимназию сущим ребенком, аскетом, и еще перед выпускными экзаменами стал жаловаться на грудь и глаза.

Получив аттестат зрелости, он для поправки здоровья уехал к одному своему товарищу в горы — и там познакомился с его сестрой Ганей. Неведомое до сих пор чувство любви к женщине пробудилось в нем, взбудоражило его молодую кровь, раскрыло постепенно глаза на действительность, развеяло книжный туман, сквозь который он до сих пор слабо различал реальный мир. И новые университетские товарищи, среди которых он очутился, также натолкнули его на новые мысли, научили его поновому смотреть на жизнь, на цель науки, на цель просвещения и прочих человеческих чаяний. И его прошлое предстало перед ним в ином свете, многие, вынесенные из гимназии, убеждения и верования исчезли без следа. Это была упорная внутренняя война, долгая и разрушительная, и только одна любовь поддерживала его и придавала ему силы. Ганя, с которой он оживленно переписывался, вместе с ним проходила все фазы умственного развития, и это общение укрепляло их обоих в дальнейшем продвижении по начатому пути. Они вместе решили отдать свою жизнь борьбе за свободу: за свободу народа от чужевластия, за свободу личности от оков, какие на нее налагают другие люди и пагубно сложившиеся общественные отношения, за свободу труда, мысли, науки, свободу сердца и разума. Они оживленно обсуждали между собой эти новые, высокие идеи, следили за их развитием во всем современном мире, радовались их новым приверженцам, старались полностью обосновать на них все свое мировоззрение. Андрей и Ганя пережили блаженные минуты, сходясь, как человек с чело-

веком, в заветных мыслях и на почве самых святых убеждений! Но им обоим недоставало чего-то. После горячих теоретических споров, после чтения лучших и капитальнейших сочинений по занимавшему их вопросу они невольно заглядывали друг другу в глаза, глубоко-глубоко, словно старались увидеть в них нечто большее, чем общность взглядов. Глаза их горели пламенем, более жарким, чем пламя их убеждений, на их устах трепетали не слова научных доказательств, их щеки вспыхивали не от радости найденной истины. Их кровь начинала бурлить, как только они встречались, и это была та другая могучая сила, что влекла их друг к другу. И нередко за чтением, среди горячего отвлеченного спора их голос дрожал, а слова понемногу замирали на трепещущих устах, рука искала руки, глаза — милых глаз, и...

— Ах! — застонал чуть слышно Андрей и быстрее зашагал по темной камере. — Почему эти минуты так мгновенно пронеслись, почему они не продлились еще. Почему я потерял тебя, потерял навеки, Ганя, счастье мое?..

Его мысль, трепеща от тревоги, проносилась сквозь мрачные, трудные часы гонений и мук за его дорогие сердцу взгляды. Он увидел себя в тюрьме под судом, — перед его взором запестрели бульварные газетки с язвительными, бесстыдными насмешками над его идеями, над его любовью. Он дрожал всем телом, точно в ознобе, от этих воспоминаний. А потом пришла на мысль его утрата. Ганины родители отказали ему от дома, запретили видаться с Ганей, перехватывали его письма, которые он тайно посылал, чтобы хоть несколькими словами поделиться с любимым человеком в своем горе. Вскоре не стало и этого... Еще раза два-три блеснуло перед ним его прежнее счастье на несколько мгновений, а потом наступила ночь, темная ночь, полная сомнений, горя и отчаяния... Ганю принудили выйти замуж за другого... Андрей переболел душой эту утрату, стал смотреть на нее спокойно.

Что ж? Человек добрый, честный, он не убьет в ней живой мысли, не заглушит ее сердца, она счастлива с ним, полюбила его... Ну, а я? Что я без нее? Ведь она была моей душой, моей силой, моей надеждой — что же

я теперь без души, без силы, без надежды?.. Труп! Живой ходячий труп! Все, что я больше всего на свете любил, стало моим горем. Не полюби я всем сердцем ее, я мог бы теперь еще полюбить другую, найти утраченное счастье! Не полюби я всем существом свободу — я не томился бы теперь в неволе, да и неволя не казалась бы мне такою ненавистной, такою мучительной...

И вспоминается ему последнее свидание с нею, уже замужней, вот теперь, вчера, нынче утром! Их беседа, их радость, смешанная с горечью и сожалением, — все это жжет его, мучит, пригнетает к земле. И все-таки он был счастлив, ах, до чего счастлив! Ведь в эти минуты он почувствовал, что старая любовь его не остыла, не умерла, а живет, пылает, как прежде, владеет его мыслями, как прежде, управляет всеми его желаниями и страстями, как прежде... Правда, он теперь во много раз глубже ощущал боль утраты; слегка залеченная временем рана снова раскрылась, остуженная горем и недугом кровь опять забурлила — что ж! С прежней любовью он ощутил в себе и прежнюю силу, прежнее стремление к труду, к борьбе за свободу...

— Ганя, милая, что ты сделала со мной?— шептал он ей, упоенный ядом счастья.

— Что же я сделала с тобой?.. Ты сам сказал, что не связываешь меня... А я так много, так много из-за тебя настрадалась! Целые годы!..

Слезы катятся из ее глаз, а он прижимает ее к сердцу, словно былые счастливые минуты их свободной любви вовсе еще не миновали.

— Ганя, счастье мое, что ты сделала с собой? Достанет ли тебе сил противостоять всей окружающей пошлости, развиваться и стоять за свободу, за добро так, как мы когда-то уговорились?

— Я не забыла этого, мой любимый, и не забуду никогда! А сил у меня хватит. Мой муж поможет мне!

— А что станет со мной, Ганя? Кто поможет мне устоять на этом трудном пути, одному?..

Она обнимает его и улыбается.

— Не тревожься, мой милый! Не тужи! Все еще уладится, все мы будем счастливы, все!..

Андрей схватился руками за голову и снова забегал по камере.

— Все будем счастливы, все? Нет, Ганя, это ошибка! Когда-нибудь будут счастливы все — наши отдаленные потомки, которые и не узнают, что претерпели, как мучились их деды и прадеды ради их счастья!.. А мы что? Единица среди миллионов! Какая им цена? И мы еще хотим быть счастливы, в то время как вокруг нас в слезах родятся и гибнут миллионы!.. Нет, mein Lieb; wir sollen beide elend sein\*. А ты этому не веришь? Увидишь!..

Он все ходил, всматриваясь широко раскрытыми глазами, точно вбирал в себя густой мрак. И ему чудилось, что этот мрак и в самом деле просачивается в него сквозь все поры, заливают нервы, наполняет мускулы, кости, жилы, что уже не кровь, а густой мрак хлынул холодным потоком в его грудь, к его сердцу. Дрожь пробежала по телу, стало страшно, но только на минуту. Андрей хотел стряхнуть с себя это наваждение, но вскоре уверился, что это не наваждение, а реальная действительность. И он продолжал ходить и все больше, всеми порами, вбирал в себя новые волны холодного мрака, наполнялся ими, как губка, вдыхал мрак, ощущал его холодное веяние в горле, в легких — всюду. И ему становилось все легче и легче. Боль утихала. Воспоминания гасли. Воображение замерло и не рисовало перед глазами никаких картин — ни покрытых ледяной корою страданий, ни залитых ярким светом счастья, согретых огнем любви. Все окаменело, застыло, остановилось. Стало легко, как летом в прохладной воде. Вот он плещется едва ощутимо в чистых, невесомых волнах, тихо-тихо, нежно-нежно скользят они вокруг, ласкают его тело. И вот ему вскрыли жилы — совсем неслышно, совсем без боли, и кровь струится из них так безмятежно, так сладостно, так приятно. Струится и вытекает эта неугомонная, бурливая, мятежная кровь, а вместо нее медленно и беспрепятственно начинает обращаться в его жилах густой, тягучий, прохладный мрак... С последними каплями крови горячие слезы полились из глаз

---

\* Мой друг, обоим нам судьба — страдать (немецк., стихи Гейне из цикла «Лирическое интермеццо», перевод А. Фета).

Андрея. Далекий звон колокола, точно громовой разряд, нарушил тишину, отозвался в ушах Андрея ударом молота. Он вострепнулся, пришел в себя.

— Ах, только час, а я уже так измучен, едва живу! — прошептал он и стал нащупывать место на койке рядом с Дмитрием.

— Это вы, пан? — прошептал разбуженный Дмитрий. — Ложитесь вот здесь, я встану.

— Нет, нет, не нужно, — ответил Андрей, — мне здесь, возле тебя, хватит места! — И он прилег рядом, обняв Дмитрия за шею. Нет, горячая, мятежная кровь еще не вытекла из него, снова хлынули слезы из глаз, он стал горячо целовать Дмитрия, орошая слезами детское лицо своего непросвещенного брата.

— Чего вы плачете, пан? — тихонько спросил Дмитрий.

— Я несчастен, Дмитрий!

— Не плачьте, — ответил мальчик. — Как-нибудь уладится. Ведь я, может, еще несчастнее вас, да не плачу!

Мрак тяжелым пластом налег на камеру, сдавил все сердца, бившиеся под его гнетом: у кого спокойно, у кого тревожно, у кого мучительно, а у кого и радостно. На краю койки, обнявшись, уснули рядышком двое, две юные головы, просвещенная рядом с непросвещенной, словно никакое горе им никогда и не снилось.

### VIII

Арестанты поднялись на следующий день очень рано. Их разбудил резкий окрик и ругань капрала. Стебельского и хозяина из Дорожева сразу же погнали подметать пол в канцеляриях и коридорах, носить воду, словом для «домашних услуг». Дед Панько, Дмитрий, плакавший вчера мужичонка — он был из Опаки — и черноволосый еврейчик отправились с метлами подметать улицы. В камере остались Андрей, Бовдур и старый еврей, который все еще лежал, запрокинув голову, прямо на мокром полу, и хрипел, точно под ножом. Бовдур тоже продолжал лежать и не подумал даже умыться, он только напился воды и, молча переставляя свои

голые, лоснящиеся, опухшие ноги, забился в свой угол.

В мире светало. Солнце торжественно всходило на безоблачном небе, люди на белом свете пробуждались к труду, оживали новые надежды, лились из сердец молитвы о хлебе насущном, о здоровье, о тихой и мирной жизни. В камере было по-другому. Здесь человеческое сознание оживало только для новых мук; первое, что вырывалось из уст, были проклятья.

— Побей их громом за такие порядки! — рычал в своем углу Бовдур. — Морят человека до десяти часов голодом, пока какой-то свинопас не соизволит подняться и выдать эти жалкие крейцеры! Чтобы им столько болячек в каждый бок, сколько они мне тут этих крейцеров дали!..

В камере уже стоял тот серый полумрак, как и среди бела дня. Андрей, пользуясь тем, что стало просторней, зашагал по камере, хотя ноги его еще дрожали от усталости, а голова едва держалась на плечах. Он чувствовал, как горит после этой ночи все тело, точно его посыпали горячей золой, и его прямо тошнило от одной мысли снова лечь на эти вонючие соломенники — казалось, их гнилостные испарения вгрызались в кожу, заражали кровь своей грязью. Он ходил и думал.

«Почему человек не машина, которую рассудок заводил бы на свой лад? — думал он. — К чему еще эта другая, безотчетная сила — чувство, которое сбивает и мешает правильному ходу машины мышления? Вот, здраво рассуждая, разве сидел бы я нынче здесь? Нет! Жил бы себе во Львове, худо, плохо, лихое лихом избивал, а все-таки жил бы, работал и учился, свободный, в безопасности... до поры, до времени. И вот на тебе... поперло меня в Дрогобыч повидаться с нею, хоть на денек, хоть на минутку. Ну, и повидался, в сердце хлынул новый поток того чувства, которое принесло уже мне столько горя взамен одной капельки наслаждения, — а вот теперь опять! А жаль, что так получилось! Сейчас я чувствую в себе удвоенную силу к работе, — да что поделаешь, руки связаны!»

Шагая по камере, Андрей несколько раз поглядывал на Бовдура, замечая, что тот не спускает с него

дикого, мрачного взора. Андрею становилось как-то жутко под неотступным взглядом этих глаз, лишенных человеческого выражения, светившихся, точно две гнилушки. Он почувствовал себя еще более стесненным в этих и без того тесных стенах, сердце его тревожно забилося, словно рвалось прочь, к ясному свету из этой отвратительной ямы, где угнездился упырь, медленно высасывающий теплую кровь из груди. Но Андрей не поддался этому страху — его сердце, переполненное любовью к людям, особенно к «униженным и оскорбленным», переполненное верой в человеческую доброту, не могло сразу же заподозрить такого же несчастного, как и он сам, в каких-нибудь злых намерениях. Свою невольную дрожь и тревогу он приписал утомлению и слабости и, преодолевая себя, кинулся на койку старика, чтобы хоть немного отдохнуть. Но через минуту вскочил как ошпаренный, трясаясь всем телом, хватаясь то за грудь, то за руки, то за голову, и попытался снова ходить по камере, но это продолжалось недолго. Усталость взяла свое, он упал на койку и тут же заснул крепко, как мертвый.

И снится ему, будто чья-то скользкая, грязная рука медленно расстегивает одежду на его груди, раскрывает рубаху, потом и самое грудь, — кости расступаются перед нею, а рука лезет внутрь, холодная, омерзительная. Она протискивается к сердцу, осторожно пробираясь сквозь сплетение вен и артерий, как ловец, который хочет поймать воробья среди хвороста. Вот она уже близко, — Андрей чувствует это по холоду, проникающему вглубь, как острие ледяного ножа. Но и сердце почуяло врага, забилося, затрепыхалось, как птица в клетке, — напрягается, мечется во все стороны, чтобы не дать себя поймать. Но таинственная рука, движимая невидимой силой, все приближается, вот широко раскрылась крепкая ладонь, еще шире растопырились пальцы и уже вот-вот, вот-вот схватит трепещущее сердце, схватит и раздавит! Острая, пронизывающая боль, как молния, прошибла все его тело, — Андрей проснулся и вскочил на ноги.

— Тьфу! Что это? — промолвил он, протирая заспанные глаза и озираясь. Ему показалось, что кто-то мгновенно снял с его груди большую, давившую его

во сне, тяжесть; и еще ему, должно быть спросонья, почудилось, будто он увидел склоненное над ним черное, страшное лицо Бовдура. Но, вероятно, только со сна — никакая тяжесть на грудь не давила, а Бовдур спокойно сидел в своему углу, укутав ноги мешком, и во все не смотрел в его сторону, а устался куда-то в угол, будто разглядывал на стене очертания пятен от плевков.

«Ага, должно быть, запонка впилась мне в грудь», — подумал Андрей, отстегнул запонку и снова улегся на койку.

Его разбудило звяканье ключей и голоса возвращавшихся с работы арестантов. Они внесли с собой чуточку свежего воздуха и какой-то запах воли; в темной, мрачной камере стало веселей. А тут еще черноволосый еврейчик нашел, подметая, четыре крейцера и на радостях чего-чего только не рассчитывал закупить на них, чтобы отпраздновать удачливый нынешний день. А Стебельский и дорожевский крестьянин принесли по целой пригоршне окурков; впрочем, дорожевский только показал и тут же спрятал их, а Стебельский поделил «на всю камеру». Эти окурки являлись единственной платой арестантам, подметающим канцелярию, и эта плата казалась им высокой и заманчивой.

Но вот, наконец, явился и вахмистр с деньгами и, отсчитав по четырнадцать крейцеров на брата, отправил двоих — деда Панька и Дмитра — в сопровождении полицейского в город закупить хлеба и чего еще придется. Андрею тоже выдали четырнадцать крейцеров, он к ним добавил еще своих двадцать и попросил купить и ему такого хлеба, какой едят сами, и колбасы. Вынимая из своего кошелька эти двадцать крейцеров, Андрей, должно быть, не заметил, как сверкали из угла глаза Бовдура, как неотступно наблюдали они за каждым его движением, прикидывали и взвешивали объем и содержание кошелька, проследили его обратный путь и какую завистью, каким гневом запылали они при виде вынутых двадцати крейцеров, будто эти двадцать крейцеров Андрей вырвал из самого сердца Бовдура!

И снова ходит Андрей по камере и снова думает. Думает о Гане, о ее жизни с мужем, которую она описывала в своих письмах, думает о том, как он одинок на свете и до чего он обессилел, утратив любимого человека.

Но нет, — набегаёт другая, более отрадная мысль: «Нет, я не одинок! У меня есть товарищи, преданные, сердечные, горячо проникнутые тою же идеей, что и я. Они и в нужде помогут, и посоветуют, и утешат! И все-таки...» — и снова обрывается мысль на печальной, болезненной ноте. «Но нет, — набегаёт новая мысль, новое утешение, — она ведь для меня не потеряна: любит меня попрежнему, не избегает, не отгораживается, как стеной, своим замужеством, переписывается со мной, советует и утешает так же искренне, как прежде; да и он хороший человек, и мой товарищ, и единомышленник... Увы, но все-таки!» — и снова обрывается отрадная мысль, и Андрей, как бы под бременем великого страдания, опускает голову, а из глаз его выкатываются две робкие, дрожащие слезинки, жгучие, как пламя, и ничуть не облегчающие сердце. Он наскоро смахивает их и опять мечется по камере, старается ни о чем не думать или думать о самых обыденных, простых вещах, вот хотя бы об еде.

— А все же любопытная штука, — замечает он про себя. — Покуда не напоминали об еде, я и не чувствовал голода и желудок помалкивал, хоть и пустой. А чуть напомнили, и он, как старый пес, начинает ворчать и скулить. Стоило бы это внести в психологический дневник: «Влияние мысли на органические функции...» Вот хорошо бы завести такой дневник и заносить в него каждое проявление чувства, каждое впечатление, и так изо дня в день, долгое время! Интересная получилась бы статистика духовной жизни! Мы узнали бы, какими впечатлениями и какими чувствами больше всего живет человек, каково будничное бытие этой «искры божьей», которая в редкие, исключительные минуты так высоко возносится!..

Его увлекла мысль о таком дневнике, и он принялся ее всесторонне разбирать и развивать ее во всех подробностях, словно тут же собирался привести в исполнение. «Необходимо, чтобы несколько, десяток добросовестных и преданных науке людей, — думал он, — разделили между собой главнейшие явления психической деятельности и чтобы каждый из них отмечал преимущественно явления из своей области, а остальных касался бы только

в общем. Впрочем, так они бы ничего не добились, ведь проклятая разница характеров, минутных настроений, обстановки все перепутает. Вот изобрести бы какой-нибудь механический психометр вроде вундтовского<sup>9</sup> для измерения интенсивности чувств! Любопытная получилась бы штука, и для науки важная. До сих пор психология занимается качеством впечатлений, а об их количестве и думать не желает. А между тем, казалось бы, в этом ключ к распутыванию не одного психологического узла, ведь, ясное дело, те впечатления и чувства, которые чаще всего повторяются, оставляют в душе и глубочайшие следы. Статистика, статистика поможет проникнуть глубже в тайну человеческих характеров и свойств, как уже частично помогла проникнуть в психологию классов и общественных прослоек».

Мало-помалу эти мысли о науке, о теориях, не задевающие сердца и чувств, успокоили Андрея. Ему вспомнились его товарищи, молодые, горячие, всей душой преданные идее человеческой свободы и счастья, вспомнились их споры, их общая жажда к пополнению знаний, их детская радость при постижении всякой новой истины, и ему стало так легко, так весело, точно он снова очутился среди них, точно ни его и никого на свете не давит уже вековечный змий рода человеческого — рабство! Его губы, бледные, счастливые, шептали невольно слова песни:

Таж не завсіди бурливе море, — тихее частіш!  
Таж і в бурю не всі човни гинуть! — тим ся ти потіш!  
А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти,  
Може, іменно *тобі* ся вдасть до цілі доплисти!..\*

## IX

Звякнул замок, отворилась дверь — это вернулись из города арестанты с закупленной провизией. Стало шумно. Дед Панько раздавал хлеб, соль, табак, лук, —

\* Ведь не всегда бушует море, — иногда бывает тихим! Да и в бурю не все челны гибнут! — утешься этим! А кто знает, может в бурю спасешся именно ты, Может, именно *тебе* удастся до цели доплыть!..<sup>10</sup> (украинск.)

кто на что дал деньги. Арестанты уселись, где кто мог, и принялись за еду. Бовдур, который сегодня, очевидно, был не в духе, ругал вполголоса деда Панька за то, что тот дал ему такой маленький хлебец, а этому черномазому поросенку — такой большой.

— Да ведь его хлеб стоит девятнадцать крейцеров, а твой — четырнадцать, — втолковывал дед Панько, не обращая внимания на ругань Бовдура.

— Чтоб у тебя четырнадцать зубов выпало, по-прошайка! — огрызнулся вместо ответа Бовдур и, не отрезая и не отламывая, стал по-волчьи кусать от своей буханки.

— Да возьми же нож, Бовдур, — предложил Дмитро.

— Зачем? Голову тебе отрезать, что ли? — рявкнул Бовдур и, разинув рот, откусил изрядный кусок хлеба. В его руках оставалась уже небольшая краюшка.

И Андрей приготовился есть. Он нарезал колбасу на равные части и, никого не пропуская, разделил между всеми. Хозяин из Дорожева и Бовдур не обмолвились и словом благодарности, а Бовдур взял протянутый ему кусок и, даже не взглянув на него, кинул в рот, как в пропасть.

Наблюдая со стороны за тем, как ест Бовдур, можно было подумать, что это страшно изголодавшийся человек, — до того ненасытно и прожорливо терзал он свой хлеб, так быстро исчезали огромные куски у него во рту. Другие еще не принимались за еду, а у Бовдура уже не осталось ни крошки. С минуту он мрачно посматривал на свои пустые руки, а на лице его отражалась такая мука голода, словно у него уже несколько дней не было во рту ни крошки. Андрей взглянул на него и пришел в ужас от алчного выражения лица и этой ненасытности Бовдура. Казалось, Бовдур способен сейчас сожрать первого встречного целиком, что он вот-вот кинется на кого-нибудь из арестантов и отхватит зубами такой же кусок живой человечины, как те куски хлеба, что бесследно исчезали в его глотке.

— Неужели он у вас всегда такой голодный? — спросил Андрей деда Панька, с отвращением отворачиваясь от Бовдура.

Старик взглянул и тоже доскорее отвернулся.

— Что с тобой, Бовдур? — спросил он. — Бешенство на тебя находит, хочется людей кусать, что ли? — А потом, обращаясь к Андрею, заметил:

— Нет, это с ним нынче что-то неладно, муху проглотил, что ли? Обычно вот этак умнет свою буханку, запьет полкадушкой воды и уляжется чин чином на свое место.

— Может, и бешенство, не знаю, — ответил угрюмо Бовдур, — только я хочу есть.

— А может, пан будет так любезен обождать, пока слуги из трактира жаркое принесут? — подтрунивал дед Панько.

— Есть хочу, я голоден! — твердил с тупым упорством Бовдур.

— Ну и ешь, кто тебе запрещает? — отозвался черно-волосый еврейчик.

— Не запрещает? — обратился к нему Бовдур, впиваясь глазами в большой початый каравай, лежавший перед пареньком. — Не запрещает, и ладно. Давай! — И он протянул обе руки за хлебом. Еврейчик выхватил каравай из-под Бовдуриных рук.

— Давай! — заорал Бовдур, и глаза его загорелись каким-то страшным огнем. — Давай, не то либо тебе гибель, либо мне!

— Ишь ты! Либо мне, либо тебе! — передразнил еврейчик. — Мне-то чего умирать? За что? Уйди подброду и подыхай, а то я есть хочу!

— А я тоже хочу, — ответил уже спокойнее Бовдур. — Давай сюда хлеб!

— Да ты рехнулся, что ли? Чего ты ко мне пристал? — крикнул еврейчик. — От Дмитра отцепился, а теперь ко мне лезешь!

— Давай хлеб, дай, смилуйся! — клянчил плачущим голосом Бовдур, но в глазах его все больше и больше разгорался страшный огонь.

— Пожалуйста, Бовдурчик, миленький, — ответил так же спокойно еврейчик, — ступай с богом ко всем чертям!

Вместо ответа на столь благочестивое напутствие Бовдур вскинул кулаки, и они, точно два молота, мгновенно опустились на голову маленького еврея. Как подрублен-

ный, рухнул он на пол, из носа, изо рта хлынула кровь и полилась на хлеб, на пол, на ноги Бовдура. Но мальчуган не кричал. Придя немного в себя, он, как бешеный, привстал на колени и вонзил ногти обеих рук в голые распухшие ноги Бовдура. Тот глухо заревел от боли и стал отбиваться ногами, но это ему не удалось. Тогда он схватил мальчика одною рукой за волосы, другою замолотил по спине, но тот не отпускал, а все глубже вонзал свои острые ногти в тело Бовдура, так что даже кровь проступила из-под каждого ногтя. Бовдур, не выпуская его волос, рванулся назад, и мальчик упал лицом на пол. Но и тут, не издав ни единого звука, он быстро схватил окровавленную буханку, размахнулся и вслепую ударил ею Бовдура в живот, у того даже где-то екнуло внутри. Бовдур выпустил волосы мальчика и схватился обеими руками за живот, точно боясь рассыпаться, наподобие разбитой бочки. Тем временем еврейчик, не выпуская из рук буханки, вскочил на ноги. Его посиневшее от боли и злости лицо заливала кровь, в глазах стояли слезы, разбитые губы вздулись, а зубы были крепко стиснуты — он выпрямился и без единого слова снова замахнулся на Бовдура тяжелой буханкой.

— Да разнимите же их, побойтесь бога! — закричал перепуганный насмерть Андрей, отводя глаза от этого страшного зрелища. Чрезвычайно чувствительному ко всякой боли, к чужой еще больше, чем к своей, Андрею казалось, что каждый удар попадал в него.

— Как же, еще чего не хватало! — отмахнулся старик, спокойно продолжая есть. — Не следует! Им только на пользу это пойдет, малость расшевелятся да разомнутся... и печенкам легче. А ежели еще малую толику поганой крови из себя выпустят, то и вовсе им полегчает. Оставьте только их в покое, они как собаки: погрызутся, да и полижутся. А возмись их кто разнимать, бысь о любой заклад, что оба на него накинутся.

Тем временем противники с пеной у рта, окровавленные, стояли наготове и ждали, кто кого первый ударит. Но это продолжалось только мгновение, а потом оба ринулись, как по команде, в драку. Бовдур ударом кулака по руке выбил у маленького еврея хлеб, а тот в ответ заехал левой рукой Бовдуру в переносицу. Потом

они сцепились, и уж невозможно было разобрать, кто кого колотит, пинает, царапает, калечит, пока оба не повалились на пол и, не выпуская друг друга, разом, как два зверя, не заревели: «Караул! Караул! На помощь!»

На крик в камеру ворвался капрал с плетью в руке; при виде двух окровавленных, валяющихся на полу, кричащих и все еще дерущихся противников, он повернул плеть «старшим концом», то есть взял ремень в руку, и стал избивать обоих вслепую, куда попало, деревянной ручкой. Защелкала ручка по костям, зашлепала по отекающему, вздутому телу, точно по подушке, а противники все еще, сцепившись, визжали, как два борова, которым неискусный мясник неловко вонзил нож под лопатку. Капрал остервенел и, не говоря ни слова, принялся пинать их под ребра носками сапог. Только так и удалось их разнять. Они выпустили друг друга и кинулись по углам, но капрал не переставал бить их ручкой плети, куда придется.

— А, босяки! А, воры! А, разбойники! — шипел, задыхаясь, капрал. — Мало вам одной беды, так еще драться вздумали? Погодите, гады, я вас выучу!

— Это он первый начал драться! — крикнул, плача, мальчик. — Хотел отобрать мой хлеб! Разве я виноват?

— Ах ты боров неумытый! — захрипел капрал, и снова град ударов «старшим концом» посыпался на спину Бовдура, а он, согнувшись дугой, молчал. Наконец, капрал выбился из сил и перестал бить.

— Погоди, я тебя отучу у других хлеб отнимать! Мало тебе своего, проклятый обжора! — кричал капрал, направляясь к двери.

— Мало! — глухо и угрюмо ответил Бовдур.

— Ты что, еще глотку разеваешь? — озлился капрал, грозя издали плетью. — Замолчишь ты, навоз вонючий? Погоди, раз тебе мало, не увидишь и этого! Попостись маленько! Не будешь так скор на драку. Нарочно попрошу пана вахмистра завтра тебе ничего не давать! Посвистишь у меня в кулак, дай срок! А вы тут запомните, — обратился капрал к остальным арестантам, — не давайте ему ничего и понюхать! Пусть, пся крев, знает, как драться! А чуть что, сейчас же меня позовите, я ему учиню суд и расправу!

После ухода капрала в камере наступило мрачное, тяжелое молчание. Какая-то спазма сдавила всем горло, никому не лез кусок хлеба в рот. Все почувствовали, что на их глазах произошло что-то уж слишком отвратительное и бесчеловечное.

Только Стебельский, сидя на полу, все на том же самом месте, где и спал, преспокойно жевал свой хлеб, закусывая его маленькими кусочками колбасы, а когда в камере настала полная тишина, он, обведя рукой вокруг, сказал Андрею: — *Ното homini lupus!*\*

Андрей, бледный как смерть, встал и обернулся к Бовдур — дрожащему, скорчившемуся в углу, окровавленному и посиневшему, но при виде его опять почувствовал слабость, — он не мог вымолвить ни слова, только стоял и смотрел с выражением глубокой боли.

— Ну, что, дождался, чего хотел? — молвил дед Панько и снова взялся за еду.

Бовдур молчал.

— Бовдур, — произнес, наконец, Андрей, — скажи бы мне, если ты так голоден, я ведь все равно не съем своего хлеба. Зачем было драку затевать, я тебе дам хлеба, сколько хочешь...

И он взял свой каравай, отрезал небольшой ломоть себе, а остальное протянул Бовдур.

— Не нужно мне твоего хлеба! Жри сам! Давись! — заревел Бовдур, не поднимая глаз, и швырнул протянутый ему хлеб под койку. Андрей обмер со страху и замешательства и, не произнеся ни слова, отошел. А Дмитро полез под койку, поднял хлеб, вытер его, поцеловал и положил перед Андреем.

— А ты, болван, что? — грозно обратился дед Панько к Бовдур. — Зачем святым хлебом швыряешься? Чтоб тебя разорвало, чертово семя!

— Чтоб вас самих разорвало, — буркнул Бовдур, — всех! И меня заодно!..

Сказав это, он хватил кулаком об пол так, что загудело, а потом, свернувшись клубком, улегся на свое место.

---

\* *Noto homini lupus* (пропущено: *est*), — человек человеку — волк! (латинск.)

Андрей долго ходил по камере, пока, наконец, совсем успокоился. А когда вернулись к нему духовные силы, он постарался унести мысли прочь из этой проклятой юдоли плача, страданий и попрания всякого человеческого достоинства. Он переносился мыслью в иные, лучшие пределы, где юные, чистые сердца поднимали превыше всего знамя человечности, где выковывались ряды могучих воинов, которые когда-нибудь — скоро! — встанут на борьбу за человечество, за его святые права, за его вечные, прирожденные стремления. Он переносился мыслью и туда, где бьется единственное сочувствующее ему женское сердце, которое, быть может, в эту минуту обливается кровью, скорбит над его несчастьем. И он мысленно утешал свою Ганю, подбадривая своих товарищей, призывал их смело держать поднятое знамя, не опускать его ни на минуту, ведь человечество страдает, оно унижено, подавлено, попрано в лице миллионов и миллионов!..

Он размышлял о своем призвании, о своей любви, о своем несчастье. А подумать о Бовдуре, с его болью и злобным упорством, Андрею и в голову не пришло.

Эх, голова молодая, горячая, себялюбивая! В святом своем порыве ты и не замечаешь, до чего себялюбивы все твои помыслы, все твои стремления! Ведь даже и дело твое, хоть оно и ведет ко всеобщему братству и всечеловеческому счастью, — не потому ли так мило тебе и так дорого в эти тяжкие минуты, что оно твое дело, что в нем сходятся все твои помыслы, желания, убеждения и цели, что трудиться и даже страдать за него доставляет удовольствие тебе? А разве женщина, которую ты любишь, хоть и не связываешь ее ничем, хоть и отказываешься обладать ею, хоть и желаешь ей счастья с другим, — женщина эта разве не мила тебе тем, что с ней протекли счастливейшие минуты твоей жизни, что ее поцелуи до сих пор горят на твоем лице, что прикосновения ее нежной руки до сих пор отзываются трепетом твоих нервов? Эх, голова молодая, себялюбивая! Брось хоть ненадолго заниматься собой, услаждать себя! Оглянись по сторонам пристально, внимательно, братским любящим

взором! Может быть, ты увидишь вокруг себя более несчастных, чем ты! Может быть, ты увидишь таких, кому не светит луч радости, даже такой, как тебе! Может быть, ты увидишь таких, что не принесли с собою на это дно общественного гнета ничего, ничего: ни ясной мысли, ни счастливых воспоминаний, ни радужных, хоть и обманчивых, надежд! Может быть, одно твое слово, искреннее, приветливое, усладило бы их участь, уняло бы в них душевную борьбу, страшнее которой ты ничего и вообразить не можешь, разбило бы толстую ледяную кору, какую сковало их сердца бесконечное, неусыпное горе!.. Увы! Великое горе приводит к тому, что человеческие сердца замыкаются, точно их сковывает мороз, как сворачиваются цветы от вечернего холода. И с замкнутыми сердцами, со сжатыми губами идут рядом несчастные, которым порою одно слово, одно пожатие теплой братской руки помогло бы сбросить с себя половину горя; идут рядом и — молчат... Эх, люди, люди! Не убийцы, воры и преступники, не властители и подданные, не палачи и жертвы, не судьи и подсудимые, а несчастные, забитые, обманутые люди!..

Тем временем Бовдур лежал в своем сыром углу, с больным, гниющим телом, разбитой душой, без проблеска надежды, утешения, радости, — а в голове его кружились свои мысли, проносились тусклыми картинами свои воспоминания.

Нужда с детских ранних лет... Презрение, тычки, побои... Насмешки детей, которые чуждались его, не принимали в свои игры... Подкидыш! Найденыш! Бовдур!.. Тяжкий труд у злых, чужих людей... Слякоть, морозы, жажда, усталость — все это донимает только хозяина, а батрака — нет!.. Батрак — железный, батрак выдержит... должен... за то он и деньги получает!.. Слабый, болезненный, изнуренный, плохо оплачиваемый, худо одетый... Без товарища, без друга... Впрочем, нет, был товарищ, был друг — в Бориславе, на работе у вѳота встретились. Настоящий товарищ, верный друг, душа-человек! Ха-ха-ха!.. А позавидовал, позавидовал единственному счастью — отбил дивчину, отнял, женился!.. Кабы ветер бедняку вечно глаза не порошил, то... может, бедняк и в бедняках не ходил бы!

Такими отрывочными картинками, попеременно с замечаниями, произнесенными вполголоса, проносились в сознании Бовдура его молодые годы. Ничего отрадного, ничего, на чем можно отдохнуть душой, порадовать память. Но мысль летит дальше, переворачивает прошлое, лист за листом, как человек, который заложил деньги в книгу и торопится отыскать их между страницами.

Что погнало Бовдура в Борислав? Об этом он и вспоминать не хочет. Мороз по коже подирает от одной этой мысли. Но скоро, скоро, кажется, придется и это вспомнить подробнее. Достаточно и того — он убежал и, убегая, еще раз взглянул с холма на пылающие... вечерним ли заревом?.. хаты и проклял их. И никогда никому он не признался, из какой бежал деревни, хотя миновало уже пять лет. Как знать, может, он и сам уже забыл ее название!..

В Бориславе он немного ожил. Хоть работа была и незавидная, а все же поначалу платили не плохо и на еду хватало, не так, как в батраках. Точно голодный волк, набрасывался он на еду и ел, ел, забывая все, — проедал дочиста, что зарабатывал, ходил чуть ли не голым, но ел, чтобы хоть раз почувствовать себя сытым. Пить сперва не пил, запил потом, когда уже ее не стало. Тогда запил, здорово запил!..

В Бориславе, у вброта, Бовдур впервые в жизни подружился с одним таким же, как и сам он, круглым сиротой. Душевный оказался человек, четыре года прожил с ним Бовдур, точно с родным братом. Вместе работали, вместе жили и почти никогда не расставались. В нужде друг друга выручали, не спрашивая: а когда отдашь? Впрочем, по правде говоря, Бовдур больше брал, чем давал. Он и теперь, хоть и считает Семена предателем и фальшивым человеком, все-таки с удовольствием вспоминает время этой дружбы. Славное было времечко, да черт его унес! А жалко, что так быстро миновало!

Только из-за дивчины друзья расстались. Полюбили оба одну—бедную забитую работницу, круглую сироту, как и сами они, в унижениях и притеснениях выросшую, привыкшую к безропотному повиновению, к беспредельной покорности, к отречению от собственной воли, от

собственного мнения. Что-то странное произошло тогда с Бовдуром. Его суровая, самолюбивая, неистовая, словно в панцырь закованная натура стала еще суровей, еще неистовей рядом с этой тихой, кроткой, послушной и доброй девушкой. Он любил ее, но любовь его подавляла ее еще больше, чем прежняя жизнь. Сколько ругани, сколько побоев вытерпела она от него! Сколько горячих слез пролила! Но Бовдур никогда не услышал от нее ни одного супротивного слова. И это злило его. Он выматывал у нее душу, чтобы пробудить в ней силу отпора, а между тем ее силой была любовь, податливая, молчаливая, беззаветная. Ведь она, кроткая овечка, любила этого зверя! И эта любовь придавала ей силы переносить все его, по виду безумные, но в действительности вытекающие из его натуры прихоти, отплачивать ласками за побои, нежностью за ругань и проклятья... И как только он не обзывал ее! И сукой и жабой — она всё принимала. И вот, наконец, ему опротивела эта безграничная покорность и покладистость, и хоть и не переставал он ее любить, но как-то в порыве гнева избил ее и прогнал. Она ушла к его другу, и они вскоре поженились — уже и ребеночка завели...

— И она, сука, с ним счастлива! — ворчал Бовдур. — Оба какие-то... мокрые курицы! Черт бы их драл! Не желаю и думать о них!

Сколько раз уже он зарекался и думать о них, а они сами лезут на ум. Потому что оба они в силу контраста сроднились с его душой, дополняют ее. Ведь в его сердце под толстой коркой льда и до сих пор тлеет неугасимая искра любви к этим «мокрым курицам».

А потом все кончилось. Все полетело вверх тормашками. Он начал пить! Черт побери! — здорово пил! Бывало, утром придет с работы — он на всю ночь ходил в шахту — и прямо в шинок. Шинкарь, подай есть! Ладно! Шинкарь, подай пить! И пьет, покуда деньги в кармане, покуда на ногах держится. А откажут служить ноги, свалится под лавку и дрыхнет до вечера, покуда снова не разбудят на работу. И выгоднее — не нужно комнату снимать. Днем еврей из шинка не вышвырнет: хочет и в другой раз к себе залучить, — да еще собаки в шинке рот оближут — чисто!..

Это была единственная пора, о которой Бовдур вспоминал теперь с каким-то пьяным умилением. И эта пора вечной одури, вечного похмелья, вечного беспорядочного шума казалась ему единственно правильной и вполне счастливой порой его жизни. Чего ему тогда недоставало? Впрочем, черт его знает, может, чего и недоставало, но он, ей-богу, ни о чем и понятия не имел. Мыслей — никаких, воспоминаний — никаких, один шум, будто мельничное колесо в голове постукивает... Турrrrrrrr! И всё: люди, дома, солнце и небо, весь свет вертится, вертится, вертится! Турrrrrrrr!.. И всё, ни на земле, ни в небе, нигде, ничего!

— Эх, еще бы хоть разок, хоть денек, хоть минутку, господи! — вздохнул Бовдур. — Забылся бы человек, а то опять все стало оживать, все зашевелилось!.. Эх, кабы так: просыпаюсь завтра утром, а в голове шумит, кружится: турrrrr! Перед глазами все мешается, вертится, вертится! Вижу — и не различаю, слышу — и не понимаю, живу — и сам об этом не знаю, — и так навеки, навсегда! Чтобы и не пить и вечно пьяну быть! Чтобы уж совсем, совсем одуреть!..

— А нет так нет! Пускай мысли лезут, покуда лезут. Клин клином вышибать! Худое—худшим! Выхода нет... Да и к чему его искать?.. Только еще бы перед концом разок, да... здорово!.. Пятьдесят, без двух шисток, — ей-богу, стоит!.. Да и что мне терять!..

— А моя молодость?.. Черт ее побери! Одни репейники да крапива! Будь она проклята, эта молодость!

— А те двое?.. Черт их побери! Бросили, изменили... Нет, не хочú и вспоминать!..

— Но, может, еще когда-нибудь придет лучшее время... Нет, не надейся! Тщетная надежда! Будь она проклята, эта надежда!

— А он — может, у него отец, мать?.. Ну и пусть, у меня их нет и не было!

— А может... какая?.. Тьфу! Еще на это мне обращать внимание? А мне какое дело? Пускай выходит за другого!

— А может?.. Ну, чего еще? Ничего больше! Баста! Вертится, вертится, вертится!.. Ох, как болит, как жжет, как ноет!.. И тут, и тут, и тут, всюду, все тело!

Стояла уже глухая полночь. Арестанты спали, как убитые, тяжелым сном. Спал и Андрей и не слышал этой отрывистой беседы с самим собой, этого полупшепота, не слышал и не знал этих страшных мучений человека; одичавшего от горя и доведенного этой одичалостью до крайней степени отчаяния. А между тем, кто знает, — услышь Андрей эти слова, подумай об этих муках, — может быть, одно его слово успокоило бы их, остановило бы их страшные последствия. Но Андрей в ту пору спокойно спал рядом с Дмитрием и обнимал во сне свою и не свою Ганю.

## XI

Снова день, шум, проклятья и насмешки, лязг замка, крики, работа. Снова ходит по камере Андрей, бледный, ослабевший от недостатка свежего воздуха, и думает. Но сухой кашель уже душит его больную грудь, а мысли путаются в голове. Он чувствует страшную усталость, точно все тело налито свинцом. Ах, отдохнуть бы, полежать удобно, спокойно, под ясным небом, на чистом воздухе, в холодке!.. Грезы любви бледнеют, и он тщетно старается вызвать их в своем воображении с прежней яркостью. Даже лицо Гани не хочет показаться ему, а перед закрытыми глазами мелькают дикие, чудовищные рожи — всклокоченные, неумытые, угрожающие. Он лег навзничь на койку, широко раскрывает глаза и всматривается в потолок, стараясь не думать, не вспоминать. И вдруг потолок оживает, суживается, расширяется, покачивается и на его буро-желтом фоне постепенно проступают сквозь полумрак те же отвратительные, угрожающие лица, спускаются, нависают над ним, безгласные, как мертвецы. Он срывается с койки и снова начинает ходить.

— Что это со мной происходит? — замечает он про себя. — Ведь я никогда не был склонен к галлюцинациям! Почему они так упорно меня преследуют? Неужели так скоро подточило меня горе? Но я, кажется, не так уж и страдаю... Фу ты, как скверно!

А Бовдур тоже лежит в своем углу и думает. «Вот, как заберу деньги, вся штука припрятать их так, чтобы

никто не нашел и не отнял. А как отнимут, ежели никто и знать не будет? Придется прикинуться сумасшедшим, что ли, какая разница? Время покажет. Только бы припрятать как следует, ну, а там еще раз погуляю, и здорово, чтобы за все разы хватило! Перво-наперво хлеба, хорошего, белого, — нет булок, и много, много, чтобы наестся. Колбас и мясного чего-нибудь, целую гору! А потом пить — пива, вина бутылками! И всякий раз — бутылку, бутылку, чтобы в голове вечно шумело, вечно кружилось, чтобы ничего, ничего не мерещилось, не думалось, не вспоминалось! Всё кругом, всё кругом, пока не придет конец. А что конец? Одна минута! И вовсе не страшно, только бы в голове шумело да кружилось... А впрочем, поглядим, будет ли страшно или нет, — все равно, раз сука-мать родила!»

«Но он такой молодой, такой добрый!..» — робко отозвалась какая-то тихая мысль из глубин Бовдура сердца.

«Черт побери! А я не молодой, — возразила другая. — Он до сих пор был счастлив, у него за день было столько счастья, сколько у меня не было за всю жизнь! Это несправедливо, нужно маленько и поменяться!»

«Но, может быть, не совсем?..» — снова намекает из глубин тихая робкая мысль.

«А как же иначе? И мешкать нечего! — опять отрезала громкая, властная мысль. — Так лучше для нас обоих, скорее все кончится!»

«А может, у него отец, мать?..» — «Черт их побери! Пускай хлебнут горя! У меня их нет и не было, а я что, не человек?»

Но странно! Как упорно ни старалась громкая, властная мысль успокоить Бовдура и твердо повести по намеченной дорожке, все-таки он дрожал всем телом и, косясь на Андрея, опасливо сжимал в руке нечто такое, чего он и сам боялся и в то же время берег, как зеницу ока.

— Есть хочется, — бормотал он, — страх как хочется есть! Это он, проклятый, своим хлебом напустил на меня голод! А еще прикидывается таким добрым да ласковым! Нет, голубок, не поможет тебе твоя доброта, не надуешь!..

Отворилась дверь, и в камеру просунул голову старый полицейский с добродушным лицом.

— Пан Темера! — позвал он ласково.

Темера встрепенулся. Ему почудился голос отца, тот самый, какой он слышал давным-давно, в раннем детстве. Он подошел к двери и стал всматриваться в лицо полицейского, но не мог узнать его.

— Что, не узнаете? Ну, конечно, как узнать — вы еще маленьким были, когда я из Тернополя уехал. А мы с вашим покойным батюшкой соседями были и такими друзьями, что боже мой! Но царство ему небесное, вечный покой. Но что это с вами приключилось? Я просто ушам своим не поверил, когда мне сказали, что тут Темера из Тернополя сидит! Какой-такой, думаю, Темера? Там всего только один и был. Не иначе как сын? Бедный мальчик! И вас сюда посадили среди такого сброда! Я уже просил пана инспектора, и он обещал с завтрашнего дня перевести вас в караулку, я поручился за вас.

Темера от всей души поблагодарил старика, но на лице Бовдура при этих словах промелькнула тень тревоги, словно вот-вот у него ускользало из рук то, что он уже неотъемлемо считал своим.

— А может, вам нужно чего принести — поесть, попить? — снова спросил старик. — Так я вам принесу, нынче капрала нету, а ключи у меня. Вы куда надумайте, я сейчас приду, только в канцелярию сбегаю.

Старик запер дверь и засеменял в канцелярию. Андрею стало даже весело и как-то легче на сердце после того, как он услышал эти приветливые, дружеские слова, когда узнал, что и здесь нашлась добрая душа, которая сделает для него все, что может. Ах, до чего обрадовался он, узнав, что завтра его переведут из этой норы в караульное помещение! Показалось даже, что завтра его совсем выпустят на свободу. Свет, воздух, зелень, живая природа, эти повседневные обычные божьи дары, которых по привычке человек не умеет ценить, если не страшится их утратить, до чего дорогими, желанными показались они теперь Андрею!..

— Пан! — прервал его мысли своим резким голосом Бовдур. — Скажите, чтобы принес водки, целую квартиру, тогда раза на два хватит.

— А разве можно сюда приносить? — спросил Андрей.

— А почему бы нет? Старик принесет!

Водки Андрей не пил, но знал, что прочим арестантам выпить по шкалику — большой праздник. Поэтому попросил старого полицейского принести водки, колбасы и еще какой-нибудь закуски. Старик поначалу заколебался, приносить ли целую квартиру, но Андрей убедил его, пообещав присмотреть, чтобы пили понемногу, да к тому же на десять человек кварта водки сущая безделица, и старик решился исполнить его просьбу.

Полдень. Весело переговариваясь, арестанты усадились вокруг принесенной водки и закуски. Глаза их сияли радостью по случаю пиршества, которое им и во сне не снилось. Все благодарили Андрея за его доброе сердце. Только Бовдур сидел в своем углу, как колода, и не сводил глаз с бутылки. Вдруг он вскочил, схватил бутылку, сжал ее крепко обеими руками, приложил к губам и начал тянуть. Все оторопело уставились на него, но быстро спохватились и бросились отнимать. Удалось им это не скоро. Почти полбутылки перешло за это время в Бовдурово горло.

— Чтоб тебя сухой елью задавило, ублюдок проклятый!.. — ругался дед Панько. — Зачем не ждешь своей очереди, а жрешь, как свинья?..

— А-а! — крикнул, отдуваясь, Бовдур. — За это бог заплатит! Это по-старому, по-бориславски! Точно по всем жилам рукою провел, а в голове шумит, бурлит, туррр!

Он схватил кусок колбасы, кинул ее в рот и, пошатываясь, забрался в свой угол.

Долго еще шумели арестанты, угощаясь водкой, долго честили мерзкого Бовдура, но тот лежал и, казалось, ничего не слышал. Только хлопал глазами, бессмысленно уставившись в потолок.

— Э, где-то у меня был нож, — спохватился Андрей, ощупывая свой карман, — выронил его, что ли? Нечем хлеба отрезать. И ножик незавидный, не так жалко, как неудобно без него.

— Поищите как следует, — сказал дед Панько, — нож не ягла, в камере не должен пропасть.

Однако нож не нашли.

— Да режьте пока моим, потом поищем, — сказал Дмитро. — Может, когда спали, он завалился в соломенник сквозь дыру. У нас и это может случиться, вишь какие соломенники дырявые!

— И то правда, — отозвался дед Панько, — придется потом поискать.

Однако за едой и выпивкой арестанты до того увлеклись беседой, что улеглись спать, так и не вспомнив о ноже. Заснул и Бовдур. Только Андрей, не пивший водки, ходил по камере; приятная весть, что завтра его освободят из этой отвратительной норы, казалось, придала ему силы.

— Эх, хоть бы поскорей оказаться на свободе! — шептал он, вздыхая. — Начнется новая работа, новые искания, глядишь, что-нибудь и получится. Нужно только приняться как следует, сообща, не тратить попусту время и деньги! Надо учиться, много учиться, и не той мертвечине, которою забивают головы в гимназиях. Ах, вот едва вкусил настоящей науки, а какую от нее веет свежестью! Как тянется к ней душа! И почему люди упорствуют, свысока, надменно глядят на ее достижения? Не потому ли, что она не выдает эти достижения за окончательную, безоговорочную истину? Увы, человеку все еще необходим авторитет, который диктовал бы сверху: быть по сему! Нужен еще закон, устанавливающий начало и конец мудрости, вне которого всё — либо фальшь, либо излишек... Нет, власть авторитета не продержится долго! Со всех сторон поднимаются живые умы и валят и валят эту стену, тысячелетиями заслонявшую людям глаза. Скорей бы уж последний удар. Скорей бы свобода, ясная как день, необъятная как мир, признающая только природу и братскую любовь!..

Что наш муравьиный труд перед такой исполинской целью? Что наши жалкие страдания, вся наша жизнь? Песчинка по сравнению с горой! И все-таки гора состоит из песчинок. И все-таки отрадно хотя бы песчинку внести для ускорения великого дела!

А быть может, все наши помыслы, наши стремления, наша борьба, быть может, все это опять только одна сплошная ошибка, тысячи которых прошумели буйными

ветрами над человечеством. Может быть, наш труд ничтожен? Может быть, мы пробиваем дорогу где-то в стороне от проезжей, строим город на необитаемом острове? Может быть, ближайшее поколение пойдет вовсе не туда, отметет нас в сторону, как памятник бесплодных человеческих стремлений к ненужной цели?! Ах, такая мысль терзает сердце, сверлит мозг! Ну что ж, и она тоже вероятна! И к такой крайности мы должны быть готовы, и если наш путь не совпадет с естественными законами всеобщего развития, с вечными человеческими стремлениями к добру и всеобщему счастью, — пойдем немедленно назад!..

А пока что надо идти вперед. Лишь бы снова на волю! Что можно будет сделать, то и сделаем. Лишь все по совести, искренне, с умом, а о прочем не заботиться!..

## XII

Наступила ночь. Спят арестанты, тяжело дыша спертым, затхлым воздухом. Время от времени то один, то другой закашляется протяжным, сухим кашлем, перевернется на другой бок, вздохнет глубоко или вскрикнет сквозь сон. В камере сплошная тьма, потому что и на дворе пасмурно и душно, а издалека, из-за Дила, глухо рокошет гром.

Не спит один Бовдур. На душе у него еще темней, чем в камере; одни только обессиленные долгой пыткой, заглушенные водкой, застыли мысли, не шевелятся воспоминания. Он сидит в своем логове, а в руке у него садовый нож Андрея с длинным острым клинком. Его пальцы время от времени касаются лезвия, словно пробуют, достаточно хорошо ли оно отточено. Все тело его, от головы до пят, дрожит какой-то тревожной дрожью, обливается холодным потом. Он ждет, когда во дворе и камере совсем утихнет, ждет глухой полуночи.

— Там гремит, — бормочет Бовдур, — под грозу крепче сон. И я уснул бы... Ах, уснуть бы надолго, навеки!.. А нынче кто-то здесь так и уснет!

Эта фраза, казалось, поразила его своею внезапной жестокостью, он содрогнулся и умолк.

— Тьфу! Что за дьявольская штука — слова! — начал он опять через минуту. — Выпалишь этакое дурацкое слово, и весь оцепенеешь, будто невесть чего натворил. А воображай без слов — ничего, сойдет. Глаза к самому страшному привыкают, а вот ухо — беда, сейчас же всполошится!..

Да что там, все это чепуха! Только бы деньги! Как подумаешь — ей-богу, до чего люди глупы! Вот и этот... Столько у него денег, а прожить с толком не умеет! Купит чего-нибудь, а сам не ест! Я бы не так! Эх, и погулял бы я на них, хоть несколько деньков! И погуляю, ей-ей, еще погуляю! А что, не пора ли?

Он поднялся и стал прислушиваться. Сначала все было тихо, потом на крыльце заговорили грубыми головами дежурные полицейские.

— Ну и что ж, — спросил один, — не застали уже того горемыку в живых?

— Нет, акурат, как прибежали, был еще чуть теплый. Да где уж? Горло до самых позвонков перерезано.

— Господи, — бубнил другой, — видать, конец света наступает! Такой поганый стал народ, такая вражда пошла, — брат братудохнуть не дает! Ну, и этот... как только у него духу хватило — такого молоденького.

Сильный раскат грома помешал Бовдуру разобрать последние слова полицейского. Но его охватила тревога. Стуча зубами, он съезжился в своем углу, словно полицейские угадали его замыслы и вот-вот явятся, свяжут и начнут кромсать живьем. Бовдур бессильно опустил руки. Нож упал на пол. Звон стали испугал его больше грома. Он залез в самый угол, зажмурился, заткнул уши, чтобы никакие внешние впечатления не доходили до него. Сам не зная, когда и как, он на минуту задремал.

Вдруг он проснулея, с усилием сдержав рвавшийся из горла крик. Ему приснилось, будто он переходит вброд кровавую реку; вот он набрел на омут и по неосторожности погрузился в него. Кровь кипучая, горячая, живая. Злорадно плещется и бурлит вокруг, заливаает его, покрывает все тело, рот, глаза. Он пытается выплыть,

но кровь, как тягучая смола, облепила его тело, сковала руки и ноги. На этом он проснулся.

— А-а, какой страшный сон! Чуть не задохся, прямо в пот ударило! Да что сон, пустое дуновение!.. Ну, теперь, пожалуй, пора?..

Он снова привстал и долго прислушивался. Кроме дыхания спящих, ничего не слышно. Он нагнулся и стал шарить по полу, отыскивая нож. Но вдруг, как ужаленный, отдернул руку. Случайно он схватил за горло старого еврея и почувствовал, как под пальцами пульсирует в жилах, точно живая, кровь, а кадык просто заметался, встревоженный прикосновением.

— Убей тебя Христос, проклятый жид! — зарычал Бовдур. — До чего напугался, точно змею какую рукой схватил. Тьфу, чтоб тебе!

И он снова нагнулся, пошарил и нащупал нож. Потом тихонько, на цыпочках стал пробираться к койке, где спал Андрей. Сначала Бовдур пощупал, не спит ли он, обнявшись с Дмитрием; убедившись, что нет, он смело взял Андрея поперек туловища, поднял, как ребенка, и легко, бесшумно опустил на пол.

— Да, тут лучше, — бормотал он. — Если станет трепыхаться, так чтобы других не разбудил.

Андрей спал крепко. Но когда его голова коснулась мокрого пола, он встрепенулся и сквозь сон вскрикнул:

— Ганя, спаси!..

Бовдур, полагая, что Андрей проснулся, быстро налег ему коленом на грудь, левой рукой схватил за горло, а правой резанул изо всех сил. Андрей задергался и вскрикнул, но негромко, потому что горло его было сдавлено. Кровь брызнула на руки Бовдура. Почувствовав, что Андрей сильно бьется, он замахнулся вторично.

— Где деньги? Деньги давай! — шептал он над жертвой.

— Ох! — стонал Андрей. — Деньги... в... отобра...

И не договорил. Острие ножа пересекло в этот миг гортань, перерезало жилы до самых позвонков. Кровь хлынула вовсю, судороги тела постепенно слабели, пока совсем не прекратились. Андрея Темеры не стало... А его мысли, его чаяния, погибли и они вместе с ним?

Нет! Ведь эти мысли — человечество, ведь, лелея их, он оставался только маленькой частицей человечества. А человечество только тем и живет, что частицы его гибнут одна за другой, а вместо них нарождаются новые...

А Бовдур, точно сраженный молнией, стоял на коленях перед трупом. Деньги отобрали в старостве, значит зря он зарезал Андрея! Точно бельмо сняли с Бовдутовых глаз... Что он сделал? За что лишил жизни это юное существо? Что за проклятое наваждение владело им? Долго в оцепенении стоял он над трупом Андрея, без мыслей, без движения, сам точно труп. Правой рукой он все еще сжимал нож, левая, купаясь в крови, надавливала на холодеющее горло юноши...

Вдруг чья-то холодная рука коснулась плеча Бовдура и чей-то глухой сонный голос произнес:

— Ты что тут делаешь, Бовдур?

Это был голос Стебельского, — его разбудили стоны Андрея.

Бовдур не отозвался, даже не вздрогнул, не испугался, — как истукан, стоял он на коленях перед трупом Андрея.

— Что ты здесь делаешь? — допытывался Стебельский, тряся Бовдура за голое плечо. — Почему не спишь?

Казалось, слова Стебельского и прикосновение его холодной руки мало-помалу вывели Бовдура из оцепенения. Он шевельнулся, поднял голову, тяжело вздохнул и сказал мягким, почти веселым тоном, в котором не оставалось и следа прежней жестокости:

— Постой, увидишь комедию.

— Какую? — тихо спросил Стебельский.

— Ну да увидишь.

Он поднялся, перешагнул через труп, подошел к двери и кулаками, точно молотами, заколотил в дверь. Этот грохот, внезапный и гулкий, заглушил шум грозы на дворе. Арестанты вскочили все до единого.

— Что такое? Что здесь такое? — встревоженно спрашивали они.

— А пан где? Где пан Темера? — допытывался Дмитро, не чувствуя рядом Андрея.

Но Бовдур не слышал их голосов, он стоял у двери и что есть силы барабанил кулаками.

— Да ты что, взбесился, что ли? — кричал дед Панько. — Чего грохочешь? В чем дело?

— Да какая-то комедия, — ответил Стебельский, — только неизвестно, какая.

Из караульного помещения донеслись крики и проклятья. Это проснулся капрал; он схватил фонарь и, как был, в одном белье, примчался к двери.

— Какие тут черти молотят? — заорал он. — Чтоб тебя по кишкам так молотило! Чего надо?

— Отвори! — крикнул Бовдур, не переставая барабанить.

— Да перестанешь ты, требуха проклятая! Уж отворю, так недаром, смотри!

— Отвори! Слышишь? — не унимался Бовдур и хватил кулаком в заколоченный «глазок» так, что только щепки в противоположную стену полетели.

— Ах ты разбойник этакий! — обозлился капрал и, оставив на полу фонарь, принялся отпирать замок, все больше закипая от ярости, потому что Бовдур не переставал барабанить. Но едва капрал приотворил дверь и наклонился за фонарем, Бовдур распахнул ее настежь и крепко стиснутым кулаком что есть силы хватил капрала в переносицу так, что тот рухнул без памяти на пол, а фонарь выпал из его рук, разбился и погас.

— Я тебе сказал, пес, — отвори! А ты валандаешься! Ну, и получай! — приговаривал Бовдур, держа дверь распахнутой.

— Караул! Спасите! Разбой! Караул! — завопил, очнувшись, капрал.

Прибежали с фонарями полицейские.

— Ах ты, проклятый Бовдур, что ты делаешь? — закричали они, бросаясь к нему.

— Засветил фонарь этой свинье! — ответил спокойно Бовдур. — Пускай другой раз поторапливается!

Полицейские, как звери, набросились на Бовдура, но он отпрыгнул и скрылся в камере. Те, с фонарями, за ним. Но едва только давно невиданный здесь свет упал желтым пятном на середину камеры, полицейские остановились как вкопанные и невольно ахнули. Посреди камеры плавало в крови тело Андрея, а над ним на коленях стоял Бовдур и мочил руки в крови.

— Господи, что это? — вырвалось у всех из груди.

— Это я, я сделал, — тихо произнес Бовдур. — Не верите? Вот нож, смотрите, его собственный!..

— За что же ты, изверг, жизни его лишил? — спросил дед Панько. Но Бовдур не ответил на вопрос старика, как будто не слышал, а может быть, не понял его. Он стоял на коленях перед трупом и всматривался в бледное, даже после смерти прекрасное лицо. И странная перемена происходила с Бовдуром. Черты его лица, казалось, смягчались, становились кроткими... В глазах потух блеск, напоминавший тлеющие гнилушки... Угрюмые, гневные морщины на лбу разглаживались... Человеческий дух, казалось, снова вселился в это тело, до сих пор служившее обиталищем какого-то дьявола, какой-то дикой звериной души. И вдруг слезы градом покатались из глаз Бовдура... Он припал лицом к окровавленному лицу Андрея и тяжело-тяжко зарыдал.

— Братик мой! Что я с тобой сделал! За что жизнь твою загубил? Святая, чистая душенька, прости меня, нехрестя! Что я сделал! Что я сделал! Господи, что я сделал!..

С минуту еще стояли арестанты и полицейские, точно околдованные этим потрясающим зрелищем, и слушали причитания Бовдура. Но вскоре опомнились.

— Собирайся, панич! — сказали ему. — Тебе уж тут не место. Пора перейти на новую квартиру. Не время теперь плакать!

Бовдур поднял глаза и гневно, с горечью взглянул на полицейских.

— Будь вы прокляты, живоглоты! — воскликнул он. — Смотрите! — И он приложил руку к зияющей ране Андрея, разделяя ее ладонью на две половины, — смотрите, вот это моя половина, а это — ваша половина! Это моя, а это ваша! Не бойтесь, здесь я расквитаюсь за обе, но там есть еще бог справедливый, — он-то распознает, которая моя половина, а которая ваша!..

Щелкнули железные наручники, Бовдур не сопротивлялся. А тем временем арестанты крестились и читали над покойником молитвы, только Дмитро плакал в сторонке. Стебельский долго молчал, сидел на обычном своем

месте и вдруг тихо-тихо, каким-то чужим голосом произнес:

— Quidnam, domine? Diem supremum obiisti?\*

Не услышав ответа на этот вопрос, он обернулся к Бовдуру и, указывая на него рукой, сказал:

— Pereat homo, crescat humanitas!\*\*

Но, не увидя и на этот раз на лицах окружающих ни похвалы, ни порицания своей мудрости, он повернулся лицом к стене и заснул.

*Колomyя, 17—20 июня 1880*

---

\* Что же, господин? Ты скончался? (Буквально: пришел к последнему дню?—*латинск.*)

\*\* Да погибнет человек, да растет человечество! (*латинск.*)

## САМ ВИНОВАТ

### I

«Назначен к продаже с торгов надел по реестру за номером двадцать девять, собственность Миколы Прача, оценочная стоимость — сто пятьдесят гульденов, вместе со всеми хозяйственными строениями, состоящими из сарая на одну корову и хлева на одну свинью, в покрытие долга Мортку Шиндеру в сумме сорок гульденов, подлежащих взысканию. Объявленная цена — сто пятьдесят гульденов. Кто да венци?»\*

Все это выкрикивал хриплым, пропитым голосом, читая по длинному полулисту синеватой бумаги, судебный пристав, исполнявший одновременно обязанности присяжного аукциониста. А прокричав, стукнул несколько раз молотком о положенную на чурбан доску, заменявшую казенный стол.

Хата и хозяйственные постройки, о которых, будто в насмешку, говорилось в описи, представляли собою жалкую хибарку из прогнивших тонких досок на ивовых столбах, под одной общей крышей, где было больше зеленого моха, лебеды и крапивы, чем соломы.

— Кто да венци? — повторил на своем украинско-польском якобы официальном жаргоне пристав. — Объявленная сумма сто пятьдесят гульденов.

Вокруг стояло несколько селян в рваных сермягах и соломенных шляпах, а также два-три грязных еврея.

---

\* Кто даст больше? (польск.)

Они переговаривались между собой, оглядывали двор, где все это происходило, но на выкрики пристава никто не отзывался.

А в сторонке, у разваленного плетня, сидел на бревне сам Микола Прач, высокий, лет тридцати пяти человек, худой как щепка, с лицом, изможденным нуждой и болезнью. На коленях у него сидел мальчик лет пяти, прижимаясь к отцу и со страхом поглядывая на чужих людей возле хаты. А рядом стояла жена Прача, с меньшим ребенком на руках, и фартуком утирала слезы.

— Кто да венци? — взывал пристав, оглядываясь. Тут подошел к нему сам Мортко Шиндер и, левой рукой коснувшись ермолки на своей голове, сказал:

— Ну, зачем, прошу пана, давать венци? Я дам сорок.

— Мортко Шиндер дает сорок; кто да венци? Раз! — выкликал пристав.

Никто не отзывался.

— Два!..

Все молчали, слышно было только, как глухо всхлипывала Прачиха.

— Три!

Громкие удары молотка о доску были ответом на этот возглас. Мортко Шиндер за свои сорок гульденов стал владельцем надела и хозяйства, оцененных в сто пятьдесят гульденов, а стоящих по меньшей мере двести гульденов.

— Ну, ты, глупый хлоп, — обратился он к Миколе. — Не говорил я тебе, помирись со мною, отдай мне половину твоего надела? А теперь, видишь, я получил все!

— Бог тебя покарает за нашу обиду, кровопийца! — крикнула, захлебываясь слезами, Прачиха.

— За что меня будет бог карать? Что я не по правде делал? Пусть тебя бог карает, ты, паскудница, ты! Сейчас же убирайся с моего двора!

Прачиха живо утерла слезы и хотела еще что-то сказать Мортку, но Прач махнул рукой и произнес срывающимся, глухим голосом:

— Оставь его в покое! О чем уж теперь говорить? Ничего не поделаешь! Бог нас покарал, на то его воля... Так тому и быть! Пойдем!

Он встал, взял за руку мальчика и пошел, а за ним, заливаясь слезами, пошла и его жена с малым ребенком на руках.

— Так-то, кум, вот еще одного хозяина как не бывало, — говорили промеж себя селяне на дворе.

— Да, видно, попущение господне на мир христианский!

— Толкуйте, «попущение господне»! — заметил один, несколько лучше других одетый. — Народ сам виноват, и все тут!

— Эх, кум, кум, — ответил первый, — не говорите так. Хорошо, что вас бог благословил, горя не знаете. А бедняк, будь он хоть какой хозяйственный, все же двоих в одну рубашку не оденет.

— Те-те-те, — возразил тот, что побогаче, — все это пустая болтовня. Работать больше надо, сложа руки не сидеть!

— Ой, да разве ж, кум, бедняк не работает, — иной раз чуть глаза не лопнут... А какая от того польза? Вот стоим мы тут сейчас, а разве мы знаем, не выпадет ли завтра кому-нибудь из нас то же, что нынче выпало Миколу?

— То же, то же, — ответил тот, что побогаче. — Не бойтесь, с хорошим, порядочным хозяином никогда такое не случится, а все с каким-нибудь непутевым, вот как этот Микола! Толкуйте, что хотите, а я все на своем стою: он сам виноват...

## II

Свет велик, а куда деваться бедному, беззащитному? Микола Прач шел по селу, как лунатик, а жена следовала за ним, рыдая и голося, как над покойником. Был душный летний день. Народ работал в поле, и в селе никого не было видно. Жена прибавила шагу и поровнялась с мужем.

— Микола, куда ты идешь?

— В Свичу, — ответил тот угрюмо.

— Боже мой, что ты говоришь!

— Ну, а куда ж теперь идти? Другого выхода нету...

— Сохрани нас господь от этого, Микола! Не говори

так! Послушай, вон там живет моя тетка, идем к ней, летом будем работать, а зиму как-нибудь переберемся.

— А потом?

— Потом... потом опять будем работать и авось как-нибудь проживем меж добрых людей.

— Добрых?.. Ну-ну, сто́ит меж них жить! Нет, ничего из этого не выйдет.

И Микола двинулся дальше. Жена схватила его за руку.

— Побойся бога, человеце, что ты задумал? Ведь это грех великий! А меня ты на кого бросаешь? А дети?..

— Ну, останусь в живых, чем я тебе и детям помогу? Глупая,пусти меня!

Но она не пускала и настойчиво тащила его через мостки к теткиной хате.

— Знаешь что, — сказал, наконец, Микола, — если хочешь, ты ступай к тетке...

— А ты?

— Я не пойду.

— Почему?

— Я не могу ни минуты больше прожить в этом проклятом селе! Если силой удержишь меня — повешусь. Так лучше пусти.

— Да куда же ты пойдешь?

— Пойду на заработки, в Людвиковку, на лесопилку.

— На лесопилку? Господь небесный, да ведь ты слаб, как комар! Что ты там сможешь делать?

— Не бойся, что-нибудь уж найду. Там теперь работники нужны, так примут.

— А когда же вернешься?

— Когда заработаю столько, чтоб выкупить свое добро у проклятого Мортка. Не раньше.

Она вытаращила на него удивленные глаза и с тревогой глядела ему в лицо.

— Микола, что ты говоришь?..

— То, что слышишь.

— Да ведь это...

Не могла договорить, что-то душило ее, точно в горле застрял камень.

— Будь что будет, но как-то быть должно. Либо заработаю, либо пропаду... На что мне такая жизнь!

Он поцеловал жену и детей и медленным, нетвердым шагом пошел дальше по дороге. Они, плача, глядели на него с мостков, пока он не скрылся за холмом на повороте.

### III

Миновал год. Снова лето. С погожего неба солнце осыпает жаркими лучами высокие лысые горы, зеленые мочажины у реки, строения людвиговской паровой лесопилки. Свеча бурлит и разбивается о валуны; на не вырубленных еще склонах млеет хвойный лес, окутанный прозрачной синеватой дымкой. Посреди котловины высится сам завод, как могучей серой стеной окруженный со всех сторон высокими штабелями толстых бревен. Из красной трубы валит дым, раздается пронзительный свист; внутри лесопилки слышно бешеное клокотанье, писк, скрип и лязг паровой машины вперемежку с оглушительным шумом воды и криком рабочих. А вдали, на вершинах гор, звучит там и сям стук топоров и треск срубленных громадных елей.

— Ура! — кричат лесорубы всякий раз, когда падает такой лесной великан, а затем начинается стук, у великана обрубают ветви и по торной колее спускают вниз с горы в реку, а она донесет его прямо к машине. День за днем со всех окрестных вершин несется этот стук и крик, день за днем сотни лесных великанов с треском сползают по голым, каменистым обрывам в долину, чтобы там на воде ожидать, когда придет их черед ложиться под неумолимые железные зубья паровых пил. И изо дня в день четырнадцать соединенных вместе пил, точно четырнадцать громадных неумолимых червяков, грызут кости лесных великанов.

Среди лесорубов вот уже с год работает и Микола. Вид у него еще более изнуренный и худой, но сегодня он рубит с каким-то увлечением, словно ель — его смертельный враг.

«Авось это в последний раз, господи, авось в последний раз!» — думает он, высоко замахиваясь топором.

Он сегодня счастлив. В его кожаном поясе, завернутые в тряпицу, лежат надежно спрятанные пятьдесят гуль-

денов, годичный заработок. Сорок, размышляет Микола, пойдут Шиндери, а десять на обзаведение. Сегодня вечером кончается его работа, а завтра он идет домой.

И в самом деле, на следующий день ни свет ни заря Микола Прач был уже далеко от Людвиковки. Он шел быстро, даже запыхался. Мысли его витали в будущем, не желая и оглянуться назад, где они не встретили бы ничего, кроме нужды и горя.

«Прежде всего пойду к Мортку, — думал бедняк, — выкуплю поле и хату, а тогда уж до жинки... «Пойдем, скажу, пришла пора снова на своей земле устраиваться!»

Эта мысль придавала силы его слабым ногам. Солнце клонилось к закату, когда он дошел до своего села. Сердце забилося у него в груди, едва он завидел издали свою полуразвалившуюся хату и большую корчму на краю села. Из последних сил он поспешил к ней.

— Добрый вечер, Мортко! — крикнул он, входя в корчму.

— Доброго здоровья! А, это вы, Микола? — сказал Мортко. — Где это вы пропадали, что вас так долго не было видно?

— Работал, — ответил Микола. — Слушай, Мортко, я тебе кое-что скажу.

— Ну, что такое?

Микола достал из пояса тряпицу, развязал ее и положил перед Мортком четыре десятки.

— На, видишь! Отдай мне землю и хату.

— Что, что, что? — закричал Мортко и попятился. — Ты хочешь за сорок гульденов купить землю и хату? Ха-ха-ха!

— Не купить, а получить свое обратно!

— Обратно? Овва, как это обратно?

— Я тебе отдаю, что был должен, а ты мне отдай землю и хату.

— Ого-го! Ты, я вижу, Микола, где-то большого ума набрался. У нас так не делается! Мне за этот надел дают триста гульденов. Я хочу четыреста, но тебе отдам за двести пятьдесят. Понял?..

Микола остолбенел от этих слов. Мортко, как видно, испугался, потому что шмыгнул за перегородку и запер за собой дверь. В корчме было несколько знакомых селян.

Они обступили Миколу, заговорили с ним, стали его утешать, но он стоял как столб, не сводя глаз с того места, где минуту назад был Мортко. Долго-долго простоял так бедняга, а затем обернулся к односельчанам.

— Люди добрые, да может ли это быть? — спросил он глухим, дрожащим голосом.

— Что ж, куманек, поделаешь, когда всё у Мортка в руках? — ответил кто-то.

— И закона на это никакого нету?

— Нету.

— А! — произнес Микола и умолк, только крупные, жгучие слезы покатались по его бледному, измученному, пылью покрытому лицу.

— Люди добрые, — сказал он немного погодя, — возьмите эти деньги, прошу вас, и отдайте моей жене. Мне их не надо. Поклонитесь ей от меня и скажите, что скоро вернусь. А о том, что тут с Мортком было, — ни слова! Слышите, ни слова!

— Ладно, куманек, ладно.

— А теперь — бывайте здоровы!

Он нахлобучил шапку и вышел. Солнце горело кроваво-золотым огнем над самым горизонтом. Кровавой полосой блестела Свича среди темнозеленой равнины, извинаясь меж лозами. Шумела по камням вода. Чирикали воробьи в лозняке, а в сердце бедного Миколы теснилось горе.

#### IV

В то время, когда все это происходило, в Людвиковке случилось одно событие. В корчме возле Долины, уединенно стоявшей среди поля, ночью вырезали всю семью арендатора. Один только мальчуган почти чудом уцелел, притаившись за печкой, и рассказал потом о происшедшем. Людей, которые это сделали, он не знал и даже не понимал их речи. Подозрение пало на двоих итальянцев, которые работали в Людвиковке. Их и арестовали. Итальянцы эти работали «на спуске». Это была очень опасная работа. Одна из лесистых гор стояла далеко от воды, так что некуда было спускать с нее срубленные деревья: кругом была совершенно неприступная, вся

в огромных камнях, круча. А деревья на той горе были как раз самые лучшие, самые рослые. Директор лесопилки думал-думал, как бы это до них добраться, и наконец, придумал способ. На середине этой горы выбивался из-под камней небольшой родник; он тонкой струей падал в долину и, kloчоча, скрывался меж скал, чтобы только внизу, под горою, успокоиться и тихо влиться в Свичу. От этого родника директор приказал построить спуск (желоб) прямо на заводский двор. Спуск этот был попросту небольшой водослив, сложенный из толстых деревянных брусьев в виде длиннейшего корыта. Как струна, протянулся он от завода над страшной, ощетинившейся камнями и кое-где поросшей ежевикой и дикими травами пропастью, туда, к самому сердцу горы напротив. Со дна пропасти водослив этот казался толстым канатом, а козлы, на которых он держался, — длинными жердочками, которые вот-вот зашатаются и упадут. По этому деревянному корыту текла вода из родника, и с ее помощью легче было спускать деревья с горы на лесопилку. Но вода одна не могла гнать такие громадные стволы, хотя для того, чтобы они легче скользили, с них и обдирали кору. Поэтому двое рабочих должны были все время тащить эти бревна вниз по спуску. Это делалось так: рабочий, глубоко загнав топор в один конец бревна, хватался обеими руками за топориче и, ступая по краю желоба, всем телом повиснув над страшною пропастью, волок бревно по скользкому дну за собой. Не быстро это шло, и работа была опасная, потому что стоило топору вырваться из бревна или топоричу выскользнуть из рук рабочего — и его ждала неминуемая, явная смерть на дне страшной пропасти. Потому-то местные рабочие ни за что на свете не хотели идти на эту работу, хотя директор давал за нее по два гульдена в день. Только упомянутые два итальянца согласились и, в самом деле, вот уже три месяца счастливо справлялись с этим делом. Другие рабочие боялись даже глянуть на них, когда они, вися над пропастью, волокли бревна вниз по спуску. Правда, рядом с главным желобом положены были на козлах доски, чтоб удобнее было ходить, но в случае, если бы топор вырвался из дерева, доска не спасла бы рабочего.

Так вот, когда Микола вернулся обратно в Людвиковку, место двух арестованных итальянцев было свободно.

— Пан директор, — сказал Микола, входя в заводскую контору, — вот я опять у вас и прошу работы.

— Работы? — проворчал директор. — Ага, хорошо. Вот тут на спуске есть работа, хочешь?

— На спуске? — охнул Микола.

— Я тебе хорошо заплачу, два гульдена в день, хочешь?

Микола задумался. Холодом повеяло на него от этой мысли, но выхода не было. Да, наконец, о чем ему теперь жалеть?

— Ладно, пан директор! — сказал он. — Пойду на спуск, да будет божья воля!

— Что, пойдешь? — произнес директор и удивленно взглянул на него. Он теперь сам, казалось, испугался смелости Миколы.

— Да, пойду! — сказал Микола твердо.

На следующее утро у спуска собралась целая толпа рабочих и заводских надзирателей. Хотели посмотреть, как справится Микола со своей головоломной работой. Микола был уже в лесу. Там слышны были возгласы рабочих, стук топоров и треск валившихся деревьев. Вот уже втащили громадный ствол в желоб. Белое, очищенное от коры смолистое дерево блестит на солнце. Вот и Микола. Он перекрестился, схватил обеими руками огромный топор с длинным, крепким топорищем и, взмахнув им над головой, вонзил что есть силы в толстый конец бревна.

— А ну, во имя божье! Пошли!..

Микола ухватился за топорище, согнулся, совсем перевесившись над пропастью, и при помощи других рабочих тронулся с места.

— Потихоньку! Потихоньку! — закричали снизу.

Бревно довольно легко двигалось по дну желоба. Микола уверенно шел по доске, шаг за шагом. Он уже приближался к самому страшному месту над пропастью. Более робкие отворачивались, не в силах глядеть на человека, который точно по ниточке шагал между жизнью и смертью.

— Боже, спаси его! — шептали рабочие.

— Интересно, перейдет ли? — шептал директор.

А Микола шел. Он уставился глазами в бревно и в блестящий топор, который, точно большой зуб какого-то лютого зверя, впился в белое гладкое тело бревна. Кроме дерева и топора, он ничего не видел, ничего не чувствовал. Не чувствовал и страха. Ему только казалось, что это он глазами держится за бревно, а отведи он на миг взгляд, тут ему и смерть.

Но что это?.. Рука у него дрожит?.. Или топор в дереве зашатался? Миколу что-то сдавило за сердце. Он чувствовал, что топор чересчур слабо забит и вот-вот выскочит. Он хотел остановиться и поправить его, но что-то словно толкало его вперед. Он глянул вниз, в пропасть, и в тот же миг голова у него закружилась, в глазах потемнело, и одно-единственное слово сорвалось с его уст:

— Боже!

Один общий тревожный крик вырвался в ту же минуту из груди всех, кто смотрел с другой стороны. Микола только мелькнул в воздухе и вниз головой полетел в пропасть. На первом же остром выступе голова его разлетелась на куски, как разбитый арбуз.

— Боже! — ахнули рабочие, увидев это, и побежали вниз, хотя знали, что для бедного Миколы нет уже спасения.

Его похоронили за Свичей, у подножья высокой горы. Зеленая, мохом и полевыми цветами заросшая поляна, с двух сторон окаймленная рекой, подымается над нею так высоко, что вода никогда не заливают ее; она хранит в себе его тело. Свеча брызжет и ревет вокруг, как бы в бессильной злобе за новую жертву. Со всех сторон задумчиво глядят высокие горы на неприметную зеленую могилку на одном берегу и на большой завод с красной трубой на другом. В орешнике кукует кукушка, словно спрашивая: «Кто тут? Кто тут?» А чирик в высокой траве протяжно вызванивает: «Несчастный! Несчастный!» Только сердитая пестрая сойка на одинокой пихте дразнит: «Сам виноват! Ага! ага!..»

*Львов, 20 декабря 1880*

## С Л Ы М А К

### I

Давно, лет двадцать назад, а то и больше, на дороге из Дрогобыча в Борислав встретились в летний день двое юношей. Не знаю, нашлось бы еще где-нибудь два молодых человека, почти одинаковых лет, но столь непохожих друг на друга и характером и внешностью. Один — рослый, крепкий и красивый, шел прямо и свободно, то и дело смеялся и затягивал веселую песню; его бедная, но опрятная одежда и плотничный инструмент в мешке за спиной ясно говорили, что он — молодой плотник и идет на заработки в Борислав, который с недавних пор очень оживился и начинает притягивать к себе все больше рабочего и ремесленного люда. Другой путник был жалкий и оборванный еврейчик, весь согнувшийся, с каким-то старческим, безжизненным лицом, неразговорчивый и унылый. Его тощие ноги едва поспевали вровень со здоровяком-плотником, а маленькие запавшие глазки беспокойно бегали, как бы стараясь где-нибудь спрятаться в испуге. Он тоже шел в Борислав искать счастья, но при нем не было никакого инструмента, и трудно было понять, чем он надеется зарабатывать.

— А ты, Юдка, чем же думаешь жить в Бориславе? — спрашивает плотник.

— Чем бог даст, — робко отвечает согбенный Юдка.

— Так-то оно так — все в руках божьих, — говорит

плотник, — но, как говорится: на бога надейся, а сам не плошай.

— У нас так не говорят, — ответил коротко Юдка.

— А как же у вас говорят? Хотел бы я знать!

— У нас говорят: кто на бога надеется, тому бог не даст пропасть.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся плотник, взмахнув своими крепкими руками. — Попробуй я с месяц не поработать, вряд ли бог сойдет с небес, чтобы накормить меня!

— Не говори так, Слымак, не гневи бога!

— Я бога гневить не хочу, но бог, наверное, не попусту дал человеку руки!

И он снова взмахнул могучими руками, словно собирался дробить ими скалы.

— Если бог захочет, так и твои руки не помогут, Слымак!

— Разве поотпадают, а тогда я и жить не захочу!

— И здоровы будут и не помогут!

— О, этого не случится!

— Посмотрим.

— Ну, ну, посмотрим.

Так беседуя, оба спутника шли пустынной дорогой через поля. До Борислава оставалось с полмили. Солнце стояло в зените и жгло немилосердно. Слымаку давно уже хотелось пить, да и Юдка то и дело умильно поглядывал на мешок за плечами у Слымака, откуда доносился к нему запах хлеба и сыра. У него самого не было ни кусочка хлеба и ни единого крейцера.

Но вот Слымак свернул с дороги в сторону, к крутому, обрывистому холму. Юдка остановился на повороте.

— А ты, Слымак, куда?

— Здесь родничок есть, хочу воды напиться.

— А может, отдохнем немножко?

— А что ж! Солнце припекает, как огнем жжет, а в Борислав и так придем во-время.

— Так тому и быть.

Уселась у родничка. Слымак напился воды, вынул хлеб и сыр из узелка и, видя, что у Юдки ничего нет, пригласил и его.

— Только, может, тебе нельзя, потому что трэфное?\*

— Э, — сказал Юдка, — наш закон при нужде дозволяет есть и трэфное.

— А так, обычно, не дозволяет?

— Нет, не дозволяет.

— Ну, хороший же у вас закон, ежели его можно при надобности натягивать, как сапожник кожу на колодку.

— Не говори так, Слымак, грех так говорить. Наш закон также от бога, как и ваш, — сказал боязливо Юдка.

Пополдничали — и дальше. Вот уже и Борислав. Хотя по дороге земля была сухая, хоть дождя не было почти с неделю, но в Бориславе повсюду стояла глубокая, топкая грязь. Взад и вперед сновали евреи, крестьянские парни, нефгяники, подводы, тачки. Говор, шум, песни, крики, пьяная ругань не умолкали ни на минуту.

— Куда же ты теперь, Юдка?

— Пойду искать себе места. А ты куда?

— Я тут подрядился на постройку, вон там, видишь? Буду делать там двери, оконные рамы и всякую плотничью и столярную работу. Ну, будь здоров!

— Будь здоров, Слымак! А знаешь что? Коли у тебя будет во мне нужда, — знаешь, я не таковский еврей, приходи ко мне! Я тебя не забуду!

— Я — к тебе? Ха-ха-ха! — захохотал Слымак. — А чем же ты мне поможешь, когда сам гол, как сокол!

— Кто знает, Слымак, кто знает, что кому бог pošлет. Еще раз говорю, приходи, за Юдкой не пропадет! И расстались.

## II

Прошло десять лет. На главной улице Борислава только что открылся новый трактир. Он помещался в угловом доме, на очень удачном месте, хотя и в полуподвале, почти на локоть ниже уровня улицы, так что туда надо было спускаться по ступенькам. Рабочий люд день и ночь заполнял большую, грязную и сырую комнату трактира; песни, крики и ругань не утихали там никогда и глухим

---

\* Пицца, запрещенная еврейскими религиозными правилами.

гулом неслись в Борислав через вечно отворенные окна. Над входом в трактир висела вывеска; на черном ее фоне выписано было огненно-красными буквами по-немецки: «Продажа пива и водки Иуды Маультроммеля». В трактире между пьяным человеком извивался вьюном согбенный, хотя и не очень тощий еврейчик: это был Юдка. А за буфетом стояла уродливая, но богато одетая еврейка, всегда с одним, а то и с двумя младенцами на руках — это была жена Юдки.

Вечер. Толпами повалил народ, закончив работу, и рассыпался кто куда, а большинство — по трактирам. У Юдки полно, битком набито. Но кто этот мрачный, понурившийся, изможденный человек, который пробирается сквозь толпу к прилавку? Его лицо, бледное, обескровленное, говорит о перенесенной тяжелой болезни. В руках у него два костыля, опираясь на них, он беспомощно волочит больные, исхудалые ноги. Вот он с большим трудом добрался до буфета, остановился и оглядывается.

— Что вам надо? — спросила еврейка.

— Юдку.

— Юдку? А зачем вам Юдка? Хотите водки, так я вам дам и сама. А в долг, так и Юдка не даст.

— Нет, мне не водки, я хотел бы поговорить с Юдкой.

— Поговорить? — протянула еврейка и с презрением смерила глазами этого изможденного жалкого оборванца. — Что вы ему имеете сказать? Скажите мне, я ему передам.

— Нет, я бы хотел с ним самим. А вот и он! — И оборванец повернулся к Юдке, который как раз протиснулся к буфету с бутылками и стаканами в обеих руках.

— *Der Goj will schmissen mit dir\**, — сказала жена Юдке. Тот обернулся и посмотрел на оборванца, очевидно не узнавая его.

— Вы хотели говорить со мной? Ну, говорите, что вам надо?

— Вы не узнаете меня, Юдка?

---

\* Иноверец хочет говорить с тобой (*еврейск.*)

— Нет, не узнаю, — сказал Юдка, еще раз взглянув на него.

— Правда, не сегодня это было, когда мы оба, еще молодые, шли в Борислав, помните?

— О, Слымак! Ну и память у меня! Как же не помнить! Что слышно, Слымак?

— Плохие дела, Юдка. Не повезло мне.

— А у меня ничего, слава богу, — ответил Юдка.

— Вижу, вижу, — грустно сказал Слымак, покачивая головой.

— Знаете что, Слымак, у меня сейчас нет времени говорить с вами. Присядьте вот здесь, на скамейке, а потом... Маўку, gib eim a güt Bromfen, ün a Umbassen, hörst dü mech?\* А потом, как станет посвободнее, поговорим. Ладно?

— Что ж, ладно, — сказал Слымак и сел в углу около буфета.

Было уже далеко за полночь, когда в трактире настолько убавилось народу и настолько утихомирилось, что Юдка мог урвать свободную минуту. Он разбудил Слымака, который за это время успел заснуть на скамейке среди шума и духоты.

— Ну, Слымак, рассказывай, что там у тебя слышно?

— Сами видите, что, — сказал нехотя Слымак. — Вот до чего я доработался за десять лет. Жена спилась и померла, спустив все мое добро. Сам я тяжело заболел, ноги отнялись. Что теперь делать? На плотницкую работу не берут, там нужно стоять, бегать, а я не гожусь. Нефть копать — тоже. Что делать? Руки здоровы, а приходится, видно, заживо помирать.

— А видишь, Слымак, не говорил я тебе — бога не надо учить, как покарать человека! Бог всегда найдет.

— Ой, вижу теперь! — вздохнул Слымак. — Чего я только не натерпелся за эти годы, боже мой! Видишь, седею!

— Ну, и что же теперь будет?

— А я разве знаю, что будет? Я пришел к вам, Юдка. Помните, вы тогда сказали: приходи! Пока я мог зарабо-

---

\* Малка, дай ему доброй водки и закуски, слышишь? (еврейск.)

тать, думал, — заработаю. А теперь — конец. Да и то, видите, не совсем еще конец — руки здоровы и все, а вот с ногами — беда!

— Так чем же я вам помогу насчет ног?

— Э, мне уже насчет ног никто не поможет, разве только заступ да могила, — сказал с печальной улыбкой Слымак. — Но, может быть, вы нашли бы для меня какую-нибудь работу?

— Работу? Гм... — сказал Юдка и задумался. — Для тебя работу? Это трудно, голубчик Слымак! Но что делать, раз обещал, так надо подумать. Знаешь что, Слымак, ложись себе здесь на скамейке. Maßku, gib eim a schmutzig Laßech ünter'n Kopp\*. Переночуешь, а завтра посмотрим!

С такими словами Юдка ушел спать, а Слымак, вздохнув и помолившись богу, лег на скамейку, подложив под голову грязную дерюгу, которую принесла ему еврейка, и вскоре тоже заснул.

На другое утро Юдка долго совещался со своею Малкой, потом бегал куда-то по соседям, а к полудню позвал Слымака к себе в спальню, заваленную перинами и почти совсем темную.

— Знаешь что, Слымак, есть для тебя работа.

— Какая?

— Легкая работа, столярная. У тебя есть какой-нибудь инструмент?

— Да кое-что есть: пара рубанков, сверло и топор.

— Ну, и хорошо. Сверло можешь продать, оно не понадобится. Нужны только рубанок, топор и пила.

— А что ж это за работа такая — с одним рубанком, топором да пилой?

— Легкая работа, Слымак. Будешь строгать ручки к насосам и воротам, планки, колышки, знаешь, всякую мелочь. Даже верстака не надо, довольно бондарного стола; будешь сидеть себе и всю работу делать.

— А почему? Сколько платить будете?

— Платить, Слымак? За что тут платить? Слушай, что я тебе скажу! У тебя жилья нет, верно?

— Верно.

---

\* Малка, дай ему грязную дерюгу под голову (еврейск.)

— Ну, я дам тебе жилье, здесь же, во дворе. Здесь у тебя будет тихо, спокойно, сиди да работай. Слышишь? Еду тоже будешь получать, и стружки твои, понимаешь, стружки! только крупные щепки мне. Ну, а барахлишко, может, какое-нибудь есть у тебя, а?

— Да кое-что есть.

— Ну, и хорошо. А будет нужно, и это найдется. Рядно дам тебе для постели, ну, да пару пачек табаку в неделю и две чарки водки каждую субботу. Согласен, Слымак?

— Что ж делать, пусть будет так, — сказал угрюмо Слымак и опустил голову с выражением такой тоски, словно подставлял шею под такое ярмо, из которого уже никакая сила не сможет освободить его.

### III

Прошло еще десять лет. Приезд императора летом 1880 года привлек в Борислав тысячные толпы людей со всего Подгорья. Пошел и я. С утра погода была прекрасная; весело переговариваясь, шел я с кучкой знакомых селян, любуясь окрестными полями, усеянными множеством копен хлеба. Однако недалеко от Борислава нас захватил проливной дождь, такой сильный, так что в Борислав мы пришли, промокнув до нитки; особенно дрожал от холода я, потому что отправился в дорогу в одной только летней холщовой блузе. Понятно, что при таких неприятных обстоятельствах у меня не было особой охоты глазеть на венки, триумфальные арки с надписями, на тысячи флажков и тысячи празднично разодетых евреев, которые, не обращая внимания на слякоть, сплошной толпой двигались по улице с гордым видом и то и дело попрекая бога, испортившего им «их праздник, который им так дорого обошелся». Я и мои спутники недолго бродили по мокрым, грязным улицам; холод и дождь быстро заставили нас искать сухого пристанища. Мы зашли в первый попавшийся трактир, сразу же за триумфальной аркой. Это был трактир Юдки Маультроммеля.

Уродливая, уже сморщенная еврейка стояла за буфетом, хотя сегодня, по случаю праздника, еще никого,

кроме нас, в трактире не было. А по трактиру похаживал пожилой уже еврей с круглым животиком, в атласной бекеше, опоясанный праздничным шелковым кушаком и в «штраммеле»\* из меха выдры. Его полное, лоснящееся, хоть и желтое лицо выражало покой и удовлетворение. Это был Юдка.

Я согрелся немножко и вышел во двор. Его со всех сторон обступили глухие стены соседних домов и сараев, мазанных желтой глиной. Это была как бы огромная клетка, грязная, запущенная, гнилая и неопишимо вонючая. Посредине ее возвышалась огромная куча мусора и всяких отбросов. Справа, возле угла трактира, был узенький проход на улицу, и туда же сбегала потоками вода, стекавшая из всех водосточных труб в этот глубокий, как яма, дворик. Но в другом конце сток воды был несколько затруднен. Там, прилепившись к глухой стене какого-то длиннющего здания, стоял не то сарайчик, не то жалкая будка, с прогнившей крышей и ветхими необмазанными, в темных дырах, стенами. Между трактиром и этой будкой был только узенький сток для воды, и она все прибывала и разлилась уже на добрую половину двора широким прудом, бурым от грязи. Особенно возле будки, находившейся на самом низком месте двора, набралось больше всего воды, и густая струя ее пробиралась внутрь, под прогнившим порогом и сквозь щели старых дверей. Одно узенькое оконце с давно уже выбитыми стеклами было сплошь залеплено пожелтевшей от солнца и дождя бумагой. В будке было тихо, как в гробу. Дождь не только не утихал, а все усиливался. С улицы долетал в эту клетку глухой шум и гам, но ничто в этом отвратительном дворе не говорило о том, что сегодня в Бориславе торжественный праздник, что весь город принарядился сегодня по-праздничному, чтобы встретить высокого гостя. Серая, гнилая и омерзительная будничность господствовала здесь спокойно и нерушимо.

С минуту стоял я под навесом, осматриваясь, как вдруг справа в узкую щель забора с трудом пролезла маленькая, лет восьми, девочка и робко, вопросительно взглянула на меня.

---

\* Праздничная шапочка, облегчающая только темя (еврейск.)

— Что тебе, девочка? — спросил я.

— Я к деду пришла.

— К какому деду?

— А вот тут, — она указала на жалкую будку, — здесь дед Слымак живет. Я его так только называю дедом. Я пришла навестить его. Не знаете, он дома?

— Не знаю, девочка. А он куда-нибудь выходит?

— Да никуда не выходит. Но дед сказал позавчера, когда я была у него, что Юдка хочет его выгнать.

— Выгнать? А это почему же?

— Да, видите, дед уже старый, не может работать.

— А что же здесь этот дед делает?

— Да, так: ручки для вбóротов, планки всякие, колышки. С тех пор как помню его, всегда он это делает: мама говорила, что уже десять лет.

— А ты с позавчерашнего дня не была у него?

— Не была, потому что мама тоже заболела и я должна была сидеть около нее. А теперь ей стало немножко полегче, и я отпросилась к деду. И мама сама сказала, чтобы я пошла, может деду принести что-нибудь надо, потому что у деда больные ноги и он не может ходить. А если ничего не надо, так чтобы я сразу пришла домой.

— Ну, что ж, иди посмотри.

Девочка пошла было, но остановилась, увидав огромную лужу под дверью.

— Ой-ой-ой, как же мне перейти? Смотрите, сколько воды, как в Дунае!

— погоди, я тебя перенесу, — сказал я и, взяв девочку на руки, шагнул в лужу. Бредя чуть ли не по колени в воде, я добрался до двери и отворил ее. Странное и страшное зрелище предстало перед нашими глазами. Будка вся стояла в воде. Кругом черные, голые стены, сквозь щели в которых кое-где пробивался тусклый дневной свет. Около дверей старый бондарский стол, на нем рубанок, пила, топор и кучка разных недоструганных досок. А в углу, тоже почти в воде—груда щепок и стружек, сгнивших дочерна, наложенных высоко, слой на слой, и на этой груде, зарывшись в это гнилье до половины и едва прикрытый старыми, черными тряпками, лежал посиневший, худой, как щепка, человек с выражением

жестокой боли и какого-то сожаления на сморщенном лице. Это был Слымак, а точнее, только труп Слымака...

У меня пробежал мороз по коже. «Десять лет в таком аду! И здесь жил человек!» — пронеслись обрывки мыслей в моей голове. А девочка между тем бросилась будить деда, но увидев, что дед весь ооченел и какой-то страшный, вскрикнула громко и бросилась наружу. Вышел и я за нею. Но крик девочки не привлек никого к холодному трупу. В этот самый миг густые толпы народа на улице оглушительно закричали:

— Виват! Да здравствует наш отец! Да здравствует!

Это означало, что высокий гость появился на улицах Борислава.

Распогодилось. Небо разорвало темные тучи и сбросило их с себя в угол, как жалкие нищенские лохмотья, чтобы взамен их показать свой голубой праздничный наряд.

— Виват! Виват! — раздавалось по всему Бориславу из тысячи уст. А в это время дед Слымак, немой, угрюмый, с искаженным лицом, лежал в своей гнилой трущобе, в той отвратительной дыре, куда загнала его человеческая хищность и откуда освободила его только последняя утеха — смерть.

*Львов, январь 1881*

## Х О Р О Ш И Й   З А Р А Б О Т О К

Я человек бедный. Земли у меня вовсе нет, всего-навсего одна хатенка, да и та старая. А тут жена, деток двое, дай им бог здоровья; надо чем-то жить, надо как-то перебиться. Два хлопчика у меня — одному четырнадцать, другому двенадцать лет — пасут скот у добрых людей и за это получают харчи и кое-какую одежку. А жена прядет, тоже кое-что зарабатывает. Ну, а у меня, старика, какой заработок? Схожу, бывало, в ближний лесок, нарежу березовых прутьев, да и вяжу метлы всю неделю, а в понедельник взвалим мы с женой по вязанке на плечи — и на базар, в Дрогобыч. Не великий с этого и заработок, по три, четыре крейцера за метлу, да еще помещику заплати за прутья, — много ли останется? Но что поделаешь, надо зарабатывать, надо как-то на свете жить, изворачиваться.

Да что и за жизнь у нас! Картошка да борщ, каша изредка да хлеб, какой придется; ржаной так ржаной, а ячменный либо овсяный, так и за то богу спасибо. Летом еще с полбеда. Все-таки что-нибудь подработаешь у богатеев: то за пчелами на пасеке присмотришь, то сад ночью покараулишь, сено или снопы уберешь, а нет — сходишь на реку с сеткой, рыбу какую-нибудь поймашь, либо на зорьке грибов из лесу принесешь. Ну, а зимой ничего этого нет. Что дадут люди за работу, тем и живем, а то и с голоду пухнем. Известно, беднота безземельная!

А все же нашелся добрый человек—и нашим достаткам позавидовал! Дескать, больно много, дед, у тебя добра, разжиреешь слишком, избалуешься! Так вот же тебе! Да и всыпал такого, что, господи, твоя воля!

Послушайте, как все было.

Иду я как-то по городу, за спиной вязанку метел несу на палке, иду и озираюсь по сторонам, не позовет ли хозяйка: «Любезный, почем метлы?» А народу вокруг множество, известно — базарный день. Смотрю я по сторонам, вижу, идет позади меня какой-то панок, горбатый, головастый, как сова, а глаза у него серые и недобрые, как у жабы. Идет и все на меня поглядывает. Я остановился, думаю — не нужно ли ему чего, а он ничего, остановился и сам и смотрит в другую сторону, будто и дела ему до меня нет. Иду я дальше, он опять за мною. Мне как-то не по себе стало. «Тьфу, нечистая сила! — думаю, — что за лихо?» А тут женщина сбоку как закричит:

— Любезный, почем метлы?

— По пятаку, — говорю.

— Как так по пятаку? Натя вам три.

— Давай четыре!

— Нет, три.

— Нет, четыре.

Сторговались мы за три крейцера с половиной. Я свою вязанку — с плеч, развязываю себе спокойно, даю женщине метлу, а горбатый тут как тут.

— Почем метелки продаете? — спрашивает.

— По пяти крейцеров, паночек, — говорю. — Купите, метлы хорошие.

Он взял одну, попробовал...

— Да, да, — говорит, — ничего не скажешь, хорошие. А вы откуда?

— Из Монастырца.

— Так, так, из Монастырца. А вы часто метелки продаете?

— Нет, не часто. Так вот, раз в неделю, по понедельникам.

— Так, так, по понедельникам! А много ли каждый понедельник продаете?

— Да как придется, паночек, иногда я и жена распродадим все, что принесем, а иногда и не продадим.

— Гм, так вы еще и с женою! Оба, значит, по такой вязанке выносите?

— Да, вот так, милостивый пан. Иногда по такой, иногда и по большей.

— Ага, ага! А много вы за неделю метел можете наработать?

— Да смотря по тому, прошу пана, сколько требуется. Летом покупают их меньше, и я меньше делаю. А осенью и зимой больше этого товара идет.

— Да, да, понятно! Я, знаете ли, поставщик императорских магазинов, так мне таких метелок нужно много, до сотни. Могли бы вы на следующей неделе изготовить для меня сотню метелок?

Я подумал немного и говорю:

— Отчего нет, сделаю. А куда пану принести?

— Вот сюда, — говорит пан и указывает на один дом. — Только не забудьте, принесите. Я вам сразу и заплачу. А почему, говорите, штука?

— Да уж если пан столько возьмет, так я уступлю подешевле, — по четыре.

— Нет-нет-нет, не нужно, не уступайте! Я заплачу и по пять!

— Дай бог здоровья пану!

— Ну, ну, прощайте! Да не забудьте, ровно через неделю приходите!

И с этими словами панок заковылял куда-то, а я остался. «Вот это, — думаю, — хороший пан, даже уступать не велит, а на такую сумму метелок заказывает! Ведь это целая пятерка будет, господи! А я-то, прости меня господи, уже и злое о нем помыслил, когда он за мною по пятам шел, выслеживал. Ну, дай ему, господи, долго жить! Все же хоть раз и мне хороший заработок выпал!»

Кинулся я скорей за своею старухой.

Продали мы там свой товар или не продали, — прикупили соли, спичек, чего там еще надо было, да и домой. Говорю я старухе, так, мол, и так, заработок хороший случился, будет чем подати заплатить, еще и головки к сапогам ей на зиму будут. И она обрадовалась.

— Надо будет, — говорит, — взяться обоим, а то один ты за неделю всего не сделаешь. Так я уж свою работу отложу!

Ладно. Вот так говоря, направились мы чуть не бегом домой, чтобы, знаете, времени зря не терять.

В тот же день набросились оба на работу, как на горячий борщ. Прутьев натаскали целую скирду — настоящая фабрика в хате! Я ветки обламываю, она листья обдирает, так что кожа у нее с ладоней слезла, а я затем толстые концы ножиком обрезаю, складываю, вяжу, черенки строгаю — кипит работа. Подошло воскресенье, а вся сотня метел готова и в вязанки по двадцать пять штук связана. Так уже и приспособлено, чтобы каждый из нас мог взять по две такие связки наперевес: через плечо веревка, одна вязанка на груди, а другая за спиной. В понедельник взяли мы добрые посошки в руки, вязанки на себя — чеши в город! Жара такая, что спаси нас мать божья! С нас пот ручьями льет, в горле пересохло, ну, да что поделаешь! Коли зарабатывать, так зарабатывать.

Приходим в город, все на нас глаза вытаращили. Никогда еще не видели, чтобы кто-нибудь такие большие вязанки на себе тащил.

— Слушайте, люди добрые, — посмеиваются над нами, — кому вы лошадей продали, что сами целый воз прутьев тащите?

— Эй, дядько, — кричат другие, — у кого это вы березовую рощу купили? Или на продажу в город со старухой принесли? Сколько просите за березнячок?

А мы — ни гу-гу. Еле дышим, а идем, даже глаза на лоб вылезли. Кое-как доползли мы с божьей помощью до того дома, где пан ожидать приказал. Подошли к крыльцу, да и шлеп вязанки на землю и сами на них повалились, как неживые, сопим, язык высунув. Нет никого, наконец окно скрипнуло, выглянул наш панок.

— Ага, — говорит, — это вы, любезный?

— Да, прошу пана, это я с метелками.

— Хорошо, хорошо, я сейчас к вам выйду.

Закрыл окно. Мы ждем. Прошло порядочно времени — вышел.

— Ну, что же, принесли метелки?

— Да, прошу пана, сотня, как ваша милость приказывали.

— Ага, ага, это хорошо. Только, видите ли, они мне сейчас не нужны, заберите их, пусть они у вас еще побудут, а то можете их и продать... А когда они мне понадобятся, я вас извещу. А теперь возьмите вот эту записку, покажите ее войту — он уж вам скажет, что нужно сделать.

— Как же так, — говорю. — Значит, пан заказал, а теперь не берет?

— Нет, не беру, — говорит он, да так ласково, — мне сейчас не нужно. Но вы не бойтесь! Я вас не забуду. Вот вам записка, возьмите!

— На что мне ваша записка? Что я с ней делать буду?

— Возьмите, возьмите, — говорит он. — А впрочем, если не хотите, как хотите. А теперь ступайте себе с богом.

Я уж, по правде говоря, хотел было сказать ему несколько теплых слов, но он повернулся и шмыг обратно в дом. Стоим мы, точно нас холодной водой окатили. А затем, делать нечего, забрали метлы и пошли на базар, чтобы хоть немного продать.

Как вдруг, этак через неделю, зовет меня войт. «Что за напасть?» — думаю. Прихожу, а войт смеется и говорит:

— Ну, дед Панько (меня все зовут дедом, хотя и не такой уж я старик), получай благовестника.

— Какого благовестника? — удивляюсь я.

— А вот какого, смотри! — и вынимает бумажку, ту самую, какую мне тот пан недавно давал, развернул ее и давай читать мне что-то такое, в чем я ровно ничего не разобрал, кроме своего собственного имени.

— Да что же здесь такое сказано? — спрашиваю.

— Сказано, дед, что ты великий богач, по сотне метел каждую неделю продаешь, деньги лопатой загребаешь, вот и велено поставить тебе эту пивявку.

— Какую пивявку? — спрашиваю я, не веря своим ушам.

— Листочек, голубь мой.

— Листочек? Какой листочек? Для кого?

— Эй, дед! Не притворяйся глухим, пока уши не заложило! Конечно, не для меня, а для тебя! Должен платить, кроме домового, еще и ремесленный налог — пятнадцать гульденов в год.

— Пятнадцать гульденов в год? Господи! Да за что же это?

— За метлы! Слышишь — пан податной комиссар прислал на тебя бумагу и говорит, что ты по сотне метел в неделю продаешь.

Я остолбенел, как тот святой Симеон Столпник, что, говорят, пятьдесят лет на одном месте столбом стоял. Так, словно я белены наелся.

— Пан войт, — говорю погода, — я не буду платить.

— Обязан!

— Нет, не буду. Что вы со мной сделаете? Что у голого за пазухой найдешь? Ведь вы сами знаете, что я на метлах за весь год едва пятнадцать гульденов заработаю.

— На что мне знать? Пан комиссар лучше меня знает! — говорит войт. — Мое дело взыскать подать, а не хочешь платить, так я сборщика податей пришлю.

— Эва! Присылайте хоть сейчас! У меня сборщик издохнет, пока что-нибудь найдет.

— Ну, так продадим хату и огород, а вас на все четыре стороны. Цесарское <sup>11</sup> не должно пропасть!

Я вскрикнул, как ужаленный.

— Ага, видишь, — говорит войт. — Ну, что, будешь платить?

— Буду, — говорю; а у самого другое на уме.

Прошло три года. Я не заплатил ни крейцера. Когда приходили сборщики, мы со старухой прятались в лозняке, словно от татар, а хату запирали. Вот сборщики придут, постучат, покричат, да и пойдут дальше. Два раза хотели силой вломиться в хату, но оба раза добрые люди упростили, а на четвертый год сорвалось. Ни просьбы, ни плач не помогли. Недоимки на мне накопилось около шестидесяти гульденов. Пришел приказ из города: сейчас же выложить деньги, а если нет, — хату пустить с торгов. Я даже и не убежал никуда, вижу, ничто уже не поможет. Ну, и что же? Назначили торги, оценили все мое добро ровно в шестьдесят гульденов. Пришел тот день, барабанят, кличут покупателей... «Кто даст больше?» — Эге, куда там, вот столечко никто не дает. Десять... двенадцать... еле-еле до пятнадцати гульденов дотянули, так и продали. А я смеюсь и говорю войту:

— Вот видите, я-таки вас обдурил! Не говорил я вам, что с голого взятки гладки?

— Что б тебя, дед, черт забрал, какое ты средство выдумал!

Хату нашу купил Йойна под хлев для телят, а мы со старухой, как видите, в чужом углу живем. Живем по-старому, пока господь позволяет. Она прядет, хлопцы чужой скот пасут, а я метлы делаю. Так и перебиваемся, хоть и без бумажки.

*Львов, февраль 1881*

## МУЖИЦКАЯ УПРАВА

### I

Э, что вы там, марвихеры\* зеленые, знаете!..

В городе по тротуарам прохаживаться да масематы у штымпов тырить\*\* — подумаешь, великое дело! А поймают менты\*\*\*, так что же? Заберут в каламажню\*\*\*\*, кобзанут там или не кобзанут\*\*\*\*\*, вот и вся история. Вам бы вот... Да где там! Вам рассказать бы только, и то мурашки по спине забегают. Разве вы знаете, что такое мужицкая управа? Случись этакому белоручке ей в лапы попасться! Почуял бы, почем фунт перца!

Я о себе не говорю. Бывали такие, что похлеще меня угощение отведывали. Но и на мою долю кое-что пришлось. Ну, что ж, такая уж, видно, человеку дорога суждена. То ли судьба, то ли злые люди виноваты — кто знает? Выпала такая жизнь, и всё! Я уж двадцатый год в тюрьме сижу, вы думаете, это вам игрушки! А как выйду на волю, снова должен буду по чужим кладовкам шарить. Так-таки должен, потому — что же мне делать, чем жить? Ремеслу никакому не обучен, ни кола ни двора у меня, на работу никто меня не возьмет, одно только

---

\* На воровском жаргоне: вор, карманщик.

\*\* Кошельки у зевак таскать.

\*\*\* Полицейские.

\*\*\*\* Арестантская,

\*\*\*\*\* Ударят.

остаётся, что блатная хевра\*. А это резвая лошадка — день поскачешь, а там, гляди, и сорвался — и снова сюда. Да здесь ещё — это не самое худшее. Приходилось не раз и солоно и горько, а особенно, когда мужикам в руки попадешься. Тогда уж — проси не проси, плачь не плачь — ничто не поможет.

Вот я раз в одном селе — в каком и где, на что вам это знать? — обчистил, словом, там одного богача. Работы было довольно, кладовая, понимаете, как стручок набита всяким добром. Мы и не ожидали такого, пришли с пустыми руками. Один из их же села дорогу нам показывал. Трое нас было на том деле: забрали мы, что могли, что легче вынести, поделили — и ходу! Да вот заметили мужики, кинулись, напали на след — уж как они там и куда, это вам тоже знать ни к чему — довольно, что за мной! В трех верстах от села и схватили меня.

К осени шло. Свозили ещё овес, начинали копать картошку. Народа в поле немного. Ясно, солнышко ещё припекает. Связали мне руки назад, трое их гонят меня большим.

Догоняем возчиков с кладью соли.

— Бог помощь!

— Бог помощь!

— А куда приятеля? — на меня показывают.

— Добрый человек, — говорят мои хозяева, — по чужим кладовкам лазит.

— А, вот оно что! Ну, не мешало бы ему оставить памятку, — говорит один возчик.

— Уж это верно, без этого не обойдется.

— А может, позвольте нам и от себя чуток подбавить?

— Да сделайте одолжение, — отвечают мои, смеясь.

Возчик с последней фуры ко мне:

— А ну-ка, панич, стой!

Останавливаюсь. Он закатал мне штаны повыше колен и подвязал их там веревочками.

— Ну, теперь пошел! — сказал он и пропустил меня вперед мимо своей подводы. Не успел я сделать и двух шагов, как вдруг словно змея впилась в обе мои ноги.

---

\* Воровская компания.

Возчик что есть силы хлестнул меня кнутом по ногам, так что я даже подскочил от боли.

— Скачи, лкбезный! — крикнул возчик и захохотал, и все за ним. Сплетенный с проволокой шнур, да еще с узлами, где коснется тела, так — точно ножом!.. А узлы, как пиявки, впились в мясо... Я скорей вперед, мимо второго воза — второй возчик то же самое. Я мимо третьего — и тот то же. Шестеро их было, и пока я миновал всех, ноги мои были изрезаны, как ножами, и оставляли кровавые следы. Эх, крепко запомнил я тех возчиков, дознался потом, в каком это селе они такие учтивые завелись, ну тогда уж и я оставил им по себе память!.. А мои хозяева прямо заливаются да нахваливают возчиков, что они такую шутку придумали...

— О, мы с такими паничами обращаться умеем! — выхваляется один. — Видите, худого ему ничего не будет, а памятка останется. Ха-ха-ха-ха!

## II

До вечера далеко еще было, когда мы пришли в село. Ведут меня к войту. Приходим — дома нет, в поле поехал. Только войтиха чего-то там в сенях вертится. Глянула на меня и молчит.

— А не знаете, кума, — говорят мои провожатые, — куда б его тут поместить?

— Почему мне знать, куда? Помещайте, где хотите, только не здесь. Хватает у меня своих забот!

А я стою и просто глазами в душу лезу, чтоб смиловалась. Потому что знаю: ежели не у войта, так ночевать мне у того, у кого я в гостях побывал. Ну, а там уж наверняка добра не жди.

Между тем весть по селу пошла: привели вора! Сразу все, кто в хатах был, бегут. Облепили двор, глазекот, одни клянут, другие грозятся, третьи просто так смотрят. А тут и мой хозяин, тот, у которого пропажа, протискивается, подходит. Высокий, кряжистый, рожа красная — чистый палач. Подошел, глянул на меня...

— А, так это ты? Ну, будем знакомы.

Я — ничего.

— Кум, — говорит одному из тех, что меня поймали, — ведите его ко мне, там надежнее. Уж я за ним присмотрю.

— А что ж, туда его и ведите, там всего надежнее, — сказала войтиха, стоя в дверях. — А как только мой придет, так я уж ему скажу, он наведается.

Повели меня. А мой хозяин идет впереди и даже зубами скрипит от лютости. Потом свернул к плетню и выломал кол.

— Сюда его! — крикнул, поворачивая к своему двору и пропуская меня вперед. А когда я проходил мимо него, он замахнулся. Тут бы мне, верно, и конец был, кабы его не удержали.

— Нет, кум, — сказал один, — так нельзя! Убьете, так еще и сами в тюрьму сядете.

— Что, я? — крикнул он. — За этого разбойника? Да такого убить — за грех не сочтется.

— Нет, кум, эти речи вы оставьте. Пугать можно, чтоб другой раз не зарился на чужое добро, а убивать — это нет. Вы за него в ответе.

— Ну уж я его пугаю так, что до Страшного суда дрожать будет! — крикнул хозяин и, подойдя вплотную, как хватит меня кулаком в лицо! Я рухнул на землю как сноп, в глазах потемнело, память оставила...

### III

Очнулся я. Солнце на закате. Я сижу на завалинке, рубашка на мне вся мокрая: видно, водой меня отливали. Лицо распухло, но боли не чувствую нигде, тело все будто онемело. В хате шум стоит. Несколько человек сидят под поветью, несколько на перелазе. Гуторят и на меня поглядывают.

— Начальник! Начальник! — послышался гомон. Кто-то бросился отворять ворота.

Пришел начальник, человек низенький, толстенький, с виду добродушный. Походка мелкая. В руках толстая, как цеп, черешневая палка. Ко мне.

— А что, миленький, поймали? Вот видишь? Нужно это тебе было? А теперь миру докука, надо тебя стеречь,

пока не будет случая отправить в суд. Нынче пора рабочая, сыночек, некогда.

— Пан начальник, — отважился я, — дозвольте, чтоб я это время у вас перебыл.

— О-о-о, — воскликнул войт, — нельзя, миленький, нельзя у меня! Здесь кум Матвей тебя не обидит, не бойся, славно за тобой присмотрит. Побудь здесь, сыночек, денек-другой, до воскресенья, а там уж кум Матвей с присяжным отвезут тебя в город.

Дело было в четверг. «Значит, два дня еще, — подумал я про себя. — Э, что поделаешь, надо терпеть».

— Ну, а теперь, сыночек, встань, когда к тебе обращаюсь, — говорит войт.

Я встал.

— Поди сюда.

Я вышел на середину двора.

— Ложись, голубок!

Я устался на него.

— Ну, что же, миленький, не слышишь, что я говорю тебе? Ложись! Я, начальник общины, отвечаю за тебя, зато имею право дать тебе пять палок, не больше.

Я не слыхал про такое право, но что было делать...

— Кум присяжный, возьмите-ка эту черешенку да отпустите ему, что ему по закону положено! — сказал войт и, отсчитав пять ударов, собрался уходить. — А вы, кум Матвей, стерегите его и смотрите, чтоб ничего с ним не стряслось. Общество обязано доставить его в суд живого. Помните, чтоб живой был! — сказал он, усмехаясь и делая ударение на слове «живой». — Я завтра утром наведуось. Бывайте здоровы!

#### IV

Пока присяжный заковывал меня в кандалы, уже совсем стемнело. Матвей стоял рядом, как черт над грешником, и ждал только, когда присяжный уйдет. Дождался.

— Ну, что, панич, теперь мы остались вдвоем, правда? — цедил он сквозь зубы, держа цепь, которою я был скован за руку и ногу. В ту же минуту он дер-

нул цепь, и я повалился навзничь, ударившись головой о землю.

— О, ты, вижу, пьяный! — хохотал он. — А я хотел тебя на ужин звать. Ну, вставай, иди!

Я встал, и он поволок меня в хату.

В печи горел огонь. Жена толкалась по хате, ужин варила. В углу сидела старуха, мать хозяина. Обе женщины были бледны и задрожали, увидев меня. Они почти не осмеливались взглянуть на меня, а уж когда взглядывали, то так жалостно, так жалостно...

Матвей посадил меня на лавку, а сам сел у стола, отдуваясь, как кузнечные мехи. Вдруг вскочил и, хлопнув о стол, закричал:

— Нет, я его не выпущу живого! Будь что будет, а такого разбойника я не выпущу живого от себя.

Женщины, как по сигналу, громко заплакали:

— Матвей! Сыночек! Бог с тобой! Ведь потерю вернули. А ты такой грех хочешь на душу взять. Побойся бога!

— А он боялся бога, когда подкапывался в кладовку?

— Да уж он как знает... Пускай он сам с богом рассчитывается!

— Нет, я ему не помогу. Я ему наперед все кости пересчитаю. Иди-ка, панич, сюда!

И он снова схватил меня за цепь, поднял с лавки и грохнул на землю. Затем, став сапогом на грудь, закрутил цепь в узел так, что я изогнулся дугой, даже кости затрещали. В глазах у меня потемнело. Я успел только увидеть, как он замахнулся сапогом мне в лицо. Потом я почувствовал боль в груди, в пояснице, в боку, а больше ничего не помню...

## v

Я снова пришел в себя. Жар в печи погас, в хате, наконец, темно и тихо. Я под лавкой, скрученный, как улитка. Двинулся — боль страшная. Каждая косточка, каждая жилка... В горле пересохло, жжет. Я застонал.

Темная, чуть приметная тень промелькнула в хате. Вижу, желтое сморщенное лицо наклонилось надо мной; дрожащая холодная рука ощупывает мое лицо.

— Ты еще жив, сыночек, а?

— Жив!.. Воды!.. — простонал я.

Бабуся подала мне воды.

— Пей скорее, а то придет, так беда мне будет? Зверь воистину! — шептала бабка. — Бедный ты, бедный, горемыка, ну чем же я тебе помогу?

— Бог вам воздаст! — прошептал я.

Скрипнула дверь. Старуха исчезла, как тень, а когда вошел хозяин, она уже кашляла на печи.

— Ну, что, голоса не подавал ворюга? — спросил он.

— Нет, сыночек.

— Дьявол его побрал! Еще издохнет, нечистый, так и вправду беды наживешь.

У меня даже от души отлегло. «Вот, — думаю себе, — может, смилуется да облегчит, отпустит цепь». Но где там! Поворчал, поворчал, залил уголь в печи и лег спать.

— Все одно, — только и услышал я еще, — коли жив, так будет жив и до завтра, а как нет, так ну его к черту!..

Всю ночь я и глаз не сомкнул. Что я вытерпел за эти несколько часов, мне, наверно, хватило бы и на десять лет. Уже думал, кровью изойду, и молил бога, чтобы послал мне смерть. Да где там! У другого, кто посчастливее, может, и сбылось бы, а у меня — нет. Да, что ни говори, а эта ночь была, пожалуй, самая тяжкая и долгая в моей жизни. Не дай мне бабка воды испить, я бы наверно не выдержал. Да, видно, так уж было суждено мне — выдержать!

## VI

Рассвело. В хате проснулись. Мой хозяин первым делом ко мне. Прислушивается — дышу. Даже дух перевел.

— А, ты еще жив? — крикнул. — Ну, молись богу, что еще оставил тебя живым в моих руках! Но того уж, верно, не отмолишь, что тебя еще ждет. Только бы в город представить, а там пускай из тебя и дух вон!

Дурень! У него свой расчет, а у меня — свой, и все-таки по-моему вышло.

Вытащили меня из-под лавки, распустили цепь — а! Господи, слава тебе! В пояснице отпустило, свет будто другой стал. Однако на ноги встать и думать нечего. Так он ногами меня выпихнул на двор, в загон для скота, а жене велел подмыть кровь в хате.

Сижу я опять на завалинке. Утро холодное. Тело все занемело, так что боли не чувствую, только в голове шумит да в груди колет, когда вздохну. Вот в хате затопили, дым клубами пошел из-под стрехи, прямо мне в глаза. Заплакал я, закашлялся, — молчу. Хозяин тем временем пошел к скотине, волам корм задать, на водопой выгнать, а проходя мимо меня, не удержался, чтоб не вытянуть меня по голове налыгачем. Ну, слышу, собирается в поле с плугом, пахать под пар. Стало мне немножко веселее. «Не будет, думаю, моего мучителя хоть днем».

А тут слышу — голоса. Гляжу, войт с присяжным на перелазе. Подходит, оглядывает меня и усмехается.

— А что, рыбонька, славно тут о тебе позаботились?

Я едва дышу, сам весь в крови.

— Что же молчишь, сердечный? Говори, не бойся, я тебе ничего не сделаю.

— Пан... войт, — простонал я, — вторую... такую ночь... не выдержу.

— Не выдержишь, душенька? — усмехнулся войт. — Нет, не бойся, выдержишь. Такие, как ты, выдерживают. Ну, а теперь, голубчик, ты знаешь, что тебе от меня полагается?

Я уставился на него.

— Э, беспаятный же ты, голубок? А ну-ка встань да вытянись! Я имею право дать тебе на завтрак пять палок, не больше. Пан присяжный, возьмите-ка эту черешенку, да покрепче его!

— А вам, кум, — сказал войт подошедшему как раз моему хозяину, — придется-таки завтра после полудня собраться с ним в город. Поедете вы, вот кум присяжный, я, ну и, само собой, арестант.

Значит, завтра? Мой хозяин посмотрел на меня так свирепо и злобно, будто смертельного врага вырвали у него из рук, а он не мог его тут же задушить. А я опять весь помертвел, когда подумал, что придется еще одну

ночь пробыть у этого бессердечного человека. Да за что же столько мучений? Ведь по правде говоря мы и взяли-то, может, всего на сто талеров, да и из того большую часть он получил обратно. А мужик был богатый! У него в кладовой успевай только поворачиваться, можно было бы и не так поживиться!..

## VII

— А здесь кум присяжный останется на день — стеречь арестанта, — сказал, уходя, войт.

Присяжный осмотрел мою цепь и замок, а потом уселся на пороге и завел разговор с хозяином, с хозяйкой, с бабкой. Хозяин вытащил из-под повети плуг, вынес ярмо, после пошел на волов поглядеть. К тому времени уже и обед жена сварила. Зовет его в хату.

А тут я так ослабел, так изболелся, так изголодался, что не приведи господь! К тому же на завалинке, в тени, еще и холодно как-то, хотя солнышко уже вон как высоко. Выполз я на солнце, сел на камень, да и гляжу в сени. Слышу, ложками стучат, разговаривают, присяжного приглашают к столу.

— Спасибо! Бог вас благословит! — отвечает присяжный (он сидит на пороге, обернувшись ко мне спиной). — Я, — говорит, — кое-чего поснедал, а скоро жинка принесет мне из дому обед.

А обо мне и не подумают. А тут мне борщиком забеленным так запахло, так запахло! Господи, кажись, полжизни отдал бы я за мисочку!

Поели. Хозяин пошел за волами. И вдруг — старуха украдкой несет миску борща.

— А что, — говорит, — горюшко мое, про тебя все забыли! На, сирота, похлебай, подкрепишься! Только живо, чтоб тот ирод не увидал!

— Награди вас бог сто крат, бабуся! — пробормотал я и взял миску. Руки у меня тряслись, да и у старухи колени дрожали от страху. Да где там! Только я немного поел, уже «ирод» подходит. Как увидел, точно искра вспыхнула.

— Что, — закричал он, — вы тут вора моим добром кормите. Смолы ему горячей!

И с этими словами выхватил у меня миску и швырнул в старуху; счастье, что не попал. Миска разбилась о камень на черепки. Старуха — бежать, а он ко мне.

— Хоть бы ты у меня тут издыхал с голоду, и то бы я тебе крошки не дал. Рука у меня отсохни, не будь мне божьего благословения!

— Однакож, кум, помните... — промолвил присяжный.

— Что! Мне войт приказал стеречь его, но кормить воруягу никто меня не заставит. На то нет никакого закона.

И он пошел к волам. Но, проходя мимо, еще раз изо всех сил сапогом саданул меня вот сюда, в самую ямку под сердце. Я, как сидел на камне, так и перевернулся навзничь и не помню, что со мной было дальше. Только почувствовал, что вдруг дыхание у меня перехватило, словно бы кто горло веревочкой перевязал. А когда я опомнился, я был уже на другом месте, облитый водой, а возле меня хлопотали старуха и присяжный. С каждым вздохом в груди нестерпимо кололо. Видите, кость переломилась, так что и до сей поры болтается.

## VIII

Солнце стояло на полудне и палило огнем. Присяжный ушел под поветь и, пообедав тем, что принесла ему жена, пристроился на колоде и понемногу подремывал. Хозяйка занималась чем-то в хате, а старуха, словно квочка, ходила то сюда, то туда. Жалела меня старая, но боялась.

— Эй, бабуся, — говорю я ей, — пошли вам бог долгий век, дайте мне чем-нибудь подкрепиться!

— Да когда ж я, сыночек, боюсь.

— Не бойтесь! Присяжный не запретит, а он уехал.

Старуха подумала, а потом пошла в хату, поспорила там немного с хозяйкой и вынесла мне вторую миску борща, краюшку хлеба, каши с молоком, так что я, слава богу, немного подзаправился. «Господи, — думаю

себе, — хоть бы как-нибудь выбраться на вольный свет! Еще у меня найдется, пожалуй, силы, чтоб удрать».

Старуха вынесла кудельку на завалинку, уселась и прядет. Присяжный перекинется с ней словечком и замолчит. На дворе жара.

— Эх, пан присяжный! — застонал я. — Смилуйтесь надо мной, весь я избит, измучен! Поглядите, как здесь солнце печет! Позвольте мне отдохнуть немного, вот тут, в клуне. И так, как хозяин приедет, так мне уж ночью сна не видать.

— Ой, верно, верно, — поддерживала меня старуха. — Ведь до чего он его этой ночью измордовал, так не приведи господь! Я не знаю, как сирота и выдержал.

Присяжный колебался.

— А не удерешь ты, панич?

— Побойтесь бога, да как я убегу? Мне и шагу не ступить. Только бы живым до города доехать да в больницу попасть. А еще и цепь на мне не легонькая. Хоть бы малость отдохнуть на току, на соломе.

— Дозвольте ему, дозвольте, пан присяжный, — сказала старуха, — еще с третьего дня солома есть там, и дерюга, и кожух, что хозяин укрывался, когда ночевал на току. А коли дверь отворить, так отсюда его всего будет видно. Да и куда же ему оттуда удрать?

— Ну, по мне ступай отлеживайся, — сказал присяжный и перекатил свою колоду под поветью так, чтобы, сидя на ней, все время меня видеть.

«Господи, слава тебе!» — подумал я и на четвереньках пополз в клуню. Лег, прикрылся кожухом, — ах, как легко мне стало! Какую-то новую силу почувал я в себе, какую-то отчаянную отвагу. Лежу на спине, смотрю. Отсеки полны снопов, заложены по самый верх. Но до крыши не доходят, так что можно пролезть. «Только бы туда добраться, думаю, а уж там — безделица. Разобрал бы солому; да по крыше, да за стену клуни в огород, а там...» — мне, впрочем, и думать не хотелось, что будет «там», только бы отсюда туда пробраться. Гляжу, что будет дальше. Присяжный клует носом, старуха прядет на завалинке. Если б мне потихоньку управиться — не услышали бы, а пока хватились бы, так, наверно, прошло бы не мало времени. Да, а железная

цепь, которой скована моя правая рука с левой ногой! Что с ней делать? «А ну, думаю, давай попробую, не удастся ли браслет с руки стащить. Попробовал я раз — никак. Еще раз — нейдет, хотя уже немного осталось. «Э, думаю, хоть бы и шкуру с руки содрать пришлось, все это пустяки!» Но пока еще побаиваюсь: а вдруг присяжный придет проверять! Думаю: «Подождать еще! А пока что надо свить побольше тоненьких жгутиков из сена да потом обмотать ими цепь, чтоб не брэнчала». Сено лежало в углу; вытащил я его добрую охапку и, держа руки под кожухом, кручу, а глазами поглядываю во все стороны. Вдруг вижу, мой присяжный вскочил, оглянулся, идет ко мне.

— Ты что, ворюга, спишь?

— Дремлю.

Подошел, поглядел на меня и вернулся на свою колоду.

## IX

«Теперь пора», — подумал я и послунил закованную руку, чтобы с нее легче соскользнуло железо. Как нажал, так оно и съехало, хотя даже кости в ладони захрустели. Ну, слава тебе господи, рука свободна! Быстренько я обвернул жгутами цепь и привязал ее к ноге, а сверху натянул штанину. А теперь как бы наверх! Оглянулся: присяжный дремлет под поветью, старуха прядет. Ладно! Полегоньку, полегоньку я выполз из-под кожуха, но так, что он остался лежать попрежнему, чтоб издали могло казаться, будто я на месте. А выбравшись из-под кожуха, я — шась в угол, где меня уже из-под повети не видно, а там вверх по бревенчатой стене, на продольную балку. Трудно было, но страх прибавил силы, — вскарабкался я! Ну, а уж как до продольной балки добрался, так я сразу за стропила уцепился и, держась за стропила, по слегам, как по лестнице, вися всем телом над током, дополз до конька. Оказавшись там, я перебрался на снопы, в дыру, и — к стрехе. Раз-два, выдрал из стрехи несколько пучков, зубами перекусил увязку и через это отверстие протиснулся наружу. Боже, каким милым показался мне свет, когда, избитый, измученный,

весь дрожа, я высунул голову из стрехи, как мышь из муки. Дальше, дальше! Вниз с крыши, да в сад, да садом к реке!.. Река неширока, но глубокая, спокойная. Раздумывать некогда — пошел в воду! А за рекой отмель, за ней лозняк, ольшаник, а еще дальше широкие луга, усеянные копнами сена, как звездочками.

Бултыхнулся я в воду, как был, и так меня эта вода освежила, что я одним духом очутился на другом берегу, перебежал через отмель и шашть в лозняк. Теперь я — пан! Кто меня здесь найдет? Только здесь я позволил себе передохнуть. Слушаю — ого, в селе крик, гомон, переполох! Бегают по саду, ищут, переговариваются. «Эге, — думаю себе, — ищите теперь ветра в поле!»

Прошмыгнул я лозняком, да в луга. Если видел где людей на сенокосе, я их обходил, прячась за копнами. Луга в тех краях тянутся далеко-далеко вдоль реки. Нескольким панам принадлежат. Где копны, а где уже скирды или стога, — там уже совсем пусто.

Вечерело. Я вконец измучился, пить хочется, болит все тело. До зареза надо где-нибудь отдохнуть. Выбрал я высокий стог на холмике над самой рекой. Стог был уже давно завершен, прикрыт соломой и перевязан накрест лозовыми прутьями. Так я по прутьям вскарабкался на самый верх, вырыл там под крышкой в сене нору, чтоб целиком в ней укрыться, а сено оттуда позатыкал внизу под прутья. Потом — к реке. Снял с себя все, смыл с одежды кровь, обмылся сам. Видели бы вы тогда мое тело — все синее-синее, а багровых рубцов не перечесть.

Пополоскался я в воде славно, пока на берегу мое тряпье сохло, а потом забрался в свое логово. На самый верх, чтоб никто меня снизу не увидел, и притом так, что голова моя укрыта шапкой стога, а мне из моего тайника видно далеко-далеко все, как на ладони. Но недолго я глядел кругом. Пусто, ни души. Как уснул я после всех этих бед, так, скажи, двое суток не вылезал из своей норы. То нападала на меня такая слабость, что, казалось, ни рукой не шевельну, ни ногой, и я уже готов был к смерти, — то опять какие-то новые силы приливали, и я снова начинал раздумывать, как мне быть дальше.

Что дальше? Пролежал я так двое суток, не двигаясь, а больше невозможно. Голод, жажда. Пораскинул я, как и что, дождался вечера, да и двинулся из своего тайника и, разумеется, в то самое село! Там у меня знакомец был, я к нему. Поел, подкрепился, и в ту же самую ночь пошли мы к тому же самому мужику в кладовую. Ну, уж мы его на этот раз обчистили так, что пожаловаться не мог! До того я был зол на него, что, когда нельзя мне было взять двух кожухов, порезал их в клочья.

Я уж потом не раз справлялся стороной, через людей: а что там мой хозяин подельывает? Смеялись. Говорят, сначала было на старуху напал, чуть не убил, — будто бы она выпустила вора. А как обчистили его до нитки, притих. Все, говорят, боится как бы его не подожгли.

— Дурья голова! — говорю я. — Передайте ему, пускай не боится. Я не такой дурак, как он, чтобы красть и тут же штемп\* по себе оставлять. За поджог дадут немало, а что мне в нем за корысть? Вы ему скажите, пускай только опять кладовку набивает разным добром, а я уж как-нибудь по старому знакомству напомню ему о себе!

*Львов, февраль 1881*

---

\* На воровском жаргоне — след, улика.

## ИСТОРИЯ МОЕЙ СОЛОМОРЕЗКИ

*Посвящаю искреннему другу  
К. Бандровскому*

До чего надоело мне резать сечку на нашем простом ручном станке, и сказать нельзя! Бывало, как придет зима, человек этой сечки пуще боится, чем летом косовицы. Зимой светает поздно, а ты стой это на току, на морозе, да за фонарем присматривай, чтоб беды какой не натворить, да заправляй то и дело нож, да нажимай, да тяни, так что у тебя нутро все пересохнет, пока хоть сколько-нибудь этой сечки нарежешь. Да и много ли ее! Хотя бы лошадям на день хватило; про скотину и думать нечего. А потом, как повырастали мои хлопцы, снова беда. Нароботается за день, намается, где уж ему под вечер к станку становиться! Только бы лечь да спать, а не резаком работать! Уж так я бедовал, что, знаете, прямо опротивело.

А тут слышу я все, сказывают люди, будто объявились такие станки, что машиной режут сечку: и мелко, как мак, и легко, и споро. Три человека на таком станке за день до полсотни мерок мелкой сечки нарежут! Я сначала и верить не хотел. «Кто там, — думаю, — стал бы заботиться о бедном мужике, что вот, мол, ему эта сечка так горько достается, да еще для него машину сделал бы!» Однако спрашиваю одного, другого, третьего, — ан нет, верно-таки! Говорят, есть уже такая машина: там-то и

там поп купил, а там помещик: говорят люди, что своими глазами видели, и нахвалиться не могут. «А, думаю, слава тебе, господи! Хоть бы, не дай бог, и последнюю корову пришлось продать, а должен я собраться да купить такую машину!» Но где ее тут достанешь? В нашем селе разузнать не у кого. Священник с обществом в ссоре за то, что не хотят его в совет выбирать; учитель у нас такой, что и сам мало знает, а больше некого спросить. Расспрашиваю опять-таки народ на ярмарках, а больше из чужих сел, чтобы в нашем селе никто ничего не узнал. А то у нас, знаете, народ чудной, чуть что — и осмеет человека. «А тут еще, — думаю, — и сам-то я не видал, что это за станок такой, как действует; вдруг да окажется, что дело это пустое, а я перед людьми объявлюсь, — так засмеют, что и в девяти водах не отмоешься!» Да еще меня! Меня издавна мужики «деревянным философом» прозвали за то, что все, бывало, едва улучу минуту свободную, люблю что-нибудь мастерить. Наделил меня господь какой-то легкой рукой к мастерству: что глазами увижу, то руками и сделаю. Вот на крупорушке в городе увидал я ручные жернова, крупу рушить; присмотрелся к ним хорошенько, а потом начал дома у себя соображать и пробовать, да и смастерил себе такой же постав, и посмотрите, как мелет славно! А уж и насмехались надо мной соседи из-за этих вот жерновов, — господи, твоя воля! На селе нельзя было показаться, всё спрашивают: «А что, кум, новые-то жернова целы?» Такой уж, доложу вам, чудной народ! А теперь толпой ходят на моих жерновах молоть — и не нахвалятся. Или вот с веялкой, с той, что зерно веет... Мастерил я ее с месяц. Соседи, бывало, — дело было зимой — соберутся в моей хате, усядутся, заведут беседу и смотрят, как я дощечки складываю, разбираю, примеряю, подрезаю да пристругиваю, — известно, человек неученый, так себе, самоучка, без инструмента подходящего, без ничего, — ну, и смеются надо мной, а другой и прямо скажет: «Бросили бы вы это мастерить, пустое это дело!» А я ничего, продолжаю свое, и такую веялку смастерил, что как правая рука. И те, что посмеивались, ко мне же идут хлеб веять. А все-таки я для них «деревянный философ!»

Я словно бы и не смотрю на эти насмешки, а все-таки, знаете, человек не дерево; там словечко кинут, там посмеются — возьмет за живое. И уж мне от этих насмешек невоготу стало. Так вот и решил я: «Нет, уж про соломорезку никому не скажу, пока не будет ее у меня тут вот, на току, и пока сам не испробую, какая в ней сила».

Как-никак, а прошло месяца два, пока я разжился немного деньгами, а за это время все разузнаю у мужиков, да и у евреев, нету ли где такого станка на продажу. И вот однажды, поближе к осени, слышу я от одного еврея, что есть будто где-то в Самборе еврейка, у нее муж был управляющим в панском имении. И раздобыл он будто бы такой станок, зачем и для чего — неизвестно. А теперь еврей тот помер, и еврейка продала бы станок задешево. Услыхал я это и обрадовался, словно невесть чему. Сразу же в несколько дней собрался, взял с собой все деньги, какие были, велел запрячь лошадей и еду один в Самбор. А тут никто, даже хлопцы мои не знают, что это я задумал.

Приехал я, разыскал эту самую еврейку. Так и так, говорю, купил бы соломорезку, если у вас продается.

— Ох, — говорит еврейка, — есть, да вся разобрана, на чердаке валяется.

— Да я соберу, — говорю я, а сам чуть не дрожу, что не сумею; ведь сколько на свете живу, а такого инструмента не видывал.

— Ну, так идемте со мной!

Пошли мы, забрались на чердак, а там всякого хламу — мать честная! Начала еврейка рыться в нем, вытащила какие-то деревянные козлы, какой-то железный ящик с зубчатым валом, колесо какое-то с ручкой, какие-то кривые ножи, и все свалила в кучу передо мной.

Уставился я на все это, как дурак. «Но, думаю, неудобно же показать себя таким дураком перед еврейкой, надо хоть вид сделать, будто кое-что смыслю...»

— А гайки где? — спросил я, просто наугад.

— Ох, где-то завалились! — говорит еврейка и кинулась их искать. А я аж вздохнул. Стало быть, гайки-то нужны! Через минуту еврейка и на самом деле подает мне несколько гаек и ключ.

— Ну, теперь все! — говорит. — Вы, видно, настоящий хозяин, знаете толк в этом! Посмотрите сами, что оно стоит?

— Стоит-то немного, — сказал я, с важным видом осмотрев машину. — Старинная очень, тяжелый ход!

— Ну, зато я вам дешево уступлю, — говорит еврейка. — Давайте тридцать гульденов и берите себе.

«Слава тебе, господи», — думаю. Я ждал, что не меньше пятидесяти придется выложить, а она только тридцать просит. А может, и еще выторгую. И говорю еврейке: — Ну, что вы, тридцать гульденов. Да теперь новую за такие деньги достать можно! Я вам дам пятнадцать.

— Ох, уж очень вы мало даете, хозяин, — застонала еврейка. — Дайте двадцать пять!

Кое-как сторговались мы за двадцать. Я уж соломо-резку и не пробую собирать, а сам весь дрожу. «А что, думаю, если дома собрать не смогу, ведь какую сумму даром выложил!» А потом думаю: «Ну, уж будь что будет, а должен я на своем поставить!»

Сложил я все это на телегу: мелочь убрал в мешок, а стояк соломой обложил, накрыл рядом, — торчит он раскорякой, акурат так, будто человек на возу лежит и колени кверху задрал. Собрался, еду. «Слава тебе, господи, — думаю, — в село только к ночи доеду, а может, и до хаты доберусь так, что никто меня не заметит». Еду я еду, проезжаю село за селом и все трясусь: а вдруг попадется навстречу знакомый и спросит, что везу. Уж и сам я не знаю, что со мной случилось и чего я так боялся, точно ворованное вез. Так уж у нас: затравят люди человека, осмеют за то, чего и сами не понимают, а потом и хотел бы человек что хорошее сделать, да стыдится, боится людей, словно невесть какое злое дело задумал.

Вот уж подъехал я к своему селу. Смеркалось. Я еще у корчмы за селом постоял малость, чтобы совсем стемнело, а там и поехал. Да вот, на беду мою, только я к селу, а тут месяц выкатился, да такой полный, круглолицый, словно так и полагается. Вот вы меня видите, я не из таковских, чтобы зря сердиться, но месяц этот меня чуть в ярость не привел, чуть я его, бедного, родителей не помянул. Правду сказать, я его вовсе и не ждал!

А тут вдруг так светло сделалось на селе, как днем! На моем возу уже издали что-то виднеется, будто сани какие-то вверх торчат, а едва наедет воз на камень, они во все стороны качаются да позвякивают. А тут еще собаки — в нашем селе что ни хата, то пес — почуяли, что кто-то едет, выскочили все на дорогу. Пристали так что прямо землю под собой рвут, провожают меня с музыкой! Но, слава богу, на улице уже ни души, некому спрашивать, что это я везу.

Ну, да коли прицепится к тебе неудача так и конем не объедешь. Подъезжаю к церкви, глядь — стоит кто-то посреди дороги, смотрит. «Тьфу ты, напасть какая! думаю. Проклятые собачищи разбудили сторожа сейчас начнутся расспросы». Так и есть! Только мы поровнялись, а он ко мне:

— Это вы, дядько?

Я сразу по голосу узнал, что это дурачок Савка, моего соседа сын. Ну, нашли же сторожа, этакого отпетого дурня!

— Я и есть, — говорю.

— А откуда вы так поздно едете, что всех собак разбудили?

— Вот несчастье, — говорю, — и тебя, бедного, собаки разбудили.

— Верно! А мне акурат начало сниться, будто воры церковь обкрадывают. Схватился я, а это вы! Да откуда ж вы едете?

Что дураку сказать? Словно он знает — что и как?

— Из Грайгоры, — говорю.

— А что это везете, такое хорошее?

— Э, не спрашивай, — говорю я, будто испугавшись. И зло меня берет, что стоит он, как пень, да меня выпытывает.

— Да скажите! Я, ей-богу ж, никому не скажу.

— Не скажешь?

— Убей меня бог, не скажу.

— Ну, — говорю я, оглядываясь и шепотом: — Убил я еврея-корчмаря с деньгами и везу его домой, закопать под углом хаты.

— Ой! — вскрикнул испуганный Савка. — А это за чем?

— На счастье, глупый ты Савка, чтобы дома всегда деньги водились.

С тем я и поехал, а уже вижу, что мой Савка весь горит от нетерпения и любопытства. «Ну, — думаю, — провёл я его?» Оглядываюсь, а мой Савка бежит под плетнями, вслед за мной. Ну, бежит, и пускай бежит. А уже до моей хаты недалече; подъехал я, отворил ворота на выгон. Потом отпер овин, въехал на ток, выпряг лошадей, а телегу на току оставил. Смотрю, а мой Савка топчется у ворот и поглядывает, что я буду делать. А я ничего, будто и не вижу его. Поставил лошадей, попривязывал, засыпал корму, и сам в хату.

Повечерял я, лег спать и ни о чем не думаю. На другой день поднялся я до света и — в овин, к станку. Еще и хлопца с собой взял. Сейчас это мы и так и сяк, что к чему подходит, прилаживаем, пробуем... Благодарение богу, все как по маслу идет! В каких-нибудь полчаса и собрали, и испробовали — режет хоть куда! Я словно на свет народился; недаром, значит, деньги-то заплатил! А хлопец прямо в ладоши хлопает, не налюбуется машиной. В одну минуту мы целый сноп для пробы нарезали, воз выкатили — и в хату. Благодарить!

Только мы сели за стол, а тут собака залаяла. Выглядываю в окошко — го-го-го! И войт, и понятой, и писарь, и пятеро мужиков с палками. Как говорится: «И дед, и баба, и вся громада». Да не идут в хату, а стали возле угла, ковыряют, палками тычут, шарят... «Что за причина? думаю. Что с ними случилось?» Хочу из хаты выйти, — ан нет, из-за дверей слышу голос десятского «Нельзя! Сидите в хате!» Что такое?.. Сижу я. Обошли они хату со всех четырех углов, вымазались в грязи по самые колени, погом пошли к сараю, вокруг клетки, вокруг овина... Я голову ломаю себе: что за несчастье? Спятели они, что ли, или, может, грабеж какой случился? Наконец, входят в хату.

— Десятские! — приказывает войт, ни слова мне не говоря и не здороваясь. — Станьте возле него! Убежит — вы в ответе!

Я стою, глаза вытаращил, а десятские, точно апостолы, возле меня.

— Пан войт, — говорю я, — что это значит?

— Гм-гм, — пробурчал войт, усаживаясь на лавке и палочкой о землю постукивая, — уж это мое дело. Вы должны молчать и отвечать.

— Молчать и отвечать? — удивился я. — Как же это я отвечу, если буду молчать?

— Гм-гм! — пробурчал снова войт. — А скажите вы нам сначала, как вы прозываетесь?

— Я? Да разве вы не знаете? Из чужого села я, что ли?

— Сейчас же мне отвечайте! Кто здесь в селе старший: я или вы?

— Я тут у себя в доме старший! — закричал я, обзлясь. — Что это за разбой? Я ни перед кем ни в чем не виноват, а тут на меня нападают! Пан войт, я на вас жалобу подам!

— Хе-хе-хе, — смеется войт, — посмотрите только, как держится! Ни перед кем ни в чем не виноват! Ну-ну, дай боже! Сейчас увидим. А скажи-ка ты мне, невинный человек, куда ты девал убитого еврея, которого вез вчера ночью?

У меня сразу точно пелена с глаз спала. Как расхохочусь я, как зайдусь смехом, ну, провалиться мне на месте, отроду так не хохотал. Чуть было, скажу вам, наземь со смеху не покатился.

Смотрит на меня войт, как баран на новые ворота. Но потом снова озлился:

— Кум, я тебе по-хорошему говорю, не смейся, признавайся во всем, тогда я заступлюсь за тебя, чтоб тебя высокий суд не повесил, чтоб тебя в живых оставили. Не отпирайся, ежели не хочешь на виселице ногами дрыгать.

А я пуще хохочу, за живот руками держусь. Это уж совсем разъярило войта.

— Вяжите его! — кричит десятским.

— Ну, пан войт, — говорю я, опомнившись, — постойте, я вам во всем признаюсь, даже милости вашей на суде просить не буду. Уж коли висеть мне за одну ногу подвешенным, так лучше за обе.

— Признаешься?

— Ну, разумеется!

— А где же убитый еврей? Еще не закопал его под углом?

— Нет, нет!

— Ну, а где же он?

— Лежит в овине.

— Ступай, покажи нам!

Взял я ключ, идем. Смотрю, даже у овина стража. Ну, слава тебе, господи! И Савка тут! Еще лучше. А народу набралось — полный двор. Еще бы, по всему селу весть разнеслась, что «деревянный философ» еврея-корчмаря убил и под углом хаты закопать хотел. Иду я промеж толпы и усмехаюсь, а люди добрые только: шу-шу-шу! смотрите, мол: вешать его будут, а ему хоть бы что! Ай да «деревянный философ»!

Подошел я к дверям, а десятские все возле меня! Отворил...

— Ну, пожалуйста, пан войт, вот он где — убитый корчмарь еврей!

Глянул войт и глаза вытаращил:

— А-а-а! Что это?

— То самое, что я вчера ночью вез. Станок, чтобы сечку резать!

Тут весь народ, что толпился вокруг овина, как захохочет, — господи твоя воля! Наверно, и на небе слыхать было тот хохот. И десятские, и понятой, и панские приказчики — все хохотали, даже войт улыбнулся и стал извиняться за всю эту оказию и за то, что поверил глупому Савке. Смеху на все село. А станок мой, как начали в тот же день пробовать, так пять снопов соломы мне нарезали! Вот так-то я и соломорезкой обзавелся да над всем селом посмеялся!

*23 октября 1881*

## ЦЫГАНЕ

### I

Ластовки, убогое горное село, лежит у верховьев Стрыя, там, где он, после крутой излучины у Турки, поворачивает вдруг к Синеводскому, извиваясь среди гор и лесов. Село небольшое, заброшенное, прячет в лесах и дебрях раскиданные там и сям жалкие бойковские хаты. Пониже села, за полосой черного леса, который тянется вплоть до самого берега реки, торчит над Стрыем высокая скала. Крутую стеной громоздится она над самой излучиной реки, а головастой вершиной, зеленой от мха и папоротников, поглядывает на окрестные горы. Летом Стрый мирно плещется у ее подножья, но осенью ревет грозно и пенится, заливая узкую тропинку, выющуюся под скалой вдоль берега. А кругом расположились горы, покрытые черным сосновым лесом; только кое-где вершины их просвечивают безлесными полянами, которые маячат серо-зелеными пятнами на темном фоне. Печально и пусто в осенний день у скалы, только волны Стрыя ревут и разбиваются о щербатые камни.

Печально и пусто было на душе у полицейского стражника, который ненастным осенним днем пробирался по тропинке над рекой, в плаще и в кивере с петушиным пером, с карабином через плечо, и зорко поглядывал

вокруг. Нигде ни живой души, ни голоса человеческого, и если б не протоптанная у реки дорожка, можно было бы подумать, что сюда, в эту дикую лесную котловину, от сотворения мира не ступала еще нога человека.

— Тыфу ты, собачья служба! — ворчал стражник, платком обтирая усы, с которых капала дождевая вода. — Лазь и лазь, как проклятый, по этим чертовым ущельям, и все понапрасну. Паршивые бойки боятся стражника пуще черта. Всякий норовит обойти его за тысячу шагов, чуть только завидит. Так и кажется, что любой из них только что украл или убил. А если кого и поймаешь, то уж скорей добьешься чего-нибудь от этой вот скалы, чем от него. Хоть бы черти побрали этот паршивый тупой народ!

Так ворчал стражник, приближаясь к скале, и то и дело поглядывал на Стрый, который яростно разбивал свои волны о камни, будто и он тоже был сердит на этих диких, тупых бойков.

— Ого, как река-то разлилась! — ворчал стражник. — Только бы она не залила тропы и мостков не поносила, а то и к ночи не доберешься нынче до этих чертовых Ластовок, хоть они и совсем близко. Ну, не везет мне в этих горах, хоть плачь! Вот уж четвертый раз обхожу дозором эти ущелья, а ни разу еще не посчастливилось мне поймать какого-нибудь вора или разбойника. А между тем довольно один раз заглянуть сюда, и станет ясно, что воров и разбойников тут должно быть немало. Хуже того, даже какого-нибудь несчастного бродягу или старика нищего до сих пор не пришлось арестовать. Будто сговорились не попадаться мне на глаза. А другой стражник пойдет, так всякий раз этих бродяг, нищих да цыган целое стадо пригонит, полную тюрьму набьет. А я хотя бы одного! Плевка такое счастье не стоит, вот что!..

И стражник сердито поглядывал вперед. Он стоял уже перед самой скалой. Тропинка здесь поднималась несколько в гору и шла как бы по каменному карнизу, то приближаясь к отвесной каменной стене, то вновь опускаясь чуть ли не к самой воде. Еще издали стражник заметил, что тут же, на первой из таких впадин, тропинку уже залило мутной, пенистой водой.

— Вот тебе и на! — воскликнул он в раздражении. — Снова помеха! Придется обходить кругом эту заводь, полчаса карабкаться по кустам да расщелинам, а за это время я уже был бы в Ластовках. А побей тебя гром небесный с такими порядками!

И, скользя в своих тяжелых сапогах по мокрому мху, стражник свернул направо, меж пнями, под гору, чтобы обойти скалу. Невзначай он глянул в сторону и остановился. Что за черт! Ему показалось, будто из скалы легкими клубами выползал дым и, словно в испуге, тут же расплывался и пропадал в воздухе. Стражник поначалу и глазам своим не верил. Но когда он остановился и присмотрелся внимательней, то увидел, что действительно между шербатыми зубцами скалы, точно из самой середины ее, выбивался дым. Возможно ли это? Стражник был не из робких, однако дрожь пробежала у него по спине, ибо он никак не мог понять, что бы это означало. Наконец, он бросил соображать.

— Наверно, лесорубы костер развели. А может быть, воры? Что тут лесорубам делать? Пойду проверю.

И он с трудом начал взбираться по скользким обвалам туда, где, возвышаясь над ними, точно великан, торчала высокая каменная стена. Сначала не мог ничего разглядеть. Уже наступали сумерки, к тому же тень от скалы еще более затеняла то место, откуда пробивался дым. Напрасно стражник напрягал зрение и слух — ничего нельзя было ни разглядеть, ни услышать, кроме бешеного рева прибывающей воды под скалой да осеннего, протяжного стенания леса.

— Эй, кто там? Отзовитесь! — крикнул стражник, но только голос его уныло и глухо загредел среди скал да гора напротив повторила обрывок его оклика: «витель!» Тогда стражник стал взбираться выше. На небольшой площадке среди камней он увидел поломанные, сухие ветки, какие-то еще свежие кости и даже какие-то полусгнившие тряпки. «Ну, конечно, это след человека!» — подумал стражник. А приглядевшись поближе, он увидел еле заметную тропку, она змеей выползала из-за камней, ползла прямо через площадку и терялась в тени, под отвесной стеной, как раз там, откуда пробивался дым. И только приблизившись еще шага на

два, стражник увидел продолбленное небольшое отверстие, заложенное обгорелым бревном сосны. Неведомо почему, сердце как-то необычно забилося у него в груди. Схватив обеими руками карабин, точно готовясь к атаке, он осторожно приближался. Тишина внутри таинственной ямы еще больше тревожила его, и в душе он начал сердиться на самого себя за то, что за минуту перед тем закричал так громко и выдал свое приближение. Почем знать, может быть, неведомый враг, предупрежденный его окриком, уже подстерегает его в какой-нибудь скрытой и надежной засаде? Но возвращаться было, пожалуй, еще опаснее, и он пошел дальше. Наконец, перед самой пещерой он остановился, осмотрел саблю и патронташ, а затем сразу толкнул бревно штыком и очистил вход в пещеру. Дым клубами хлынул ему в лицо, но за дымом ничего не было видно. Чтобы заглянуть вглубь пещеры, ему пришлось нагнуться. Только когда дым немного рассеялся, стражник увидел внутренность высеченной в скале пещеры. Серые каменные стены сходились вверх, как своды. Влага зеленоватыми каплями так и свисала с них. Внизу, в каменном полу посреди пещеры, была выдолблена небольшая яма, где тлел костер, прикрытый полусгнившим бревном, которое сильно дымило. У огня сидело несколько человек, детей и взрослых, еле прикрытых грязным тряпьем. Лица их стражник не мог еще разглядеть, только видел, как несколько пар черных испуганных глаз с тревогой уставились на него.

— Кто вы такие? — крикнул он грозно.

— Цыгане, паночек, — отозвался грубый, но смиренный голос.

— А что вы тут делаете?

— Пропадаем, паночек.

Стражник с трудом протиснулся внутрь пещеры и начал оглядывать жилище и людей. В одном углу пещеры лежали кузнечные инструменты: мех, наковальня и молоты на маленьком возке, в другом — кучка хворосту для костра. На сучьях было развешано какое-то тряпье. Поближе к огню, посреди пещеры, находилась постель всего семейства — охалка полусгнившей соломы, разбросанная по камням, и куча сухого мха и листьев. Толь-

ко в одном конце этой постели, на самом почетном месте, лежала невыделанная лошадиная шкура, которою укрывался на ночь старый ром\*.

— А сколько вас здесь? — снова грозно спросил стражник, поворачиваясь к костру.

— Пятеро, паночек, пятеро, — ответил цыган и поднялся на ноги, весь дрожа от холода. Остальные цыгане тоже поднялись. Кроме старика, была тут еще цыганка, парень и двое маленьких, совершенно голых цыганят. Все они посинели от холода, казались распухшими, должно быть с голоду.

— Чем же вы тут живете, бродяги? — продолжал стражник.

— Милостью божьей, паночек, милостью божьей. Вот кляча у нас околела недавно, так пока еще было у нас мясо.

— А давно вы здесь?

— Две недели, паночек.

Неизвестно почему, стражника злили эти слишком покорные ответы старого цыгана. В его плаксивом голосе и в ежеминутно повторяемом «паночек» стражник видел затаенную насмешку над своей властью.

— А много крадете по селам? — продолжал он допрашивать.

— Нет, паночек, мы не крадем ничего. Ром Пайкуш не крадет! Ром Пайкуш, пока может, живет своим трудом. А теперь, когда кляча наша погибла, мы не можем двинуться дальше. Должны переждать здесь, пока малость распогодится.

— Пока новую лошадь не украдете! — передразнил стражник. — А ну, собирайтесь, марш за мной.

— Куда, паночек? — спросил старый цыган дрожащим голосом.

— Нечего спрашивать! Собирайся со своим поганым родом да приплодом, в село пойдем. А там увидим, что с вами делать.

Старый цыган стоял как остолбенелый, но в это время старая цыганка, точно камень с неба, повалилась жандарму в ноги и зарыдала, будто ее резать собрались:

---

\* Цыгане сами себя называют ромами. (Прим. Ив. Франка.)

— Ой, паночек! Голубчик наш! Что тебе сделал старый Пайкуш, что тебе сделали бедные ромы, что ты нас хочешь в такой лютой холод выгнать отсюда? Посмотри только, мелюзга-то моя совсем голенькая, да и мы тоже не выдержим такой стужи. Смилуйся, паночек, смилуйся, не гони нас никуда! Пусть бедные ромы подышат еще на божьем свете!

— Замолчишь ты, чучело гороховое! — закричал на нее стражник и отпихнул старую цыганку. — Сию же минуту собирайтесь все!

Но тут все семейство, от мала до велика, с визгом и плачем кинулось стражнику в ноги и начало его упрашивать и умолять, чтоб оставил их в каменном жилище. Между тем стражник и сам раздумывал, что ему делать. До села далеко, дорога неровная, безлюдная, ночь наступает, трудно будет ему одному доставить в село всю эту ватагу. И он быстро надумал другое.

— Ну, — сказал он, — чего ревете, глупые цыгане? Не бойтесь, ведь не съем я вас живьем. Пускай будет по-вашему, оставайтесь тут! Но слушай, старик, пока я не вернусь, не смей мне уходить отсюда!

Старый цыган стоял как столб. Удивленными глазами поглядывал он на стражника, предчувствуя в его словах какую-то новую беду.

— Ну, чего уставился на меня, чего хлопаешь глазами, как недорезанный баран?! — крикнул стражник. — Слышишь, что я тебе говорю или нет? Не смей мне трогаться отсюда, пока я не вернусь назад, не то беда тебе!

Старый цыган все еще стоял как онемелый. Только цыганка, низко кланяясь стражнику, сказала:

— Хорошо, паночек, хорошо!

Стражник еще раз оглядел пещеру, сплюнул с отвращением и вышел.

— Бродяги проклятые! — ворчал он, с трудом спускаясь со скалы. — Вот забрались куда! А все-таки я их нашел. Ну, хоть теперь какой ни на есть «белобунг»\* будет!

---

\* Поощрение, вознаграждение (от немецк. die Belohnung).

## II

Ластовецкий войт был, как все бойки, человек неграмотный, властям покорный и на все соглашающийся, а к подвластным себе упрямый тем бессмысленным упрямством, которое отличает человека с ограниченным умом. Стражники редко заходили в это маленькое село, и потому каждое появление стражника вызывало в селе настоящий переполох. Эти люди, выросшие в горах и лесах, считали должность войта великим бременем главным образом потому, что войт всякий раз обязан был являться перед разными «панам», наезжающими в село, должен был отвечать на их вопросы, исполнять приказания. И кого из общества однажды «посадили в войты» насильно, тот обычно и оставался в этой должности по несколько лет, иногда больше десяти, пока был в силах двигаться, ибо никто другой не отваживался без крайней необходимости взять на себя эту страшную должность.

Наш войт был только недавно выбран и потому еще не совсем освоился с начальством. Он немало испугался, когда стражник поздним вечером вошел к нему в хату. Но еще больше он испугался, когда прибывший «пан» рассказал ему о цыганах. Правда, войт знал, что цыгане сидят в ущелье, стало быть не самих цыган он испугался. Испугался он оттого, что стражник даже и там разыскал их и что теперь наверняка и его заодно с цыганами потащат в Подбуж.

— Ну, а вы знаете об этих цыганах?

— Да вроде того что знаю.

— Что ж они, крадут?

— Да, пожалуй, не без того чтобы не крали. Разве цыган без этого выдержит! Правда, старик иной раз что-то клепает, работает будто. Такая уж его цыганская работа!..

— Я так и знал, — буркнул стражник. — Ну, войт, на вас лежит ответственность за них.

— На мне? — воскликнул перепуганный войт. — Ежели они что украдут, так я должен за них отвечать?

— Да, да. Вы отвечаете за все, что случится в черте

вашего села. У вас должен быть порядок. Такую цыганскую гольтыбу нельзя оставлять без присмотру.

— А что ж я с ними поделаю? Привязать их на веревку, что ли?

— Как только встретите их в селе, тотчас арестовать и отдать в руки стражникам.

— Э, паночек, да ведь вельможные стражники к нам редко когда заходят. А тут арестуй я кого из цыган, так другие возьмут да меня еще подождут.

— Подождут? — крикнул стражник. — Так они такие? Постойте, приберем их к рукам. Войт, присмотрите мне за этими цыганами, пока я не вернусь с обхода! Я их заберу с собой в Подбуж.

— А когда пан вернется?

— Завтра, самое позднее — послезавтра.

— Хорошо, я велю присмотреть за ними, — ответил войт, низко кланяясь стражнику.

Поев молока с «будзом» (свежим овечьим сыром), стражник улегся на лавке, укрылся плащом и заснул. А тем временем войт не спал, хотя и лежал в постели.

«Какая нелегкая наслала этого стражника, — думал он, — что выискал цыган в таком тайнике, где их до сих пор никакое начальство не замечало? И что теперь с ними делать? Вздумай я арестовать их и доставить в село, так что с того, что стражник заберет их в Подбуж? Посидят под арестом дня два, а потом выйдут на волю и наверняка направятся в Ластовки. Что им стоит обокрасть меня или поджечь? Цыгану что? Стражник далеко, а цыган кочует множество: довольно одну шайку зацепить—и все станут твоими врагами. Ой, горе мое горькое! Тыфу на твою голову! Разве вот что сделать! Вот, вот, это будет лучше всего! Ежели цыгане убегут, что мне стражник сделает? Ведь они могли сбежать еще этой ночью, прежде чем я узнал от стражника, что их надо арестовать! Вот это самое лучшее, самое лучшее!..»

И с этою мыслью войт заснул уже оксло полуночи.

А стражнику тем временем, хотя и спал он на жесткой лавке, снились гораздо более приятные вещи: «белобунг», денежная награда и перевод на лучшие места, на Подолье, на русскую границу, где легко можно было бы «делать» хорошую контрабанду: и выслужиться и на-

житься. Сон этот придал ему еще больше охоты и уверенности. На другой день он поднялся чуть свет, собрался и, еще раз строго-настрого приказав войту присматривать за цыганами, поспешно двинулся в дальнейший путь, чтобы нынче же закончить обход и на завтра вернуться в Ластовки.

Тотчас после его ухода войт намотал на ноги тройные онучи, обулся в кожаные постолы, надел кожух, мохнатую баранью шапку, перекинул через плечо барсучью сумку с «цесарским орлом», а в сумку опустил пару овсяных лепешек и кусок овечьего сыра. Так снарядившись и не сказав никому ни слова, отправился он к скале.

— Добрый день, Пайкуш! — молвил он, входя в пещеру.

— Доброго вам здоровья, пан начальник, — ответил старый цыган.

— А что у вас нового слышно? — спросил войт, по бойковскому обычаю не приступая прямо к делу.

— Плохое слышно, пан начальник. Был тут у нас вчера «шишка», хотел нас в село отвести.

— В село? Э, да он хотел вас, милые мои, в Подбуж вести, в тюрьму.

— За что?

— Разве я знаю за что? Может, ему в других селах на вас наговорили. Уж недаром он за вами так следил, что даже здесь разнюхал.

— Ой, ой, ой, боже наш, боже! — разом застонали цыгане. — Что же теперь нам делать?

— Что же я вам, бедняги, посоветую? — спросил войт. — Он велел мне присматривать за вами, пока сам не вернется, а потом передать вас ему в руки.

— И вы хотите нас теперь арестовать? — сказал спокойно, но со скрытой угрозой в голосе старый цыган.

— Бог с вами, Пайкуш, — сказал войт. — Разве я вас с нынешнего дня знаю, что ли? Я тотчас сказал стражнику, что цыган, как ветер в поле: вот он здесь, вот его нет. Кто его на привязь посадит? Знаете что, — вот вам немного хлеба и сыра, примите это от меня и ступайте себе, куда хотите, чтобы я о вас и не слышал. Не хочу я вам зла делать, но и сам не хочу из-за вас в беду попасть. Понимаете?

— Понимаем, пан начальник, понимаем. Да вознаградит вас господь! — сказал цыган, кланяясь, а за ним начало кланяться все его семейство. Положив на каменный пол лепешки и сыр, войт торопливо зашагал назад в село, стараясь, чтобы никто его не заметил. А в душе он посмеивался над тем, как разозлится стражник: явится завтра, а цыган уж и духу не будет.

### III

Верно люди говорят: осень в горах стóит хорошей зимы в долинах. Едва наш стражник вышел за другой конеп Ластовок, едва войт, завершив свою дипломатическую миссию, вернулся в село, как вершина Парашки, вздымающаяся ввысь, словно огромный трезубец, заволокла мглой, или, как говорят, «закурилась». Огромными клубами катилась эта мгла вниз, гонимая сильным, завывающим ветром. Через полчаса все уже исчезло в вихрях и клубах снежной метели, которая со всех сторон была в глаза и ослепляла пешехода, заметала у него под ногами тропинку.

Бранясь и то и дело отплевываясь, боролся стражник с метелью и упорно продвигался вперед. Уже недалеко было село, куда он хотел добраться к ночи, — крайний пункт его обхода. Оставалось еще по мосткам перейти на другой берег реки. Но это уже было дело далеко не безопасное. Река шумела под мостками, как бешеная, а вверху бушевал ветер, точно руками дергая за перила. Мостки были скользкие от снега, а ветер слепил глаза. У самого берега стражник поскользнулся и упал в воду. Река была неглубокая, но страшно быстрая. В одну минуту у стражника сорвало с плеча карабин, а с головы — кивер с петушиным пером. Большой камень-валун, который вода катила по дну, ударил его по ногам и сшиб его. Только с большим напряжением выбрался стражник на берег. Он промок до нитки, замерз, был напуган. Чтобы согреться, бедняга пустился во весь дух бежать в село, к знакомому попу. Но хотя это и недалеко было, а все-таки, пока он добежал до дома, мокрая одежда на нем заскорузла от холода и голос пропал в груди.

Правда, в доме у попа тотчас кинулись растирать его, отогревать, спасать. Эта помощь да еще его железное здоровье сделали то, что он не схватил никакой тяжелой болезни, однакоже ему пришлось пролежать целую неделю в постели, в сильной горячке. Всю эту неделю мело снегом, свистал ветер, стоял мороз, так что в горах даже здоровому не стоило пускаться в дорогу из одного села в другое. Через неделю ветер утих, установилась ясная погода, но мороз еще более окреп. Стражник не хотел дольше задерживаться, но поп не решился отпустить его от себя пешком, полубольного. Он велел заложить сани и отвезти его в Подбуж, куда заранее дал знать о случившемся.

Когда стражник проезжал через Ластовки, он вспомнил про цыган, о которых совсем было позабыл после происшедшего с ним несчастья. Он велел возчику остановиться у хаты войта, вызвал войта и спросил его:

— А что вы сделали с цыганами?

— Да что было с ними делать, прошу пана, — ответил войт, почесывая свою лохматую голову, — когда мы их уже не застали.

— Как так не застали?

— Да так. Как только пан изволил от меня уйти, я вмиг собрался и пошел, чтоб их арестовать и доставить в село. Но в пещере я не застал никого. Видно, испугались пана и в ту же ночь сбежали.

— Вот бестии! — воскликнул стражник. — Ну, погодите, я вас еще где-нибудь поймаю!

Войт поклонился, а втайне только усмехался, что ему удалось так хитро да умно выкрутиться из беды. А стражник, злой и раздраженный, завернулся в свой плащ и в тяжелый бараний кожух, данный ему на дорогу попом, и велел ехать дальше.

#### IV

Стрый скорчился от мороза. Внизу, под скалою, переезд был свободен, а так как этой дорогой ехать короче, то стражник велел везти себя по ней. Едва выехали за лес, черной стеной отделяющий Ластовки от остального мира, как глаза стражника с каким-то

беспокойством уставились на громадную скалу, бывшую уже совсем близко перед ними. Вершина скалы не была покрыта снегом, ветер посметал с нее зимний пух и сдвинул его пониже, в расщелины. Что-то дрогнуло в сердце у стражника, когда он увидел вершину скалы, сплошь усеянную воронами, галками и прочими птицами, обычно слетающимися на падаль: они то опускались, то кружились целыми тучами и своим зловещим криком и гомоном наполняли воздух.

Но что это? Из темноватой расщелины в горе, глубоко засыпанной снегом, так же как и восемь дней назад, пробиваются еле заметные клубы бледносиневатого дыма. Несколько мгновений стражник сомневался — так ли это, или только ему мерещится после горячки, но его возница, горец, уверил его, что дым на самом деле пробивается из скалы. Неужели там еще кто-нибудь есть? Стражник даже затрясся — так ему не терпелось узнать, что это значит. Уже подъехали к скале. Тропинка, которая вела в гору, была замечена снегом, и ни единого человеческого следа не было видно на этой белой пелене. Только галки да вороны при их приближении подняли еще больший крик.

— Недобрая это примета, что столько воронья сюда слетелось, — заметил возчик. — Не было ли здесь какого несчастья? Проклятая птица тотчас это почует.

Стражник, не говоря ни слова, сбросил с себя кожух, а за ним и плащ, чтобы легче было вскарабкаться на вершину скалы: возчик выломал две палки для опоры, и так, помогая друг другу, с большим трудом взобрались они на верхнюю площадку. Воронье с криком вилось над их головами, словно хотело отстоять свою верную добычу.

Вход в пещеру был, как и тогда, завален бревнами и заткнут мхом, только сквозь маленькую щелку вверху пробивался дым. Отвалили бревно и вошли. В пещере было темно и тихо. Спустя некоторое время глаза у них настолько освоились с темнотой, что могли разглядеть какую-то черную беспорядочную грудку посреди пещеры. Это были цыгане, сбившиеся в кучу, укрытые мхом и листьями и мертвые, видимо, уже несколько дней. В очаге дымилось еще, дотлевающая, последнее бревно.

Что было причиной их смерти? Голод? Холод? Или, может быть, угар от спертого дыма? Тела у них были синие, окоченелые, замерзшие. Но, разрывая груды, стражник увидел, что под старым цыганом уже не было невыделанной лошадиной шкуры, на которой тот спал, недогрызенные куски этой шкуры оказались...в руках у детей.

Долго стояли стражник и его возница над мертвцами молча, остолбенелые, охваченные испугом и жалостью. Может быть, в душе у них промелькнули долгие дни и ночи мучительного умирания этих несчастных, плач и стоны детей, беспомощность и отчаянье стариков, целое море нужды, горя и страданий, от которых осталась теперь лишь вот эта недвижимая, сплетенная в один клубок, груда трупов...

Молча, как пришибленные, вышли, наконец, стражник и возница из пещеры на свежий воздух, завалили вход в пещеру, чтобы не допустить птиц к трупам, и когда они снова уселись в сани, возница перекрестился и, обернувшись лицом к скале, стал шептать молитву. Тем временем стражник начал мысленно составлять рапорт о случившемся.

*Нагуевичи, июль 1882*  
*Переработано в 1887*

## ЛЕСА И ПАСТБИЩА

*Рассказ бывшего доверенного*

Господи боже, крику-то было у нас из-за этих лесов да пастбищ. Уж как хлопотали паны, как мудрили, инженеров да адвокатов подкупали, лишь бы от всяких тягот избавиться! Хитрые головы. Они знали, что хотя цесарь и дал мужикам свободу и панщину уничтожил<sup>12</sup>, а все же, если не дадут они им лесов и пастбищ, так и придется мужику либо вовсе погибать, либо к ним же— «приидите поклонимся», а тогда снова вернется панщина, хотя, может, и в другой одежке, но для мужика нисколько не легче.

И вы думаете, не вернулась у нас панщина? Придите только да поглядите на наше село, сами удостоверитесь. Правда, приказчики да управители не ездят уже под окнами с нагайками, на помещицьем дворе нет уже той дубовой колоды, на которой, бывало, каждую субботу совершалась «общая палочная расправа»; но посмотрите вы на людей, потолкуйте с ними! Черные, как земля, хаты, убогие, ободранные, старые, набок покосились. Плетней почти вовсе нет; хотя лес вокруг села, как море, приходится людям окапывать поле рвами да вербами обсаживать, как на Подолье. Скот истощенный, замороженный, да и то редко у какого хозяина найдется. А спросите вы у тех, что идут с серпами да косами: «Куда, люди, идете?» — и вам наверняка ответят: «На панское поле жать», или: «На панский луг косить». А если удивитесь

вы, как это так, что идут они к пану на работу теперь, когда у самих-то еще ничего не сделано, а пора жаркая, колос осыпается, — то они разве что головами покачают и грустно ответят: «Что же поделаешь? Сами видим, сердце у нас разрывается, но что делать? Задолжали мы пану, а у него порядок такой, что сначала ему отработай, хоть гром разразись, а потом уж себе». Это у нас из году в год так: у пана сработаем все во-время, и хорошо и чисто, а наше добро тем временем пропадает и гибнет в поле. И ловко это придумал наш пан! У него лес — у нас без его ведома и щепки во дворе нет! У него пастбище — у нас весь скот пропал, погиб, а который и остался — ходит как сонный. У него поле в порядке, чистое, а наше — пыреем поросло, горчаком да бурьянами, навозцу нету, чтобы удобрить, скотинки рабочей нету! А ежели что и на том уродится — все равно в поле пропадет, оттого что должны мы пану наперед отработать, пока ведро. И никогда мы не можем поправиться, не можем стать на ноги, не можем выбиться из-под панской руки. А пан нажимает, о, всюю нажимает! Он у нас теперь старостой, какой-то из его прислужников — писарем, и все общество должно по их воле гнуться. Бедняка из села ни на заработки не выпустит, ни на службу, книжки не выдаст. «Сиди тут, никуда не суйся, работай себе!» А у себя работать-то нечего, — ступай к пану! А пан — бац по десять крейцеров за день в самую горячую пору, и надо работать, ведь деться-то некуда! Так-то он нас прикрутил и все больше прикручивает! Вот и скажите сами, нужно ли нам еще какой другой панщины? Думается мне, что прежняя панщина с палками да управителями такой тяжелой не была.

А теперь послушайте, как он нас обошел, чтоб на поле выгнать и после забрать в свои руки. Я сам при этом был и могу вам верно сказать и каждое слово хоть под присягой подтвердить. Вот слушайте!

Пошло все наше несчастье с переписи, знаете, той, что в пятьдесят девятом году была. До той поры жили мы с помещиком в добром согласии. Он трогать нас боялся, тогда, знаете, еще страх был среди панов, мазурскую резню<sup>13</sup> помнили. А нам трогать его и надобности не было: пастбище у нас было, в лесу мы рубили, как

и отцы наши с древних времен, и всегда считали, что лес этот общественный — даже лесничего на общественный счет держали. А тут бац — перепись. Знаете, народ темный, не понимает, что к чему, перепугался. Наш мужик-то все боится, чтоб податей не прибавили. Так и тогда: переписывать будут не только людей, но и скот! Дело тут неспроста.

А тут как раз в воскресенье, после обедни, вышел, как всегда, народ из церкви, собрался на луговине совет держать. Там и войт приказы какие-то читает, другие о жнитве толкуют... А тут пан... «Так, мол, и так, панове громада, дело важное, перепись. Я вам друг, я теперь такой же мужик, как и вы. Знаете, цесарь поравнял нас всех, теперь панов уже нет...» Ну, проще говоря, начал он нас обрабатывать. Мы и рты пораскрывали, ведь впервые слышим от нашего пана человеческое слово! «Так и так, продолжает, перепись дело важное. Кому угодно, прошу зайти ко мне, нужно кое-что важное сказать, как вам во время переписи держаться». Да и пошел прямо к себе на усадьбу. А мы все, сколько нас было, толпою за ним. Вошли на панский двор. Он стал на крыльце, оглядел людей, а потом вызвал несколько человек постарше к себе и пошел с ними в комнаты. Стоим мы, дожидаемся.

— Знаете, люди добрые, почтенные хозяева, — заговорили наши старики, когда мы снова стали на своем лужке, — завтра придёт к нам перепись. Так вот пан наш, дай ему бог здоровья, велел нам предостеречь общество. «Обратите внимание, говорит, на скот! Они скот записывают, а потом наложат на вас за каждую голову по гульдену подати. А скажете, что пасете в лесу, так будете и за лес двойную подать платить: сначала за лес, а потом за то, что пасете». И вот пан советует так: перво-наперво не говорить, что пасем в лесу, а после припрятать на день часть скотины в лесу и при переписи показывать скота меньше, чем у нас есть. «Так, говорит, делают и в других селах. А лес, говорит, как был ваш, так и останется, перепись земель не занимается».

Толковали мы, толковали и решили послушаться пана. Вот ведь дураки! Ежели у кого было пять голов скота, он три — в лес, а две для показу оставляет; у

кого десять голов, он семь — в лес, а три оставляет. Целое стадо коров со всего села в лесу запрятали, в самой чаще, и ждем себе спокойно переписи. И без того тяжело достается от этих податей человеку, а тут еще пан так напугал нас новой будто бы прибавкой, что мы и не колебались обмануть попросту эту перепись, лишь бы как-нибудь выкрутиться из беды.

На другой день рано, так около обеда, уже и перепись в селе. Записывают. Ну, все мы держимся того, как порешили: показываем скота как можно меньше, отказываемся от выпаса в лесу да еще радуемся, что гладко идет дело. Но вот под конец дошла перепись и до помещика. Кое-кто пошел из любопытства за ней. Немного погодя прибегают в село, запыхавшись, испуганные...

— Что мы наделали! — кричат. — Тут что-то не так, тут дело плохо! Уж не подвел ли нас пан на какую беду? Он записал не только весь свой скот, но и наш, какой в лесу спрятан, и комиссия поехала туда!

Мы так и остолбенели, услышав о таком деле. Тут же собрались все гуртом и побежали в лес. Комиссии уже не было. Спрашиваем пастухов. «Были, говорят, паны и наш помещик, что-то писали, считали скотину, а нас ни о чем не спрашивали». Мы—в село, а нам говорят, что комиссия уже выехала из усадьбы окольной дорогой. Двинулись мы за ней, догнали только в другом селе. Так и так, рассказываем, паны наш скот в лесу считали...

— Как он может быть ваш, если вы сами говорили, что больше скота у вас нет и в лесу не пасете?

— Мы-то говорили, да нас пан научил.

— Так что же вы теперь хотите? Чтоб мы вторую перепись у вас делали, что ли? Будьте здоровы! Что наделали, то и получите. Что написано, то пропало. А впрочем, нет, вы можете подать жалобу, но говорим вам наперед: жалоба вам ничуть не поможет, а только сами еще под суд попадете за то, что обманывали имперскую комиссию.

С тем мы и вернулись. «Пропало, — сказали мы, — посмотрим, что из этого выйдет».

Ждем год, другой — нет ничего. Помещик опять с нами по-хорошему, только, ежели напомнишь про

перепись, усмехается и говорит: «Э, что там, шутка — да и все!»

Но вот на третий год, слышим, едет какая-то комиссия в село, пастбище межевать.

«Черти тебя принесли, думаем, это что еще, зачем, на что? Пастбище наше с дедов-прадедов, зачем его межевать?» Правда, за последние годы мы одну полосу между собой поделили и запахали; думаем себе: может, приехали смерить, сколько мы запахали, а сколько еще осталось. А комиссия прямо к пану; пообедали, а потом на пастбище. Разложили планы, пан сам ходит с ними и показывает: вот отсюда тянется и вот туда, а это они запахали.

Подошли мы к комиссии, кланяемся издали, после подошли ближе, кланяемся опять, а комиссия и не смотрит. Потом войт осмелел и говорит:

— Это, ваша милость, пастбище наше, зачем вы его меряете и ставите вехи?

— А ты кто таков? — спрашивают паны.

— Я войт сельский.

— Ну, и хорошо, — отвечают они, а сами свое продолжают. Отметили вехами запаханый кусок особо, а остаток опять-таки особо. Мы уже с войтом за ними ходим да поглядываем, но что они говорят, того не понимаем, по-немецки лопочут. Кончили и в бричку садятся. Войт за ними, не отстывает и все допытывается. Тогда один из панов встает в бричке и к нам обращается.

— Вы, люди, видели, как комиссия мерила пастбище?

— Видели, — говорим.

— И видели, как вехи ставили?

— И это видели.

— И знаете, что вон там, — и он показал на запаханую полосу, — это ваше, общественное, а вот это помещицье?

— А, что, как? — закричали мы все как ошпаренные, — и к комиссии. Комиссия — ходу.

На другой день гонят наши пастухи скотину на пастбище, а там панские слуги: «Марш отсюда, это пастбище панское, не смей сюда и ногой ступить». Пастухи завернули скот, гонят в лес, а там панские лесники и гайдуки: «Марш отсюда, лес панский, не смейте и ногой

за ров ступить». Пастухи, известно, дети — в плач, гонят скотину назад домой. Крик, шум в селе такой поднялся, точно кто все село с четырех сторон поджег.

Что тут делать? Бабы кричат: «Мы с ухватами пойдем и панским слугам головы поразбиваем!» Но мужья, кто постарше, кое-как утихомирили их и тотчас выбрали несколько человек, чтобы ехали прямо во Львов, к адвокату, посоветоваться. Выбрали и меня. Поехали мы, разыскали адвоката, украинца, заслуженного, говорят, и честного. Пришли к нему, рассказываем: так, мол, и так. «Что ж,—говорит,—начнем процесс. Постарайтесь насчет свидетелей, бумаг, денег, а тем временем сидите спокойно, всякий бунт только делу повредит».

— Но, паночек, — говорим мы, — как же нам сидеть спокойно, если некуда скотину выгнать. А без выпаса скотина и вовсе пропадет!

— Ну, — говорит адвокат, — чем я могу вам тут помочь? Вот выиграем процесс, должен будет пан вам все убытки возместить, а теперь поступайте как знаете.

С тем мы и ушли. Начался процесс. Сколько мы денег на него ухлопали, один бог ведает. Я одному только адвокату на гербовые марки что-то больше семисот гульденов отсчитал. Общество тянулось из последнего, хотя и не легко приходилось. Ведь лес-то и луг в помещичьих руках остались, и мы должны были тотчас большую половину скота продать почти задаром, потому что нечем было кормить. А прочий скот толочся — да и сейчас толчется — то по гусиным лужкам, то на пару, то по огородам. Сады наши из-за того погибли, паеки вывелись, а скотинка ходит — одна кожа да кости.

Семь лет тянулся наш процесс, да так, словно кто семь лет подряд из нас жилы выматывал. Вовсе извелись мы за это время, но к пану ни-ни, упорствовали. И пан тоже. Уже в каких мы судах да инстанциях не побывали! И в уезде, и в губернии, и в министерстве, и бог знает где. В одном месте проиграем — апеллируем; в другом выиграем — пан подает кассацию, а конца все нет да нет. Ну, наконец,—слава тебе, господи! — дождались мы! Приходит судебный исполнитель, приносит нам резолюцию из главного министерства. Так и так, чтоб

порешить спор между обществом и помещиком, назначается губернская комиссия, которая на спорном месте все рассмотрит, документы проверит, выслушает свидетелей и вынесет окончательное решение. И должны обе стороны в такой-то день явиться на спорное место со всеми своими доказательствами. Решение комиссии апелляции не подлежит и будет приведено в исполнение. «Ну, слава тебе, господи! — подумали мы. — Теперь уж наверняка наша правда будет, если комиссия будет судить на месте. Тут каждый сможет сказать все, что знает, каждого выслушают, а в таком случае должны же будут признать, что правда на нашей стороне».

Пан наш, получив такую же резолюцию, очень что-то осунулся и нос повесил, но потом, видно, кое-что надумал, сел в бричку и махнул во Львов. Куда он ездил, неизвестно, двое из нашего села были тогда во Львове и сказывали потом, что видели его, как крутился он в городе с нашим адвокатом. Разумеется, рассказывали тогда уже, когда все кончилось. Достаточно того, что спустя два или три дня приехал наш пан из Львова уже более веселый и даже радостный. Глядим мы, а сами-то и не знаем, что это оно значит.

Наведались и мы к своему адвокату. Обрадовался очень. «Выиграем дело, — говорит. Я сам, — говорит, — выступлю с вами на месте спора перед комиссией. Но за день до этого приходите ко мне сюда: войт, доверенные, свидетели, привезите с собой, какие у вас есть бумаги, надо все пересмотреть, посоветоваться. Знаете, как перед битвой на войне готовятся, так вот и нам надо готовиться. Приезжайте пораньше, и я объясню каждому, что и как ему говорить, а то, видите, дело запутанное, а с полдня сядем в повозку — и айда на село, чтоб в назначенный день быть пораньше на месте спора».

Послушались мы его совета, да еще и благодарим. Собрались: войт, двое доверенных и три самых старых хозяина в селе как свидетели, собрали все старые бумаги, какие у кого были, и поехали ночью во Львов, за день до приезда комиссии в село. Приходим рано утречком к адвокату, — нет дома, куда-то ушел, но

скоро вернется, просил обождать. Ждем мы, ждем — нет адвоката. Уже десятый, одиннадцатый, двенадцатый час — нету. Проголодались мы, пошли к возам кое-чего перекусить. Прибегаем немного погодя — нету еще адвоката. Что за несчастье такое? Уже первый час, глядь и второй, а там и третий — тут бы нам как раз время домой ехать, чтобы к вечеру добраться, а его нет. Наконец, этак часу в четвертом, идет он.

— Ах, простите, пожалуйста, — говорит, — пожалуйста, простите, почтенные, но вина не моя, что я так запоздал, был в суде, слушалось дело, затянулось до сих пор. Ну, это ничего, мы еще все успеем устроить как следует. Прошу в комнаты!

— А может, мы сейчас бы сели на подводу да поехали в село, — сказал я. — Вы могли бы там пересмотреть бумаги и научить нас, что нам говорить.

— Э, чего там торопиться, — говорит, — доехать успеем, а просмотреть бумаги — дело недолгое.

Вошли мы с ним в его кабинет, сели. Бумаг нанесли целый ворох. Принялся он все это читать: читает, читает, не спеша, внимательно, иногда нас спросит о чем-нибудь мы отвечаем, он снова читает, а тут уже и полчаса прошло, а там и час, глядь, и второй прошел — он ничего. Мы тут как на иголках сидим, ерзаем, потеем, а он все нас выспрашивает, как на допросе, всё бумаги читает, бормочет про себя — ну, прямо беда! Уж мы ему сколько раз намекали, не пора ли ехать. А он все свое: сейчас, сейчас! И опять читает. Шесть часов пробило, когда дочитал. «Ну, думаем, слава тебе, господи, конец уже чтению, поедем!» Э, как бы да не так! Как начал теперь наш адвокат растолковывать нам весь процесс с начала, обстоятельно, подробно, будто мы совсем ничего и не знаем. Говорит, говорит, а нам прямо-таки невтерпеж, — другой бы человек на нашем месте вскочил, плюнул ему в глаза и ушел. Ан нет! Начал он нас учить дальше, как должны мы говорить перед комиссией, — и правда, хитро научил! Таким ясным стало нам все дело, так хорошо знал каждый, что ему говорить, — прямо любо. Одно жаль, — как кончилось это обучение, девять часов пробило. Смерклось совсем. А он только теперь будто заметил, а тут еще и погромыхивать начало.

— Ого, а это что же, вечер уже? — говорит он, оглядываясь.

— Да, вечер уже, — ответили мы, как приговоренные.

— Что же теперь делать? Как ехать?

— А я знаю, что ли, — ответил я. — Теперь трудно ехать, дорога плохая, да и далековато, лесом!

— Сами не знаем, что делать! — говорят наши.

— А в котором часу должна завтра приехать комиссия!

— В десять утра.

— В десять? Э, пустяки, ночуйте вы здесь, а завтра встанем пораньше и покатаем в село, да так, что только пыль столбом. К восьми будем там. А теперь идите, как раз тут возле моего дома шинок есть, шинкарь человек порядочный, там переночуете, а завтра, помните, не запаздывать, я буду ждать вас.

Что делать? Рады не рады, ушли мы. А шинкарь как будто поджидал нас.

— Вы не от пана ли адвоката? — спрашивает.

— Да, да.

— Ну, ну, заходите, найду для вас место, ночуйте на здоровье! А может, что подать?

— Дайте, пожалуйста, по стаканчику водки, лучше будет спать.

Выпили мы, улеглись в добрый час и сразу заснули как убитые. Долго ли мы спали, бог ведает. Довольно сказать, просыпаюсь я — совсем светло. Подбегаю к окну, смотрю на солнце — уже за полдень. Оглядываюсь — все наши хозяева спят как убитые. Господи боже, что же это такое? Во сне ли это, или наяву? Закричал я изо всех сил — нет, не сон! Повскакивали и они — и тоже к окну! А что это? За полдень? Неужто ж мы так долго спали? Вот несчастье-то! Заметались мы, как пескари посоленные, а в голове у всех шумит, кости все ноют, как побитые! Зовем шинкаря: — Сколько вам за ночлег? — Немного, всего шесть гульденов. — Как? Что? Как это так? А он, ворюга, видя, что нам к спеху, что расшибаемся мы и волосы на себе чуть не рвем от нетерпенья, стал себе в дверях да только усмехается, бороду поглаживая. — Так у меня все гости платят!

Кое-кто из наших начал с ним торговаться, но где там, слова не дает сказать. Бросили мы ему деньги, сколько хотел, — и к адвокату. Прибегаем — нету дома, утром ждал-ждал нас, а потом один поехал, велел нам как можно скорей вслед за ним ехать. — А бумаги-то наши? — Бумаги оставил, вот вам ваши бумаги! — Вот тебе и на! Поехал, а бумаг не взял.—Господи милосердный, что с нами тогда творилось — и вспомнить страшно! «Что, ежели, думаем себе, там без нас уже порешили, общество проиграло, что нам люди скажут? Какая беда ждет нас впереди?» А мы точно наперед знали, что нас ожидало, да и нетрудно уже было тогда все наперед видеть!

Погнали мы домой, да не в село, а прямо на пастбище. Нет никого. Мы — в лес. Нет никого! А тут уже вечер подходит. Мы к пану на усадьбу, а там пенье, смех, угощение, музыка — это пан комиссию принимает. Смотрим мы, и наш адвокат тут, весь красный, веселый, говорливый. Сколько проклятий в ту минуту на него посыпалось — наверно, он за всю свою жизнь столько бутылок вина не выпил! Мы уже прямо одеревенели, не говорим ничего, ни о чем не спрашиваем, да и зачем? Сами знаем, беда стряслась. Как остолбенели, стоим на крыльце, стоим, дожидаемся и сами не знаем — кого и зачем. Господа вдруг нас увидали, хохочут в комнатах, но к нам никто не выходит. Панские слуги ходят мимо нас, тоже посмеиваются, над нами насмеваются, толкают нас, но нам ни слова. Панские собаки подбегают, обнюхивают нас, иные порычат, а другие и так отходят тихо. А мы ничего, стоим, как неживые. Уже смерклось, в комнатах зажгли свет, господа и барыни песни какие-то завели, на дворе дождь начал накрапывать, а мы всё стоим на крыльце, глаза в освещенные окна уставили, трясемся всем телом, а в сердце — отчаяние.

Но вот, наконец, уже поздно ночью, распахнулись двери, и начали один за другим выкатываться гости к своим бричкам. Раньше всех господа из комиссии. Проходя мимо нас, самый толстый из них остановился, поглядел на нас грозно и говорит:

— Вы кто такие?

— Местные.

— Что вам надо?

— Чем наш процесс окончился?

— Ваш процесс? И вы только теперь заявили узнать об этом? Пьяницы проклятые! Пастбища вам надо, лесу надо? А суммы нищенской не хотите? Ступайте домой и не смейте об этом и вспоминать! Прошла коту масленица! Пропали, Иван, твои деньги!

Вся комиссия захохотала, уселась в брички и поехала. Вслед за комиссией вышел наш адвокат, крадучись, точно вор, смущенный, пьяный будто.

— А, вы здесь, вы здесь? — лепетал он. — Ждал вас, ей-богу ждал, почему не приходили?

— А много вам наш помещик заплатил, чтобы вы нас в городе задержали, пока тут комиссия присудит в его пользу?

— Что? Как? А! Оскорбление!.. — лепетал он, усаживаясь в бричку, и покатил во весь дух со двора.

— Чтоб ты себе голову сломил! — проговорили ему мы вдогонку. Да и то напрасно: не сломил головы, собака!

А тут и пан наш вдруг точно вынырнул перед нами. Стоит, покачиваясь, в дверях.

— Хе-хе-хе, — говорит он с пьяным хохотом, — панове громада, местные обыватели, землевладельцы, доверенные, ну что там слышно? Как процессик идет? Ничего, ничего! Вот постойте, буду я вас теперь уму-разуму учить! Теперь запляшете вы под мою дудку! Я вам себя покажу, будете меня помнить!

И сдержал слово! Прикрутил всех так, что идохнуть нельзя! Правда, общество не сразу уступило. Подали мы протест, но протест отклонили. Тогда порешили мы защищать свои права силой, но этим еще больше себе навредили. Бабы, дети, взрослые и старики — все, как один, двинулись из села, чтоб не дать помещику занять выгон. Пан вызвал войско. Мы перед войском наземь попадали, кричим: «Хоть топчите нас, хоть стреляйте, а мы с этой земли не уйдем, это наше!» Но войско не стреляло и не топтало, а только, разделившись на две роты, двинулось на конях по хлебам, через плетни, и в село. Пришлось нам вернуться. Два месяца стояли

в селе солдаты. Какой был скот получше, повырезали и поели, всех нас разорили, а когда уехали, пан мог быть спокоен: общество было сломлено и разрушено дотла и вынуждено было само отдаться ему в руки.

Такая-то вот наша доля. Будет ли когда лучше, доведется ли нам хоть перед смертью вздохнуть свободней — бог весть! А помещик изо всех сил старается, чтоб все крепче и крепче опутать нас. Пять шинков в селе завел, школы нету, попа выбрал себе такого, что с ним заодно, а нам и посоветоваться-то не с кем, живем, как волы в ярме, даже и для детей не ожидаем лучшей доли...

*Май, 1883*

## Д О В Б А Н Ю К

*Посвящаю  
Степану Ковалеву*

Его собственно только прозвали так—Довбанюком—за то, что он неизменно ходил в одних и тех же шляхетских, обтянутых и, простите за выражение, «довбанных» штанах, то есть заскоружлых до того, что их долбить, «довбать» надо было. А настоящая фамилия его была Городисский. Шляхтич он был, правда, из захудалых, на таких, у кого ни кола ни двора, — но спеси шляхетской у него было столько, что ее хватило бы с лихвой даже графу. Плетется он, бывало, по улицам, весь оборванный, в полотнянке, года два нестиранной, забрызганной грязью по колени, — другой, не знаючи, подал бы ему кусок хлеба, как нищему, — а увидит, что навстречу селянин, надуется, как индюк, задерет нос в небо, будто звезды считает, и прет вперед напролом, несмотря ни на что. И попробуй только не уступить ему дорогу или задеть нечаянно его полотнянку, так обругает, так осрамит, что в глазах темно станет!

— Ах ты, хамло! Ах ты, мужик! Ах ты, разбойник! Не видишь разве, что я иду, не можешь посторониться!

Односельчане знали уже эту его фанаберию — только, бывало, улыбнется человек да скажет:

— Ну, ну, пан Городисский (не скажи «пан» — обидишь насмерть), уж простите на этот раз, я нечаянно!

И Городисский гордо кивает головой в знак того, что сменил гнев на милость, и поплетется дальше. А ког-

да это случалось с не знающим его или приедем человеком, тот, бывало, остановится, послушает ругань Довбанюка и, увидев, что это совсем никчемный чело-вечишка, начнет подтрунивать над ним:

— Смотри-ка, а отчего ж это пан не едет в карете четверкой, а все пешком по грязи шлепает?

— Погоди-ка, погоди, — вскрикивает на это Довбанюк, — придет еще время, когда мы, шляхта, будем на вас, хамах, ездить!

— Не дай бог такого! — смеется селянин, а Довбанюк еще больше неистовствует:

— Пахать на вас будем, да! А на ваших женах—бороновать, чтобы ты знал! Ты думаешь, я шучу? Подожди только, года через два Польша снова будет <sup>14</sup>, увидишь!

Услышав такие слова, селянин обрывал смех, с опаской поглядывал на Довбанюка, потом сплевывал, что было силы, и молча продолжал свой путь. А Довбанюк тоже сплунет и ворчит себе под нос:

— Вот хамы! Как распустились! Забыли уже дисциплину, совсем забыли! Но погодите, найдется еще на вас управа, узнаете еще, что шляхтич — это шляхтич, а не мужик. Только бы Польша вернулась!

Очень часто он, горемыка, покойницу — шляхетскую Польшу — вспоминал. И бог его знает, что ему представлялось: что тогда груши на вербе расти будут или калачи прямо с неба будут сыпаться? В одном только он был уверен: что тогда самому последнему шляхтичу каждый день будет масленица. А теперь у него, бедняги, каждый день страстная пятница. Трудиться так тяжело, как селянин трудится, ему, видите ли, неохота, а своих достатков у него только то, что на нем, — ну, а есть-пить надо. Вот где-нибудь сад постеречь, присмотреть на пасеке за пчелами (хотя пчел он очень боялся и в пчеловодстве ничего не понимал), во время жатвы всем миром (не за плату, а за угощение) повертеться около жнецов, провеять зерно на веялке или зимой щепок наколоть — вот и вся его работа. А если, бывало, никто и на такую работу не зовет, так он летом в лес по грибы тащится, соберет груздочков, сыроежек, маслят, разложит где-нибудь костерчик и печет их да ест. А зимой просто из хаты в хату таскается, посидит, посопит,

поговорит, если дадут что — перекусит, а нет — дальше поплетется.

Было в нашем селе несколько богатых шляхтичей, да еще и однофамильцев Довбанюка, все Городисские, хоть и не родичи. Так эти жалели его. Летом на работу зовут, да и зимой не забывают. Не знаю, уговор ли у них был меж собой, или еще что, но когда Довбанюк не бывал у них и не подкармливался, — давали они ему регулярно каждую неделю по гарнцу ячменной муки. Нам, детям, много забавы доставляло это!.. Как только придет субботний вечер, наш Довбанюк, ни слова никому не говоря, берет мешок и — в село. А мы, тоже ни слова не говоря, — за ним.

— А вы куда, ножички? (Всех детей он называл «ножичками».)

— Да так себе! Бежим послушать, где собаки лают.

— Дам я вам собак!

И он грозил нам пальцем. Очень, знаете ли, не любил, когда кто-нибудь подглядывал, что он делает или куда ходит. А нам только того и надо. Готовы в самый конец села бежать, лишь бы Довбанюка подразнить. И как уж он ни хитрил, через плетни прыгал, в кукурузе да в конопле прятался, чтобы обмануть нас, чтобы мы не узнали, в какую хату он зайдет. Да куда уж там спрятаться от четырех пар всевидящих детских глаз! Куда он, туда и мы за ним, и всё кричим:

— Пан Городисский, шлеп-шлеп! Пан Городисский, шлеп-шлеп!

— Ну, ну, — ворчит он из конопли, — нашлепаю я вас всех, если с глаз не уберетесь!

А как получит уже свой гарнец муки, так выходит из хаты прямо на улицу. Тогда уж не думает через плетни прыгать! Шествует по самой середине улицы, и не дай бог к нему подойти! И прямо в наш двор. Он давно был знаком с моим отцом, да и пасека у нас, сад; любил он посиживать у нас, когда ему делать было нечего. «Здесь мое пристанище, — скажет, бывало, — пока не прогоните». И сундучок его с барахлишком у нас в кладовке стоял. Даже горшочек свой и железную ложку хранил он в этом сундучке. Каждый день варил он в том горшочке себе болтушку из муки. Сварит, бывало,

разбавит водой, чтоб пожиже была, и хлебает. Мать не удержится, капнет ему немножко молока в это пойло, а он отвернется, будто не видит, чтобы не пришлось сказать спасибо. Не любил он, знаете ли, даже вида показать, что кто-то ему одолжение сделал, а уж попросить хоть безделицу у кого-нибудь — ни за что на свете, скорее с голоду пропадет! «Вот вам,— скажет, бывало, мать,— шляхетская фанаберия!» Да и успокоится: привыкли мы к старому Довбанюку.

Так вот, послушайте, какая дурь на старости лет забралась ему в голову! Было воскресенье, близко к Петрову дню, как раз в том году, когда эта самая польская рухавка<sup>15</sup> в Варшаве началась. Газет у нас тогда никаких не было, только глухие слухи ходили в народе, что, мол, «шляхта придет, мужиков резать будут» или по крайней мере «панщину вернут». Селяне очень приуныли, а шляхтичи, как на дрожжах, росли. Село наше, знаете, смешанное: бóльшая половина — мужики, меньшая — шляхта. А уж наш Довбанюк, так тот не раз и во сне кричал: «Погодите, хамы, скоро Польша будет! Мы вам!..»

С самой весны ходил он как очумелый. Работать— ни в какую, хоть режь его, а если бы и соблаговолил, так что толку с его работы! Пусть себе пчелы летят куда придется, пусть сорокопуты и другие птицы объедают черешни, пусть коршун всех гусят унесет — он ничего не видит, ничего не слышит! Ведь скоро Польша будет! Ну, и не диво, что пока там что, а наш Довбанюк здорово-таки голодал, можно сказать, почти умирал с голоду! На его беду, и грибов в этом году не уродило и рыба плохо ловилась. Кабы не тот гарнец муки, какой ему каждую субботу давали однофамильцы, так наш Довбанюк, так и не дождавшись Польши, с голоду бы погиб. Мать моя прокормить его не могла, потому что у нее и своих детей была целая куча и дотянуть до нового урожая было очень тяжело. Но Довбанюку все равно! Чем круче ему приходится, тем сильнее он горюет по своей Польше.

Сидим это мы на завалинке после обеда: отец, несколько соседей и мы, дети, а Довбанюк на пороге сеней свою болтушку ест, прямо из горшка, не разбавленную.

Погоревали хозяева о том, что до новины дотянуть тяжко, а потом перешли к восстанию, рассказывают, кто что слышал на ярмарке или от чужих селян.

— Толкуют, что москаль побеждает, — завел один.

— Кто это говорит? Кто смеет говорить? — даже вскрикнул Довбанюк, вскочив с порога и бросив в горшок свою железную ложку.

— Ой, пан Городисский, худо вашей Польше приходится! Там, сказывают, москали повстанцев, как рыбу бреднем, ловят, а с теми, кого поймают, такое делают, что вот — был петухом, а стал каплуном!

— Дураки рассказывают, а еще большие дураки слушают!

— Ну, да мы собственно потихоньку меж собой говорили, чтобы вам не пришлось слушать.

Дружный хохот. Довбанюк даже побагровел от злости, но ничего не сказал, молча опустился на порог и снова принялся за свой горшок с болтушкой.

— Вот и напрасно рассердили пана, — подтрунивает один из соседей. — Кто знает, а может, завтра Польша будет! Такое наденут на нас ярмо, что только ну!

— Что ж, ярмо так ярмо, — говорит другой. — Но, я думаю, пан Городисский не будет таким, проявит свою милость к нам, глупым мужикам.

А Городисский молчит, и только сопит да ячменную болтушку уплетает. Как вдруг залаяли собаки, а из соседнего переулка донесся тонкий, какой-то козлийный гслосок:

— Горшки чинить! Горшки чи-и-нить!

— Да что он, с ума спятил, что ли, — в воскресенье горшки чинить? — зашумели хозяева.

— Прошу прощения, я завтра чинить буду, а пока только ищу, где бы мне переночевать! — отозвался из-за плетня тот же козлийный голос горшечника.

— Ишь какой хитрый! Ну, иди сюда, иди! — сказал мой отец, указывая горшечнику на перелаз.

Горшечников у нас в ту пору очень охотно принимали, потому что горшечник все равно что газета, о всякой всячине расскажет. Бывало, набьется людей в хату, как на поминки, а он сидит себе на скамейке, да то да се плетет, что ему на язык подвернется,

а люди даже рты разинули и только ахают! Да и бродило этих горшечников много, что ни день — новый появлялся. Ходили даже слухи, что их нарочно подсылают. Кто говорил, что их паны подсылают — бунтовать селян, а кто наоборот, что подсылает их правительство, высматривать — не бунтуются ли селяне на самом деле!

Так и этот горшечник. Вошел во двор, поздоровался со всеми и присел на завалинке. Отдыхает. Соседи его спрашивают и о том и о сем, а он помалкивает. Слова два скажет и опять засопел. За несколько минут все село облетела весть о том, что горшечник объявился. Вмиг во двор к нам народ набежал — новости послушать. Вот тут-то наш горшечник и разговорился! Сначала заикался и мекал, плел что-то несусветное, а потом начал чисто по-польски—и ни о чем ином, а только о восстании. Пошел расписывать, как повстанцы бьют москаля, как француз и англичанка вот-вот полякам на помощь выступят, как и наш цесарь не против того, чтобы москаля проучить, как в некоторых местах и селяне присоединяются к восстанию, а паны не только освобождают селян от панщины, но дарят им леса и пастбища.

— Pòjdźcie, ludzie, pòjdźcie! — говорил он.—Ojczyzna woła! Sluchajcie piosneczki!\*

И затынул своим козлиным голосом:

Stòj, wrogu, stòj,  
Bo nie ustał bòj\*\*.

Распевая, он подскакивал, крутился на одной ноге, размахивал руками, держа в одной моток проволоки, а в другой — шило, которым горшки чинят. Люди слушали, смотрели, как на комедию, некоторые смеялись, а женщины крестились. А когда горшечник закончил песню страшными словами:

Powiesimy was po parze,  
Czynowniki, dygnitarzel —\*\*\*

---

\* Идите, люди, идите!.. Отчизна зовет! Слушайте песенку! (польск.)

\*\* Стой, враг, стой, Еще не кончен бой! (польск.)

\*\*\* Повесим вас парами, Чиновники, сановники! (польск.)

все дружно расхохотались, так забавно вертелся и кривлялся горшечник.

— *Pójdźcie, ludzie, pójdźcie!* — продолжал он призывать. — *Pokażcie, że wy wierne polskie dzieci!*\*

— Ну, и брешет же, сукин сын! — возразил благодушно один из селян. — Потому что мы и не дети и не польские!

— Горшечник, я иду с тобой! — раздался вдруг резкий, сильный голос. Все оглянулись и ахнули. На пороге сеней стоял Довбанюк с горшком недоеденной мучной болтушки в одной руке и с железной ложкой в другой и, не сводя глаз с горшечника, грозил, казалось, всему миру.

— Я иду с тобою, слышишь, горшечник! — повторил он. — А их не призывай — это мужичье ничего не понимает.

— Довбанюк! — крикнул ему мой отец, забыв даже потитуловать его паном. — Да ты рехнулся, что ли?

— Молчать, хам! — рявкнул Довбанюк, бросив на отца такой неопишимо пренебрежительный взгляд, какого я отродясь не видел и никогда не увижу. И, не говоря больше ни слова, он повернулся, вошел в кладовку, открыл свой сундучок, положил в него горшок, наполовину полный болтушки, и ложку, даже не вытерев ее, запер сундучок, спрятал ключ в сенях под ступой и, взяв в руки палку, вышел на двор.

— Ур-р-ра! — встретили его люди громким криком.

— Вот это казак так казак!

— Подпоясался, совсем собрался.

— Хоть в восстанье, хоть в просо воробьев пугать!

Насмешки градом сыпались на голову Довбанюка. А он молчал. Взял горшечника под руку, даже не поклонился никому, и ушли.

— Гей, военные музыканты! С почетом проводить пана капитана! — крикнул кто-то, и вмиг, откуда ни возьмись, собралась целая толпа мальчишек — одни с ведрами, корытами, лоханками, другие — с палками, да бац-бац, трах-тарарах, начали барабанить что есть

---

\* Идите, люди, идите!.. Покажите, что вы верные польские дети! (*польск.*)

силы! Я и сам, помню как сейчас, так дубасил по ведру, что чуть дно не выбил. Шум, крик, суматоха! А за этим оркестром другая толпа — и парни и мужики постарше, и знай горланят:

Пристань, Юрку, до вербунку,  
Будеш їсти з маслом курку!  
Будеш їсти, будеш пити,  
Довбеньками воші бити\*.

Ну, словом, с почетом проводили мы Довбанюка до самой околицы. А он ничего, ушел, даже не поблагодарил.

Прошла жатва — о Довбанюке ни слуху ни духу. Как в воду канул. Уже люди и смеяться перестали. Но вот в день Успения получилось как-то, что у нас на завалинке опять собралось немало народу. Сидят, беседуют. Как вдруг видят: ползет что-то по улице, оборванное, согнувшееся в три погибели, еле ноги волочит. Да и ноги хороши: все исцарапаны, окровавлены по самые коленки, потому что остатки штанов как раз только до колен и доходят. Ползет, и прямо к нам во двор, снимает с головы что-то вроде лопуха, лыком вязанного... Господи, да это он сам, это Довбанюк!

— Юрко, пан Городисский! Вы ли это? — раздалось сразу несколько голосов. Но ни в одном голосе и тени насмешки не было.

— Я! — ответил коротко Довбанюк и, казалось, с крайним напряжением всех сил разогнулся и гордо прошел сквозь толпу окружавших его людей. Все к нему с расспросами: что? как? где? куда? когда? — а он им ни слова. В сени, да под ступу, да в кладовку, да к своему сундучку. Отпер и первым делом — хват за горшок с болтушкой и за железную ложку. Горшок был полон, и ложка полна... плесени. А ему все равно! Как ни в чем не бывало, сел на тот же самый порог в сенях, снял плесень, да как начнет есть, как начнет!.. Все обступили его и замерли.

---

\* Запишись, Юрко, в солдаты, Будешь есть курицу с маслом! Будешь есть, будешь пить, Колотушкой вшей бити! (украинск.)

— Бедный человек! Два месяца ничего не ел!

С трудом мать вырвала у него из рук заплесневевшую болтушку и налила ему горячего борща, дала пирога, молока. С трудом поел он и пришел в себя. С трудом разговорился.

— Да где же вы были?

— А черт его знает! Где-то на границе.

— Что ж вы там делали?

— А черт его знает! Какие-то дубы таскал. Было нас двенадцать, таких же старых дураков, как и я. Привезли нас к какому-то пану и сказали—ждать распоряжений. Ждали мы, ждали, в лесу конечно. А потом пану это надоело, и он говорит нам: «Вот, делать вам здесь нечего, так таскайте вон те дубы с той стороны границы на эту сторону». А там такие леса да дебри, что не дай бог! «Это,—говорит,—на случай, если война сюда доберется». Таскать заставляет побыстрее, а кормит все хуже и хуже. Таскали мы, таскали, — смотри как натаскались! — а потом взяли и сбежали.

— Да где же бродили так долго?

— А черт его знает! Больше всё по лесам.

— И никто вам ничего не говорил?

— Нет, никто. Я надеялся — хоть арестуют и по этапу в родное село отправят, — так нет, не пожелали. Пришлось самому, оборванному и голодному, добираться. Господи, чего я только не испытал, чего не испытал!..

— Ну, а в восстании участвовали?

— А черт его знает! Кажется, нет.

— Ну, а Польша будет? — сорвалось невольно у кого-то с языка.

Довбанюк только голову опустил. Молчал, молчал, а потом вскочил, топнул искалеченной ногой о землю, взмахнул своей железной ложкой в каком-то неопределенном направлении да во все горло как крикнет:

— А черт бы их всех побрал!

*Львов, февраль 1886*

## КУСТАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

*Рассказ ложкаря*

Вычитал я в газетах — а я немного знаю грамоту, — что дал бог нашему краю такого доброго маршалка<sup>16</sup>, который говорит: «Все силы приложу, чтобы только кустарный промысел в Галичине поднять. Пусть что угодно падает и пропадает, а кустарный промысел должен подняться!»

Читал я и о том, как восхваляют наш кустарный промысел такие важные господа, как граф Дедушицкий \*, господин Вержбицкий\*\* и прочие, как они за большие деньги скупают гуцульские тарелки, покутские вышивки, старые коврики, украшения из бисера, пояса и деревянные изделия, и не только выставляют их напоказ всему свету, а еще и картинки с них рисовать велят и книжки о них пишут. Ну, думаю, слава тебе, господи! Пожалуй, заглянет солнце и в наше оконце. Авось и мне судьба улыбнется. А надо вам сказать, что и я, хотя и свою землю имею и человек вроде зажиточный, а все же помаленьку этим кустарным промыслом зани-

---

\* Речь идет о покойном графе Владимире Дедушицком, основателе ценного природоведческого, археологического и этнографического музея во Львове. (Прим. Ив. Франка.)

\*\* Г-н Людовик Вержбицкий в 1880 г. был директором городского промышленного музея во Львове, издал ценный атлас «Wzory przemysłu domowego włościan na Rusi» в 10 выпусках. (Прим. Ив. Франка.)

маюсь. Правда, промысел не бог весть какой: режу из дерева ложки, корыта да кропила. Это уж в роду у нас так повелось, от деда-прадеда. Есть у нас с незапамятных времен свой лесок, сплошь береза, липа, клен и ясень, и так уж у нас заведено, что кто в семье сколько-нибудь старых деревьев срубит, тот должен вдвое больше молодых насадить. А средних вовсе рубить нельзя.

Еще раз скажу, — промысел не бог весть какой. Ежели срублю три старых дерева, так хватит материала на год, а то и на два. Работаю большей частью на казну, на заказ, а для продажи, может, раз в год вывезу, что останется, что люди прямо из дома не возьмут. Разве что кропила дважды в год вожу в Кальварию<sup>17</sup> к прощеному дню, в Самбор на престольный праздник да в Дрогобыч на троицу. А ложек моих на ярмарках нигде не увидите. За ложками ко мне люди из-за тридевяти земель ходят, и сколько ни выработаю, всё разбирают. Не буду хвалиться, скажу только то, что люди говорят: нет моих ложек лучше. И легкие, и удобные, и прочные. Не знаю, известно ли вам, что у нас по селам каждый ложкарь свой способ имеет, свою форму ложек: один такие нескладные делает, как лопаты, другой слишком выгнутые, так что, когда ешь, обязательно у самого рта прольешь, а иной, смотришь, и хорошо работает, а древесину так перережет, что едва ложка полежит немного на солнце либо просто от кухонной жары — сразу трескается. Казалось бы, не велико искусство — деревянную ложку вырезать, а все-таки надо иметь сноровку, знать толк в материале, уметь его как следует порезать, уметь высушить, ну, и во всем прочем в самую точку потрафить. И не из каждого дерева хорошее изделие будет, надо и дерево подобрать.

У меня промысел, как я сказал, от дедсв-прадедов ведется. Так вот, обычно, только я со своим старшим сыном засяду ложки делать, — в нашей хате настоящая ярмарка. Молнией по селам весть разлетится: «Яць Яремишин засел ложки делать!» И сразу, на следующий день, народ повалит, а впереди свои, односельчане. Им первое место и цена подешевле — такой уж издавна между нами уговор, а это, видите ли, за то, что мой лесок берегут. В казенном или в помещичьем крадут, кто что

может, а в моем ни прутика не тронут, хоть он и под самым носом. Ну, давний обычай, и все мы его соблюдаем. А пока своих уболагодворю, уже, смотришь, из других сел, как за святой водой, в очереди дожидаются. «Для меня, братец, копу!»\*, «А для меня полкопы!», «А для меня на пару с Олексой копу!» Запишу всех, назначу срок, когда будут готовы, и они уходят. Ну уж если кто издалека, с Днестра, из Долины придет, тех неловко ни с чем отправлять: ждут, пока не сделаю столько, сколько им надо. Не раз по пять, а то и по десять человек ночует у меня, то под навесом, то на току в овине. А вечером, ясное дело, надо угостить людей, чем бог послал. Мы с сыном работаем на станках; каганец, бывало, светится, а гости усядутся на лавке, беседу ведут, рассказывают, как им живется, какие у них новости, и каждый при этом следит глазами за моей работой, — скоро ли придет его очередь.

Таков-то был наш кустарный промысел с давних, незапамятных времен. Прибыли от него немного, ведь цена ложки — пустяк, а возни с ней порядочно; ну, лишь бы человек с людьми хорошо жил, встречался, имел знакомых, почет имел в окрестных селах, где бы ни показался, — ну и не без того, чтобы кое-что в хозяйство иногда не перепало.

Так вот, прочитавши, что там, во Львове, появился такой добрый маршалок, который хочет стать опекуном нашего кустарного промысла, я даже бога возблагодарил на радостях. Правда, не мог я разобрать, каким же способом хочет господин маршалок поднять наш промысел, но обрадовала меня сама добрая воля. Уж наверняка, думаю, такой мудрый и важный пан найдет способ, какой нам, простым мужикам, и не снился. Пока и хорошо, что обратил на нас свое внимание: поможет — не поможет, так хоть защитит нас от спекулянтов-евреев, а они уже многих знакомых мне ложкарей так хитро к рукам прибрали, что бедняги день и ночь всем семейством сидят и режут ложки для них по десять крейцеров за копу. Материал дают спекулянты — это так, но за работу такой горемыка получает столько, что с большим трудом

---

\* Шесть десятков (украинск.)

еле-еле может прокормиться. Пробовали спекулянты и ко мне подъехать, да не удалось: у меня своя земля и свой материал, да и не таковский я, чтобы меня поймать. Давали даже деньги взаймы и набивались в компанию. «Давайте, говорят, сообща фабрику деревянных изделий оснуем». И тем меня не взяли. «Оставьте меня в покое, — говорю я им, — ищите себе под стать компаньонов, а я буду по-старому работать». С той поры стали они подкапываться под меня. Начали подстрекать податного комиссара, чтобы наложил на меня налог. Но комиссар был честный человек, он им на слово не поверил, приехал ко мне, осмотрел мои инструменты, мой лесок, мой склад сухого дерева, поговорил с соседями, и, убедившись, что я делаю ложки только в свободное от хозяйства время и в небольшом количестве, оставил меня в покое, а спекулянтов прогнал ни с чем.

«Ну, конечно же, самое первое дело — чтобы защитить наш кустарный промысел от таких непрошенных опекунов», — подумал я, прочитав об искреннем расположении к нам господина маршалка. — Эге, — говорю я радостно всем своим знакомцам, — смотрите, пожалуй, и из нашего Подгорья на всю Галичину свет прольется! Ведь пан маршалок родом из Старого Места\*, наш близкий сосед! Смело могу сказать, — из моих и моего отца ложек кормили его, пока стал человеком. Староместские спокон веку только у нас ложки пскупают. И уж наверно в наших корытах его ребенком купали и нашим кропилом кропили! Вот и не диво, что вспомнил о нас теперь, когда таким важным барином стал. Посмотрим, какую он для нас помощь придумает!

А люди слушают эти слова и тоже радуются.

— Ну что ж, дай боже, дай боже, чтобы от нас, простых людей, для всего края польза получилась!

Один только Фома неверный нашелся в селе — даже и звали его Фома Губатый.

— Э, — говорит, — кум Яць, вы и сейчас не можете пожаловаться на свою долю, а на панскую помощь не надейтесь! Я панов не осуждаю, но одно вам скажу,

---

\* Речь идет о бывшем красном маршалке Николае Зибликевиче. (Прим. Ив. Франка.)

как старей человек: никогда панская милость мужику на пользу не шла. Недаром старые люди и присловье сложили: не меряй своего носа с панским, будет твой длиннее — тебе урежут, будет короче — тебе натянут. Панская милость на быстром коне ездит.

— Я против этого, кум Фома, не спорю, — сказал я, — и ни на какую панскую милость не рассчитываю, но думаю, что если людям будет лучше, то и мне будет лучше, и что пан маршалок слов на ветер не бросает.

Так мы толкуем между собой, судим да рядим, а тут приходит новый номер газеты, той, которую мы с кумодьяком сообща выписываем. Пишут там длинно-предлинно о каких-то «обязательных корпорациях». Что за черт? Читаю я, читаю, сперва ничего не понимаю, а потом вижу, что речь идет о ремесленных обществах. Прежние цехи должны быть восстановлены, из самой Вены приказ пришел. «Э, думаю, это не про нас писано. Цехи — это для городов, для ремесленников, а у нас по селам, с тех пор как свет стоит, никаких цехов не было и не будет».

Случилось это в конце мясоеда, зимою, а перед крестопоклонной неделей засел я с сыном ложки мастерить. Работаем день, работаем другой, третий, народу все прибывает, беседуем. Как вдруг входит стражник.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Бог на помочь!

— Дай боже! Спасибо на добром слове.

Сел он на скамье у окна, глядит на нашу работу, а потом и говорит:

— А что это у вас, хозяин, столько народу?

— Да вот за ложками поприходили.

— Так вы ложки делаете?

— Ну да, делаю иногда, если кто закажет.

Взял он готовую ложку, осмотрел.

— Хорошая работа, — говорит. — Где вы научились этому ремеслу?

— Нигде. Это у нас в роду, от отца к сыну переходит.

— Ах, так! А ремесленное свидетельство у вас есть?

Я вытаращил на него глаза, как — не при вас будь сказано — теленок на новые ворота.

— Что это вы на меня так уставились? — говорит стражник, усмехаясь. — Не понимаете меня, что ли?

— Ну, да, не понимаю, — ответил я.

— Разве вы не знаете, что вышел такой закон, чтобы никто не смел заниматься никаким ремеслом, кто от своего цеха не имеет ремесленного свидетельства?

Я остолбенел от этих слов.

— Ремеслом? — проговорил я. — Да разве это ремесло?

— А что же это такое?

— Это... это кустарный промысел.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся стражник. — Хорош мне кустарный промысел, если вы товар для продажи вырабатываете! Вот если бы вы только для своего дома мастерили, это был бы кустарный промысел, а так — это ремесло.

— А как же я получу свидетельство от цеха, ежели я к нему не приписан?

— Это ничего не значит. Если признают, что вы мастер, то свидетельство вам дадут. А пока такого свидетельства у вас нет, работать для других вы не имеете права.

С этим стражник и ушел, а мы остались, словно кипятком ошпаренные.

Батюшки-светы, что тут делать? Запрягаю лошадей, еду в город, а сына оставляю при работе: нельзя же столько чужих людей ни с чем отправить. Беру с собой на всякий случай немного денег — и айда! И только по дороге пришла мне в голову мысль: «Ба, да и к какому же цеху могу я приписаться? Какой мастер может выдать мне свидетельство, если в городе ни один ремесленник выделкой ложек и кропил не занимается? Ну, ничего не поделаешь, — рассуждаю я, — придется обойти всех, кто только занимается обработкой дерева, может, кто и выдаст мне это проклятое свидетельство.

Приехал я в город, иду прежде всего к знакомому колеснику. Рассказываю ему, в чем дело: так, мол, и так, где искать помощи? Тот поначалу рассмеялся, а потом, когда я ему объяснил, что у нас в селах стражники шутить не любят, задумался.

— Что ж, пан Яремишин, — говорит, — если так, надо что-нибудь придумать. Видите ли, у нас есть толь-

ко два цеха по деревянным изделиям: колесники и столяры. Есть тут один плотник, так тот к столярам пошел, и один бондарь — тот в колесном цеху сидит. Куда бы вас присоединить, я и сам не знаю. Идемте, я пойду вместе в вами сначала к нашему цехмейстеру<sup>18</sup>, поговорим с ним, а если у него ничего не выйдет, пойдем к столярному.

— О, дай вам бог, пан мастер, за вашу услугу! — сказал я.

Пошли мы. Колесный цехмейстер, когда я рассказал ему о своем деле, наморщил лоб и зашевелил усами.

— Выделка ложек к нам не относится, — ответил он коротко.

— А к кому же относится? — спрашиваю его.

— Разве я знаю? Это уже ваше дело, не мое.

Вышли мы, идем к столярному цехмейстеру. Этот лакировал какой-то стол и весь был вымазан скипидаром. Попросил нас сесть на какие-то доски, сам оперся о стол и позвал подручного, чтобы тот сухими руками напихал ему в нос табак, чихнул раза три и, выслушав мою просьбу, закричал:

— Что за черт! Как же я выдам вам ремесленное свидетельство, что вы умеете ложки делать, если я сам в этом деле ничего не понимаю? Да у меня у самого ложки покупные.

— Так куда же мне идти за таким свидетельством?

— Не знаю, милые мои. Лучше всего ступайте в уездную управу, там вам все объяснят.

Думаю: что ж, в управу так в управу. И верно, есть в этом резон. У нас во всяком деле лучше всего в управу идти. Будь то подать, или заразная болезнь, или церковное дело, пожар или школа, дорога или мост, или жалоба на старшину, — со всем иди в управу.

Иду, попрощавшись с моим знакомым колесником, но только вышел я на рынок, к ратуше путь держу (уездная управа помещается в ратуше), как вдруг мой колесный цехмейстер хватить меня за полу.

— Послушайте, хозяин, — говорит, — а вы в своей работе токарным станком пользуетесь?

— Нет, не пользуюсь.

— А каким же инструментом пользуетесь?

— Топор да пила, нож, резец, скобель — вот и все наши инструменты.

— Ну, так бы вы и сказали! — вскрикнул он радостно. — В таком случае вас, ясное дело, надо приписать к бондарям. А так как у нас отдельного бондарного цеха нету, а единственный здешний бондарь принадлежит к нашему цеху, то и вам придется к нам поступить.

— Это вам сам бог подсказал, пан цехмейстер! — воскликнул я, сдуру обрадовавшись. — Значит, я смогу у вас получить это несчастное свидетельство?

— Ну, это мы еще посмотрим. Порядок требует, чтобы цеховые свидетельства не выдавались никому, кто не обучался у цехового мастера и не сдал испытаний.

— Побойтесь бога, — вскрикнул я, — пан цехмейстер! Уж не прикажете ли вы мне идти теперь к колеснику или бондарю учиться выделывать ложки, если они сами не умеют их делать?

— Ну, ну, — сказал цехмейстер, усмехаясь, — я этого вам не говорю, но цеховые правила вы должны выполнить.

— Какие же это правила?

— Пробу должны сдать, это первое.

— Пробу? Какую же это я вам пробу могу сдать?

— Каждому цеховому мастеру по полдюжине ложек, а мне две дюжины, вот вам и проба будет.

— Ну, это бы еще можно сделать.

— Но это не все. Нужно будет внести приписной взнос в пять гульденов, на освещение цеха еще пять, ну, а за то, что мы вам без отбывания ученичества свидетельство выдадим, вы должны внести установленную плату в сорок гульденов, и, наконец, разумеется, угощение для цеховой братии. После этого выдам вам свидетельство, с ним пойдете в податное управление, получите окладной лист, с листом пожалуйста ко мне, впишу вас в реестр цеховых мастеров...

И он выкладывал все это так спокойно и рассудительно, словно уже распорядился за столом угощением для цеховой братии. Злость меня взяла, не дослушал я до конца его болтовни.

- Будьте здоровы, пан цехмейстер! — крикнул я.
- Ну, что же, куда же вы?
- Домой.
- Ну, а цеховой билет?
- Спасибо, уже не требуется.
- Это почему же?
- С нынешнего дня бросаю свой кустарный промысел.

Знаете, пан цехмейстер, всего того, что вы тут насчитали, я и за десять лет не заработаю, не говоря уже о материале. Оставьте при себе свое свидетельство и свой цеховой гонор! Обойдется цыганская свадьба без пряников.

И я пошел, надвинув шапку на уши, чтобы не слышать, что кричал мне вдогонку пан цехмейстер.

Приехав домой, я тотчас отослал приезжих, говоря им, что больше не буду мастерить ложки, а инструменты все спрятал в сундук, запер на замок и отнес в чулан, — пускай лежат до лучших времен.

Через несколько дней стражник снова ко мне в дом.

— Ну что, есть у вас ремесленное свидетельство?

Я рукой махнул.

— Бог с ним, — говорю, — зачем оно мне теперь! С этого времени я не думаю даже прикасаться к ложке, разве только за едой.

— Ну! Помните! Если будете продавать и мы поймаем вас, то заберем все инструменты и еще пятьдесят гульденов заплатите!

— Неужто? Ну, это предупреждение действительно стоит запомнить.

Так и расстался я со своим промыслом. Почувствовал себя сразу, как без рук. Хожу, тоскую, а потом с тоски и надумал: «Погоди же ты! Напишу письмо самому пану маршалку!» И написал. Все ему выложил. Как из ложек нашей работы его превосходительство в детстве кормили, как теперь мы ждали от него защиты и помощи и как нас нежданно-негаданно эти цеховые правила подкосили, — все по порядку. Описал я ему также, сколько в наших местах кузнецов, сапожников, ткачей, плотников и прочих ремесленников из-за этих цехов куска хлеба лишились и, наконец, как вся эта история с цехами только евреям-спекулянтам на пользу вышла, потому что

спекулянт ловит таких разорившихся ремесленников, берет их к себе будто бы на службу, выправляет на свое имя окладной лист и говорит горемыкам: работайте... Спекулянт обогащается, а они еле дышат...

Написал я обо всем этом и послал во Львов в собственные руки самого пана маршалка. И вот поди же ты: как послал, так и до сегодня никакого ответа нет. Ну, оно и понятно: разве захочет такой важный барин отвечать на писанину простого мужика! Одно меня удивляет: зачем же в таком случае так громко кричать о поднятии кустарного промысла?..

*Львов, январь 1887*

## К О Н Т О Р Ш И Ц А

### I

Целя проснулась рано, ровно в половине седьмого. Проснулась по привычке. У нее через день утренние занятия на почте, где она служит экспедиторшей. Утренняя работа начинается в семь и продолжается до двух часов дня. Целя, добросовестная и точная в исполнении своих обязанностей, как вообще все служащие женщины, давно привыкла просыпаться в половине седьмого, нужно это или нет, и никак не может больше уснуть.

С минуту она вглядывалась своими черными большими глазами в противоположную стену с нарисованными на ней синими арабесками на сером фоне. Посредине стены висело большое зеркало в широкой золоченой раме, а по обеим сторонам его — две группы фотографий в резных деревянных рамах. Это были фотографии ее подруг по школе и по службе на почте. Целины глаза довольно долго задержались на этих снимках, хотя черт лица на них нельзя было разглядеть: в комнате стоял легкий полумрак, так как единственное, выходящее на улицу окно было закрыто деревянной шторой.

— Который-то теперь час? — шепнула Целя и, протянув руку, взяла с круглого столика, стоявшего тут же у нее в головах, крошечные золотые карманные часики. Хотя она и знала по опыту, что просыпается всегда в одно и то же время, но сама себе не доверяла.

— Половина седьмого! — сказала она. — А мне казалось, что я проспала. Правда, нынче утром мне на службу не идти, но баловать себя не надо. Prospлю сегодня, могу проспать и завтра и опоздаю на службу!

С этими мыслями она подняла голову и села на постели. На ней была только рубашка, обшитая вверху кружевом, перехваченная на плечах и закрывавшая ей грудь и спину; прекрасные же, точно выточенные из слоновой кости, руки и шея оставались обнаженными. На дворе стояло майское утро. Ласковые розоватые лучи солнца проникали сквозь деревянную штору в комнатку молодой девушки, наполняя ее теплом и ароматом весны, к которому примешивался запах одеколона, в флакончике на туалете, и цветущей резеды в большом горшке на окне. Целя некоторое время сидела как бы в забытьи. Ей было приятно вдыхать этот теплый, насыщенный ароматом воздух, приятно было тонуть в этом полумраке, смягчавшем все очертания и краски, отдыхать в этой тишине, изредка нарушаемой стуком колес по мостовой или звуками отдаленной военной музыки, играющей марш где-то на третьей улице.

Но забытье продолжалось недолго. Целя встрепенулась, тряхнула головкой с пепельными, коротко стриженными, мягкими, как шелк, волосами, надела чулки и туфельки собственной работы и быстро соскочила с постели. Она чувствовала себя здоровой, свежей, молодой. Сон подкрепил ее; все, что было неприятного вчера, позавчера и во всем прошлом, теперь как будто не существовало. Ее мысль, еще полусонная, отдыхает со сложными крылышками и не вылетает за порог этой комнатки, не заглядывает в будущее. Что ей будущее! Что прошедшее! Как-нибудь все обойдется! Целя чувствует в эти минуты только то удовольствие, какое дают правильное движение собственной крови, тепло собственного тела, нежность собственной кожи, ощущение здоровья, силы, крепости своих мускулов. Она взглянула в зеркало, шутливо подмигнула своему отражению и искренне рассмеялась, показывая два ряда ровных, мелких, белых зубов из-под нежных розовых губ.

Через минуту она набросила на себя легкую коленкорую юбочку и белую кофточку. Зато умывание отняло

у нее гораздо больше времени. В большой чашке вода была приготовлена еще со вчерашнего дня, и Целя с подлинным наслаждением погружала в нее руки, мыла лицо, шею и плечи мягкой губкой, отряхивая, как воробушек, крупные капли, которые повисали на ее длинных ресницах или скатывались с шеи на грудь. Это был самый приятный момент ее утреннего туалета, упрощенного до крайности из-за служебных обязанностей, — тем более приятный, что Целя могла наслаждаться им в полной мере только через день, когда работа начиналась после полудня. В дни утренних занятий надо было спешить.

Умывшись и вытершись полотенцем, Целя расчесала перед зеркалом волосы, разделяя их надо лбом на две равные части, а затем в несколько минут совершенно закончила свой туалет, спокойно, последовательно, без чьей-либо помощи. Мгновение она постояла, выпрямившись, посреди комнаты, широко развела руки, потом соединила их над головой и, опуская вниз, слегка хрустнула пальцами. Затем подошла к окну и, легко потянув за шнурок, подняла штору. Золотой волной хлынул в комнату солнечный свет, заливая ее ослепительным блеском. Прикрыв глаза левой ладонью, Целя, в упоении от этого блеска, тепла, физической полноты жизни, весны и молодости, улыбающаяся и раздумывавшаяся, поклонилась восходящему солнцу и воскликнула своим звучным голосом:

— Ах, как хорошо! Здравствуй, солнце! Здравствуй, весна! Здравствуй, небо голубое!

## II

— А с кем это панночка разговаривает? — послышался вдруг в дверях голос старой служанки, вошедшей убрать Целину комнатку.

— Милая Осиповна, — сказала Целя, не отвечая на этот вопрос, — не пора ли завтракать?

— Что это панночка вздумала? — воскликнула добродушно Осиповна. — Ведь сегодня панночка не идет на службу и завтракает вместе с господами. А господа еще

спят. Пожалуй, завтрак будет не раньше, чем через час. Я еще и огонь не разводила и кофе не молола.

— Да, правда! — сказала Целя, и в голосе ее послышалось легкое разочарование. — Придется подождать.

На столике лежала наполовину прочитанная книга, взятая неделю тому назад из библиотеки. Целя была не из очень усердных читательниц, но в таких случаях, как этот, когда нужно ждать часа полтора, уйти никуда нельзя, а говорить не с кем, книга была ее единственным развлечением. И она уселась у окна, с той стороны, куда не проникало солнце, и начала читать, а Осиповна в это время застилала постель и убирала комнату. Но, очевидно, книга была не особенно занимательная, так как Целя, не дочитав до конца даже страницы, отложила ее в сторону, полила свои цветы, стерла пыль со столика, с обоих кресел и большого стола, а затем с зеркала, с фотографий и с окна. Вертясь по своей комнатке, она попробовала тихонько запеть какую-то песенку, но пение скоро оборвалось, а на личико девушки набежала тень.

— А если мне не доставляет удовольствия завтракать с хозяевами! — сказала она вдруг, гордо поднимая голову, словно отвечая на чьи-то уговоры. — Если я не хочу слушать глупой болтовни пана Темницкого, не хочу быть мишенью огнестрельных взглядов панича Темницкого! Я ведь не обязана подчиняться им! Ведь я плачу им за стол и за квартиру! Ведь не из милости же они держат меня!

Вся ее фигурка дрожала от волнения при одном только воспоминании о компаньонах общих завтраков. Молодой лоб наморщился, глаза утратили свой ласковый солнечный блеск, а в уголках рта появилась какая-то складка горечи и боли, которой за минуту перед тем никто бы не заметил.

Целя была круглая сирота, без отца, без матери. Старик дедушка посылал ее в школу, а потом добыл ей с помощью каких-то знакомых место на почте (без протекции нельзя было получить даже такого мизерного места!), куда ее после соответствующего экзамена приняли сортировщицей писем. Больше старичок ничего не мог для нее сделать, но и за это Целя благословляет его память. Жалованья экспедиторши — тридцать пять гульденов

в месяц — хватает на скромную жизнь; для того же, чтобы одеваться и иметь деньги на развлечения, Целя в свободное от службы время дает уроки музыки на фортепиано и французского языка двум дочкам владельца каменного дома. В перспективе у нее, через несколько лет или несколько десятков лет службы, — самостоятельное почтовое отделение где-нибудь в провинции, маленький домик с маленьким садиком в маленьком городке, цветы под окнами, старая служанка на кухне и тихая уединенная комнатка. Панна Целина, правда, редко забегает мыслями в такое далекое будущее, но всегда, когда это с ней случается, начинает почему-то вздыхать — не то от тоски по такой идиллии, не то от полусознанного чувства, что, несмотря на свою идилличность, эта картина таит в себе какую-то пустоту, какие-то темные бездны.

После смерти деда Целя перешла жить к пану Темницкому. Пан Темницкий был приятелем покойного деда и у его смертного одра обещал ему заботиться о бедной одинокой сироте. Пан Темницкий был невысокого ранга чиновник на пенсии, ему было шестьдесят восемь лет, у него была жена, старше его на пять лет, глухая, как пень, и единственный сын, окончивший в Вене медицинский факультет и практиковавший там же в клинике. Пан Темницкий был, что называется, «веселый старичок»: лысый, с большими усами и мохнатыми бровями, румяный, толстогубый, всегда улыбающийся, с маленькими, заплывшими жиром глазками и крепкими зубами; рядом со своей женой он казался ее сыном и выглядел моложе ее по крайней мере на двадцать лет. Жил он на свою пенсию скромно и аккуратно, нигде не служил и ничем не занимался. Весь день сидел в своем кабинете, курил трубку и читал газету, а вечером отправлялся в клуб, откуда возвращался к десяти часам, чтобы не платить чаевых швейцару. В клубе, то есть в обществе своих ровесников, он слыл шутником и ловеласом и, несмотря на седьмой десяток, до сих пор не утратил вкуса к приключениям или, как он сам говорил, к «маленьким волнениям». Но дома за завтраком или обедом заполнял все свободное от жевания время своей болтовней, спокойной, монотонной и усыпляющей, и тогда был похож на жирного кота, который, приятно мурлыча, высматривает лакомый

кусочек, но не хочет раньше времени сделать усилие, чтобы схватить его, так как хорошо знает, что в свое время лакомый кусочек сам попадет в его бархатные лапки.

Уже полгода жила Целя в семье Темницких, изо дня в день слушая монотонную воркотню пана Темницкого и наблюдая его двусмысленные улыбки. Вначале ее забавляла его болтовня, но потом приелось ее однообразие и ограниченность его кругозора. Она пробовала спорить с ним, но это оказалось невозможно; все ее слова он встречал добродушным смехом, как шалости ребенка. Но так как пан Темницкий никогда не выходил из границ добродушной шутки и не позволял себе ничего, нарушающего правила приличия, Целя чувствовала себя при нем спокойной. Спасал ее также траур, который она носила по деду и который отчасти сдерживал пана Темницкого. Но вот несколько недель назад приехал из Вены молодой Темницкий, врач, и сразу внес с собой в это тихое гнездо какую-то острую, удушливую струю, от которой Целю с первой минуты охватила тревога и грудь сжалась в неясном предчувствии какой-то опасности.

Доктор Темницкий был высокий, плечистый мужчина, крепкого сложения, с правильными чертами лица, с густой темной шевелюрой. Движения его были медленны и важны, голос — баритон, чуть хрипловатый, взгляд холодный и точно пронизывающий насквозь. Каждое его слово, каждое движение говорили о том, что этот человек очень высокого мнения о своей особе, что он умеет владеть собой, но в то же время умеет и любит властвовать над другими и привык преодолевать всякие трудности, стоящие на пути его замыслам. Враг всякой сентиментальности, он смотрел на мир холодным взглядом анатома и издавна привык судить всех и вся только с точки зрения своего собственного «я». Враг веселья и шуток, он употреблял только одно выражение с оттенком юмора, а именно еврейское выражение «Wus tojgt mir dis?» (на что это мне нужно?) Это был его девиз, единственная мерка, с которой он подходил к каждой новой вещи, оценивая ее достоинства. Словом, был это человек насквозь «положительный» и реальный. Хотя ему было, наверное, не больше тридцати лет, но казалось, что у него

никогда не было «бурной» молодости, он никогда не предавался никаким иллюзиям, не знал увлечений и энтузиазма, что вся жизнь его была ровной, прямой линией, без уклонов, скачков и зигзагов, без чрезмерного напряжения, но и без слабостей и падений. Как в хорошей машине, так и у него все, казалось, было рассчитано, взвешено и приведено к устойчивому равновесию.

Первая его встреча с Целиной была очень холодна и шаблонна. Старый пан Темницкий представил ей своего сына, тот поклонился, Целя ответила на поклон, доктор буркнул «очень приятно» и сейчас же отвернулся, кончая свой прерванный рассказ о каком-то клиническом случае. Но через минуту, заметив, что Целя внимательно приглядывается к нему, он сказал тем же спокойным и серьезным тоном:

— Должен показать вам, отец, фотографию моей невесты.

Отец только рот раскрыл и сделал большие глаза, так как ни о какой невесте своего сына он ничего не слышал. Но сын с непоколебимым спокойствием продолжал, искоса поглядывая на Целю:

— Дочь старшего врача главного венского госпиталя, единственная наследница громадного дома на Грабене<sup>19</sup>. Обручение состоялось еще на масленой. Я ничего об этом не писал, так как хотел сделать вам сюрприз.

Несмотря на это объяснение, отец не переставал поглядывать на сына с изумлением и недоверием, как на диковину. Глухая пани Темницкая, не слышавшая разговора, видела только, что «папочка» забыл о бульоне, и тронув его рукой за локоть, сказала гробовым голосом:

— Папочка, бульон остынет!

Тем временем доктор, сидевший за столом против Целины, обратился к ней с какими-то совершенно безразличными вопросами, на которые девушка ответила коротко, почти не поднимая глаз от тарелки. А после обеда, когда Целя поспешно ушла на службу, пан Темницкий, еле усидевший на месте от нетерпения, обратился к сыну:

— Побойся бога, Милька! Что это за невеста, о которой ты говорил?

— Невеста? — ответил спокойно доктор. — Никакой невесты у меня нет.

— Ну, так я и думал. Но что же это за историю ты выдумал?

— Это для той, — он кивнул головой в сторону Целиной комнаты. — Вижу, уставилась на меня, как на радугу. Ну, а я люблю каждый вопрос ставить сразу ясно, реально. Пусть детка не строит себе на мой счет никаких иллюзий.

— Ха-ха-ха! — засмеялся пан Темницкий. — Ну, и хитер же ты, доктор! Вот хитер, так хитер! При первой же встрече с панночкой сразу предостерегает ее: подальше от меня! Я обручен!

— А оно и лучше так, — сказал важно доктор. — Пусть заранее знает, чего от меня можно ждать, а чего нельзя.

Однако оказалось, что и сам пан доктор не очень хорошо знал, чего от него можно ждать, а чего нет. Несколько дней он сидел напротив Целины, не обращая на нее особенного внимания, едва перекидываясь с ней несколькими незначительными фразами. Потом он стал еще неразговорчивее, о своей невесте не вспоминал, но зато стоило Целе поднять глаза, как она встречала его холодный, прикованный к себе взгляд. Прошло еще несколько дней — и в небольших черных глазах доктора Целя заметила какие-то искорки, мерцавшие, словно гнилушки в темноте, и разгоравшиеся с каждым днем все сильнее. Было что-то непонятное и зловещее в этих искорках, что-то такое, что отнимало у Цели аппетит и замораживало в ней всякий радостный порыв. Когда же доктор порою заговаривал с ней, по всему ее телу пробегала легкая дрожь, хотя до сих пор между ними не произошло ничего, что могло бы хоть как-нибудь оправдать ее боязнь.

Зато старый пан Темницкий говорил теперь еще больше, чем прежде, и обращался со своими разговорами почти исключительно к Целине. Подшучивал над эмансипацией и эмансипированными женщинами, — хотя Целя вовсе не хотела казаться такой, — выкапывал древние анекдоты про старых дев, высмеивал служащих женщин, почтовых чиновниц, и так далее. В конце кон-

цов Целя начала постепенно догадываться, что все эти разговоры — не простая болтовня, но к чему-то ведут, преследуют какую-то тайную цель, — какую, этого она не могла понять. Чувствовала только, что после часовой болтовни с паном Темницким ее охватывает какая-то усталость, отвращение к миру и к жизни, нежелание работать и думать. Не удивительно, что благодаря всему этому ей вскоре опротивели общие завтраки и обеды, а также прогулки с семейством Темницких.

— Нет, не пойду больше! — говорила она, топая ногой в своей комнатке, но всегда в решительный момент сила воли покидала ее.

Она была совсем одинока. Пан Темницкий был единственным другом ее покойного дедушки, который и доверил ему опеку над внучкой. Не удивительно, что ее детская душа до последней возможности цеплялась за единственную нить, связывающую кое-как ее настоящее с прошлым. Порвать эту нить — значило бесповоротно отдаться волнам жизни, без проводника, без точки опоры. Хотя очень еще молодая, восемнадцатилетняя девушка, Целя все-таки знала из собственного опыта и многочисленных примеров, что бросаться в эти волны — не шутка.

— Но все-таки они хорошие люди, — говорило ей ее доброе сердце. — Да, у них свои недостатки, но не мое дело осуждать их. Со мной они вежливы и добры, так в чем же я могу упрекнуть их?.. Нет, нет, глупа я с моей недоверчивостью, с моей пустой тревогой! Неразумна я, неблагодарна, вот что!

И, настроив так свои нервы, она снова возвращалась в общество Темницких, чтобы вынести из него ту же немую тревогу, тот же упадок духа и нервную усталость, что и раньше, только в еще большей степени.

### III

— Э, что там! — сказала Целя, потрянув головкой и бросаясь то к окну, то к зеркалу. — Дура я: порчу себе чудесное утро такими мыслями!

Она взглянула на часы, — половина восьмого. До завтрака еще по крайней мере час. Она взяла книгу,

попробовала читать дальше, — но не читалось. Солнце заглядывало в книжку, блеск его слепил глаза. Вынужденное ежедневное семичасовое сидение за почтовой конторкой было тяжелой повинностью для ее молодого организма, требовавшего движения и свежего воздуха и для ее живого темперамента. А теперь еще сидеть в комнате, как мышь в норе! Нет, это просто грешно. Она бросила книжку и начала ходить по комнате, ища глазами, что можно было бы перенести, переставить на другое место или привести в порядок. Но ничего такого не увидела.

В эту минуту снова открылась дверь ее комнаты: вошла Осиповна с графином свежей воды. Поставив воду, она с улыбкой пристально посмотрела на Целю.

— Что это вы уставились на меня, как на ворону? — воскликнула Целя с шутливым возмущением.

— Есть у меня причины! — ответила Осиповна, улыбаясь и загадочно подмигивая. — А впрочем, если другим можно так смотреть на панночку, почему же Осиповне нельзя?

— Кому это — другим?

— Каждому, кто только пожелает. Ведь панночка каждый день сидит по семи часов там, за решеткой, как напоказ. Каждый, кто только захочет, может прийти и смотреть на панночку, сколько вздумается, панночка не может ему этого запретить.

Целя вся вспыхнула.

— Фи, стыдитесь, Осиповна! — воскликнула она с непритворной досадой в голосе. — И вы уже научились от старого пана колоть мне глаза моей службой! Чем она вам мешает, что вы меня пилите, перечисляя все ее неприятные стороны! Или вы думаете, я сама их не чувствую? Или думаете, что мне это нравится? Но что же мне делать? Должна же я как-то жить! Лучше есть свой хлеб, хоть и горько заработанный, чем умирать с голоду, или...

Она не закончила. Слезы душили ее. Отвернувшись к шкафу и начала что-то усиленно искать там, среди висящих платьев.

— Что вы, панночка! — воскликнула старуха, не на шутку испуганная этой вспышкой. — Что это паң-

ночка надумала? Я стала бы насмеяться над панночкой за то, что панночка работает на цесарской службе? Я, которая с десяти лет сама скиталась по службам у разных людей? Я стала бы насмеяться над панночкой, я, которая любит панночку, как родная мать? Пусть панночка успокоится и посмотрит лучше, что я ей принесла!

— А что такое? — весело спросила Целя, забыв уже о своем минутном огорчении.

Осиповна достала из-за пазухи небольшой запечатанный конверт и, не говоря ни слова, с улыбкой и загадочным подмигиванием подала его Целе. На конверте написаны были только ее имя и фамилия. Но, бросив взгляд на адрес, Целя снова вспыхнула. Почерк был ей знаком.

— А откуда вы, Осиповна, взяли это письмо?

— А это, панночка, дал мне знакомый посыльный. Хотел идти к панночке, а я ему говорю: дайте, я сама отнесу.

Если бы Целя внимательнее всмотрелась в лицо старухи, то сразу бы догадалась, что Осиповна лжет. Но Целя смотрела на письмо, которое держала в руке, явно не зная, как с ним поступить. Румянец сбежал с ее лица, оно побледнело, розовые губки сжались и в глазах блеснул не то гнев, не то возмущение, не то нетерпение. Наконец, она сказала холодно и с досадой:

— Милая Осиповна, пожалуйста, никогда не делайте этого больше. Никаких писем и посылок для меня не принимайте. У кого есть ко мне дело, пусть сам придет, — уж я буду знать, что ему ответить.

Сказав это, она отвернулась и отошла к окну. Осиповна еще добрую минуту стояла на месте и качала головой. Бедная женщина не знала, что ей думать о своей панночке: было ли ей приятно получение письма, или нет, и в чем собственно тут дело?

— Ну, однако, письмо взяла, не вернула мне! Значит, я еще ничего плохого не сделала, — проворчала добродушно старуха и пошла на кухню.

А Целя стояла молча, опираясь одной рукой о раму окна, в другой руке держа письмо. Рука с письмом дрожала. Наконец, рука поднялась и энергично швырнула письмо на пол.

— Чего этот дурак от меня хочет! — воскликнула она возмущенно. — Пристал, как пиявка, ходит за мной, как тень, да еще компрометирует меня своими дурацкими письмами. Вот несчастье!

Грудь ее взволнованно вздымалась, глаза блестели, она действительно рассердилась. Но через минуту Целя успокоилась, первая досада прошла; она подняла письмо и разрезала ножницами конверт. Вынула из него письмо, с начала до конца исписанное мелкими, как бы судорожно покосившимися в разные стороны буквами, и, взглянув на них, на первый восклицательный знак, который бросился ей в глаза, разразилась звонким серебристым смехом.

— Ну и дурак! — сказала она весело. — Даже рассердиться на него серьезно нельзя, можно только смеяться. А ну-ка, почитаю это письмо вместо газеты! Должно быть, такое же забавное, как и прежние.

И, усевшись поудобнее в кресле, Целя разложила письмо на столике и начала читать, прерывая время от времени чтение замечаниями, как будто она разговаривала с его автором и передразнивала его.

«В третий раз осмеливаюсь писать Вам, уважаемая Пани, хоть на первые два письма не получил никакого ответа».

— Не получишь и на это! Не надейся! — сказала Целя, упрямо мотнув головой.

«После трудной борьбы с собой, я все-таки решил еще раз побеспокоить Вас. Пусть важность дела оправдает мою назойливость».

— Важность дела? Что за важное дело? Ха-ха-ха! Очевидно, то же, что и в первых письмах: вы, пани — ангел, вы покорили мое сердце, без вас я жить не могу, и так далее, без конца. Но, простите, уважаемый, меня все это совершенно не касается. Я без вас могу жить. Я о вас и слышать не хочу. Вы должны были догадаться об этом по моему виду, по моим гримасам! Да разве можно надеяться, чтобы этот господин о чем-нибудь догадался! — добавила она с презрительной усмешкой.

«Обдумав основательно свое положение и собрав о Вас, Пани, некоторые нужные сведения...»

— Видели? — воскликнула Целя. — Он собирает

обо мне сведения! Он интересуется моим прошлым! Не годяй!

«...я убедился, что внешний вид не обманул меня, что, полюбив Вас с первого взгляда, я не обратил свое чувство на особу, недостойную его. Я уверен, что, если бы Вы, Пани, согласились быть моей, мы могли бы счастливо и гармонично устроить нашу совместную жизнь, поскольку счастье зависело бы от нас самих. Мои скромные средства составили бы для нас запас на черный день, а тем временем мы зарабатывали бы на жизнь честным трудом».

— Подумайте! Как он это все обдумал! Он не так глуп, как кажется! — шепнула Целя, и облачко задумчивости легло на ее лоб.

Она знала уже из предыдущих писем этого оригинального претендента на ее руку, что средства, о которых он говорит, — это маленький, полученный в наследство от отца хуторок с тридцатью моргами земли, расположенный где-то неподалеку от Львова и сданный в аренду. Знала, что сам претендент занимается журналистикой, и нужно признать, что это собственно и было одной из главных причин ее антипатии к нему. Она так много наслушалась плохого о львовских журналистах, об их цинизме, ночных кутежах и тому подобном, что ее бросало в дрожь при мысли стать женой такого легкомысленного субъекта. К тому же и вид у него был совсем непривлекательный. Целя, сама молодая, здоровая и красивая, любила всюду красоту и грацию. А он, хоть и молодой еще, ходил сгорбившись, весь как будто развинченный; лицо у него было скуластое, выражение его какое-то испуганное и неуверенное, блуждающий взгляд, приплюснутый нос и рыжие волосы. Если к этому прибавить костюм, обычно поношенный и как будто с чужого плеча, — то вот и полный портрет автора этих любовных писем, той «партии», которая представлялась панне Целине.

«Это кандидат в Кульпарков»<sup>20</sup>, — промелькнуло в мыслях у Цели, когда она впервые увидела его на почте, — он сдавал письмо. Устремленные на нее с выражением любопытства и удивления серые глаза чудака пробуждали в ней какое-то беспокойство и в то же время вызы-

вали смех. С этого времени он стал чаще приходить на почту, впивался глазами в каждое движение Цели и караулил на улице, когда она шла на службу или возвращалась домой. Но никогда он не осмеливался заговорить с ней. Шел на расстоянии, а если иногда не мог избежать встречи лицом к лицу, то робко кланялся и поспешно убежал, точно вор с краденым добром. После нескольких месяцев такого молчаливого ухаживания он написал ей первое письмо, несмелое, нацарапанное, очевидно, дрожащей рукой, нескладное, — словом, смешное-пресмешное. Целя немало потешалась над ним и хоть и не знала имени своего безгласного поклонника, но все-таки догадалась сразу, что он и автор письма, подписавшийся «Семен Стоколоса», — одно и то же лицо. Она и не подумала ответить. Через месяц пришло второе письмо, длинное, страстное и еще более смешное пылким проявлением чувства. А вот это третье письмо, не в пример прежним, было коротко и спокойно, так что Целя, ожидавшая найти в нем снова долгие вздохи и бесчисленные заклинания и дифирамбы своей красоте, была немного разочарована и призадумалась. Но задумчивость продолжалась недолго.

— Глупая ты, Целька! — упрекнула она сама себя. — Все это вздор, комедия! Если у него честные намерения, то почему он не поступает, как честные люди? Почему не придет, не представится, не... Но что там, почитаем дальше!

«Вы спросите, вероятно, Пани, почему для того, чтобы высказать Вам все это, я выбираю такой не совсем подходящий путь, достойный скорее труса, чем мужчины?»

— Смотри-ка! — воскликнула Целя, смеясь. — Как угадал! У него хватило смелости назвать вещи своими именами, даже если эти вещи касаются его самого. Да, смелость у него есть, — прибавила она, помолчав немного, — но только на бумаге! Ну-ну, что-то он пишет дальше?

«Я действительно трус, но я боюсь не опасностей и превратностей жизни, — с ними я боролся с детства и довольно удачно; я трус с теми, кого я люблю. Боюсь причинить им малейшую неприятность и поэтому иногда

невольно причиняю ее, а это мучит и терзает меня еще больше, чем их самих. Чувствую, что мне не хватает той твердой почвы в отношениях с людьми, которая дается воспитанием в обществе и уверенностью в самом себе. Чувствую, что моя особа возбуждает смех и сожаление, — и это отнимает у меня остатки смелости. Я тоскую по людям, по дружбе, любви, счастью, — и чувствую, что не могу их достичь, как достигают тысячи других. «Так что же, ты хочешь украсть их из-за угла?» — наверно, спросите Вы, Пани?»

— С ума он сошел, что ли? — крикнула Целя испуганно. — Точь-в-точь угадал мою мысль!

«Нет, дорогая Пани (ага, «дорогая», уже снова начинает! — шепнула Целя), я хочу схватить только одну ниточку, ведущую к клубку, а потом всю жизнь, все свои силы посвятить достижению того, что другим счастливым судьба дарит без всякого труда. Теперь Вы, Пани, знаете меня только с неприглядной внешней стороны. Поэтому я прошу одного: позвольте мне дать Вам возможность узнать меня ближе. Я не хотел бы без Вашего согласия делать какие-либо шаги в этом направлении, чтобы не подвергать Вас насмешкам, намекам и неприятностям со стороны людей, у которых Вы живете. Впрочем, я знаю этих людей, хотя лишь издали, и могу сказать Вам одно: остерегайтесь, Пани, как отца, так и сына!»

— Ого, вот уже и жало змеи! — шепнула Целя, прикусив побледневшие губы.

«Чего же я хочу?» — спросите Вы. Только одного: позвольте мне приблизиться к Вам, дать Вам возможность лучше узнать меня. Дайте мне понять, что не питаете ко мне никакой антипатии, что мое присутствие не будет Вам неприятно! Напишите...»

— Дурак! — крикнула Целя, топнув ногой и не дочитав письма. — Врет он! Не любит меня, если может писать такой вздор. Позволь ему приблизиться ко мне! Разве я ему запрещаю? Да нет, именно тут-то и есть хитрость, подлая ловушка. Натворит каких-нибудь глупостей, скомпрометирует меня, а потом скажет: вы сами мне позволили! Нет, нет, не хочу и слышать о нем! Дам ему понять, чтобы и на глаза мне больше не показывался.

«Что не питаете ко мне никакой антипатии, что мое присутствие не будет Вам неприятно!» Ну, откуда мне это знать? Тьфу! Это какой-то бескровный слизняк, какой-то студень, а не мужчина. Ну, хороша бы я была, если бы согласилась отдать ему руку! Он замучил бы меня своими причудами и подозрениями! Все жилы бы из меня вымотал! Нет, уж лучше оставаться тем, что я есть, но не связывать своей судьбы с таким никудышным!

И Целя швырнула письмо незадачливого поклонника на стол, прошлась несколько раз по комнате, чтобы успокоиться, а затем изорвала письмо вместе с конвертом на мелкие клочки и понесла к окну, чтобы выбросить их. Выглянув из окна, она увидела, что автор письма стоит на углу улицы, напротив дома, впившись глазами в окно. Появление Цели, очевидно, испугало его: он метнулся как ошпаренный и хотел бежать, но не мог оторвать глаз от окна. Эта картина показалась Целе настолько комичной, что она расхохоталась во все горло. А затем сильным взмахом руки выбросила мелкие клочки изорванного письма. Они посыпались вниз, точно снежные хлопья, кружась и разлетаясь в разные стороны. Несколько из них, подхваченные легким ветерком, покружились и упали на шляпу Семена Стоколосы, который, с взволнованным видом, бледный и словно прикованный к каменному тротуару, все еще стоял на углу улицы.

#### IV

— Прошу панночку завтракать! — сказала старая Осиповна, приотворив дверь комнаты. Целя вздрогнула от ее голоса, но сейчас же успокоилась, тряхнула головкой и, поглядев в зеркало и поправив бархатку, которою ловко были перевязаны ее короткие волосы, пошла в столовую.

Темницкие сидели уже за столом; собственно говоря, сидели мужчины, а старуха Темницкая наливала кофе, все время шевеля увядшими губами, как будто вела какой-то бесконечный разговор, слышный только ее глухим ушам, с какими-то невидимыми соседями. Впрочем, за столом старушка разговаривала очень редко и сидела,

уоставившись в одну точку, будто ничего вокруг себя не видела. Целя очень жалела ее, старалась услужить ей за столом, разговаривала с ней знаками. Но вначале старушку очень смущали эти непривычные для нее знаки внимания и сочувствия. Она давно уже привыкла к тому, что близкие совершенно игнорировали ее и относились, как к какому-то неодушевленному предмету; не удивительно, что сначала она отнеслась к Целе даже с недоверием, думая, что молодая девушка хочет заручиться ее хорошим отношением для каких-то своих целей. Но, убедившись, что Целина далека от каких бы то ни было корыстных замыслов, старушка мало-помалу привыкла к ее любезностям и принимала их как-то апатично, ничем не выказывая, что ей это приятно. Но это равнодушные ни на йоту не изменило теплого и сердечного отношения Целины, не ослабило ее сочувствия к несчастной старой женщине, еще при жизни превратившейся в жалкую рухлядь.

— А, вот и она, наша канцеляристка! — весело воскликнул старый Темницкий. — Приветствуем панну! Как же вам спалось? Что хорошего снилось?

Тем временем доктор молча встал с кресла, приблизился к Целе и буркнул:

— Здравствуйте!

Обычно Целя подавала ему руку и он дружески ее пожимал. Но сегодня доктор, здороваясь, наклонился, быстро поднес ее руку к губам и поцеловал. Целя ощутила горячее прикосновение его губ и отдернула руку, как ошпаренная, причем густой румянец залил ее лицо по самые уши. А доктор, как ни в чем не бывало, спокойно вернулся на свое место.

Целя была взволнована до глубины души и не села, а начала возиться около старухи, как бы помогая ей наливать кофе, а на самом деле стараясь унять свое волнение.

— Что же это наша эмансипированная барышня не удостоивает даже ответить на приветствие старика? — продолжал шутливым тоном Темницкий. — Да, правда, правда, старику следует знать, что у молодых панночек, особенно из нового, ученого, самостоятельного поколения, есть свои особые правила, свой особый образ жизни, и

они всегда охотнее отвечают молодым людям, а не старикам.

— Но, папочка, — Целя перенесла этот интимный титул своего покойного дедушки на пана Темницкого, — какая же я эмансипированная!

— Ну, ну, ну, будто мы, старики, так уж глупы, что ничего не понимаем! Короткие волосы, синенькие чулочки, служба в канцелярии, самостоятельная жизнь... широкий простор, мир открытый... *alleinstehende junge Dame\** и так далее, и так далее.

— А когда же это вы, папочка, видели у меня синие чулочки? — ответила Целя, стараясь обратить все в шутку, хотя от тона всей этой болтовни на нее повеяло чем-то удушливым и неприятным.

— Ха-ха-ха! — смеялся Темницкий, между тем как доктор, наклонившись над своей чашкой, медленно, не спеша пил кофе. — Ха-ха-ха! Я совершенно уверен, что панна Целя и сейчас в синих чулочках! Что, не угадал? А ну, пусть она докажет нам, что это неправда! Пожалуйста!

— Ай-ай-ай! Как вы, папочка, сегодня остроумны! — иронически сказала Целя, качая головой и принимаясь завтракать. Пан Темницкий тем временем уже выпил свой кофе и, вытерев губы и опершись локтем о стол, не сводил глаз с Цели, стараясь перехватить каждое ее движение, каждый взгляд.

— Хо-хо-хо! — неумоимо болтал он. — Панна ученые, исследовательницы, канцеляристки, эмансипированные, новое поколение, равноправие с мужчинами, жизнь собственным трудом, завоевание будущего, а как же, а как же! Кто вас ближе не знает, тот вас за святых примет. Но нас, старых воробьев, на этом не поймаете. Уж что мы знаем, то знаем. Знаем, что женщина—всегда женщина. Не один дурак думает: а, это новый тип, это самостоятельная женщина, строительница своей судьбы, живет собственным трудом! А он и не знает, что этой строительнице совсем иного хочется. Все мода—и только! Была мода на кринолины, потом на пuffy, потом на шляпки с птичками, потом на турню-

---

\* Одинокая молодая дама (немецк.)

ры, — настала мода и на эмансипацию, на равноправие, завоевание будущего собственным трудом. А все это одно и то же: и кринолины, и пуфы, и турнюры, и эмансипация! Все имеет только одну цель: завоевывать сердца мужчин, охотиться на мужей, ловить усатую половину человечества.

— Однако папочка не станет отрицать... — заговорила медленно Целя, которую эта болтовня лишала всякого аппетита, но пан Темницкий не дал ей закончить.

— Стану отрицать, дитя мое, стану, потому что знаю, как оно на свете бывает. Послушайте слова старика. Старик на ветер слов не бросает.

— Но, папа, — вмешался доктор, которому тоже надоела эта болтовня, — что это за тему для разговора вы выбрали!

Как будто «папа» говорил когда-нибудь на другие темы!

— Тема, сын мой, не хуже всякой другой. Ты видишь, какое время сейчас настало? Время выставок, плакатов, рекламы. У кого есть какой-нибудь товар, что-нибудь особенное, какая-нибудь ценная вещь, — сейчас же выставляет ее напоказ, дает объявление, афиширует на улицах, трубит и бубнит об этом на все четыре стороны света. Что, разве неправда?

Доктор и Целя молча слушали это вступление, не зная, к чему оно ведет.

— А, видите, старик не врет! — сказал, усмехаясь, «папочка». — То-то и есть, что не мешает иногда послушать старика. Ну, а теперь прошу представить себе бабышню, которую судьба обидела, не дала состояния. У нее есть здоровье, смазливое личико, брови, глазки, жажда жизни и удовольствий; рада бы бедняжка и в обществе побывать, а тут обстоятельства на привязи держат, дома бедность да теснота, в порядочное общество дверь закрыта... Что делать? То, что есть ценного и красивого: личико, глазки, бровки, волосики, ручки (пан Темницкий перечислял все это с каким-то особым подчеркиванием, подмигивая то в сторону Цели, то в сторону доктора и жмурясь, как кот на солнце), все это можно показать людям, пожалуй, не больше раза в неделю в церкви. Этого мало! И вот такое бедное создание идет

в практикантки, телеграфистки, телефонистки, одним словом, куда-нибудь на службу, где можно сидеть на виду у всех, будто на витрине за стеклом. Кто хочет, может прийти и осматривать, может даже попросить ее встать и пройтись... «Будьте добры, нет ли для меня письма до востребования?» — «По какому адресу?» — «Az 4». И наша эмансипированная барышня встает и идет к полке с письмами. А тут «А» — первая буква азбуки, и ящик ее стоит на самой верхней полке. Вот бедное создание берет стул, приставляет его к полке и со всей канцелярской солидностью, а также со всей девичьей грацией, взбирается на него, подымается на цыпочки и ищет, ищет, ищет на верхней полке, пока любопытный гость не осмотрит подробно и ножки, и талию, и ручки, и шейку, и все, что его интересует. «Нет, простите, ничего нет!» — «Благодарю, пани, и прошу извинения». А через минуту придет другой, потом третий, четвертый и так далее. Разве это не жизнь? К счастью, есть еще государство, которое даже платит деньги за подобную комедию. А я твердо убежден, что если бы было в два раза больше должностей в таком роде и если бы даже не платили за службу, а, наоборот, требовали еще вступительный взнос, то и в таком случае не было бы отбою от кандидаток.

— Чудесно вы нас изобразили, нечего сказать! — воскликнула Целя.

— А что, неправду я говорю?

— Разумеется, неправду! — нервно ответила Целя.

— Что? — воскликнул Темницкий. — Панна смеет говорить, что я сказал неправду?

— Конечно, неправду! Ведь вы на моем примере могли бы убедиться, что это не так. Ведь признаете же вы, что для меня дело совсем не в том, чтобы показывать себя, а в том, чтобы честно заработать кусок хлеба.

— Ну, ну, панна Целина, ведь я не о вас говорил! — ответил старик, шутливо шуря глаза. — Вы ведь у нас во всем исключение, во всем, во всем не похожи на других! Хо-о-тя, — это «о» он тянул нараспев, склонив при этом голову налево, как поющая канарейка, — если уж говорить святую правду, то я сказал бы, что и вы не без грешка.

— Без какого это грешка?

— Не собираюсь объяснять вам все, но что знаю, то знаю.

— Если пан подозревает меня в чем-нибудь, то должен объясниться, иначе я принуждена такое поведение признать... назвать...

У нее перехватило дыхание. Глаза жгло что-то, словно сдавленные слезы, готовые вот-вот брызнуть из глаз. Но она сдерживалась и сохраняла спокойный вид, главным образом потому, что чувствовала на себе пристальный, пронизывающий взгляд доктора.

— Прошу не называть никак, — сказал, добродушно усмехаясь, пан Темницкий. — Меня словами не загоните в ловушку. Лучше скажите нам, что это за господин торчал тут нынче на улице перед нашими окнами и что за клочки бумаги вы бросили ему на голову?

Он сказал это так уверенно и спокойно, что можно было подумать, будто он знает гораздо больше, чем высказывает, приводит для примера первый попавшийся ему подходящий факт.

Целя побледнела при этих словах.

— Сударь, — воскликнула она, вставая из-за стола, — такой вопрос свидетельствует о низком образе мыслей!

— Однако, папа, как можете вы забываться до такой степени! — поспешно прибавил доктор, видя, что Целя бросилась к дверям.

Целя вышла быстро, не оглядываясь, и кинулась в своей комнате лицом в подушку. Ей хотелось плакать. Выходка Темницкого была слишком глупа и неосновательна, чтобы стоило на нее обижаться. Но ей больно было слушать эти циничные выпады вообще против женщин, живущих своим трудом; в то же время ее немного утешало, что доктор был в этом вопросе как будто на ее стороне. Сама не зная почему, она чувствовала некоторое облегчение от этого, хоть и очень слабого, выражения сочувствия. Успокоившись немного, Целя встала и пошла на урок.

— Ну, папа, — сказал, закуривая папиросу, доктор, когда Целя вышла, — я, право, не знаю, что и подумать...

— О чем?

— До сих пор я считал вас человеком, который никогда не забывает об установленных правилах приличия.

— Ну-ну-ну, сын начинает читать мораль отцу! — крикнул Темницкий, живо поворачиваясь в кресле. — Брось эту мораль, она тебе совсем не к лицу!

— Нет, папа, — сказал доктор с непоколебимым спокойствием, — я, право, не узнаю вас. Вы перестаете владеть собой. Начинаете видеть то, чего нет. Мне и не снилось читать мораль, но, я думаю, простая деликатность требует, чтобы вы обращались с ней прилично.

— А если у меня есть своя цель, чтобы именно так с ней обращаться?

— Своя цель? — медленно повторил доктор. — А именно?

— Это уж мое дело. Я ведь не спрашиваю тебя, какую ты преследуешь цель, ухаживая за ней во время обеда, поддакивая ее словам, не спуская с нее глаз и целуя ей ручки.

— Какую... я... преследую цель? Что это вам, папа, снится? Какая же у меня может быть цель?

— Это меня не касается. Имей свою, какую хочешь, но позволь и мне иметь свою. Впрочем, кто знает, — прибавил старик, насмешливо прищурившись и раскачиваясь в кресле, — не сойдутся ли в конце концов наши дорожки? Кто знает, не будет ли то, что ты называешь отсутствием вежливости, твоим лучшим союзником?

Доктор с изумлением уставился на отца. Он начинал узнавать его с такой стороны, о которой раньше и не подозревал, — со стороны низменной, животной, а не человеческой. Игривая усмешка, змеившаяся на губах этого человека, приняла вдруг в глазах доктора какой-то скверный, циничный оттенок, хотя такая же усмешка у других людей совсем не поражала его. Но это был его отец! Весь этот коротенький разговор произвел на него очень неприятное впечатление, хотя он и сам не мог бы уяснить себе, что именно в нем такого неприятного. Ему захотелось переменить тему.

— Но признайтесь, папа, что эта выдумка о человеке, будто бы торчавшем под окнами, и о клочках бумаги, выброшенных ему на голову, была не очень удачна.

— Выдумка? О чем ты говоришь? Да ведь это чистая правда! Я сам это видел, и не в первый раз вижу этого вздыхающего Адониса. Ха-ха-ха! Если бы ты увидал, что это за Адонис! Совершенный орангутанг. А наша эмансипированная, повидимому, очень к нему благово-лит.

— Ну, что вы говорите! — воскликнул доктор с удивлением.

— Говорю то, что знаю. Слежу за ним и за нею. Переписываются, видятся на улице, а может, и еще где-нибудь. Наверняка не знаю, но подозреваю, имею кое-какие данные, следы... Одним словом, к сведению пана доктора, не каждая девушка в длинном платье — весталка.

— Это старая история, — сказал доктор, преодолевая свое волнение. — Но я все-таки не предполагал...

— Доктор... и не предполагал! — крикнул Темницкий. — Ха-ха-ха! Но, пан доктор, предположение... первый шаг к истине! Как это там говорится в вашей науке, а?

Вместо ответа доктор протянул отцу свою широкую ладонь. Оба этих честных человечка поняли друг друга вполне.

## v

Солнце жгло немилосердно. На юго-западном склоне неба висела черная, как густой клуб дыма, туча так низко, что казалось, будто левое крыло ее зацепилось за золоченый шпиль на верху башни ратуши, как огромное изодранное знамя. В воздухе пахло влагой. По улицам ползли бочки с водой, поливая пыль, и гроыхали извозчичьи экипажи. Окна домов на солнечной стороне были задернуты шторами. На балконах неподвижно стояли олеандры в деревянных кадках. Редкие прохожие лениво сновали по тротуарам, только в небольшом скверике, в тени деревьев, вокруг плещущего фонтана, играли под надзором нянек дети.

Было без четверти два. Целя, в летнем коричневом пальто и в белой соломенной шляпе с широкими полями и оранжевым бантом, спешила на почту. Несмотря на

жару, она по привычке шла быстро. В ее движениях заметно было какое-то нервное возбуждение. Голова была опущена, губы сжаты, и лоб то и дело морщился от тяжелых, неотступных мыслей.

Действительно, после сцены, происшедшей за завтраком между ней и Темницким, она твердо решила не показываться больше в их столовой. Как бы угадывая это решение, доктор Темницкий, встретив ее на первом этаже, когда она возвращалась с урока, вошел с нею в ее комнату (что ж, ведь этого она не могла ему запретить!) и начал извиняться за отцовскую бестактность. Нужно простить старику его болтовню. Старость—не радость, с годами человек поневоле черствеет и видит все в более мрачном свете, особенно когда явление — новое, к которому он не привык и не понимает его важности. Хотя и неохотно, Целя все же должна была согласиться с ним и заверить его, что не сердится; доктор в свою очередь обещал, что отец не позволит себе больше ничего подобного в ее присутствии.

Затем доктор начал расспрашивать Целю о ее жизни, о службе, о надеждах на будущее, проявляя спокойный, но простой и искренний интерес. Так беседовали они с полчаса, он — сидя в кресле у большого стола, — она у окна. Дверь из комнаты в кухню была открыта, и видно было, как возится у плиты Осиповна.

Сначала Целе неприятна была встреча с доктором, но скоро она почувствовала себя побежденной и успокоенной ровным тоном его беседы, спокойными и солидными движениями, искренностью, далекой от всякой аффектации, и тем ласковым добродушием, с которым он оправдывал перед нею нетактичный поступок отца или с каким улыбался, слушая ее мечты о будущей жизни старой девой, почтмейстершей, где-нибудь в одиноком домике, в глухом провинциальном городке.

Теперь она могла приглядеться к нему поближе. Он совсем не был таким суровым и страшным, каким показался ей в первый момент. В его глазах не мелькали те зловещие искорки, которые так беспокоили и мучили ее до сих пор. Он был совершенно спокоен, прост, естественен, а сознание собственной силы и уверенность в себе придавали ему в ее глазах какую-то необычную

привлекательность. Невольно приходила в голову мысль:

«Вот если бы можно было пройти жизненный путь, опираясь на сильную руку такого человека!»

Но это желание было далеко от какого-нибудь чувства, которое могло бы замутить спокойное течение их беседы. Это был чисто логический, теоретический вывод, он не задевал ее сердца и не волновал крови. Она знала, что это вещь невозможная, и не строила себе никаких иллюзий.

Тем не менее обед, к которому она, вопреки своему утреннему решению, вышла в общую столовую, снова в высокой степени раздражил и расстроил ее. Правда, старик Темницкий на этот раз молчал, а говорил только доктор. Разумеется также, что разговор носил совершенно иной характер, чем раньше, но именно поэтому он больно задел ее с иной, неожиданной стороны и произвел на нее тем более тягостное впечатление.

Ни с того ни с сего доктор завел речь о своей невесте. Показал Целе несколько ее писем, написанных по-немецки, прочел даже кое-что из них и просил у нее совета. Ведь женщины лучше понимают женщин, чем мужчины, а эти письма указывают, по его мнению, на полное несходство их характеров, а у его невесты — на недостаточную любовь к нему и даже на отсутствие простой деликатности, поверхностный образ мыслей, эгоизм и прочие дурные черты. Бедняжке Целе был неприятен этот разговор, потому что она не могла разобраться в этих письмах, писанных большей частью на венском диалекте, а те отрывки, которые она поняла, показались ей очень банальными и ничего не значащими. Она присматривалась только к почерку, но и он был неопределенный, не то женский, не то мужской. Понятное дело, она не могла высказать никакого мнения ни о письмах, ни об их авторше. Да доктор не особенно и настаивал на этом. Повидимому, эти письма были для него только поводом высказать Целине свои взгляды на любовь и на семейную жизнь. Гармония характеров, темпераментов, симпатий — вот главное. Состояние ему безразлично, состояние у него в голове и руках. Он хочет разорвать те путы, в которых очутился почти против своей воли. По секрету

признался Целе, что его невеста моложе его только на два года, а для девушки это возраст очень солидный. Впрочем, его поражает в его невесте отсутствие серьезного отношения к жизни, к ее задачам и обязанностям. Женщина, не думающая ни о чем, кроме нарядов и развлечений, неспособная стоять на собственных ногах, жить, в случае нужды, собственным трудом, — такая женщина в наше время не выполнит своего назначения и в семейной жизни. Ибо какое воспитание она сможет дать своим детям? Как сможет она поддержать мужа в минуты сомнений и слабости? А состояние, хотя бы и очень большое, никого не спасет ни от сомнений, ни от тоски и слабости, ни даже от материальной нужды.

Речь доктора текла гладко, плавно, как журчащий ручеек, и каждое слово с какой-то особенной силой отзывалось в сердце бедной девушки. Что же такого было в них, что так волновало и тревожило ее и вместе с тем пронизывало сладостной дрожью? Ведь ничего не было сказано о ней самой, а особа, которая была предметом этих признаний, была ей совершенно чужда и незнакома.

Правда, доктор высказывал ясно и обстоятельно много таких мыслей, до которых и сама она дошла собственным умом и опытом, но почему же эти мысли, высказанные им, казались ей такими ценными, новыми, привлекательными, возникали перед ее умственным взором, как яркие, огненные ракеты? Несколько раз доктор как бы нечаянно коснулся — правда, очень деликатно — таких вещей, которые часто бывали предметом ее тайных мечтаний и тихих, почти неосознанных желаний, — и при каждом таком намеке Целя чувствовала как бы прикосновение какой-то паутины, ощущала, будто электрическая искра пробегала по всему ее телу.

Поэтому не удивительно, что весь обед, под впечатлением всех этих разговоров и признаний доктора, Целя сидела как зачарованная, то вспыхивая, то снова бледнея, и только иногда из вежливости роняла какое-нибудь слово. Ела она мало, зато выпила несколько стаканов воды, ссылаясь на жару. Во время разговора доктор не смотрел на нее, как будто знал, что его взгляд производит на нее гнетущее впечатление. Но именно то, что он

не глядел на нее, как раз и придавало его словам больше силы и законченности. Несмотря на спокойный тон и внешне сухую теоретичность речи доктора, Целя несколько раз раздражалась при его словах смехом, а одна какая-то, совсем общая, фраза даже вызвала слезы на ее глазах, — и она быстро отвернулась в сторону.

— Тыфу, это какой-то дьявол в человеческом образе! — вся встрепенувшись, прошептала Целя, когда выбежала на улицу и почувствовала себя, наконец, свободной от магнетического влияния этого разговора. Она шла быстро, направляясь к почте, хотя в ее распоряжении было еще четверть часа. Разбушевавшиеся чувства, мысли и желания, которые бурлили в ней, требовали быстрого физического движения для восстановления равновесия. Но эта душевная буря не причиняла ей никакого неудовольствия, — наоборот. Казалось ей, что она бродит среди непрозрачных волн теплой, розоватой мглы, где нужно было дышать глубоко, полной грудью, а выбравшись из тумана, вдруг увидит какие-то новые, широкие и чудно-прекрасные горизонты, о которых сейчас она не имеет еще никакого представления.

По дороге Целя старалась привести в порядок свои мысли, сосредоточиться на чем-нибудь одном, важном и близком, и, по странному совпадению, мысли ее остановились на невесте доктора Темницкого. И произошло это помимо ее воли, словно невеста эта как бы выплыла перед ней сама из розовой мглы. Целя так и видела ее своим внутренним взором — старую, безобразную немку, с рыжими волосами и выцветшими, глупыми глазами, тощую и нестерпимо чванящуюся своим богатством. Видела, как она своими костлявыми руками обнимает шею доктора, как впивается в его губы своими широкими бескровными губами, слышала даже ее голос, приторно ласковый и неприятно пискливый: *Mein Liebchen!*\*

И Целе стало чего-то очень жаль. Она жалела собственно не доктора, — что он для нее? Но жаль было всех тех живых сил, мыслей, спокойствия и счастья, которые должны были погибнуть из-за этого брака. И зачем? Для какой цели? Для чего ему ее богатство, в котором

---

\* Мой любимый! (немсцк.)

он не нуждается? И что собственно плохого сделала ему родина, если он хочет покинуть ее для такого «счастья»? Нет, такой брак был бы со стороны доктора безумием, грехом и свидетельством отсутствия патриотизма! Погруженная в свои мысли, Целя и не заметила, как дошла почти до самой почты. Только на повороте улицы она машинально остановилась. От быстрой ходьбы у нее захватило дыхание, лоб покрылся потом. Ей нужно было передохнуть, и невольно взгляд ее упал на объявления, наклеенные на углу дома. Серая стена, покрытая разноцветными клочками бумаги, которые наклеивали каждый день и сдирали как попало, выглядела, точно паяц. А между тем сколько глубоких драм скрывалось иногда в этих пестрых лохмотьях бумаги! Сколько труда, слез и муки таилось за ними! Вот длинная и узкая огненно-красная полоса, кажется, выкрикивает во все горло: «Водка подешевела! Где? У Вильгельма Адама!» А там, в углу, почти под водосточной трубой, скромно ютится нацарапанное на четвертушке бумаги неуверенной женской рукой: «Stancja kątem, zaraz do wynajęcia»\*. И мысль Цели, утомленная долгой работой в одном направлении, летит со свежими силами куда-то в убогий чердак или в темный подвал, где какая-нибудь бедная прачка или служанка, зарабатывающая тяжким ежедневным трудом на кусок черного хлеба и вынужденная считать каждый грош, теперь, с наступлением жары, когда господа начинают разъезжаться на дачи и на воды, видит недостаток в своем бюджете и хочет наверстать чувствительную потерю хотя бы ценой собственного покоя и удобства, сдавая половину своей маленькой, тихой каморки и с дрожью неуверенности, с молитвой на устах со дня на день ожидает, «кого-то ей господь пошлет!»

Внезапно мысль Цели оборвалась, замерла, как скованная морозом птичка, падающая на лету. Ее широко раскрытые глаза неподвижно остановились на траурном объявлении; крупные буквы его, которым, казалось, было тесно и неудобно в широкой черной кай-

---

\* Срочно сдается угол (польск.)

ме, прыгали перед ее глазами. Крик удивления и ужаса замер на полуоткрытых губах Цели.

«Ольга Невирская, и. к.\* почтовая служащая, после короткой, но тяжелой болезни скончалась сегодня утром на двадцатом году жизни. Погребение состоится 14-го этого месяца. Убитая горем мать приглашает всех родных и знакомых на похороны».

Целя второй и третий раз перечитывала эти слова; они падали, как тяжелый град, на ее сердце и не связывались ни в какое цельное представление, ни в какое определенное чувство. Ольга Невирская, ее лучшая подруга, после короткой, но тяжелой болезни... что это значит? Ведь еще третьего дня Ольга была на службе, здоровехонькая, хоть и грустная и задумчивая, как обычно! Когда Целя пришла сменить ее на дежурстве, Ольга кинулась ей на шею и с громким смехом начала целовать. А когда Целя спросила, чему она так радуется, та ответила, что получила от дирекции отпуск и уедет на целые две недели в деревню. «Ах, как я... буду... счастлива! А ты, бедная Целинка, останешься здесь! Навещай иногда мою маму, хорошо?» Слезы задрожали на ее прекрасных глазах, и она опять принялась сжимать и целовать Целину, пока пани Грозицкая не напомнила им обоим строгим тоном, что здесь служебное помещение, а не пансион. Это было только позавчера в полдень — а сегодня! Сегодня Ольга умерла!

— Боже милостивый! Что с ней случилось? Что это может значить? — воскликнула Целя и, словно не веря собственным глазам, продолжала вглядываться в объявление. Но объявление не давало никакого ответа и на ее вопрос и своей немой, мертвой физиономией повторяло все одно и то же.

— «Убитая горем мать», — твердила Целя вне себя, все еще не в состоянии справиться со своими мыслями. — Бедная мать! Что она теперь будет делать!..

И в ее воображении, как живая, предстала Ольгина мать, добродушная, необыкновенно подвижная и приветливая старушка, с приятными чертами лица, хранившего следы былой красоты, на которое долгие годы наложили

---

\* Императорско-королевская,

отпечаток трудовой, посвященной другим жизни, никогда не омраченной никакими сомнениями, душевным разладом или угрызениями совести. Несмотря на морщины и седые волосы, лицо этой старушки всегда наполняло Целю отрадой, свежестью и силой, когда Целе, навещая Ольгу, случалось побыть несколько часов в обществе ее матери.

«Бежать к ней! Утешить старушку, расспросить, что случилось!» — мелькнула мысль в голове Цели, и она выпрямилась и подняла голову, как будто сознание дружеского и чисто человеческого долга сразу удвоило ее силы и внесло порядок в ее смятенную душу.

В эту минуту часы на ратуше пробили два.

— Боже мой! Уже нет времени! Служба не терпит опоздания! — в отчаянии воскликнула Целя и поспешно направилась к почте, боясь, чтобы и без того не встретили ее хмурый взгляд и замечание пунктуальной, как машина, пани Грозицкой, которая, наверно, уже добрых десять минут сидит за своей конторкой.

— Вот несчастье! — повторяла всю дорогу Целя. — Бедная, бедная Ольга! Несчастливая мать! Что же там такое случилось? Ведь Ольга была здорова, хотя последнее время что-то очень исхудала. Боже мой, боже! Вот она, наша жизнь!

И быстрым шагом она вошла в ворота почтовой конторы, а отсюда тотчас свернула налево, в канцелярию, где принимали заказные письма и выдавали письма до востребования. Вот в этом последнем отделе она и работала.

## VI

Пани Грозицкая действительно сидела уже на своем месте и со своим обычным хмурым видом принимала заказные письма. Это была женщина лет сорока пяти с лишним, с седеющими уже волосами, с продолговатым и желтым, как пергамент, лицом, выцветшими глазами и тонкими бескровными губами. Она была вдова какого-то обанкротившегося купца и должна была воспитывать на свое скудное жалованье почтовой служащей трех маленьких детей. Не удивительно, что она сгибалась под тяжестью забот и работы, не столько служебной, сколько

домашней, и что это ярмо погасило в ее сердце всякую искру веселья и жизнерадостности. Пунктуальная в исполнении своих обязанностей, которые, несмотря на их тяжесть, были для нее в то же время единственным якорем спасения после крушения ее житейского корабля, она была не менее строга и ригористична по отношению к другим. Работая под ее холодным, бюрократическим контролем, Целя вдвойне ощущала тяжесть и ответственность своей службы. Несмотря на десять лет работы в отделе заказных писем, пани Грозицкая была такой же конторщицей, как и другие, и не питала надежды на повышение, так как не хотела уезжать из Львова в провинцию; но все-таки ее солидный возраст и долгая работа создали ей на службе положение как бы начальницы. Выполняя свои обязанности, она в то же время знала и видела все, что делали в конторе остальные. Малейшая небрежность, невинная шутка, более громкий смех или более живое движение — все это встречало ее укоризненный взгляд или замечание. Она была как бы совестью конторы, холодной и нелицеприятной душой этой машины, которая постепенно и систематически высасывала молодость, бодрость и свежесть работавших в ней женщин.

Сегодня, однако, пани Грозицкая, несмотря на свой обычный хмурый вид, не упрекнула Целю за минутное опоздание, а воспользовавшись тем, что на почте не было посетителей, даже затеяла с Целей разговор, раньше чем та успела снять пальто и шляпу.

— Слышали вы уже про несчастную Ольгу?

— Боже мой! — воскликнула Целя. — Что это с ней случилось? Я сейчас только увидела на стене объявление об ее смерти.

— Так, значит, вы ничего больше не слышали?

— Ровно ничего! Меня меньше поразил бы гром среди ясного неба.

— А я давно уж знала, что эта девушка плохо кончит, — сказала Грозицкая, покачивая головой.

— Вы знали? Дорогая пани, что вы знали? — воскликнула Целя и почему-то задрожала всем телом.

— Простите, пани, у нее в голове совсем иное было, не служба. Все, что она ни делала, надо было после нее

просматривать и исправлять. Очевидно, работая, думала совсем о другом. Наказал ее бог за мои ночные часы, что я присидела, проверяя и исправляя ее ошибки.

При этих словах у Цели мороз прошел по коже. В этом неумолимом бюрократизме, даже перед лицом смерти, было что-то неженское, даже нечеловеческое, и вместе с тем это было вполне понятно. Почтовая служба больше, чем всякая другая, кроме железнодорожной, требует строгой пунктуальности и внимания к малейшей мелочи, и при этом самых быстрых темпов. Одно колесико, вращающееся менее регулярно, менее точно и медленнее, чем другие, нарушает гармонию всей машины. Труд здесь коллективный, поэтому ошибки единиц становятся ошибками всех. Отсюда необходимость постоянного взаимного контроля, беспрестанного напряженного внимания не только к своей части работы, но и ко всему тому, что происходит в конторе.

Целя замолчала и стала торопливо раздеваться, пряча пальто и шляпу в служебный шкаф, специально отведенный для сотрудниц. Потом молча села за свою конторку, вдвойне угнетенная, — во-первых, неожиданным известием о смерти приятельницы, во-вторых, упреком пани Грозицкой, брошенным на ее свежую могилу. Конторка была завалена целой грудой писем «до востребования», которые Целя должна была возможно быстрее рассортировать — отдельно простые и отдельно заказные, — а потом сложить по алфавиту и уложить в особые отделения шкафа. Не меньше внимания надо было уделить также и отдельным полочкам постоянных абонентов, которые платят ежегодно определенную сумму за то, чтобы иметь в почтовой экспедиции отдельное место для писем и посылок, приходящих на их адрес.

Эта работа, тяжелая и сложная из-за формалистики и разных мелочей, с которыми надо считаться, совсем не так маловажна, как кажется с первого взгляда. Разбирая письма, Целя припомнила случай из первых недель своей службы на почте. В поспешности и замешательстве она кинула одно письмо «до востребования», помеченное буквами «А. Z.» вместо ящика «А» — в противоположный угол шкафа, в ящик «Z». В тот же день приходит какой-то молодой человек и спрашивает письмо

А. Z. Просмотрев все письма в ящике «А», Целя ответила, что такого письма нет. На другой день приходит тот же молодой человек с встревоженным и измученным лицом и снова спрашивает то же письмо. Письма нет. Молодой человек стал, точно остолбенев, у решетки и не двигался с места.

— Прошу вас посмотреть еще раз, — сказал он дрожащим покорным голосом. — Это письмо *должно* быть.

Целя еще раз просмотрела ящик, — письма А. Z. не было.

— Может быть, придет с ближайшей почтой, — сказала она наугад, желая избавиться от упряма.

— А когда придет ближайшая почта? — спросил он.

— Через час.

— Через час? Хорошо. Я приду через час.

И, повернувшись, он постоял еще минуту неподвижно, шепча:

— Не может быть! Не может быть, чтобы он даже не ответил! Подожду еще час.

И вышел, разговаривая сам с собой. Ровно через час он вернулся. Его худое желтое лицо за это время почти позеленело. Видно было, что за этот час он ужасно измучился. Он молча стал у деревянной решетки, устремив на Целю свои большие, невыразимо грустные глаза, как будто ждал от нее приговора, решавшего, — жить ему или не жить.

— Простите, письма с адресом А. Z. нет, — сказала Целя официально.

— Нет! — воскликнул молодой человек голосом, полным отчаяния. — В самом деле, нет?

— Неужели я стану вас обманывать? — буркнула с досадой Целя.

— Не сердитесь, — сказал молодой человек умоляющим тоном. — У меня есть сведения, что письмо должно быть. А это письмо для меня очень важно. От этого письма зависит все мое будущее, моя жизнь или смерть.

— Ну, чем же я могу помочь пану, если нет этого письма!

Молодой человек еще больше побледнел и стоял, не двигаясь, крепко прижавшись лбом к деревянной

решетке. В эту минуту пани Грозицкая, несмотря на наплыв работы, встала со своего места, подошла к Целе и шепнула ей:

— Посмотрите в ящике «Z».

Целя устремила на нее полуудивленный, полувызывающий взгляд. Однако молча, с досадой выхватила все письма из ящика «Z». Первое, попавшееся ей на глаза, было письмо с адресом «А. Z.» Оно было послано из Подволочиска, как и говорил молодой человек. Значит, несомненно, это и было то письмо, которого он так нетерпеливо ждал. Целя побледнела и еле слышным голосом сказала:

— Есть письмо для пана.

— Есть?— крикнул молодой человек у решетки и тут же упал без чувств.

До самой смерти не забудет Целя того долгого, долгого взгляда, которым окинул ее молодой человек, когда его побрызгали водой и он, придя в себя, поднялся на ноги, — не забудет и тех слов, которые он прошептал своими бескровными губами:

— Благодарите бога и вот эту пани! Вы сегодня могли стать убийцей!

Какая глубокая скорбь, сердечный укор и вместе с тем какая радостная надежда были в его глазах, голосе и во всей фигуре, когда он, держа в руке роковое письмо, нетвердыми шагами выходил из конторы. Взволнованная до глубины души, Целя поглядела вслед ему в окно. Он шел медленно шатаясь, точно пьяный или оглушенный тяжелым ударом, и все еще не решался распечатать письмо. Наконец, он исчез на повороте улицы. С тех пор Целя никогда больше не видела его и так и не могла узнать о содержании письма. И все-таки это был первый и очень ощутительный урок терпения и старательности в мелочах, который дала ей почтовая служба.

Сегодня при разборе писем ей невольно вспомнился этот случай, главным образом под впечатлением упрека пани Грозицкой по адресу ее умершей подруги. Целя чувствовала, что эти упреки отчасти относятся и к ней самой, и работала с удвоенной энергией, нахмутив лоб, так же, как и пани Грозицкая. Несколько раз ее работу

прерывали посетители, приходившие за письмами. Она обслуживала их молча, поспешно и терпеливо, и сейчас же усаживалась опять за свою конторку.

Вдруг под руку ей попало письмо, адресованное на ее имя. Оно прервало ее монотонную работу, удивило ее и показалось ей чем-то похожим на камешек, вложенный злоумышленной рукой между зубьев или в отверстие машины, чтобы на минуту затормозить ее ход или нарушить его правильность. Но, взглянув внимательно на письмо еще раз, она убедилась, что адрес написан рукой Стоколосы. Целя осталась спокойной и почти равнодушной. Отложила письмо в сторону, а сама закончила разборку и раскладку писем по соответствующим ящикам большого экспедиционного шкафа.

Вдруг Грозицкая, воспользовавшись минутным отсутствием публики на почте, снова прервала молчание, не прекращая, однако, работы, склоненная над большой регистрационной книгой.

— И представьте себе, пани: панна Ольга отравилась.

— Что? Отравилась? — вскрикнула в испуге Целя. — Что вы говорите? Не может быть!

— Однако это правда. Мне рассказывал курьер Вымазаль, который живет рядом с ними. Сегодня на рассвете, около четырех часов, мать услышала в Ольгиной комнате какие-то крики и стоны. Она вскочила с постели, зажгла свет, прибежала к дочке, а та корчится на постели от боли. Мать спрашивает ее: «Что с тобой, Олечка?» — «Ничего, мама!» — «А почему же ты кричишь? Болит у тебя что-нибудь?» — «Нет, мама». А сама зубы стиснула, чтобы не кричать, посинела вся. Бьется в судорогах, пальцы мнут и крутят подушку, на губах пена выступает. «Ради бога, Олечка, — кричит мать, — что с тобой такое? Может, послать за доктором?» — «Нет, мама, не надо, идите спать, это пройдет!» Но мать уже не слушала ее. Сейчас же разбудила Вымазаль, живущего рядом с ними, и послала его за доктором. Да пока он нашел его, пока привел к ним, прошел добрый час. Спасать было уже поздно, и еще через час Ольга скончалась.

Целя слушала потрясенная, подавленная.

— Ради бога, пани, — воскликнула она, — неужели она отравилась?

— Вне всякого сомнения. Врач узнал это при первом же осмотре. Только не мог установить, какой яд; не помогали никакие противоядия, которые он давал. Впрочем, кажется, она приняла яд еще около полуночи и несколько часов мучилась молча, чтобы не разбудить мать. Уже, когда сказалось действие яда, и спасение было почти невозможно...

— Боже мой! Боже мой! — вскрикивала Целя, ломая руки. — Это ужасно! Бедная Оля! Но что же могло толкнуть ее на такой отчаянный шаг?

— Легкомыслие, — сурово и решительно ответила Грозицкая.

Целя вóпросительно посмотрела на нее.

— Сейчас же после ее смерти, — продолжала Грозицкая, понижая немного голос, — врач констатировал, что смерть унесла не одну жертву, а две.

— О, боже! — воскликнула Целя.

— Да, да! А пан Вымазаль, как их сосед, давно знал о близких отношениях Ольги с каким-то студентом, который должен был жениться на ней, но полгода назад уехал в Боснию, работать в суде. Кажется, здесь и надо искать ключ ко всей этой истории.

Целя сидела еле живая. Из оцепенения вывел ее только вопрос какой-то девушки, не то швеи, не то продавщицы:

— Простите, пани, нет ли для меня письма на имя Каролины Пташок?

Целя машинально отыскала письмо, адресованное мужской, неумелой рукой, отдала его обрадованной девушке и снова села, стараясь привести свои мысли в порядок. Но пани Грозицкая не растеряла еще всего запаса своих патронов.

— И представьте себе, пани, сейчас же по заявлению врача прибыла судебно-медицинская комиссия. Труп взяли в анатомичку, где сегодня его будут вскрывать, а суд назначил следствие, чтобы установить, откуда и какой яд она достала. И что же оказалось? Бедняжка собственно не хотела лишать себя жизни. Она хотела только, знаете, пани, — тут Грозицкая подошла к Целе

и шепнула ей на ухо несколько слов, от которых лицо девушки сначала вспыхнуло ярким румянцем, а потом побледнело, как полотно, — потому что боялась потерять службу на почте и не хотела повредить другим служащим женщинам. Ну, что вы на это скажете? Так дословно она и написала в записке, когда мать ненадолго отлучилась куда-то за несколько минут до прихода доктора. Что же она сделала? Нашла где-то какую-то старуху, живущую в горах, которая обещала ей за несколько гульденов сварить какое-то зелье, чтобы помочь делу. И неизвестно, сварила ли эта старуха вредное зелье, или, может быть, бедная Ольга выпила его больше, чем следовало; в результате, вместо того чтобы уничтожить плоды своего легкомыслия, она поплатилась жизнью

— Страшно! Страшно подумать! — шептала Целя, а ее живое воображение подхватывало каждое слово Грозицкой и претворяло его в потрясающе реальные и выразительные живые образы. Она как бы видела Ольгу, которая, кроме прекрасных глаз, вовсе не отличалась красотой, на тайных свиданиях с возлюбленным; представляла себе, как благодаря своему горячему темпераменту, его ласкам и уговорам она на минуту забыла о границе, которую существующий общественный порядок не позволяет переступать безнаказанно. Но живет всего, до ощущения физической боли, Целя представляла себе ее муки, когда разбилась надежда на скорое исправление сделанной ошибки, когда возлюбленный изменил, а в то же время медленно, но неуклонно стали сбозначаться последствия минутной слабости. Только теперь Целя начала понимать душевное состояние ее подруги в последнее время, постоянную задумчивость и печаль этой прежде неугомонной щебетуньи, частые и резкие смены настроений, непонятную раздражительность, беспричинные переходы от смеха к слезам и приступы какой-то странной мечтательности, какой у нее раньше не бывало. Слезы невольно навернулись на глаза Цели и перехватили горло, когда она вспомнила, как часто Ольга, особенно в последние дни, усаживалась вместе с ней где-нибудь в уголке и шепотом, быстро, прерывисто дыша, рисовала перед ней счастье материнства, которого она

не испытала и которое разукрашивала самыми чудными цветами своей фантазии. «Ах, боже, иметь такого крохотного, крохотного ребеночка, знать, что он твой, ласкать его и прижимать к себе. Какое счастье! Не надо мне рая, только один день такого счастья! Видеть, как он, маленький, шевелится, как протягивает к тебе пухленькие, кругленькие ручонки, как улыбается розовыми губками, как льнет к твоей груди всем своим маленьким тельцем, и чувствовать, что он твой, часть тебя самой, ох, Целинка, только день, только час такого счастья, а потом я готова умереть в самых страшных муках!» И какая же страшная мука, какой ад должен был kloкотать в душе этой несчастной, если, думая и чувствуя так, она решилась поднять руку на это живое существо внутри себя!

Целя вскочила и начала быстро ходить по конторе, стараясь прогнать от себя эти страшные картины, вгрызавшиеся в ее мозг и леденившие кровь в жилах. Но разгоряченное воображение не хотело успокоиться и рисовало перед глазами Цели все новые картины с неумолимой отчетливостью, точно под микроскопом. Целая гамма сильных и болезненных душевных движений, от первого шага Ольги в поисках роковой знахарки до приема яда, вся эта ужасная драма, полная внутренней борьбы, унижения, тревог, отчаяния и порывов бесконечной нежности, встала перед ее глазами. И, однакоже, эта девушка, которую формалисты и бюрократы назовут легкомысленной и падшей, могла в то время, когда у нее внутри происходила такая тяжелая борьба, вежливо и терпеливо обслуживать публику, казаться веселой среди веселых подружек и ни одним словом ни перед кем не выдать своих мучений! Больше того: чтобы своим падением не скомпрометировать подруг, она решилась на преступление. Целя почувствовала настоящий ужас перед тихим геройством этой девушки. Ее ошибка, которую она хотела исправить преступлением, все это роковое колесо, начиная с первого ложного шага, который влечет за собою дальнейшие, пока не поглотит всей души, всего человеческого существа, весь этот омут перестал существовать для Цели. В его мутных волнах она видела только одно— несчастную жертву с сердцем, пронзенным семью меча-

ми, видела великую любовь и еще более великое страдание, за которое прощается и тягчайшая вина.

И перед глазами Цели отчетливо встали все моменты последнего акта страшной драмы. Все надо было сделать тихо, чтобы никто, а особенно любимая мать ничего не узнала. Под влиянием страхов, наполовину выдуманных, раздутых воображением до чудовищных размеров, несчастная девушка выпила назначенную порцию отвара. Может быть, деревенская знахарка дала ей несколько порций и велела пить их через определенные промежутки времени. Но когда она почувствовала первое действие снадобья на свой организм, когда поняла всю тяжесть, всю дикую неестественность совершенного преступления, когда ей стало ясно, что все надежды на радости материнства в эту минуту бесповоротно погибли и с ними вместе она утратила навсегда душевный покой и всякую возможность настоящей радости и счастливой жизни, — тогда мгновенно сознание ее помутилось, она погрузилась в бездонную тьму и в порыве отчаяния выпила одним духом весь отвар, предпочитая покончить со всем сразу.

— Страшно! Страшно подумать! — шептала Целя запекшимися губами. В голове у нее мутилось. Она чувствовала на сердце какую-то нестерпимую, давившую ее тяжесть. И только слезы, обильно хлынувшие через минуту, принесли ей облегчение. К счастью, это было время, когда в контору приходило меньше всего публики. Целя села в уголок за дверью и тихо плакала. Время от времени она вытирала слезы и выходила из своего убежища обслужить нетерпеливых посетителей, которые топтались у решетки.

В слезах расплывалась ее острая боль, легче становилась тяжесть, давившая грудь. Целя чувствовала только великое участие ко всем страждущим, хотя бы и по собственной вине, глубокую скорбь над общим горем человеческой жизни. Она решила возможно чаще навещать и утешать удрученную горем Ольгину мать. И, что удивительнее всего, в ее чистом девичьем воображении образ падшей и опозоренной подруги остался таким же незапятнанным. Наоборот, Целя чувствовала к ней необычайную нежность и уважение, как к мученице.

«Что значат все мои мелкие детские огорчения, тоска и разочарование по сравнению с этой страшной трагедией!» — подумала Целя, утирая слезы и снова усаживаясь за свою конторку, куда звала ее новая груда писем, принесенных из главной почтовой экспедиции. Она накинулась на работу, чтобы успокоиться после пережитых волнений. Только закончив ее, она бросила взгляд на письмо Стоколосы, лежащее тут же под рукой и до сих пор не распечатанное. На этот раз, однако, ее душа, потрясенная до самых глубин, была далека от всяких насмешек и высокомерия. Сердце ее было полно сочувствия даже к горю этого бедного безнадежного (как ей казалось) безумца. Она вскрыла конверт и начала читать:

«Вы правы, Пани, совершенно правы! — писал ей Стоколоса. — Понадобился сегодняшней тяжелый урок, который Вы дали мне, возможно без предвзятого намерения, чтоб открыть мне глаза на всю неестественность моих отношений к Вам. И то сказать, — чего я мог достигнуть своей глупой назойливостью? Вы не любите меня, не хотите знать меня и были настолько искренни, что совершенно недвусмысленно дали мне понять это. Спасибо Вам! И слава богу, что так вышло! Только сегодня, под влиянием острой боли, я взгляделся поглубже в самого себя, в самый характер своего чувства, и понял, что мы не созданы друг для друга, что если бы даже Вы согласились по той или иной причине быть моей, то это, возможно, стало бы величайшим несчастьем и для Вас и для меня. Да, панна Целина, любовь моя действительно такова, что отравила бы Вам жизнь. Пылкая, страстная и ревнивая любовь человека с богатой фантазией, горячей кровью и самолюбием, которому судьба до сих пор отказывала во всем, что можно назвать взаимностью и личным счастьем... такая любовь не знала бы границ, скоро переродилась бы в шпиона, скрягу, тюремного сторожа и тирана. Меня бросает в дрожь при одной мысли о последствиях, к которым она могла бы меня привести, о бесконечной цепи глупостей и бестактностей, которые я мог бы натворить из любви к Вам, о тех страданиях,

которые беспрестанно причиняло бы мне убеждение, что Вы меня не любите, не можете любить, что Вы пренебрегаете мной, что я Вам противен, — а я заранее знаю, что такое убеждение Вы не могли бы выбить у меня из головы никакими уверениями, никакими клятвами. Мороз пробегает у меня по коже при одной мысли о той пропасти, в какую я готов был броситься, если бы одно движение Вашей руки не остановило меня во-время. Так спасибо же Вам, дорогая, стократ спасибо за этот миг боли, который сразу пробудил во мне моральное существо и вернул меня к сознанию своего долга!»

Целя читала это письмо со все возрастающим изумлением. То, что она изорвала и выбросила письмо Стоколосы, казалось ей таким далеким, таким чуждым ее теперешнему настроению, как будто между этим фактом и данным моментом прошли долгие годы. Поэтому-то сначала показалось ей непонятым смирение Стоколосы, и как раз в такую минуту, когда, вследствие какой-то удивительной ассоциации идей, она готова была выслушать его слова гораздо благосклоннее, чем до сих пор.

Мгновение она думала, что все это вступление — только уловка влюбленного человека, фраза, рассчитанная на то, чтобы вызвать эффект. Поэтому она поспешно перевернула листок, надеясь найти на обороте просьбу ответить ему хотя бы несколькими словами, позволить ему видаться с ней или еще что-нибудь в этом роде. Однако конец письма был краток и сух.

«Отныне я не буду уже надоедать Вам своим видом. Я только что возвратился от нотариуса, где я подписал контракт о продаже своего хуторка; как часто мечтал я, что он будет гнездом моего счастья и тихим пристанищем от житейских бурь. Пусть идет в чужие руки! А я еще сегодня после полудня покидаю Львов и надеюсь, что не скоро вернусь назад».

Подпись автора, и ничего больше, ни слова о том, куда он уезжает. Никакой просьбы, никакого пожелания — ничего.

— Ну, этот быстро решил, и как видно, бесповоротно, — прошептала Целя. — Я и не думала, что у него найдется столько силы воли.

И она вздохнула. Хотя Стоколоса был ей совершенно безразличен, все же на миг в ее сердце проснулось горькое чувство жалости и разочарования, такое же, какое наполняло ее когда-то, когда она, еще маленькой девочкой, гуляла на лугу под присмотром любимой матери, гоняясь за мотыльками. Сколько раз какой-нибудь из этих летающих цветочков был уже совсем близко от ее ручонки, и она с раскрытыми губками и широко открытыми блестящими глазенками тихонько подкрадывалась к нему, как вдруг тот, испугнутый, вспархивал высоко в небо и исчезал из ее глаз; тогда маленькая Целинка морщила бровки, кривила губки и с сердитым личиком кричала вслед ему: «Недобрый! Не нужен ты мне!» Но теперь времена изменились, и Целя не собиралась сердиться на мотылька за то, что он улетел в недосыгаемую даль.

«Что ж, может, так и лучше! Может быть, действительно он прав», — думала она, всматриваясь в неровные, судорожно искривленные, но выразительные буквы письма Семена Стоколосы.

Целя вспомнила, что ведь в конце концов она и сама думала сегодня утром почти то же самое, что он пишет. Но насколько глубже и шире теперь смотрела она на этот вопрос! Какими мелкими казались ей ее собственные утренние рассуждения. Какой софистической и вымученной — покорность Стоколосы!

— Нет, нет, нет! Неправда это! Все неправда, что он написал! — воскликнула Целя почти вслух, так что пани Грозицкая даже обернулась и смерила ее суровым, вопросительным взглядом. «Он не может думать того, что пишет, — тянулась дальше нить ее мыслей, — а если убедил себя в этом, то только поневоле, чтобы замаскировать перед самим собой стыд и свое унижение! «Я никогда не поверил бы, что Вы меня любите!» Глупый, глупый! Одного взгляда, одного пожатия руки искренне любящей женщины достаточно, чтобы наполнить тебя этой верой! «Я замучил бы Вас своей любовью». — Целя усмехнулась наполовину печально, наполовину вызывающе. — Ну, хотела бы я посмотреть, как бы ты доказал это! «Любовь моя обратилась бы в тиранию». И это пишет человек, который — голову даю на отсечение! —

за крохотку оказанной ему любви чувствовал бы себя обязанным быть благодарным всю жизнь! Бедный идеалист! Он не знает, что, пока тираном является только любовь, тирания не может быть ни несчастьем, ни злом, и никакая женщина, чистая, честная, любящая и умная, никогда не побоится такой тирании!..»

Так она спорила мысленно с письмом Стоколосы, забыв о том, что еще сегодня утром доказывала совершенно противоположное. Но скоро служебные обязанности прервали этот ход мыслей, а когда она снова уселась и бросила взгляд на письмо, то только шепнула:

— Ну, что ж, пусть будет так! Конец так конец! Счастливого пути, господин Стоколоса!

Затем сложила письмо, вложила его в конверт и спрятала в карман. Это письмо ей и в голову не пришло изорвать и выбросить за окно.

### VIII

Над городом пронеслась короткая, внезапная летняя гроза. Несколько раз погромел гром, минут десять шел частый, крупный дождь, а через полчаса все прояснилось. Пыль на улицах смыло дождем, воздух стал свежим и душистым, насколько это позволяла Полтва<sup>21</sup> с ее притоками. Целя почти не заметила в своей конторе этой маленькой революции в природе; в ее душе бурлили и кипели гораздо более сильные впечатления.

Только к вечеру она немного успокоилась. Публика в это время не приходит уже на почту толпами, иногда только заглянет какой-нибудь запоздалый посетитель. Целя стала у открытого окна и дышала холодным, освеженным грозой воздухом. Перед ее глазами проходили по обоим тротуарам бесконечные вереницы нарядных дам и мужчин, совершающих вечернюю прогулку, громыхали коляски и кареты, раздавались возгласы разносчиков, продающих ранние вишни и абрикосы, медленно и без перерыва кипела городская жизнь.

Измученная всем пережитым сегодня, Целя отдыхала. На ее душу сошла тишина, одна из тех благословенных

пауз, какие наступают временами только в молодом, здоровом уме, который не утратил еще способности возрождаться из собственных источников, а в минуты усталости, точно сухая губка, открывает тысячи пор и впитывает ими новые впечатления, впитывает всю беспредельность внешнего мира, красоты природы и человеческой жизни, чтобы, насытившись этим многоцветным материалом, начать затем новую работу, в более спокойном темпе и с новой силой. На мгновение Целя забыла обо всем, что пережила так недавно, — была только губкой, впитывающей новые впечатления, чувствовала себя так, как сегодня утром, — только живым существом, которое видит, слышит, чувствует, — и ничем больше. Ей казалось, что она — гибкая, слабая тростинка, стоящая по колени в воде у берега быстрой реки. Тихо качается тростинка, колеблемая легкой волной, тихо шелестит, вторя своим сестрам, и задумчиво глядит на огромные барки, сухие ветки, диких птиц и человеческие трупы, плывущие тут же, мимо нее, по мутным волнам. Куда плывут они и зачем? Кто станет спрашивать? А кто знает, может быть в ближайший миг один из этих огромных пловучих предметов под влиянием случайного толчка зацепит, изомнет, сломает и вырвет с корнем слабую, нежную тростинку?..

— Добрый вечер, пани! — послышался в этот момент знакомый голос в дверях конторы. Целя встрепенулась и отскочила от окна. У деревянной решетки, против ее конторки, стоял доктор Темницкий, наклонив свою могучую фигуру, чтобы показать свое лицо сквозь решетку.

— А, добрый вечер! — ответила Целя.

— У меня, пани, к вам два небольших дела, — сказал доктор, слегка кивнув головой. — Прежде всего, я хотел бы сдать заказное письмо. Ведь это у вас?..

И, не ожидая ответа, сунул Целе в руку письмо, хотя знал, что она не принимает заказных писем.

— Нет, простите, — ответила Целя, — этим занимается пани Грозицкая. — И сама отнесла письмо соседке. То, что еще по дороге, проходя мимо лампы, она взглянула на адрес и прочла: *Amalie Schmidt, Wien*,

Ottakring, Haus Nr 17, I Stock, 10 Thür»\*, — было, конечно, совершенно естественно.

Через минуту письмо было принято, и Целя вручила доктору квитанцию, взяв с него пятнадцать крейцеров за заказ.

— Весьма благодарен, — сказал доктор, пряча расписку.

— А какое у вас еще дело? — спросила Целя, думая, что доктор забыл и собирается уходить.

— Уведомить пани, что наш сторож, который обычно провожает вас вечером домой, внезапно заболел.

— Ой, что же с ним случилось? — воскликнула Целя.

— Не знаю, что там с ним такое, — равнодушно ответил доктор. — Знаю только, что нынче он не может прийти, и если пани разрешит, то я исполню сегодня роль *garde des dames*\*\* , и провожу вас домой.

— О, большое вам спасибо, — сказала Целя. — Только не лучше ли было бы, если бы пан доктор осмотрел бедного сторожа?

— О стороже не беспокойтесь! — сказал доктор со смехом. — Его уж там хорошо осмотрели, да и болезнь у него не такая опасная. Видите ли, — прибавил он с усмешкой и почти шепотом, наклоняясь еще ближе, — бедняга нагрүзился не в меру, ну, и...

Доктор многозначительно покачал головой, чтобы показать полную немощность «нагрузившегося» сторожа.

— А вы, пани, долго еще должны замаливать грехи в этой конторе? — спросил он с улыбкой немного погодя.

— О нет! Уже половина девятого, — ответила Целя, взглянув на казенные часы, — а в девять наши занятия кончаются. Будьте добры, доктор, войдите в нашу клетку и присядьте на минутку. У меня есть еще немного работы, но я скоро буду готова.

Доктор охотно и без церемонии вошел за перегородку.

— Пан доктор Темницкий! Пани Грозицкая! —

---

\* «Амалия Шмидт, Вена, Оттакринг, дом № 17, 1 этаж, 10 дверь» (немецк.)

\*\* Спутник дам, провожатый (франц.)

сказала Целя, представляя их друг другу. Пани Грозицкая встала и поклонилась, взглянув исподлобья на Целю.

— Очень приятно! — сказала она своим сухим голосом. — Я знала вашего отца когда-то... в лучшие времена. Он даже бывал у нас. Ну, а теперь времена изменились, — прибавила она с натянутой улыбкой.

В этих словах было так много горечи, что доктор даже вздрогнул, как будто ожегшись о крапиву.

— Мой отец мало куда выходит, но о доме пани часто вспоминает с большой симпатией, — солгал доктор, чтобы сгладить неприятное впечатление от слов Грозицкой. Однако она не обратила внимания на его любезность, а отвернувшись, уселась снова за конторку и углубилась в свои бумаги и квитанции.

Доктор присел у левого угла Целиной конторки, повернувшись к ней профилем. Молчал и оглядывал жалкую, шаблонно казенную меблировку этой клетки, пока Целя занималась регистрацией и приведением в порядок писем на следующий день.

— Что это за дама, которой вы послали письмо? — сказала она, наконец, спокойно, не поднимая головы от работы.

— Моя невеста, — так же спокойно ответил доктор.

— Да?

И снова замолчала, только перо медленно двигалось по бумаге.

— Я написал ей то, — продолжал доктор тоном непоколебимого решения, — что диктовала мне совесть. Написал ей, что не люблю ее и не могу любить, а жениться без любви не собираюсь.

Целя перестала писать и подняла на него глаза.

— Что вы говорите?

— Правду. Жертва одной стороны в браке — это только глупость или трусость, и именно той стороны, которая жертвует собой. К тому же эта жертва всегда бывает бесцельна и бесплодна. Такой роли в браке я играть не хочу ни за какие сокровища мира. Об этом я и написал ей. Завтра отсылаю кольцо.

— Не слишком ли поспешно вы поступаете? — спросила с улыбкой Целя. — Может быть, на самом деле вы

любите панну Амалию Шмидт и только на расстоянии вам вдруг показалось, что вы ее не любите?

— Ну, — сказал доктор с полумеланхолической, полунасмешливой улыбкой, не спуская глаз с ее фигуры, — надо только один раз видеть панну Амалию и поговорить с ней, чтобы убедиться, что по отношению к ней невозможен никакой безрассудный поступок.

— Так ли это? — сказала Целя. — Ну, однако, вы строго судите! Не дай бог никому попасть к вам на язык. Он у вас острее ваших скальпелей и ланцетов! Бедная Амалия!

— Не жалейте ее! — сказал доктор. — Я уверен, что и она скоро утешится, потеряв меня. А кроме того, пани, человек живет один раз, значит первая его обязанность — избегать неприятностей там, где их можно избежать, потому что неприятности — это жизненный минус, которого не в силах возместить никакая теория и никакой альтруизм.

Между тем Целя со всем усердием и напряжением углубилась в свою работу. Окончила ее не спеша, методично, как если бы рядом с нею не было никакого доктора и как будто не была высказана, решительно и непоколебимо, никакая философия эгоизма, подкрепленная житейским опытом.

## IX

Когда часы пробили девять, — ни минутой раньше, — пани Грозицкая поднялась со своего стула, посыпала песком и закрыла свою книгу, разложила на кучки пронумерованные уже на завтра квитанции, отдельно польские и отдельно украинские, расставила в порядке гири почтовых весов, сложила перья, закрыла чернильницу, одним словом, навела на своей конторке образцовый порядок, нарушаемый только множеством чернильных пятен на толстой пропускной бумаге, которую из экономии было покрыто зеленое сукно конторки. Потом начала одеваться.

Целя была уже одета и ждала ее.

— Вы, господа, не ждите меня, — сказала пани Грозицкая. — Пока старая педантка соберется и сдви-

нется с места, вы будете уже на Марьяцкой площади<sup>22</sup>. Впрочем, наши дороги расходятся тут же, за порогом, а я уже, слава богу, в таком возрасте, — прибавила она иронически, поклонившись доктору, — что вечерняя прогулка по улице не представляет для меня никакой опасности.

— Ну, тогда спокойной ночи, пани!

— Спокойной ночи!

Целя с доктором вышли. Грозицкая хмуро посмотрела вслед им и прошептала:

— Наивная девушка! Не сомневаюсь, что она верит этому шарлатану, а он плетет ей всякие небылицы. Ну, и пусть верит! Я предостерегать ее не стану. Посмотрим, скоро ли она пойдет по той же дорожке, что и Ольга. Ох, мои молодые барышни! Казенная служба не для вас! У вас кровь кипит, губы дрожат, глаза горят, а все эти качества на службе вовсе не нужны и даже очень, очень вредят!

И Грозицкая грустно покачала головой.

— Ну, пора уже мне домой, — сказала она, наконец. — Боже мой, что-то там дети делают! Ох, служба, служба! Ноют уже мои кости от нее!

И она медленно, охая, начала одеваться, пока не пришел почтовый сторож, чтобы закрыть ставни, погасить свет и запереть дверь конторы.

Между тем Целя шла рядом с доктором и взволнованно рассказывала ему о смерти своей подруги, добавив в конце:

— Хотела бы я навестить ее мать, утешить бедную старушку в таком тяжком горе. Да что поде-лаешь? Завтра с утра до двух часов служба, не вырвешься.

— Служба — неволя, — глубокомысленно заметил доктор.

— Вы так думаете? — живо откликнулась Целя. — А мне до недавнего времени совсем так не казалось. Наоборот, эта регулярная, размеренная по часам жизнь успокаивала мысли, я становилась здоровее, серьезнее, довольнее. Приду со службы, пообедаю, иногда подремлю немного, почитаю, пойду на урок, — и так день за днем. И я счастлива, потому что, несмотря на эту ка-

жущуюся неволю, а в сущности только строго определенные рамки, в которых протекает моя жизнь, я чувствую себя независимой, чувствую, что живу собственным трудом, никому не в тягость, не ищу ничьей благосклонности.

— Кроме какой-то там Грозицкой, какого-то там Вымазая, Долежала и прочей канцелярской моли, — злобно добавил доктор.

— Нет, простите, я и у них не ищу благосклонности, так как знаю: если я хорошо выполню свои обязанности, никто мне ничего не сделает. Я от них не завишу, а если стараюсь жить с ними в мире и согласии, то такова уж моя натура. Я согласна для спокойствия чем-нибудь поступиться, особенно если дело касается мелочей или чего-нибудь такого, в чем у меня самой нет уверенности, что я права. Но это ведь обычные невзгоды человеческой жизни, а не только нашей службы.

Целя, говоря так, увлеклась, оживилась необыкновенно; чувствовалось, что слова ее идут от самого сердца. Сумерки ли, сгустившиеся на улицах, только слабо освещенных газовыми фонарями, или свежий вечерний воздух, или спокойный тон доктора придали ей такую смелость, — но доктор никогда еще не видел ее такой оживленной, как сейчас. И никогда еще она не казалась ему такой очаровательной, прелестной, как в эту минуту, хотя он видел только неясные очертания ее лица, пылающего нежным румянцем.

— Вы сказали, пани, что так было до недавнего времени. Разве теперь что-нибудь изменилось?

— Как бы вам сказать?.. Собственно говоря, вокруг меня ничто не изменилось, но в себе я чувствую какую-то перемену. С тех пор как ваш папочка с усердием, достойным лучшей участи, начал допекать меня изо дня в день этой службой, и разворачивать, и расписывать перед моими глазами все ее недостатки, — с тех пор, признаюсь вам, я сделалась более чувствительной ко всем тем мелким уколам, без которых, ясное дело, и тут не обходится. Бремя службы, которого я раньше почти не чувствовала, начинает, как ярмо, натирать мне шею. Иногда меня охватывает апатия.

— А может быть, это только минуты пробудившегося сознания?

— Что же это за сознание, такое тяжелое и болезненное?

— Сознание недостигнутой цели, испорченной жизни, растраченных сил, — сказал доктор решительным и мрачным тоном.

Целя даже остановилась в испуге.

— Что это вы говорите! — воскликнула она. — Ну, доктор, — добавила она немного погодя, — не ожидала я от вас таких зловещих слов.

— Что ж, простите, я врач и с медицинской точки зрения не могу говорить иначе. Я не принадлежу к числу тех людей, которые противятся правам женщин на высшее образование, на умственный труд и конкуренцию с мужчинами на арене общественной деятельности. Наоборот, пусть женщины учатся, мыслят, пишут, работают. Так много еще непочатой работы, так велика еще область неизведанного и нерасследованного, что чем больше здесь будет работников, тем лучше.

— Если бы кто-нибудь вас слышал сейчас, то принял бы вас за горячего поклонника женской эмансипации, — шутливо сказала Целя.

— И был бы вполне прав! — горячо воскликнул доктор. — Я действительно ее поклонник. Пусть женщины эмансипируются от всех своих слабостей, недостатков и предрассудков, от темноты, паразитической жизни и недомыслия. Но, как врач, я протестую против одной эмансипации, и в этом пункте у меня очень сильный союзник — природа.

— Против какой же эмансипации вы протестуете?

— Эмансипации от семьи, брака, любви! — глубоко-мысленно ответил доктор. — Эти вечные нападки на мужчин en général\*, это раздувание искусственной ненависти ко всему усатому и бородатому роду и пропаганда эмансипированного celibата<sup>23</sup> и монашества могут самую идею сделать смехотворной в глазах многих людей. Разумеется, в моих глазах это только досадное, временное психо-физиологическое отклонение, на которое

---

\* Вообще (франц.)

я не только не сержусь, но смотрю, как на предмет врачебной практики, ищу его источники и размышляю над способами, как бы его излечить наилучшим образом.

— Признаюсь, доктор, — сказала серьезно Целя, — что хотя сама я и противница такого понимания положения женщины, как чего-то совершенно отдельного и противоположного мужчинам, но все-таки я не решилась бы никогда ни вышучивать, ни высмеивать женщин, занявших такую позицию, ни даже судить их с медицинской точки зрения, как вы. Прошу не забывать, что идея о правах и общественном труде женщины настолько еще нова и мало распространена даже среди самих женщин, что требует самых горячих апостолов, пропагандистов и адептов, и именно поэтому им приходится прибегать к крайностям, чтобы собственным примером доказывать справедливость и силу этого справедливого течения. Такие крайности, с общественной точки зрения, необходимы, чтобы открыть людям глаза, чтобы эти люди, осуждая крайности, привыкли считать главное, основное течение чем-то желательным, а затем и естественным, чем-то таким, что само собою разумеется.

— Жаль, что вы не адвокат, — с улыбкой сказал доктор, — вы так хорошо защищаете идею, с которой, по вашим словам, вы сами не согласны. И признаюсь вам, пани, во всей вашей блестящей защите самым ценным для меня было именно это заявление.

— Почему? Разве вы сомневались в этом?

— Ну, мог и сомневаться. Ведь ваша жизнь до сих пор, а особенно это добровольное рабство на почте, не очень-то свидетельствует о вашей склонности к семейной жизни.

Целя с досадой покачала головой.

— Не думала я, что и вы заговорите со мной в таком тоне. Добровольное рабство! Но ведь это злая насмешка с вашей стороны. Что же мне делать? Идти просить милостыню? Или жить подачками каких-нибудь родственников? Да у меня и нет таких! Или, наконец...

Она не dokonчила. Они были уже у цели, у входа в дом, где жили.

— Нет, простите, — сказал доктор, когда они вошли

в парадное, — ничего подобного я от вас не жду. Но есть еще один выход.

— Знаю, знаю, что вы скажете! — воскликнула Целя. — Выйти замуж. Это все равно как если бы вы умирающему с голоду сказали: твое спасение в одном — регулярно каждый день есть за обедом жаркое. Очень разумный совет, но у умирающего с голоду нет даже куска хлеба.

— Нет, извините, на этот раз ваши аргументы очень слабы. Вы аргументируете сравнением, которое, если бы само по себе и было правильно, все-таки хромало бы. Прежде всего, пани, вы очень плохого мнения о моих врачебных познаниях, если думаете, что я мог бы дать такой совет умирающему с голоду. Жаркое могло бы сразу убить его ослабленный организм. Я пропишу ему бульон и одновременно предложу поместить его в больницу.

— Вот в этом-то все дело! — сказала Целя. — Такой больницей для незамужних и неимущих женщин и является служба, хотя бы и самая заурядная и наименее соответствующая их желаниям и способностям. И я очутилась в этой больнице попросту для того, чтобы не умереть с голоду.

— Ну, — ответил доктор со сладкой улыбкой, — ведь, кроме больницы, есть еще и домашнее лечение.

— Для тех, у кого на это хватит средств!

— А если бы, например, вы, пани, нашли средства для такого домашнего лечения?

— Я? Где же мне их взять? Разве выиграю сто тысяч в лотерею?

— Ну, это трудновато. Но если бы, скажем, средства нашлись, приняли бы вы их или, может быть, отказались бы из ложного самолюбия?

— Из ложного самолюбия? Его у меня, пожалуй, нет! Это зависело бы от средств и от источника, из которого они исходят.

— Источник, как бог даст, а средства, скажем так, скромные, но вполне достаточные для домашнего лечения.

— Признаюсь, — сказала Целя, останавливаясь на площадке перед дверями квартиры, — что совсем не понимаю, о каком лечении и о каких средствах вы говорите.

— Может быть, и так, — с каким-то двусмысленным видом сказал доктор. — Можем поговорить об этом в другой раз. Вы ведь придете с нами ужинать?

— Право, не знаю.

— Приходите! — сказал доктор сердечно. — Отца нет дома, а мне одному есть совсем неохота. Да и так... поговорим, если вам это не наскучит.

— Ну, так до свиданья! — сказала Целя и, протянув ему руку, пошла к себе в комнату.

## Х

За ужином, вопреки уверениям доктора, присутствовал и старик Темницкий. Доктор молчал и старался даже не глядеть на Целю. Старик также был в плохом настроении, а у Цели, которая напрасно ломала себе голову, что собственно хотел сказать ей доктор, не было охоты затевать разговор. Поэтому сразу же после ужина она ушла к себе, отговорившись тем, что завтра утром надо рано идти на службу.

Ей пришлось проходить через кухню, где ее остановила на минутку Осиповна, рассказав о стороже; он, напившись, наговорил грубостей хозяину дома, а особенно старому Темницкому, о котором на всю улицу выкрикивал такие мерзкие вещи, что даже слушать противно.

— Ну, и достанется же ему за это в полиции! — прибавила старуха.

— Как, его забрали в полицию?

— А как же! Пан Темницкий знаком со старшим комиссаром<sup>24</sup>, побежал пожаловался, ну, и взяли нашего сторожа. Уже на его месте у нас другой.

— Вот как! — сказала удивленная Целя.

— А не панночка потеряла это письмо? — сказала Осиповна, доставая из-за пазухи измятое, распечатанное письмо и подавая его Целе. — Может, опять какая-нибудь глупость, — прибавила она, — и панночка на меня рассердится, но такая уж моя доля, что я все к панночке с письмами пристаю.

Целя бросила взгляд на письмо и вздрогнула.

— Откуда к вам попало это письмо?

— Да я нашла его вот тут, на лестнице! Я думала, не панночка ли его обронила? Пусть панночка посмотрит, что там внутри, может, там другое письмо, не из этого конверта. Письмо лежало отдельно, это я сама вложила его в конверт.

Целя вынула письмо, посмотрела на него у лампы и расхохоталась громким, искренним смехом.

— Ха-ха-ха! Вот это так! Вот хорошо! Вот интересно! Ха-ха-ха! — хохотала Целя, складывая письмо и снова пряча его в конверт. Со смехом она вбежала к себе в комнату, но тут ее хохот сразу оборвался, губы сжались, лицо побледнело. Что-то начинало проясняться у нее в голове, — но как болезненно было это прояснение! Она быстро заходила по комнате, потом остановилась у окна и прижалась лбом к холодному стеклу. В ее воображении мелькнул Стоколоса, с испуганной физиономией, блестящими глазами, сгорбленный и некрасивый, но с горячим, искренним сердцем. Мгновение он как будто вглядывался ей в глаза, а потом его лицо заволокло невыразимой грустью и медленно расплылось в серой мгле. Целя махнула рукой.

— Что мне до него! Был он мне чужим и останется чужим. Это для меня не потеря.

Сильнее звучали струны ее души при воспоминании об Ольге. Фантазия Цели, которая каждую мысль сейчас же превращала в рельефные картины, мгновенно развернула перед ней широкую, пыльную и плохо вымощенную дорогу. Это женская казенная служба. По этой дороге идет небольшая горсточка женщин, молодых и старых, веселых и мрачных, полных надежд и полных разочарования. Кажется, все они идут вместе, ровным, размеренным шагом, однако, приглядевшись поближе к этой массе, различаешь как будто три группки, три дорожки на пути.

По правой дорожке идет группа женщин, в сердцах которых житейские несчастья, разочарования и официальная суровость иссушили омолаживающий источник чувства и человеческой самодеятельности. Это — женщины-бюрократки, которые неуклонно выполняют свой жизненный долг, но женщины с очень узким кругозором житейских интересов, симпатий и антипатий. Это —

человеческие существа, симпатичные во многих отношениях, во многих отношениях достойные сочувствия, но крайне ограниченные, упрощенные, приведенные, так сказать, к одному знаменателю. Дорожная пыль покрыла их густым слоем, въелась в их кожу и обесцветила ее, лишила даже проблеска свежести.

По другой дорожке, левой, идут существа, совершенно противоположные первым, живые, пылкие и полные жажды жизни, полные стремления к труду, полные самоотвержения и сочувствия, но именно поэтому обреченные на тяжчайшие искушения, на величайшие опасности и ошибки. В этой группе нет единства и внешнего однообразия; тут каждое лицо — действительно отличная от других индивидуальность, здесь все полно движения и контрастов, здесь звучит смех и глухо стонет отчаяние, а вдоль пути, по которому прошла эта группа, время от времени остаются безвестные жертвы: трупы, кровь.

А третий путь — средний. По этому пути идет очень смешанная, самая многочисленная компания. Есть тут и женщины, закаленные опытом, которые вынесли из тяжелой житейской борьбы чуткое сердце и непорочную душу; есть молодые девушки, счастливый темперамент которых охраняет их от крайностей, а молодость — от рутины, гармонические натуры с живым чувством и желанием деятельности, но руководимые скорее разумом, чем чувством. Борьбы и внутреннего разлада и здесь немало, немало заблуждений и ошибок, — где же их нет в делах человеческих? Но драгоценнейшие сокровища — человечность, чувство собственного достоинства и человеческая индивидуальность — свято хранятся в этой группе, передаются, как самое ценное и наследство, все вперед, в далекое, лучшее будущее.

Легкий стук в дверь прервал ее мечты.

— Можно войти? — спросил доктор в дверях. — Слышу, что вы, пани, еще ходите по комнате, не спите, вот и подумал...

— Пожалуйста, пожалуйста, входите! — сказала Целя.

— Я на минуточку. Отец ушел после ужина в свой клуб, а я не привык так рано ложиться спать. Но если я мешаю....

— Нет, доктор, мне еще не хочется спать, — сказала Целя. — Пожалуйста, садитесь.

Доктор сел и не сводил глаз с Цели, которая не переставала ходить по комнате.

— Удивительное дело, — заговорил он после минутного молчания. — Гляжу я на вас, пани, и мне кажется, что я читаю ваши мысли, как по книге.

— Это вам только кажется, — отвечала Целя с улыбкой.

— Держу пари, что знаю, о чем вы думаете в этот момент!

— Хорошо, на что пари?

— На... на... знаете, пани, если я выиграю, тогда скажу свою цену, а если проиграю, то будете диктовать вы.

— Пожалуй, вам дорого обойдется то, что я продиктую.

— Все равно. Но я ведь тоже потребую не малого.

— Я не боюсь. Согласна. Ну, говорите, о чем я думала?

— Об одном господине, по имени Семен Стоколоса.

Доктор сказал это медленно, подчеркнуто, устремив на Целю пронизывающий взгляд. Она стояла против него. Слова доктора, повидимому, не произвели на нее никакого впечатления.

— Я знала, что вы сюда метите, хотя и не ожидала от вас таких слов. Вы проиграли, доктор. Я думала об участии служащих женщин.

— Честное слово?

— Честное слово!

— Прошу требовать свой выигрыш.

— Пан доктор должен, как на исповеди, признаться мне в трех вещах, — полусхотливо, полувзволнованно сказала Целя. — Прежде всего, откуда доктор знает Семена Стоколосу и на каком основании предполагает, что я могла думать о нем?

— О, на этот вопрос очень легко ответить. Стоколосу я знаю еще по гимназии. Именно сегодня, когда вы, пани, ушли на службу, я увидел его из окна, он шел по улице. Случайно увидел его и мой отец и сказал мне,

что это тот молодой человек, с которым... которого... о котором он упоминал за обедом.

Кровь бросилась Целе в голову.

— И вы сразу поверили, что у меня с ним какие-то близкие отношения! — воскликнула она. — Фи, доктор, стыдитесь!

— Что же, разве в этом есть что-нибудь плохое? Стоколоса человек способный и симпатичный, несмотря на свою... комичную внешность.

— И тем менее мне нет до него никакого дела.

— Однакоже вы переписываетесь с ним.

— Ошибаетесь! Я получила от него два письма, это верно, но ни на одно не ответила.

— Ну, хорошо! Допустим, что вы не ответили ему письмом, но дали устный ответ.

— Пан доктор! — вскрикнула Целя огорченно и с болью в голосе.

— Но, простите, пани, ведь и это не преступление.

— Но если бы такой факт был, я бы не стала скрывать его.

— А, ну тогда простите! Прошу перейти ко второму пункту.

— Нет, пан доктор, прощаю вам второй пункт, — сказала Целя с досадой.

— О, пани уже сердится на меня, — сказал доктор. — Может быть, мне уйти?

— Нет, сидите, сидите! Кто вам сказал, что я сержусь? — поспешно сказала Целя.

— Ну, спасибо за позволение! А что касается второго пункта, то я могу ответить на него и без вопроса. Вы хотели знать более подробно о панне Амалии Шмидт. Охотно расскажу вам.

Целя взглянула на него с изумлением и, наконец, громко рассмеялась.

— На этот раз угадали. Но помните: говорите правду.

— Что ж, — сказал доктор, — у меня нет причин скрывать правду. Панна Амалия Шмидт — это, как я уже говорил вам, дочь старшего врача главного венского госпиталя, ей двадцать восемь лет, и она — наследница полумиллионного состояния. А так как мы с ее отцом большие друзья, то он старался деликатно

склонить меня к тому, чтобы я стал его зятем. Ну, нечего греха таить, я человек не святой, соблазнился не столько состоянием, сколько карьерой, которую обещал мне доктор Шмидт, и обручился с девушкой. Но сегодня, как пани видела, я послал отказ и разорвал обручение.

— И это правда? — спросила Целя, пристально глядя в глаза доктору.

— До единого слова правда.

— Честное слово?

— Честное слово! — без запинки сказал доктор.

— Ну, хорошо. А что собственно склонило вас к этому разрыву?

— Что меня склонило? Гм! — сказал доктор, притворяясь озабоченным. — Позвольте мне оставить этот вопрос до другого раза. Он ведь не относится ко второму пункту... панны Шмидт.

— Так, так! — смеясь, сказала Целя. — Обсудим вопрос по-парламентски! Переходим к третьему пункту. Каков собственно был смысл вашего вечернего разговора? Может быть, это не тактично, что я так прямо об этом спрашиваю но, доктор, вы проиграли пари, так уж не прогневайтесь!

— Каков собственно смысл моего разговора? Гм! Гм! — И доктор на этот раз действительно в замешательстве задвигался в кресле. — Это дело довольно деликатное, и я не знаю, в какой бы форме сказать вам о нем.

— Не заботьтесь о форме! Форма — предательница. Пусть вещь говорит сама за себя, — серьезно и даже строго сказала Целя.

— Настоящий смысл моего разговора, пани, таков, что я... — Доктор произносил эти слова медленно, все тише и тише, и под конец шепотом, наклонясь в кресле, добавил: — Лжблю вас!

С этими словами он вскочил и бросился к Целе, чтобы заключить ее в свои могучие объятия. Целя побледнела, но отстранила его энергичным движением руки.

— Нет, доктор, — сказала она, — не забываетесь! Сидите. Мне надо еще спросить вас кое о чем. Вы говорите, что лжбите меня. Что ж, для меня это большая честь. Вероятно, вы скажете также, что бросили панну Амалию Шмидт из-за меня, не так ли?

— Ну, а хотя бы и так?

— Тоже большая честь и большая жертва для меня, о, большая! — сказала Целя с какой-то горькой иронией. — А теперь скажите, чего вы требуете от меня за эту честь и эту жертву?

— Странно вы, пани, выражаетесь, — сказал доктор. — Ни за эту честь, ни за эту жертву, ни за свою любовь я не требую и не могу ничего от вас требовать. Я могу только желать...

— Ну, так чего же вы желаете?

— Чтобы... чтобы... вы хоть немножко полюбили меня.

— А зачем вам моя любовь?

— Ах, пани! Как вы можете спрашивать об этом? Ваша любовь была бы для меня величайшим сокровищем, новой жизнью, была бы...

— Пан доктор! — строго перебила его Целя. — Не изображайте из себя поэта! Это вам совсем не к лицу. Сколько раз вы говорили о себе, что вы человек практический. Так и говорите по-своему, практично.

Доктор изумленно посмотрел на Целю, которая стояла перед ним бледная, со сжатыми губами, с выражением непреклонной решимости. Он быстро окинул ее пытливым взглядом; в глазах его на момент промелькнуло что-то вроде злобной насмешки и уверенности в победе, и он сказал:

— Ну, пани, вы меня несколько разочаровываете. Я не думал, что в *таких* вопросах вы так практичны.

— А что же вы думали? — ответила Целя. — Что прельстите меня словами, которым я имею основание не верить?

— Имеете основание? — удивился доктор. — Скажите, какое же основание?

— Это уже мое дело! — сказала Целя. — Когда придет моя очередь говорить, скажу, не беспокойтесь. А теперь говорите вы. Только предупреждаю, — говорите искренно!

— А разве до сих пор я говорил неискренно? — сказал доктор с видом оскорбленной невинности.

— К делу, пан доктор, к делу! Что вам от меня нужно?

При этом вопросе доктор побледнел. Минуту он колебался.

— Что ж, пани, это было бы моим самым горячим желанием, наивысшим идеалом, но существуют кое-какие препятствия, которые надо было бы сначала устранить. Не думайте, что таким препятствием я считаю вашу бедность, — это мне безразлично! Правда, для начала практики, на устройство пригодились бы деньги, но это уж моя забота, не вам об этом беспокоиться. Самым главным препятствием является...

Доктор запнулся.

— Что такое? — спросила Целя

— Ваша служба на почте, вот что! — ответил доктор и вздохнул с облегчением, как будто сбросил с себя какую-то огромную тяжесть.

Целя смотрела на него с немим изумлением.

— Да, пани,—уже свободнее и даже с каким-то жаром говорил доктор.— Ни мой отец, ни я, мы никогда не согласимся, чтобы моя невеста шла к венцу прямо из почтовой конторы. Жена — это для меня нечто такое святое, нежное, недостижимое, что я даже в мыслях не могу без возмущения представить ее там, на публичной выставке, на этом рынке, где бесстыдство и грубая сила борются за кусок хлеба. Вообразить себе, пани, вас среди этой толпы,—это для меня так больно, так унижительно!..

Целя стояла бледная, холодная, неподвижная. Только грудь ее вздымалась порывисто, свидетельствуя о глубококом внутреннем волнении.

— Что же мне делать? — спросила она чуть слышно.

— Возможно скорее оставить службу, хоть завтра!

— А куда же мне деваться? Ведь не могу же я, не будучи еще вашей, жить здесь у вас... из милости...

— Ну, из милости! Какие слова вы употребляете! Для того, кого люблю, всякая услуга, всякая жертва является только долгом. Правда, здесь вам будет неудобно оставаться, но есть выход. У меня есть в Станиславове старая тетка, я отвезу вас к ней, и вы побудете там, пока здесь приготовят все к свадьбе. — Ну, что, согласны?

И доктор с улыбкой снова протянул руки, чтобы заключить ее в свои объятия,

— Нет еще, — холодно сказала Целя. — Теперь моя очередь говорить. Я буду краткой. Прошу вас, доктор, прочтите мне вслух это письмо и поясните его смысл.

И она протянула ему письмо, полученное от Осиповны.

Бросив взгляд на грубые каракули на конверте, доктор вскочил со стула как ошпаренный.

— Откуда вы взяли это письмо? — резко сказал он.

— Не бойтесь, доктор, я его не украла, — холодно ответила Целя. — Осиповна нашла его на лестнице и отдала мне, думая, что оно мое. Письмо лежало отдельно от конверта, я увидела счета за стирку, за мытье полов, за чистку сапог, а под ними подпись: Amalie Schmidt, Ihr altes Stubenmädchen \*. Только тогда я взглянула на конверт и увидела, что письмо адресовано вам. Возвращаю вам этот ценный документ.

Доктор стоял совершенно растерянный, а потом медленно заговорил, с принужденной улыбкой:

— Ну, панна Целина, что же из этого следует?

— Ничего, — сказала Целя, — кроме того, впрочем, что вы честным словом заверили, будто ваша история с панной Амалией правдива. Значит, теперь я знаю, чего стоит ваша честь!

— Но ведь это шутка, невинная шутка!

— Такая же невинная, как и та, которую вы хотели сыграть со мной! О, теперь я поняла вас! Теперь я знаю, почему вам мешала моя служба! Знаю, к какой тетке вы хотели меня отвезти! Знаю, в каком смысле вы хотели сделать меня своей! Боже мой, боже! — разразилась она громким плачем. — Что я вам сделала, что вы так издеваетесь надо мной? Почему вы, как волки, с первой минуты только и думаете о том, как бы сожрать меня, втоптать в грязь, принизить в собственных глазах!

И, заливаясь горячими слезами, обессиленная, она упала лицом в подушку. Тяжелые рыдания сотрясали все ее тело. Доктора давно уже не было в комнате, а вместо него старая Осиповна склонилась, как мать, над плачущей девушкой.

---

\* Амалия Шмидт, ваша прежняя горничная (немецк)

Целя успокоилась не скоро и долго не могла уснуть. Жизнь казалась ей беспросветной, полной обманов и опасностей, как тому, кто заблудился в лесу, полном змей, волков и ядовитых испарений.

На другой день Целя через Осиповну передала Темницким отказ от комнаты. А днем, после службы, поспешила к старухе Невирской. Для несчастной женщины, выплакавшей уже, как видно, все свои слезы над трупом Ольги, приход Цели был как первый луч света после темной ночи. Ее слова, полные горячий, сердечной любви к умершей, полные чистого девичьего сочувствия даже к ее ошибке и к ее великому страданию, старушка впитывала в себя, как живительную росу. А когда, наконец, Целя рассказала ей о своем приключении с доктором Темницким, старушка крепко-крепко обняла ее и, обливая слезами ее лицо, сказала:

— Мое бедное, золотое дитячко! Переходи ко мне! Займи то место, которое так внезапно опустошила лютая смерть! Будь мне дочкой! Будем любить друг друга, будем помогать друг другу. А тех, кто хочет нашей гибели, пусть судит бог!

Целя целовала сморщенные руки старушки, обливая их слезами.

*Львов, июнь 1888*

## К С В Е Т У !

*Рассказ арестанта*

### I

Ученые естествоиспытатели утверждают, будто на самом дне морских пучин покоятся слои настоящей «мертвой воды». Огромный водяной столб давит сверху на каждую частицу нижних слоев и лишает их какого бы то ни было движения, какой бы то ни было жизни. Не проникает сюда солнечный свет, не водятся здесь живые существа, не бывает никаких подводных течений, не отзываются здесь ни малейшим эхом бури и землетрясения. Единственное движение, какое здесь возможно заметить, — это извечное и непрестанное оседание миллионов трупов и скелетов живых существ, которые когда-то, порою в незапамятные времена, жили и наслаждались там наверху, нежились в солнечном свете, купались в его тепле, качались на могучих морских волнах. Погибнув, они медленно-медленно опускаются на дно — особенно малюсенькие фораминиферы <sup>25</sup>, диатомеи <sup>26</sup> и прочая мелюзга, составляющая основную массу морского бытия, — их трупы постепенно проникают сквозь все более плотные, все более щедро насыщенные кислородом и углекислотой слои, разлагаются в них, точно сгорают, и только спустя известное время достигают дна в виде микроскопических шариков и пластинок и укладываются на этом огромном кладбище, чтобы ко-

гда-нибудь, спустя тысячи лет, образовать меловую скалу.

Тяжко и тоскливо, должно быть, этим нижним водяным слоям покоиться в жутком мраке, под неслыханным давлением, цепенеть на мертвом дне среди одних только трупов. И особенно тяжело и тоскливо, когда затаенно зазвучит в них та извечная, неистощимая сила, без которой нет в природе ни одного единственного атома. Живая, неистощимая внутренняя сила, а вокруг мрак, страшное давление и бесконечное кладбище! И когда в этих несчастных, осужденных на вечную смерть атомах зашевелится хоть раз в тысячу лет легчайший намек на мысль — вы полагаете, это невозможно? Но разве наш мыслящий мозг не сцепление тех же атомов кислорода, углерода и других элементов? — как горька, тяжела должна быть эта мысль-мечта!

— Мать-природа! Откуда же такая к нам несправедливость? Неужто мы хуже тех, что там, над нами, веселятся, тех, кого баюкает счастье, кто в чудесных потоках света красуется? И отчего бы тебе не чередовать нас, отчего бы не пускать и нас хоть на часочек туда, наверх?

Но матери-природе чужда сентиментальность, она глуха к мечтателям.

— Стану я с вами, глупцами, нянчиться! — ворчит она. — Чувствуете в себе силу, так пробуйте сами наверх выбиться! Только у меня и дела — вас подсаживать! Вот еще! Выбивайтесь сами!

Да, попробуйте сами вырваться!..

Не доводилось ли вам видеть подобное в человеческой жизни? Ох, доводилось, милые мои, кому же не доводилось такое видеть! И после каждого такого случая щемило ваше сердце, защежит оно и сейчас, если вы попробуете мысленно перенестись в положение этих горемычных живых атомов человеческого общества, осужденных завистливым роком на вечный мрак, на тупую неподвижность, на безвестную гибель. Да и все мы — разве не такой же низовой слой среди других народов? Разве не ощущаем мы каждое сильное, здоровое движение этих свободных и счастливых, народов, как боль, как нажим, как толчок в нашем народном организме?

А любой из вас, кто, нередко ценой невероятного усилия, ценой существования не одного из самых близких нам людей, вырвался из этого темного дна хотя бы на первую ступень, — разве не испытывает он порой невольный страх и боль при одной только мысли об этом дне и о том, что, если бы не приди на помощь тот или иной счастливый случай, ему наверно пришлось бы погибать там и поныне, темным, беспомощным, безвестным, одною из частиц *людской массы*, а не человеком? И разве не заболит наше сердце при мысли, что тысячи и тысячи так же точно, как и мы, силились выбраться из этого мрака, тосковали по свету, рвались к свободе и теплу — и все оказалось тщетным? И не охватит ли нас трепет ужаса при воспоминании о жизни и гибели таких вот безыменных, забытых, часто затоптанных и оплеванных единиц, когда нам станет ясно до очевидности, что порою только глупейшее в мире обстоятельство, слепой случай, недоразумение, шутка, легкомысленное слово, одна-единственная пылинка столкнула их с пути и швырнула навеки назад, в тот мрак, из которого они вот-вот должны были выбиться на вольную волю?..

Вот такие-то мысли сверлили мой мозг, прогоняли сон с моих век на протяжении долгих-предолгих дней и ночей, прожитых в тюрьме. Мои товарищи по несчастью, у которых тоже сверлило и ныло нутро, не находили для меня слов утешения, — наоборот, я видел, что они зачастую гораздо больше нуждались сами в таком врачующем слове. Чтобы не сойти с ума в этом нагромождении страданий и горя, мы беседовали, рассказывали друг другу не о себе, о посторонних, далеких — и все-таки о горе. Один такой рассказ, поразивший меня сильнее других, предлагаю читателям. Рассказчик — не говорю о его «ремесле» — был парень еще молодой, полный сил и отваги, не лишенный добрых, истинно человеческих чувств; дитя города, он окончил народную школу, обучался ремеслу, одним словом, положил немало сил и средств, чтобы выкарабкаться наверх, выйти в люди — ну, а вышел... Да не о том речь!

Сидел он под замком уже шестой раз, знал все арестантские уловки, историю чуть ли не каждой камеры: кто в ней отсиживал, за что, надолго ли был осужден,

как прежде обращались с арестантами, а как теперь, и так далее... Сушая тюремная летопись. Надзиратели считали его непоседливым смутьяном и давали ему это почувствовать частыми дисциплинарными взысканиями.

Но он не унимался и вспыхивал, как порох, чуть только замечал, что поступают не так, как полагается, или обижают чем-нибудь арестантов. Особенно частые столкновения происходили у него с караульным, который ходит под окнами тюрьмы и должен наблюдать за тем, чтобы заключенные не выглядывали в окна и не переговаривались друг с другом. Много раз солдат грозился стрелять, если он не уберется от окна, но «смутьян» спокойно продолжал сидеть, не говоря ни слова, и только когда солдат щелкал затвором, соскакивал с окна и кричал:

— Ну, ну, ведь я же знаю, что ты не посмеешь стрелять!

— А откуда вы это знаете? — спросил я однажды.

— Как, откуда знаю? Сам был свидетелем, сам видел!

— Что видели!

— Э, да это целая история, после которой караульным запретили стрелять! Вот лучше я вам ее расскажу, пускай бедный рекрут там успокоится. Ведь и ему, бедняге, приходится делать, что прикажут.

## II

— Года два тому уже, — начал он, — как раз вот два года. Сидел я тогда в этой яме под следствием. Было нас в камере только двое — я и какой-то панок, Журковским он прозывался. Что он был за человек и за что сюда угодил — уже не помню.

Но вот однажды вечером, после обхода, когда мы уже разделись и улеглись спать, — вдруг слышим шаги надзирателя и громкий скрежет ключей в замках. Наконец, он отворил дверь и упавший от фонаря сноп желтого света осветил какую-то скорченную, полуголую, хилую фигурку. Надзиратель подтолкнул ее впе-

ред и впихнул в камеру; очевидно, человечек не мог сам достаточно быстро двигаться.

— Вот тебе одеяло и простыня, — крикнул надзиратель и швырнул человечку на голову эти вещи, пригнув его чуть ли не до земли. — Ложись спать! Миску получишь завтра.

Сказав это, надзиратель запер дверь и ушел. В камере стало темно, как в погребе, и тихо, как в могиле. Только нет-нет и слышно, будто кто-то ножами мясо на доске рубит, — это наш товарищ зубами лязгает. Видите ли, стояла глубокая осень, после «всех святых» две недели уже прошло, холод такой, что не приведи господь.

— Кто же ты такой? — спрашиваю окоченевшего товарища, не поднимаясь с постели. Не хочется вставать, когда согреешься, а в камере довольно прохладно, ведь окно день и ночь из-за вони приходилось держать открытым.

Молчит наш товарищ, только еще громче зубами лязгает, а сквозь этот лязг прорывается отрывистое всхлипывание. Жалко стало мне парня, я сразу догадался, что это какой-то совсем еще зеленый «фраер» \*. Значит, встал я и постелил ему ошупью постель.

— Ну, ну, — говорю, — успокойся, не плачь! Раздевайся и укладывайся спать!

— Не... не... мо... гу, — едва пролепетал он.

— Почему?

— За... мерз... о...чень.

Господи! Я к нему, а он весь окостенел, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Каким чудом добрал до камеры — непонятно. Поднялся и панок, стащили мы с него лохмотья, раздели его совсем догола, растерли хорошенько, укутали в простыню и в одеяло и положили на койку. Прошло с четверть часа, слышу — вздыхает, ворочается.

— Ну что, лучше тебе? — спрашиваю.

— Лучше.

— Руки и ноги отошли?

— Еще не совсем, но уже легче.

---

\* На воровском жаргоне — «новичок».

— А откуда ты?

— Из Смерекова.

— Так тебя, должно быть, стражник привел?

— А как же! Гнал меня нынче с самого утра, босого и почти голого по морозу. Раз десять падал я по дороге — идти не мог. Он бил меня ремнем, как тут не идти. Только в корчме, в Збойсках, чуток передохнули, корчмарь мне водки поднес.

— Как же тебя звать?

— Йоська Штерн.

— А! Так ты еврей?

— Конечно еврей.

— Чтоб тебя черт побрал! Хоть убей, а по разговору никак не узнаешь, что ты еврей, — до чего чисто по-нашему говоришь.

— Что же, пан, вырос я в селе, среди мужиков. Я пастухом был.

— Сколько же тебе лет?

— Шестнадцать.

— А за что же тебя сюда в тюрьму притащили?

— Ой, пан, не знаю! Стражник сказал, что мой хозяин обвиняет меня в краже со взломом, но, ей-богу, я ничего не украл. Только свои бумаги, ей-богу, только свои бумаги.

И стал совсем по-детски всхлипывать и заревел.

— Ну, ну, будет тебе, глупый, — объясняю, — все это расскажешь завтра судье, а меня это вовсе не касается. Спи теперь.

— Ой, пан, а стражник сказал, что за это меня повесят! — заголосил Йоська.

— Да ты рехнулся, дурень! — крикнул я. — Смех, да и только! Где это слыхано, чтобы за такие пустяки вешали?

— А хозяин сказал, что меня упрячут в тюрьму на десять лет.

— Ну, ну, не унывай, — говорю, — бог милостив, как-нибудь обойдется. Теперь постарайся уснуть, а завтра днем поговорим!

Замолчали мы, и вскоре я захрапел. Единственная радость у меня в тюрьме, что сплю, как заяц в капусте.

### III

Только на следующий день смогли мы толком разглядеть новичка. Даже смешно мне стало, что я не мог вчера сразу узнать в нем еврея. Рыжий, с пейсами, нос крючковатый, точно клюв старого ястреба, сам сутулый, но для своих лет вовсе не тщедушный, и довольно рослый. Уже за десять шагов в нем можно было угадать еврея. А вчера в темноте, когда мы его растирали и слышали только его речь, догадаться об этом было совершенно невозможно.

Он испуганно, точно встревоженная белка, оглядывал камеру. Вскочил, когда мы с паном еще лежали, умылся, застелил свою койку, сел на ней в уголке и точно заклятый — хоть бы пискнул!

— А ты не голоден? — спрашиваю его.

Молчит, только как-то еще больше сжался.

— А ел что-нибудь вчера? — спрашивает панок.

— Да... вчера... перед тем как стражник меня увел, жена войта дала мне малость борща и кусочек хлеба.

— Ага, теперь уже ясно! — усмехнулся панок.

Он дал ему добрый ломоть хлеба и вчерашнюю котлету — позавтракать. Даже затрясся горемыка. Благодарить было пытался, но только слезы на глазах выступили.

И знаете ли, еще одна неожиданность в этом парнишке! Внешность чисто еврейская, весьма не казистая, а в характере ничего, ну, ни тени нет еврейского. Тихий, покорный, хвастовства ни крошки, точить лясы не охотник; но, если скажешь ему что-либо сделать — взовьется, как искра. Во всем его поведении было что-то простое, крестьянское. Когда не было работы, — а какая у нас в камере работа! — он любил сидеть молча в уголке, согнувшись в три погибели, обхватив руками колени и уткнувшись в них подбородком — только глаза из темноты поблескивали, как у любопытного мышонка.

— Ну, так расскажи нам, какой-такой страшный грабеж ты учинил, что стражник грозился, будто тебя повесят? — спросил его однажды Журковский, когда паренек явно пришел в себя и освоился.

— Ох, пан, — воскликнул Йоська и затрясся всем телом, — долго рассказывать, да мало слушать! Уж больно глупая эта история.

— Ну, ну, рассказывай, послушаем. Все равно тут ничего умней не придумаешь, не грех и глупую историю послушать.

— Рос я у Мошки, арендатора в Смерекове, — начал Йоська. — Играл сначала вместе с его детьми, величал Мошку «татэ», а Мошчиху «мамэ». Считал их своими родителями. Но вскоре я заметил, что Мошка своим детям справляет красивые бекешки, Мошчиха меняет им каждую пятницу рубашки, а я хожу чумазый и обтрепанный. Когда мне исполнилось семь лет, заставили меня пасти гусей, чтоб не было потравы. Мошчиха и в стужу и в зной гнала меня из дому на луг и все меньше и меньше давала с собою еды. Я часто плакал на выгоне от голода, но какой от этого прок! Крестьянские мальчишки были ко мне добрее. Делились со мной хлебом, творогом, звали играть. Свыкся я с ними и позднее нередко выручал их, приглядывая за гусями. Для своего возраста я был силен и проворен, и деревенские хозяйки, когда их детям приходило время посещать школу, стали поручать мне сначала гусей, а потом и телят, за это они давали мне хлеба, чего-нибудь горячего, а по праздникам нередко и пару крейцеров. Мошчиха была очень скупа и радовалась, что дома я не просил есть. Но когда Мошкины дети узнали, что я ем мужицкую пищу, то прозвали меня «трефняком» \*, стали меня дразнить, а потом и вовсе сторониться. Поначалу это меня не трогало, однако вскоре я почувствовал эту неприязнь весьма ощутительно.

Мошка нанял для своих сыновей бельфера, чтобы учил их читать и писать. Случилось это зимой, значит время у меня было свободное. Но когда я подсел к ним, тоже желая учиться, мальчишки стали кричать, толкаться, щипать меня и, наконец, с плачем заявили матери, что с «трефняком» они учиться не станут. Должно быть, сама

---

\* Человек, который ест «трефное» — запрещенную еврейскими религиозными правилами пищу

Мошчиха их подговорила, очень уж ненавидела меня эта ведьма, хоть и не знаю, за что. И вот, едва только дети подняли крик, она прибежала и вытолкала меня из комнаты, приговаривая, что учение не про меня, что они бедны и не на что им нанимать нищему бельферов. Заплакал я, но что поделаешь? Отправляюсь, бывало, в село, играю с крестьянскими ребятами или приглядываюсь, как старшие ладят телеги, сани, либо еще какую снасть. Нередко бегали мы целой ватагой к кузнецу, на край села, и там часами следили за его работой. Из всех мальчуганов я был самый сильный, и кузнец, бывало, велит мне либо мехом огонь раздувать, либо молотом ковать, либо точило вертеть. До чего же я был тогда счастлив! Как горячо хотел, раз учение не для меня, получить в руки хоть какое-нибудь ремесло!

С весны я снова пас на выгоне гусей и телят, которых Мошка скупал в окрестных селах и, подержав недолгое время у себя, перепродавал во Львове. Смерековский выгон раскинулся широко и кое-где порос кустарником, поэтому особенно бегать мне не приходилось. Бывало, усядусь где-нибудь на бугорке, отточу ножик и давай строгать, выдалбливать, вырезывать разные вещички из дерева; сначала маленькие лесенки, плуги да бороны, после клетки, ветряки да водяные мельнички. Прошел год, и стал я уже таким мастером, что заткнул за пояс всех сельских мальчишек. Тогда принялся я выделывать трещотки, скрипучие пугала — прогонять воробьев из пшеницы, проса да конопли — и продавал их по десять крейцеров за пару. Вскоре я заработал столько, что мог обзавестись кое-какими столярными инструментами: долотцами, сверликами и прочим. И каждый раз я брался за что-нибудь позамысловатее, к этому у меня была охота. Чуть что увижу — так и подмывает смастерить. Зимой по целым дням торчал то у столяра, то у кузнеца — помогал им и приучался к их ремеслу. Так исполнилось мне шестнадцать, а у Мошки и в мыслях нет определить меня куда-нибудь — сделал пастухом и ладно. Не знал я даже, кто мой отец и откуда я родом. В селе было только известно, что Мошка привез меня откуда-то совсем маленьким; даже поговаривали, будто я сын какого-то Мошкина свояка и будто, умирая, он оставил мне, как

единственному наследнику, изрядное наследство, которое Мошка якобы себе заграбастал.

— Жалко тебя, Йоська, — часто говаривали мне крестьяне, — такой ты бойкий хлопец и к ремеслу охотчий, а что из тебя выйдет?

— Что может выйти? — отвечал я. — Выйдет общественный пастух.

— Ох, и бессовестный этот Мошка, совсем о тебе не заботится!

— Говорит, что бедный, что ему взять неоткуда, — отвечал я.

— Не верь ты старому жоху! Водятся у него денежки, и не малые, все для своих сынков копит. А тебя даже богу молиться не выучил.

Все во мне кипело от этих слов. Стал я умом раскидывать.

«В самом деле, думаю, что я здесь высижу? Задаром на Мошку работать — всегда успеется. Мне бы хоть ремеслу путящему обучиться, чтобы свой кусок хлеба иметь. Но как здесь этого добьешься? Как от Мошки освободиться? Куда податься, ежели не знаешь даже, какого ты роду, кто твой отец и есть ли у тебя родичи?»

Наша корчма стояла у дороги. Захаживали в нее и стражники, чаще всего сопровождая во Львов или в Жовкву закованных в кандалы арестантов. С самого начала я ужасно боялся этих здоровенных, грозных молодчиков в черных мундирах, с карабином за плечом и с пучком блестящих петушиных перьев на шапке. Не раз слушал я, полный тревоги, дрожа всем телом, скорчившись на краю печи, как они беседовали с Мошкой или с кем-нибудь из местных хозяев. Обычно это были страшные для меня рассказы о пожарах, о ворах, о бродягах, и в рассказах этих я очень часто улавливал слово: «бумаги». «Если нет у кого бумаг, тотчас его задержать». — «Ага, гляжу, а у него бумаги не в порядке». — «Будь у него хоть одна стоящая бумага, я бы отпустил его». — «Вишь ты! и что это за бумаги? — думал я часто. — Ежели в них такая сила, что одна бумага может оборонить прохожего человека от стражника с карабином за плечом и с петушиными перьями на голове?» Но этот вопрос оставался без ответа, и поэтому мысль о

бумагах все больше и больше пугала меня. Как же мне пуститься по свету без бумаг? Да ведь меня на первом же шагу изловит стражник и потащит бог знает на какие муки! И я дрожал всем телом при этой мысли. Чем больше я думал, как мне избавиться от Мошки, тем чаще вставали у меня перед глазами эти бумаги. Мне даже стали сниться бумаги — истертые, пожелтелые, с большими печатями, они обращали ко мне свои грозные, нахмуренные лица или смеялись отвратительными беззубыми ртами. Чувствовал я себя в ту пору очень несчастным. Все, кого я ни спрашивал, подтверждали, что без бумаг и в дорогу не тронешься и учиться ремеслу никто меня не примет. Но где же мне добыть эти бумаги? Кузнец советовал спросить о них Мошку, ведь он наверно получил какие-нибудь бумаги после моего отца.

В том-то и дело! Спросить Мошку! Как будто мне так легко к нему подступить. Раньше, когда я был малышом, он относился ко мне ласковее; а стал я постарше, и он отдал меня в руки своей жены-ведьмы и никогда почти со мной не разговаривал. Мне даже сдавалось, что он как-то избегал меня. С тех пор как мне сказали, что он, повидимому, присвоил деньги, оставшиеся после смерти отца, стал я повнимательней к нему приглядываться; заметил я, что это мое внимание его беспокоит. Стоило только нам остаться с глазу на глаз, как он не находил себе места, словно его что-то мучило. «А что, думаю, как не будет дома его жены, припереть его сразу к стенке, может и удастся хоть что-нибудь выведать?» Вот я и решил при случае сделать попытку.

Вскоре такой случай представился. Мошчиха уехала в Жовкву, в корчме никого, кроме Мошки, не было, — вот подступил я к нему и говорю:

— Реб Мойша, люди сказывают, будто у тебя кое-какие бумаги после моего отца остались.

Вздрогнул Мошка, точно его оса ужалила.

— А ты откуда знаешь?

— Да люди сказывают.

— Какие люди?

— Да все, по всему селу.

— Ну, а тебе на что эти бумаги? Ты ведь даже читать не умеешь!

— Верно. А все же хотелось бы знать. Значит, есть они у тебя?

— У меня, у меня эти нищенские бумаги! — крикнул с раздражением Мошка, точно я его невесть как обидел. — Нищим был твой отец, промотал состояние, а тебя мне на горе оставил. Какой мне от тебя прок?

— Знаешь что, реб Мойша, — говорю, — отдай ты мне эти бумаги. И я уйду, коли тебе не нужен.

— Что? — взвизгнул Мошка. — Ты вздумал уходить? А куда же ты, дурак, уйдешь?

— Да хотелось бы наняться к кому-нибудь, ремеслу обучиться.

Мошка захохотал во все горло.

— Ступай, ступай, голова садовая, думаешь, кто-нибудь тебя примет? За учение деньги платят, а вдобавок нужно уметь читать и писать, да не по-еврейски.

Онемел я, стою как столб. Наконец, едва-едва вымолвил:

— Ну, все же покажи мне эти бумаги, хоть погляжу на них!

— Тьфу! — сплюнул Мошка. — Пристал как репей! Ну, иди, покажу тебе твои сокровища! Счастье твое, что я их еще не сжег!

Эти последние слова как ножом ударили мне в сердце. А что, если бы Мошка и в самом деле сжег мои бумаги? Остался бы я один-одинешенек на свете, точно оторванный от дерева листок. Так и не узнал бы, кто я родом, и другие не знали бы, чей я. Не мог бы тронуться с места, навеки остался бы прикованным к Мошкину порогу, до смерти ходил бы в невольниках. Дрожь проняла меня при этой мысли, в глазах зарябило. Сделав невероятное усилие, я спокойно отправился за Мошкой в кладовую.

Кладовая помещалась в деревянной пристройке с тыльной стороны корчмы. Входили в нее через сени, а освещалась она единственным, накрест переплетенным железными прутьями, оконцем. Туда Мошка складывал всякое добро, взятое под залог у мужиков, и все, что у него было ценного. Тут были навалены груды кожухов, бараньих шапок, сапог; в сундуке лежали мониста, а под самым спудом, как говорили, запрятаны были ста-

ринные дукаты и талеры. Раза два пытались пробраться в кладовку воры, но не удалось им проломить стену, уж очень крепко она была сколочена, да и собак Мошка держал чутких. Дверь кладовой была низкая и узкая, чтобы войти внутрь, Мошке пришлось нагнуться. За ним влез и я.

— А ты сюда зачем? — ощерился он на меня.

— Как так, зачем? Ты же велел мне идти!

— Да не сюда! Обожди в сенях!

— Ладно, — говорю, — подожду и здесь. Ведь ничего у тебя не съем!

Мошка вытарашил глаза и пристально-пристально поглядел на меня, точно в первый раз в жизни увидел. Не знаю, что ему во мне не понравилось, но он сплюнул и отвернулся. Потом влез на сундук, потянулся к полке, прибитой под самым потолком, и достал оттуда сверток пожелтелых бумаг.

— Вот твои бумажонки! — буркнул он, показывая их мне издалека.

— Дай хоть взглянуть на них, — говорю я, протягивая руку.

— Ну, что ты в них, дурак, поймешь? — спросил Мошка. — И к чему тебе это? Сиди уж у меня, если тебе здесь не плохо, и не ищи себе беды!

И положил бумаги обратно на полку.

— Пойдем-ка отсюда, — говорит, — теперь можешь успокоиться. А то, что люди обо мне болтают, — известно, языки у них длинные, — так ты ничему не верь. Все это враки!

— Что враки? — спрашиваю.

— Э-э! С тобой толковать, что об стену горохом! — проворчал Мошка, чуть не выталкивая меня из кладовой; потом он запер ее на ключ и на висячий замок и отправился в корчму.

#### IV

Йоська на минуту умолк. Пан Журковский, внимательно слушавший его рассказ, улыбнулся и говорит:

— Ну, ты говорил, что глупая будет история, а рассказываешь так, словно по книжке читаешь.

— Э, пан, — ответил Йоська, — покуда история еще не глупая. Но вот сейчас пойдут глупости. А что гладко вам рассказывал — не удивляйтесь. В селе научился — все сказки рассказывал. Память у меня хорошая, чуть от кого какую сказку услышу, так потом передам почище и позабавней самого рассказчика. Минувшей зимой ни одни вечерницы без меня в селе не проходили, до того полюбили меня за сказки.

— Эге, да ты, как погляжу, на все руки мастер, — сказал пан.

— Ох, пан, — отозвался, вздыхая, Йоська, — не знаю, отчего, но мне сдается, что в этом как раз и все мое несчастье. Если чувствую, что могу что-либо сделать, что могу чему-нибудь научиться, у меня внутри так что-то и жжет, так и гложет, и терзает, и не дает ни минуты покоя, покуда этого не сделаю, не узнаю, не научусь. Вот это-то самое меня в тюрьму и привело.

— Ну, ну, рассказывай!

Но на этот раз Йоське не пришлось закончить свою повесть, так как именно в эту минуту отворилась дверь нашей камеры, — Йоську вызвали на допрос.

— Какой необыкновенный парень, — пробурчал пан и, задумавшись, заходил по камере.

— А мне сдается, что он изрядно привирает, — заметил я.—Привык мужикам сказки рассказывать, вот и нам сказку плетет.

— Думаешь?

— А как же, разве не так?

— Пожалуй и так, но его лицо говорит за него. Впрочем, время покажет, еще успеем проверить.

Допрос Йоськи длился недолго, не более получаса. Вернулся он гораздо веселее и спокойнее, чем уходил.

— Ну, что ж, — спрашиваю его, — не съел тебя судья?

— Э, да что, судья добрый человек, — ответил Йоська. — Признаться, здорово я поначалу перетрусил. В селе сказывали, будто здесь бьют да раскаленным железом пятки подпекают, чтобы признавались.

— Ха-ха-ха! — засмеялся я. — Теперь-то мне ясно, отчего ты по ночам так вертишься, кричишь да стонешь!

Должно быть, снится, что раскаленным железом тебе пятки подпекают!

— Ох, уж лучше не смейтесь! И вспомнить страх про эти сны, чего я только не натерпелся! А все попусту. Судья такой душевный человек, говорил со мной по-хорошему, не кричал, не бранился, не бил меня, как стражник.

— А разве стражник тебя бил? — спросил пан Журковский.

— Ой, пан, думал я, что из меня дух вышибет! Гляньте только на мою спину.

И Йоська поднял рубаху. Мы даже ахнули! Вся спина была в синяках и полосах запекшейся крови.

— Ну, а о чем тебя судья спрашивал? — прервал молчание Журковский.

— Да о том самом злосчастном грабеже, как это было.

— Ну, и что же?

— Чего ж еще? Рассказал ему все как есть, и конец. Он составил протокол и велел меня увести.

— Ну, значит, расскажи теперь и нам все как есть.

— Да, все как есть! Знаете уже, какое было мое житье у Мошки. Не хотел я больше у него оставаться, но и за бумаги страшно — чуть еще раз напомнишь, он возьмет да сожжет. Вот и задумал я их выкрасть. Мне забраться в кладовку было проще, чем чужому вору: и собаки меня знают, и сам я знаю все входы и выходы и все домашние порядки. Сперва я хотел украсть у Мошки ключи, но он, видать, что-то пронюхал и носил их постоянно при себе, или прятал так, что я не мог их отыскать. А меня трясло, как в лихорадке, с той самой минуты, когда засело в голове такое решение — добыть свои бумаги. Ни о чем другом и думать не мог, только об этом. Да и чего было в конце концов долго раздумывать? Как-то ночью, когда все спали, быстро подпилил я одно бревно в стене кладовой, вывернул долотом брус, влез, взял свои бумаги, а после задвинул брус на место. Только и всего.

— Пустяки! — буркнул пан.

— А едва только бумаги очутились у меня в руках, я, даже не заглядывая в них и не развязывая веревки,

которую они были обязаны, замотал их в тряпку, спря-тал за пазуху и покинул Мошкину корчму. «Куда те-перь податься?» — раздумывал я. Страх у меня еще не совсем прошел! Что, если Мошка меня обманул, показав какие-нибудь дурацкие бумажонки вместо моих? Что, если в потемках я захватил какой-нибудь другой свер-ток? Нужно было во что бы то ни стало с кем-нибудь по-советоваться, как в этом случае поступить? И вот, пере-ночевав в первом попавшемся стогу сена, я отправился утром к знакомому кузнецу и все ему рассказал. Он сразу точно холодной водой меня окатил.

— Худо ты поступил, хлопец, — говорит. — Сту-пай сейчас же к войту, расскажи ему все и передай бумаги!

У меня сердце так и обмерло от этих слов. Но делать нечего: понимаю, что совет дельный, и пошел. Иду к войту и уже со двора вижу сквозь окно, что за столом на скамье сидит стражник. В тот же миг словно шепнул мне кто-то, что это моя смерть. Не могу и шагу ступить, весь точно одеревенел. Мелькнула в голове мысль: бежать! Но было уже поздно. Войт меня заметил и радостно крикнул:

— Да вот и он! О волке помолвка, а волк и тут! Ну, иди, иди поближе!

Вижу, что все дело уже раскрылось и что меня разыскивают. И вот, собравшись с духом, иду в хату.

— Как прозываешься? — спрашивает меня стражник.

— Йоська Штерн.

— Откуда родом?

— Не знаю.

— Ага, значит, бродяга?

Окаменел я на месте. Часто слышал я это страшное слово, слышал много страшных историй о том, как рас-правляются стражники с бродягами, и всегда больше всего этого боялся. И вот на тебе! Угораздила меня не-легкая с первой же минуты!

— Но я здешний, — простонал я. — Пан войт меня знают.

— Я? Тебя? — говорит войт. — Врешь, голубчик! В лицо тебя знаю, знаю, что звать тебя Йоська и что слу-

жишь у Мошки-арендатора, но кто таков и откуда взялся, того не ведаю.

— Ага, значит нагло врет в глаза! — крикнул стражник и что-то записал себе в книжечку. — Ступай сюда, — обратился он ко мне. — Ближе! Смотри мне в глаза!

И в тот же миг, когда я поднял глаза, стражник ударил меня кулачищем в лицо так, что я, обливаясь кровью, сразу же повалился на пол.

— Встать сейчас же! — заорал стражник. — И не смей кричать, не то еще больше получишь! А теперь говори правду, о чем буду спрашивать! Ты служишь у Мошки?

— Да.

— Ты обокрал его?

— Нет.

— Как нет?

Снова я поднял глаза на стражника, утирая с лица кровь рукавом, и снова страшный удар свалил меня с ног.

— Пан стражник, — сказал войт, покуда я силился встать, — мне, как сельскому старосте, не годится смотреть на такое обхождение с арестантом. Я обязан присутствовать только при составлении протокола, а что до этого делается, меня не касается. Если хотите научить его, что он должен отвечать, то найдите себе другое место. У меня это не дозволяется.

Стражник прикусил губы, молча поднялся со скамьи, вынул из своей сумки наручники, надел их на меня и повел в Мошкину корчму. Не стану вам рассказывать, что они там со мной делали, как учили меня отвечать. Раза два терял я сознание во время этой науки. Но и злобствовали они не даром. Причинил я им немало хлопот. Мошка сгоряча брякнул стражнику, будто я украл у него большую пачку денег, завернутых в бумагу. Думал, — как только стражник меня поймает и приведет в корчму, он тут же отберет у меня бумаги и сожжет их, и я навеки останусь его невольником. Едва меня привели в корчму — первый вопрос был:

— Где деньги?

— Не знаю. Никаких денег я не брал.

— А где бумаги?

- Спрятал.
- Куда спрятал?
- Не скажу.

Стали они меня уламывать, сперва битьем, потом добром, а я заладил одно: — Бумаги я взял, потому что они мои. Даже не заглядывал, что в них есть. Спрятал и не покажу никому, кроме войта.

Мошка чуть не взбесился. Со злости велел стащить с меня сапоги и одежонку, что была на мне, и нарядил меня вот в эти лохмотья. Наконец, избитого и почти голого, повели меня к войту. Снова стали меня там допрашивать насчет бумаг. Но я не дурак. Только когда увидел, что в хате набралось много свидетелей, я пошел в сени и вытащил из щели бумаги. Сени у войта темные, просторные. Подходя к его дому и заметив в окне стражника, я сунул всю пачку в щель, чтобы ее у меня не отобрали. Увидав сверток в руках у стражника, Мошка кинулся к нему, как ворон, с криком, что это его деньги и пускай их ему вернут.

— Э, э, пан Мошка, — сказал войт, — так дело не пойдет. Все это мы обязаны представить в суд. Составим здесь протокол, а ежели этот хлопец сознается в том, что украл у вас этот сверток, то уже дело суда, как поступить дальше. Запечатает все, как оно есть, общинной печатью, и пускай пан стражник доставит сверток вместе с арестованным во Львов. А вы уже в суде будете свои права защищать.

Мой Мошка так скривился, будто хватил кварту водки собственного изготовления. Но никто на это не посмотрел. Стражник засел писать протокол. Когда все было закончено, войтиха дала мне слегка подкрепиться, стражник снова надел на меня наручники, и мы отправились во Львов. Я думал, что по пути умру от боли и стужи, и до сих пор не понимаю, как я все это выдержал. Ой, пан, как вы теперь полагаете, что со мной сделают?

— Ничего не сделают, — ответил пан Журковский. — Малость подержат, да и выпустят на свободу. И кто знает, может, вся эта история тебе на пользу пойдет?

— Как так?

— Поглядим. Никто не знает заранее, что его ждет.

Дня этак через два-три вызывают Йоську, но не в суд, а к врачу. Что бы это, — думаю, — значило? Ведь он «слабым» не сказался?

— Сам-то не сказался, — говорит мне Журковский, — да если бы и сказался, толку от этого мало. Заявил о нем я. В воскресенье побывал я у председателя тюремной опеки и просил, чтобы он дал распоряжение врачу его осмотреть. Ведь страшные дела здесь творятся! Дальше идти некуда!

И верно, доктор велел Йоське раздеться и составил протокол. Что из этого получилось — не знаю. В наших судах такие дела весьма медленно двигаются и не всякому выпадает счастье дожидаться их разрешения.

Как-то раз пан Журковский говорит Йоське:

— Слушай, парень, хочешь, научу тебя читать?

Выпучил Йоська на пана глаза.

— Чего уставился? Коли есть охота, денька через два уже читать начнешь. А уверюсь, что ты не врешь и память у тебя в самом деле хорошая, — постараюсь пристроить тебя в ремесленную школу, обучишься любому ремеслу.

— Ой, пан! — воскликнул, заливаясь слезами, Йоська и кинулся Журковскому в ноги. Больше ни слова не мог выговорить и только целовал ему руки.

На следующий день принесли букварь, и пан стал учить Йоську. За два дня малый выучил буквы и стал складывать слоги, а через неделю читал почти бегло небольшие отрывки. Как говорят — дорвался, что корова до барды. Читал бы он и днем и ночью, да ночью огня нам не давали. С трудом отрывался на минутку от чтения, чтобы поесть.

А когда темнело и читать уже нельзя было, Йоська усаживался в уголок на свой сенник, поджимал под себя ноги, обхватывал их руками и так, скрючившись, начинал рассказывать нам сказки. Сочинял он их без конца, и хоть приключения и чудеса явно повторялись, но все же каждый раз он располагал их по-иному и расска-

зывает на иной лад. Порой в этих сказках всплывали его собственные мечты. Он рассказывал о несчастном мальчике, который живет в страшной нужде и встречается доброго волшебника, узнает у него колдовские слова и заговоры и идет по свету искать счастья и помогать людям. Проникновенными и в то же время простыми словами описывал он его страдания и злоключения, встречи со стражниками, неволю у арендаторов, часто забавно переплетая сказку с тем, что самому пришлось испытать.

Никогда я еще не видел мальчугана, который бы столь горячо брался за книжку, как Йоська. Казалось, за эти две недели ему хотелось наверстать упущенное в течение десятка лет. Больше всего он досадовал, что осенние дни так коротки, что в камере так рано темнеет. Наше единственное, обращенное к западу оконце, почти под самым потолком, скупно пропускало свет даже в полдень; часа в четыре читать уже было невозможно. А Йоська не прочь был удлинить день вдвое. И вот однажды он радостно вскрикнул:

— Нашел! Стану читать у самого окна. Там и светлеет раньше и темнеет позже.

— Стоя на нарах читать тебе будет неудобно, — говорю ему. — Да и высоко для тебя, не дотянешься.

— Как захочу, так высоко и сяду! — отвечает он.

— А как ты это устроишь?

— Привяжу простыню обоими концами к решетке, посредине положу свитое в трубку одеяло и сяду, как в седло.

И верно, выдумка оказалась весьма практичной, с тех пор в тюрьме все так поступают. Несколько дней Йоська просто наслаждался окном. Вставал он в шесть, чуть забрезжит, примащивал свое сооружение, взбирался на него и слепил глаза над книжкой, прижавшись лбом к самой решетке, лишь бы побольше божьего света уловить. Мы с паном по очереди сторожили у двери, и если надзиратель направлялся к нам в камеру, во-время предостерегали Йоську, чтобы слезал и убирал свое сооружение — сидеть у окна арестантам строго воспрещалось. И нам всегда счастливо удавалось избежать беды, а может быть и надзиратель, из уважения к пану

Журковскому, не так уж строго наблюдал за нашей камерой.

Увы, беда пришла с другой стороны.

Кроме коридорного надзора, под окнами тюрьмы ходит еще часовой — солдат с карабином. У него строгий наказ следить, чтобы заключенные не выглядывали в окна, и особенно, чтобы не переговаривались. Воинский устав гласит: при сопротивлении применять даже оружие. Правда, такого случая до сих пор не было. Только что-нибудь из ряда вон выходящее могло заставить часового пойти доложить караульному начальнику, что из таких-то окон переговаривались или выглядывали. Старые солдаты понимали, что одно дело — правило, а совсем другое — его выполнение, и обычно не слишком строго придерживались правила. Многие безучастно относились к любым разговорам, как говорится, смотрели на все сквозь пальцы; другие мягко напоминали или просили арестантов угомониться. Хуже бывало, когда на часах оказывался рекрут, который пуще огня боится капрала и принимает всякий приказ буквально. Уж если наказали «строго следить», то он понимал это так: всякого показавшегося в окне арестанта нужно обругать последними словами, доложить капралу или даже применить оружие. Когда такой «пустобрех» стоял на часах, особенно вечером, заключенные в отместку ему подымали неистовый крик в окнах, а взбешенный до предела и затравленный рекрут считал своим священным долгом после каждого выкрика ответить по крайней мере таким же громким и оскорбительным выкриком. Но заключенных бывает несколько десятков, а он один, поэтому спустя несколько минут дьявольского крика он обычно умолкал и, не зная, как быть, хватался за карабин. Конечно, в тот же миг окно напротив пустело, а галдеж подымался в другом конце длинного тюремного здания, и часовой, как загнанный зверь, бросался туда и снова грозил карабином — разумеется, с тем же результатом.

Такие «концерты» обычно давались по вечерам, но случались и днем. И вот случилось на беду, чтобы однажды с трех до пяти стоял на часах именно такой злосчастный рекрут. Началось с того, что он обругал

смотревшего в окно заключенного. Был дан сигнал: устроить «пустобреху» «кошачий концерт». На противоположных концах тюремного здания, из разных этажей, из десятка окон вдруг посыпались крики, улюлюканье, свистки и душераздирающее мяуканье. Рекрут орал, метался под окнами, но нигде никого не мог заметить. Доведенный до бешенства, он, наконец, умолк и остановился, чтобы перевести дух. Спустя минуту, другую окончился и «кошачий концерт». Казалось, воцарился полный покой. В камере уже стемнело, и вот Йоська, соорудив свои подмости, с книжкой в руке так и припал к окну. Но не успел он прочитать себе под нос и двух слов, как часовой, заметив его, подскочил к окну и завизжал:

— Марш от окна, воришка!

Йоська до того был увлечен историей о цапле и рыбе, которую как раз читал, что поначалу даже не услышал окрика.

— Марш от окна! — еще громче заорал часовой.

— Да чего ты ко мне пристал? — ответил Йоська. — Ведь я тебя не трогаю. Видишь, читаю. В камере темно, вот я и взобрался поближе к свету.

— Пошел прочь, не то застрелю! — рывкнул часовой, и прежде чем Йоська успел слезть со своего сооружения, грянул выстрел.

— Ой! — вскрикнул Йоська и, как сноп, повалился на стоявшую под окном койку. Ноги его судорожно забились, а руки, в которых он сжимал книжку, прикикли к груди. Из-под раскрытой книжки хлестала кровь. Пуля угодила прямо в грудь.

— Что с тобой? Куда попало? — вскрикнули мы оба, бросаясь к Йоське. Но он не отозвался, только черные его глаза горели, как раскаленные угли, страшно выделяясь на мертвенно бледном лице.

И во дворе под окном и в коридоре у нашей двери поднялся шум. Там прибежал на выстрел военный караул, здесь надзиратель со сторожами разыскивал камеру, в окно которой стрелял часовой... Вскоре они ввалились к нам.

— Ага, это здесь! — закричали они, увидев лежащего Йоську. — Ну что, ворище, жидюга, досталось тебе на сраху?

Йоська еще бился и тихо стонал, все крепче прижимая обеими руками книжку к груди, словно хотел заткнуть ею смертельную рану.

— Что он делал? — спросил меня надзиратель.

— Да... я... только к свету...

Йоська хотел еще что-то вымолвить, но дыхание его остановилось. Последним движением, оторвав от груди руки, он показал надзирателю окровавленный букварь.

— Он читал у окна, — объяснил я.

В эту минуту явился из суда курьер с пакетом.

— Пан надзиратель, — послышался его голос из коридора, — где тут сидит Йоська Штерн? У меня бумага из суда — отпустить его на свободу.

Но уже минуту назад Йоська обрел свободу.

*Львов, сентябрь 1889*

## СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

*Рассказ*

### I

Что вы разглядываете мои руки? Ну полно вам, бросьте! Некрасивы они, да еще и в мозолях. Господа не любят таких рук у девушек. Вы не думайте, что я на легких хлебах выросла и так себе, с легким сердцем, на легкий хлеб пошла! Какое там сердце! Не хочется об этом и говорить — и не спрашивайте! И вспоминать не хочу!

А что рассказывать вам о прежней жизни? Это такая неинтересная и обычная история, каких тысячи можете услышать.

Стец мой был управляющим у одного помещика на Подолье. Хорошо ему жилось. Мать свою плохо помню. Помню только, как она меня ласкала и целовала, называла яблочком румяным. Верно, и не думала и во сне ей не снилось, куда ее яблочко покатится.

Отдали меня в школу в Тернополе. Недолго я там училась. Я была очень красива, и мама очень меня любила, вот и уговорила отца взять меня из школы после трех лет ученья.

— На что нашей Ромочке школа, — говорила она, — на что ей голову себе забивать? С ее красотой недолго она дома засидится. Скоро ее возьмут от меня, так хоть наглажусь, как она, мой цветочек, растет да красой наливается.

Вернулась я домой и тоже рада была. В селе так хорошо. У помещика тоже были девочки, мы вместе резвились, на фортепиано играли, гуляли по огромному саду, мой отец катал нас по пруду на лодке.

Недолго продолжалась эта радость. Мама умерла от воспаления легких, отец очень затосковал, начал пить и плакать по ночам, и однажды утром я нашла его в постели мертвым, с перерезанным горлом, в луже крови. Я обомлела, увидев его, плакала и убивалась, не в состоянии понять, что с ним случилось. Говорили тогда, что он убил себя с тоски по маме, но я этому не верила. Мне было уже двенадцать лет, и я знала, что он маму не любил, часто у себя в спальне они ссорились, и мама втихомолку плакала и все твердила:

— Ну, что этот негодяй делает! Что он делает! Он меня в гроб вгонит! Собственного ребенка зарежет!

Я тогда не понимала этого и потом не могла понять, что все это значило. Я только смутно догадывалась, что и мама, наверно, из-за этого умерла. Я мучительно раздумывала над всем этим, но так ни до чего и не додумалась. Отец был так добр ко мне, так меня любил, одевал меня хорошо, покупал все, чего я ни захочу, и страшные мамины слова «собственного ребенка зарежет» не укладывались в моей голове, казались какою-то дикою выдумкой.

Но после смерти отца мне сразу все открылось.

Еще не успели обмыть и обрядить покойного, как в доме появился помещик, управляющий и еще несколько служащих вместе с комиссаром из уезда и полицейскими стражниками. Начали отпирать ящики, перетряхивать всё, заглядывать во все углы. Что там нашли—не знаю, я все время стояла возле тела покойного, жалась к нему, словно у него искала защиты,—не плакала, а только дрожала и всхлипывала, как ребенок. Лишь потом я слышала, как вокруг шептались: «Вор, вор, обкрадывал хозяйскую кассу, держал любовницу в селе!»

Я и не прислушивалась ко всему. Я так любила отца!..

Помещик приходил еще раз, когда покойный уже был обряжен, но и не взглянул на него, только подозревал меня, взял за подбородок, посмотрел на мое заплаканное лицо, погладил по голове, дал дукат, а после похорон велел

уложить мои нехитрые пожитки, посадить меня на подводу и отвезти в Тернополь, к дяде, брату покойницы мамы. Все остальное, что было в доме, помещик удержал как возмещение за то, что украл отец.

## II

У дяди, бедного магистратского чиновника, было пять дочерей — старшей перевалило за двадцать восемь лет, а младшей было пятнадцать. Все на возрасте, все замуж хотят, а тут решительно никто не навертывался. Бедные были девушки. Неученые, необразованные, без состояния, не знали никакого рукоделия, кроме все того же жалкого шитья, да еще и некрасивые, косоглазые какие-то, с толстыми губами, низенькие, как бочоночки. А с претензиями: всё же они дети чиновника, а их мать была дворянка, из зажиточных. Подружиться с простой работницей они сочли бы страшным позором. Принести из колодца воды или из ближней лавки хлеба — куда там, боже сохрани! Пять таких девиц, а прислугу держали! А в доме бедность — жалованье отца невелико. Ну, да что вам рассказывать, какая жизнь была в этом доме. Целых четыре года я терпела, и знаете... Может быть, то, что я делаю теперь, и большой грех, но я думаю, что за тот ад, какой я перенесла там, у дяди, в эти годы, все мои грехи простятся. Я свою кару еще до греха искупила.

Едва я вошла в дом, как тут же и почувствовала, что начинается для меня новая жизнь. Мои кузины обступили меня, обнимают, целуют, гладят по щекам... «Ромочка, Ромочка! Ай-ай, как она выросла, какая хорошенькая!» Оглядывают меня со всех сторон, точно какого-нибудь зверька. И, нечего бога гневить, приняли меня, несколько дней гуляли со мной, водили к знакомым и так, по городу. Всё так деликатно, ласково. «Ромочка, подай то! Ромочка, принеси это!»

Через несколько дней, увидев страшную пустоту их жизни, вечные разговоры о молодых людях, которые не желали ходить к ним, о платьях, о том, как одета та, как эта, я почувствовала какое-то отвращение. Людей,

о которых они говорили, я не знала, а дома, еще при маме, да и потом, после ее смерти, я привыкла к труду, — я вела все отцовское хозяйство. Вот и здесь я рвалась к работе. А им только этого и нужно было. Сразу после первого числа прислугу уволили, а я, отчасти добровольно, отчасти по их просьбам, как-то незаметно заняла ее место.

— На что нам прислуга? Правда, Ромочка? Мы и одни управимся! Колодец близко, лавка тоже, ну, а кухня да стирка нам тоже не в диковину!

Я соглашалась, потому что это была правда, и только удивлялась немного, почему они за каждым словом так целуют и обнимают меня, точно я каждой из них по дукату подарила.

— Правда, Ромочка, мы всё будем вместе делать, будем помогать друг другу, как сестры! Ты ведь наша сестричка, правда?..

И вышло так, что я стала у них прислугой. Я была еще слабенькая, подросток, но, не считаясь со своими силами, таскала воду, еженедельно стирала их белье, чистила обувь дяде и паннам, стряпала. Считалось, будто и они мне помогают, но что это была за помощь! Когда белье выстирано и высушено, они возьмут и выгладят его. Если нужно утром идти за покупками в город, одна из них идет со мной: я несу корзинку с покупками (порой приходилось тащить на плечах), а она платит и улыбается. «Ромочка, сделай то!», «Ромочка, сделай это!», «Ромочка, сбегай туда!», «Отнеси письмо на почту!», «Купи табаку папе!» И так с утра до поздней ночи. И всё нежно, ласково. Правда, когда мы ходили по рынку, я должна была держаться позади, как служанка. А дальше понемногу появился и другой тон.

— Ромка, что ты медленно ходишь!

— Ромка, как ты долго сидишь у колодца! А тут посуда не мыта!

— Ромка, ты очень долго волосы расчесываешь! Что ты так долго копаешься, а наши платья не чищены!

А у меня волосы были густые, пышные, и над ними, в самом деле, приходилось потрудиться, чтобы привести в порядок. Вижу, что некогда мне возиться с моими пышными косами, взяла да и обрезала их. Как обрадо-

вались этому мои деликатные кухни, я и сказать не могу!

— Ах, Ромочка! Какая же она хорошенькая! Что за милый мальчик! Ей-богу мальчик!

И снова поцелуй, поглаживание по щекам, объятия... Я знаю, что это от доброго сердца, но для меня уже было, пожалуй, слишком. Да что поделаешь — никуда не денешься, чувствую себя здоровой, вижу, и они мною довольны и ежедневно подсчитывают, сколько теперь экономят на расходах: и на жалованье прислуге (ведь мне-то они ничего не платили), и на припасах, и на дровах. Видите ли, служанка за покупками всегда ходила одна, и только теперь, когда она ушла от нас и панна стала ходить со мною, оказалось, что прислуга каждый день обсчитывала их на двадцать, а то и на тридцать крейцеров, да еще и припасы покупала похуже. Ну, и когда панны не заглядывали в кухню, она жгла дров больше, масла расходовала больше, чем я. Справлять на меня ничего не требовалось, у меня было достаточно своих платьев, и от мамы осталось. Были и кой-какие деньги за проданную одежду отца, которую я, уезжая из имения, упаковала вместе со своей. Эти деньги я берегла про черный день, не показывала их дома и не говорила о них паннам, считая, что незачем вводить их в искушение, а себе причинять неприятность.

Особенно полюбила я дядю. Очень добрый был человек, седой уже, сгорбленный и тихий такой, что дома его никогда не слышно. Вернется из канцелярии, — лишь бы ему обед подали, никогда не скажет: это плохо сварено, этого не люблю, как бы мне того или этого!.. Нет, даже не поморщится! Ест, еще и дочек унимает, чтобы не морщились, а благодарили бога за то, что есть. А потом — и зимой и летом — усядется в кресло, закурит трубку и читает газету, пока не задремлет. Дочери в соседней комнате скачут, шумят, хи-хи да ха-ха, а потом соберутся и всей гурьбой идут гулять, — а ему все равно. Привык, как мельник к грохоту мельницы.

Не раз, бывало, когда дочери разойдутся и я одна останусь, верчусь по кухне или убираю комнаты, он встанет, долго смотрит на мою работу и пожалеет меня:

— Бедная Ромочка, деточка моя золотая! Чем только

я отплачу тебе за твое старание, за твой неустан-  
ный труд?

Я молчу, только глаза на него вытаращу — глупень-  
кой представляюсь. Да и что мне ему сказать?

А он подойдет, поцелует меня в лоб, а у самого даже  
слезы на глазах.

— Ожил я при тебе, дитя мое! — говорит. — И телом  
и душой ожил. Прежняя служанка обкрадывала нас,  
кормила всякой дрянью. Дочери ссорились с нею каждый  
день, но ни одна пальцем, бывало, не пошевелинет,  
чтобы исправить плохое. А при тебе и на них стыд нашел,  
хоть что-нибудь порой сделают. Господи боже, и что  
с ними будет, на что они надеются?

Видно было, что он очень озабочен судьбой своих  
дочерей, но не решается сказать им в глаза ни слова,  
боится их стрекотанья. Только со мною он душу отво-  
дил, знал, что я все пойму и паннам ничего не скажу.

— Бог тебя вознаградит, дитя мое, — повторял он  
после каждого такого разговора. — Бог тебя вознагра-  
дит за твое доброе сердце, а я, бедный, больной человек,  
никогда не смогу этого сделать!

### III

Проходил год за годом. Я подрастала, и мое поло-  
жение среди незамужних кузин становилось все хуже.  
Несмотря на непрерывный труд, я была здорова, крепка  
и весела. Не нравилось им то, что я была красивее всех  
их. Когда, бывало, идем на рынок за покупками, то хоть  
я и одета в грязное, поношенное платье, хоть панны  
нарочно не давали мне перед тем умыться и причесаться,  
все же встречные молодые люди не на панну смотрят,  
а провожают глазами меня.

— Ромка, куда ты смотришь! — шипит на меня пан-  
на, когда я встречу глазами с взглядом какого-нибудь  
молодого человека. А сама небось прямо умоляет этого  
же молодого человека: «На меня, на меня взгляни!»  
Куда там, если у нее в глазах, как говорится, зависть  
тлеет, что искра в пепле, а в моих глазах веселость жи-  
вым огнем горит. Это мне их собственный отец говорил.

Никогда меня не только с собой гулять не брали, но и одну не пускали.

— Нельзя! — говорили между собой. — Она наша родственница, сирота, мы за нее отвечаем. А у нее уже по глазам видать, какая дорога ее ждет, если ей дать волю!

И при этом поглядывали друг на друга и усмехались так противно, что я вся до глубины души сгорала со стыда, хотя и не знала, куда они клонят и что именно ожидает меня.

Таким образом, из прислуги я превратилась в рабыню. Со мною уже вовсе не церемонились. «Ромка, как ты смеешь говорить с нами, как с равными?», «Ромка, марш на кухню!», «Растолстела на наших хлебах да еще хочет из себя панну строить!» — только я от них и слышала. Начали попрекать меня и отцом-вором, да что там — стали и поколачивать в уголку. Разглядели, что ем много, хотя я ела только то, что от их обеда оставалось. Решили не давать мне этого, а покупать для меня ссобо картошку и крупу ячменную или гречневую, и велели варить это в отдельном горшке.

С некоторого времени они завели обыкновение по четвергам собирать гостей на чашку чаю. Приглашали обычно молодых людей, гимназистов старших классов, чиновников, военных. Я в таких случаях не смела показываться на людях, панны сами прислуживали, чтобы показать, какие они хозяйки. Я не раз, бывало, забьюсь в темный угол кухни, поплачу немного, а потом плюну и слушаю до полуночи, что они там в гостиной болтают. Панны мои щебечут, смеются громко; отца их никогда не слышно, — хотя он для вида также сидел с гостями, но я знала, что старик, забившись в угол, дремлет в своем кресле с трубкой в зубах.

Тяжело мне, бывало, станет, когда наслушаюсь этого веселого говора там, в освещенной гостиной, когда представлю себе веселые лица и сверкающие глаза молодых людей и подумаю, что ведь я не хуже их, а должна торчать здесь, в темной, грязной кухне. А после подумаю: что же делать им, бедным девушкам, моим кузинам! Они боятся, как бы я у них какого-нибудь жениха не отбила. Бедность наша, а не злое сердце делает нас злыми и завистливыми.

Как-то в один из четвергов, когда гости уже собрались и панны были с ними, я возилась на кухне. Обычно, когда гости приходили, панны встречали их в кухне и старались так заслонить меня, чтобы никто не мог меня разглядеть. Еще и толкнет меня та или другая, обернет лицом в угол. Вот гости и думали, что у них какая-нибудь старуха служанка. А теперь случилось так, что, когда они сидели там и пили чай, вошел еще один гость, молодой офицер, красивый такой, приветливый. Первый раз увидел меня — и удивился.

— А, кухарочка! — сказал весело. — Новая кухарочка!

И хотел ущипнуть меня за подбородок.

— Простите, — сказала я, почувствовав вдруг, что во мне все возмутилось, — не кухарочка, и не новая. Я здесь уже три года!

— О, а я ни разу не видал! — сказал он, снимая шинель.

— Что ж, мне для вас напоказ стоять? — ответила я и принялась за работу.

— Ну-ну, — сказал он шепотом и хотел обнять меня, — только не брыкайся! Так ты говоришь, что уже три года здесь служишь?

— Не служу! — ответила я резко. — Я здесь у своего дяди.

Словно холодной водой облили его эти слова. Он остановился, широко раскрыв глаза, и ничего больше не сказал, только по лицу его какая-то тень пробежала: видимо, он размышлял о моем положении. В эту минуту отворилась дверь, из гостиной вбежала старшая панна с подносом и тоже остолбенела, увидав офицера.

— А, пан лейтенант! — воскликнула она, не зная, радоваться его приходу или сердиться на меня. — Так-то пан держит свое слово? Это у вас семь часов?

— Простите, — сказал офицер, кланяясь, — пришлось караулы разводить, вот и запоздал.

И они пошли в гостиную.

Не знаю, почему я была так зла на него, даже слезы

навернулись на глаза, хотя в то же время в душе я должна была бы признаться, что он мне понравился. В его лице видна была доброта и мягкость, а его удивление, когда он услышал, что я кузина этих девушек, также говорило в его пользу.

Прибравшись, я опять села в своем уголку и прислушивалась к голосам гостей. Сердце мое билось как-то необычно, и я напрягала слух, стараясь узнать его голос. Говорил он просто, без обычного для многих офицеров нарочито резкого тона. Говорил коротко и мало. И это мне также понравилось.

На другой день впервые панны набросились на меня с бранью. «Ты чучело, ты негодница, как ты смела ему показываться на глаза!» Я заплакала и сказала, что я не виновата, что он пришел неожиданно и первый заговорил со мною. О том, что он заигрывал со мною, как обычно молодые паничи заигрывают со служанками, я постыдилась и побоялась сказать им. Смягчились панны, стали меня целовать, купили мне платок за пять гульденов и просили, чтобы я всегда, как только сойдутся гости, гасила свет в кухне и сидела в потемках. Из этого я поняла, что офицер им тоже очень нравился. Но каково же было их огорчение, когда в следующий четверг он, несмотря на приглашение, не явился. Тысячи догадок, кислые мины и гримасы, даже на меня снова принялись покрикивать, когда вдруг пришло от него письмо. Он оправдывался тем, что был назначен в караул.

Спустя несколько дней, когда я ранним утром шла за водой, кто-то сзади положил мне руку на плечо. Оглянулась — он.

— Добрый день, панна Ромуальда! (Откуда-то и имя мое узнал!)

— Добрый день! — ответила я и почему-то задрожала.

Он пошел рядом со мной, хотя я несла ведра в обеих руках. На улице еще было пустынно. Он молчал добрую минуту и приглядывался ко мне в рассветных сумерках.

— Бедное дитя, — сказал он, наконец. — Значит, дядя не стал для вас отцом.

— Мой дядя добрый человек, — возразила я, не поднимая на него глаз.

— Знаю, знаю, — сказал он с легкой усмешкой в голосе.

Опять помолчал. Мы уже подходили к колодцу, возле которого стояли две-три служанки.

— Вы ходите иногда на почту? — спросил он вдруг, словно очнувшись от какой-то задумчивости.

— Дядя посылает за газетой.

— Там на ваше имя есть письмо до востребования. Вы умеете читать?

— Ну, как же не уметь!

— И не забудете? До востребования, одно имя, без фамилии. Прочтите его! Подумайте над тем, что я вам пишу. У меня нет случая поговорить с вами, вот я и надумал написать. Прощайте!

И, не дожидаясь моего ответа, он быстро ушел.

У меня словно камень в груди залег вместо сердца. Письмо мне! От него! Что ему от меня нужно? Надеюсь, ничего плохого? Выглядит он человеком солидным, знающим, что делает. Я ему никакого зла не сделала, так за что же ему платить мне злом?

Трудно мне было скрыть свое волнение от кузин. Все утро я была сама не своя, все дожидалась десяти часов, когда обычно меня посылали на почту за газетой для дяди. Закутав голову платком, я поспешила на почту и протиснулась к деревянной решетке, из-за которой экспедиторша выдавала письма до востребования.

— Прошу вас, нет ли там письма «Ромуальде»? — сказала я таким неверным и дрожащим голосом, что несколько посетителей, также стоявших у решетки, обратили на меня свои насмешливые, как мне показалось, взгляды.

Экспедиторша начала перебирать письма в шкафу.

— Откуда ждете письма? — спросила она.

— Местное, — едва слышно прошептала я, закрывая лицо платком.

В эту минуту в моих руках оказался небольшой продолговатый конверт. Я стиснула его и вся затрепетала, как будто взяла в руки горсть горячих углей. Выбегав из канцелярии, я стала у окна там же, в коридоре

почтового здания, чтобы прочитав письмо. Я знала, что дома у меня не будет возможности прочесть его украдкой. Дрожащей рукой я разорвала конверт и вынула листок белой почтовой бумаги. Почерк был красивый, четкий, но буквы некоторое время прыгали, как бы пылали у меня перед глазами. Наконец, я немного успокоилась и прочла вот что:

«На днях я уезжаю в Перемышль и не буду больше в доме вашего дяди. Не хочу даже бывать там — почему, сейчас поймете. Я видел ваше несчастное положение и говорил о вас с вашим дядей. Если бы я сказал, что люблю вас, то вы имели бы право не поверить мне, потому что как же можно полюбить кого-нибудь, не зная его ближе? Поэтому не буду говорить вам о любви, а только скажу вот что. Я бедный офицер, из простой семьи. Холостая жизнь мне опротивела, хочется изведать хоть немного тепла семейного гнезда. Собственной семьи у меня нет, жениться без реверса <sup>27</sup> нельзя, такой девушки, которая внесла бы за меня реверс и при этом была бы мне по душе, я, наверно, не найду, а продавать себя за реверс в мужья такой, которую я не смогу полюбить, — также не хочу. Между тем моего месячного жалованья с грехом пополам хватило бы на содержание семьи. Что же мне делать? Законные пути для меня закрыты, обстоятельства сами толкают меня на незаконный. Я знаю вас как честную девушку и не должен был бы пользоваться вашим печальным положением. Но я знаю, что это положение безвыходно, и потому думаю, что лучше вам будет стать моей, хоть и невенчанной, женой, чем вечной служанкой ваших кузин. Будем жить вместе, будем довольствоваться тем, что имеем, а когда я дослужусь до высшего чина, то брошу службу, и тогда мы поженимся. Не буду скрывать от вас, что это не легкое и не скорое дело. Но может случиться война, я могу на ней отличиться, и тогда дело пойдет лучше. Решайте, как знаете. Скажу вам только кое-что о себе. Я человек простой, тихий, вырос в бедности, привык к скромной жизни и труду, и если правда то, что я слышал о вас, то мне кажется, что люблю вас. Если решитесь уйти со мной, то будьте в субботу вечером со всеми своими вещами на вокзале. Я возьму вам билет. Во вся-

ком случае в субботу вечером буду ждать на вокзале. Если не придете — ваша воля, я не поставлю вам этого в вину. А если придете, то до свидания!»

Как видите, я хорошо выучила на память это письмо. Оно и до сих пор у меня, единственная памятка моего счастья. Читая его, я почувствовала, что вся то заливаюсь румянцем, то опять бледнею. Меня кинуло в дрожь, я не знала, как поступить, куда спрятать бумагу, куда идти, что думать. Мне вспомнилось, как мать когда-то целовала и ласкала меня и прочила мне самых лучших и богатых женихов, а позже, когда я начала подрастать, все старалась остеречь меня от военных. Мне вспомнились слышанные мною разговоры кузин об офицерах, об их безнравственной жизни, о девицах, которых они берут на содержание, а через некоторое время прогоняют, отдают на позор, — и мне страшно стало письма, которое я спрятала на груди под лифчиком. Так и чудилось мне, что там зашевелилась холодная змея. Но затем я вспомнила о своем жалком и безвыходном положении, о том, что и сами мои кузины не раздумывали бы много, если бы первый попавшийся офицер предложил им то же, что мне; дальше встало у меня перед глазами красивое улыбающееся лицо моего офицера, его мягкий голос, ласковые движения, а особенно его глаза, ясные, глубокие и искренние, и я уже тогда почувствовала, что не устою перед этим первым в моей жизни искушением, что пойду туда, куда меня зовет надежда на хотя бы недолгое и дорого оплаченное счастье.

До субботы было еще три дня, но в эти три дня я почти не думала о своем будущем. Я прожила эти три дня в какой-то непрерывной горячке, в беспамятстве, в страхе и надежде одновременно. А в субботу вечером, когда мои кузины с отцом ушли гулять, я переоделась в самое лучшее свое платье и, собрав свои вещи в небольшой узел, пошла на вокзал, не оглядываясь, не говоря никому ни слова, и только уже из Перемышля написала дяде письмо, поблагодарила его за хлеб-соль и сообщила, что перешла на новое место.

Да что мне томить вас долгим рассказом! Офицер мой был очень добрый человек. За полтора года, прожитые с ним, я не слышала от него худого слова. После тяжелой школы, которую я прошла у дяди, он был для меня как солнечный свет и тепло. Приласкал меня, избавил от тяжелой работы, дал свободно вздохнуть, говорил со мною, как с равною, любил меня, как сестру. Через несколько недель я ожила, пришла в себя. Выйду, бывало, в город — люди на меня оглядываются, и то и дело слышу, как молодые люди шепчут: «Какая хорошенькая!» Офицер сшил мне несколько платьев и, видно, любил меня, потому что выискивал тысячи случаев доставить мне удовольствие: приносил подарки, книжки, цветы.

Одно только сложилось не так, как я думала: мы не жили вместе. Ему приказано было по служебным обстоятельствам жить в казарме, ну а я не могла там находиться вместе с ним. Нашел он мне квартиру — одна комнатка, хорошенькая, с мебелью; столовалась я у соседки, жены какого-то ремесленника, а он приходил ко мне в свободные от службы часы и тогда обычно ночевал. Мы вместе пили чай и разговаривали до полуночи. Он рассказывал мне о своей жизни, о службе и ее трудностях, о том, что делается на свете. Я глаз с него не сводила и, казалось, готова была слушать его всю ночь. Целый день сидишь одна, читаешь, шьешь, в окно глядишь — вот и рада живому голосу человеческому. А он так хорошо умел рассказывать!

— Ромочка, ну расскажи же ты что-нибудь о себе, — скажет он, бывало.

Я чувствовала, что люблю его, у меня родилось желание уберечь его любовь, и я не заставляла никогда просить себя. Мне хотелось показать ему, что я не такая уж темная, глупая гусыня. Я рассказывала ему мельчайшие подробности своей жизни, с горячим желанием занять его, и не раз, бывало, он слушает, слушает, да и начнет целовать меня, прижмет к своей груди и скажет:

— Бедное дитя! Что могло бы выйти из тебя, если бы судьба тебе улыбнулась!

Когда со временем исчерпалось все, что я могла сказать о себе, я рассказывала ему о том, что прочтала и передумала за день. И это также занимало его.

— Скучно тебе, моя любимая, — скажет он, бывало, — но что же делать? Такие уж мы несчастные с тобой. Ты думаешь, мне не достается порой на службе? Потерпим, Ромочка, еще года два, — может, все обернется иначе.

— Милый мой, — говорю ему в ответ, — разве я жалуюсь тебе на скуку? Мне не скучно. Я всегда найду себе занятие, и чего бы мне скучать? А как подумаю, из какого ада ты меня вырвал и как я теперь счастлива, то мне иногда приходит в голову: господи, не слишком ли много счастья для меня? Знаешь, я с малых лет привыкла бояться счастья и все думаю, что за каждое счастливое мгновение придется расплачиваться, как за какую-то тяжкую провинность. По крайней мере у меня всегда так получалось.

К осени ему пришлось идти на маневры, и мы должны были расстаться на несколько недель. Он заплатил за меня все и, прощаясь, сказал только: «Не забывай меня, Ромочка! Я тебя люблю!» Верил мне, что я не изменю ему; он и не знал еще, что я уже носила плод его любви. Я за несколько дней перед тем заметила это и не хотела ничего говорить ему, но только теперь почувствовала вполне, как сильно я его люблю. При его словах я расплакалась, повисла у него на шее, целовала его в губы и в глаза, не в состоянии ничего сказать, кроме:

— Милый мой!.. Любимый!.. Золотой!..

Скучно было после его отъезда. В городе духота, пыль. Выйду, бывало, за город, к Сану, сяду на берегу, где-нибудь в таком уголке, чтобы меня никто не видел, и целыми часами смотрю на воду.

Ой, сяду я на шпилечок —  
Та рине вода, рине...  
Ой, і не дайте мене за нелюба,  
Та нехай він загине! \*

---

\* Ой, сяду я на пригорке — А вода бежит, бежит... Ой, не выдавайте меня за нелюбимого, Пропади он пропадом!  
(украинск.)

Эти слова и мелодия так и звучат у меня в голове, а у ног моих играет и скользит волна за волной, без конца и без усталости. И думается мне, бывало: что это такое — вода? Почему она должна бежать и бежать? Откуда ее там, в горах, столько берется? Порою меня так и тянуло броситься в ее таинственную хрустальную глубину. Подо мной медленно плавали крупные красноперые голавли, играли серебристые уклейки, лениво дремали в глубине толстые сазаны да грелась у самого берега прожорливая щука, вытянувшись неподвижно, как полено, и я думала, что там, в воде, и жизнь и порядки, должно быть, много лучше, покойнее, чем у нас. А иногда заглянусь на волны, и мне представится, что и вся жизнь наша со всем ее горем, со всеми радостями и надеждами — такие же волны. Одна прозрачная, другая мутная. Одна шумит и бурлит, другая тихо, едва слышно скользнет по поверхности и пропадет бесследно. Не так ли и наша жизнь? И мне иногда хотелось броситься в эти хрустальные волны, уйти в них и раствориться. И не от горя, — ведь я тогда не знала горя. Уезжая, он оставил мне кое-какие деньги, заплатил за квартиру и стол, а какие у меня, кроме этого, были расходы? И о будущем я не думала. Я чувствовала за собою опору — его, и видела только одну цель перед собою — уберечь его любовь, усладить его жизнь. И если порою мне хотелось погрузиться в эти чистые волны, то только по какому-то неясному чувству, что там, в воде, мне было бы очень покойно и хорошо, что я вечно плыла бы куда-то без собственной воли и мыслей, качалась бы на волнах и мне не нужно было бы ни думать, ни заботиться ни о чем.

Но вот прошел месяц, закончились маневры, он вернулся усталый, запыленный, потрепанный, но здоровый и веселый. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести в порядок его белье и одежду, но труд этот был для меня истинным наслаждением. Он получил отпуск на несколько дней для отдыха и все время просиживал у меня. Мы непрерывно болтали, рассказывая друг другу о своей жизни в разлуке. Он рассказывал, что видел императора и что император даже похвалил его за искусное исполнение какого-то маневра. Мы радова-

лись оба, потому что императорская похвала много значит для продвижения по службе. Не раз мы вдвоем ходили гулять, обычно на Сан, на мое любимое место среди ив. Он завел себе удочку и ловил рыбу, хотя обычно ему ничего не удавалось поймать. И все же эти дни были, пожалуй, счастливейшие в моей жизни. Сидим рядышком, глядим на поплавок и ни о чем не говорим, только чувствуем взаимную близость и знаем, что друг за друга готовы на все.

Ну, ну, не смейтесь! Бывают такие минуты в жизни каждого человека. Необязательно только в книжках читать об этом.

## VI

— Слушай, Ромочка! Мне очень хочется пить.

— И мне тоже, — сказала я.

Мы возвращались с прогулки на Сан. Уже несколько недель прошло как он вернулся к служебным обязанностям, но как только выпадал свободный вечер, он приходил ко мне, я ждала его уже одетая, и мы отправлялись на реку.

— Знаешь что, зайдем в ресторан, выпьем пива.

Мне как-то не по себе стало от этого предложения.

— А может быть, лучше пойдем домой и закажем принести пива? — сказала я.

— Э, что это за пиво будет! Здесь лучше. Идем же! Или ты боишься?

Я ничего не ответила, хотя, в самом деле, боялась неведомо чего. Мы сели за столик. Он заказал пива. Через минуту подошел к нам офицер, его знакомый, сказал ему несколько слов, взял под козырек и ушел. Мы еще не допили пива, как подошел другой офицер, сел около нас, поговорил с ним и как-то странно уставился на меня, причем я заметила, что мой Олесь смутился. Офицер встал, откозырял и ушел. Мы тоже ушли. Олесь был какой-то кислый, словно сам не свой.

— Милый мой! — обращаюсь я к нему, — тебе неприятно было, что тот офицер упорно разглядывал меня?

— Дурак! — бросил Олесь сквозь зубы.

— Нет, дорогой, не говори так, — возразила я. — Мы сами виноваты, что пошли в ресторан, где всякий может меня разглядывать!

— Если б ты была законная жена, то никто бы не посмел. А так... И все же он, дурак, должен быть хоть немножко деликатнее!..

Я чувствовала, что он весь кипит, что гнев душит его, и только теперь поняла, как сильно он полюбил меня.

— Милый, — говорю я ему, когда мы пришли домой. — Успокойся! Забудь об этом! Я тебе скажу что-то такое, чему ты обрадуешься?

— Что такое? — мрачно спросил он.

Меня холодом обдали эти слова, и его тон, и взгляд, каким он смерил меня, и я рада была взять назад свои слова и оставить признание до лучшей минуты, но было поздно. Я обняла его за шею, наклонила к себе голову его и шепнула ему на ухо те слова, которые не раз наполняли меня невыразимую радостью и весельем.

Его они совсем не порадовали. Какая-то тревога, нежелание, даже что-то вроде отвращения промелькнуло в его глазах. Страшную боль причинил мне этот взгляд. Но и нехорошее выражение его лица и боль у меня внутри длились только минуту.

Он просветлел, обнял меня, стал целовать и расспрашивать: как, что, когда. И мне было приятно поделиться с ним тайной, о которой я до сих пор никому ни слова не сказала. И как он был мил, когда через некоторое время заговорил о различных вещах, необходимых для ожидаемого гостя, и все это так серьезно, словно этот гость должен прибыть завтра... И как мы смеялись от всего сердца, когда я ему сказала, что все принадлежности я в свободную минуту приготовила, нужные знакомства завела, значит ему не о чем беспокоиться.

Чудесно провели мы тот вечер. Выпили бутылку вина за здоровье ожидаемого, шутили, даже спели в два голоса. Но я почувствовала, что с той поры с ним произошла какая-то перемена. Он часто бывал мрачен, словно чем-то огорчен. Не раз обрывал беседу на полуслове, хмурился, как бы собираясь с мыслями. А о своей жизни в казарме, о своих отношениях с другими офицерами никогда ни слова. Даже просил меня, чтобы я ни-

когда его не расспрашивала об этом. Из этого я поняла, что у него какие-то неприятности, и мучилась мыслью, что все это, может быть, из-за меня.

И так между нами стало постепенно возникать темное облачко. У каждого из нас были свои огорчения, и каждый боялся или не хотел поделиться ими с другим. Одно только связывало нас — мысль о будущем ребенке. Мы говорили о нем так, будто он уже существует, бегают, лепечет, смеется, любовались им, беспокоились, как бы он не ушибся, не упал, не простудился, решали, что надо сменить квартиру, взять прислугу, рассчитывали, сколько это будет стоить. По всему этому я видела, что он меня любит, и еще больше чувствовала благодарность и любовь к нему.

Наступила зима, и он опять стал реже бывать у меня. Служба удерживала его. Иногда бывало так, что он целую неделю не мог зайти. Я познакомилась с несколькими соседками — женами ремесленников и рабочих, потому что к «пани» чиновнице или учительнице боялась подходить, чувствуя, что они могут меня оттолкнуть. А у этих темных и бедных женщин я нашла больше сердечности и помощи. Я попробовала даже через них подыскать какую-нибудь работу, чтобы заработать хоть сколько-нибудь на содержание свое и своего ребенка. Я умела шить и брала шитье на дом. Потом с помощью одной служанки, работавшей у профессора, я достала хороший заработок — переписывать начисто какую-то книгу, которую написал профессор. Я пишу хорошо и быстро, и, засевав вплотную за работу, я за два месяца заработала около пятидесяти гульденов. Олесю я ничего не сказала о своем заработке, — боялась, как бы он не рассердился. Все же он спустя некоторое время узнал об этом, должно быть от самого профессора, учинил мне допрос и, разузнав все, ничего не сказал, только поцеловал в глаза и потом в каком-то печальном раздумье прошептал: «Бедное дитя!»

В мае, наконец, я родила. Ребенок был хорошенький, как ангел, но мне было невесело, когда я глядела на него. Теперь я начала думать о своем будущем и о будущем своей дочушки. Что с нею будет? То же, что со мной? И я, до того не раз благодарившая бога за свое счастье,

вдруг почувствовала какую-то невыразимую тревогу. Боже мой! Что я такое на самом деле? Содержанка — и больше ничего! Искренне или неискренне говорит Олесь о своем будущем повышении, о намерении повенчаться со мной, а все же теперь от этого дело не меняется. Теперь я поняла сострадательные взгляды, затаенные вздохи и покачивания головой моих соседок, бедных жен рабочих, поняла их уклончивость, когда заходила речь об Олесе, перешептывания, когда в комнату приходила какая-нибудь новая соседка, те тысячи мелочей, которые хотя и не имели целью уколоть и ранить меня (эти женщины очень хорошо понимали мое положение, потому что многие из них сами прошли через это в своей молодости), но все же причиняли мне боль и печалили меня.

Олесю я ничего не говорила о своих страданиях, да и зачем? Если он меня любит, думалось мне, то, наверно, и сам страдает, а если нет — то ни к чему. А он на самом деле мучился. Маленькую нашу он целовал и ласкал, как мать, не как отец, и временами я видела, что у него слезы на глаза наворачивались, когда он смотрел на нее, спящую. Что же мне было ему говорить? Оставалось только набраться терпения и ждать.

## VI

Через три месяца наша девочка умерла.

Олесь стал реже бывать у меня. Летние лагеря, потом маневры, потом опять какие-то занятия — целыми неделями, а то и дольше, не бывал у меня. Наши встречи стали короткими и холодными. Казалось, со смертью ребенка улетело наше счастье и то тепло, которое прежде охватывало нас обоих, когда мы бывали вместе. После маневров он заболел и пролежал больше месяца. Написал мне, чтобы я сидела дома и не вздумала приходить к нему. Что я вытерпела за это время!..

Лишь на третью неделю я узнала, что у него была дуэль из-за меня. Офицеры, подходившие к нам тогда в ресторане, встретясь с ним во время маневров (они были львовские), стали расспрашивать его о той даме, которая

сидела с ним, и почему он ее им не представил, и при этом сказали обо мне что-то такое, что Олесь вызвал их обоих на дуэль. Одного он ранил, а другой ранил его, и довольно серьезно. Это я узнала от одного солдата из его роты, которого остановила, сидя у окна.

Я не могла дольше выдержать, побежала к нему. С большим трудом я добилась, чтобы меня допустили. Он лежал в постели, белый как мел, исхудалый. Пуля попала ему в грудь и только чудом не сразила его на смерть.

Рыдая, я припала к нему, целовала ему ноги и руки. И он расплакался.

— Ну, что ты! Что ты! — повторял он. — Тебе здесь нельзя быть. Ступай домой, я тебе напишу.

Долго я не хотела уходить, только когда пришел доктор и сказал мне, что он будет здоров, но теперь ему нужен покой, — я ушла.

Он не писал мне, но через несколько недель сам пришел. С каким нетерпением, с какой тревогой ждала я его! Какими чудесными красками рисовала себе первую встречу с ним после этого страшного испытания, как твердо клялась, что всю, всю жизнь свою, труд и все помыслы отдам ему! А когда он пришел, посмотрел на меня и молча сел в кресло, я сразу поняла, что между нами все кончено, что нам надо расстаться, что все дальнейшее будет лишь долгим или коротким прощаньем.

Прощанье вышло короткое. Он сказал мне сразу, что его повышение в чине отодвинулось теперь на долгое время, и что его в наказание перевели в Арад<sup>8</sup> охранять военную тюрьму, и что он через неделю должен собираться в дорогу.

Я выслушала его слова, как ледяной столб. Он начал утешать меня, говорил, что никогда не забудет обо мне, что будет писать мне, — но я знала, что сам он нуждается в утешении. Уезжая, он дал мне немного денег на жизнь и два письма к своим знакомым и посоветовал поискать себе какую-нибудь службу.

Я продала кое-что из своих платьев и первое время могла не беспокоиться о своем существовании, — я могла в крайнем случае переждать недели две, пока не попа-

дется что-нибудь подходящее. Служба нашлась сразу, у того же профессора, которому я переписывала книгу. Профессор был добрый человек, но жена его начала ревновать меня к мужу, и через два месяца, среди зимы, мне пришлось оставить это место.

Я бросилась к другим знакомым Олеся, к которым у меня были письма, но испытала столько обид и стыда, что плюнула на все. Все они знали мою историю, все глядели на меня, как на зверя, отсылая меня один к другому, чтобы все увидели ту «мерзавку, которая извела и погубила такого хорошего и способного человека». Эти слова сказал мне, наконец, один старый ротмистр, к которому меня также послали в поисках службы.

После этого я больше уже не ходила ни к кому, а поехала во Львов. Здесь я остановилась в одной еврейской гостинице и принялась искать какую-нибудь работу. Но работы не было, денег не стало. Дня два я бегала как очумелая, потом целый день сидела в каком-то отупении в своей комнате, пока не вошел кельнер и не сказал мне несколько слов. Остатки крови бросились мне в лицо, я вскочила, как будто попала на раскаленные уголья, но кельнер не унимался, — я не ушла, не могла уйти от своей судьбы...

Я не раз видела, как ветка, оторванная от дерева, плывет по воде, пока не попадет в водоворот. И тут еще сначала она плывет спокойно, описывая большие круги; но чем дальше, тем круги становятся уже, движение быстрее, пока течение не завертит ее и не увлечет в пеннистую бездну, где она и пропадает. Ветка ли виновата, или вода, что так случается?..

*Львов, 20 марта — 9 апреля 1890*

*Рассказы*

1876—1891



## УГОЛЬЩИК

Весной 1875 года шел я пешком из Долины в горы, в Велдиж<sup>1</sup>. Шел один, беседовать было не с кем, и, чтоб хоть как-нибудь развлечься, мурлыкал себе под нос мелодии народных песен.

Не знаю, злой или добрый дух надоумил меня пойти новой дорогой. Она, правда, короче старой, — идет прямо к велдижскому мосту, — но зато отличается другим, не совсем лестным для нее качеством, — именно тем, что новая. Случалось ли вам когда-нибудь ездить по новой дороге, которую еще мостят, вколачивая щебенку в желтый, дождями и вешними водами размытый глинозем? Проезжая по ней или идя пешком, вы, наверно, проклинали ее. Какой прочной должна быть телега, чтобы не рассыпаться, грохоча по огромным камням; как выносливы и крепко подкованы должны быть лошади, чтобы не поразбивать себе копыта об острые камни; как силен должен быть человек, чтобы у него после такой тряски не сперло дух в груди от страшных колотушек. А пешеход! О, ему грозят не меньшие неприятности. Лучшее, на что он может надеяться, это то, что его сапоги, даже самые крепкие, превратятся в ветошь, а менее ловкий и привычный наверняка может рассчитывать на вывих ноги. У новой дороги, по которой я шел, не было еще боковых тропинок, этого великого благодеяния для пешеходов. А если и были прошлым летом, то теперь их так развезло, что они вовсе пропали в

глинистом месиве, и следа их невозможно было сыскать, — не то что идти по ним.

Хорошо уж и то, что я часто встречал здесь людей, которые мостили дорогу, — рабочих. Горькая доля выпала им. За жалкую плату в шестьдесят — восемьдесят крейцеров сиди целый день на ветру, в слякоти и сырости, подымай тяжелый железный молот и дроби каменья. А их там много сидело. Работа не позволяла им вступать в разговор между собой, все сидели молча, даже песни, этой постоянной спутницы нашего украинца в труде, не было слышно. Казалось, злой демон заколдовал этих угрюмых, оборванных людей, каким-то волшебством впряг их в тяжелый механический труд. И это действительно так. Злой демон их — нужда, а волшебство — жалкий, кровавый заработок.

Невдалеке от них, за небольшим бугром увидел я угольщика. Его большой черный воз, запряженный парой низкорослых горских лошадок, стоял посреди глубокой глинистой выбоины и не мог сдвинуться с места. Как ни мучились лошаденки, как ни понукал их угольщик, как ни подпирал он своими крепкими плечами телегу, — ничто не помогало.

Я подошел к нему.

— Слава Иисусу Христу!

— Навеки слава! — ответил он, вылез из-под телеги, забрызганный грязью, запыхавшийся, встал, выпрямился, снял шляпу с головы и ладонью отер со лба крупные капли пота.

— Что тут у вас случилось? — спрашиваю.

— Да вот видите, — ответил угольщик, тяжело дыша, — дернула меня нелегкая поехать этой дорогой! Чтобы ему лопнуть, нехристю поганому! (Я забыл добавить, что дорогу эту строил на свои средства барон Поппер.) Слова не сказал бы, если бы с поклажей какой, а то, видите, порожняком, и то нет возможности из проклятой прорвы выкарабкаться. И лошадей замучил и сам измучился вконец! Нелегкая понесла меня сюда, в эту прорву!

— Да зачем, — говорю я, — вам одному мучиться? Телега тяжелая, еще надорветесь, пожалуй. Погодите, я позову людей, возьмемся вместе, легче пойдет.

И, не ожидая ответа, побежал я, прыгая с камня на камень, звать рабочих.

Немало времени прошло, пока пятеро мужчин смогли вытащить тяжелую телегу угольщика из глубокой ямы. Наконец, телега стала на твердом грунте, люди вернулись к своей работе, а угольщик взял в руки кнут и крикнул на измученных лошадей. Телега двинулась, рядом с нею угольщик. Я решил за компанию идти вместе с ним. Медленно, с трудом тащилась телега, — времени для беседы было достаточно.

Я начал с обычных вопросов: «Откуда вы? Как зарабатываете? Много ли дает вам ваша работа? Какое хозяйство у вас, как, что?» — словом, как водится.

— Я из Суходола, — отвечает, — но тут в Илемском лесу мы нажгли угля, вот я туда и еду.

— Значит, вы не один?

— Четыре подводы. Когда был мой покойный Иван жив, впятером ездили.

Угольщик, с которым я беседовал, был человек уже пожилой, лет под шестьдесят, если не больше; рослый, как многие наши горцы. Длинные волосы, уже тронутые сединой, спадали из-под черной войлочной шляпы на его плечи. На нем был короткий кожушок без рукавов, так называемая «бунда», и крепкие кожаные лапти с черными шерстяными завязками.

— И давно ваш Иван умер? — спросил я после минутного молчания, между тем как старик, понурив голову, угрюмо шагал дальше.

— Пожалуй, в Петровки год будет! Пускай его душеньке на том свете легко будет! Хороший был хлопец, душевный! И такую господь ему смерть судил, что вспомнить страшно! Эх, кабы можно было чем другим прокормиться, я и не глянул бы никогда на эту работу. Это она отняла у меня моего сына, моего Иванчика, а он у меня один был, как одна душа божья у человека!

Старик тяжело вздохнул.

Я дал ему выговориться. Знаю по собственному опыту, как горько, когда наши печальные, горестные воспоминания прерывает кто-нибудь любопытными расспросами. Я постарался успокоить угольщика, обращая

его внимание на посторонние предметы, а затем спросил:

— Что же случилось с вашим Иваном?

— Ой, не приведи господи такого моему врагу! Вот, если угодно, послушайте! Будете знать, какой наш заработок горький да кровавый и какое горе на меня из-за него свалилось. Должен вам сказать, что вся наша родня в Суходоле — угольщики. Мы, бывало, на пяти подводках ездили. Я на одной, мой сын на другой, на третьей мой младший брат Дмитро, а на четвертой и пятой его два сына, Якимко и Степан. Дома оставались только женщины. У меня, кроме Ивана, была еще и дочка Маруня, а у брата не было больше детей.

— Но откуда же вы брали столько дров для угля? — перебил я.

— Покупали. Где колода гнилая в лесу сыщется, где поваленное ветром дерево, все, что попадется... в наших лесах много этого добра. Закупим по дешевке, еще помещик радуется, что избавился от заботы, ведь все это задаром лежало бы да гнило. А мы возьмем, распилим на мелкие куски, снесем на полянку и сложим в кучу.

Ну, а впрочем, слушайте дальше.

Было это после троицы. Мы уже к тому времени понаходили в лесах целые кучи бурелома. Весна была мокрая, ветра подули, — столько деревьев навалило, что господи боже! Даже смотреть больно! Как-то вечером в воскресенье приходит ко мне брат Дмитро.

— А что, — говорит, — Максим? Не пора ли нам собираться в путь? И то уж засиделись... а все из-за твоего Ивана да его сватовства.

А мой Иван как раз в ту весну посватал Оленюкову Фенну, хорошую девушку, хоть и не из богатой семьи. Боже мой милый, как они любили друг друга! Глядя на них, и я душой радовался, и у меня в груди расцветали молодые годы, любовь молодая.

— Верно, — говорю, — правда твоя, братец. Работа сама зовет нас. Вот и сено, что мы в прошлом году купили, все вышло, накосить негде, ведь земли и сенокоса у нас нету. Да и хлеб уже на исходе. Нечего много говорить, братец, давай собираться!

— Да я уж готов. А вы? Соберетесь на завтра?

— Какие наши сборы? Телеги подмазать, пилы наточить, да еще, может, грядки у телег новым лубом обтянуть. Да ведь нас двое, что это для нас значит?

Я позвал Ивана, поужинали, святое воскресенье кончилось, мы взялись за работу. На другой день утром должны мы были выехать. Ночью прибежала к нам Фенна.

— Слышала я, Иван, в лес уже едете?

— Да, едем.

Она стала вдруг сама не своя, мнет рукой запаску, а затем гляжу я, а у нее слезы из глаз кап-кап-кап.

— Что с тобой, Фенница? — спрашиваю.

— Да ничего! — ответила и покраснела.

— Успокойся, не плачь, сиротинка! Ведь мы, чай, не за море едем. К Покрову воротимся, не бойся, денег привезем, свадьбу справим.

Она еще пуще раскраснелась. Иван к ней, утешает, уговаривает, а потом и поцеловал, ну, известно, дело молодое. Вот она и улыбнулась, а я снова говорю:

— Не плачь, Фенница! Ого, если тебе всякий раз плакать, когда Иван уезжать будет, — так и слез не хватит.

— Да нет же, — ответила она, улыбаясь сквозь слезы, — мне что-то нынче... только нынче... сама не знаю, почему.

— Ну, ну, ничего, не беда, — говорю я, — а теперь иди, голубка, домой, нас еще работа ждет.

Она пожелала нам спокойной ночи и ушла.

Наладили мы все, что было нужно, и легли отдохнуть. Проснулся я утром какой-то... не то больной, не то не в духе, ну, сам не свой...

— Эге, — говорю жене, — знаешь, старая, мне что-то недоброе во сне приснилось.

— Что такое? — спрашивает она.

— До утра все что-то мерещилось!.. А потом, словно потянуло меня что-то, — на окно глянул\*.

— Ну, — говорит жена, — пускай все злое сгинет.

---

\* По народному поверью, если, проснувшись, глянуть на окно, — забудешь все, что тебе снилось. (Прим. Ив. Франка.)

Встали мы, умылись, богу помолились, жена затопила печь, готовит завтрак, тут и Дмитро на двор.

— Эй, Максим, готов ли ты?

— Сейчас, — говорю. — Ну-ка, входи в хату, хлопцев своих зови, позавтракаем вместе чем бог послал.

— Да мы уж позавтракали, — отвечает Дмитро.

— Ничего, это не во вред! — ответил я. — Мы все свои, нечего церемониться. Эй, Маруня, сбегай-ка позови дядькиных хлопцев.

Пришли хлопцы, мы сели завтракать.

Солнце уже высоко стояло на небе, когда мы выехали. Погода была прекрасная. Иван после прощанья с Фенною шел печальный какой-то. Дмитро толковал со мной, где бы нам лучше начать рубить дрова, а Якимко и Степан, идя возле своих возов, принялись песнями нагонять на Ивана тоску. Якимко вытащил даже из-за пояса сопилку и заиграл, да так грустно и жалобно, что Иван и впрямь голову повесил, идя позади него. А Степан тем временем все припевал:

Ой, віз трави, ой, віз трави, а два вози сіна;  
Ой, то ж то ми дівчинонька в серденьку засіла!  
Ой, двчино-дівчинонько, така-с ми миленька,  
Як уліті на нивоньці вода студененька.  
Як уліті при роботі води ся напити,  
Так з тобою постояти та й поговорити\*.

Известное дело, — молодежь! Им все нипочем. Что ни случись, все им песня на ум приходит, такая натура у них. У нас, стариков, не так. Где нам?

Вы, верно, и сами хорошо знаете, что в любом положении, в любой работе, как бы тяжела она ни была, есть и свои радости. А как же? Человек, известно, не скотина. Вот так и у нас, угольщикова. Выберем полянку, где бы огонь разложить, телеги оставим в селе, а сами — в лес. Ну, беремся по двое за бревна. Закурим трубки, пилы — в руки. Лес вокруг тебя шумит, солнышко проглядывает сквозь ветви, птички щебечут так, что душа радуется,

---

\* Ой, воз травы, ой, воз травы, а два воза сена; Ой, знать, девушка в моем сердце засела! Ой, дивчина-дивчинонька, так ты мне мила, Как летом на ниве вода студеная. Как летом за работой воды напиться, Так с тобою постоять и поговорить (украинск.)

а ты трубкой попыхиваешь, а пила так и ходит в руках. Ну, распилим все дерево, снесем колоды на полянку. Боже, как намучишься!.. Иной раз прямо глаза на лоб лезут... кажется, невелика колода, а взвалишь на плечи, дух захватывает. Ну вот, натаскаем большую кучу, начинаем укладывать. Снизу сучья идут, на подпалку значит, а потом колоды, колоды... до самого верху! Сверху прикроем хвоей, чтоб ветер не задувал и чтобы пламя не выбивалось, а потом еще дерном обложим или мокрым мхом, чтобы уголь, значит, лучше истлел. Ну, готова одна куча, разводим огонь; один остается присматривать, а остальные снова на работу. И пока первая куча истлеет, мы разожжем три-четыре. Вот бы вам посмотреть, до чего это мило выглядит, как подымутся над лесом, словно венки, клубы дыма! А ночью так и кажется, будто большое красное кольцо опоясало гору. Ну, а когда все перетлеет как следует, начнем гасить. Нередко из одной кучи десять, двенадцать возов угля получается! Представляете, что это за кучи! Э, что ваша хата! Ничто!

Так было и в тот раз. Сложили мы четыре кучи, подожгли и ждем. Моя куча была зажжена позже всех, возле другой был Дмитро, возле третьей — Иван, а возле четвертой — Дмитров Степан. Якимко остался в селе при лошадях. Дело было после полудня. Я обложил поплотней колоды хвоей, позатыкал щели, закурил трубочку и лежу себе под елью — простите на глупом слове — брюхом вниз и на локти оперся. Еще думаю про себя: «Пожалуй, Дмитрову и Иванову кучу надо завтра гасить, за ночь уголь как раз дойдет». Как вдруг слышу крик возле Ивановой кучи. Вскочил, бегу. Что такое? А бежать не близко было. Подбегаю к Дмитровой куче: Дмитра нет! Прислушиваюсь, слышу голос Дмитра возле Ивановой кучи, кричит: «Скорей, скорей раскидывай!» Господи, думаю, что там такое? Лечу я, перепрыгиваю через пни и коряги, продираюсь сквозь кусты и заросли, а сердце тук-тук-тук. Прибегаю. Мать божья! Дмитро и Степан мечутся возле Ивановой кучи. Пламя валит, как из пекла, — уголь-то перетлел. Дым, искры летят, а они с деревянными лопатами в руках бьются, раскидывают колоды.

— Что, что здесь такое? — кричу им. Но они, видно, и не слышат меня, — так трещит хвоя и гудит огонь. Вижу, здесь не до расспросов, схватил длинную лопату и давай раскидывать колоды. Завидел меня Дмитро сквозь дым и огонь.

— Скорей! — крикнул. — Скорей, братец!

— Да что случилось? — спрашиваю. — Где Иван? Дмитро ничего не ответил. Только Степанко, весь обгорелый, чуть дыша от жары и дыма, прокричал:

— Упал в огонь! Пламя пробилось наверх, он и полез землей засыпать. А в это время уголь осунулся, вот и...

— Боже милосердный! — крикнул я, а самого словно льдом обдало. Не знаю, откуда вдруг сила взялась. Как взмахну лопатой, — так колоды и летят, словно щепки из-под топора: как взмахну, — так и летят, рассыпаются. Я обжег себе руки, ноги, лицо, не спрашиваю ни о чем, только все как безумный повторяю:

— Иванчик мой, сынок! Иванчик, где ты?

И вот среди красных углей показалось что-то черное. Мы захватили вдвоем лопатами и вытащили. Это был мой Иванчик.

Матерь божья, не приведишь вам никогда ни видеть, ни слышать о таком несчастье, какое свалилось на мою бедную, старую голову! Лежал мой Иванчик передо мною на земле, черный весь, как головня. Тело в огне скорчилось, кожа обгорела, потрескалась... Не узнать, где глаза, где рот, где лицо, — ничего!.. Царица небесная, никогда я на своем веку не видал ничего страшнее, чем был он, мой сынок сердечный. Стою над ним ни живой ни мертвый, только руки ломаю да приговариваю: «Иванчик, серденько, отзовись, хоть словечко промолви!»

Но мой Иванчик давно уже богу душу отдал. Пошли ему, господи, вечный покой! Ушел он страшной дорогой с этого света, покинул меня в горьком горе, покинул старика без помощника, одного, как былинку в поле! Ой, сыночек мой, сыночек, знать, такая твоя участь! Лучше бы со мной, стариком, такое приключилось! Поплакала бы старуха с детьми, поплакала, да и только. Жили бы, не бедовали. А так что? Годы человека одо-

левают! Мне уж давно пора на печке лежать да старые кости парить, не таскаться по заработкам! Ох, боже великий, боже!.. Постоял я над своим Иванчиком, да некогда было стоять. Вытер слезы, завернул его в холстину и понес в село, словно малого ребенка. На другой день похоронили. Ох, барин, барин, вы еще не знаете, как болит у отца сердце по родном детище. А тут нужда, работа ждет, не пропадать же человеку с голоду! Некогда было долго горевать да плакаться, некогда было заехать к старой матери и утешить ее в горе. На третий день мы нагрузили углем телеги и поехали. Чужие люди передали матери: «Не горюй, матушка, не убивайся, но и сына своего больше не жди! Не придет твой сын приголубить тебя на старости лет, не высыплет заработанные деньги на стол и не скажет: «Возьмите, мама!» Поехал твой сын в дальнюю дорогу, в чужую сторону, где никому не нужны заработки. Там тебя, мама, твой сыночек ожидает». А бедной Феннице передали: «Ты не жди, девонька, своего нареченного! Переманила его к себе другая, разлучница, сырая могила!»

Горько плакали по Иванчику мать и сестра, а еще горше бедная Фенница. Ходили все трое в Илемье, заказывали панихиду по его душе, молились на свежей могиле. Вот и весь сказ про моего бедного Иванчика. Мать еще и доньне плачет, а у меня и до гробовой доски не перестанет сердце болеть. Фенна тоже долго о нем плакала, горевала, а в этот мясоед другой жених нашелся, пошла замуж. Дай ей боже счастливую жизнь за ее доброе сердце...

Спустя год, снова в такую же пору, встретил я старого угольщика. Разговорился с ним о его житье.

— Вот, видите, нужда и нужда! Только и разговору везде, что об этом. Наш заработок изо дня в день все хуже становится. И леса вырубают, и каменного угля все больше привозят. Придется, видно, с голоду помирать. Благодарение господу, дочь замуж выдал в тот мясоед. А Дмитро уже не ездит за углем, ушел со Степаном на заработки в Людвиковку, на лесопильный завод. Хорошо еще, что со мной оставил Якимку. «Бери, говорит, братец, моего сына, если твоего господь милосердный прибрал». Вот такая моя тоска смертная. Если бы

не Якимко, пришлось бы нам со старухой пропадать с голоду. Сам уж, как видите, слаб стал, куда уж мне, годы уходят и силу забирают! Других заработков поздно искать. И не могу, и охоты нету. Жил угольщиком да так, видно, угольщиком и в гроб лягу. Эх, кабы только мой Иванчик золотой в живых был! Не так бы мне жилось. Эх, эх, покинул меня сиротой, словно без правой руки. С ним все ушло: и сила, и достаток, и радость, и заработок — все.

1876

## МОЯ ВСТРЕЧА С ОЛЕКСОЙ

*Рассказ Мирона Сторожа*

Я человек проклятый, ненавидимый, изгнанный из среды «порядочных» людей, — одним словом, подвергнутый проскрипции<sup>2</sup>. Подвергнутый проскрипции — это самое подходящее определение. Это не значит, скажем, что совесть моя восстает против меня или что-нибудь в этом роде, — нет, это означает только, что люди «честные» (если хотите, можете назвать их «богатыми», «сильными», «практическими», — это по сути одно) вытолкнули меня из «честного» и «порядочного» общества, — то есть попросту из своей среды. И совершенно справедливо! Мое имя вместе с именами нескольких подобных мне «во время оно» облетело весь край, было пугалом для всех «мирных и верноподданных граждан», с моим именем у всех у них связано представление о перевороте, революции, резне. Правда, в то время, когда «защитники существующего порядка» подняли страшнейший вой, я и мои товарищи спокойно сидели за тюремной решеткой, подсчитывая дни краткой жизни, потраченные бесплодно и напрасно. Но допустим даже, что на деле все это было не так, что мне и моим приятелям перевороты и революции и не снились, — что ж из того? Разве недостаточно одного факта, что я сидел в тюрьме, чтобы навеки запятнать меня в глазах «честных» людей? Да, но всеведущий и всемогущий суд и в самом деле признал меня виновным, и в самом деле усмотрел в моем

организме революционную жилку, в моей крови обнаружил каплю той крови, которую французские «защитники порядка» не успели выпустить до конца в 1872 году<sup>3</sup>, в моих глазах разглядел искру того огня, который может поджигать дома «мирных граждан» не хуже керосина. Одним словом, на суде я оказался кругом виноват, — значит, пренебрежение и проклятия «порядочных» людей совершенно справедливы.

Я вовсе и не жалуясь на это, потому что, кто знает, может быть, мне даже и легче стало, когда, выйдя из тюрьмы, я почувствовал себя свободным, как птица в воздухе (как говорят немцы — *vogelfrei*\*)! Я испытывал тогда нечто похожее на то, что чувствует ученик, по окончании курса выходящий из школы. В руках у него хороший аттестат, а в голове блестящая, заманчивая перспектива приятных вакаций. И я также прошел курс наук «порядочных людей», просидел рядом с ними долгие годы и получил по окончании аттестат, правда, не совсем так написанный, как обычно, но все же освобождающий меня от дальнейшего сидения на проклятой парте. Я вышел на улицу, на свежий воздух. В голове моей теснились новые мысли, новые впечатления, и среди них все ярче обозначались звуки грустной и вместе с тем счастливой песни.

Обриваються звільна всі пута,  
Що в'язали нас з давнім життям! \*\*

Я чувствовал, видел, знал по тому, как сильно билось сердце, что это правда, что путы разорваны, что прежняя жизнь кончена, — а на первую минуту, на первый свободный вздох этого было достаточно.

Правда, чувство, каким бы оно ни было сильным и пылким, недолго горит, — век им не проживешь. После первого, хмельного взрыва оно быстро утихло, и я взглянул на свет более трезвыми глазами.

---

\* По-немецки одновременно означает: «свободный, как птица» и «лишенный покровительства закона».

\*\* Обрываются постепенно все путы, Связывавшие нас с былой жизнью (*украинск.*; строки стихотворения Ивана Франка «Товарищам из тюрьмы»).

Жизнь подвергнутого проскрипции, чужого среди людей, ненавидимого, от которого отворачиваются все те, кто еще недавно заверял его в своей дружбе, — такая жизнь всякому скоро надоест. И верно, увидишь одного такого, который отворачивается при встрече с тобой, — плюнешь и проворчишь: «Ничтожество! Ну его к черту!» Увидишь второго, третьего, — то же самое! Но под конец самому станет горько, тоскливо, отчаяние охватит. «Что это, — подумаете про себя, — или я, в самом деле, так мерзок и страшен, или эти люди видят все шиворот-навыворот?» — «Да нет, — отвечаешь себе, — ни то, ни другое — все дело в том, что они «честные и порядочные», а ты... ну, хватит!» На такой довод нечего возразить. Остается только два пути: либо, посыпав пеплом главу и разорвав и те последние «ризы», которые на тебе остались, плакать, вздыхать о невозвратном времени, когда и сам ты был «честным и порядочным», и идти «на распутия и стогны града» — просить прощения у каждого «порядочного» за страшное, хотя и не совершенное, преступление, либо раз навсегда плюнуть на всю эту «комедию», взвалить на себя «крест свой», — иначе говоря вступить добровольно, сразу, бесповоротно в ряды подвергнутых проскрипции и отверженных и, не оглядываясь назад, идти искать общества себе подобных. Разумеется, так я и сделал, — и, поверьте, я не только ничего на этом не потерял, а, напротив, достиг того, что теперь могу веселым, критическим оком глядеть на все минувшее, что «честным и порядочным» людям совсем не так легко сделать.

Живя меж проклятых и отверженных «порядочным обществом» людей, человек совершенно естественно вспоминает обо всех подобных ему «проклятых», которых он когда-либо встречал. Вскоре это произошло и со мной. Со мной собственно это должно было произойти скорее, чем со всяким другим, потому что я таких «проклятых» не только знал, — нет, они были мои свояки! Весь мой род, все Сторожи, от первого до последнего, были именно такими. Во всем селе ни один «порядочный» хозяин не произносил имени «Сторожи», не присовокупив: «Вот разбойники, чтоб их до корня искрошило». Но этим дело не ограничивалось. Сторожи были притчей

во языцех и козлами отпущения всей общины, точнее говоря — общинного начальства. Случится в поле поправа — скотина овес поела или потоптала, а виновника не поймали, — ого, вина падает на Сторожей! Срубил кто-нибудь в лесу дерево, а лесничий не уследил, кто, — ну, прямо идет на Сторожевщину и хоть никого и не найдет, а все-таки выльет свою злобу в целом потоке проклятий и всяческой ругани по адресу «этих воров, разбойников Сторожей». На их слова и оправдания начальники внимания не обращали: «Весь свет знает, что вы вруны и пустомели, готовы бога продать!» Где какая расправа, где продажа с торгов, штраф или общественная повинность — на Сторожей первых валится все, как из дырявого мешка. Одним словом — такие же отверженные, как и я!

Нужно ли говорить, что в этих условиях жизнь Сторожей не была счастливой? Их было три брата (мне они приходились двоюродными). После смерти отца, а моего дяди, они разделили меж собой его небольшой участок, поженились, отбыв военную службу, и начали «толкать перед собой свою беду». С детства уже не было меж ними согласия, — нет, вру, бывали времена, когда более дружных и сердечных людей и не сыскать, — но случались и такие минуты, когда они ни за что ни про что дрались до крови, таскали друг друга за волосы, словно потеряв рассудок. Понятно, что, разделив и до того небольшой отцовский надел на три части, они бедствовали и никак не могли прокормиться. Поначалу еще все шло так-сяк, но вскоре их злосчастный характер превратил всех «порядочных», то есть хозяев побогаче, в их врагов.

Еще гуляя парубками в нашем селе, все три брата выделялись среди прочей молодежи тем, что, как люди говорили, «очень уж были охочи до драки, вспыхивали, что твоя искра!» Чуть резкое слово, чуть неправда — они уже как огонь. В особенности в корчме редко когда обходилось без драки, если только там были Сторожи. Поссорятся два хозяина — они сейчас же вступятся за более слабого, того, что победнее. Не было такого богача, которому бы они не оставили по себе памятки. Однако вскоре забрали Сторожей на военную службу и

продержали по двенадцать лет. Отец их умер, хата за-пустела, поле обрабатывал в эти годы мой отец, и одно-сельчане мало-помалу совсем забыли о Сторожах. Но вот они вернулись. Старший, Олекса, вернулся первым (два других брата должны были еще год отслужить) и сразу же стал свататься. Мой отец помог ему на первых порах, ну и женился мой Олекса на Олене Маланчуковой. Старый Маланчук был хозяин совсем небогатый, у Олексы тоже денег не было, чтобы подняться. Первый год он еще обрабатывал все отцовское поле, значит было еще туда-сюда. Но когда через год вернулись братья с военной службы — пошли несогласия, затем ссоры, а потом и драки из-за отцовского наследства. Люди по всему селу разносили страшные слухи: Сторожи, мол, заперлись в хате и рубят друг друга топорами — никого внутрь не пускают, только крик слышен да кровь прямо в окна брызжет; и еще: хотят, мол, до тех пор биться, пока не останется только один из них, а тому пусть достается все... и так далее. Из всех этих сказок верно было лишь то, что Сторожи не хотели обращаться в суд, а задумали сами поделить отцовское наслед-ство, причем, разумеется, дело дошло до драки. Однако поделить все-таки поделили, и после никто не слышал, чтоб они жаловались друг на друга из-за раздела.

А на селе вместе со слухами об их драке ожили и все давние воспоминания. «Вот, вернулись разбойники, — снова будут людям головы проламывать! Точно не могли они где-нибудь там себе шеи свернуть, в какой-нибудь пропасти», — толковала большая часть сель-ских богачей, покачивая головами и угощаясь водкой. К несчастью, слова их, и как раз насчет проламывания голов, сразу сбылись. Сторожи вскоре начали попрежнему верховодить в корчме. Но военная служба оставила на них немалый след. Они ходили теперь какие-то угрю-мые, отвечали на каждый вопрос резко, как топором рубили, а на богачей поглядывали еще более косо, чем прежде. Раньше по крайней мере хоть начальства по-баивались, а теперь — где уж там! На мирское на-чальство они как раз и точили больше всего зубы, — начальству они никогда и ни в чем не уступали. «Крово-пийцы, грабители, живодеры, — раскричался как-то

раз Олекса на войта и выборных. — Нажились на мирском добре, а теперь брыкаетесь! Ах вы подлые свинопасы, я бы вас всех...» Но выборные не дали ему окончить и, схватив его, разъяренного, потащили в общественный амбар, который обычно стоял пустой и служил «холодной».

Но такое словесное нападение — это еще было побожески. Олекса не любил тратить слов, а тут же хватал бутылку или другую какую-нибудь посудину и швырял в голову. Нашего прежнего войта он таким образом изуродовал на всю жизнь, когда узнал, что за время его правления из мирской кассы исчезло пятьсот злотых. Войт был молодой и франтоватый, любил при случае за молодницами приударить; Олексина бутылка отняла у него к тому охоту, уподобив лицо его свежевспаханному полю. Разумеется, Олекса отсидел за этот фокус целых шесть месяцев в «семинарии», но и войту «насолил» не на шутку.

Но не только сельское начальство, — даже «паны», городские чиновники, не знали милости у Олексы. Он с ними круто обходился, а когда слова не помогали, ему и руку пустить в ход недорого стоило. В особенности возные, податные и всякие другие шкуродеры, которые обычно по селам изображают из себя больших панов, бывали начеку, проезжая через наше село, а больше всего остерегались встречи со Сторожами. И справедливо — потому что Сторожи нескольких таких подпанков изрядно-таки проучили, к великой радости всех бедняков, которые должны были терпеть их чванство и ругань, и к не меньшему беспокойству войта, которому приходилось за все отвечать перед уездным старостой. Понятное дело, штрафов и арестов для «разбойников» не жалели. И даже сам пан староста, проезжая однажды через наше село, сцепился, и весьма крепко, с Олексой. Это было еще в 1872 году, летом, во время холеры. Староста приехал с уездным врачом, чтобы выяснить, сколько есть больных. Разумеется, староста стоял посреди улицы и только орал на «хамов», а пан доктор, со страхом и трепетом, проклиная все на чем свет стоит, ходил по хатам... Внутрь он и не заглядывал, а, выслушав, что ему говорили бабы и мужики, накидывался на

них, почему не делают того-то и того-то, и быстро убежал на улицу.

— Ну, что? — спрашивал его староста.

— А, никакой надежды! — был постоянный ответ пана доктора, к которому он еще обычно присоединял: «А, чтоб их громом разразило!», либо: «Проклятое мужичье! Сами виноваты, —дохнут, а водку пьют!»

Правда, пан доктор умалчивал о том, что ни одного больного он и в глаза не видал, что вообще предпочел бы не осматривать никого, а прямо ехать в соседнее село, где у помещика был приготовлен для них сытный ужин и удобный ночлег. Староста был «сознательный» и ни за что не пренебрег бы своими «обязанностями».

Но и его и пана доктора поджидала еще весьма неприятная перепалка на Сторожевщине. Бабы, которые, плача, просили доктора зайти в хату и осмотреть больного и которым доктор отвечал на это только бранью и проклятиями, шли, голося, вслед за старостиной бричкой по селу, но не осмеливались подойти близко. К ним присоединялось чем дальше, тем больше народу с угрозами и угрозами — мужики, дети и женщины. Так дошли до самой Сторожевщины. Олекса, занятый чем-то возле хаты, увидел на выгоне доктора, которого бабы напрасно просили зайти на минутку к тому или другому больному. Он видел, как доктор кричал на них и как, ругаясь, вернулся на улицу. Бабы подняли плач. Олекса вышел к ним и стал расспрашивать — что там такое?

— Да вот видите, — говорила, плача, одна женщина, — живодер поганый приехал будто осматривать больных. Я прошу, чтоб пошел посмотреть на моего мужа, а он как затрясется, как начнет наускаживать да ругаться, господи! «Марш, старуха!» да «марш, старуха!» — «Так зачем же пан приехал?» — спрашиваю его. А он и слушать не хочет, побежал дальше!

Олексе кровь в голову бросилась от такого рассказа.

— Что же он, дармоед этакий, деньги берет, а на больного и взглянуть не хочет! Погоди же! Я за тебя возьмусь.

И Олекса, как был, так сразу и пустился вдоль выгона. За ним с воем и причитаниями потянулись бабы.

Они подошли как раз, когда доктор садился в бричку, чтобы ехать дальше.

— Пан староста, — крикнул издалека Олекса, — что тут у вас за порядок такой?

Староста обернулся и приказал остановить бричку.

— Ну, что там еще?

— Это как же так, это по-каковски? — говорил Олекса, подходя ближе. — Пан доктор сюда приехали больных осматривать, а сами ни в одну хату и не заглянут, только бранятся да людей поносят.

— Врешь, босяк! — крикнул что есть силы маленький перепуганный доктор.

— Пан сам врет! — отрезал Олекса, у которого от злости надулись жилы на лбу.

— Что, что, что, что? — забормотал староста, со-скакивая с брички.

— А то, что слышите! Как же это так, — пан доктор деньги берет, а люди мрут без всякой помощи!

— Ах ты голодранец, ах ты босяк! — вскинулся староста, уязвленный в самое чувствительное место — исполнения им службы и взимания мзды. — Как ты смеешь прямо в глаза брехать? Как ты смеешь?

Злоба сжимала горло старосты, пена брызгала у него изо рта при каждом слове.

— Пан, — отвечал Олекса, — вы с людьми не шутите, мы тут и не таких панов видали! Смотрите, нынче не такое время; кто знает, — сегодня еще живешь, а завтра тебя уже нет!

— Что, ты еще грозить будешь? Эй, выборный, войт, хватайте этого разбойника, хватайте его, он меня убить хочет! — вопил староста.

Олекса больше всего не любил таких «панских» шуток. Злость кипела в нем. Он больше не мог удержаться и осыпал старосту и доктора градом отнюдь не салонных слов. Староста покричал, а потом, видя, что и бабы стали вторить Олексе, умолк, сел в бричку и, плюнув, велел ехать в другое село.

— А чтоб вас тут всех холера задавила! — ругался он.

— Тебя первого, шкуродер, кровопийца, получай! — кричал ему вслед Олекса.

С тех пор пан староста стал считать наше село разбойничьим гнездом.

Припоминая эту не совсем эстетичную, а тем менее патриархальную сцену, я обратил внимание еще на одно любопытное явление. Когда случалась какая-нибудь неприятность, нужно было где-нибудь резко поговорить, поспорить, потребовать чего-нибудь, — односельчане тыкали туда Олексу. «Ты-де ступай, тебе что? Милостью его ты не дорожишь, ну, а нам, знаешь, всяко приходится!» Олекса, горячая голова, не смотрел, что наживает себе на каждом шагу все больше врагов, — шел и жалил обидчика прямо в глаза. В такие времена наши богатеи забывали свою злобу, ласково заговаривали с Олексой, шутили с ним, довольные, что могут спрятаться за его спину. Но едва неприятность миновала — ого, снова мой Олекса и мерзавец, и разбойник, и вор, и кто его знает что еще. А бедняки хоть и видят порою, как обстоит дело, но живут-то они милостями богачей, вот и должны молчать, а то и подпевать за ними...

Вот этого-то Олексу Сторожа я и вспомнил, когда в «просвещенном» и «честном» обществе оказался в таком же положении, как он среди «порядочных и честных хозяев». «А что, — подумал я, — не поехать ли мне его проведать? Это будет любопытная встреча двух подвергнутых проскрипции и притом за схожие дела. Что-то он скажет? Как встретит меня?»

Мысль эта недолго мучила меня. Раздобыв денег на дорогу, я сел в поезд и поехал.

Разумеется, первым делом я отправился в свою хату, то есть в отцовскую, в которой жили теперь два моих брата, еще молодые хлопцы девятнадцати и пятнадцати лет, и отчим с мачехой. Отчим, мужчина в расцвете сил, считался одним из «наипорядочнейших» и «наичестнейших» хозяев. Он принял меня очень радушно и приветливо, даже, казалось, слишком уж радушно, расспрашивал о последних новостях, о войне, о Берлинском конгрессе, о выстрелах в императора Вильгельма<sup>4</sup> и с удивительным тактом обходил вопрос о моих «преступлениях» и о моем «наказании». Правда, болтая о всякой всячине, мы дошли, наконец, и до этого щекотливого

вопроса, однако отчим, казалось, не слишком интересовался этим, и, сказав несколько общих, незначащих слов, он покачал головой, и мы перешли на другие темы.

Я спросил про Олексу и сказал, что хотел бы его повидать.

— Э, что ты, такого разбойника! — бросил презрительно отчим, но тут же поправился, лицо его, как бы через силу, приняло холодное, равнодушное выражение, и он сказал: — Ну, что же, если непременно хочешь, так можно, отчего нет, — пойдешь завтра и поводишься с Олексой.

Я отлично знал характер отчима и из этого разговора понял: должно быть, что-то немаловажное встало меж ним и Олексой за эти два года. Я начал полегоньку спрашивать, что произошло, подходил с разных сторон, но, кроме обычных ссор и свар, ничего не нащупал. А матеиха сказала даже своим всегдашним льстивым тоном, что, мол, «теперь отец в такой дружбе с Олексой, что все село удивляется».

Это меня совсем сбило с толку. С тем большим нетерпением ждал я завтрашнего дня, чтобы повидать Олексу.

Но еще в тот же вечер Олекса, прослышав, что приехал Мирон из Львова, прибежал ко мне. Я уже поужинал и как раз в этот момент шел спать на гумно, когда увидел Олексу, подымающегося вдоль берега своим обычным медленным, твердым шагом. Его невысокая, чуть приземистая фигура, длинные солдатские усы, большие серые глаза и полудобродушное, полусаркастическое выражение лица, сейчас с ласковой улыбкой обращенного ко мне, — все это живо вызвало в моей памяти прежнего Олексу, молодого, веселого отпускника, который меня, малыша, носил на руках к речке, где покойник-отец с другим Сторожем ловил рыбу.

— А довелось, однако, довелось, — неторопливо говорил Олекса, подходя.

Мы поздоровались.

— Ты, что же это, брат, на нас прогневался, долгонько между панами зажился! — сказал он, и на лице его мелькнула едкая усмешка.

— Да, — отвечал я, — что поделаешь, брат, если паны меня так полюбили, что и на свет глянуть не дают!

— Ага, оно и видно! — сказал Олекса.

— Что-то мы, Сторожи, не в милости у них, — заметил я.

Олекса как-то невесело улыбнулся. Мое замечание задело его, видимо, за больное место.

— Ты что же, спать уже ложишься? — бросил он.

— Да вот собрался было, но какой там сон, не хочется.

— Ну так, может, пойдешь со мной поглядеть на Сторожевщину? А то кто его знает, скоро ли тебя снова увидим.

Я пошел не возражая.

Тропинка вела вниз огородами, через речку и выгон, а там сворачивала за село на Сторожевщину.

Долгое время мы молчали. Я видел, как лицо Олексы постепенно мрачнело, словно какие-то невеселые мысли теснились в его голове.

— Ну что же, Олекса, — первым прервал я молчание, когда мы вышли на выгон, — расскажите мне, что тут делается, как вам жилось все эти годы.

— А что нам, жилось как жилось, — неохотно ответил Олекса. — Все по-старому. Вот бы ты лучше рассказал, что там с тобой?

При этом он взглянул на меня с таким странным выражением, что я не знал, что и сказать.

— Эх, брат, брат, — грустно произнес он, — не того мы от тебя ожидали! Мы думали: авось хоть один из Сторожей добьется чего-нибудь, будет и нам помощь, а тут вот оно что, такой позор!

Олекса оборвал и отвернулся от меня.

Эти слова, так свысока вдруг сказанные, ударили меня точно молотом по голове. Кровь бросилась мне в лицо...

— Как это — позор? — едва произнес я дрожащим голосом.

— Ну, а что же, честь? — подхватил Олекса. — Сидеть в тюрьме, с ворами, и за что?

— Ну, за что, за что? — спросил я.

— А господь бог тебя знает, за что. Может, ты убил кого, или ограбил, или еще что — кто тебя знает? Вот про нас так уже почитай все говорят, что разбойники, мол, ну, да черт с ними, но о тебе мы такого не

слыхали! А тут — бух! А что-нибудь должно же быть, ведь за что-то тебя осудили!..

Как обидно, тяжело, страшно стало мне от этих слов! Глубокая, жгучая боль вошла в сердце, сжала грудь. Так, значит, я уже дошел до того, что и родня от меня отворачивается; нет — даже Олекса, этот несчастный, вечно презираемый и преследуемый, тот, который, — кто знает, — быть может, надеялся получить от меня помощь и спасение, теперь отталкивает меня! А что же тогда должен думать обо мне отчим? Теперь мне совершенно понятен стал его холодно-приторный тон. Мне стало очень горько. Весь мир показался мне чужим, холодным, неприступным. Я почувствовал себя оторванным от всего, почувствовал, что всякая здоровая связь с жизнью у меня оборвалась, что, если так будет и дальше, я сойду с ума, наложу на себя руки. Я решил рассказать Олексе все, объяснить ему, в чем моя вина.

— Ну, что же ты молчишь, не скажешь, что там с тобой было? — спросил Олекса уже немного ласковее, увидя, как глубоко затронули меня его слова.

— Молчу, потому что о чем мне говорить? Вижу, и ты поверил тем рассказам, какие обо мне плетут. Начну оправдываться — скажешь, что вру.

— Те-те-те! — отвечал Олекса. — Поверил рассказам! А кто его знает; что люди говорят, то и я тебе говорю, а откуда мне знать — выдумка это или нет? Ты расскажи всю правду, тогда буду знать. Хорошо, что мы хоть это узнали. А то вот разнесли было весть, что тебя уже нет в живых, а другие говорят — нет, его в Брно<sup>5</sup> увезли на всю жизнь! Эх, чего только мы не передумали, сколько наплакались! Боже всемогущий! А твои братья..

— Так как же, — спросил я, — как тебе рассказывали, за что же я сижу? Должны были все-таки сказать, за что.

— А я знаю? Говорили всякое, да я не мог хорошо разобраться, а тут мне твой отчим рассказывает: «А знаешь, говорит, за что нашего Мирона заперли?» — «Ну, спрашиваю, за что?» — «Э, говорит, он там спутался с какими-то, бунт какой-то хотят устроить, бога отменить! Ну, говорит, видишь, — разве не спятил чело-

век?» Я как это услышал, так и сам не знал, что сказать.

— Так, значит, отчим говорил? А не рассказал ли, из-за чего бунтовать собирались? Уж не из-за Польши ли?

— Нет, этого не говорил.

— Погодите-ка, Олекса, вы все-таки и на военной службе побывали и всякие виды видали. Скажите вы мне, если кого уличат в бунте, убийстве или других, подобных делах, то, как вы думаете, как его покарают? Присудят ли ему месяц-два или законопатят куда-нибудь лет на пять, а то и больше?

— Э, так это старая сказка! Я так и отчиму твоему сказал! Нет, — говорю, — не может того быть? Будь это правда, так они бы его не на месяц засудили, а лет на десять! А он свое: «Э, что ты, говорит, знаешь».

Мы некоторое время снова шли молча по тропинке среди полей зеленого овса. Спускалась ночь. Вдали перед нами огромной черной массой высился Дил, за которым на западе еще рдели последние отблески вечерней зари. Позади остался душистый выгон, словно зеленое, искрящееся озеро, на которое с каждой минутой все гуще и гуще ложилась вечерняя мгла. Голоса лягушек с речки широко разносились по росистой траве. Летучие мыши, будто большие черные молнии, проносились в воздухе, порою в неслышном своем полете касаясь земли. С севера повеяло прохладой. Мы пошли быстрее, чтобы ко времени попасть в село. Олексе как будто хотелось меня о чем-то спросить, но он все не решался.

— Да что, Мирон, — сказал он, наконец, — скажи ты мне по правде: может, вы там хотите бога сбросить, власти, все?

Я ожидал такого вопроса и усмехнулся.

— А ты как думаешь, хотим мы или нет? — спросил я.

— А кто вас там знает! Я так думаю, что не может того быть! Однако вот тут, в нашем городе, есть один чиновник, я с ним иногда выдаюсь, вот он мне раз за пивом и говорит: «Что ты, говорит, Олекса, знаешь! Вы думаете, что все так и есть, как попы толкуют, и верите, и подаете, и тому подобное, а паны да попы смеются над этим! Они ничему не верят, а говорят, чтоб только

морочить простых людей, чтоб те их слушались». Правда это?

— Может быть, да, а может, и нет, — ответил я, — только скажи ты мне, судили того чиновника вот так, как меня?

— Судили? Ого! вон расхаживает по городу, как ни в чем не бывало, и волосок у него с головы не упадет.

— Ну, видишь, ведь он тебе говорил против бога, и его не судили, а от меня ты как будто никогда такого не слыхал, а меня судили. Значит, за что-нибудь другое.

— Да оно так выходит, — отвечал Олекса.

— Так вот я тебе расскажу, за что нас судили. Нам сказали, что мы, — нас было несколько человек, — образовали тайное общество, чтобы распространять среди народа социализм.

— Ага, ага, — перебил меня Олекса, — что-то и наш ксендз<sup>6</sup> толковал про тот социализм. Скажи-ка ты мне, что это такое?

— Социализм, — ответил я, — это такая наука: вот если, к примеру, приходится людям обрабатывать поле по кусочкам, каждому отдельно от себя, так чтоб обрабатывали вместе, чтобы поле сбили в один общественный клин и чтобы работали на нем все вместе; что уродится, тоже целиком идет в общественный амбар, а потом общественное управление делит, каждому по тому, как работал: работал больше, больше получает, работал меньше, так и получает меньше.

Олекса слушал с удивлением.

— Ишь ты, — говорит, — значит, есть такая наука?

— Вот именно — наука.

— И наука эта запрещенная?

— Нет, не запрещенная.

— Смотри, так за что же вас судили, если не запрещенная?

— Так, понимаешь, нам сказали, что мы будто бы устроили меж собой тайное общество, а это не разрешается.

— Ну, а вы устроили такое общество?

— Да, — говорю я, — доказательств-то у них не было, и выдумали они это, основываясь только на том, что нашли у нас письма, которые мы писали друг другу.

— Но скажи ты мне, — начал Олекса после краткого молчания, — тут о вас говорят, что вы власть сбросить хотите, а ты говоришь, что будет власть общественная, чтобы вроде делить, сколько каждому полагается?

— Вот именно, — отвечал я, — как видишь, брехали те, кто о нас такое говорил. Мы хотим только, чтобы каждый работал на пользу всему обществу, а тогда общество сможет каждому обеспечить такую жизнь и такие выгоды, каких сейчас не имеет и самый богатый хозяин.

— Ну, а как же это? — спросил Олекса.

— А так: если в обществе все будут работать вместе, то сделают куда больше, чем каждый сам по себе. Ведь человек, работая как следует, всегда делает больше, чем ему нужно для жизни. Всего хлеба не съедят, хотя никто не будет и голода терпеть, а если придется продавать, то оптом, и там, где лучше платят. И тут будет выгода. Вот возьми хотя бы такой пример. Ты знаешь, теперь изобретены разные хозяйственные машины, лучшие плуги, сеялки, молотилки, косилки, соломорезки и много других; они делают всякую работу и лучше и скорее, чем человек руками. Отдельному хозяину иной раз не на что обзавестись и одной такой машиной, а все общество, хозяйничая сообща, как бы одним большим хозяйством, легко может завести такие машины; тогда на ту работу, которая теперь берет месяц времени, хватит двух недель, а это значит, что если теперь люди постоянно работают целый день, то тогда смогут работать по полдня. Еще и другую пользу может это принести. Теперь, как видишь, каждый хозяин у себя занимается одним делом: все на поле да на поле. А когда все хозяйства целого общества станут одним большим хозяйством и при машинах не нужно будет столько людей на полях, как теперь, тогда часть людей сможет взяться за разные ремесла и торговлю. Тогда хватит рук и на то, чтобы осушить болота, замостить дороги, выкорчевать чащи, ухаживать за пчелами и скотом. Дети, которые теперь пасут летом скот, смогут ходить в школу, потому что уже не родители должны будут заботиться о каждой мелочи для них, а общество. Общество же для своей

пользы захочет, чтобы они стали здоровыми и разумными людьми. Таким образом, можно будет помочь всем бедным, можно будет сделать так, чтобы не было ни бедных, ни богатых, а были бы все равны, все рабочие люди, которые за свой труд жили бы хорошо и в достатке и не терпели бы такой нужды, как теперь.

Олекса молчал. Несмотря на густой сумрак, видно было по нем, что мысли в голове у него зашевелились, что он старался понять, разобраться во всем, что услышал.

Между тем мы дошли до Олексиной хаты. Обнесенная старым, полуразвалившимся плетнем и укрытая несколькими полузасохшими яблоньками, она склонилась набок, выделяясь в сумерках старою, ободранною, соломенною крышей и покривившимися стенами, которые едва держались на подпорках.

— Вот и мои пышные палаты! — проговорил Олекса с горькой усмешкой. — Заходи, брат, посидим немножко, побеседуем.

Мы вошли. В хате была жена Олексы, Катерина, еще молодая, но от нужды уже увядшая женщина, а вокруг нее стояла целая куча малых детей. Она кормила их черешнями, а самого маленького держала у груди. С радостью встретила она меня.

— Ну, боже милый, не думали мы вас уже и увидеть, как распустили весть: «Ого, нет Сторожа Мирона!» И заплакалась же я тогда!..

Катерина и тут начала утирать рукавом глаза. Олекса во время нашей встречи стоял в стороне, добродушно улыбаясь и обводя глазами хату. Хата была очень бедная, утварь убогая, дети слабые и чахлые (они уже с неделю жили почти на одних черешнях, потому что хлеба не осталось, а картошки, единственной поддержки до нового урожая, еще не было!).

— Видишь мое хозяйство! — заговорил Олекса. — Ну, однако, присаживайся!

Я сел. Олекса придвинул себе табуретку и сел напротив. Он принялся было угощать меня, но я отказался. Катерина начала рассказывать о своей жизни и о том, как отчим издевается над моими братьями. У меня духу не хватает повторять эти страшные вещи, — они

записаны у меня глубоко в сердце, — а вам до них нет никакого дела.

Олекса в это время хотя и вмешивался иногда в рассказ жены, — видно было, думал о чем-то другом. Когда Катерина кончила, он снова обратился ко мне:

— Ну, удивительная же у вас эта наука, что ты мне говорил. Думается мне — в ней много правды.

— Какая это наука? — спросила Катерина.

Олекса начал по-своему и своими словами разъяснять ей, в чем дело. Она удивлялась, вскакивала с места и время от времени вскрикивала: «Ну, вот видишь! Порою человек сам собой думает о чем-нибудь таком, а вон и в школах об этом учат». Олекса, рассказывая ей, сам разгорячился, — его серые глаза заблестели, он не мог спокойно усидеть на месте и под конец воскликнул:

— А боже, боже, и почему это человек — темный, почему не видит ничего, что на свете делается! Ну, гляди, жинка, кабы все люди до этого дошли, разве им трудно было бы сделать так? И запретить бы им никто не смел! Ну, а все-таки скажи мне, брат, если наука та не запрещенная, так за что же на вас такое говорят?

— Тому есть разные причины, — отвечал я. — Больше всего кричат дурные люди, дармоеды, взяточники, потому что видят, что если дойдет до этого, так у них все сразу и лопнет. А во-вторых, кричат дураки, которые не знают, чего мы хотим: им наговорили, будто мы бунтовщики, хотим резать панов, попов и купцов, ну, они и кричат. А мы, как ты сам видишь, не только резать, — и выгонять никого не собираемся, даже наоборот, чем больше людей, тем лучше! Больше рук за работу возьмется, так и работа лучше пойдет. Разумеется, кто не будет работать, тот ничего не получит и может себе идти на все четыре стороны.

— Так, так, так и должно быть! — даже закричал Олекса. — Сколько раз я сам говорил это нашим панам: ни за что кровь людскую пьете! Как вас бог на свете терпит? Так, брат мой милый, этого и держись, от этого не отступайся, хотя бы стали на тебя все так кричать, как вот здесь в селе — на меня!

Я улыбнулся.

— А разве и сейчас, слава богу, не кричат? Не беспокойтесь, и теперь уже есть такие, которые, если бы могли, отправили бы меня прямым путем на виселицу! А отступиться от этого, как сами видите, не так-то легко. Раз человек узнал правду, он от нее уже не откажется, до тех пор, разумеется, пока он хочет быть честным человеком.

— Ну, а ты как думаешь, что с тобой дальше будет?

— А что будет? Думаю как-нибудь заработать столько, чтоб можно было купить земли, а тогда возьмусь за хозяйство: может, людям на что-нибудь и пригожусь.

Олекса и Катерина, видимо, не ожидали этого. Их удивили мои слова.

— Как же это, столько лет учился, и все зря?

— Почему же зря? Или вы думаете, что только тот учится не зря, кто станет попом или паном и будет людей обирать? Нет, брат, теперь высшая, лучшая наука: уметь честно жить на пользу бедным, а не во вред им. Теперь высшая наука говорит, что нужно работать, трудиться для общественного блага. Теперь наука говорит: то, что я учился столько лет, — это я как бы займы получил у всех людей, которые меня содержали, давали мне книги, одежду, пищу, потому что ведь я на все это не зарабатывал. Так вот этот долг нужно как можно добросовестнее вернуть!

Во время моей речи лицо Олексы прояснилось, краснело: он встал с места и, когда я кончил, схватился за голову и крикнул:

— Слышишь, слышишь, Катерина! Слушай, что он говорит! Все поняла? Ох, брат, милый брат! Авось-то бог даст, что от наших Сторожей будет когда-нибудь польза свету, хотя бы на маковое зерно! Дай тебе бог удержаться на этом пути, коли уже стал на него.

Он кинулся обнимать и целовать меня. Катерина, утирая рукавом слезы, тоже подошла ближе, маленькие Сторожки, щечка, обступили меня и разглядывали. В первый раз за два долгих-долгих года на глаза мои навернулись слезы чистой радости. Весь мир стал для меня светлее, новые силы вливались в меня, словно каждый из этих бедных, забитых нуждой, униженных людей часть своей жизни, своих надежд, силы свои отдавал мне!...

Ну, что же, господа, такие минуты выпадают только «подвергнутым проскрипции», так как в десять раз сильнее чувствует тот красоту жизни, кто стоял под ножом палача! Правда, жизнь «отверженного» порою грустна и тяжела — однако в наших гнусных обстоятельствах только ее и можно назвать жизнью. Душевное спокойствие, сила и ясность убеждений, чистая совесть и борьба, вечная неустанная борьба против темноты, фальши и тунеядства! И к этому еще такие минуты, из которых одна стоит целой жизни, жизни в отравленной, удушливой атмосфере бездумья! Эх, господа, ради самой борьбы, ради нескольких таких минут стоит плюнуть на все «путы», стоит быть «подвергнутым проскрипции».

[1878]

## РУСАЛКА

### *Летняя сказочка*

— Гандзя, Гандзюля! Посиди, голубка, дома, а я схожу в лес по грибы!

— Возьмите и меня с собой, мамуня! — говорит маленькая Гандзя, чуть не плача. — Мне одной страшно в хате!

— Ай-ай-ай! Такая большая девка выросла, и ей белым днем в хате страшно! Скоро замуж пора, а в хате остаться боишься! Стыдись! И как я возьму тебя в лес? Разве сможешь ты ходить по лесу?

— Ой, смогу, мамуня, смогу, не бойтесь, — говорит Гандзя, повеселев.

— Нет, нет, сиди дома! Там в лесу русалки, знаешь, такие, с зелеными косами! Они забирают маленьких девочек!

— О, я русалок не боюсь, мамуня! Мне недавно приснилась одна... мы так славно играли! А она все смеялась... правда, мамуня, ведь русалки смеются, так звонко-звонко!.. да и говорит: «Гандзя: ку-ку!» А я говорю: «Я тут!» А она говорит: «Приходи, Гандзя, в лес, там у нас такие качели, у-у! у-у!» Возьмите меня, мамунечка, возьмите, может, ее увидим! Я так бы хотела покачаться с нею!..

— Ай-ай, глупая! Что ты такое говоришь! Посиди в хате, я запру двери, никто сюда не войдет. А я скоро вернусь, не бойся!

Мать ушла. Железный ключ звякнул в дверях, поворачивая деревянный засов. Гандзя заплакала.

— Почему мама не захотела меня взять? Я бы увидела русалку! А там в лесу так хорошо, тихо, зелено, тепло!.. Ой, эта мама! Меня заперла в хате... а сама в лес пошла, одна!

Хата, где жила Гандзина мать, стояла на самой околице. С трех сторон подступал к ней издали густой, темный, вечно печальный лес, он неумолчно шумел и заводил какую-то таинственную песню. Странная песня! От иных звуков ее щемит на сердце как свежая, еле зажившая рана; иные уносят за собой мысль в темную благовонную бездну, в какие-то бескрайные, непроницаемые для глаза просторы; иные затрагивают самые глубокие и сильные струны в человеческой душе, будят жажду жизни, энергию, стремление к неутомимому труду, к светлому будущему, а еще иные навевают какую-то непонятную, глубокую тоску. Гандзя родилась под шум этой песни; с тех пор как стала различать звуки, слышала ее чаще всего, и не диво, что песня эта зачаровала всю ее нервную натуру. Во сне и наяву прислушивалась она к ней зимними вечерами, когда ревела буря и лес стонал, как тысячи раненых на поле боя; радовалась ей весной, когда теплый ветер едва-едва шевелил влажные, еще безлистые, но уже свежим соком налитые ветки; прислушивалась к ней в жаркий летний полдень, когда не чувствуешь ветра, а между тем по вершинам ходит какой-то таинственный шепот, не то вздох, не то сонный лепет задремавших на солнцепеке деревьев. Детская фантазия день и ночь блуждала по лесу, в голосах его находила отклик на свои крошечные, однако такие важные и большие для нее радости и огорчения. Вот потому и не удивительно, что эта лесная песня заворожила нежную, впечатлительную Гандзю. Во сне и наяву у нее только одно на уме — лес и его тайны. Все лучшее, самое прекрасное, что запомнила она за свою коротенькую жизнь (а ей всего пять лет), все это неразрывно связано было с лесом. Ах, как охотно, с каким восторгом слушала она сказки о лесных духах, об этих и страшных и привлекательных созданиях народной фантазии, а особенно о русалках с белым, как березовая кора, личиком и с

длинными зелеными косами! Она не могла понять, почему другие дети боятся русалок. Ведь они такие красивые, такие добрые к хорошим детям, так рады поиграть с ними в лесной зелени, покачаться на длинных, тонких березовых ветвях (ах, Гандзя так любила качаться!) и смеются так весело, поют так чудесно! Их голоса, точно серебряные колокольчики, нередко звенели в Гандзичьих снах, и она была так счастлива, слушая их издали... Но она никогда еще не видела русалок своими глазами. Как жалко, что мама не захотела сегодня взять ее с собою в лес! Сегодня она непременно увидела бы русалку, непременно! Ведь недаром ей снятся русалки, вот уже сколько ночей, поют, смеются так звонко-звонко, качаются на ветках и всё зовут ее к себе, в лес...

— Гандзя, ку-ку! Гандзя, ку-ку! — кричали они, маня ее к себе своими беленькими ручками. — Иди к нам в лес! У нас так тепло, так весело, так славно! Гляди, какие у нас косы! И у тебя такая будет! Гляди, какие у нас качели!.. И ты на таких будешь качаться! У-у! у-у!.. Иди, иди!..

Гандзя заплакала. Она оглядела хату. Как здесь убого, сыро, сумрачно! В углах тени стоят — страшно! Ей вспомнилась присказка, которою успокаивали ее, когда она, бывало, заплачет:

Лізе кусіка  
З-за сусіка!  
Зуби зазубила,  
Очі заочила,  
Руки заручила,  
Ноги заножила!  
В серці їй острій ножище,  
В плечах їй дубовий колище! \*

Она задрожала; с опаской поглядела на потолок, где торчал забитый туда черный толстый деревянный крюк, весь в диковинной резьбе. Крюк этот в ее воображении был «кусакой». Лежа в постели, она не раз подолгу вглядывалась в него, испытывая тайный страх; все жуткие истории, которые рассказывала ей бабка, она связывала

---

\* Лезет кусака Из-за сусека! Зубы наточила, Глаза на-вострила, Руки заручила, Ноги наножила! В сердце у нее острый нож, В спине у нее дубовый кол! (украинск.)

с этим крюком. И сейчас она в немой тревоге начала вглядываться в кусаку, и чем дольше смотрела на нее, тем больше казалось ей, что кусака эта жива, что это старая, гадкая, сморщенная баба с огромным мешком, куда она забирает маленьких детей. Вот она выпрямляется, топает своими деревянными ногами, лезет, лезет все ближе к Гандзе!.. Гандзя завизжала от страха и соскочила с печи на пол, оттуда забралась на лавку, к окну. Там было светлее. Она обернулась к хате — ничего; робко взглянула на кусаку: не двигается, но такая же черная, горбатая, страшная, как и была. А на дворе, ах, на дворе такое солнышко, так тепло! Из окна виден лес — ах, там, наверно, русалки качаются, поджидают ее. Нет, не в силах она сидеть в этой гадкой хате со страшной кусакой, она вылезет через окно во двор и побежит в лес, на минуточку, пока мама вернется, поиграть с русалками. А если не успеет? Если мама раньше придет, тогда прибьет ее. Нет, мама не придет раньше, ведь она, Гандзя, останется здесь, на опушке, увидит маму, когда та пойдет из лесу с грибами.

Гандзя выбралась через окно из хаты. Легкий, летний ветерок овеял ее теплом, растрепал ее короткие, белые, как лен, волосенки, вызвал краску на бледное личико; только глаза, как прежде, пылали каким-то лихорадочным огнем. Побежала через загон к плетню. Почувствовала себя такой легкой и сильной среди этого тепла, на свежем воздухе, напоенном ароматом цветущих нив. Ворота были чуть приотворены, открыть их было бы Гандзе не под силу, — куда ее маленьким, слабым ручкам справиться с такой тяжестью! Она, как мышка, пролезла в узкую щель, сквозь которую разве что коту впору было пройти, и, с радостной улыбкой на губах, дрожа все телом, выбралась на выгон, к полю. Ветер резче дунул ей в лицо. Гандзя была в одной сорочке, длинной, до щиколоток, подпоясанной красною тесемкой. В первую минуту ей стало как-то холодно. Да нет, это ей только кажется, ведь солнышко вон как греет, где ж тут холодно!..

Через поле тянется узенькая тропка в лес. Гандзя хорошо знает эту тропку, она по ней больше всего любит бегать, отсюда так хорошо виден лес! Вот он, боль-

шой, сумрачный, говорливый! У Гандзи дух захватывает от радости, что вот еще чуть-чуть пробежать, и она будет в лесу, одна!

Она бежит, но почему-то ей не удается бежать так быстро, как раньше. Рожь важно кивает колосьями, когда она на бегу проведет ручкой по стеблям. Как она любит сейчас эту рожь, эти васильки и цветочки куколя, тут и там вспыхивающие, как синие и розовые звезды, среди леса золотистых стеблей!

— Русалка! Русалка! — бежит по тропке и радостно кричит Гандзя. — Я уже иду, бегу, гляди, как быстро! Будем с тобой играть.

Все громче и явственнее звучит лесная песня. Гандзя слушает ее, упивается ею. Среди шума и гомона листьев она ясно слышит еще что-то, словно звонкий плеск рыбок в чистой хрустальной воде: это смех и радостные крики русалок. Она слышит даже, как они зовут ее к себе:

— Гандзя, ку-ку! Гандзя, ку-ку!

Да как же они близко! Вот здесь, сразу за опушкой, ну да! Милые русалочки, они, наверно, пришли сюда за мной! И не побоялись! Ведь если бы люди их поймали, то забрали бы в мешок, а как же!.. Отдали бы этой гадкой кусаке в мешок! Но нет, она не дала бы русалок в обиду, они такие добрые, такие красивые!..

— Русалка! Русалка! — кричит Гандзя что есть мочи. — Я уже здесь, я сейчас добегу, еще чуточку подожди.

Ах, вот уже и лес! Какой тихий, огромный, угрюмый. Березы греются на солнце и красуются издалека своей белой корой. Их длинные ветви, как зеленые косы, свесились до земли и колышутся от ветра. Вот здесь где-нибудь и русалки сейчас покажутся. А, верно, спрятались от Гандзи, но она их позовет, они сразу выбегут, засмеются звонко и здесь и там...

— Русалка! Русалка! Я уже здесь, здесь, здесь! Выходи, будем играть!

Ай! Вон засмеялась одна, но как далеко! Ах, вторая, третья!.. Ведь Гандзя знала, что они долго не вытерпят в своих тайниках. Ах, как чудесно звонок их смех! Как ласково зовут они Гандзю с собою! Здесь темно, а

там дальше так ярко, там столько зелени, красивой, пахучей! Там такие легкие качели! Ох, Гандзя побежит за ними, не так уж это далеко!

Вечерело.

Гандзина мать давно уже возвратилась с грибами домой и весь день ходила по селу, искала Гандзю. Девочку никто не видел. Бедная мать, чем ближе к ночи, тем с большей тревогой бегала от хаты к хате, но Гандзи и след простыл.

— Вот, видите, какое несчастье! И родилась-то она слабенькая да худенькая, а теперь уже с месяц, как начнет иной раз говорить, так словно в горячке! Наплели ей глупые бабы про каких-то русалок, а она только о них и думает, и во сне все русалки да русалки! Наказание мое! А теперь куда девалась, один господь ведает. К тому же не привыкла она далеко бегать никуда, все смотрю за ней, не пускаю...

Но Гандзи нет как нет. Вечером мать со слезами упростила соседей, чтоб пошли в лес поискать. Но прошла ночь, а Гандзи не нашли. Еще день прошел, Гандзи все нет! Как убивалась, куда только не бегала за этот день бедная мать, — и сказать нельзя! Только на третий день, рубя деревья в лесу, селяне нашли под березой маленькую девочку. Она лежала, крепко обняв ствол закоченевшими ручонками. Открытые глаза уже не блестели, только на губах застыла блаженная улыбка; видно, Гандзя только что перестала играть с русалкой.

## МИКИТИЧЕВ ДУБ

Давно это было. Не только времена эти, но и память о них померкла уже в душе. Порою только, как молния во тьме, промелькнут те давние мгновенья и навеют на сердце невыразимую печаль. Они, мерцая, сменяют друг друга, радость, страх, смех и слезы переплетаются в них, и памяти едва удастся из этих отрывочных бессвязных воспоминаний создать живую, правдивую картину.

Я вижу себя маленьким пятилетним мальчуганом среди целой гурьбы таких же, как я, крикливых, веселых деревенских ребят. Лето. На дворе жарко, солнце поливает огнем с погожего неба, но мы заняты игрой под навесом, в холодке, не чувствуем зноя. Затем все мы бежим на скотный двор, перебираемся через перелаз (некоторые даже, как мыши, протискиваются сквозь щели в заборе) в соседний, Микитичев сад. Тут много деревьев, прохладно, и зелени всякой не меньше, чем на выгоне, и побегать есть где. Как мы любили бегать и играть в этом саду! Но занятнее всего для нас и привлекательнее был там исполинский, сажень в обхвате, высокий и очень ветвистый дуб, который, словно зеленый круглый купол, издали виднелся над нашим маленьким селом. Он стоял у самой дороги, вплотную к забору, и там в углу, точно дети, спрятавшиеся за отцом, росли вокруг его огромного ствола широколистные лопухи, крапива и подорожник. Но спереди, у дорожки, земля была плотно утоптана, — здесь мы больше всего

любили прятаться от дождя, как под надежную крышу. Здесь мы чувствовали себя спокойно, потому что место это находилось как раз посредине сада, вдалеке от хат, так что никто на нас не сердился за крик или чересчур резвую беготню.

А предметов для игры и места для беготни было здесь достаточно.

— А ну, хлопцы, цепочки плести! — крикнет кто-нибудь, и сразу вся гурьба разбегается по саду рвать одуванчики: цветы мы обрываем, а из мягких трубчатых стеблей делаем длинные-предлинные цепи, присоединяя все больше и больше колец, пока они не станут обрываться от тяжести всей массы. Обвешаемся этими цепями с ног до головы, опутаемся ими все вместе и так и этак, и ну бежать дорожкой вниз по саду, только высокие головки бурьяна да широкие листы лопухов шевелятся за нами.

— Эй, пуговицы давайте! Что же, разве мы не солдаты! — кричит один, и все уже бросили разорванные цепочки и пробираются меж толстых лопухов, наклоняют их стебли и обрывают головастые колючие цветы, белесые, серебристые, которые так легко цепляются за одежду. Вот с криками несем мы в шапках целые груды головок, усаживаемся рядом наземь, под дубом, и кто-нибудь прикрепляет каждому по очереди по несколько пуговиц к рубаше и каждому напоминает: «Поворачивайся у меня как следует! Ты теперь солдат!»

Пуговицы уже прикреплены. «Смирно», — кричит командир, и все встают. «Бегом!» — командует он, а сам пускается вперед, за ним весь ряд снова с криком летит вдоль по саду, придерживая руками шапчонки на головах...

Но вот мы устали от долгой беготни.

— Пойдем посидим! — говорит кто-нибудь послабее, задыхающийся, красный от жары и усталости.

— Погодите, и я сейчас приду! — кричит Дмитрий.

— А ты куда бежишь? — несется ему вслед.

— Идите, идите, садитесь, я вам что-то принесу хорошее!

Мы уселись, отдыхаем и ждем Дмитрия. Был он сын Анны Мельниковой, которая снимала угол у Микитича

вместе со своею младшей сестрой, которую мы, дети, называли Пугалом, — такая она всегда ходила угрюмая, сварливая, растрепанная, нечесаная и невытая.

Мать Дмитра и Пугало были в селе чужими: мы не знали, откуда они к нам пришли. Они жили внаймах по соседним селам, пока у старшей сестры не родился мальчик. Тогда она ушла в Дрогобыч и нанялась в кормилицы, а Дмитро рос у кого-то на воспитании в одной из пригородных деревень почти до пяти лет. Тогда его мать оставила службу в городе и пришла к нам на село вместе со своей младшей сестрой и напросилась к Микитичу на житье за отработок. Мы, ребята, нередко слышали дома разговоры об Анне Мельниковой, — и даже к Дмитру чувствовали какое-то скрытое презрение за то, что он был байстрюк.

К тому же и самая внешность и характер Дмитра придавали ему какое-то странное своеобразие, совершенно отличавшее его от остальных деревенских детей. Маленький, приземистый, смуглый, с большими глазами навывкате, тусклыми и безжизненными, он обычно был самым тихим в нашей компании, бегал вместе с другими как бы по принуждению, наперегонках всегда оставался позади, всегда и везде держался как-то в сторонке, словно сам знал и чувствовал, что он тут не свой, что тут ему не рады. А между тем никогда не отставал от нас, — тащился всюду, куда бы мы ни бегали, хотя по всему было видно, что наши игры не очень его забавляют. Во всем его характере и в разговоре было что-то медлительное, расплывчатое, забывчивое, всегда он выглядел точно прибитый или сонный, и это еще больше отталкивало нас от него. Но вражды и ссор у нас с ним не было никогда. Он никогда ни от чего не отказывался, что делали другие, то и он, и ни у одного из нас не хватило бы ни смелости, ни злобы, чтобы задеть, обидеть его. Так он и путался меж нами, и по большей части за шумными ребячьими забавами мы вовсе забывали про Дмитра, хотя тут же, среди нас, толкся и он, посапывая и глядя на нас своими черными, словно стеклянными глазами.

Но иногда, бывало, когда все мы выбьемся из сил и сидим тихо, отдыхая где-нибудь в тени, Дмитро вдруг

словно оживал, начинал рассказывать нам сказки, да все такие мрачные и страшные, что, случалось, не один из младших слушает-слушает его, как зачарованный, и ни с того ни с сего расплчется. В такие минуты, когда все сидели вокруг тихо и с трепетом слушали рассказчика, когда заколдованные цари, несчастные дети, сказочные звери и дворцы, точно живые, проходили перед глазами детей, — Дмитро нисколько не менялся и говорил таким ровным и спокойным голосом, что нам от этого голоса становилось еще страшнее, и мы среди бела дня невольно жались друг к другу, не смея, однако, прервать рассказ Дмитра. И что любопытнее всего, Дмитро говорил таким серьезным тоном, описывал всякие чудеса так обстоятельно, останавливался на каждой мелочи так долго, как если бы сам видел и пережил все эти страшные истории. Иногда и песни пел, но песни эти, обычно какие-то короткие, однотонные обрывки, замораживали у нас кровь в жилах, мы бледнели, дрожали и не смели шевельнуться, слушая его глухой, не слишком приятный голос.

— Откуда у тебя эти песни и сказки? — спрашивали мы не раз.

— Тетка научила, — коротко отвечал Дмитро. Это он о Пугале говорил.

И сейчас мы сидим молча, ожидая Дмитра. Вот он медленно плетется по саду и несет в руке несколько веточек «песьего молока», за которым, как видно, бегал на берег, к самому ручью, где на песке были его целые заросли.

— А ты зачем это нарвал? — крикнул ему один из мальчиков. — Кинь его прочь, это нечистое зелье. Татуня сказывал, — это не годится рвать.

— Тихо! — холодно отвечал Дмитро. — Садитесь кругом, я вам что-то покажу.

Мы уселись вокруг, а Дмитро посредине.

— Вы знаете, что в этой траве внутри?

— Песье молоко, — ответили мы. — Смотри, оторвешь веточку, сразу потечет.

— Нет, это не песье молоко, — серьезно отвечает Дмитро, — это кровь.

— Чья кровь?

— А был такой король, и было у него три сына. Вот король поехал на войну, а сыны были еще маленькие и при них осталась злая мачеха. А король и говорит ей: «Запомни у меня, сынов моих доглядай, им молока давай да хлеба пшеничного с медом, а то если вернусь да их не застану — беда тебе». Как тот король поехал на войну, так и пробыл там три года, а как пришлось возвращаться назад, так он едет через мост, а на мосту его конь споткнулся и сломал себе ногу. Тут король встал и говорит: «Ой, что-то недоброе будет. Видно, нет уже моих сынов». И тут слышит, поет что-то под мостом:

Ви́дь, ви́дь, крілю,  
На червонім коню!  
Твої сини порубані,  
Під тим мостом закопані\*.

Король заглянул под мост — нет никого, только в одном месте, на песке, выросло много травы, вот такой. Король начал эту траву рвать, а из нее кровь закапала. Ну тогда король узнал, что это его сынов кровь, и заклил эту траву. «Зелье, зелье, говорит, не показывай людям, что это кровь у тебя, а показывай, что молоко». И с тех пор, если кто сорвет эту траву, так ему кажется, что это в ней молоко, а это кровь. А глядите, я вам сейчас покажу, что это кровь.

Мы дрожали и смотрели на Дмитра. Он взял тоненький сухой стебелек, согнул его в маленькое, продолговатое колечко и послюнил так, что слюна затянула пленкой всю дыру колечка; потом пустил на эту пленку соку из песьего молока, и мы вдруг увидели, как по пленке разлились разноцветные круги, которые, чем дальше, тем больше принимали красный, кровавый оттенок. У нас мороз по коже прошел, а Дмитро спокойно, своим монотонным голосом, как бы забыв обо всем окружающем, запел:

Ви́дь, ви́дь, крілю,  
На червонім коню!  
Твої сини порубані,  
Під тим мостом поховані.

---

\* Выезжай, выезжай, король, На красном коне! Твои сыны зарублены, Под этим мостом похоронены (украинск.)

— Дмитро, Дмитро,—послышался за самыми нашими спинами хрипловатый, словно замогильный голос. Мы все чуть не закричали с перепугу и мигом обернулись на голос. За плетнем стояла Пугало.

Пугало была девушка лет семнадцати, низкорослая, тоже смуглая, с плоским носом, низким лбом и такими же большими и мутными глазами, как и у Дмитра. Я никогда не видел ее веселой, разговорчивой, не слышал от нее ни шутки, ни песни, не видал ее принаряженной, как другие деревенские дивчата. Всегда угрюмая и молчаливая, она ходила, как во сне, а в последнее время стала еще мрачнее. Мы, дети, даже немного ее побаивались и, когда встречались с нею на дороге, обходили ее молча, точно вот-вот ожидали от нее какой-нибудь беды. Но причиной нашего страха было не ее обхождение: она никогда никому и слова недоброго не сказала, — а только эта ее угрюмость, молчаливость и забитость, которые ярко отражались на ее некрасивом, грубом и прыщеватом лице, в ее глазах и ленивых, словно через силу, движениях. Все это отталкивало от нее не только нас, детей, чутких ко всякой мелочи, но и старших. Никто и слова о ней не произнес без оттенка пренебрежения, хотя и дурного ничего не могли о ней сказать. Правда, никто не попытался, как она росла и как живет теперь, откуда идет эта ее забитость и запуганность, а раз подхватив прозвище «Пугало», каждый ограничивался этой презрительной кличкой, не вглядываясь, не бьется ли под этой кличкой и под этой отталкивающей внешностью, не трепещет ли и не мучается ли живое человеческое сердце, которое жаждет счастья и жизни не меньше всякого другого. Да и есть ли у наших селян досуг и умение разбираться во всем этом, а в особенности в тех случаях, когда человек, запуганный и забитый долгими годами несчастий и унижения, с малолетства презираемый, задерганный и высмеиваемый, замкнется в себе, корчится, как проколотый червяк, и опасно скрывает все, что обнаружило бы в нем живого человека? И я понял, правда, через много лет, что таким человеком была Пугало.

— Дмитро, ты здесь? — кричала она из-за плетня. — Иди сюда.

Дмитро встал, казалось, проворнее и живее, чем обычно, и пошел к перелазу, выходящему на улицу. Перебравшись через плетень, он подбежал к Пугалу. Она была одета, как всегда, в грубую домотканную грязную сорочку и малеванку, без платка на голове. Ветер развевал ее давно не чесанные черные косы, в которых кое-где торчали стебли соломы. Она взяла Дмитра за руку и, не сказав ему ни слова, повела по выгону вниз, в поле.

А мы все еще сидели под дубом, не двигаясь, и перед нами лежала кучка «песьего молока», принесенного Дмитрием. Прошло добрых несколько минут, пока мы, так сказать, протрезвились и снова принялись за свои игры.

— А кто знает, куда они пошли? — сказал один из нас.

— Давайте побежим за ними, посмотрим.

— За Пугалом? — сказал кто-то с некоторым страхом в голосе. — Разве не знаешь, что она колдунья?

— Так что ж, мы издали, — сказал другой. — Пошли на выгон!

Мы выбрались на выгон и побежали вниз, а потом свернули в поле, в ту сторону, куда пошли Пугало с Дмитрием. Но в поле мы никого не нашли и, вдоволь набегавшись по дороге, под вечер вернулись домой.

На следующий день после обеда я один чем-то забавлялся на скотном дворе, строгал полозки для санок, когда вдруг из-за плетня Микитичева сада выглянул Дмитро. Он часто дышал и еле-еле мог прошептать:

— Ивась!

— А? Это ты, Дмитро?

— Я. Знаешь что? Иди в хату и принеси мне хлеба, да побольше кусок. У мамы нынче не хватило.

Дмитро не в первый раз просил у меня хлеба. Я его больше ни о чем не спрашивал и побежал в хату. На счастье, мать как раз вышла на огород, а то, наверно, накричала бы на меня за то, что беру такой большой ломоть хлеба. Проходя мимо стола, я увидел, что мать напекла картофельных лепешек, и, не раздумывая, отломил мимоходом половинку от одной («скажу, что я съел, а что ж, разве я не могу?» — мелькнула у меня мысль) и побежал со всем этим к Дмитру.

Какой странный, невыразимый взгляд кинул он на меня, пряча за пазуху хлеб и лепешку! Мне стало почему-то и хорошо и страшно...

— Надо бежать! — шепнул он и исчез.

— Куда, Дмитро? — спросил я, но Дмитро уже не слышал моего вопроса.

За полдником, между прочих разговоров, работник Микола, вечно сердитый на все и всех, сказал, сплевывая:

— Так вот!.. Встречает меня сейчас Анна, та, что у Микитича живет. «Не видал ты, говорит, моей девки?» Тыфу на тебя, наваждение, — мне, старому, еще за ее девками следить?..

— А куда же ее девка пропала? — спросила работница Марина.

— А черт ее или, может, дух святой знает. Как где-то вчера девалась, так дома и не ночевала. Ни разыскать, ни разузнать.

— Гм! Видно... уже, — пробормотала Марина, наливая из большого горшка борщ. Я не мог понять, что означает это «уже»; больше об этом разговора не было, и я так и не дознался, что происходит с Пугалом. Как вдруг вечером, когда уже скот вернулся с пастбища, слышу — крик на выгоне, плач, перебранка. Все мы, кто только был в хате, выбежали взглянуть, что там такое. На выгоне уже собрался народ, охали, успокаивали и уговаривали кого-то.

— Что тут такое? Что такое? — спрашивали люди, сбегаясь со всех сторон.

— Да вот Анна хлопца чуть не изувечила.

— Сдурела баба, репьем хлопца избила так, что у бедняги вся спина в крови.

Я протиснулся сквозь толпу, чтобы все увидеть.

— Я его, висельника, до смерти забью, — кричала Анна, размахивая целой связкой чертополоха. — Я его в трубе ногами кверху повешу! Пусть скажет, куда эта паршивка девалась!

— Да как же он вам скажет, если не знает? — успокаивали Анну бабы.

— Ага, не знает? Негодяй сущий; не бойтесь, он хорошо знает! Нынче бегал весь день невесть где! Слышишь меня, ты, разбойник! — грозила она Дмитру.

А он, бедный, прижался к одной из женщин и стоял ни жив ни мертв; казалось, ничего не видел, не слышал, только время от времени всхлипывал.

— Брось, Анна, брось! — заговорил старик Проккоп, самый старейший в нашем селе. — Ты что, одурела или вообще последний разум потеряла? Так ребенка измордовать, а?

За спиной у Анны стоял Микитич и молча смотрел на все происходящее.

— Да вы бы, кум Микитич, не позволяли ей, — заговорили бабы.

— А что куму Микитичу до меня и до моего хлопца! — закричала Анна. — Его он, что ли?.. Права не имеет!.. Что захочу, то с ним и сделаю!

Микитич поморщился, будто перец раскусил.

— Да не больно зарюсь, — сказал он, принужденно улыбаясь, с какой-то досадой, — не больно я зарюсь на твои права! По мне, делай с ним что хочешь!

Он ушел. Наступило минутное молчание.

— Ступай в хату, ты, босяк! — крикнула Анна и схватила Дмитра за руку.

— Не пойду, ты меня убьешь! — сказал Дмитро таким твердым и ровным голосом, словно был свято убежден в этом.

— Анна, — зашумели бабы, — имей же разум! Чем виноват ребенок, за что ты его будешь бить? Фу, стыдись.

— Сама ты стыдись, богачка задрипанная! — закричала Анна. — А мне чего стыдиться. Я небось мать своему ребенку, я прибую, я и пожалею!..

И Анна взяла Дмитра за руку и повела домой. Он не плакал, не кричал, не упирался, только раз обернулся и обвел всех взглядом, но таким, что мне стало от этого взгляда страшно, страшнее, чем от его сказки.

— За что она к хлопцу привязалась, чего от него хочет? — спрашивали некоторые.

— Да вот девка куда-то пропала, а он будто бы знает где она.

— Вишь ты, а девка-то чего сбежала?

— Ну, дура! Ведь знаете, уже срок ее подошел. Наверно, боится сестры, да и того совестливого — Микитича.

— Вот, толкуете: дура! — сказал один из мужчин. — Был у нее свой разум в голове, да затолкали, задержали. Господи, чего только эта дивчина не натерпелась на своем веку! Как тут не одуреть и самому умному! Да начни я вам рассказывать, — и до утра всего не пересказал бы.

— Ну, ну ты, рассказчик мой, снова заговоришься, — затрещала его жена. — Ступай-ка ты домой! Не видишь, тучи какие надвигаются, дождь будет!

Все невольню оглянулись на запад. Над Дилом нависла страшная синяя туча, в которой что-то клоко-тало, как в котле, и ежеминутно вспыхивало. От Дила потянуло ветром, да таким холодным, словно дул он с ледяного поля.

— О, что-то недоброе собирается! Не дай господи граду.

— То-то бы трудов загубило, Христе боже!

— Но и вправду, где эта девка пропала? — заговорил кто-то. — Не спятила ли да не потащилась ли куда-нибудь в лес рожать? Ведь в такую пору она оконеченеет ночью. Пойти бы поискать.

Люди, стоя на выгоне, переговаривались и не расходились. Вдруг из Микитичевой хаты послышался страшный вопль Дмитра, пронзивший всех до мозга костей.

— Господи, и вправду взбесилась баба, замучает хлопца!

— Да, что вы тут стоите, как бараны? Почему не идете в хату и не оттащите бешеную бабу от ребенка? — грозно заговорил старый Прокоп. — Коли завела хлопца, так пусть же его и растит! Не смеет теперь мучать да тиранить его.

— Э, она не прочь избавиться от обузы! — сказал кто-то.

Люди, разговаривая, двинулись на Микитичев двор, но не успели еще войти в ворота, как навстречу выбежала растрепанная и задыхающаяся Анна и крикнула тревожно:

— Люди добрые, будьте милостивы, бегите в лес, ищите. Она где-то над Глубокой балкой, в ельнике! Еле признался мальчишка поганый. Бегите, людоньки, бегите, видите, какая туча надвигается, еще где-нибудь

гам горемычную смерть настигнет, а потом скажут на меня, что я выгнала ее из хаты!..

Бабы обступили Анну и стали с ней о чем-то шептаться, а мужики сразу кинулись в лес разыскивать Пугало. Меня мать увела домой.

Не прошло и минуты после захода солнца, а на землю уже легла такая темень, что я, выглядывая в окно, видел ровно столько, как если бы стекло со двора обмазали смолой. Только ветер завывал между домов да вырывал клочья соломы из крыш. Время от времени в окно ударяли крупные капли дождя. Молнии кровавыми вспышками вспарывали тьму, а удары грома сотрясали хату, воздух и землю.

— Ой, господи, что за страшная буря, — сказала мать, входя со двора в хату. — Быть беде. Я слышала ясно, как под Микитичевым дубом что-то стонет, да так жалостно да страшно, что у меня волосы дыбом встали.

В эту минуту молния вспыхнула в небе, загрохотал гром, и в хату со всех ног вбежала работница.

— Матерь божия, — крикнула она, еле переводя дух, — там, видно, кто-то страшный грех замаливает под Микитичевым дубом, до того тяжко стонет! Господи, я как услышала, сердце у меня застыло, а там всё: «Ой, доленька моя! Ой, дитятко мое! Ой, жизнь моя беспросветная!..» Так, как вот по покойнику голоса.

Все мы, сколько нас было в хате, выбежали во двор, несмотря на ветер, гром и молнию... Мы подошли к самой ограде Микитичева сада, но, кроме шума бури, которая сотрясала могучие ветви дуба, ничего не было слышно. Мы вернулись обратно в хату.

Через изрядное время пришли отец с работником: они бегали оба в лес, лазили по ельнику и бурелому, но не могли найти и следа Пугала. В каком-то унынии и страхе легли мы спать. О Пугале разговаривали только шепотом. Меж тем дождь лил как из ведра, хлестал землю, и редкие молнии, словно огненные змеи, прорезывали тьму и ворчливо откликались далекими раскатами грома.

На следующий день солнце весело взошло на ясном небе. Буря миновала, не наделав большой беды, все вскрыт, освеженное после долгого зноя, зеленело, вы-

прямялось, сверкало благодатными каплями дождя, как будто смело и радостно спешило к новой жизни.

С утра было еще холодно, но едва солнце обогрело немного воздух и высушило росу, мы, дети, собрались для игры. На нашем дворе сошлась целая стайка детей, хлопцы и дивчата со всех хат. Только Дмитра не было.

— Ну, Дмитру досталось вчера от матери. Верно, нынче ходить не может, — сказала одна девчушка.

— А вы слышали, как вчера что-то под дубом плакало? — спросил я.

— Нет, не слышали. А разве плакало?

— Да вот мама слышала, — ответил я, — да и Марина. Когда только еще начало греметь. Наши еще тогда из лесу не вернулись.

— А ну, пойдем посмотрим, что там такое?

— Нет, не надо ходить, — сказала девочка робко. — Татуня говорили, что если где кто плачет ночью, так там нечистое место. Кто на него станет, у того нога отсохнет.

Но как мы ни боялись этих сказок, котсырми нас пугали с малолетства, все-таки любопытство превозмогло. К тому же, это было среди бела дня, отец тут же во дворе коллал дрова, да и под дубом было так хорошо, совсем не страшно. Мы набрались храбрости и пошли к лубу.

— Да чего вы боитесь? Идите, тут ничего нет, идите, — кричал один мальчуган, забегая вперед. Но вдруг он поскользнулся, чуть не упал, взглянул под ноги и замер, как окаменелый.

Мы не сразу заметили перемену на его лице, только, когда мы уже оказались рядом, глаза наши невольно обратились к тому месту, где поскользнулся Михайло. И все мы минуту стояли, словно застыв с перепугу. На том самом месте, где третьего дня Дмитро показывал нам кровь сынов королевских, замороженную в песьем молоке, теперь стояла целая лужа настоящей человеческой крови.

— Ой, кровь, кровь, татуню! — завопили мы вдруг, кинувшись сразу из сада.

— Что там, что там такое? Дух святой с вами! Что такое? — закричал отец, подбегая к перелазу.

— Кровь, кровь, целая лужа! — кричали мы в ужасе.

— Где кровь, где? — спрашивал отец, перелезая в сад.

— А вон там, под дубом!

Отец пошел осмотреть указанное место и пробормотал:

— Ну, видно, какое-нибудь несчастье!

Затем, обращаясь к нам:

— Дети, бегите, позовите-ка сюда Микитича, Прокопа, да и своих отцов, кто дома.

Дети разбежались.

— Вот опять беда собирается! Еще, не дай бог, комиссия приедет, протоколы!.. А все из-за этого совестливого!

Народ собрался, расспрашивая, что случилось? Отец показал им лужу крови.

— Ну так что же, — отозвался кое-кто, — верно, хореком ночью курку зарезал, а вы сразу людей скликаете!

— Да? — закричал старый Прокоп. — Ой, видно, что тут курку зарезали, да какую? Гляньте сюда!

Прокоп стоял в стороне, и все обернулись к нему. Он своим окованным железом костылем начал ковырять землю, отвалил один кусок дерна, второй, вывернул немного глины, люди поглядели и ахнули. Кое-кто начал креститься.

— Господи, помилуй грешную душеньку! Ах, ты! Ах, ты! — шумели люди.

Из-под глины виднелось посинелое, опухшее личико ребенка. Микитич, посмотрев на него, стиснул зубы и страшно-страшно побледнел.

— А где эта... Пугало? — крикнул кто-то. — Найти бы ее! Где она?

В это время немного поодаль на тропинке закричал мальчуган.

— Что там еще? — заговорили в толпе.

— След, дяденька, след на тропинке!

— Бегите по следу! — сказал Прокоп. — Авось ее найдете, если бедняжка еще жива, переночевав вчерашнюю ночь на дворе.

Побежали по кровавому следу вниз Микитичевым садом. Дальше, дальше, вниз, на берег, — как вдруг пропал след. Все остановились.

— Ну, а теперь куда? — спросил один.

— Тшш... слышишь? — шепнул другой.

Все замерли. Тихо-тихо, словно откуда-то из-под земли, слышался тяжкий, болезненный стон.

— Господи, это, верно, она! Вон тут, в балке! Идем, может еще спасем живую душу!..

Никогда не забуду страшного, болью, ужасом и мучкой искаженного лица Пугало, когда ее вывели из балки. Волосы ее были замараны грязью, на руках следы крови, одежда вся мокрая и измазанная.

— Спасите меня! Спасите меня! — молила она тех, кто ее вел.

— Иди, глупая, ведь никто тебе никакого вреда не делает. Иди домой.

— Нет, я не пойду домой! Он меня убьет! Господи, он меня убьет!

— Кто убьет? Кто это «он»?

— Я-то знаю кто. Нет, не пойду! Лучше в могилу.

— А зачем ты ребенка задушила?

Пугало молчала. Подвели ее к собравшимся, но она от страха и боли не могла стоять на ногах, упала на землю. У людей не хватило духу выпрашивать ее. Послали в город за властями, а Пугало завели в хату все же таки к Микитичу. Скоро приехала комиссия: судья и стражник. Пугало заковали в цепи, взяли труп ребенка и уехали.

Долго еще потом толковали о ней наши люди. На суде она призналась, что задушила ребенка, но кто был отцом ребенка и почему она его задушила — этого ни за что не хотела сказать. Сбиралась после и сама броситься в воду, но так страшно стало воды — не бросилась. Ее судили в Самборе. Микитич, Анна, мой отец и еще несколько человек были свидетелями. Дали ей пять лет; но те, кто видел ее на суде, говорили, что жизнь в ней еле теплилась, — видно, долго не протянет. А маленький Дмитро никогда уже больше не выходил с нами играть. С тех пор как паны забрали его тетку, которая одна, быть может, любила его по-настоящему, он стал еще более угрюм, ленив и нелюдим. Он редко выходил из дому, и я редко видел его. Иногда только, когда бывала хорошая погода, я, заглядывая через плетень в Микитичев сад, видел Дмитра под дубом. Он слюнил стебелек, пускал

на зеркальную пленку каплю песьего молока и, вглядываясь в разноцветные переливы едкого сока, пел мертвенным голосом:

Виїдь, виїдь, крілю,  
На червонім коню!  
Твої сини порубані,  
Під сим мостом поховані.

Осенью меня отдали в школу, а когда я приехал домой на рождество, я уже не застал Дмитра. Он умер на самый Покров. Сразу же после его похорон Микитич прогнал его мать от себя, и она исчезла из села неизвестно куда, как неизвестно откуда пришла.

Житейские тревоги и впечатления скоро стерли из моей памяти эти два странных, грустных лица, угрюмые и неприветливые фигуры двух молодых существ, обиженных и как бы проклятых судьбой. Но через много лет, когда и меня самого судьба бросила в эту бездну, на дно общества, и заставила переживать минуты, в которые человек невольно спрашивает себя: «Зачем я живу? Стоит ли жить, чтобы терпеть муки?» — вот тогда всплыли в моей памяти их страдальческие, давно забытые лица. Вот они, эти парии человеческого общества, эти без вины виноватые! И они живут, мучаются всю жизнь, без светлых воспоминаний и без светлых надежд, как те путники, что вышли в дорогу в туманный, дождливый день и идут в этом тумане весь путь. Они проходят мимо зеленых лугов, цветущих левад, плодоносных садов и многолюдных сел, проходят мимо тысячи красот и радостей и не видят ничего, — только серый туман, серые стволы деревьев да серые, неприветливые лица. И если можно говорить в отношении их о каком-то счастье, то разве лишь о том, что они не знали ничего лучшего и им не о чем тосковать. И, вспомнив эту их жизнь, я почувствовал в сердце укор, что посмел сравнивать их судьбу со своею, и горький укор этот был, как порошок хины для больного лихорадкой: горек, но спасает от припадка.

## ПАНТАЛАХА

### I

— Но, Панталяха, — сказал не то по-польски, не то по-чешски, не то жалобным, не то насмешливым голосом начальник тюрьмы, — ведь я тебе говорил, чтоб ты не пробовал утекать. Видишь, что из того вышло! Получил пятьдесят палок перед целым криминалом\*, получишь еще кайданки\*\* и цели месяц карцера, и всё. А того паныха, что ты помогала збежать, мы еще зловим, не бойся! И он того же самого попробует, что и ты!

— Э-э, вот уж этого наверно не будет! — спокойно и твердо произнес Панталаха.

— Не будет! — взвизгнул начальник тюрьмы, подсакивая к нему. — Как ты смель такое болтать? Откуда ты зналь, что не будет? А я тебе говорю, что будет! Погодика! Я тебя еще из карцера прикажу в железах привести на гоф\*\*\*, чтобы поглядеть, как зольдаты его пальками будут люпить. Не бойся! Мы не посмотрим, что он политический, что он пан великий и поляк великий! Мы еще ему покажем, что у нас есть конституция и равноправность — что получил Панталяха, то получит и Замеховский. Как бог над нами, получит!

---

\* Тюрьма (чешск.)

\*\* Кайданлы (польск.)

\*\*\* Двор (немецк.)

Панталаха ничего не ответил, — он спокойно стоял у порога тюремной канцелярии, опустив лицо долу, и незаметная ироническая улыбка играла у него на губах.

Это был мужчина среднего роста, коренастый, крепко сбитый и мускулистый, в обычной арестантской одежде, то есть в куртке из грубого серого сукна, в таких же штанах и с такою же шапкой в руке. На ногах у него были огромные безобразные арестантские деревянные. Лицо бритое, зеленовато-желтое, «от тюремных стен», волосы коротко обстрижены. Это был типичный «вор-уголовник». Только в небольших черных глазах сверкали искорки неистощимой энергии, упорства и неутомимой, напряженной, хотя и устремленной к низким, преступным целям, мысли, а в уголках тонких, красиво очерченных губ играла полуироническая, полунасмешливая, юмористическая улыбка, которую не могла прогнать даже боль от пятидесяти палок, полученных за минуту до этого в тюремном дворе.

Пан начальник на минутку прекратил свою проповедь и внимательно, зорко оглядел стоявшего перед ним вора. Они были старые знакомцы. Панталаха с короткими перерывами отсиживал уже, как он сам выражался, «третью капитуляцию» по восемь лет за кражи, совершаемые всякий раз со сказочной ловкостью, но почти всегда с детским легкомыслием и полным пренебрежением к возможным уликам, так что после очередной кражи полицейские шли прямо, как к себе в дом, к Панталахе, а он обычно и не думал отпираться, а только хвастался выкинутой «штукой».

Про эти его «штуки» рассказывали чудеса по всему Подолью, являвшемуся ареной его деятельности. Красть ради самой добычи он считал бесчестием для своей профессии. Препятствия и трудности, которые отпугнули бы обычного злоумышленника, только подзадоривали его. Конокрадством он никогда не занимался, хотя оно и распространено на Подолье из-за близости русской границы, — никогда не уводил лошадей ни из конюшни, ни с пастбища. Зато сам хвастался, что единственный раз в жизни «опоганил руки конским падлом», когда увел из-под самого носа у одного помещика четверню из кареты

прямо среди дороги. Панталаха высмотрел добычу, когда она паслась возле корчмы, и, заметив, что к задку кареты привязан тяжелый чемодан, надрезал ремень ножом и пошел вперед, по той же дороге, куда направлялась карета. И верно, карета вскоре нагнала его: внутри пан, а на козлах кучер и лакей. Когда карета почти поровнялась с Панталахой, заднее колесо вдруг ударилось о придорожный камень, кузов кареты стремительно подскочил, ремень, державший чемодан, лопнул до конца, и чемодан упал на дорогу.

— Пан, пан! — крикнул Панталаха, когда карета миновала его, а седоки не заметили потери чемодана. — Вы что-то потеряли.

Экипаж остановился. Лакей соскочил и увидел, что упал чемодан, довольно большой и тяжелый.

— Что за черт! — крикнул кучер. — Как он мог упасть? Ведь я сам его привязал, по всем правилам.

И тоже слез, чтобы осмотреть ремни. Между тем помещик стал хмуриться, сердиться и приказал потопрапливаться.

— Живей, дурни, живей! — кричал он. — Не завязал как следует ремни, вот они и развязались.

— Нет, прошу прощенья у ясновельможного пана, — сказал кучер, приподымая шляпу, — это ремень лопнул. Я говорил ясновельможному пану, что нужен новый ремень. Лопнул, точно его кто подрезал.

— Ну, так что теперь делать? — спросил пан.

— Придется зашить. При мне все, что нужно. Ступай, Филька, тащи чемодан, а я мигом справлюсь.

— А ты, — крикнул помещик Панталахе, — поддержи лошадей! Чего стоишь, как олух! Видишь, лошадей муха облепила, не стоят спокойно.

— Рад служить ясновельможному пану! — гаркнул Панталаха и подскочил к лошадям. — Бог ты мой, да вы, бедняжки, запутались! Тпру! Стой, кось-кось-кось!

И одним махом навел порядок: отстегнул с дышла нашивники, потом, обойдя вокруг, одной рукой схватил вожжи, а другою так же проворно скинул пристяжный валеk с ваги, закинул его на круп одной из задних лошадей, вскочил на другую и крикнул:

— Ну, пан, я готов! Будьте здоровы!

И пока помещик и его слуги смекнули, в чем дело, пока выдавили из себя соответствующий крик удивления и испуга, Панталаха с четверней был уже далеко. А куда слуги добежали до корчмы и выпросили у кого-то пару ледащих клячонок догонять вора, его вместе с лошадьми и след простыл. Только проскакав добрых полмили, нашли в придорожном рву брошенную упряжь, без поводов и уздечек. И несмотря на самые тщательные розыски, ни вора, ни лошадей так и не нашли. Уже позднее, при судебном разбирательстве совсем другого дела, этот самый помещик, заседавший среди присяжных, узнал Панталаху, а тот благодушно сознался в своей «штуке».

Но больше всего «штук» выкидывал Панталаха с богатыми евреями. Во всей округе не нашлось бы ни одного зажиточного корчмаря, купца или торговца, который когда-нибудь не стал жертвой его «художеств». Выкрасть из конторы привинченную вертгеймовскую кассу<sup>7</sup>, вытащить из-под подушки у спящего владельца пачку ассигнаций — такие и тому подобные фокусы были Панталахе не в диковинку. Никакой замок не мог устоять перед его руками. У него, как у опытного и необычайно способного слесаря-самоучки, была настоящая страсть отпирать замки, подделывать ключи, мастерить отмычки и тому подобные орудия. В Скалате до сих пор рассказывают забавную историю о том, как местные евреи, по выходе Панталахи из тюрьмы, прислали к нему по совету раввина депутацию и предложили выплачивать ему ежемесячно тридцать гульденов с условием — жить спокойно и не причинять им убытков. Панталаха принял это предложение и месяца три прожил тихо. Наконец, добропорядочная жизнь ему осточертела, и однажды, перед базарным днем, он забрался ночью на рынок, поотпирал все лавки, все двери, выгреб из ящиков всю мелочь, медную и серебряную, и рассыпал по рынку. Можно себе представить, какими криками и воплями приветствовали евреи этот базарный день.

Начальник тюрьмы отлично знал все эти истории, и нельзя отрицать, что они вызывали в нем даже некоторую симпатию к этому дошлому «мастеру», кото-

рый, впрочем, пользовался необычайной популярностью среди всех обитателей тюрьмы. Кстати, начальник и не мог пожаловаться на Панталахино поведение в стенах тюрьмы: ни в камере, ни в «лабораторне»\* Панталаха никогда не поднимал шума, наоборот, он даже успокаивал других заключенных, а в любой работе, требующей смекалки, не было ему равного. Одна беда: время от времени он любил устраивать тюремным властям каверзы, а главное — время от времени нападала на него блажь, и тогда ничто не могло удержать его от непрерывно возобновляемых попыток к бегству. Сидит, сидит спокойно три, четыре года, и вдруг, точно бес какой в него вселился, — ни о чем другом не помышляет, как только о побеге. Ни уговоры, ни наставления, ни наказания, ни карцер — ничто не помогает. Однажды он убежал с полевых работ — местные помещики нанимают в страду арестантов, — и с тех пор в поле его уже не отпускали. Но вскоре он бежал вторично, незаметно замешавшись в толпу отправлявшихся на работу. Несколько раз он пытался перелезть через стену, замыкавшую с одной стороны тюремный двор; однажды спустился по глухой стене с крыши на улицу, а последний раз вместе с неким Замеховским, политическим заключенным и помещиком, бежал, переодетый полицейским, прямо через ворота. Поймали его два месяца спустя уже где-то на румынской границе, а Замеховский — как в воду канул. Из показаний Панталахи получалось, что Замеховский давным-давно за границей, не то во Франции, не то в Швейцарии. Для прокуратуры это было уже чересчур, и поэтому, кроме обычного дисциплинарного взыскания, Панталаху присудили на этот раз к пятидесяти палкам, которые только что и получил он в присутствии всех заключенных. Вспоминая все неприятности, какие причиняла ему Панталахина мания к бегству, начальник тюрьмы расстроился и чуть не плача приговаривал:

— Побуйся бога, Панталяха, цо ти мыслишь? Когда ти, наконец, прекратишь эти побеги? Юж ти одиннадцать

---

\* «Л а б а т о р н я» (искаженное — лаборатория) — тюремная мастерская.

раз убéгаль, и цо з того полю́чили? Не лючше то отсидет, цо суд присудиль, и спокойно себе выйти? Остался тебе еще польгода — прошу тебя, не деляй больше эти глюпости!

Глаза Панталахи при последних словах сверкнули, а поникший стан выпрямился.

— Пан начальник, — сказал он спокойно. — Ваше дело меня караулить, а мое дело — убегать. Ежели бы мне оставалось сидеть всего один день, а сегодня мне выпала бы оказия сбежать, то сбегу. Такая уж моя натура.

Начальник даже руками развел.

— Но слушайте, цо он мовит! — обратился он к стоявшим вокруг сторожам и надзирателям. — И такому человеку я дольжен пропофетовать мораль! Я ему свое, а он мне свое! Послушай, Панталяха, цо я тебе пòвем. У нас есть приказ от пана старшего прокурора: еще раз будешь утэкаль, а тебя заметят, мы имеет прафо тебя штрелять, как собак. Понял?

— Давно это знаю, — спокойно отозвался Панталаха.

— Но я мыслю, цо за эти польгода тебе не выпадет слючай убегать. Ступай теперь в камеру и отдохни от этих нынешних пальок, а завтра полючишь кайданки и будешь мусиль прошпацироваться до карцера.

Панталаха поклонился и вышел, крепко стиснув зубы при мысли о карцере. За ним последовал надзиратель.

## II

С минуту они шли молча по длинному темному коридору, наконец надзиратель, поровнявшись с Панталахой, сказал:

— Слушай, Панталаха, тебе очень плохо?

— Мне? С чего бы? — нехотя переспросил Панталаха.

— Как, с чего? Пустячки! Пятьдесят палок влепили, и еще спрашивает, отчего?

— Палок! — с презрением процедил Панталаха. — Эка невидаль? Бывало, и побольше получал, да и не

этих ваших императорско-королевских палок! Если бы ты, пан, знал, как достается нашему брату, ежели кто попадетя под мужицкую управу, — тогда бы ты понял, что значит «выдержать». А это что? Точно пятьдесят блох укусило.

— Эх, Панталаха, Панталаха! — с искренним сожалением произнес надзиратель. — Неужто ты бога не боишься, что вот этак губишь свою жизнь и свои силы? Дал тебе бог здоровья, дал талант в руки, да какой — что глазами ни увидишь, руками сделаешь, — а ты воровать пустился, вместо того чтобы спокойно на хлеб зарабатывать и бога славить!

Панталаха измерил надзирателя с ног до головы долгим, пытливым взглядом. Это был единственный тюремный надзиратель, в котором эта «собачья служба» не угасила до конца человеческого чувства. Строгий в исполнении своих обязанностей, вне службы он был человек, мягок и кроток, как ребенок, смотрел на арестанта как на равное себе существо, подчас испорченное, но чаще несчастное. Арестанты не любили его за то, что он не делал никаких поблажек; его нельзя было подкупить, чтобы он сквозь пальцы смотрел на их ночное пьянство и игру в карты, которыми они занимались в камерах. Когда наступало его ночное дежурство, всем приходилось укладываться спать, когда полагается; он не приносил в свином пузыре водку и не переливал ее с помощью камышинки через «глазок», не потерпел бы и игры в карты при свечке с заслоненным «глазком». Но зато, когда другие надзиратели и сторожа, чтобы замаскировать свои незаконные поблажки, щедро оплачиваемые заключенными, на глазах у начальства относились к арестантам, как к собакам, били их по лицу и не называли их иначе, как «ты, пес, воруяга!», — то надзиратель Спорыш обращался с ними всегда мягко и по-человечески, а когда какого-нибудь заключенного обуревала тоска по свободе, то и утешал его, и письма домой писал, и приносил от родных вести, если начальник тюрьмы не разрешал свидания. «Спорыш на службе собака, а вне службы человек» — таково было общее мнение заключенных об этом надзирателе. И не удивительно, что большинство арестантов не любило Спорыша — уж очень часто у них

происходили столкновения в служебные часы, а его человеческие качества мало кому были доступны и нужны. Однако все знали, что Спорышу можно довериться, что в случае чего он горячо заступится за арестанта и перед начальником тюрьмы и перед прокурором, а всякие мелкие нарушения строгого внутреннего тюремного распорядка карает мягче всех, хотя сам в отношении заключенных этого распорядка строго придерживается. И Панталаха знал Спорыша насквозь, вот почему искренняя речь надзирателя не возмутила и не рассердила его. Он только снова уставился в землю и с оттенком какой-то грусти произнес;

— Пан Спорыш! Знаю, что вы добрый человек и говорите все это по доброте сердечной. Но, прошу вас, оставьте это в покое. Знаете, как у нас говорится: никому не известно, в каком месте у другого сапог жмет, и что с воза упало, то пропало. Не стоит больше о том толковать.

— Как хочешь! — промолвил Спорыш. — Только я полагал, что нынче, в такой тяжелый день, тебе захочется поразмыслить о себе.

— Точно я не думаю о себе каждый день и каждый час! Точно в этих проклятых стенах у меня такой рай, что целых пятьдесят палок потребовалось, чтоб я подумал о себе! Эх, пан Спорыш, кажись, вы и умный человек, а того не понимаете, что ни одна душа не бежит от калача, а от меча.

— Знаю, знаю, — сказал Спорыш, — как раз я и хотел, чтобы ты не бежал больше от этого меча.

— Ну, это уж как бог даст! — ответил Панталаха и приутих.

Миновали коридор и выбрались, наконец, во двор. Им оставалось пересечь его и войти в стоящее напротив большое и мрачное здание, где помещались камеры заключенных. Уже издали слышался приглушенный шум и говор полуторы тысячи его обитателей. Но ни надзиратель, ни Панталаха не обращали внимания на этот шум; их слух давно к нему приобык. Но, выйдя из темного коридора на светлый, залитый солнцем двор, надзиратель вдруг схватился за карман, словно что-то вспомнил.

— Слушай, Панталаха, — сказал он, — хорошо, что вспомнилось, я должен тебе кое-что сказать.

— Что такое? — спросил Панталаха и живо вскинул на него взгляд, вспыхнувший радостным огнем надежды, но тотчас погасил его усилием воли.

— Знаешь, что твой побег от начала до конца описан в газетах?

— Вот как? — протянул с притворным разочарованием Панталаха.

— Да, да. Все, кого ни возьми, о тебе читают, по всем трактирам и пивным только и слышно: Панталаха, Панталаха!

— Ну и пусть себе болтают! — бросил Панталаха и махнул рукой. — Какое мне дело? Мне за это никто и полушки не даст.

— Вот и ошибаешься! — возразил, улыбаясь, надзиратель. — Как раз вчера вечером сижу я у Нафтуль<sup>8</sup>, рядом ужинают какие-то три панка и вслух читают твою историю. Говорю, расписали тебя, как бог знает какого Картуша<sup>9</sup>. Прочитали и давай о тебе рассуждать, до чего, мол, жалко такого человека. Ну, вставил и я словечко, рассказал, что знаю тебя, как ты себя в тюрьме ведешь, и так далее. Слово за слово, дошло и до того, что завтра — значит нынче — предстоит тебе получить палки. Переглянулись они, потом один вытаскивает из кармана серебряный гульден и говорит: «Не будете ли вы так добры, пан, отдать этот гульден ему от меня в подарок». Поколебался я с минуту, потом подумал: «Что ж, видно, добрая душа этот панок, пускай так и будет». Панок тем временем завернул гульден в бумажку и вручил его мне для тебя. На, получай подарок.

Они в эту минуту подошли уже ко входу в тюремный коридор. Надзиратель вынул из кармана бумажный сверточек и, развернув его, протянул Панталахе большую серебряную монету.

— Бумажку не дам, — сказал Спорыш, улыбаясь, — давать бумагу заключенным воспрещается.

— Пусть бог здоровья пошлет этому пану за такой подарок, — сказал радостно Панталаха, с необыкновенной жадностью схватил серебряную, слегка запачканную монету и спрятал ее за пазуху. — И вам дай бог

здоровья, пан надзиратель, что вы были так добры и отдали мне этот подарок. Другой обязательно присвоил бы себе этот гульден, а о бедном арестанте и не подумал бы.

— Ну, уж это было бы нехорошо, — заметил Спорыш с оттенком гордости. — А к тому же, говоря по правде, я на этом деле тоже выгадал, — те паны поднесли мне целых две кружки пива, еще и с закуской. А обижать тебя в такой тяжелый день, нет, это уж совсем не по-людски.

— Бог вам заплатит, бог заплатит! — благодарил Панталаха, который, получив этот гульден, казалось, никак не мог овладеть собой, совсем переменялся, ожил. Как ни сочувствовал ему Спорыш, но, заметив, как изменился Панталаха из-за такого ничтожного обстоятельства, — не мог отделаться от мыслей, весьма не лестных для Панталахи.

«Сразу видать воровскую жилку! — размышлял честный служака. — Стоит только жалкому грошу в руки к нему попасть — точно черт в него вселится. Ну, уж здесь никакими убеждениями не поможешь. Горбатого только могила исправит. А жалко человека!»

Между тем Панталаха скорее бежал, чем шел по коридору, так что обогнал надзирателя шага на два и явно очень торопился в свою камеру.

— А что, может, принести тебе чего-нибудь поесть на эти деньги? — спросил Спорыш, отпирая висячий замок на двери камеры.

— Э, нет, — отказался Панталаха, — придется оставить на потом, для карцера.

— И то дело, — заметил надзиратель, впуская его в камеру и запирая за ним дверь.

— Черта съешь, пока увидишь меня в этом проклятом карцере! — буркнул Панталаха, прислушиваясь к шагам уходящего надзирателя.

### III

С минуту постоял он не шевелясь у двери, бледный, со сжатыми губами, вглядываясь куда-то вдаль с необычайно напряженным выражением на лице. И вдруг, как сумасшедший, запрыгал по камере на одной ноге,

закружился волчком, потирая ладони и передразнивая то начальника тюрьмы, то надзирателя, то самого себя. Потом, изобразив на своем лице уморительную ярость, подскочил к удивленному товарищу по камере, единственному, кто мог еще здесь поместиться, и, схватив его за плечи, с силой встряхнул и крикнул:

— Съем тебя, парень!

— Такой уж вы голодный? — с невинным видом спросил товарищ.

— Не голоден, но рад! — ответил Панталаха.

— Рады? Чему?

— Тому, что у тебя ослиные уши.

— А вы, крестный, часом, не спятили? — спросил парень. — Это был его обычный вопрос, когда он чего-нибудь не понимал.

— Вот дурень! — засмеялся Панталаха. — По себе судишь?

— Ну, а чего же вы так обрадовались?

— А тебе хочется знать?

— Хочется или не хочется, но уж если вы собрались меня съесть, так должен я знать хотя бы, за что и почему?

— Видал такого? Мало поросенку, что его режут, еще спрашивает, не пасха ли завтра.

Товарищ вытаращил на Панталаху свои большие придурковатые глаза и сидел молча, словно раздумывая над тем, к кому собственно относятся последние слова.

Этому парнишке уже исполнилось двадцать лет, но по внешнему виду ему от силы можно было дать лет пятнадцать, так он был тощ и мало развит физически, с детским лицом и с ограниченным, каким-то вечно удивленным выражением. В полном соответствии с его внешностью был развит и его ум. Это был полуидиот, не способный ни к какому труду, требующему мало-мальского напряжения и упорной душевной деятельности, но зато склонный к необузданным вспышкам дикой страсти или к совершенно бессмысленной и беспричинной жестокости. Именно такой поступок и привел его в тюрьму на целых двадцать лет: оставшись дома наедине со своим младшим братом, он топором разрубил ему

сонному голову. С тех пор прошло уже четыре года, и все это время «дурак Прокоп» просидел в этой тесной камере, не проявляя ни тоски по семье, ни желания работать, — и в то же время вечно занятый какими-то детскими забавами. Даже на прогулку его приходилось вытаскивать силой, — сам он никогда не испытывал необходимости выползти на двор из своей полутемной норы.

Камера, в которой сидел Прокоп, недаром называлась «пеклом». Считалась она самой плохой, самой тесной и самой неудобной во всем корпусе. Находилась она в подвале, в темном углу огромного здания, бок о бок с тюремной кухней, и потому в ней летом было душно, как в настоящем пекле, а зимой одна стена обычно нагревалась, а две другие — оставались мокрыми. Свет проникал в нее через маленькое оконце, обращенное к северу, а с запада его заслоняла стена служебного здания, и, таким образом, с тех пор как построили эти службы, солнечный луч уж никогда не заглядывал в эту нору. В прошлом камера служила складом кухонной посуды, но когда «штат» арестантов вырос, освободили и этот подвал, сунув сюда на постоянное жительство Прокопа, «пока этот скот не околеет». Правда, до сих пор эта надежда не оправдалась — Прокоп оставался жив-здоров, хотя как будто не подрастал и не становился умней. Помимо Прокопа, сюда обычно попадали ненадолго те из заключенных, кому оставалось несколько месяцев до истечения срока, да и то в том случае, если на его прежнее место в камере поступал какой-нибудь новичок с большим сроком заключения; о таком переселении сторожа обычно острили: «Дать перед выходом нюхнуть пекла». На этот раз сюда поместили Панталаху по той причине, что камера эта находилась в самой середине тюрьмы и крайне ограничивала возможности побега. Толстые, в два локтя, стены, толстыми, железными полосами окованная дверь, узкое окошко с двойной решеткой, выходящее во двор, со всех сторон замкнутый стенами прилегающих зданий, сводчатый потолок, за дверью коридор, вдоль которого, кроме надзирателя, всю ночь ходит военный дозор, а внутри камеры — только два топчана да железная круглая печь, опоясанная толстыми

железными обручами в том месте, где соединялись друг с другом отдельные ее части, — вот и вся обстановка, которая на самом деле мало способствовала побегу.

Панталаха, наконец, успокоился и, буркнув что-то себе под нос, уселся на свой топчан, достал хлеба и соли и принялся есть с таким аппетитом, словно выполнил невесть какую тяжелую работу или хотел насытиться на несколько дней вперед. Потом вынул из кармана серебряный гульден и принялся внимательно рассматривать его со всех сторон. В глазах его вспыхнула радость, и хотя Панталаха вовсе не был сентиментален по натуре, но он порывисто и горячо приложил монету к губам и нежно поцеловал несколько раз.

Блеск серебра привлек внимание Прокопа. Он вышел из своего угла и приблизился к Панталахе, ступая тихо-тихо, точно кошка на охоте. Глаза он вытаращил еще больше, чем обычно.

— Что это у вас, крестный? — спросил он Панталаху, оскалив большие желтые зубы. Каждого старшего он величал крестным отцом.

— Деньги, — ответил Панталаха.

— А кто их вам дал?

— Святой Николай.

— Святой Николай? Ги-ги-ги! А за что?

— Как за что? Разве ты не знаешь, что меня нынче паны били? Вот святой Николай пришел и говорит: «Ну, ну, Панталаха, не плачь, бедняга, и не бойся ничего! На, бери эту монету, она тебя выведет из этой темницы на свободу».

— Ой, ой, так и сказал?

— А ты думал, как?

Прокоп стоял, разиня рот, возле Панталахи и не спускал глаз с серебряного гульдена, который Панталаха сосредоточенно поворачивал во все стороны и с большим любопытством разглядывал.

— Знаете что, крестный? — робко произнес, наконец, Прокоп.

— А что?

— Отдайте мне эту монетку.

— А тебе, дурак, зачем?

— Такая красивая, буду играть.

— Вот дурак! Разве я тебе не сказал, что это не для забавы, а чтобы из тюрьмы на волю выбраться?

— Да-а-а? — с разочарованным видом протянул Прокоп.

— А может, и тебе хочется выйти на свободу?

— На свободу? Что это значит, на свободу?

— Ну, домой, дурак, к твоему отцу или кто там у тебя?

— Домой? — вскрикнул в ужасе Прокоп. — Нет, не хочу домой. Там меня станут бить.

— Ну, не хочешь так не хочешь, сиди себе сиднем здесь! — сказал Панталаха и принялся потихоньку долбить гульден шилом. Долбил он недолго. Не прошло и минуты, как серебряная монета под нажимом шила раскололась на две половинки, точно коробочка, а в ее выдолбленной середине показалась свитая в кружок, тоненькая, как волос, английская пилочка для разрезания железа.

— О, господи! — воскликнул Прокоп, пристально наблюдавший за манипуляциями Панталахи. — А это что такое?

— Тише! — строго проговорил Панталаха. — Разве ты не слышал, что это дар святого Николая?

— Ага! — тихонько прошептал уже совершенно убежденный Прокоп. — А что там внутри?

— Это травка такая, разрыв-травой называется. Когда-нибудь слышал о такой траве?

— Слышал. А что это за травка?

— Говорю тебе, разрыв-травка. Только приложи ее к замку, не нужно будет и ключа, любой замок откроется. И железо можно разрезать, как ножом хлеб.

— Ой, — вскрикнул удивленный Прокоп, а потом, ухмыляясь, попросил: — Ну-ка, крестный, разрежьте эту печь!

— Думаешь, не разрежу? Погоди только до ночи.

— Ги-ги-ги! Вот забавная штука! — радовался Прокоп. — Я еще никогда не видел, как печь режут.

Тем временем Панталаха вынул из оригинального тайника пилку и, отвлекши внимание Прокопа на другой предмет, мгновенно всунул ее в щелочку своего топчана.

— Добрая душа этот Замаховский, — шепнул он. — Все-таки не забыл обо мне. Дай ему бог здоровья! Хотел бы я только знать, что это были за паны, которые так ловко провели нашего простофилю Спорыша.

— Что вы, крестный, там бормочете? — спросил Прокоп, снова оборачиваясь к Панталахе.

— «Отче наш» святому Николаю читаю за его великий подарок. Слушай, Прокоп, — сказал Панталаха спустя минуту, перебрасывая в ладонях обе половинки выпотрошенного гульдена, — хочешь получить это?

— Хочу! — радостно вскрикнул Прокоп.

— А сделаешь то, что тебе скажу?

— Сделаю.

— Тогда слушай. Прежде всего ты должен обо всем, что здесь увидишь, молчать, как пень. Понятно?

— Понятно. Молчать.

— Это значит, никому ни слова не пикнуть: ни повару, ни Спорышу, никому равным счетом. Ясно?

— Ясно.

— А ночью спи, что бы здесь в камере ни делалось.

— Ладно! Буду спать.

— А если проснешься и что-нибудь услышишь или увидишь — никому ни-ни-ни! Скажи: я не знаю, я спал, я ничего не видел. Понятно?

— Понятно. Не видел.

— Запомни же. А если хоть словечко скажешь, я приду, вытащу тебя из постели и сволоку прямо к тебе домой.

— Нет, домой не хочу! — воскликнул Прокоп. — Там меня будут бить. Хочу тут сидеть и молчать.

— Хорошо, отлично! — похвалил Панталаха и погладил его по лохматой голове. — Сиди и молчи, о чем бы тебя ни спрашивали. Тверди свое: не знаю, не видел ничего, не слышал ничего. А если сделаешь так, то получишь вот это!

И перед удивленными глазами идиота засверкали серебром выдобранные половинки гульдена.

— Дайте, дайте! — чуть не плача, умолял Прокоп и протягивал руки к серебряным кружкам.

— Э-э, ты хотел бы сразу! — сказал Панталаха. — Пока еще не заслужил. Веди себя этой ночью хорошо,

спи крепко, а завтра утром, чуть проснешься, загляни под подушку, и там найдешь этот подарок. Понятно?

— Понятно. Ай-яй-яй! Завтра! Вот будет здорово! — восторгался Прокоп, хлопая в ладоши.

Между тем Панталаха встал, подошел к стене, подпрыгнул, схватился за оконные решетки и подтянулся на руках, пока не коснулся лицом железных прутьев. Он хотел посмотреть, скоро ли настанет вечер. Тень от смежной служебной постройки покрыла уже весь двор; очевидно, вечер был уже совсем близко, хотя сумерки еще не спустились. А так как это была ранняя осень, то Панталаха мигом сообразил, что сейчас, повидимому, не больше семи:

— Через час начнут запирать, — сказал он сам себе, — значит, времени у меня целый час. Пожалуй, хватит.

Потом, спрыгнув на пол, подошел к двери. Приставил сначала глаза, потом ухо к открытому «глазку» — в коридоре стояла тишина, только где-то далеко, в другом конце, слышен был голос надзирателя, беседовавшего с караульным солдатом.

— Ага, оба сидят на ящике, — проворчал Панталаха. — Это хорошо. На мое счастье, нынче ночью дежурит Спорыш, он с вечера наговорится, а потом всю ночь дремлет. Да и на поги к тому же не крепок: как бы тихо ни ступал, я все равно услышу. Ну, ну, точите лясы, — добавил он едко, — я уж знаю, о чем вы там мелете, собаки! Моими палками языки себе чешете! Но погодите вы! Только засните себе на беду, я уж вам покажу, на что способен Панталаха! Вот бы побывать здесь завтра утром да поглядеть на их морды, когда они подойдут к камере и захлопают буркалами: дурак здесь, а умного черти взяли!

Он засмеялся отрывистым, беззвучным, грудным смехом, а потом, отойдя от двери, полез под топчан и принялся шарить и ковырять в полу, в козлах топчана и в щелях стены, где потрескавшаяся штукатурка отстала от кирпича.

— Крестный, чего вы там ищете? — не переставая удивляться, спросил Прокоп.

— То, чего ты не потерял, — ответил, кусая губы, Панталаха.

— Скажите, скажите! — приставал Прокоп.

— А ты уже забыл, о чем я сказал тебе минуту назад? — промолвил Панталаха.

— Что такое? — спросил Прокоп с недоумением.

— А то, что молчать должен, если хочешь получить вот это!

— Ага! — спохватился Прокоп, хлопнув себя всей пятерней по губам. — Молчу уж, молчу!

И, не спуская глаз с Панталахи, жалкий идиот уселся, скорчившись, на своем топчане, мучимый одновременно и любопытством и желанием получить блестящие кружки.

С той самой минуты, когда его поймали и посадили в эту камеру, Панталаха уже начал помышлять о побеге и, не ограничиваясь этим, принялся собирать и прятать в своей новой камере все, что так или иначе могло пригодиться для осуществления его замысла. Зная обычаи Панталахи, арестанты понимали, чем можно угодить ему лучше всего. И если кто-нибудь из работающих «на воле» находил кусок железа, проволоки или жести и ему удавалось незаметно спрятать их у себя — он нес все Панталахе. Из всего этого Панталаха мастерил для всей тюрьмы шила, ножи и ножички, а что ему казалось подходящим, припрятывал для себя. В этом он был великий дока, и, несмотря на частые обыски в его камере, почти никогда ничего не могли в ней найти.

И не удивительно, что в течение двух недель его пребывания в камере, в известных только ему тайничках набралось уже немало кусков железа, — теперь он все это вытащил и, разложив на топчане, принялся пересматривать глазами опытного мастера, подыскивая что-нибудь подходящее для ручки на пилку. Выбрав, наконец, довольно толстый и крепкий железный брусочек, Панталаха воткнул его между железной печью и полосой, опоясывающей эту печь, напряг все силы и согнул этот брусочек пополам, придав ему форму небольшого лука. Тетивой этого лука должна была служить пилка, которую при помощи тоненьких, но крепких латунных проволочек он прикрепил к обоим концам бруска. После

доброе часа кропотливой работы пилка была готова, и Панталаха с неопишуемой гордостью и радостью оглядел свое произведение. Этот маленький, наскоро скрепленный, бесформенный предметец должен был стать для него ключом к свободе. О, только бы выкарабкаться еще на этот раз отсюда! Теперь уж он ни за что на свете не попадется! Теперь у него есть такие надежные пути и убежища, что все пойдет хорошо. Только бы на волю.

Когда с пилкой было покончено, Панталаха окинул взглядом камеру, примеряясь, куда бы ее спрятать. Что, если надзиратель вздумает, перед тем как запирать дверь на ночь, учинить в камере обыск, как это случилось нередко? Увидя на выступе под окном полбуханки хлеба, недоеденные Прокопом, Панталаха усмехнулся. И блаженный же этот дурень, что даже буханки хлеба не осилит за целый день! Панталаха взял с выступа хлеб и принялся внимательно, со всех сторон его оглядывать.

— Это мой хлеб! — осмелился пискнуть Прокоп.

— Молчи, осел! Не съем же я твой хлеб! — резко сказал Панталаха, разрезал вдоль, не касаясь корочки, мякиш, воткнул в разрез свою пилку и потом сдавил хлеб так, что издали никто бы не заметил, что хлеб разрезан таким манером.

— Видишь, что я делаю? — спросил Панталаха Прокопа, пожирившего глазами каждое его движение.

— Вижу, — шепнул тот.

— А знаешь, что тебе следует делать?

— Не знаю.

— Сколько раз тебе это повторять? — гаркнул приглушенно, но сердито Панталаха. — Молчать должен, слышал?

— Слышал! Буду молчать!

Спустя несколько минут вошел надзиратель с лампой в одной руке и со связкой ключей в другой, осмотрел кругом печь, топчаны, оглядел пол под топчанами, выступ под окном, самое окно, покосился на потолок, еще раз обшарил взглядом пол и, пожелав заключенным доброй ночи, защелкал дверными и висячими замками, запирая их на два оборота. А Панталаха после его ухода широко улыбнулся, потер руки и подскочил к выступу

у окна, желая убедиться, хватит ли ему оставшегося от вчерашнего дня масла, необходимого для смазыванья пилки, чтобы она не так громко скрежетала и визжала. Слава богу, масла осталось больше, чем нужно! Все складывалось удачно.

— А теперь, Прокоп, давай спать! — сказал спустя минуту Панталаха. — И запомни, что я тебе сказал. Ты должен спать всю ночь как убитый. Пускай хоть из пушек палят, но ты ровно ничего не должен слышать. Или, может, хочешь еще поесть?

— А разве можно есть?

— Можно.

— Но... ве... едь там, в моем хлебе, ваша разрыв-трава. А вдруг я съем ее и лопну? — пролепетал Прокоп с выражением непритворной тревоги на своем ребячем лице.

— Тьфу! — сплюнул Панталаха. — Ты ведь не железный. Это только железо ломается от этой травы. погоди, я сейчас ее выну. На, теперь можешь есть спокойно.

Пока Прокоп ел, неторопливо откусывая хлеб и пережевывая его слабыми челюстями, Панталаха, не раздеваясь, кинулся на свой топчан, чтобы поспать часа два и набраться сил для предстоящей работы. Вскоре после него, наевшись, крепко уснул и Прокоп.

#### IV

Только что пробило одиннадцать. Надзиратель Спориш, наговорившись досыта с караульным солдатом, прошелся вдоль коридора, послушал, спокойно ли спят заключенные в камерах, и, убедившись, что все в порядке, снова уселся на большом ящике в самом конце коридора и задремал.

На этом же ящике, опершись на карабин, сидел и солдат, также погруженный в глубокую задумчивость, более напоминающую сон, чем философские размышления. Пост в тюремном коридоре считался самым легким в караульной службе. Завели его недавно, несколько лет назад, по случаю бунта в тюрьме. Но теперь о бунте

в тюремных стенах не приходилось и думать, — не удивительно поэтому, что караульные начальники позволяли солдатам, утомленным стоянием на других постах, дремать в коридоре и что пост этот считался привилегированным, или, как говорили солдаты, «легким хлебом». Обязанность постового заключалась в том, чтобы пройти два-три раза по коридору, а потом никто не мешал ему устроиться на большом ящике у окна и дремать сидя, но только не ложиться и не выпускать из рук ружья.

Долго ли, коротко ли дремал надзиратель Спорыш,— этого он не мог бы сказать. Ему казалось, что это не продолжалось и пяти минут, хотя на самом деле прошло добрых два часа. И вдруг он проснулся и вскочил, громко стукнув сапогами об пол, и протер глаза. Что это было? Не то во сне, не то наяву он слышал какой-то странный шорох. Какой-то легкий, ритмичный, сиплый посвист, наподобие журчания тоненького зубчатого колесика какой-то машины или храпа какого-то спящего, но не человеческого существа? Грр, грр, грр! Спорыш не знал, откуда и как долетел к нему этот звук, что он мог означать и как долго продолжался до его пробуждения. Внутри зашевелилась какая-то смутная тревога. Он встал, напрягая слух и наклонившись вперед — весь начеку. Ничего не слышно, ни шороха, ни движения.

— Страшен сон, да милостив бог! — прошептал Спорыш и перекрестился, а потом как можно осторожней, ступая на пальцах и стараясь не стучать своими тяжелыми сапогами, направился вдоль коридора. Он останавливался у двери каждой камеры, прикладывал ухо и слушал. Не слышно ничего, кроме тяжелого равномерного дыхания спящих арестантов. Кое-где слышен храп, но храп этот вовсе не похож на звуки, долетавшие до его слуха во сне. Он остановился посередине коридора и долго, минут десять, стоял, не шевелясь, не издавая ни звука, сдерживая дыхание, и ждал, не повторится ли таинственный шорох. Но нет, шорох не повторился, только вдруг из того самого угла, где раньше дремал он сам, послышалось громкое, с присвистом храпение. Это «отбывал свое дежурство» солдат. Прижав обеими руками к себе ружье, закинув голову назад и привалив-

шись к стене, он спал как убитый, с широко разинутым, обращенным к потолку ртом, и храпел как зарезанный.

— Вон оно что! — буркнул Спорыш, чувствуя, что с сердца скатилась тяжесть, чуть только его слуха коснулся этот храп, — так вот откуда долетал ко мне этот звук! А я, дурак, подумал уже бог знает что! Тьфу, чтоб тебя!

И Спорыш, не торопясь, громко стуча на ходу сапогами, вернулся на свое место, повернул сонного солдата на бок, чтоб не храпел ему над ухом, и, почувствовав, что его снова клонит ко сну, уселся на ящик, прислонился головой к стене и что-то шепча — не то молитву, не то ругательство по адресу того, кто так не во-время разбудил и напугал его, — через несколько минут погрузился в сон.

И снова прошел добрый час. Спорыш спал крепко, но тревожно, дергал во сне руками, ногами, шевелил усами, как разоспавшийся пес, которому не дают покоя назойливые мухи, бормотал даже что-то невнятное сквозь сон, сопел, тяжело дышал, словно что-то душило его, но все же не просыпался. Наконец, обливаясь потом, он едва-едва продрал глаза и сел.

— Грр, грр, грр! — вот что прежде всего уловил его слух.

Спорыш оглянулся на солдата, но тот все еще спал на боку — нет, солдат не храпит! Протер глаза, ущипнул себя за нос, даже слезы на глаза навернулись...

— Грр, грр, грр! — явственно и непрерывно несется из темных недр коридора. Это уже не храп спящего, нет! Это совсем другой звук, более неприятный для слуха, какой-то металлический. Что бы это могло быть? Тихонько и бесшумно он встал, — скрежет все длится и длится. Ступил шаг, другой — все то же. Раздается отчетливо, пискливо, в ускоренном темпе, только не уловишь, из какой камеры. Еще один, самый осторожный шаг — а это что? Скрежет затих. Бесшумно, как тень, крался надзиратель вдоль коридора, от камеры к камере, от двери к двери, останавливаясь почти на каждом шагу, прислушиваясь и сдерживая дыхание, — тихо и мертво, не слышно ни малейшего движения — только равномерное дыхание спящих арестантов,

Как бесплотный дух, с видом самого напряженного внимания, надзиратель прошелся из конца в конец по всему коридору — нигде ничего не слышно, всюду сон, всюду покой.

— Э, наваждение какое-то морочит меня, что ли! — пробормотал надзиратель. — Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь! Сгинь, пропади, проклятый дух!

— Грр, грр, грр! — донеслось вдруг из глубины коридора, да так назойливо и явственно, что надзиратель, обомлев, чуть тут же не свалился от испуга. Он побледнел как смерть, но, когда спустя минуту пришел в себя и направился в ту сторону, скрежет уже затих и снова глубокая тишина воцарилась в темной пасти коридора.

— Нет, здесь что-то неладно! — промолвил вполголоса надзиратель и еще раз начал свой обход от двери к двери, прислушиваясь, улавливая ухом и различая малейший шорох. Вот беда! И на этот раз хоть бы какой-нибудь подозрительный звук! Однако, не теряя надежды, Спорыш продвигался все дальше и дальше, а дойдя до конца коридора, повернул обратно, остановился возле одной из средних камер и долго стоял неподвижно, — весь начеку — не послышится ли опять этот загадочный скрежет. Нет, ничего не слышать!

О сне больше не могло быть и речи — наоборот, надзиратель горько себя укорял, что позволил при первом пробуждении околпачить себя сомнительной тишиной и, кто знает, не проворонил ли какую-нибудь ответственную минуту. Что, если где-то там опять готовится бунт? Что, если там, в какой-нибудь из камер, один из этих страшных преступников, заключенных здесь, душит, режет, истязает другого, а несчастная жертва нет-нет и захрипит под его руками? Нет, хрипела, да и перестала, а теперь уже слишком поздно!

Однако надзиратель все ждал, все прислушивался. Несколько раз Спорышу казалось, что он опять улавливает тот же скрежет. Он так и вздрагивал от какого-то смутного беспокойства, но всякий раз убеждался, что это был обман слуха, чрезмерно раздраженного долгим напряжением. В таком состоянии малейший шорох, храп арестанта, шуршанье мыши, пробегающей по коридору, случайный стук деревянного башмака, который

столкнула с топчана на пол нога спящего заключенного, — каждый из этих давно уже привычных ему шорохов и звуков тюрьмы, в стенах которой спит полторы тысячи человек, теперь казался ему каким-то оглушительным грохотом, в каждом звуке слышались ему то крадущиеся шаги страшных убийц, убегающих из тюрьмы, то приглушенные усилия выломать решетки или забаррикадировать тюремные камеры.

Были минуты, когда несчастный надзиратель почти в полной уверенности ждал, что в ближайшую секунду вся тюрьма взорвется ужасающим ревом, разразится грохотом и треском рушащихся стен, громом выстрелов, градом проклятий и ругани, и все это, весь крошечный ад ужасов, упадет на его бедную голову, на его ответственность. Но минута тянулась за минутой, а тюрьма спокойно спала в объятиях ночной тьмы, только испуганно мигали лампы среди нависшего сумрака в глубине коридора да на его противоположном конце слышалось громкое, равномерное сопение солдата: сидя на ящике, тот попрежнему крепко спал, привалаясь спиной к стене и опершись руками и подбородком о дуло ружья.

— Неужто все это мне почудилось? Неужто это был сон? — спросил сам себя надзиратель после долгого, тщетного ожидания и уже хотел было своей обычной тяжелой поступью направиться к ящику, как вдруг, точно гром среди белого дня, совсем рядом, за его спиной, в одной из центральных камер раздался действительно ужасающий, оглушительный грохот, словно на железный помост обрушился град огромных камней. Надзиратель застыл на месте, оцепенел, не мог шевельнуться. С минуту было тихо, как в могиле, потом снова раздался грохот, точно большим железным котлом ударили о дерево, и при этом звякнули кандалы.

— Свят, свят, свят! — воскликнул надзиратель и перекрестился. Но теперь это уже был не сон, не наваждение, потому что и солдат на ящике проснулся и уже стоял с ружьем на изготовку, правда, все еще не понимая, что происходит, и еще некоторое время тщетно пытаясь продрать заспанные глаза. Надзиратель стремительно повернулся, чтобы сообразить, откуда доносится

этот диковинный грохот, и в ту же минуту его точно осе-  
нило.

— Это Панталаха! — вскрикнул он и ударил себя ладонью по лбу. — Опять этот проклятый разбойник какую-то штуку придумал!

И, не выжидая больше, надзиратель кинулся к камере, где был заперт Панталаха. По дороге он захватил один из фонарей, висевших вдоль коридора и мигавших в темноте мышиными подслеповатыми глазами. Со скрежетом отомкнул дверь и ввалился в камеру. Необычайное зрелище представилось его глазам. Посреди камеры лежал перевернутый вверх дном, круглый на подобие котла, верх железной печи. Рядом на коленях стоял дурак Прокоп, держа в обеих руках по куску обруча, которым была окована печь в ее сочленениях. Нижняя половина печи зияла темной открытой пастью. Панталахи в камере не было. Надзиратель остолбенел.

— Что ты, босяк, тут делаешь? — заревел он на Прокопа.

— Я... я... я... — бормотал Прокоп, вытаращив на него свои большие, удивленные глаза и широко разинув рот, точно собирался что-то сказать. Но тут же, вспомнив строгий запрет Панталахи, коротко ответил: — Не знаю.

— Как это не знаешь? А это откуда взялось? — Надзиратель пихнул ногой разбросанные по полу куски железа.

— Не знаю, — повторил Прокоп.

— А где Панталаха?

— Не знаю, — звучал все тот же ответ.

— Врешь, босяк! — гаркнул надзиратель. — Ты должен был видеть, куда он делся.

— Нет, не видел. Я спал.

— Спал? А что ты делаешь сейчас, среди камеры?

— Я... я спать хочу, — ответил Прокоп и, лениво поднявшись, растянулся на топчане и зажмурил глаза.

Надзиратель был на грани сумасшествия. Еще немного, и он кинулся бы на Прокопа и дал бы ему стгоряча отведать силу своих кулаков и тяжесть ключей, целая связка которых была у него в руке. Но мгновенно гнев его остыл. Что с дураком толковать? И что он может

знать? Уж наверно Панталаха, готовясь к побегу, не сообщил ему, куда и как он думает выбираться. А к тому же, чего тут долго раздумывать? Разрезанные скрепы и разрушенная печь ясно указывали на единственную дорогу, по которой мог бежать Панталаха. Дверцы печи выходили в коридор и закрывались снаружи. Ясное дело, что через них выбраться на волю он не мог. Из печи он, должно быть, влез в дымоход, а оттуда вскарабкался на крышу. Разумеется, спуститься с крыши трехэтажного здания, да еще на улицу, было не просто, но такой безрассудно смелый, ловкий и находчивый на всякие выдумки преступник, как Панталаха, чего только не сделает! И надзиратель сразу понял, что ему делать. Уже выскакивая из камеры, он бросил взгляд на постель Панталахи — простыни не было. Взглянул и на Прокопову постель — простыня тоже исчезла.

— Ну и хитрая пташка! — буркнул надзиратель. — Надо торопиться, чтоб ненароком не улетела.

И надзиратель единым духом выскочил из камеры, запер ее на замок и понесся в караульную к солдатам, которая находилась тут же, при выходе из тюремного здания, в первом этаже направо. Кроме дежурного капрала все солдаты преспокойно спали на нарах.

— Патруль! Арестант бежал! — крикнул надзиратель, распахнув дверь.

На его крик солдаты вскочили и схватились за ружья.

— Куда бежал? — спокойно спросил капрал.

— Через трубу на крышу.

— А давно?

— Нет, недавно, минут с десять.

— Ну, тогда ничего, будет наш, — сказал капрал и, обращаясь к солдатам, строго скомандовал:

— Wache, habt acht!\*

Солдаты уже стояли в две шеренги под ружьем.

— Половина отправится по лестнице на крышу за паном надзирателем, а остальные со мной во двор. Если он еще не бежал с крыши или не улетел, как ворона, так уж теперь наверно не убежит. Vorwärts, marsch!\*\*

---

\* Караул, смирно! (немецк.)

\*\* Вперед, марш! (немецк.)

Надзиратель рассуждал совершенно правильно. Панталаха, распилив обруч, охватывающий печь, снял как можно осторожней верхнюю половину печи, положил ее тихонько на пол, потом влез внутрь и оттуда без особого труда вскарабкался по дымоходу до самого верху. Но тут он наткнулся на неожиданное препятствие. Труба оказалась снаружи прикрыта каменным козырьком, который стоял на четырех, торчком поставленных кирпичах. Чтобы выбраться на крышу, нужно было вынуть один из этих кирпичей. Панталаха сделал это как можно осторожней, следя за тем, чтобы кусочек штукатурки не скатился вниз. Казалось, что козырек некоторое время простоит и на трех кирпичах. Расширив отверстие, Панталаха вылез бы из трубы, но это было дело нелегкое. Ухватившись обеими руками за угол трубы, он потихоньку вытаскивал ноги. Казалось, все уже было в порядке, но тут он случайно зацепил пяткой один из трех кирпичей, подпиравших козырек. Кирпич от толчка упал, и каменный козырек с глухим грохотом провалился в дымоход. Это и был тот адский грохот, так напугавший надзирателя. Но этот грохот разбудил и Прокопа. Он вскочил, не помня себя кинулся на середину камеры и, споткнувшись о стоявший там железный верх печи, перевернул его и сам упал на него, а при этом, падая, схватился руками за Панталахин топчан, столкнул на пол сложенные на нем куски железного обруча печи, который Панталаха, распилив в трех или четырех местах, осторожно, в полном порядке сложил на топчан. Это и произвело тот шум, который указал надзирателю место, откуда шли все эти ночные звуки и грохот.

— Пропал я! — промолвил Панталаха, стоя у трубы и прислушиваясь к гулу проваливающихся кирпичей. В его голосе звучала только глухая покорность — ни сожаления, ни тревоги. Наоборот! В ближайшую минуту в его голове блеснула новая мысль. В предрассветном сумраке он заметил возле трубы щетку трубочиста на длинной проволоке, свернутой в круг.

«Это может пригодиться!» — мелькнуло молнией в его сознании, и, недолго думая, он скинул щетку

с крыши на улицу. Его неутомимое воображение уже рисовало ему, как, весь в саже, с щеткой трубочиста за плечами, он смело зашагает в предрассветной тьме, точно трубочист на работу, и таким манером безопасно доберется до первого же известного ему убежища. И уже ободренный этою мыслью, он продолжал действовать. Предательский грохот не сломил его энергии, не парализовал его волю, не изменил его намерений.

— Теперь или никогда! — крикнул он с дикой решимостью и бегом кинулся вдоль крыши к тому месту, где службы выходили брандмауером на одну из боковых глухих улочек. Это был единственный путь к свободе, хотя, по правде говоря, путь весьма отвесный и ненадежный. Однако Панталаха не колебался ни минуты. Он сбегал по легкому скату железной крыши к самому краю, чтобы взглянуть, где находится водосточная труба, идущая от желоба вниз. Разыскав трубу, он лег там же плашмя на крышу лицом вниз, измерил глазами расстояние между трубой и стеной, которая опоясывала в том месте двор и отделяла его от свободного мира. Проклятье! Труба отстояла от стены почти на две сажени! Но Панталаха знал, что чуть пониже окон второго этажа вдоль всего корпуса проходит широкий карниз. По этому карнизу, вероятно, удастся от трубы перейти на стену, а со стены уж как-нибудь выбраться на улицу. Чтобы не пришлось прыгать, Панталаха захватил из камеры две простыни, при помощи которых можно было бы удобно спуститься с высокой стены. И, не колеблясь долго, не теряя ни минуты, Панталаха перекрестился, повернулся лицом к крыше, спустил ноги в зияющую трехэтажную пропасть и, осторожно сползая, повис всем телом в воздухе. Ни одно движение не выдавало в нем и тени неуверенности, он ни разу не вздрогнул; казалось, что это лунатик, ни чуточки не сознающий страшной опасности своего положения.

Но вдруг он застыл, опершись локтями о желоб и уцепившись обеими руками, точно клещами, за узенькие рубцы оцинкованного железа в том месте кровли, где один лист соединялся с другим. Нижняя половина его тела уже свободно висела в воздухе. Что это? Или ему почудилось, или он и в самом деле услышал вот тут, под

собой, на чердаке, топот множества ног и грубые мужские голоса? Неужто погоня? Панталаха на минуту замер, но вскоре снова обрел свою уверенность. Пока разыщут лестницу, пока влезут в окошко да вскарабкаются на крышу, его и след простынет. Черта съедят, пока увидят его! Значит, как можно скорее вниз! Только бы ухватиться за трубу! Но в этот же миг ему показалось, будто страшный удар палки обрушился на его голову, отнимая у него всю силу и сознание. В ушах зашумело, перед глазами забегали темные круги. Оттуда, снизу, со двора тоже донесся до него топот множества шагов, громкие голоса, суматоха. Наконец, он услышал, как раз под собой, зловещий, радостный крик солдата:

— Вот он! Вот он! Смотрите, вон там, с крыши свесился, пробует спуститься по трубе!

— Вот он, вот он, вот он! — кричали внизу все новые и новые голоса.

— Стой там, не шевелись! — громким голосом приказал капрал Панталахе.

— Думаешь, — закричал ему в ответ Панталаха, — что мне здесь так же легко держаться, как тебе на земле, дурень ты этакий!

Значит, все пропало! Теперь уже нечего и думать о бегстве, раз внизу спохватились и увидели его. И только сейчас задрожал Панталаха, но не из страха перед тем, какая кара грозит ему за попытку к бегству, нет, его только терзала мысль о бесплодно растраченных усилиях, о прекрасном начале побега и о таком плачевном конце. Какая-то глухая ярость закипала в груди; только сейчас он почувствовал усталость во всех суставах, почувствовал, что руки его трясутся, что вот-вот выскользнет из его пальцев та слабая опора, за которую они держатся, и его висящее в воздухе тело грянется на вымощенный камнями двор. Казалось, кто-то клещами сдавил его сердце, но и на этот раз Панталаха не потерял сознания. Напрягая последние силы, опираясь локтями о желоб, он начал медленно подтягивать свесившееся с крыши тело, пока не оперся коленями о желоб. Теперь опасность миновала, упасть уже не так легко. И как раз в эту минуту неподалеку распахнулось окошко тюремного чердака, из него заблестели огни фонарей, в их

свете замерцали дула карабинов и высунулась усатая голова надзирателя Спорыша. Он увидел Панталаху в то мгновение, когда тот скорчился у самого краешка крыши. Панталахе почудилось даже, что он слышит слова благодарственной молитвы, с которой эта «гончая собака» обратилась к господу-богу за то, что удалось все-таки выследить и догнать арестанта.

— Собака, собака! — шептал про себя Панталаха, и слепая, клокочущая ярость все жарче прилиwała к его сердцу.

— Панталаха! — крикнул почти умоляющим голосом надзиратель, выбравшись, наконец, на крышу и протянув руки к Панталахе. — Побойся бога, что ты делаешь? Неужто не можешь досидеть спокойно до срока?

— Значит, не могу, раз убегаю! — огрызнулся Панталаха.

— И чего ты хочешь добиться этими вечными побегами? Одиннадцать раз ты уже пытал счастья на этой дорожке, и все оно тебе не дается. Пора бы и за ум взяться.

— Слушай, пан надзиратель, — сказал Панталаха, поднявшись уже на колени, но все еще на самом краю крыши. — Видел ты когда-нибудь, как ребята поймают в силок овсянку, принесут в хату и выпустят? Что она делает? Летит, что есть мочи, к окну и — трах грудью о стекло. Чем она виновата, что стекло крепче, чем ее грудь? Упадет полумертвая, отлежится, отдохнет, а чуть придет немного в себя, тут же сорвется, облетит кругом комнату и снова — трах в стекло. И так раз за разом, пока либо сама не погибнет, либо стекло не прошибет. Знаешь что, пан надзиратель! Иди скажи эти свои премудрые слова овсянке: пора бы за ум взяться!

— Да смилуйся ты надо мной, парень! — воскликнул почти до слез растроганный надзиратель. — Да разве я это все для себя? Неужто мне не хочется, чтобы каждому хорошо на свете жилось? Но что поделаешь? Служба — не свой брат. Взятся за гуж, не говори, что не дюж.

— Скажи лучше: раз нанялся собакой, так уж буду собакой с ног до головы. Иди, иди, знаю я тебя! Я думал,

хоть ты и на собачьей службе, а все же не перестал быть человеком. Но теперь вижу, что на тебе не только собачья ливрея, в тебе и сердце собачье!

А за это время следом за надзирателем из окошка вылезли еще пять солдат с ружьями. Оставшись без начальника, если не считать надзирателя, они молча стояли на гладкой покато́й крыше, боясь поскользнуться в своих тяжелых сапогах.

— Ну, Панталаха, — сказал надзиратель, не обращая внимания на его слова, — чего там спорить, пойдём-ка сюда!

— По мне, идите хоть к черту все разом! — сердито крикнул Панталаха. — Мне и тут хорошо.

— Что? Уж не думаешь ли ты, что тебе удастся бежать?

— О чем я думаю, мое дело, но сказано, — отсюда не двинусь. Мне и тут хорошо.

— Да ты одурел, парень, или что с тобой? — крикнул надзиратель, выведенный из терпения этим бессмысленным и бесцельным упорством. — Что ж ты собираешься здесь на крыше делать?

— Уж я знаю, что мне делать, — ответил Панталаха.

— Ну, ну, без глупостей! — внушительно, спокойно и властно произнес надзиратель. — Ступай сюда, пойдём в камеру! Я уж заступлюсь за тебя перед начальником, чтоб тебя не слишком строго наказали.

Этот аргумент, который, казалось, должен был заставить Панталаху подчиниться, сойти с опасного места на краю крыши, оказал совсем противоположное действие. Напоминание о том, что ждет его за проступок, совершенный этой ночью, — независимо от того, мало или велико будет наказание, — вместе с мыслью о своей постыдной неудаче, оказалось для Панталахи чем-то вроде шпор для пугливого коня.

— Черта съешь, старый пес! — крикнул он, впадая в бешенство. — Черта съешь, пока увидишь меня в своей проклятой камере.

— Да что ты, Панталаха, бойся бога, что ты плетешь! Опомнись, успокойся! Иди к нам!

— Нет, иди ты ко мне! — кричал Панталаха, поднявшись на ноги и выпрямляясь, так что расставленные

внизу солдаты даже зажмурились от страха, ожидая, что этот сумасшедший вот-вот потеряет равновесие и слетит вверх тормашками на землю. — Хочешь меня взять, так иди сюда! Вот, возьми меня! Попробуй!

И Панталаха, не двигаясь с места, протянул руки надзирателю.

— Ну и что ж, — простодушно ответил надзиратель, — если ты так уж этого хочешь, ладно, пойду к тебе. Думаешь, испугаюсь?

И надзиратель совершенно спокойно и решительно сделал два-три шага по крыше, направляясь к Панталахе. Но тут солдаты остановили его.

— Нет, пан, — возразил один из них. — Разве не видите, что это чистое безумие? Хотите, чтоб стряслась беда? Предоставьте только его нам, мы сейчас его, как собаку, петлей поймаем.

— Ага, испугался, старый пес! — кричал Панталаха надзирателю, видя, что тот приостановился. Он не расслышал слов солдата, произнесенных шепотом.

— Панталаха, — повторил надзиратель, — еще раз прошу тебя, богом святым заклинаю, не делай глупостей! Иди!

— Пойду, когда вы меня отсюда уведете или унесете, — с диким упорством твердил Панталаха.

— Что там за торговля идет? — закричал снизу капрал. — Почему не берете его?

— А что, ежели добровольно не сдается! — крикнул в ответ один из солдат.

— Сейчас мы захватим его, — добавил другой.

— Черта лысого, а не меня! — отозвался Панталаха.

Тем временем один из солдат, проворный, как белка, гуцул, спустился по лестнице на чердак и принес оттуда длинную и крепкую веревку, на которой сушилось после стирки арестантское тряпье. Солдаты сделали петлю вроде тех, с помощью которых ловят лошадей на полонинах, и после короткого совещания стали расходиться по крыше, издав далеко полукругом обступая Панталаху. Они главным образом стремились рассеять внимание Панталахи, чтобы он не знал, с какой стороны закинут на него роковую петлю. А веревку передали самому

сильному и ловкому солдату, и он двинулся по крыше, держа ее наготове, но так скрытно, что даже соколиные глаза Панталахи не могли разглядеть в сумраке никакого подвоха. Панталаха знал только то, что ему что-то грозит и что этим маневром солдаты хотят обойти его со всех сторон и сразу схватить. Хоть он и чувствовал себя неуязвимым на своей опасной позиции, однако все же эти маневры еще больше взбесили его.

— Ну, что, старый пес! — закричал он надзирателю. — Сам не идешь ко мне, так задумал взять меня хитростью? Богом клянусь, все это зря. Лучше оставьте меня в покое и убирайтесь отсюда, если не охота попасть вместе со мною в беду.

— Ну, Панталаха, — продолжал уговаривать его надзиратель, — ведь ты же умный человек, не ребенок, знаешь, что это невозможно, что нельзя нам вернуться без тебя. Лучше сдайся добровольно.

— А если мне не хочется! Вот уйдите все прочь и тем внизу велите убраться, тогда я, может, еще и надуваю вернуться, а нет — так нет!

— Да ты спятил, Панталаха! — воскликнул надзиратель, не на шутку возмущенный наглостью арестанта, который сам же виноват и еще смеет ставить какие-то условия. Но в эту минуту солдат, державший наготове веревку, приблизившись на несколько шагов к Панталахе, остановился и молниеносным движением накинул на него петлю.

— Га!.. — заревел Панталаха и умолк. Петля обвилась вокруг шеи, а солдат мгновенно затянул узел и сдавил Панталахе горло, так, что у него захватило дыхание в груди.

— Пусти! — прохрипел он, хватаясь обеими руками за веревку и стараясь освободить прежде всего петлю на шее.

— Ко мне! Ко мне! Держите! — закричал солдат, широко расставив ноги и скользя по крыше.

Но пока солдаты успели подбежать и подхватить своего товарища, Панталаха уже дернул изо всех сил за веревку, солдат потерял равновесие и покатился по наклонной крыше. В то же время потерял равновесие и Панталаха, и оба противника с одним пронзительным

криком сорвались с крыши и грянулись оземь. Панталаха упал лицом на камни и, с раздробленным черепом, тут же испустил дух. Зато солдат свалился боком на тело Панталахи и, кроме вывиха левой руки и сильного испуга, никак больше не пострадал.

— Во имя отца, и сына, и святого духа, — бормотал он, вставая со стоном, — вот бандит!

Хоть не до смеха было солдатам, которые, вытянувшись цепочкой вдоль двора, были свидетелями этой сцены на высокой крыше и в воздухе, однако кое-кто невольно расхохотался от нервного напряжения, услышав слова своего товарища, почти чудом избежавшего смерти. Но, увидев, что он на самом деле цел и почти невредим, они прямо возликовали, а капрал объявил, что спасшийся солдат обязательно получит награду за его смелый поступок. На тело Панталахи никто не обращал внимания. Что значил какой-то там вор? Их и так слишком много на свете. Туда ему и дорога! Только спасшийся солдат, все еще не опомнясь от страха, подскочил к окровавленному трупу и, пиная его со злобой сапогами в бок, в грудь, в плечи, каждый раз выкрикивал:

— Ах ты вор! Ах ты разбойник! На тебе, получай! Получай! Чтоб ты знал, как убегать в другой раз!

Между тем вся тюрьма была взбудоражена известием о побеге Панталахи и о страшном происшествии на крыше. Возле трупа собрались сторожа, солдаты и даже кое-кто из заключенных, из тех, кому разрешалось свободно ходить по двору. Явился, наконец, и начальник тюрьмы, покачал головой и развел руками:

— Но, Панталяха, — сказал он, остановившись над окровавленным, еще теплым телом, — виталь, цо ти на-тфориль! Я тебе сказаль: сядь тихо! Я тебе предсказываль, что пльохо тебе кончить. А ти все свое. Полючай теперь, я в этом не винофат!

Пришел, наконец, спустившись с крыши, и надзиратель Спорыш, бледный, холодный и бесчувственный, и долго, долго глядел на окровавленное, до неузнаваемости изуродованное лицо Панталахи. На этом лице остались только глаза, вышедшие из орбит, — большие, неподвижные, они, казалось, глядели на него с безграничным ужасом и каким-то страшным, кровавым укором.

В ушах надзирателя все еще звучали сердитые слова Панталахи: «Я думал, хоть ты и на собачьей службе, а все же не перестал быть человеком. Но теперь вижу, что на тебе не только собачья ливрея, у тебя и сердце собачье!» И бедный Спорыш дрожал всем телом. Несколько раз пытался он оторваться от этого страшного лица, но не мог. Что-то, казалось, приковывало его к трупу, к этим страшным глазам. Только когда по приказу начальника тюрьмы двое заключенных положили труп на носилки и понесли в тюремную мертвецкую, рассеялся и душивший Спорыша кошмар, и он, глубоко вздохнув, перекрестился и отправился на свой пост.

## VI

Первым делом нужно было узнать: каким образом Панталаха осуществил свой последний побег из камеры. Начальник тюрьмы поспешил в мертвецкую, чтобы присутствовать при раздевании трупа, а надзирателя послал произвести в камере обыск.

Стояло туманное, хмурое утро, в камере было еще почти совсем темно. Однако после ухода надзирателя Прокоп уже не дожился, он уселся посреди камеры и принялся позвякивать отрезками железного обруча о верхушку опрокинутой печи. Вдруг он что-то вспомнил, отбросив железки и вскочив с пола, хлопнул в ладоши и кинулся к своей постели, засунул руку под жесткую соломенную подушку, похожую на толстую квадратную лепешку, и стал тщательно шарить там. И до чего же он обрадовался, когда и в самом деле под подушкой нашлись обещанные ему Панталахой обе половинки разрезанного и опорожненного серебряного гульдена! Прокоп даже подпрыгнул от радости, а его рачьи глаза засверкали, как у кота. Усевшись на топчан, он стал позванивать этими блестящими игрушками, катать их по полу и, как ребенок, хлопал в ладоши, когда серебряные кружки описывали на полу круги и повороты.

Забавлялся он так довольно долго, наконец ему надоело однообразие этой игры, а желудок начал напоминать о своих правах. Было уже восемь; по другим

камерам арестантам раздавали завтрак — жидкую гороховую похлебку. Кинув на топчан серебряные кружочки, Прокоп прижался лицом к «глазку» и прислушался, скоро ли подойдут и к нему раздатчики. Он, бедняга, знал, что его порцию дают ему в последнюю очередь, когда похлебка в котле давно уже вычерпана и повара второй раз уже подлили теплой водички в гущу недоваренного гороха да оставшейся на дне шелухи и разболтали ее с помощью большого медного черпака. Правда, пока в камере сидел Панталаха, завтрак и обед прежде всего подавался сюда; заключенные заботились о своем мастере, угождали ему, ну, разумеется, и глупому Прокопу жилось при нем тоже не плохо. Но у бедного идиота была короткая память, он забыл, что Панталахи в камере уже нет, не знал и не заботился о том, что с ним случилось; он испытывал только голод и нетерпение, почему не приносят завтрака.

Он постоял с минуту молча, прижавшись к двери весь начеку; потом заскрежетал зубами и заворчал, как собака, услышав, что арестанты, разнося завтрак, к нему не торопятся и о чем-то громко беседуют в коридоре. Наконец, он изо всех сил заколотил кулаками в дверь. Некоторое время никто не отзывался и не подходил, поэтому Прокоп, не переставая, колотил в дверь все сильнее и сильнее. Но вот лязгнул всячий замок, щелкнул ключ, брякнули засовы, и Прокоп как ошпаренный отскочил от двери. Она отворилась, и в обществе еще одного сторожа вошел Спорыш.

— Чего стучишь? — сурово спросил он Прокопа.

— Я...я... нет, — ответил Прокоп и съежился, точно ожидая удара. — Я...я... сплю.

— Спишь? А кто же в дверь стучит?

— Потому, я... я хочу есть.

— А чтоб тебе горячей смолы наесться, дурень! — крикнул сторож. — Тебя повесить следует, а не кормить. А ты ночью не мог вот так застучать в дверь, когда тот разбойник обруч на печи перепиливал?

Тем временем Спорыш окинул взглядом камеру и сразу же увидел серебряные кружочки, которые Прокоп оставил на топчане. Надзиратель схватил их, осмотрел и застыл на месте: он сразу же узнал половинки того

самого серебряного гульдена, который он вчера передал Панталахе, и тотчас догадался о связи этого гульдена с бегством Панталахи.

— А это что? — спросил он Прокопа, показывая ему кружочки.

— Это мое! — жалобно крикнул Прокоп и протянул руки к блестящим игрушкам. — Отдайте мне, это мое!

— Твое? А откуда это у тебя? Кто тебе дал?

Прокоп замер, широко разинув рот, не зная, что ответить на этот вопрос. Он вспомнил строгий наказ Панталахи и задрожал при одной мысли, что «крестный» выполнит свою страшную угрозу, — каким-нибудь чудом вытащит его из этих стен и отнесет в отцовский дом, где его били, кормили тумаками да морили голодом и где ему было гораздо хуже, чем здесь, в тюрьме.

— Говори, кто дал? — крикнул в самое ухо Прокопу сторож и скрепил свой вопрос дюжим ударом в спину.

— Ой, ой, ой! — запищал Прокоп, съежился опять и заслонил лицо руками.

— Ну, скажи, скажи, кто тебе дал, — мягко промолвил Спорыш, зная, что от этого идиота строгостью ничего не добьешься. — Говори, не бойся, ничего тебе за это не будет.

— Ага, не будет? всхлипывая, спросил Прокоп.

— Я обещаю, что тебя даже пальцем никто не тронет.

— Э, вы, я вас не боюсь, — выпалил идиот, осмелев от ласкового тона надзирателя.

— Ну, а кого же ты боишься?

— Панталахи.

— Панталахи? А что же он может тебе сделать?

— Возьмет да и унесет меня к отцу.

Оба тюремщика рассмеялись.

— Ха-ха-ха! Видали вы, чего этот дурень боится! — сказал сторож. — Один убегает отсюда, чтоб домой добраться, а этот боится, как бы его кто из тюрьмы не выкрал да не снес домой.

Но Спорыш проговорил серьезно:

— Ну, ну, не бойся, глупый, Панталаха уже тебе ничего не сделает.

— Ага, не сделает? А вы почему знаете, что не сделает? — спросил Прокоп, утирая рукавом слезы.

— Потому что его уже нет на свете.

— А где же он?

— В мертвецкой.

— А что он там делает?

— Что ему там делать, лежит. Разве не знаешь, что он упал с крыши и разбился насмерть?

— Э, а может, он еще из мертвецкой убежит?

Тюремщики снова посмеялись над глупостью Прокопа, однако Спорыш знал, что с идиотом следует говорить его языком, и серьезно продолжал:

— Не бойся, оттуда уже не убежит. Еще сегодня придут доктора, отрежут ему голову, руки, ноги, ну, а без них-то как ему убежать?

Прокоп уставился на Спорыша, как бы не доверяя ему, и, наконец, громко захихикал:

— Ги-ги-ги! Будут потрошить Панталаху, как кабана! И живот распорют?

— И живот распорют.

— Ги-ги-ги! А меня пустят посмотреть?

— Как же, как же! Я сам тебя поведу. Только скажи мне, кто тебе это дал?

Прокоп, будто застыдившись, опустил лицо и закрыл рукавом глаза.

— Я...я не знаю.

— Толкуй с дураком! — крикнул сторож, выведенный из терпения этим глупым упрямством. — Почему не скажешь сразу, что Панталаха?

— Ну, скажи, скажи! — настаивал Спорыш. — Панталаха дал, правда?

— Панталаха.

— Ну, вот и хорошо. А за что дал?

— За что? Ни за что. За то, чтоб я ночью спал.

— Ага! А не говорил он тебе, чтобы ты ничего никому не болтал?

— Говорил.

— А не говорил, откуда он добыл эту игрушку?

— Говорил.

— Откуда? — живо спросил надзиратель. Он дрожал при одной мысли, что Панталаха мог сказать этому дураку, что получил гульден у него, у Спорыша. — Ну, от кого он получил?

— От святого Николая.

— Как? От святого Николая?

— Ну, да, — сказал осмелевший Прокоп. — Святой Николай пришел к нему и говорит: «Не плачь, Панталаха! Били тебя паны за то, что убежал. Вот тебе разрыв-трава, она тебе все замки отопрет, и ты снова убежишь». И Панталаха пришел в камеру веселый-веселый. Сначала хотел меня съесть, а потом расколочил вот это на две половинки и достал оттуда разрыв-траву.

— Какая же это была трава?

— О, красивая! Такая синенькая да тоненькая, длинная-длинная. Здесь, в этом, лежала скрученная. Потом Панталаха мне и говорит: «Дам тебе это, но чтобы ты ночью спал; пускай хоть из пушек палят — не смей просыпаться. И что бы ты ни услышал — ничего не смей ни слышать, ни видеть».

Спорыш вздохнул с облегчением. Ясное дело — Панталаха не выдал его Прокопу. Дурак ничего не знал о том, что это он, Спорыш, передал преступнику гульден, значит можно будет выйти чистым из этой скверной истории. Бедный надзиратель просто цепенел от страха при мысли, что, если бы не предусмотрительность Панталахи и глупость Прокопа, эта история с гульденом могла бы навлечь на него большую беду — потерю службы, а может быть, даже и тюрьму. Теперь Спорыш с облегченным сердцем выпытывал у Прокопа, что делал Панталаха вечером, что делал ночью, как убежал. Но вскоре выяснилось, что Прокоп очень мало знает обо всем этом.

— Вечером крестный Панталаха прыгал на одной ноге, потом полез под топчан, искал там что-то, потом заглянул в окно, потом что-то мастерил, потом резал мой хлеб, но не ел, а потом... потом я заснул и не слышал больше ничего.

— Ну, а не говорил тебе Панталаха, — спросил Прокопа второй сторож, — какой это святой Николай дал ему разрыв-траву?

— Какой святой Николай? — повторил удивленно Прокоп и вытаращил глаза. — Святой Николай, тот, что в церкви на образе намалеван.

— Ну, а откуда он здесь взялся?

— Не знаю. Пришел.

— Когда же он это дал Панталахе?

— А как побили, тогда и дал.

— А не сказал ли тебе Панталаха, как выглядел этот святой Николай?

— Ничего не сказал.

Было ясно: из Прокопа больше ничего не выжмешь. Тюремщики принялись обыскивать камеру, перетряхнули соломенные матрацы, заглянули в каждую трещинку, в каждую щелку — и в самом деле, им удалось отыскать множество всевозможных кусков металла: жестянок, проволочек, железных брусочков, осколков меди и так далее. Но не нашлось ничего такого, что могло бы навести на дальнейший след. Давно было известно, что Панталаха работает не только в тюремной слесарне, но изготавливает различные вещи также и у себя в камере, поэтому во время очередных обысков у него никогда не отбирали эти мелкие невинные вещицы; поэтому и теперь зрители не удивлялись, обнаружив такое множество их у него в тайничках.

Устав от бесплодных поисков, они собрались уже выходить, как вдруг Прокоп, во все время обыска неподвижно сидевший, скорчившись, на своем топчане, вскочил и, протягивая обе руки, загородил дорогу Спорышу.

— Чего тебе нужно? — спросил Спорыш.

— Отдайте мне это... мое! — сказал Прокоп.

— Что тебе отдать?

— А то...такое красивое, что мне Панталаха подарил.

— Пошел, дурак! — сердито буркнул Спорыш. — Ведь я должен показать это начальнику тюрьмы.

— А он мне отдаст?

— Почему я знаю?

— А... а... но вы ведь обещали мне отдать, — возразил Прокоп.

— Ну и что с того, что обещал, если не могу?

— Но я вам за это рассказал, что мне говорил Панталаха! — поднял голос Прокоп.

— Это ты хорошо поступил, — сказал Спорыш, — но я не могу тебе отдать. Если святой Николай подарил эту штуку Панталахе — понимаешь? — то нужно пока-

зять ее попу, чтобы он разобрался, в самом деле это от святого Николая или, может, Панталаха только врал.

— А я не хочу показывать попу! — взвизгнул Прокоп, — Не хочу попу! Поп мне не отдаст, еще и язык отрежет. Не хочу попу! Отдайте мне! Это мое!

— Пошел вон! — крикнул выведенный из терпения сторож и, схватив Прокопа за плечи, толкнул его с такой силой на середину камеры, что бедный идиот, споткнувшись о все еще валявшиеся на полу куски железного обруча, упал ничком, растопыря руки, и разбил себе нос. Он завизжал, как ребенок, но, пока встал, дверь в камеру уже захлопнулась.

Он подскочил к «глазку», визжа от боли и злобы:

— Отдайте мне! Отдайте мне! Это мое!

И замолотил кулаками в дверь.

— Ты будешь сидеть тихо? Или хочешь, чтобы я с плеткой пришел? — крикнул ему в ответ сторож из коридора.

Прокоп затих и принялся утирать рукавом капавшую из носа кровь. Тюремная плеть была ему слишком хорошо знакома, и он вовсе не желал отведать еще ее сладости. Он стиснул зубы, чтобы не плакать, а в его голове замелькали безумные планы мести.

— Ага, обманул меня! — ворчал Прокоп, грозя кулаком в сторону двери. — Погоди, я тебе покажу!

И, скрежеща зубами от ярости, затопал босыми ногами о пол.

— Что бы ему устроить? — ворчал он про себя, снуя по камере. — Возьму топор и разрублю ему голову. Да, пускай помнит Прокопа! Или еще лучше: когда будут в кухне варить кашу в том большом котле, а он подойдет близко, чтобы набрать огня в трубку, я тихо-тихо зайду сзади, схвачу его за ноги и — бух в котел. Ха-ха-ха! Пускай варится! И какая же вкусная будет каша, заправленная Спорышем! Или нет, когда заснет, свяжу ему ноги и повешу вниз головой на балке. Пускай коптится в дыму, как свиное сало. Или раскалю на кухне крюк, и как только он явится, раскаленным крюком ему в глаз — раз!

Его убогая фантазия путалась в непролазных дебрях, тешилась жестокостями, не заботясь о том, что в его

положении они все были невыполнимы. Эти картины развлекали его; он позабыл то, что минутой раньше его так раздражало и злило. Еще дрожали на ресницах слезы, еще не обсохла размазанная под носом кровь, а душа Прокопа уже успокоилась и мысли перенеслись на бог знает какие посторонние предметы. Но какой-то злой рок так и не дал зажить его душевной ране.

Не прошло и часу, как дверь камеры снова отворилась и на пороге опять показался Спорыш. При виде его в сознании Прокопа с новой силой вспыхнули вся боль и ненависть. Он молча, но с дикой злобой уставился на Спорыша.

— Ну-ка, вставай и собирайся! — крикнул Спорыш.

— Куда? — заворчал Прокоп.

— Марш на кухню. Тут мастера должны печь испарить. Ну-ка, живо!

В кухне стряпало четверо поваров — долгосрочные арестанты, шутники и балагуры. Они принялись расспрашивать Прокопа о происшествиях прошлой ночи, и его глупые ответы привели их в веселое настроение. Заметив следы крови на лице Прокопа, один из поваров спросил его, что с ним приключилось, и Прокоп сердито рассказал о своем столкновении со Спорышем, о том, как надзиратель обманул его, отобрав такие красивые блестящие штучки, подарок Панталахи, да еще толкнул его так, что он разбил себе нос.

— Страсти господни! — с притворным ужасом воскликнул один из поваров. — Да есть ли у него бог в сердце, чтобы так тебя обидеть!

— И не захотел вернуть твое добро? — спросил второй.

— Не захотел! — ответил сквозь слезы Прокоп.

— Ступай к тюремному начальнику и пожалуйся на него! — посоветовал третий.

— А может, лучше к самому прокурору! — вставил четвертый. — Прокурор-то постарше начальника тюрьмы.

— Не хочу к начальнику! — жалобно ответил Прокоп. — Начальник нехороший! Начальник в карцер посадит.

— Верно, сынок, верно! — поддержал его первый

повар. — Наплюй на этого начальника! Ступай к прокурору! Он тебя уважит.

— Не хочу к прокурору! — крикнул Прокоп, у которого самое слово «прокурор» вызывало дикий страх.

— И я это говорю! — поддакнул другой повар. — Лучше сам отплати! Неужто не сладишь? Чтобы ты да не справился с этим надзирателем?

— Морду ему набей!

— Выцарапай глаза! — поддержал другой.

— Возьми за одну ногу, на другую наступи и разорви пополам, как лягушку, — добавил третий.

Прокоп слушал, разиня рот, и удивлялся, как ему ничего подобного до сих пор не пришло в голову. Наевшись досыта, он стал слоняться по просторной полутемной кухне, заглядывал с любопытством во все закоулки и выпрашивал о назначении каждого самого обыкновенного предмета и на каждый вопрос получал от поваров-балагуров самые невероятные ответы.

— Ай-яй-яй! — вдруг вскрикнул Прокоп и всплеснул руками, заметив на скамейке пару только что зарезанных гусей, из которых одного предстояло зажарить для начальника тюрьмы, а из другого — сварить бульон для больных, лежавших в тюремном госпитале. — А что это?

— Разве ты не видишь — аисты? — отозвался один из поваров.

— Аисты? А что они тут делают?

— Прилетели к нам в гости.

— Э, э, неправда! — ухмыльнулся Прокоп. — Я же знаю, что это гуси.

— Вот как? Знаешь? Тогда должен знать и то, что с ними полагается делать.

— Что... что... полагается делать? А что с ними полагается?

— Полагается сейчас же сесть и ощипать.

— Ладно! — радостно воскликнул Прокоп. — Я люблю щипать. А перья будут мои.

— А для чего тебе перья, дуралей?

— Буду играть.

— Да ты рехнулся? Кто же перьями играет?

— Ну, тогда не хочу щипать.

— Ладно, щипли, щипли! Получишь сколько хочешь перьев, даже можем тебе из этих перьев борщ сварить.

— Нет, не хочу борща из перьев, — отрезал Прокоп, ощипывая гуся. — Но перышко себе возьму. Так славно с перышком забавляться. Оно так славно играет!. Меня крестный Панталаха научил. Ох, и чудесно это получится!

Печь оковали заново только к вечеру, и Прокоп, ощипав гусей и выпавшись на кухне, вернулся в свою камеру.

## VII

В своей уединенной камерке на третьем этаже каменного дома, на узкой и грязной улице неподалеку от Бригидок \* надзиратель Спорыш кинулся в старое кресло и, уронив голову на грудь, погрузился в глубокую немую задумчивость. Уже смеркалось, и в его узкой, голой комнатушке, окно которой выходило в тесный и глубокий, точно колодец, двор, стоял полумрак. С самого полудня, когда он покинул тюремные стены, освобождаясь от службы на целые сутки, надзиратель чувствовал себя как-то не по себе, а чем ближе было к вечеру, тем все больше и больше возрастало его беспокойство.

Само собой разумеется, что страшные происшествия минувшей ночи произвели на него чрезвычайно сильное впечатление, тем более что у Спорыша, как человека вполне честного, ни служба, ни военная дисциплина не смогли задушить подлинного человеколюбия; чрезмерно склонный к раздумью, к меланхолии, он был более впечатлителен по натуре, чем это полагалось людям, зарабатывающим на хлеб насущный «собачьей службой».

Ах, эта тюремная служба! Вечно следить за людьми, как за скотом, вечно шарить по карманам и за пазухой, вечно обыскивать, разнохивать, подслушивать и ходить на цыпочках! Вечно подглядывать за этими одича-

---

\* Так называется львовская тюрьма на Казимировской улице, бывший женский монастырь ордена св. Бригиды. (Прим. Ив. Франка.)

лыми людьми — жертвами порока, страстей или душевной болезни, — подслушивать их циничные или раздражающие своей жуткой откровенностью разговоры! Вечно дышать тяжелой, отравленной атмосферой тюрьмы, покрытых плесенью стен, темных коридоров и вонючих, набитых до отказа камер! Вечно выслушивать взаимные обвинения, мелкие и потому никчемные доносы, ругань и проклятья! Вечно лицезреть лицемерное пресмыкание перед начальством, сцены грубой расправы, попрания человеческого достоинства там, где это достоинство едва теплится крохотной искоркой, которую, однако, осторожным дуновением можно было бы еще раздуть в живое, прекрасное пламя! Ах, эта проклятая тюремная служба!

Спорыш чувствовал себя глубоко несчастным чуть ли не с первой же минуты поступления на эту службу, чувствовал себя узником, без вины осужденным на пожизненное заключение, и с этим тяжелым и горьким чувством вот уже двадцать лет нес свое ярмо. Да и что ему было делать на этом божьем свете? Взятый в солдаты от сохи, он тянул лямку двенадцать лет, не получая никаких вестей из дому. Отслужив срок и вернувшись в родное село, он уже не застал в живых своих родителей и узнал, что отцу пришлось перед самой смертью из-за какой-то неудачи продать половину своего надела. На другой половине сидел младший брат Спорыша; она составляла всего-навсего шесть моргов немудрящей подгорянской земли. Что тут поделаешь? Брат при встрече намекнул Спорышу на раздел, но Спорыш отлично видел, что намек сделан почти сквозь слезы: не уста брата, а судорожно искаженные черты лица, дрожащий голос и подернутые влагой глаза ясно говорили:

— Оба станем нищими!

Спорыш понял этот язык без слов, обнял брата и сказал:

— Бедный брат, знаю я, что у тебя на душе! Не говори мне больше ничего. Вижу и сам, как тяжко перебиваться тебе на этих шести моргах, каково же будет двоим? И за кого ты меня принимаешь? Неужто у меня хватило бы совести обобрать тебя и твоих детей? И на

что мне сдалась твоя земля? Да и отвык я за двенадцать лет солдатчины работать на земле, а теперь, вижу, что это и к лучшему так получилось, — ведь над чем же здесь трудиться? Знаешь, оставайся-ка ты на этой дедовской земле, и пусть тебе бог поможет, а я пойду, откуда пришел, буду и дальше свой век на цесарской службе коротать.

И, сказав это, он сунул брату в руку все деньги, накопленные за время солдатчины для своего будущего хозяйства — целых четыреста гульденов, — а сам уложил свой убогий скарб, отправился обратно в воинскую часть и поступил на «второй срок», то есть еще на двенадцать лет службы. А так как он был всегда старательным, точным и честным, и всеобщим любимцем, и при том обладал особенным даром обучать новобранцев военной муштре без обычных в те времена издевательств и наказаний, то его охотно приняли, произвели в «фиреры»\*, а потом даже и в фельдфебели. Так Спорыш и прослужил еще двенадцать лет.

Тем временем его брат, так и не выкарабкавшись из нужды, умер, малые дети пошли по миру, отцовскую землю растащили по клочкам чужие люди, — что было делать старому, заслуженному солдату?

Никакой специальности у него не было, жениться не хотел, к тому же и возраст и средства не те, — подвернулась ему казенная служба, место тюремного надзирателя, вот скрепя сердце он и взялся за нее — иного выбора не представлялось.

С той поры прошло двадцать лет. Спорыш постарел, стал угрюм. Покидая тюремные стены по окончании работы, он избегал людей и просиживал целыми днями в своей уединенной камерке на третьем этаже или, если позволяла погода, совершал далекие прогулки за город, в поля, в леса. Только здесь дышал он свободней, тешил свой взор и сердце красотами природы. А вечером шел к Нафтуле, усаживался в одиночестве где-нибудь в темном уголке и молча выпивал кружку пива. Хозяйка, у которой он жил и которая варила ему обед, своим обществом ему не докучала, и, таким образом,

---

\* В старой австрийской армии — помощник старшины.

Спорышу оставалось достаточно времени, чтобы предаваться собственным размышлениям, а они становились все печальнее и мрачнее. Он вспоминал свою молодость, почти забытую, — теперь она казалась ему счастливой, хотя в действительности была далеко не лучезарна. Вспоминал долгие годы военной службы, тяжкий труд, ничтожные происшествия, которых не стоило и хранить в памяти, мелочные придирки начальства, маленькие радости и большие горести и волнения по ничтожным поводам. Вспоминал, наконец, долгие годы своей службы в тюрьме: точно сплошная серая, холодная туча, пролетели над ним все эти годы.

— Загубленная жизнь! Собачья жизнь! — вздыхал надзиратель, все острее чувствуя отвращение к этой жизни и к самому себе.

Но сегодня эти горестные мысли особенно овладели им. Кровавое, изуродованное до неузнаваемости лицо Панталахи неотступно стояло перед глазами Спорыша, сверлило душу каким-то страшным укором, будоражило кровь в его жилах, отнимало покой, аппетит, послеобеденный сон. Он был голоден и все же, усевшись за стол, не смог ничего взять в рот, один только вид мяса доводил его чуть ли не до обморока.

Но самым тяжким, самым кровавым укором звучали в ушах надзирателя слова Панталахи: «Я думал, что на тебе только собачья ливрея, но теперь вижу, — у тебя и сердце собачье». В первую минуту эти слова не столько взволновали Спорыша, сколько задели его, как несправедливый упрек. Но когда Панталаха свалился с крыши, когда с его разможенного лица сама смерть заглянула в глаза надзирателя своим нелживым, грозным взглядом, тогда эти слова пробудили в его душе совсем иной, гораздо более глубокий отзвук. И этот отзвук в течение всей второй половины дня не умолкал, а гудел на тысячи тонов, крепчал, как вестник близкой бури.

И в самом деле, за что же погиб такую страшную смертью Панталаха? За то, что рвался на волю. Но разве это уж такая страшная вина? Закон не считает побег преступлением, скорей каким-то мелким проступком, и даже варварский «внутренний распорядок»,

царящий в тюрьме, хоть и наказывает за побег строго, но ведь не карает же смертью. И что собственно случилось бы, если б Панталаха убежал? Пострадал бы кто-нибудь от этого? Нет! Ведь вздумай Панталаха остаться в Галиции, его наверняка вскоре поймали бы и снова посадили в тюрьму. А если бы ему удалось бежать за границу, начать новую жизнь в другой среде, кто знает, не вышел ли бы из него честный и полезный человек? А если и нет, так пускай бы погибал без его, Спорыша, участия, пускай бы пропал без вести. Неужто ему, Спорышу, так уже нужно было на старости лет обогреть свои руки в человеческой крови, взять на свою душу человеческую жизнь?

О да! Не было никакого сомнения — он, и не кто иной, как только он, повинен в смерти Панталахи. Ведь это он, Спорыш, в своей безумной слепоте дал ему в руки орудие, которое как бы само напрашивалось — применить его к осуществлению нового побега. Угроза «карцера» ускорила это осуществление. И на совести Спорыша не стало легче, когда какой-то голос шепнул ему, что ведь он, Спорыш, не знал, что в этом злосчастном серебряном гульдене спрятана пилка. И не в том главная его вина, что он оказался слишком покладистым, а в том, что вслед за этим оказался так глупо и бесцельно жестоким. Ведь вспоминает же он, что мысль о возможной попытке Панталахи к бегству пронеслась в его мозгу в первую же минуту, когда сквозь сон он услышал тоненький скрежет пилы, перепиливавшей железную полосу. Следовало в ту же минуту взвесить все это, по-человечески сказать про себя: «Ну, что ж, пытайся, твое положение воистину тяжко, я не стану создавать тебе преград». И заснуть спокойно, крепко и ничего не слышать, так же как не слышал и солдат. Даже этот грохот в дымоходе и звон железа в камере Панталахи можно бы объяснить солдату, как нечто совершенно обычное и невинное, — и у Панталахи хватило бы времени для побега. А наутро, когда побег был бы обнаружен, ни с надзирателем, ни с солдатом ничего не случилось бы, кроме разве мелких неприятностей, протоколов и выговоров. Но зато не лежала бы на совести Спорыша смерть человека!

Да еще какого человека! «Вор, вор!» — твердят все, пожимая плечами. Спорышу не отделаться даже и такой отговоркой. Слишком глубоко заглянул он в душу этого человека, чтобы не увидеть в его душе, под толстой корой порока, богатые золотые жилы честных и человеческих чувств, сильной воли и энергии. Чем дольше раздумывал Спорыш, тем сильнее пробуждалось в нем уважение к Панталахе, и, прежде всего, именно к его болезненному, экзальтированному желанию свободы, к этому странному безумию, которое толкало этого человека на самые отчаянные поступки, на явную гибель. Но ведь из таких людей при других обстоятельствах вырабатываются знаменитые полководцы, генералы и герои, открыватели новых путей, ведущие целые народы к победам и славе!

— И все-таки я только исполнял свой долг, подняв тревогу и пустившись в погоню за беглецом, — шептал в нем какой-то голос.

О горе! Этот шепот не только не успокоил его, наоборот, он отозвался в его душе бесконечной горечью. Ему стыдно стало за свое человеческое «я», которое позволило себе согнуться под ярмом именно такого долга.

— Собака, собака! Да, Панталаха прав! — вздохнул Спорыш и, не дожидаясь вечера, отправился к Нафтуле. Но и здесь он не нашел облегчения. Забившись в свой обычный уголок, он полдозрительно озирался по сторонам — не показывают ли на него люди пальцами? Прислушивался к беседам — не поминают ли его? В самом деле, Панталаха и сегодня был главной темой всех разговоров: его бегство и смерть, описанные в газетах, были главным событием дня. Вопреки своим надеждам, надзиратель слышал выражения симпатии к покойнику — казалось, все забыли о кражах, в памяти остались только его непрестанные, исступленные порывы к свободе, которые, наконец, и привели его к смерти; его смелость и гениальность в отыскании способов побега. Правда, никто не осуждал ни солдат караула, ни надзирателя — они исполнили свой долг. За одним столом устроили даже складчину в пользу солдата, который вместе с Панталахой упал с крыши и остался жив.

Все это отвлекло и даже отчасти успокоило Спорыша. Но вернувшись домой, он почувствовал, что ночью не заснет, что боится собственной постели: ему казалось, что во мраке ночи он увидит рядом с собой застывшего, окровавленного Панталаху с изуродованным лицом и большими, выкатившимися из орбит глазами. Спорыш решил не ложиться, просидеть всю ночь в кресле и улечься только под утро, когда ясное солнце отгонит кровавые видения.

Но, и дремля в кресле, надзиратель не мог найти покоя. Он метался, кричал; его то знобило, то он обливался потом. Малейший шорох превращался в его сонном воображении в пронзительный, свистящий скрежет, и при этом звуке он каждый раз вскакивал как ошпаренный.

## VIII

Спорышу выпало ночное дежурство. Запирая на ночь тюремные камеры, он зашел и в конуру Прокопа, в ту самую, откуда за сутки до этого убежал Панталаха. Прокоп лежал на своем топчане, повернувшись лицом к стене, и как-то сердито заворчал при виде Спорыша. А когда надзиратель, остановившись посреди камеры, поднял высоко лампу и, согласно правилам, осмотрел стены, потом нагнулся и заглянул под топчаны, Прокоп то беспокойно ерзал на своем месте, то весь собирался в комок, точно кот, готовящийся к прыжку. В глазах идиота мерцала бешеная ненависть. Но Спорыш даже не обратил на это внимание. Что значил для него немой гнев идиота по сравнению с теми навязчивыми мыслями и угрызениями совести, которые кипели внутри него, подтачивали его покой?

Заперев камеры, Спорыш вздохнул свободней; он попрощался с другим надзирателем, который дежурил со вчерашнего дня, и остался в коридоре один. Из караульни как раз привели ночную стражу, и Спорыш прошелся по коридору, пока капрал вполголоса объяснял солдату его обязанности,

Полный тревоги и беспокойства, встречал Спорыш эту ночь. Какое-то неясное предчувствие говорило ему,

что она не пройдет спокойно, что здесь, в этом месте, где еще за сутки до того жил и с такой силой воли боролся Панталаха, должны остаться самые сильные и свежие воспоминания о нем и следы его усилий. Спорыш — старый солдат — не верил в духов и в привидения и не боялся с этой стороны каких-либо неприятностей. Он боялся самого себя, собственной души, расстроенной вчерашними впечатлениями и раздумьями. Боялся сна и решил не спать всю ночь, а ходить по коридору, беседуя с часовым, чтобы прогнать все ненужные, тяжелые мысли.

Увы, это намерение ему не удалось осуществить. Караульный солдат был простой крестьянин, новобранец, хмурый, молчаливый, туповатый и неразговорчивый парень. Усталый после целого дня муштры, он ночью хотел спать и потому всего каких-нибудь полчаса составлял компанию Спорышу, терпеливо слушая его рассказы о военной службе и лишь кое-когда вставляя от себя словечко. Наконец, он попросту попросил Спорыша разрешить ему на полчаса вздремнуть — уж больно клонит ко сну. Бедному надзирателю ничего не оставалось делать. Он уселся на ящик, как в ту памятную ночь, когда пытался бежать Панталаха, и молчаливо уставился в черную пасть коридора, с завистью косясь порой на солдата, который тут же, рядом, опершись на ружье, заснул мгновенно.

Так прошло, может быть, минут десять мертвой, сонной тишины, как вдруг Спорыш задрожал, поднял голову и насторожился, вытаращив глаза и даже разинув рот. Это, это было? Он ослышался, или. . или?.. Спорыш не осмелился довести до конца эту мысль и слушал, затаив дыхание.

— Грр! грр! грр! — отчетливо раздавался по всему коридору тонкий, свистящий скрежет английской пилы, распиливающей железо. Несколько минут Спорыш сидел, точно окаменелый, — не двигаясь с места, лоя ухом, и ртом, и всем своим существом эти роковые звуки. Он ни о чем не думал, ничего не ощущал в эти минуты — ни страха, ни тревоги; можно было бы даже сказать, что он оставался спокойным, но это скорее походило на спокойствие истукана, чем сознательного существа.

И только спустя несколько минут этого мертвого спокойствия наступила реакция. Живая сила проснулась в Спорыше. Он порывисто вскочил, хотел крикнуть, за что-нибудь схватиться руками, куда-то бежать, звать на помощь, и почувствовал, что все его тело обливается холодным потом. Но и это возбуждение длилось только короткий миг. Он опомнился, не закричал, а взглянув на спокойно спавшего солдата, понемногу и сам успокоился и начал собираться с мыслями.

Что бы это могло быть? Прислушался еще раз внимательно-настороженно — да, конечно, вне всякого сомнения! И на сей раз это было не что иное, как повторение позавчерашнего. Кто-то режет английской пилкой железный прут! Кто бы это мог быть? Ясно, опять какой-нибудь арестант, которому вздумалось пойти по следам Панталахи. Одурели эти люди, что ли? Спорыш спросил себя, что же ему делать в подобном случае? Разбудить солдата? Чем поможет ему солдат? Лучше пойти самому и удостовериться, где, в какой камере и кто так завзято работает? У надзирателя даже мелькнула мысль — оставить беглеца-арестанта в покое, пусть бежит, куда ему вздумается! Но служебная привычка взяла верх. Ступая на цыпочках, он прокрался вдоль коридора, прислушиваясь и соображая, откуда может исходить этот подозрительный скрежет? При этом он даже улыбался. Сразу видно, что не Панталаха работает, а какой-то партач! Неверное ухо, неверная рука! Панталаха малейший шорох в коридоре улавливал, чуть что — и затихнет, значит, делая свое дело, владел в совершенстве всеми силами своего сознания, не знал ни тревоги, ни волнения, ни беспокойства. А этот весь погрузился в свое занятие и уже ни о чем не думает, ничего не слышит. Интересно, услышит ли, когда я стану висячий замок отпирать? Э, при такой осторожности этот наверняка далеко не убежит!

Так рассуждая, надзиратель медленно продвигался по коридору. Но чем дальше он шел, тем быстрее исчезало его минутное спокойствие, тем сильнее морщился лоб и сжимались губы. Что же это? Скрежет, казалось, уходил от него все дальше и дальше вглубь коридора. Спорыш сразу было прикинул — в каких камерах сидят

такие птички, от которых можно ждать попытки к бегству, но теперь убедился, что его предположение было ошибочно — во всех этих подозрительных камерах стояла полная тишина. А скрежет неся беспрестанно: отчетливый, ускоренный, монотонный, словно металлическое верещание сверчка в щелке за печью.

Бесшумно, как призрак, приближался Спорыш к камере, из которой позавчера впервые услышал такой же точно зловеший скрежет. Приближался, несмотря на какое-то внутреннее сопротивление; потер рукою лоб, словно желая отогнать какую-то назойливую и нелепую мысль. Но ведь этого не может быть! Ведь это бессмыслица, разве может и теперь этот скрежет исходить из той же камеры? Ведь, кроме Прокопа, в ней никого нет, а у этого идиота и пилки нет, и обращаться он с нею не умеет, и ни охоты, ни нужды у него нет перепиливать обруч! Однако звук совершенно отчетливо несется именно из этой камеры. Спорыш подошел к самой двери, приложил ухо к стене — да, сомнений быть не могло, зловеший скрежет раздавался в этой камере, расходился отчетливо, точно острыми колючками впивался в грудь Спорыша. Волосы на голове надзирателя встали дыбом,хватило дух в груди.

— Боже! Это Панталаха! — невольно и бессознательно простонал он вполголоса — и в тот же миг таинственный скрежет затих.

Не сознавая, что он делает и зачем, Спорыш с грохотом и стуком ворвался в камеру. Камера была пуста, все в ней стояло на месте, только из угла, с топчана смотрели на Спорыша бессмысленные, вытаращенные глаза Прокопа.

— А ты что тут делаешь? — заревел на него надзиратель, вовсе не намереваясь что-нибудь узнать, а просто чтоб услышать человеческий голос.

— Я... я... сплю, — промолвил, заикаясь, Прокоп.

— А ты ничего не слышал?

— Ничего, ничего.

Спорыш стоял бледный как мертвец. Свет фонаря, который он держал в руке, падал искоса на его лицо и придавал ему какое-то жуткое мертвенное выражение. Не зная, что делать дальше, Спорыш бросился к печи и стал внимательно осматривать обруч, потом решетку

и железную оковку окна и двери — нигде ни следа пилы. Но ведь этот скрежет продолжался так долго, так явно, что ни в коем случае не мог сойти за обман слуха. С тяжелым сердцем, сгорбившись и опустив голову, как бы подавленный каким-то тяжким бременем, вышел надзиратель из камеры, запер ее и медленным шагом удалился, ежеминутно останавливаясь и прислушиваясь. Но скрежета не было слышно. Остаток ночи прошел спокойно.

Спокойно! То, что творилось этой ночью в душе Спорыша, походило не на покой, а скорее на бурю, которая опрокидывает все преграды, вырывает с корнями деревья. Под влиянием угрызений совести и необъяснимого явления в памяти старого солдата ожили все суеверия и бог знает когда слышанные рассказы о духах и привидениях — рассказы, которыми питалась его молодость, прошедшая под крестьянской кровлей, и которых он в досталь наслушался потом и на военной службе. Все, что до сих пор его трезвый разум, здоровая натура и чистая совесть отражали, как стальным щитом, теперь брало штурмом позиции, не находя никакого отпора. Спорыш не смел уже сомневаться, что слышал посторонние звуки, что это Панталахина рука производила скрежет, что это неприкаянная Панталахина душа блуждает на месте своей преждевременной смерти и мстит своему убийце. Стоя в конце коридора, Спорыш впервые со смертельной тревогой заглянул в его бездонную темную пасть, как бы страшась, что вот-вот на фоне этого мрака появится ужасный призрак, при одном виде которого в его жилах тут же заледенеет кровь. Он вздрагивал при малейшем шорохе, и все же в сто раз страшней любого шороха была для него эта мертвая, глухая тишина, стоявшая в тюрьме. Даже спящий рядом на ящике солдат не храпел, а дышал так тихо и неслышно, что перепуганный Спорыш даже приставил ухо к его лицу, пораженный внезапною мыслью: а что, если солдат, услышав этот зловещий скрежет, тут же умер со страху? Но когда спустя несколько часов солдат проснулся и Спорыш спросил, не слышал ли он чего, солдат преспокойно ответил:

— Нет, слава богу, ничего не слышал.

— Побойся бога, Спорыш, дружище, на кого ты похож? — воскликнул утром один из надзирателей, придя на службу.

— Что? Я? На кого ж мне походить? — протянул Спорыш изменившимся, разбитым голосом.

— Точно с креста сняли! — продолжал надзиратель и даже руками всплеснул. — Сгорбился, лицо пожелтело, глаза совсем ввалились. Что с тобой случилось?

— Да ничего, ничего! — ответил Спорыш, отмахиваясь. — Тебе показалось! У меня ничего не болит!

Надзиратель пожал плечами и покачал головой.

— Да ты болен, едва на ногах держишься! Дрожишь, как в лихорадке, у тебя жар! — не отставал надзиратель, старый товарищ Спорыша по военной службе.

— Да бог с тобой! Мерещится тебе, что ли? Чур! Чур! — отговаривался Спорыш, стараясь улыбнуться. — Чего доброго, в самом деле уговоришь меня, будто я болен. Сказал тебе, что здоров. Это... только так, я ночью не спал. Посплю после обеда, и сразу мне станет легче.

И торопливой походкой он удалился, словно стараясь уйти от пытливых глаз старого товарища. Разумеется, о своем ночном приключении он никому не сказал ни слова, опасаясь насмешек. Кроме того, он ждал, что скажет другой надзиратель, который сменит его и будет дежурить в этом коридоре следующей ночью.

## IX

— Послушай-ка, братец, — спросил нерешительно и как-то озабоченно Спорыш на следующий день второго надзирателя, который, только что закончив свое двадцатичетырехчасовое дежурство в этом коридоре, передал ему ключи, — слушай-ка... ты этой ночью... как его... часом... ничего не слыхал?

— Где?

— Ну, здесь, в камерах?

— В камерах? А что я мог слышать в камерах?

— Ну, не знаю... Вот об этом я тебя и спрашиваю, не слыхал ли... чего-нибудь?

— Нет, ничегошеньки. А что? Ты, может, что слыхал?

— Я? Ничего, конечно!

И Спорыш поспешно удалился, избегая дальнейших расспросов. Но видно было, что какая-то тревога гнетет его и лишает покоя. Он ходил пошатываясь, сам не свой, избегая людей, и в крайнем случае отмалчивался или отвечал отрывисто, отделяясь от вопросов односложными словечками, либо ни с того ни с сего выпаливал что-нибудь невпопад, точно его мысли были заняты чем-то совершенно посторонним и далеким.

И была это сущая правда. В душе Спорыша царил единственный образ — могучий, пожиривший все остальное, — Панталаха. Прославленный вор не умер, он жил в душе Спорыша и продолжал свое ремесло — медленно, но верно пилил и перепиливал одну за другой те живые нити, которые связывали Спорыша с жизнью.

Словно червь, точил он корни духовного его существа. Теперь, когда его нельзя было запереть в камеру, засадить в карцер или отправить в мастерскую — «лабораторию», когда он стал незримым и неуловимым, сила его безмерно возросла и всякое сопротивление ему становилось тщетным.

Однако слова второго надзирателя вселили в Спорыша слабый проблеск надежды. Ага, он не слышал этой ночью ничего! Может, и я не услышу! Может, то вчерашнее было только обманом слуха, следствием жара и бессонницы! Но в душе его что-то шептало, что эта надежда напрасна и страшный ночной гость опять наведается к нему, опять даст о себе знать. Уж если Панталаха имеет зуб только против Спорыша, то зачем ему, чтобы его услышал кто-нибудь другой?

При вечернем обходе камер Спорыш как-то случайно бросил взгляд на Прокопа и даже затрясся от страха.

Лицо идиота было страшно, имело такой дикий, не то кровожадный, не то испуганный вид, что у надзирателя мороз прошел по телу. Он вспомнил народное поверье, что дети и звери могут видеть привидения, в то время как взрослые не видят ничего. Что, если и Прокоп?... Да нет, нет, не может этого быть! Однако у надзирателя не хватило смелости проронить хоть словечко Прокопу. Спорыш выскочил из камеры как ошпаренный и еле-еле смог дрожащими руками запереть замки на двери.

Закончив обход, он прохаживался некоторое время по коридору, принуждая себя двигаться и ожидая, что будет дальше. Все, казалось, было в порядке. Но едва только он остановился в конце коридора, противоположном тому, где стоял солдат, как вдруг снова послышался зловеющий визг:

— Гррр, гррр, гррр!

Охваченный нестерпимым страхом, надзиратель издал глухой крик и кинулся что есть мочи в противоположный конец коридора, к солдату, который в это время копался в своем ранце. Едва прозвучал крик надзирателя, скрежет тотчас прекратился.

— Слы... слыш... шали? — задыхаясь, спросил Спорыш солдата.

— Что такое? — равнодушно откликнулся солдат, оборачиваясь к нему.

— Как, что такое? Разве вы не слышали?

— Что я должен был слышать? Ничего не слышал.

— А... а... этот... знаете, такой... скрежет?

— Скрежет?

Солдат, выпучив глаза, уставился на Спорыша, как бы сомневаясь, все ли у него дома?

— Но ведь только что... за минуту... вот так: гррр, гррр, гррр! — тяжело переводя дух, объяснял надзиратель.

— Ладно, ладно, постерегу! — сказал солдат, чтобы как-нибудь замять разговор, заключив, очевидно, что надзиратель где-то хватил лишнего.

Но в эту ночь скрежет больше не повторялся, а солдат, не спавший всю ночь, так ничего и не услышал. И не диво, что он в душе проклинал надзирателя на чем свет стоит, а при утреннем рапорте постарался ему насолить, заявив, будто Спорыш был пьян, зря поднял тревогу и плел что-то несусветное, чего невозможно было понять. Бедный Спорыш, вызванный к начальнику тюрьмы для объяснения, не желая признаться в своих тайных страхах, оправдывался тем, что был не выспавшись, что у него жар, что от этого ему порой мерещится всякая всячина, и просил освободить его на несколько дней от службы, пока он не оправится. Тюремный врач подтвердил ненормальное состояние Спорыша, велел

соблюдать диету и почаще принимать хинин, а начальник дал ему отпуск на три дня, потому что, по мнению врача, болезнь была совсем не опасна и в скором времени должна была пройти.

Стиснув зубы, с темной злобой в душе вышел надзиратель из тюремного здания и, скомкав в кулаке рецепт врача, швырнул его в канаву.

— Болван! — проворчал он. — Щупает пульс, выслушивает грудь и спину и думает, что определил болезнь. А что в душе у человека творится, об этом и не спросит!

Через три дня Спорыш вернулся на работу — с виду спокойный, а на самом деле только ослабевший и опустошенный постоянной тревогой, неизменным страхом, неотступными видениями. Он уже смирился с ними, чувствуя, что уже ничто не вырвет его из рук Панталахи, и покорился своей участи. Спорыш знал наверняка, что в ближайшую ночь снова услышит пронзительный скрежет в тюремной камере, и все-таки надзирателя что-то тянуло к ней, ему хотелось как можно скорее услышать то, что недавно наполняло его такой тревогой, — так осужденный на казнь в смертельной тревоге и в то же время с нетерпением ждет чтения приговора.

И Спорыш не ошибся в своих предчувствиях. В эту же ночь Панталаха опять напомнил о себе своим обычным способом, хотя за время отсутствия надзирателя никто ничего подозрительного в коридоре не слышал. Как раз с того дня перестали ставить часового в коридоре, и, таким образом, Спорыш остался один среди голых стен. С минуту, точно окаменелый, слушал он этот страшный скрежет, и вдруг смертельный ужас охватил все его существо, он кинулся к выходу и ворвался в караульное помещение с иступленным криком:

— Панталаха! Панталаха!

Солдаты мгновенно повскакивали с мест и окружили бледного как смерть, едва державшегося на ногах Спорыша.

— Что случилось? Что там такое? — допытывались все они в один голос, но Спорыш не мог произнести ни слова. Водил блуждающим взглядом по сторонам, зала-

мывал руки, шевелил губами, но никакого звука выдавить не мог.

Караульные двинулись в коридор — в камерах стояла полная тишина. Надзиратель, которого два солдата вели под руки, кивком головы указал на камеру, откуда убежал Панталаха; то, как он дрожал при приближении к ней, свидетельствовало, что именно эта камера явилась причиной его испуга. Взяли у Спорыша ключи, отперли дверь, капрал с тремя солдатами вошли внутрь, осмотрели все, обыскали вплоть до голого тела перепуганного Прокопа, но ничего подозрительного не нашли.

Оставив в коридоре военный пост, отвели надзирателя в караульную и уложили на голые доски топчана. Он лежал безгласный, уставившись в одну точку и время от времени шевелил губами, словно вел неслышную для человеческого слуха беседу с кем-то незримым. К утру он уснул, но беспокойным, горячечным сном. Беспреданно метался, скрежетал зубами, бил кулаками по доскам. Недавняя бледность сменилась лихорадочным румянцем, голова и все тело его пылали, как в огне.

О болезни надзирателя дали знать начальнику тюрьмы. Он прибежал в караульную, подошел к лежащему без памяти Спорышу и коснулся его рукой, словно хотел разбудить. В ту же минуту Спорыш неистово забился на топчане и, вращая налитыми кровью глазами, в диком ужасе снова закричал:

— Панталаха! Панталаха!

И снова утих. Так ничего от него и не добились. Вызванный из тюремной больницы врач установил воспаление мозга и приказал немедленно перенести Спорыша в больницу, выражая сомнение, удастся ли возратить к жизни пациента в таких преклонных годах.

В больнице Спорыш под действием холодных компрессов на несколько минут пришел в себя и сбивчиво рассказал начальнику тюрьмы о скрежете, который он слышал в камере. Это была последняя вспышка сознания. Вскоре снова начался бред и беспмятство, и около полуночи Спорыш закончил жизнь на больничной койке.

Начальник тюрьмы валился с ног от усталости. В сопровождении надзирателя и двух сторожей он до самого обеда производил обыск во всех камерах того коридора, где дежурил Спорыш. Отобрали множество ножей, пил, гвоздей, слепленных из хлеба шахмат, карт, изготовленных из оберточной бумаги, карандашей и тому подобных запрещенных предметов, но ничего такого, что могло бы оправдать подозрение, будто кто-то из арестантов мог пилить железную полосу или решетку. Допросили всех заключенных, не слышал ли кто подозрительного скрежета, — но тут и сам начальник тюрьмы заранее был уверен, что все эти допросы совершенно бесцельны — ни один заключенный не скажет правды, даже если бы и слышал что-нибудь, иначе товарищи объявят его «шухером» (доносчиком) и станут преследовать и изводить на каждом шагу. И действительно, все арестанты, как один, клятвенно уверяли, что никакого скрежета никто из них никогда не слышал.

Неужели это был обман слуха, вызванный болезненным воображением самого Спорыша? Но из рассказа покойного начальник понял, что, когда Спорыш слышал впервые этот скрежет, он был еще совершенно здоров и вовсе не ждал ничего подобного. Можно допустить, что Спорыш ошибся камерой; можно было также предположить, что, услышав о происшествии, виновный арестант мог передать орудие в другую камеру, и поэтому начальник тюрьмы приказал произвести обыск во всех камерах и у всех арестантов поголовно. Обыск не дал ничего, но самое важное было то, что тщательный осмотр всех решеток и железных полос не обнаружил нигде ни малейшего следа пилы.

— К черту лысому! — ворчал то и дело, сплевывая от нетерпения, начальник тюрьмы. Но это был старый скептик: в духов он не верил, но прежде чем успокоиться на мысли, что Спорышу это «почудилось», хотел испробовать все, что могло бы привести к выяснению истины. Вот он и решил еще раз самым тщательным образом обыскать Прокопову камеру. И на этот раз обыск не дал никаких результатов. Начальник ругался

по-чешски и топал ногами, наконец задумался и, приказав сторожам выйти из камеры, остался с глазу на глаз с Прокопом.

— Слюшай, Прокопа, — обратился к нему начальник, — ты ночью спал?

— Спал.

— А слышаль цо?

— Ничего не слышал.

— Неправда! Я знаю, цо ти слышаль.

Прокоп уставился на тюремного начальника своими рачьими глазами и, наконец, с глупой ухмылкой, спросил:

— А вы откуда знаете, что я что-то слышал?

— Откуда зналь? — подхватил начальник. — Я тебе это потом скажу, а теперь ти мне скажи, цо ти слышаль?

— Я... я... не слышал ничего.

— Сто чертей! — топнув ногой, крикнул начальник. — Слюшай, Прокопа, цо я тебе скажу. Приехал твой батько и спрашиваль тебя, сказаль: «А где мой Прокопа, хочу возить его домой. Довольно юж у панов пануваль».

Начальник знал, чем припугнуть Прокопа. Каждый раз, когда отец приезжал проведать сына, тот впадал в такой ужас, что для него не существовало худшей угрозы, чем обещание отправить из тюрьмы домой. Так и на этот раз — Прокоп побледнел, у него затряслись колени.

— Нет... нет... нет! — лепетал он. — Не хочу домой.

— А расскажешь, цо слышаль?

— Расскажу, расскажу.

— Ну, говори.

— А... а... не станете бить?

— Бить? А за цо? — удивился начальник тюрьмы. — За то, цо ти слышаль?

— Да я это сам делал.

— Цо ти делаль?

— А это... такое красивое, что так играло: гrrrr, гrrrr, гrrrr.

Начальник даже подпрыгнул на месте.

— Ти это сделал? А как ти это сделал?

— Как? А вот как!

И Прокоп вынул из своей густой, растрепанной ше-

велюры гусиное перышко, вставил одним концом за железную полосу двери, а за другой конец подергал два-три раза пальцем. И верно, перо, дергаясь и ударяясь об окованную железом дубовую дверь, издавало скрежещущие звуки, подобные визгу пилы, режущей железо. Начальник даже руками всплеснул.

— И зачем же ты это сделал? — спросил он Прокопа.

— Зачем? — Прокоп покосился на тюремного начальника. — Ни за чем, просто так.

— А почему ж никто другой не слышал, кроме Спорыша?

— Спорыша? А кто это Спорыш?

— Не знаешь? Тот пан, цо вчера умер?

— Надзиратель умер? Спорыш умер? — радостно вскрикнул Прокоп. — Ага, это тот, который отобрал у меня то, мое, такое красивое, что мне дал Панталаха.

И, не обращая внимания на начальника тюрьмы, идиот начал приплясывать по камере, хлопая в ладоши и приговаривая:

— А так! А так! Так ему и надо! Пускай не отбирает того, что мое. А я ему за это заиграл, как крестный Панталаха играл в ту ночь, когда хотел убежать. Я будто спал, а все хорошо слышал. А надзиратель вскочил ко мне ночью в камеру и все чего-то искал, да ничего не нашел. А потом уж в камеру не вскакивал, а только стоял под дверью, и слушал, и кричал. А я ему играл так складно! Ха-ха-ха! А он взял да и помер. Так ему и надо!

— Бестия собачья! — буркнул начальник тюрьмы, увидав звериную радость идиота и поняв весь смысл его слов. — Ну, цо с ним зробишь? Чи бить его, чи повесить? Кеды он гльуп, как бут! \* Пусть тебя гром убьет!

И, сплюнув, вышел из камеры.

*Львов, январь 1888*

---

\* Сапог (польск.)

## И Р Р И Г А Ц И Я

### I

Был прекрасный, весенний воскресный день. Празднично и величаво всходило солнце над большим подольским селом Сухобабами. Празднично зеленели вербы над узкой, бегущей вдоль села болотистой речушкой, в которой уже плескались стаи барских уток. Празднично шумела роща на дальнем взгорье, и празднично загудели вскоре церковные колокола. Все в селе, от чисто выбеленных хат до детей, одетых в белые рубашечки, так и говорило, что нынче какой-то праздник — не просто воскресенье, а какой-то особенный праздник.

Вот высыпал из хат народ, направляясь к церкви, — все в самой лучшей своей одежде; вот и детвора длинной цепочкой потянулась из школы в сопровождении нестарого, но, как видно, больного грудью учителя. Священник не выходил еще из дому служить обедню, поэтому люди стоят возле церкви, беседуют, иные посмеиваются, перебрасываются шутками, — но все то и дело посматривают то на дорогу, то на панский дом на краю села, на высоком холме, окруженный старинным, густым и величественным садом.

— Ого, уже Каролько ворота открывает! Едут, едут! — послышались вдруг возгласы, люди засуетились, а те, кто ростом поменьше, начали подыматься на цыпочки, словно в ожидании бог весть какого дива.

— Три! пять! восемь! целых десять повозок! Десять повозок! А панства, панства! И пан маршалок, и нашего пана брат! И его дядя! И паны из Бучалова, и из Палянычина, и из Грабников! Смотрите, смотрите, к мосту повернули! Н-на, вот тебе раз! В передней упряжке кони стали. Упираются, на дыбы встают, не хотят идти! Ха-ха-ха! Мостик-то дырявый, — небось панские рысаки не привыкли к нашему сухобабскому мосту! Ничего, ничего, нехай привыкают! Уперся наш владетельный пан: «Не буду чинить и помогать чинить не буду, — это меня не касается!» Ну, и ладно, мы починили так, как нам нужно, наши лошади не боятся и умеют обходить дыры, а как там его панские кони пройдут, это нас тоже не касается.

Вот такие голоса и выкрики раздавались в собравшейся возле церкви толпе сухобабского люда, а последнее замечание вызвало дружный взрыв смеха. Церковь стояла на взгорке над селом, так что отсюда видно было как на ладони все, что делалось в селе, а особенно на дороге.

— Ха-ха-ха! Смотрите, смотрите, кучера слезли, позакрывали лошадям глаза и так ведут их через мост! И вторую упряжку так же! И третью!.. Ну, перебрались. То-то обозлится наш пан! Войт, эй, войт, вы лучше здесь и не стойте, не показывайтесь на глаза! Обругает вас перед всем панством и перед уездным маршалком!

Но этого и говорить было незачем. Войт и сам знал, что его ждет; он надеялся, что панство пойдет к церкви пешком, и этим утешал себя, но едва увидел, что они едут, — сразу же, не дожидаясь обедни, дал тягу в поле, да так, чтобы никто и не увидел, куда он делся.

Но вот вышел из дому батюшка, молодой еще, низенький и худенький попик, рядом с ним высокая, толстая и полнолицая матушка, а позади них здоровенная и толстая, как бочка, мать попадьи, или как ее в шутку называли в селе — сухобаба. Все трое торопились — батюшка в смущении услышал уже, что господа едут, и спешил начать богослужение до их прихода. Снова загудели колокола на колокольне, засуетились люди, и более пожилые, крестясь, двинулись толпой к церковным

дверям, которые открывал пономарь. Но, хотя двери были уже открыты, никто не входил первым; все расступились широко, на два ряда, чтобы пропустить священника и его дам. Мужики целовали руку батюшке и матушке и низко кланялись сухобабе, а за ее спиной покачивали головами, смеялись и перекидывались кое-какими не совсем деликатными шутками.

Понемногу церковь заполнялась; но еще много народу, особенно младшее поколение, стояло у церкви, наблюдая за длинным рядом богатых карет и экипажей, которые, поблескивая лакированными кузовами и серебряной отделкой упряжи, позванивая колокольчиками, бубенцами и цепочками, медленно катились по селу, вызывая своим появлением из всех хат кучки любопытных, но при этом как-то робко поглядывающих женщин и детей.

— А что, разве я не говорил? — сказал, усмехаясь, один из парубков. — Смотрите, сперва заворачивают к корчме! Сперва в корчму заглянут, а уж после — в церковь!

— Ну, так уж положено, — подхватил другой. — Не знаешь разве, как у них говорится: «Kier świat, goropasja grunt»\*.

— Да, уж сказать по правде, наш пан этою своею корчмой так хвалится! И это у него не корчма, а «казино», — даже вывеску такую приказал повесить, — и еврея-корчмаря нет, свой, из дворовых холуев, орудует, а сивуху такую, пропади она пропадом, продает, что с одной чарки на стену лезешь, такая мерзкая! А еще жалуется, что люди берут водку у корчмаря в Бурчалове, а у него не хотят!

— А я думаю, — сказал селянин постарше, — уж если наш пан такой «постемповец»\*\*, — он выговорил это слово как-то по-особенному, очевидно передразнивая пана, так что все остальные прыснули со смеху, — так пусть бы и корчму свою закрыл и водку гнал. Жалуется же он, что за один только водочный завод в семь раз больше акциза платит, чем налога со всех

\* Все на свете — чепуха, основное — выпивка (польск.)

\*\* Прогрессист, передовой человек (от польского «postępowiec»).

своих полей. Я бы, на его месте, и не платил бы и водку не гнал.

— Э, дядько, — подхватил парубок, — да вы забываете, что это входит в «халтурную миссию»\*, как он говорит. Водочный завод должен быть, потому что это самая лучшая отрасль внутренней промышленности; ну, а если уж пан заботится о том, чтобы водку дома гнать, так должен же он позаботиться и о том, чтобы эту водку мужики выпили. Вот вам и корчма и казино!

— Да о какой «халтурной миссии» ты плетешь, глупый Клим, — выкрикнул кто-то сзади. — Культурная, олух, культурная!

— Нет, политурная! — крикнул кто-то другой. — Знаешь, что такое политура?

— Да пусть там будет, какая хочет, — сказал первый парень, — но я хотел бы одно только знать, — по какой миссии полагается наших собак в поле стрелять? Позавчера выхожу я в поле — идет пан с ружьем. Думаю, — может, на охоту, поклонился ему и говорю: «Бог на помощь!» Не прошел я и ста шагов, как слышу позади меня: бум! Оглядываюсь, а это наш босой — знаете, рыжая наша собачка — только раз тьякнул, да подскочил и — шлеп на землю. Подбегаю, ого, только кровь булькает. А пан уже дальше пошел, только обернулся и крикнул мне: «Пусть мне рожь не топчет!» А там рожь такая, что в ней и курице не скрыться! Стою я, и даже сердце у меня заболело: такая хорошая и чуткая была собачка — и позавидовал враг!

— Вот-вот, а у меня не такое же? — начал было старик, ткнул палкой о землю, но дальнейшую его речь перебили выкрики:

— Уже едут, уже едут! Приближаются!

Словно цыплята, напуганные коршуном, люди поспешили в церковь. Они издалека увидели лицо «своего пана», который, как хозяин, ехал в переднем экипаже рядом с паном уездным маршалком, — и лицо это, красное и надутое, не предвещало им ничего хорошего.

---

\* Польские помещики, вроде пана Зефирина, хвастливо утверждали, будто бы они осуществляют на западноукраинских землях «культурную миссию». В насмешливых репликах крестьян содержится подлинная оценка этой «миссии». — *Ред.*

Возле церкви стало совсем пусто и тихо, только из церкви доносился попеременно то слабый дрожащий тенор священника, то визгливые и пискливые голоса сельских школьников, которые пели хором под управлением своего учителя. Карета за каретой подкатывали к самым дверям церкви, лакеи соскакивали, открывали дверцы и помогали выйти нарядным дамам и толстопузым, во фраках или в кунтушах с кривыми саблями, панам. «Свой пан», как хозяин, вошел первым в церковь со своими двумя лакеями, чтобы сделать свободный проход для панства и осмотреть места, приготовленные для сидения. Не спеша, многоцветной, пахнущей духами волной влилась в церковку целая толпа вельможного панства, наполнив ее бряцаньем сабель и шелестом шелковых платьев. Как раз читалось евангелие, и батюшка вынужден был прервать чтение, пока панство не уселось, а затем произнес коротенькую проповедь на тему: «Блаженны нищие духом, яко тии бога узрят».

## II

Пышно пылает солнце, поднявшись уже высоко-высоко по чистому темноголубому своду неба. Улыбается величественно и милостиво посылает сплошные потоки золотых лучей на роскошную подольскую долину, раскинувшуюся вдоль небольшой речки чуть повыше села Сухобабы, меж отлогих склонов ровной возвышенности, которая простирается, словно волнующееся море, далеко-далеко на восток до Медоборов, а на юг до самого Днестра и дальше. Да и не жалко сегодня праведному солнцу рассыпать столько богатства и блеска над этой небольшой долиной; и она принарядилась и украсилась и полна радости и гордости, как невеста, идущая под венец. Ведь она, вот эта небольшая долина с редкой, художочной травой, вытопанная лошадиными подковами и копытами скота, пересеченная жалкой болотистой речонкой, окруженная вспаханными, но еще не проросшими полями, — она предназначена занять почетное место в истории культуры Подолья, на ней будет сделан первый шаг нашего рационального хозяйствования на запад-

ноевропейский лад, первый опыт искусственного орошения с помощью машины!

Вот посреди долины, на подмостках из крепких дубовых брусьев стоит и эта машина, только что доставленная из Англии, новенькая, блестящая, готовая к работе—словно чужеземный зверь, который, сжавшись в комок, настороженно следит и сверкает глазами, готовый к прыжку. Ее колеса и колесики спокойно дремлют на солнце, а толстый — десять сантиметров в поперечнике—рукав ее помпы растянулся по лугу, безмолвный и таинственный, готовый в самом скором времени испустить обильные потоки — только неизвестно, плодотворной ли благодати, или горькой издевки. Широкое, огражденное решеткой всасывающее отверстие этой помпы—храпок — давно уже лежит на дне речки, которую пришлось запрудить, ибо ее воды не хватало даже на то, чтобы совсем покрыть железный бочонок этого храпка. Неподалеку от машины — толстый столб, врытый в землю, а поперек этого столба — крепкая перекладина, окованная обсадными кольцами, на обоих концах которой—по вальку для постромок и сбруя; это конский привод, соединенный с машиной проложенным под землей валом и зубчатыми колесами, передающими силу оборота лошадей по кругу на помпу. Машина и привод убраны венками из зелени и цветов и красно-белыми флажками, которые в этой ничем не нарушаемой тишине свернулись, обвисли к земле и тоже спокойно дремлют на солнце.

А подалее в стороне — охо-хо! что это за редкое и необычное зрелище! На толстых веревках и расписных кольях раскинут большой полушелковый шатер — настоящий полевой шатер какого-то гетмана или полковника, предка владетеля Сухобаб, Зефирина Андрониковского. Двести лет этот шатер мирно почивал в укромном месте, то есть в старом сундуке на чердаке панского дома, немало дыр проели в нем мыши и моль, — но что с того? Почему бы этим бранным останкам дедовской славы не возвеличить новый момент славы современной, которая зиждется уже не на войнах, битвах и кровавых плясках, а на мирном прогрессе, на труде ума и рук? Вот и приказал пан Зефирин вытащить старую памятку, зашить, заштопать и раскинуть на лугу. В шатре по-

ставлен стол, и на нем приготовлено богатое угощение для высоких гостей. Вертится там целая куча лакеев и дворовых людей — одни в ливреях, другие просто в куртках из какого-то полосатого бело-красного ситца, как комедианты. Они громко переговариваются, накрывают на стол, стучат тарелками, брякают вилками, ножами, звенят стаканами, тащат корзины с вином, бочонки с вишнежкой, медом и водкой, суетятся, хохочут и второпях ссорятся, потому что в церкви уже закончилась служба и по дороге из села вдоль речки, подымая пыль, едут уже гуськом блестящие кареты и экипажи с ясновельможным панством. А за каретами в отдалении движется толпа селян — мужики, бабы и молодежь, а в самом конце, как овцы, утопая в клубах пыли, плетутся школьники под присмотром учителя.

— Все готово? — раздался громкий, звучный голос пана Зефирина — он вместе с паном маршалком примчался первым и, выскочив из экипажа, направился в шатер, предоставив двум лакеям высаживать и провожать, поддерживая под руки, через мостки над канавой, отделяющей панский луг от крестьянского, грузную, неповоротливую особу пана маршалка.

— Все готово, ясновельможный пан, — отрапортовал, вытянувшись, панский камердинер Степан, переименованный в Теофана.

— Ведь на вас никогда ни в чем нельзя положиться, — сказал пан Зефирин и, как хороший хозяин, сам пошел осмотреть все в шатре. Слуги застыли неподвижно по углам, только Теофан следовал за паном, подавшись вперед верхней частью туловища, словно готовясь вот-вот куда-нибудь устремиться, ловить кого-нибудь.

— Ну, побойтесь бога, как все это расставлено! — даже с какою-то болью закричал пан Зефирин. — Где рыба? Где поросенок? Почему не все так поставлено, как я тебе говорил, Теофан, бревно стоеросовое, а?

Пан Зефирин был великий искусник по части «наряжания», то есть сервировки столов. За это свое искусство он удостоился похвал и комплиментов из уст многих высокопоставленных особ, даже из уст самой княгини Шметтерлинг. Потому и не удивительно, что здесь, у себя дома, он вправе был наблюдать, чтобы стол всегда

был накрыт так, как он сам распорядился, был вправе гневаться, если что-нибудь было не по его вкусу. Слуги знали это и послушно подчинялись; в одну минуту все было расставлено так, как он приказал.

— Ну, видите, дурачье! — с видом внутреннего удовлетворения поучал слуг пан Зефирин, — что значит немножко смазки в голове. Вы тут навалили, нагромоздили, ни лада, ни склада, — а теперь вот видите! Полный порядок, что кому понадобится, тот сразу это и найдет, и с каким вкусом всё!

И пан Зефирин, довольный, обвел взглядом стол.

— А как же, прошу прощения у ясновельможного пана, — сказал Теофан за его спиной. Остальные слуги ничего не сказали, только глаза их жадно бегали по яствам и питьям, расставленным на столе, и, наверно, не один из них подумал: «Черт бы побрал твой вкус, если нам от него не останется и косточки поглотать».

Тем временем все гости этого новомодного празднества уже собрались. Господа выходили из карет и экипажей и с любопытством осматривали машину, дамы тыкали зонтиками в ее железные бока. Селяне большой толпой стояли в сторонке, искоса поглядывая то на машину, то на шатер, откуда доносился приятный запах холодного мяса и звон передвигаемого стекла. Детвора, поставленная особой группой, с любопытством таращила глазенки на панские наряды, на накрытый стол в шатре, иные ребята в середине группы толкались, шушукались и потихоньку смеялись, но сразу же утихали, когда учитель грозил им кулаком. Священник надел епитрахиль, пономарь приготовил столик для служения молебна и принес воды из речки для освящения. Начался молебен и освящение воды. Пела детвора под управлением учителя. Священник окропил святой водой машину, и конный привод, и всех присутствующих.

— Пусть же этот чужеземец, что ныне впервые пришел гостем на наше поле, станет нашим добрым другом и верным помощником, пусть содействует при божьей помощи умножению плодов земных и славы господней! Благослови, господи! — Этими словами закончил свою речь батюшка, снимая с себя епитрахиль.

— Дай боже, дай боже! — воскликнул пан Зефирин,

а за ним все гости подхватили хором: «Дай боже!» Среди общего движения пан Зефирин подошел к священнику, с благодарностью пожал ему руку, всунул в эту руку завернутый в бумажку червонец — это была его обычная плата за всякую торжественную потребу — и спросил:

— Вы уезжаете, батюшка?

— Уезжаю, — сказал батюшка с кислой миной, окинув тоскливым взглядом накрытый в шатре стол.

— Микита, — позвал пан Зефирин одного из кучеров, — подъезжай ближе. Отвезешь батюшку домой и возвращайся обратно! Прошу, прошу, господа, пожаловать на легкий завтрак!..

### III

Легкий завтрак продолжался уже два часа. Господа не торопились, разговаривали, шутили. Селяне в это время осматривали машину, конный привод, пробовали даже вращать его, впрягаясь по несколько человек в каждую шлею; старики покачивали головами, изредка кидая отрывистые слова: «панская фантазия», «мотовство» и тому подобное. Наконец, по распоряжению пана Зефирина, слуги крикнули селянам, чтобы они садились рядами на лугу, и вынесли им бочонок водки и корзину белого хлеба на закуску. Теофан раздавал угощение. Школьников позвали ближе и построили в четыре ряда, у самого входа в шатер; им роздали по рюмочке меда и по пирожку на закуску, чтобы хорошо пели.

Завтрак окончился, пан маршалок, налив себе добрую рюмку вишневки (он очень любил этот напиток, особенно хвалил сухобабскую вишневку, — такой, дескать, нигде не умеют делать), поднялся с кресла, тяжело дыша и опираясь обеими руками о стол. Он громко откашлялся, чтобы обратить на себя всеобщее внимание, — и шум сразу затих. Затем он вынул из кармана платок, вытер им потное, широкое и толстое, почти квадратное, а к тому же еще по-английски выбритое лицо, уставился своими серыми заплывшими глазками в машину, поднял руку и, указывая ею на ту же машину, после минутного размышления заговорил густым басом, начав, по своему обычаю, с середины мысли:

— А потому, господа, да здравствует культура!

Эффектной паузой, необходимой после такого призыва, пан маршалок воспользовался таким образом: он одним духом осушил свою рюмку вишневки и подставил пустую Теофану, чтобы тот наполнил ее снова. Гости, зная ораторскую манеру пана маршалка, молчали, — некоторые пригубили и свои рюмки. А пан маршалок, громко щелкнув языком и вытерев губы салфеткой, начал вдруг совсем иным тоном, как бы силою пара выталкивая слова из своего нутра:

— Как из рукава этой машины через минуту польется обильная струя воды, орошая и оплодотворяя эти луга, так вместе с этой водой пусть все шире, все сильнее разливается благодатное влияние культуры и западноевропейского прогресса по нашему благословенному Подолью! Здесь широкое поле, мир открыт, как сказал поэт. В нашей родной подольской земле лежат величайшие сокровища и ждут только умелой руки, способной воспользоваться ими. Плодородная земля, мирное небо, рыбные воды, тихий и к труду привычный народ — все это, господа, так сказать, ресурсы, естественные источники богатства, — это та подоплека, то основание, тот фундамент, на котором может и должно быть воздвигнуто пышное здание культуры и прогресса. А здесь, мое панство, среди нас — один из пионеров и выдающихся представителей этого благодатного стремления к культуре и прогрессу. Это наш достопочтенный сосед, наш дорогой хозяин, наш ученый и наш поэт, слава и честь нашего уезда, пан Зефирин Андрониковский.

Новая эффектная пауза. Пан маршалок глубоко вздыхает, словно сбросил с плеч какую-то большую тяжесть, и в изнеможении опускает голову. Только рука его, держащая рюмку вишневки, машинально протягивается поперек стола, чтобы чокнуться с паном Зефрином. Затем, так же машинально и не глядя даже, как бы мимоходом, пан маршалок осушает свою рюмку и, мерно раскачивая туловище, снова начинает другим, уже совсем элегическим тоном:

— Говорить ли о его жизни, его трудах, его заслугах? О, это не в моих силах, да и не пришло еще время для этого. Потомство, господа, потомство оценит их

вполне! А я напому вам только то, что вы и сами знаете. Отец его — боже мой, так и кажется, что он здесь, среди нас, что он не умер, не мог умереть, незабвенный Калясантий! Кто его не знал? Кто с ним не дружил? Кто не был ему обязан благодеянием, помощью, приятельской услугой или хотя бы добрым советом? Но не о нем речь. Итоги трудов своих оставил он достойному наследнику своего имени, единственному своему сыну. А что же этот сын, ставший наследником отцовского состояния, что же он сделал? Отказался от родительского имения? Нет! Он покинул столицу с ее удовольствиями и забавами, покинул даже школу, где ему уже вот-вот улыбались экзамены и диплом, орлом прилетел в Сухобабы, чтобы отцовское добро не осталось без отцовского глаза. Все осмотрел, все привел в порядок. И сохранил ли он прежнюю рутину? Нет! Он сразу проявил себя прогрессистом, врагом закоснелой рутины. Сразу завел новую администрацию по своему оригинальному плану, новую бухгалтерию — одним словом, новые порядки — и только тогда, наладив все, уехал за границу завершать курс учения. Не манили его Карлсбады, Мераны и Остенде<sup>10</sup>, а если он и бывал там, то лишь для поправления надорванного работой здоровья и для глубоко-философского изучения человеческих сердец. Плодом этой работы и была его знаменитая книга, пронизанная настоящими перлами ума и таланта, — я говорю о его книге: «Философ в Карлсбаде, Меране и Остенде». Все мы ее знаем, а нашей многообещающей молодежи она служит практическим руководством, — лучшее доказательство ее неопенимого достоинства. Но, витая духом в самых высоких сферах мышления, он одновременно не выпускал из глаз и практических, жизненных интересов своего родительского имения. Пребывая зимой дома, он не бездельничал, а занимался важными, капитальными исследованиями и на их основе написал вторую неопенимую книгу: «Пропинация<sup>11</sup>, ее историческая основа, ее современное состояние и будущее развитие». Говорить ли о высоком значении этого дела? Или о впечатлении, которое произвела книга на широкую публику и даже за границей? Нет, помолчу, чтобы не повторять вещей слишком известных.

Во время минутной передышки, наступившей в этом месте, пан маршалок повторил одну известную вещь, то есть опорожнил рюмку и кивнул Теофану — налить другую. Затем продолжал свою речь.

— Англия манила его к себе, Англия, этот край высшего духовного расцвета и наибольшей практичности. Здесь он завершил свои исследования. Здесь он написал третью свою книгу, которая достойно увенчала его научную деятельность: «Английский лендлорд и подольский шляхтич, историческая параллель». Отсюда, наконец, он задумал пересадить на наши благодатные поля вот это рациональное хозяйствование, которым тот край справедливо славится. И чем же мы ответили на все это, господа, а? Что же мы можем другое сделать, как не сказать ему от всего сердца: «Бог в помощь!» Да здравствует наш первый рациональный хозяин, наш пионер культуры и прогресса, пан Зефирин Андрониковский! Да здравствует!

— Да здравствует! Да здравствует! — зашумели гости, чокаясь с покрасневшим от радости и от сильной жары паном Зефирином.

— Да здравствует! Виват! — заревели перед шатром сбитые в кучу дворовые, а за ними и стоявшие поодаль селяне. Засуетился и учитель, он начал подталкивать и собирать в группу своих школяров, к которым присоединилось несколько парней и селян постарше, и они нестройным хором запищали и загудели:

— Да здравствует наш пан помещик! На многие лета! Многая, многая лета!

Пропели, растягивая это «многая» изо всех сил. Господа и дамы отчасти удивленно, а отчасти с сожалением смотрели то на охрипших сельских школьников, поющих по нстам, то на учителя, который, весь потный, буквально лез из кожи, и такт отбивая, и подтягивая всеми голосами, чуть только какой-нибудь грозил сбиться, и подталкивая ленивых и робких, и грозя тем, кто запускал козла. Бедный учитель! Нынешний день был для него подлинной мукой, и освящение первых початков сухобабского прогресса пришлось ему после испустить двухнедельной хрипотой!

Демократизм в Европе — вещь обязательная для каждого прогрессиста. А пан Зефирин и прогрессист, и европеец, как же ему не быть и демократом? А демократизм чего требует? Прежде всего интересы народа, а потом уже — интересы шляхты. Поэтому и не удивительно, что пан Зефирин, сердечно пожав руку пану маршалку, сказал:

— От души благодарю вас, высокочтимый и дорогой наш пан маршалок, и вас всех, милые соседи, за выражения вашей симпатии ко мне! Но прежде, чем я буду иметь честь подробнее высказать все, что скопилось у меня на сердце и на уме в нынешний праздник, позвольте мне исполнить свой хозяйский долг перед лицом собравшегося здесь народа!

— О, просим, просим! — зашумели гости, не зная даже, что это за долг.

Пан Зефирин вышел из шатра к селянам, за ним и все гости. С обнаженной головой, поблескивая лысиной на макушке, он важно подошел к селянам и, попросив их слегка расступиться и стать перед ним полукругом, приветствовал их поднятием руки и громко, с подъемом сказал:

— Благодарю вас, люди, за то, что вы были так дсбры и пришли на наш нынешний праздник. Вы тут кое-чего не понимаете, так я вам объясню. Видите этот луг? Правда, на нем пусто, трава не хочет расти, а почему? Потому что здесь земля такая: то все горит на ней, то вымокает. Когда нужна вода, так ее нет, а когда не нужно — ее через край. Ну, чем пособить? Вы бы, я знаю, один за другим, заложили бы руки за пояс и сказали бы: «Э, божья воля! Если бог даст, так будет вода, а если бог даст, так и посохнет все». Оно-то верно, божья воля во всем, но умный человек скажет: «На бога надейся, а сам не плошай». Видите, здесь бежит речушка, ее тоже бог дал. А умный человек скажет: «А что, если бы в засуху эту речушку повернуть на луг?» — «Э, — скажете вы, — как же ее повернуть, если луг на целую сажень выше реки?» Но умный человек скажет вам на это: «Дураки вы! Разве уж это такая большая штука—

направить воду туда, куда человек хочет? Разве для этого не изобрели машины?» Вот вы и видите такую машину перед собою: вот это помпа, а это конный привод, — запряжем пару лошадей и будем качать воду из речки на луг. В Англии и в других странах давно уже этим способом пользуются, а у нас это первый опыт. А называется такое дело: ирригация, — знаете? Повторите: ирригация!

— Рыгация! — загудели хором селяне.

— Не рыгация, а ирригация! — поправил пан Зефирин, — это значит: орошение! Вот здесь, видите, у меня пятьдесят моргов луга, и до сих пор один морг едва приносил мне десять гульденов чистого дохода. Теперь смотрите, какой здесь простой расчет. Вот эта машина стоит мне вместе с пересылкой из Англии пять тысяч гульденов, а какие луга после такой ирригации, это я сам видел, тут и рассказывать нечего! Словом, если доход с морга лишь удвоится, то за пять лет и машина моя окупится и луг у меня будет такой, что хоть в оправу вставляй. Видите, что значит образование!

— Видим, видим! — загудели селяне, а хор снова проскрипел «многая лета».

— Ну, а теперь бегите за лошадьми, запрягайте и сделаем первую пробу! — сказал пан Зефирин. Несколькo парней бросилось, и через минуту лошади были на месте, запряжены и готовы. Дворовый слесарь и машинист осмотрел, все ли в порядке, и крикнул: «Можно!» Тогда пан Зефирин скомандовал:

— Ну, во имя божье — давай!

Лошади тронулись, не торопясь, медленно и спокойно, — умели ходить в приводе. В запруженной речонке воды было достаточно, и она полилась на луг мощной струей, быстро расходясь серебристыми живыми ручейками все дальше и дальше по траве. Панство некоторое время смотрело с любопытством, а потом начало уходить в шатер, потому что было очень жарко. Только селяне продолжали наблюдать за машиной и лошадьми, внимательно следя за каждым движением; они делали вполголоса свои замечания, но до пана Зефирина их слова не доходили. Хор снова что-то пропел, чуть ли не «Мир вам, братья».

— Даць им вудки! — крикнул пан Зефирин польски своим дворовым, те метнулись к столу, возле которого стояли бочки с водкой, и начали угощать селян. Между тем господам снова наполнили бокалы. Пан Зефирин поднял свой бокал, и все за ним подняли свои. Он кашлянул, сделав шаг к пану маршалку, и сказал:

— Дорогой сосед и высокочтимый пан маршалок! Пью этот бокал и надеюсь, что все вы выпьете свои вместе со мной за наше великое, общее, жизненное дело, за культурную миссию панской усадьбы среди сельской общины!

Поднятая вверх рука Зефирина — как видно от большого внутреннего напряжения — начала дрожать, вино расплескивалось. Чтобы выйти из этого положения, он выпил бокал, а за ним выпили все гости, и пока слуги наполняли бокалы снова, он продолжал свою речь:

— Да, культурная миссия помещичьей усадьбы на селе — это наша великая задача, это подлинный прогресс, над распространением которого я тружусь и буду трудиться, пока силы у меня хватит! Правда, я не возражаю против того, что сказал наш дорогой маршалок. Щедро рассыпала природа свои дары над нашим Подольем. И усадьба помещика и хата селянина могут жить в достатке и согласии, помогая друг другу взаимно. Чего мы добиваемся от селян, это мы все знаем и это можно выразить несколькими словами: набожность, покорность, трудолюбие. Набожным должен быть селянин, потому что, если у него не станет бога, не станет этой невидимой карающей руки, он в тот же миг превратится в дикого зверя и пожрет нас. Покорным должен быть селянин, чтобы честно исполнять свои обязанности сдержать данное слово, ибо ведь в этом — основа всего гражданского порядка, только это дает ему право быть гражданином конституционного государства. А трудолюбивым селянин должен быть. Ну, это известно, ведь если не заработает, так и есть не будет. Это так, мое панство, все мы это знаем. А все ли мы также знаем и наши обязанности в отношении селянина? Все ли мы знаем, чем мы для него являемся и чем должны быть? Не желая обидеть никого из присутствующих здесь,

осмелюсь все же сказать, что не все знаем это так ясно и четко, как следовало бы.

Как будто легким осенним ветерком повеяло на всех собравшихся. Квадратное лицо пана маршалка побагровело не то от вишневки, не то от досады, потому что был он человек, как говорили, «с юмором и темпераментом», а особенно во хмелю. У иных гостей губы опустились уголками вниз. У других поднялись вверх от неприметной иронической усмешки, — но, впрочем, все было тихо, учтиво и прилично, как и полагалось на таком возвышенном торжестве. А пан Зефирин продолжал говорить:

— Да, господа, не все знаем! Ибо — что представляет собою усадьба помещика на селе? Представляет традицию, интеллект и капитал. Это те три источника, из которых вытекают наши права, но вместе с тем и наши обязанности. Какие права дает нам традиция? Право на почет и уважение со стороны сельского люда, то право морального превосходства, которое вытекает из сознания великих заслуг наших предков и блестящего прошлого, единственными представителями и хранителями которого являемся мы. Но, пользуясь этими правами, какие же мы несем обязанности, возложенные на нас этой традицией? О, конечно, великие и святые! Хранить ее дорогие останки, лелеять в своих сердцах дух прошлого, святую и неугасимую любовь к отчизне и те незабвенные добродетели, коими предки наши на весь мир сияли, ту рыцарскую энергию, ту гордую независимость в соединении с непрестанной заботой об общем благе, ту готовность к жертвам ради пользы общества, так много блестящих примеров которой запечатлено на каждой странице нашей истории!

— Зебжидовский, Зборовский, Радзейовский, Опалинский, Сицинский, Счастный-Потоцкий,<sup>12</sup> — вполголоса перечислил по пальцам пан маршалок как бы для собственной памяти — и лица всех присутствовавших вспыхнули ярким румянцем, не то со стыда, не то от негодования, не то просто от невинного смущения из-за того, что такой уважаемый человек столь неуместно перебивает такую красивую речь, да к тому же — хозяина дома. Пан Зефирин, хотя тоже весь вспыхнул, но сде-

лал вид, что не слышал этих слов, и, откашлявшись, продолжал:

— Какие права дает нам интеллект? Права естественных и единственных руководителей, защитников и представителей народа. А обязанности? Быть наставниками и просветителями. Света нужно нашему народу, — все мы это повторяем, — но ведь надо нам знать, что только от нас он может получить этот свет, истинный, не тот, что разжигает пожар, а тот, что светит, да не греет, то есть, *parдон\**, не сжигает! Смотрите, господа, одно зрелище такой машины больше научит мужика, чем десять книг. Мужику нужны не теории, а практические знания — иных он не поймет, иные ему не нужны и вредны. А такие практические знания должны и могут идти лишь из усадьбы помещика. Как жизнь помещика и его семьи должна быть для мужика образцом морали, так вся помещичья усадьба должна быть для него школой, музеем, экспериментальным кабинетом, вечно открытой книгой. И как из насоса этой машины льется благодатная вода на пересохшую землю, так из усадьбы помещика должна неустанно литься...

«Тррах!» — раздалось тут за шатром.

— Что там? Что там? — закричали господа, заволновались и повалили толпой к машине. Посреди луга стояла уже огромная лужа воды, но зато речушка была почти до дна исчерпана. А около машины суетились люди, метался озабоченный слесарь. Лошади стояли.

— Что тут случилось? — закричал, прибежав, пан Зефирин.

— А кто его знает, что, — почесывая затылки, отвечали парни, держа лошадей, — что-то в машине треснуло, и вода перестала идти.

— Да чему тут идти, если в речке сухо, — едко заметил пан маршалок.

— В том-то и дело, прошу прощения у ясновельможного пана, — заговорил слесарь, — помпа чересчур велика для этой речки, а как не стало воды, так в храпок набился ил. Илом забило клапан, лошади дернули, и толчком сломало клапан.

---

\* Простите (франц.)

Пан Зефирин даже посинел от злости и, не помня себя, исступленно крикнул:

— А чтобы вас громом побило, ослы безмозглые! Почему же вы не прекратили, когда увидели, что воды нет? Теперь нужно будет посылать машину для починки назад в Англию, ведь здесь ни один дурак ее не исправит!

## V

Пани Целина Андрониковская больна и к гостям не выходила. И болезнь у нее не простая, — посмотришь со стороны на ее румяные, полные щеки, роскошный стан, блестящие глаза и наверняка подумаешь: «Пошли бог на всю жизнь такую болезнь!» Но не все то золото, что блестит. Хотя пани Целина, кажется, совсем здорова, но вот нервы, нервы — вот в чем ее несчастье. Ничего у нее не болит, аппетит хороший, сон хороший, желудок работает хорошо, а все-таки чувствует она каждую минуту, что нервы ее «страшно напряжены», «как струны лютни», говорит она, что достаточно легчайшего прикосновения, резкого звука, дуновения ветерка, чтобы их раздражить, расстроить, взвинтить, свалить ее с ног, довести до судорог, до полусмерти. Ужасная это болезнь, тем более ужасная, что именно ее нежно и сердечно любимый муж, пан Зефирин, обладает несчастной способностью раздражать и расстраивать ее бедные нервы. Довольно ей через стенку услышать, как он идет по коридору и скрипит ботинками или как он ходит по своей комнате и посвистывает, довольно, чтобы до ее носа долетел запах его дорогой сигары, до ее слуха — шелест страниц книги, которую он читает, — и уже беда тут как тут. Так и повалится, запищит, завизжит, застучит руками и ногами, а покажись ей на глаза в такой момент любимый муж, и, не приведи господь, умерла бы, кажется, на месте. И вынужден бедный Зефирин, как только слышит визг и беготню по коридору, тут же бежать из комнаты, из дому, потому что бывает и так даже, что одно лишь его присутствие за стеной, а то и за двумя, какою-то магнетической силой действует на «страшно напряженные» нервы его жены и

ухудшает ее состояние. Но самое странное вот что: запах засаленных еврейских халатов и селянских кожаных, юхтовых и дегтем смазанных сапог, измаранных в конюшне и в грязи ног, стук валька, ступы, цепов, кузнечных молотов, свист машины, лай собак, лязг ножей в кухне, криканье уток, крик иной птицы, рев скота — все это почти никакого влияния не оказывало на ее нервы. «Моя организация так нежна, — говорила она, — что все эти грубые толчки проносятся, не задевая меня, и только самые тонкие, самые нежные струны моей души способны издавать звуки и подчиняться посторонним влияниям». А когда пан Зефирин порой удивлялся, отчего это происходит, что именно его персона обладает таким фатальным влиянием на ее «струны», она очаровательной, смущенной улыбкой шептала ему:

— Потому что я тебя очень, очень люблю! Самые нежные струны моей души неразрывно связаны с тобою, от каждого твоего движения они уже дрожат. Знаешь, как магнитная стрелка дрожит, когда приблизить к ней железо. Такая стрелка — это я, а ты — железо!

Как ни лестно было для пана Зефирина такое сравнение, но все же вечное дрожание его возлюбленной «стрелки» сперва казалось ему странным, а затем сделалось досадным и неприятным. Он тысячи потратил, возя жену по всяким купаньям и курортам, но излечить диковинную болезнь оказалось невозможно. Никто не знал даже, когда эта болезнь начиналась, а пани Целина меньше всего. Как-то вдруг нашло это на нее, и все, и это ровно через год после ее замужества. Раньше была здоровехонька, и вдруг — нервы! И вот уже пять лет она, несчастная, хоть и цветет телом и красивая, как роза, а нервами не то живет, не то умирает.

Уже и врачи от нее отказались — кроме одного, и то такого, что просто удивительно, чем он ей мог понравиться. Простой цирюльник из местечка Болотяного, к тому же еврей. Правда, называет себя магистром фармации и хирургии, но на ярмарках пускает кровь мужикам и рвет зубы, так что пыль столбом! Правда, являясь в панский дом в Сухобабах, он одет по-европейски, выбрит, надушен — одним словом, джентльмен. Ростом невелик, с низким лбом, длинным кривым носом,

тонкими губами и широким ртом, скуластый, с длинными, как у обезьяны, руками и коротенькими ножками, однако ловок, проворен, говорлив, а уж какой забавник! Одним словом, сумел внушить к себе полное доверие больной госпожи.

— Этот Фледермаус один только и держит меня на свете, — говорит иногда, как бы мимоходом пани Целина.

— Ну, не понимаю, как такой дурак-брадобрей может тебе помочь, если самые знаменитые врачи не могли этого сделать? — говорит пан Зефирин.

— Что ж, мой дорогой, — оживляется пани, — иногда и слепая курица зерно находит. А Фледермаус, хоть врач он и неважный, но диагноз у него, милый мой, диагноз! Знаешь, это уж такой дар у человека, можно сказать, врожденный!

— Ну, и какой же он поставил диагноз твоей болезни? Что это за болезнь?

— Не знаю. Это еще, говорит, его секрет. Должен проверить, установить, а тогда...

Уже два года навещает пани Фледермаус и все старается установить, правилен ли его диагноз, но еще, как видно, по-настоящему не установлен. А пани все болеет и болеет: ни смерти, ни облегчения. Пану Зефирину это уже и надоедать стало, но он ничего не говорит, чтобы не попортить жениных струн, — больше занимается общественными делами.

Час послеобеденный. Пани Целина с постели не вставала, в постели и пообедала. Пан Зефирин пообедал один, потому что гости прямо с луга разъехались, оставив там пустой шатер, множество пустых бутылок, испорченную машину и пана Зефирина в великом гневе. «Орошение принесло ему раздражение», — посмеивался пан маршалок, покачиваясь в своем экипаже. И другие гости, каждый про себя, не жалели иронических замечаний, но пан Зефирин не слышал ничего.

Пани Целина после обеда в хорошем настроении, утром был Фледермаус и около двух часов продолжал ставить свой диагноз; чудесным образом от этого диагноза пани Целине становилось как-то легче, нервы успокаивались. Она звонит и велит попросить к ней пана Зефирина. Последний немало удивился, потому

что такое чудо у них — редкость; кислый, раздраженный, идет он в комнату жены, не забывая натянуть мягкие калоши на ботинки, чтобы опять не раздражить ее нервов.

— Ну, мой милый Фирцик, — весело зашебетала пани, — порадуйся со мной, пан Фледермаус обещал, что я скоро буду здорова!

— Дай бог, дай бог, пора бы уже! — как-то холодно процедил пан Зефирин.

— Ты так холодно это говоришь? Ты меня уже не любишь! Тебе все равно, живу я или умираю. О, боже мой!

— Но, Линочка, побойся бога, что ты говоришь? Я тебя не люблю? Душечка моя! Прости меня! Этот холодный тон совсем по другой причине!

— По какой?

— Да так, всё заботы, моя милая. А особенно еще сегодня. Ты знаешь, я привез из Англии машину для ирригации, сегодня и освятили. И представь себе, как эти олухи начали качать, так напустили внутрь ила и камешков, забили клапан в помпе, а когда лошади рванули, клапан и сломало. Теперь надо машину посылать обратно в Англию для починки.

— Ха-ха-ха! — засмеялась пани Целина своим звонким смехом, который у любой другой, обычной женщины свидетельствовал бы об идеальном здоровье. — Это забавно! Бедный мой Фирцик! Жаль мне тебя, незадачливый хозяин! А что же твои гости? Я слышала, что и этот противный маршалок был среди них?

— Был! — даже с огорчением воскликнул пан Зефирин. — Ты представить себе не можешь, что это за грубиян. Сначала пьет без передышки, а потом языку волю дает. И сердиться на него нельзя, потому что он после от всего откажется: «Э, дорогой сосед, это твоя знаменитая вишневка из меня говорила, а я, ей-богу, и в мысли не держал тебя обидеть!» А как машина сломалась, так он чуть не лопнул от радости. Представь себе: прикидывается совсем пьяным и будто по ошибке при всех гостях подходит ко мне, жмет руку и поздравляет! Как я сдержался и не наговорил ему грубостей, и сам не знаю.

— И охота тебе возиться и нянчиться с этим старым банкротом! Я на твоём месте спросила бы его, хорошие ли раки плодятся у него в подвалах его замка?

Пан Зефирин засмеялся.

— Что ж, душечка, — нельзя. Хоть и банкрот, а все-таки бывший миллионер и теперь еще на два года маршалок уездный. Правда, миллион свой он утопил, строя посреди пруда замок, у которого еще верх не закончен, а фундамент уже в воду полез, но ты знаешь, что замок у него больное место, не надо его задевать.

— А тебя поздравлять, когда машина испортилась, это значит — не задевать?

— Так-то оно так, но что поделаешь? Он, как маршалок, мог бы навредить, а что я ему сделаю? Лучше, думаю себе, не трогать беду, пусть сама исчезнет.

Разговор перешел на другое. Пани Целина оживилась, положила прекрасную головку на хорошенький локоток, ее густые золотисто-желтые косы пышными волнами ниспадали на ее грудь и плечи, глаза сверкали, губы, красные, как калина, так и просили поцелуя, пану Зефирину невольно вспомнились первые месяцы их совместной жизни. Он подсел ближе, взял ее руку и поцеловал. Она ничего, он поцеловал еще раз. Разговор продолжался. Пани Целина говорила, словно не замечая, как пан Зефирин наклонился и поцеловал ее в белое круглое плечо. Но когда бедняга наклонился еще ниже и прикоснулся губами к ее румяной щеке, неловко повернувшись при этом в кресле, так, что оно скрипнуло, пани Целина сразу закричала, завизжала пронизывающим душу голосом, бросилась навзничь и начала метаться по постели, словно в ужасных муках. Испуганный пан Зефирин побледнел, не зная, что делать: оказывать ли помощь больной, или спастись бегством, чтобы не причинить ей своим прикосновением еще большей боли. К счастью, прибежали две горничные, им на руки сдал пан Зефирин свою супругу, и сам потихоньку убрался к себе в кабинет. Еще с полчаса слышен был крик и визг несчастной жены, затем все утихло.

— Вот горе мое, — говорил пан Зефирин своему верному Теофану, — несчастье с такой женой. А что у нее — и сам не знаю. Вот и живи с ней! Теофан!

- К услугам вельможного пана!  
— Сходи в село и скажи Одарке Ключниковой, чтобы пришла ко мне.  
— Одарка больна, вельможный пан.  
— Так скажи Насте Шарваркивне.  
— Настя ушла в город, — была здесь утром и ушла.  
— Sacrebleu!\* Была здесь, и ты мне не сказал?  
— Вельможный пан был с гостями.  
— Ну, так ступай к кому хочешь, пусть придет какая-нибудь. Только, знаешь, из тех, что мне нравятся.  
— Знаю, знаю, — сказал Теофан и вышел.

## VI

Прошло полгода. На дворе осень. Исправленная машина давно возвратилась из Англии, давно залила водой весь луг и превратила его в огромный пруд. Летом вместо луговой травы порос он осокой и ситняком, а кое-где кучками появился камыш. В то время когда у людей была косовица, на панском лугу квакали лягушки. Все село покатывалось со смеху, а пан Зефирин только плевался и чуть ли не до крови тер лысицу. А работники все качали да качали воду из речонки.

— Да перестанете ли вы, черт подери, качать! — закричал, наконец, пан Зефирин. — Разве не видите, что луг уже в пруд превратился?

— Как вельможный пан сказали, так мы и делаем.

— Сказали, сказали! — передразнивал пан Зефирин. — Собственного ума у вас не хватает, чтобы самим догадаться, что и как делать! Все вам скажи да скажи! Тьфу!

Работники выпрягли лошадей и оставили машину на лугу в покое.

«Пусть немножко сойдет вода, — рассуждал пан Зефирин, — тогда политая земля быстро порастет травой, и хоть к осени можно будет косить».

Но вода не убавлялась, должно быть под тонким пластом чернозема был такой слой глины, что не про-

---

\* Черт возьми! (франц.)

пускал воду. Луг раскис, превратился в болото и вовсе не думал покрываться травой. Только осока и другие водные травы разрастались во всю прыть.

— Скверная история! — восклицал пан Зефирин всякий раз, когда осматривал несчастный луг. — Придется обратно осушать — и все.

Но для сушки нужна была рабочая сила, а ее пришлось ждать до осени. Как раз сегодня нанял пан Зефирин людей из своего села за двести гульденов, осушить его луг. А машину, которая тем временем снова испортилась, приказал разобрать и отвезти в усадьбу.

В прескверном настроении после всех этих дел ходил пан Зефирин по своему кабинету, когда вошел Теофан.

— Что там, Теофан?

— Ясновельможный пан маршалок приехал.

— Что? Какого черта притащился в рабочий день! Гм-м. Проси!

Это не солнце взошло, а вкатилось в кабинет пана Зефирина широкое, чисто выбритое, сияющее радостью лицо пана маршалка.

— А, привет, привет! Привет дорогому пану маршалку! — радостно воскликнул пан Зефирин, спеша навстречу гостю. — Какой счастливый случай привел дорогого соседа?

— Поздравляю, поздравляю дорогого соседа! — басом заговорил пан маршалок, обхватив своими могучими лапами обе мягкие руки пана Зефирина и с силой потрясая их.

— Меня? С чем?

— С похвалой, общественной, всенародной похвалой! О, вы ее справедливо заслужили, давно заслужили!

— Мне? Общественная похвала? Где? Когда? От кого? За что?

— А вы разве не знаете? Не читали газет? Не читали последнего номера «Czasu»?\*

— К стыду своему должен признаться, что не читал.

— Ну, так я и знал! Ха-ха! Хорошо это сказано: как бог даст, так и в окно на вилах подаст. Но это же колоссально! Смотрите, я как знал, — захватил с собой

---

\* «Время» (название газеты — польск.)

этот номер. Читайте! Вот тут, вот тут, корреспонденция из Львова, я отметил два абзаца! Знаете, наш человек пишет, хорошо осведомленный. А что, а?

Пан Зефирин дрожащими от волнения руками взял широкий, как простыня, измятый, как тряпка, номер краковской газеты и прочитал в нем вот что:

«Вчера состоялось заседание созданной краевым управлением <sup>13</sup> комиссии по поднятию местного земледелия, на котором между прочими был прочитан доклад, любезно представленный одною из секций «Экономического общества», о развитии земледелия в Подолье. С особенным одобрением отметила секция светлую неустанную деятельность высокопочтенного пана Зефирина Андрониковского, владельца Сухобаб, на поприще введения и распространения в тех краях рационального хозяйствования по западноевропейскому образцу. В частности, блестящих результатов следует ожидать от начатого в текущем году с немалыми затратами опыта ирригации сухих и неурожайных лугов. Машина, доставленная для этой цели прямо из Англии, сооружена по последнему слову техники и функционирует так легко, что пара лошадей, запряженных в конный привод, может без труда выполнять всю необходимую работу.

Комиссия с удовольствием приняла к сведению столь радостный факт и, памятуя также о прежних заслугах пана Зефирина Андрониковского в области сельского хозяйства, а именно об его теоретических трудах, постановила просить его войти в ее состав, в надежде, что на почетном месте члена комиссии он пожелает и сможет оказывать столь ценные услуги всему краю».

При чтении этого полуофициального документа не только руки, но и губы и ноги пана Зефирина все заметнее начали дрожать, голос его оборвался, дыхание перехватило. На миг в голове его промелькнуло сомнение, не ирония ли все это, но долгим жизненным опытом и воспитанием вколоченная в его плоть и кровь способность притворяться взяла верх.

— Да, такова, видно, воля божья, — сказал он, как бы покоряясь судьбе, — не суждено мне спокойно доживать век в своем тихом уголке. Что ж, чем могу, готов послужить краю!

— Ну, ну, и многим можете, очень многим! — поощрял его маршалок. — Поздравляю, поздравляю! Желаю счастья на новом поле! Кто знает, дорогой сосед, — это такое поле, на котором много тропинок, а некоторые и очень высоко ведут! Дай бог, дай бог! Не можете себе представить, как искренне обрадовался я этому сообщению!

— От души, сердечно благодарю вас, дорогой пан маршалок, что вы были так любезны и позаботились сообщить мне об этом!

— По-соседски, по-соседски, что ж, за что тут благодарить? Разве и вы, коснись дело меня, иначе поступили бы?

— О, конечно, конечно! — сказал пан Зефирин, позвонил и приказал Теофану подать закуску и принести бутылку бордо из погреба, чтобы «обмыть» с дорогим паном маршалком такую радостную новость. Радость пана Зефирина стала еще больше, когда во время завтрака принесли ему почту: среди газет и писем издали еще был замечен толстый пакет со штампом краевого управления. Это было письмо из комиссии по поднятию местного земледелия, подписанное председателем комиссии князем С. и секретарем графом Р. и приглашающее пана Зефирина войти в ее члены.

Пан Зефирин был простой шляхтич и даже некоторым образом выскочка, и такие высокие титулы, как князь и граф, оказывали на него некое магическое влияние. Все сомнения в том, действительно ли так велики его заслуги, как это расписано, и действительно ли сможет и сумеет он принести краю что-нибудь хорошее, развеялись, как дым на ветру, перед блестящей перспективой — заседать вместе, обсуждать вместе, решать какие бы то ни было дела вместе с князьями и графами. Ведь и на него благодаря этому падает некая часть графской и княжеской светлости? Он хорошо знал, что его соседи-шляхтичи, хотя в большинстве и разоренные, все же как-то сверху, косо смотрят на него, что его богатство вызывает у них только зависть, а не уважение, а его барские манеры довольно часто вызывают легонькую ироническую улыбочку на их лицах, Ну, теперь этого не будет! Человек, которого князья и графы

признали достойным заседать в их среде, которого они сами туда пригласили, заслуги которого публично восхваляют, — такой человек может быть уверен в своем положении, может стоять выше мелкой зависти и перешептыванья за спиной!

## VII

Пан маршалок уехал, выпив на радостях не одну, а две бутылки бордо. Пан Зефирин быстрыми шагами ходит по своему кабинету. Голова и сердце его полны радостной новостью. Он размахивает руками, говорит сам с собой, то садится, то снова встает, — очевидно, его одолевает потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Наконец, он решается, надевает калоши поверх ботинок и тихонько крадется в комнату своей жены, которая все еще никак не может подняться с постели.

Не прошло и пяти минут, как он не вошел, а влетел назад в свой кабинет. На нем нет лица, он бледен, как полотно, дрожит и стучит зубами, словно его окунули в ледяную воду, руки его судорожно мечутся в воздухе, хватая что-то неуловимое, глаза помутнели и устали куда-то в пустоту. Что с ним случилось? Ах, очень просто, он не во-время вошел в комнату своей супруги и увидел, как магистр хирургии Фледермаус ставил ей диагноз. И ничего больше.

Как бешеный забежал пан Зефирин по своему кабинету. Вихрем проносились мысли в его голове. Взглянул на письмо комиссии и горько улыбнулся.

— Ужасная комедия! На черта она мне! — сказал он сквозь зубы и швырнул письмо в угол. — У меня собственной комедии по самые уши! Тьфу! Только подумать! Только подумать! Нервы, напряженные струны, нежные звуки, а она — вон что! Тьфу!

В комнате ему было душно, он задыхался. Выбежал на двор проветриться и вдруг под навесом увидел привязанную верховую лошадь пана Фледермауса. Безумная, ребяческая мысль мелькнула в его голове, мысль недостойная, конечно, уважаемого гражданина и члена краевой комиссии по поднятию земледелия, а все-таки

мысль, за которую может ухватиться человек в таком кровожадном и отвратительном настроении, в каком находился в этот момент пан Зефирин. А вдобавок еще он увидел как раз пана Фледермауса, тот, съезжившись, явно встревоженный, выскочил из дому и, не оглядываясь, ничего не видя, рысцой бежал к своей лошади.

— Здравствуйте, пан Фледермаус! — крикнул ему чуть ли не в самое ухо Зефирин. Еврейчик даже вздрогнул, словно пораженный громом.

— Мама лебен!.. Вус тойгт мер дус!\* Здра...здрав... ствуйте... — лепетал Фледермаус, потеряв с перепугу власть над своим языком. У него зуб на зуб не попадал, колени дрожали, он не мог ни идти, ни стоять, и готов был, видимо, прямо опуститься на землю.

— Что пан так рано нас оставляет? — говорил пан Зефирин, словно не замечая испуга Фледермауса; на деле же фигура несчастного магистра хирургии показалась ему такой забавной, что он не мог отказать себе в жестоком удовольствии помучить его как можно дольше.

— Ви гайст\*\* рано? Восемнадцатый или пятнад... двенадцатый ча... ча... час!

— Уж не больны ли вы, пан Фледермаус? Что с вами? — спросил пан Зефирин.

— Я? По-по-чему ясновельмо... мо... можный па... па... па... пан?

— Да вот и язык у вас отнялся, а ведь обычно вы хорошо говорили. И дрожите вы, словно вас на кол посадили, и то бледнеете, то краснеете! Уж не заразились ли вы, не дай бог, от моей жены нервностью?

— Вель... вель... вельможный пан шу... шу... тит...

— Нет, не шучу, правду говорю. На вас глядеть страшно! Что с вами? Я серьезно беспокоюсь за вас!

— О, ни... ни... ничего! Изви-ви-няюсь, то есть благодарю вельможного пана. Я здоров, совсем здоров!

— Не верю, не верю! Побойтесь бога, да вы шагу не можете ступить. Вы того и гляди упадете на землю!

Фледермаус, дрожа всем телом, попробовал улыбнуться, но улыбка у него получилась такая кислая и

---

\* Мама родная! На что мне это! (еврейск.)

\*\* Что значит (еврейск.)

комичная, что пан Зефирин расхохотался, да так громко и дико, что у Фледермауса душа ушла в пятки.

— Фи, да разве можно так поддаваться болезни? Пане Фледермаус, да ведь вы все-таки доктор! Ну-ка, подвигайтесь, сейчас вам лучше станет! Побежим наперегонки, кто скорее добежит до того стога, ну!

И, не ожидая ответа, пан Зефирин схватил Фледермауса за руку, сжал ее, как железными клещами, и пустился бежать.

— Прошу пана! Прошу пана! — взмолился Фледермаус в смертельном ужасе, но голос его оборвался, и он засеменил ногами, стараясь поспеть за гигантскими прыжками пана Зефирина, но вскоре ноги отказались служить, и Фледермаус с размаху шлепнулся на землю.

— Ай-ай-ай! — завизжал он. Пан Зефирин стал над ним и смотрел, как Фледермаус, окаменевший от страха, старается подняться на ноги и не может.

— Ха-ха-ха! Вот так доктор! Вот так мужчина! Тьфу! — сплюнул пан Зефирин, с чувством отвращения схватил за руку, рванул изо всей силы и поставил на ноги еще более перепуганного Фледермауса.

— Про... про... прошу ясного пана, — бормотал очумело Фледермаус.

— Что такое, мой дорогой?

— Про... про... прошу, я хочу домой ехать.

— Домой? Боже мой, а тут разве вы не дома?

— К себе домой, в город.

— Ну, и что ж, разве я вас не пускаю? С богом! Счастливой дороги! Только я еще раз говорю — вы, должно быть, больны. Может, отвезти вас?

— О, у меня есть лошадь! Я не болен, доеду один.

— Ну, так зачем же дело стало? Ах да, вам, может, заплатить надо за этот... как его... за диагноз моей жены? Я готов. Я сейчас! Только зайдите ко мне в кабинет и напишите счет, я немедленно...

— Нет, нет, нет! — даже руками замахал Фледермаус, обливаясь потом. — К чему это? Я так...

— Ну, как угодно, ваше не пропадет. Не хотите сегодня, так найдем другое время; как вы думаете? Только по совести скажите: выздоровеет моя жена или нет?

— О, выздоровеет, выздоровеет, только прошу —  
позвольте мне ехать домой!

— О мой благодетель, поезжайте, поезжайте, лишь  
бы выздоровела!

Фледермаус все еще неверным шагом поплелся под  
навес, но напрасны были все его усилия сесть на лошадь:  
и руки и ноги — все отказалось служить. Пришлось пану  
Зефирину самому посадить его.

— Куда ни шло, провожу вас за ворота, потому что  
вижу — нездоровы вы все-таки, — сказал он, беря ло-  
шадь за повод.

— Ой, не надо, не надо, — забормотал Фледермаус,  
но напрасно. Пан Зефирин держал в руках и его и его  
лошадь. Вывел ее.

— Ну, прощайте, пан Фледермаус, не поминайте  
лихом, — сказал пан Зефирин. — Но погодите, седло  
у вас что-то неважно держится! — И он поправил седло,  
во так поправил, что лошадь сразу встала на дыбы, за-  
тем вскинула задом и, дрожа всем телом, рванулась впе-  
ред, как бешеная, и вихрем понеслась по ровной дороге.  
Фледермаус не издал ни звука и что есть силы, руками  
и ногами, старался удержаться в седле. Вдруг лошадь  
стала и начала пятиться, то подымаясь на дыбы, то бры-  
каясь задними ногами. Когда это не помогло, она поворо-  
тилась справа налево, бешеными прыжками несколько  
раз обернулась вокруг самой себя, а затем снова рванула  
вперед и понесла, взрывая землю копытами. Шагов через  
пятьсот она снова остановилась и повторила тот же  
маневр. Но на этот раз дело происходило над глубоким  
оврагом, дно которого было усеяно крупными камнями  
и кое-где поросло терновником. Вертясь то влево, то впра-  
во, то пятясь задом, лошадь оступилась и рухнула  
в овраг. Фледермаус только икнул и полетел из седла вниз  
головой, а лошадь за ним.

Пан Зефирин, стоя в воротах, видел всю эту бешеную  
скачку, но сердце его точно окаменело, ему не жалко было  
Фледермауса. Он чувствовал к нему не ненависть,  
а омерзение, как к жабе, которую спокойно убиваешь  
камнем. Но когда он увидел, что лошадь и седок сва-  
лились в овраг, он медленно, не торопясь, направился  
туда.

Не прошел он еще и полдороги, как увидел, что лошадь выбирается из оврага, но без всадника и без седла. Выбралась и остановилась, должно быть сильно помяла себе бока и перепугалась, — храпела и загребала землю копытом. На дне оврага стонал Фледермаус.

— Боже мой, а здесь что случилось? — воскликнул пан Зефирин, словно он неожиданно наткнулся на это несчастное происшествие. — Пан Фледермаус, что с вами? Упали, покалечились?

— Ох, упал! Руку сломал, — стонал Фледермаус, поднимаясь с трудом на ноги. Левая его рука, в самом деле, беспомощно висела, сломанная выше локтя.

— Руку сломали? Что за несчастье! Идите, я вам помогу — хорошо, что отсюда недалеко ко мне, — мы вас осмотрим, перевяжем и отвезем домой.

— Нет, нет, нет, не хочу к вам! — закричал еврей. — Я сам на своей лошади поеду, — правой рукой! Только помогите оседлать и подсадите! Поеду, поеду, здесь недалеко! Ох-ох-ох!

Пан Зефирин, злобно улыбаясь, оседлал коня, отшвырнув в сторону ту самую терновую ветку, которую он перед тем засунул под седло. Со стонами и проклятиями, кляня весь свет и себя самого, поехал Фледермаус домой. Сломанная рука беспомощно висела сбоку, причиняя ему ужасную боль.

А пани Целина в тот же день выздоровела и уж так любит пана Зефирина! Правда, из ирригации ничего не вышло, машину как разобрали, так уж и не собирали, а главные части ее дворовый кузнец пустил на подковы; только рукав помпы до сих пор гниет на дворе, заржавел и наполовину потонул в грязи. Зато пан Зефирин прославился как прогрессивный и рациональный хозяин, а на первом заседании краевой комиссии по поднятию местного земледелия он вызвал бурю аплодисментов «глубоко продуманной и блестящей», — как писали газеты, — речью о культурной миссии помещицкой усадьбы среди селян.

## НЕ ЗНАВШИЙ ТРУДА

*Сказка*

### I

Жил в нашем селе Иван, парубок здоровый и красивый, но такой ленивый, такой ленивый, что упаси боже. Его так и прозвали — Иван Лентяй.

Правда, лень его во многом непохожа была на мою или твою лень, уважаемый читатель, и если бы нам пришлось изо дня в день выполнять хоть половину той работы, которую обычно делал Иван Лентяй, то несомненно нам показалось бы, что мы выполнили по крайней мере половину работы мифического Геркулеса. Иван вставал ни свет ни заря, кормил, поил и чистил скотину, клепал косу, вязал лен, косил, молотил, колол дрова так, что искры летели, молотил зерно на ручном жернове, таскал тяжести, резал солому на корм, носил воду с реки, — одним словом, делал тысячи тех тяжелых, но непрерывных работ, какие составляют содержание селянской «жизни». С утра до ночи всегда на ногах, всегда занятый, он мало отличался от бесчисленного множества тех серых фигур, которые рассеяны по широкому божьему свету, ползают и снуют по нему, как муравьи, и гибнут, как муравьи. Они составляют как бы часть самой элементарной силы этой земли и почти не оставляют по себе ни крохи того, что мы называем историей. Живут, чтобы трудиться, и трудятся, чтобы не

умереть с голоду, — вот и все. И так всегда, из поколения в поколение, не зная перемен, не зная облегчения, не зная никакого — можно сказать — прогресса. Но было между тем что-то такое, что выделяло Ивана из среды серой мужицкой массы, и это была присущая ему лень. На его беду, лень эта по двум причинам не могла проявляться на деле. Во-первых, Иван был мужик, а мужик, хотя бы и самый ленивый, разумеется, должен вдесятеро больше работать, чем самый работающий «интеллигент». А во-вторых, судьба, как бы наперекор его врожденной лени, прямо в насмешку, сделала его батраком, горемыкой без земли и пашни, без дома и семьи. Вырос он среди чужих, забитый, презираемый и обиженный, служил за харчи и одежду, — вот потому-то обычные тяготы крестьянской жизни давили его с удвоенной силой. «Нанялся — проданся», — гласит пословица, да и какой хозяин, купив такую ценную вещь, как рабочая сила человека, не постарался бы эксплуатировать ее самым основательным образом со всех сторон, до последней капли?

Вот потому-то лень Ивана Лентяя и не могла проявляться на деле, то есть так, чтобы он ничего не делал. Об этом в его положении и думать было нечего. Врожденная его склонность проявлялась лишь в его неохоте ко всякому труду, в том, что он постоянно ворчал, вздыхал и проклинал. Ворчал и жаловался он, вставая утром, проклинал восходящее солнце, с ненавистью поглядывал на нивы, политые его потом и возделанные его руками, но доход приносившие кому-то другому; и хоть никогда не мог отважиться на то, чтобы проклинать или бить хозяйскую скотину, — а к этой скотине он обычно привязывался всем сердцем, словно к самой близкой родне, — но все же, когда кормил, поил и чистил любимых волов или жеребят, он всячески поносил хозяина, бранил вообще всех богатеев или проклинал собственную судьбу, так упорно заставлявшую его добывать каждый, даже самый жалкий кусок хлеба трудом, и еще таким тяжелым, адским трудом. Не за дела поэтому, а за слова и «болезнь» осудили Ивана односельчане, прозвав его Лентяем. И по-своему они были правы, поругивая Ивана, презирая его, насмехаясь над ним, неохотно

нанимая его в батраки. Сам-то Иван работал хорошо, но его вечное бурчанье, кислое и какое-то заспанное лицо, осовелые глаза — все это окружало его атмосферой лени, заражавшей и отнимавшей силу у других. В крестьянской работе, полевой, обычно совместной, — пример, поощрение и всякое моральное воздействие занимают очень большое место. Работник охочий, веселый, шутник и певун, у которого «глаза играют» и «жилы ходуном ходят» на работе, — большой клад; хоть сам-то он порою работает и меньше других, но под его звонкие шутки, небылицы и песни, при виде его живых глаз, здорового, ясного лица и быстрых, крепких движений, работа у всех спорится, идет легче и лучше; и плоды ее бывают богаче, и люди не устают и довольны самим трудом больше, чем оплатой. «Такой уж дух на работников нашел», — говорят хозяева и крепко следят, чтобы этот «дух», то есть именно этого работника, который так умеет «поднять дух» у других, подольше удержать у себя.

Совсем иное получается с ленивым работником. Недаром пословица говорит: «Три дня не ешь, а гляди весело!» Тот работник, который глядит невесело, может работать и лучше всех, но для хозяина его работа не имеет цены: один его вид, его ленивые движения и его воркотня наносят ему больше ущерба, потому что расхолаживают других, заражают их ленью, рождают недовольство. И работа им тяжела, и еда не хороша, и время тянется, и хозяин неласков, и плата мала, а в завершение окажется, что и наработали мало и не так, как следовало. А самое важное — что главный виновник обычно делает вид, будто «моя хата с краю, я ничего не знаю»; работал он лучше всех, попрекнуть его ни в чем нельзя, и хозяин вынужден молча затаить в себе злость и разве что зарекается на будущее — не брать на работу проклятущего «брюзгу».

Вот таким-то брюзгой в сельской работе был и наш Иван Лентяй, и по этой причине хозяева не любили его и неохотно брали на службу, платили ему меньше, чем другим, а кормили хуже и не раз даже без всякой вины прогоняли со службы. Но все это не только не исправляло, не приохочивало Ивана — наоборот, все больше портило его, отвращало от труда, от жизни и людей, от всего

света. Работа была для него самым немилым, самым противным делом на свете, наивысшей помехой, которую он каждый день, каждый час должен был преодолевать с величайшим напряжением всех своих сил и к которой между тем никак не мог приохотиться.

## II

Однажды послал хозяин Ивана в лес нарубить сухих дров, набрать вязанку и принести домой. Дело было летом, в рабочую пору, и хозяин не хотел из-за охапки сушняка гонять лошадей. А что Иван намается — неважно! Такому лентяю это даже полезно для здоровья, пускай немного разомнет кости.

Иван с топором за поясом отправился в лес, и ворча и ругаясь беспрестанно. Пришел, сел на старый пенек передохнуть минутку, но не переставал ворчать и роптать.

— Господи, — вздохнул он, наконец, — чем душа моя провинилась перед тобой, что ты осудил ее на эту вечную каторгу! Смилуйся ты надо мной, позволь мне хоть год, хоть месяц, хоть неделю пожить спокойно, счастливо, без этого проклятого труда? Ох, и допек же он меня до живого, этот труд! Ненавижу его, как невольник свои кандалы, но как невольник от кандалов, так и я не могу избавиться от него ни на минуту. Даже во сне не перестаю работать, не могу расстаться со своею мукой. Боже, смилуйся надо мной! Позволь мне хоть день один, хоть один час прожить без труда, без мысли о труде!

Слова эти, произнесенные вслух, как-то странно отдались в ушах Ивана. Вскочил он на ноги и напряг слух; показалось ему, что в звуках его собственных слов слышится какой-то другой, чужой голос, резкий, пронзивший его душу и наполнивший ее странным беспокойством. И он вслушивался в лесную тишину, в эту тишину, звучную, живую и вечно подвижную, как волны океана. Но ничего особенного не услышал. Был самый полдень, жаркое солнце рдело в безоблачном небе; огромные дубы, ели и березы дремали недвижимо над головой Ивана, купая свои вершины в солнечном зное; в их густой тени

играли миллионы крошечных комариков, их рой мерно поднимались и опускались, издавая своими крылышками нежный, чуть слышный, но мелодичный шелест, будто сонный перезвон какого-то волшебного инструмента. Чем дольше вслушивался Иван в этот перезвон над своей головой, тем больше ему казалось, что душа его вплывает в какой-то новый мир, полупрозрачный, таинственный, близко граничащий с былой действительностью, но все же совершенно отличный от нее. Что-то властно убаюкивало его; казалось, могучая, теплая, ласковая волна несет его куда-то, а он безвольно, с наслаждением отдается ей и несется в неизвестность.

Но вот какая-то новая, резкая и пронзительная нота задрожала в воздухе. Она поколебала прежнюю гармонию, но не расстроила ее. Это была тоже тихая нота, чуть слышная, будто звенела золотая мушка, и вместе с тем нота как-то удивительно сконцентрированная, заостренная, казалось — полная неизъяснимой боли и отчаяния, невыразимой мольбы. Ивану тотчас припомнилось, где и когда он слышал эту ноту.

О, это было давно! Иван был еще пастухом и вместе с другими хлопцами пас хозяйскую скотину в этом самом лесу. Так вот однажды товарищ его, Гринько, указал ему на большую, черную, блестящую муху, которая кружилась возле коров, но не садилась на них. Иван еще никогда не видал такой мухи и потому с любопытством следил за нею глазами. Гринько тоже. Вдруг они увидели, что муха села на пихту и, найдя в ней узенькую дырку от сгнившего сучка, влезла в нее и скрылась.

— Ага, поймал! — вскрикнул Гринько и, найдя подходящую палочку, заткнул ею дырку и заточил в ней муху. — Слушай, как звенит! — позвал он, прижавшись ухом к пихте.

Иван с какой-то тревогой тоже прижал ухо к пихте и услышал звук тихий-тихий, тоненький и такой бесконечно пронизывающий, не то горестный, не то жалобный и умоляющий, что все его существо затрепетало в какой-то невыразимой печали.

— Гринько, выпусти ее! — крикнул он.

— Вот еще, дурак я, что ли! — ответил Гринько. — Хорошо, что поймал. Пускай играет мне!

И, пошевелив затычкой, опять прижал ухо к пихте и радостно прислушивался некоторое время, а потом сказал:

— Играет ведь! Ей-богу, хорошо играет!

— Отпусти ее, Гринько, — просил Иван. — Мне ее жалко.

— Кого тебе жалко? Муху? Ха-ха-ха! Вот так большая животино — муха!

— Но зачем же и муху мучить?

— Как это, зачем? Пускай играет мне!

— Выпусти ее, Гринько, я тебе скотину из Глубокого ущелья пригоню.

— Иди, если тебе хочется, недотепа! Не отпущу ее, потому что не хочу. А за скотиной ты и так пойдешь.

Иван не спорил, потому что знал заранее, что так и будет, а попробуй он отказаться, так старший пастух еще и по шее надает. Все же попытался добиться своего иным путем.

— Ну, так я сам ее выпущу!

— Не смей! — вскрикнул Гринько. — Это моя муха! Я ее словил и буду тут ее держать, пока мне нравится. А если ты посмеешь выпустить ее, так я тебе такой праздник устрою, что тебе ничего больше не понадобится.

Гринько был старше, сильнее, смелее Ивана, к тому же он был сын богача и мог бы донять Ивана любым способом, лишь бы захотел. Поэтому Иван не решился вступить с ним в ссору, тем более что Гринько все еще стоял у пихты, придерживая рукой затычку и время от времени прислушиваясь к жужжанью заключенной мухи.

— Ну, и играет же! — радостно воскликнул Гринько. — Я еще не слыхал мухи, которая бы так играла. Послушай-ка, Ивасько!

Иван с минуту колебался, но в конце концов его словно что-то подтолкнуло к пихте, он приложил ухо и стал слушать.

Жужжанье не прекращалось и бросало его в дрожь. Какая-то глубокая жалость охватывала его. Когда же он оторвался, наконец, от пихты и пошел за скотиной, то полный отчаяния, жалобный звон, казалось, летел за ним вдогонку, сверлил и мучил его. Долго Иван не мог заснуть в ту ночь, но и во сне видел несчастную муху,

запертую в дереве, слышал ее жужжанье, но в сто раз более громкое, словно вой ветра в расщелинах скал или причитанье женщины по покойнику.

— Нет уж, будь что будет, а завтра я должен выпустить ее! — сказал Иван самому себе. — Как только скотину загоню в лес, тут же побегу к той пихте и вытащу затычку. Пускай бедная муха летит себе домой!

С этим Иван и заснул.

Однако на другой день все получилось не так, как он наметил. Хозяйка проснулась позже и пока подоила коров, пока собрала Ивану в торбу еды на весь день, пока Иван довел скотину от села до леса, солнце на небе поднялось «на две кочерги». Когда Иван со своим стадом пришел к вчерашней пихте, он застал там уже всех других пастухов. Гринько рассказывал им про муху, показывал затычку, и все друг за другом прикладывали ухо к пихте и, послушав какое-то время, подтверждали, что «славно bestия играет».

— Ага, вон идет Иван Лентяй! — крикнул один из пастухов, увидев Ивана.

— И как всегда, последним ползет! — прибавил другой.

— А знаете, — сказал Гринько, — вчера он чуть не плакал из-за этой мухи!

— Как это, из-за мухи? — посыпались вопросы.

— Ну да! Христом-богом просил меня отпустить ее.

— А это зачем же?

— Откуда мне знать? Говорил, что ему очень жалко ее.

— Муху жалко! Ха-ха-ха! Мушиный батько! Мушиный батько! — смеялись пастухи, прыгая вокруг Ивана и тормоша его со всех сторон.

— Э-э, оставьте его в покое! — сказал один. — Может, это его мать или бабка-ведьма после смерти в муху обратилась, вот он за нее так и просит!

Хлопцы как-то странно переглянулись при этих словах. Всем стало не по себе, замолчали. Но старший пастух, парубок, наверно, лет двадцати, рассеял их настроение:

— Что вы, дураки, выдумываете глупости! Ступайте за скотиной! А ежели Гринько поймал муху и хочет ее

тут для музыки держать, так никто не смей выпускать ее! Понятно?

Семь дней продолжалась эта музыка; семь дней жужжала заключенная в дереве муха. Иван сам не знал, что с ним творилось в эти семь дней. Муха в пихте не шла у него из головы. Когда ел, тут же вспоминал: а муха там звенит, жужжит, с голоду погибает! Когда ложился спать, ему думалось: а муха там не знает отдыха; все жужжит! Когда просыпался, первой мыслью его было: а муха там жужжит в темноте, не видит солнышка, а как она на солнце поблескивала и крылышками трепетала! И хотя он, когда пас скотину, часто проходил мимо этой пихты, но всегда заставлял там кого-нибудь из пастухов, слушавших «музыку», то есть жужжанье мухи. Иногда он и сам прикладывал ухо к пихте и всякий раз испытывал ощущение такое же сильное и потрясающее; как и в первый раз. Может быть, даже в памяти его застряли слова пастуха о том, что муха эта — его мать или бабка, обращенная в такое создание за грехи, — иначе откуда взялась бы у него такая жалость, если все прочие только тешатся «музыкой»?

А жужжанье в пихте с каждым днем становилось все слабее. На исходе седьмого дня, когда Иван, наконец, первым пришел в лес и никого не застал у пихты, он осмелился вытащить проклятую затычку — выпустить муху на волю. Но муха не вылезала из дырки. Приложил ухо к пихте — ничего не слышно.

Всунул в дырку тоненькую палочку, но в дырке ничто не шевельнулось. Тогда он засунул назад прежнюю затычку, чтобы никто не говорил, будто он выпустил муху. Еще раз приник ухом к пихте и внимательно слушал, но жужжанья не было слышно.

Очевидно, муха издохла от голода и мучений!

А теперь вдруг, спустя четырнадцать лет, в уши ему врезалось, как острие иглы, то же самое жужжанье, которое когда-то день за днем — целых семь дней — он слышал в пихте. Он невольно вздрогнул и огляделся. Боже, да разве это возможно? Он был как раз у той самой пихты, в которой четырнадцать лет назад его глупый товарищ Гринько заточил несчастную муху. Больше того, в пихте еще торчала та самая затычка, которую

тогда Гринько воткнул в дырку с мухой. А тоненькое жужжанье это — откуда оно доносится? Иван единым духом подскочил к пихте, прижал ухо — и чуть не сомлел. Жалостное, болезненное и пронизывающее насквозь жужжанье, в самом деле, исходило из этой щели, заткнутой сучком!

Одним сильным рывком Иван выдернул затычку.

Какой-то тяжелый, глубокий вздох пронесся по всему лесу и громким эхом отозвался в душе Ивана. Потом минута мертвой тишины. Потом что-то тихонько зашелестело в щели дерева. А затем оттуда медленно начало что-то высовываться. Иван с невыразимой жалостью и сочувствием всматривался в эту черную точку, в которой, казалось, узнавал черные лапки и черную, блестящую голову мухи. Но была ли это муха? Черные лапки, когда он пригляделся к ним получше, представились ему почерневшими костлявыми руками, совершенно похожими на человеческие, да и голова начала приобретать человеческое подобие, начала расти, менять окраску и вид. Иван остолбенел и в испуге закрыл лицо руками. А когда через минуту отнял руки, перед ним стоял старец с длинной бородой, сгорбленный, с лицом, выражавшим неопишное утомление и слабость, в одежде необычайной, фантастической, не то пустынноика, не то умалишенного.

### III

— Всякое дыхание да хвалит господа! — воскликнул испуганный Иван.

Старец усмехнулся печально и простер к Ивану обе руки.

— И я хвалю, сынок, и я хвалю, — сказал он тихо, чуть слышным голосом. — Ох, спасибо тебе, голубчик, великое спасибо, что освободил ты меня из этой страшной темницы!

— Так... это... вы были, дедушка? — пробормотал Иван, не зная, что ему сказать и кому говорить. — А я думал, что это муха.

— Ой, муха, сынок, муха! Враг мой страшный превратил меня в муху и гнался за мной в виде черного дятла,

а когда я спрятался от него в эту щель, он шепнул глупому мальчишке, чтобы тот заткнул меня там затычкой! Ох, и натерпелся же я, натерпелся, боже мой милостивый!

— Но кто же вы, дедушка? — спросил Иван.

— Я, сынок, Дед бескидский; может, слышал про меня?

— Дед бескидский? Тот самый, про которого сказки на посиделках рассказывают?

— Он самый.

— Про которого говорят, что он под землей живет и Довбушевы клады<sup>14</sup> охраняет?

— Он самый.

— А правда ли, дедушка, что этих кладов такая сила, что и на двадцати четырех возах их не забрать?

— Много больше, голубчик.

— А правда ли, что вы на Черногоре перевернули тот камень, на котором Довбуш выбил крест — знак, что под этим камнем вход в пещеру с его сокровищами, — так что теперь никто ни этого камня, ни этого входа отыскать не может?

— Правда, сынок, правда, надорвался я на этой работе, у меня даже в поясице что-то оборвалось, и с той поры выпрямиться не могу.

— Так вам и надо! — вскрикнул Иван. — Нечего было зариться на чужие клады, которые, может, не одному горемыкегодились бы.

Дед долгим, печальным взглядом окинул Ивана.

— Эх, сын, сын, — сказал, — какой же ты еще ребенок!

— Хорошо вам говорить: ребенок! — воскликнул с возмущением Иван. — А если бы вам пришлось, как мне, из-за каждого куска хлеба, из-за каждого жалкого клочка лохмотьев так тяжко маяться и переносить людские причуды, вы бы, наверно, не то запели.

Дед ничего не ответил на это и только с сожалением покачивал головой.

— Но кто же враг ваш, — спросил, помолчав, Иван, — который замкнул вас в этой щели?

— Это самый старший упырь и колдун из Бусовиц. Он уже давно злобится на меня, еще из-за покойницы жены.

— Так у вас и жена была?! — воскликнул Иван.

— А как же, сынок, была! И оставила мне единственное дитя, дочку. Господи боже, что-то там с нею случилось? Четырнадцать лет назад, как один день, я оставил ее еще в колыбели, крошку, только мой слуга, старый Винок слепой, остался при ней. Четырнадцать лет я промучился в этой проклятой щели, тоскуя не столько по свободе, по лесу, скалам и горам, сколько по любимому дитяtku моему. Ой, сынок, что я претерпел за эти четырнадцать лет, что я претерпел! Но, слава богу, теперь все прошло, теперь я на воле! Ты, сынок, освободил меня, и я тебя отблагодарю. Иди со мной в мой дом. Веди меня, голубчик, а то я так измучился, так ослаб, что не знаю, хватит ли силы доплестись домой.

— А далеко ли ваш дом?

— Дом мой, сынок, велик. Нам бы лишь до первого входа добраться, а там я уже сам управлюсь.

— Ну, ладно, пойдём! — сказал Иван.

Дед сделал шаг-другой, но тут же вынужден был сесть на пенек.

— Нет, сын, — сказал со стоном, — не могу я идти. Еще раз придется просить тебя об услуге. Возьми меня на плечи, донеси старика, не пожалеешь своего труда.

Как ни ленив был Иван, но на этот раз он не заставил себя долго просить и взял Деда на плечи. Старик был легонький, как перышко, так что Иван почти не чувствовал его тяжести и шел совсем свободно.

— Вон туда, сынок, вон туда! — сказал Дед, указывая Ивану на заросшую, почти неприметную лесную тропинку, которая вела круто в гору и, казалось, терялась в чаще.

#### IV

Поначалу Иван с охотой нес Деда на плечах и не чувствовал никакой тяжести. Тропинка, сперва довольно неудобная, пошла по ровному месту, а потом повела вниз. Но после того как пришлось опять взбираться в гору и Иван споткнулся несколько раз, а буковые ветки хлестнули его по лицу, пробудился его характер, и он начал ворчать. Сначала потихоньку, а потом все громче.

— Что я дурак, это разве только слепому не видно!.. Ах, леший тебя возьми с этим корневищем, чуть не упал!.. Черт меня понес карабкаться куда-то на лысую гору!.. И с какого это ума я собственно туда плетусь?.. — такие и подобные им отрывочные фразы то и дело слетали с его уст, причем он всякий раз энергично сплевывал и совсем не энергично охал и постанывал.

Дед между тем спокойно сидел у него на плечах, свесив обе ноги ему на грудь, и, казалось, совсем не слышал ворчанья Ивана. Но все же, удивительное дело: с той минуты, как Иван начал ворчать, он ощутил на себе какую-то тяжесть. Вначале незначительная, она, по мере того как возрастало его недовольство, все увеличивалась. Сначала у Ивана было такое ощущение, будто несет он топор за поясом, позже — что у него на плечах небольшая баклага с водкой, а спустя некоторое время — что несет он изрядную вязанку дров. В то ж время ему стало казаться, будто путешествие его тянется слишком уж долго. Чувствовал, что покрылся обильным потом и в груди уже начинает не хватать дыхания. Брюзжанье его превратилось в громкие попреки.

— Ой, доля моя проклятая! — сетовал Иван, тяжело шагая в гору по острым камням. — Когда ж ты перестанешь насмеяться надо мной? Думал чуточку передохнуть в лесу, так на вот тебе! Соблазнил меня нечистый выдернуть затычку и выпустить вот это старое чудище, а теперь на тебе, еще неси его на плечах черт знает куда. Да и тяжелы же эти истлевшие костицы, господи! Словно мне целую гору на плечи взвалили!

И верно, тяжесть на плечах Ивана все возрастала. Он чувствовал, что сгибается под нею, что колени у него дрожат, в глазах темнеет, голова кружится. Ему казалось, что он больше не может стоять, вот-вот упадет. Хотел остановиться, отдохнуть, перевести дух, но какая-то незримая сила не только не позволяла ему упасть, но даже не давала остановиться на одном месте. Он шел и шел дальше.

— Дед, эй, Дед! — стонал Иван, уже не на шутку ослабев.

— Что тебе, сынок? — спросил Дед.

— Какого черта ты такой тяжеленный?

— Я, сынок? — ласково ответил Дед. — Снится это тебе, голубчик. Где уж мне после четырнадцати лет темницы набраться тяжести?

— Как это снится? — пыхтя, еле вымолвил Иван. — Да ведь я, Дед, вот-вот упаду, переломлюсь, пропаду под твоей тяжестью!

— Не бойся, рыбонька, — спокойно ответил Дед. — Это тебе только так кажется.

— Да ты еще насмехаешься надо мной, старый костогрыз? — хотел крикнуть, но только пропищал Иван. — Нет, не хочу я больше тебя тащить. Слезай!

— Иди, иди, миленький! — с невозмутимым спокойствием сказал Дед. И Иван, в самом деле, шел, хотя и вопреки желанию, хотя совершенно ослабел. Он карабкался все выше в гору, но и гора эта теперь казалась ему бесконечно высокой и крутой.

— Да не хочу я идти! Не хочу тебя нести! — пищал Иван. — У меня легкие лопнут с натуги!

— Ничего, не бойся, не лопнут, — успокаивал его Дед.

— Но я не хочу! Не хочу! Слезай, черт, с меня! — просил и злобился Иван.

— Но, сынок, ведь ты же дал мне слово. Да и плату от меня получишь.

— Разрази тебя сила небесная с твоей платой! Ничего не хочу, только слезай! Дай мне отдохнуть минутку!

— Иди, иди, голубчик! — сказал Дед. — Уже недалеко.

Злость Ивана обратилась в отчаяние. Груз у него на хребте страшно возрос. Глаза вылезали из орбит, кровь в жилах билась так сильно, что казалось, вот-вот они лопнут, разорвется сердце. Ноги Деда, охватывавшие его подмышками, жгли его, как раскаленное железо. Никогда, даже во сне, Ивану не снился, никогда и в голову не мог прийти такой тяжкий труд, такое напряжение. Безвыходность его положения усиливалась еще тем, что он был не в силах сбросить эту неслыханную тяжесть, облегчить это напряжение. Чувствовал себя уже не самостоятельным существом, не работником, который может работать, но может и отдохнуть, если ему не хочется ра-

ботать, не самовластной рабочей силой, которая сознательно управляет своими движениями, — чувствовал себя чем-то вроде того зерна, которое, попав между мельничными жерновами, совершает, правда, какие-то быстрые, бессознательные движения, но вместе с тем поминутно теряет частицу своего существа и само превращается лишь в частицу, в кратковременное проявление этого огромного чудовища — труда. Иван, в самом деле, всю свою жизнь чувствовал себя рабом труда, но никогда еще это чувство не было так сильно, так ужасающе болезненно и мучительно, полно такой отравы и отчаяния, как в эту минуту, в минуту самой тяжкой усталости, какую только испытал до сих пор в жизни. Умереть, мгновенно исчезнуть из ряда живых существ — казалось ему теперь высочайшей вершиной желанья, величайшим счастьем. Лишиться жизни — ведь это значит избавиться от труда, вырваться из пут этого неумолимого тирана — труда, который с самой ранней молодости наложил на него свою тяжелую руку. Смерть — единственный исход для таких, как он, несчастных, это отдых, это свобода!..

Шел он теперь со своим бременем по самому краю безмерно глубокой и страшной пропасти. На дне ее стоял полумрак, клубился бурый туман. Гигантские пихты, росшие в глубине, представлялись Ивану сверху мелким кустарником. Тут же, прямо под ногами у Ивана, пожалуй, всего на сотню саженей ниже, торчала огромная острая скала, как сжатый кулак, усаженный крупными бородавками.

— Погоди, проклятое страшилище, — ворчал Иван. — Не хочешь меня отпустить, так и я тебя не отпущу!

И, ухватив изо всей силы обеими руками Деда за ноги, Иван в порыве отчаяния рванулся прочь с тропинки и свалился в бездну.

## У

— Ну-ну-ну-ну! — сказал Дед и в первый раз засмеялся тихим, сердечным смехом.

Иван открыл глаза. Что случилось? Где это он очутился?

Он увидел себя на каменной площадке у входа в узкую пещеру. Скала, торчавшая в виде огромного кулака, заслоняла вид на пропасть и на соседние горы.

— Ну, и горячий же ты хлопец, у-у, какой горячий! — произнес, усмехаясь, Дед. — Только что я хотел попросить тебя свернуть с тропинки направо, а ты уж и сам туда рванулся.

Иван почувствовал неожиданно, как горячее пламя стыда облило все его тело. Не мог еще опомниться. Новое чувство, охватившее его, так не походило на пережитое всего минуту назад, что это недавнее представлялось ему чем-то неправдоподобным, сказочным, померкшим вдали. Да ведь он бросился в пропасть? Что же с ним делается? Он попробовал двигаться, думая, что это только снится ему и что он, наверно, без сознания лежит на дне пропасти. Но нет! Он здоров, цел, не спит и не чувствует ни следа той усталости, которая еще минуту назад доводила его до отчаяния. Наоборот, чувствовал себя здоровым, крепким и совершенно свободным.

Ему стыдно было теперь смотреть на Деда, а тот уже не сидел у него на закорках, но стоял рядом и что-то нашаривал в скале, изредка поглядывая на него с улыбкой.

— Ну что, сынок, — сказал Дед, угадывая его мысли, — не говорил я разве, что это тебе только кажется, когда ты странное что-то рассказывал про мою тяжесть? Эх, хлопец, хлопец!

Дед покачал головой, будто хотел еще что-то сказать, но счел за лучшее скрыть это для себя.

— А почему же мне так казалось? — спросил Иван.

— Сказать по правде, это тебе не совсем и казалось. Есть в тебе что-то больное, но не тело. Телом ты, голубчик, здоров, нечего и говорить. А воля у тебя — больная. Ты ведь знаешь, как старые люди говорили: кто не хочет — это хуже, чем не может.

Все это у Деда звучало так добродушно, что Ивану и в голову не приходило обижаться, хотя сельских хозяев, которые говорили ему не раз подобное же, он ненавидел и считал злейшими своими врагами и притеснителями. Тем временем Дед отковырнул своими иссохшимися пальцами кусок скалы, достал из щели большой золотой

ключ, осмотрел его внимательно, как старого знакомого, и, видимо, обрадовался, как ребенок. Сверкая ключом на солнце, он полез в темное жерло пещеры, в конце которой находилась потайная дверь.

— Иди со мной, сыночек, — сказал он Ивану. — Войди в мой дом, будешь моим гостем. И побеседуем, если хочешь.

Дед отпер дверь, за которою показался длинный, темный, узкий коридор, выдолбленный в скале. По этому коридору они шли долго, очень долго, как показалось Ивану. Во всяком случае времени этого оказалось достаточно, чтобы его веселое и энергичное настроение опять сменилось какой-то неохотой. Иван даже начал уже ворчать в душе и спрашивать себя: какой черт заставил его лазить по каким-то мышиным норам, из которых, может, и выхода нет никакого? Но вот Дед остановился, заскрежетал ключом и отворил вторую дверь.

Приятный зеленоватый свет ударил Ивану прямо в глаза, но вовсе не ослепил их. Сделав еще несколько шагов, он увидел себя в огромной каменной горнице, богато украшенной всякой затейливой резьбой; сверкающим хрусталем, увешанной нитями золота, выложенной пластинами чистого серебра. Вся мебель в этой горнице была из выгнутых по-разному пластов железа и серебра, на которых лежали плиты из прозрачного горного хрусталя или фиолетового аметиста. По углам журчали естественные фонтаны, освежая воздух, а посредине в искусных коробах горела чистейшая смолка и ягоды можжевельника, разливая свежий аромат лесов и горных пастбищ.

Дед подошел к одному из столов и трижды ударил своим золотым ключом о хрустальную плиту.

— Виюк! — крикнул он, и голос его, на воздухе такой тихий, похожий скорее на комариный писк, чем на человеческую речь, здесь загредел, как могучий водопад, и разбудил стократный отголосок где-то в далеких, бесконечно обширных подземельях.

Еще не отзвучал этот отголосок, могучей волной катившийся из пещеры в пещеру, как где-то далеко-далеко послышался глухой стук, словно удары огромной ступы. Стук этот мерно, раз за разом, повторялся, медленно

приближаясь к ним, и, наконец, Иван увидел, как из сумрака дальних пещер выплыла какая-то фигура — огромная, похожая на колоду дерева, обросшую шершавой корой, с узловатыми корнями и торчащими ветвями. Это был Виюк, неизменный слуга Деда, страж и опекун лесов бескидских, о котором Иван еще с малых лет наслушался в сказках. Едва-едва в этой живой колоде смог различить Иван чудовищную угловатую голову, обросшую пучками сухого мха и корявыми грибами вместо волос. Глаз чудовища Иван не мог разглядеть — они были скрыты длинными, нависшими веками из толстой коры. Ветви и корни — это были его руки и ноги.

— Кто меня зовет? — загробным, глухим голосом спросил Виюк, приближаясь к Деду.

— Это я, Виюк, — ответил Дед.

— Господин мой, — воскликнул Виюк, — это ты? Да может ли это быть? Дай же коснуться твоей руки!

Дед подал ему руку, а Виюк, коснувшись ее, повалился ниц перед Дедом, и тяжелое, глубокое всхлипывание потрясло все его безобразное тело.

— Бедный мой пан, — всхлипывал он, — где же ты был так долго?

— После об этом поговорим, Виюк, — сказал Дед. — А теперь скажи мне, что с моей дочерью?

— Дочка твоя здорова, выросла уже совсем большая, только все плачет по тебе. Мы уж думали, что ты не вернешься никогда.

— Ступай, Виюк, позови ее сюда!

— Сюда? Но я чувую, пан, что тут есть еще кто-то, кроме тебя, какая-то сирая душа. А ты знаешь, что твоя дочь не смеет видеть сирую душу.

— Не бойся, Виюк, — ответил Дед. — Мне это известно. Но знай, что сирая душа, о которой ты говоришь, это милосердный человек, освободивший меня из тяжкой темницы. Я обязан ему благодарностью, Виюк, и хочу его отблагодарить. Так иди, приведи мое дитя. Пока вы оба сюда придете, этого человека здесь уже не будет.

Виюк встал и затопал в дальние пещеры, где вскоре утонул во мраке,

Когда Виюк удалился, Дед обернулся к Ивану.

— Ну, что же, сыночек, пора тебе и домой. Скажи же мне, чем я могу тебя отблагодарить?

Иван стоял, мял шапку в руке и не говорил ничего. Дед долго, пронизывающим взором смотрел на него, а потом сказал:

— Вот что, Иван! Слышал я твои сетования на несчастную долю, на тяжкую неволю, в какой ты изнываешь. Ты избавил меня от неволи, и справедливость требует, чтобы и я тебя избавил от твоей неволи. Так скажи же мне, чего бы ты больше всего желал себе в жизни?

Иван широко улыбнулся, показав два ряда белых крепких зубов.

— Да чего же, Дедусь, могу я другого желать, как не того, чего желает каждый бедняк? Не знать бедности, не беспокоиться о том, что мне завтра есть, во что одеться, где спать. Хоть минуту отдохнуть от тяжкого, непрестанного труда.

— Так тебе очень труд надокучил?

— Ох, Дедусь, так надокучил, так надокучил, что и сказать не могу. Ненавижу его всею душой. Да за что же мне его любить? Взгляните на мои руки, на мои ноги, на мои плечи. Почитай с той поры, как я на свет народился, тружусь без передышки, как скотина, а что мне дал этот труд?

Задумался Дед.

— Трудное твое положение, сынок, и я, по правде сказать, не знаю, чем лучше всего тебе помочь? Дал бы я тебе денег, — мне этого добра не покупать, — но ты же знаешь, голубчик, деньги как вода, не всякий сумеет удержать их в кулаке. Копейка к копейке идет, так вскоре всякие жидюги, крещеные и некрещеные, довели бы тебя до такого же состояния, в каком ты теперь находишься.

— Ну... но... может я... все-таки... как-нибудь, — пробормотал Иван, почесывая темя.

— Нет, хлопец, нет! — возразил Дед. — Ты бы только загулял, распустился, и на этом конец. Не только

денег при себе не удержал бы, но и сам бы пропал, — знаю это хорошо. А я не хочу, голубчик, чтобы ты меня потом проклинал.

— Ей-богу, не буду! — поспешно воскликнул Иван.

Дед улыбнулся добродушно в ответ на это восклицание, но сразу стал опять серьезным.

— Ты, хлопец, не думай, что мне жалко для тебя золота. Гляди вон туда, — и Дед показал на огромную груды этого металла, который рдел, словно куча горящих углей, в одном углу горницы, — я мог бы позволить тебе сейчас набрать из этой груды столько, сколько ты смог бы унести. Но верь мне, я хорошо знаю, что это была бы плохая плата за твою услугу. Я дам тебе кое-что получше, нечто такое, что заменит тебе всякие деньги и клады, а вместе с тем избавит тебя от ненавистной тебе неволи, от труда.

— Ой! — радостно воскликнул Иван.

— Да еще нечто такое, — продолжал Дед, — чего у тебя никто не отберет, на что никто не позарится, чего никогда не потеряешь. Вот получи! — И дед взял с одного стола лежавший на нем простой, желтой меди перстень, толстый и грубый, такой, какие евреи-разносчики продают сельским парубкам по пять крейцеров.

Иван уставился на Деда, широко раскрыв глаза, словно хотел сказать: так это и есть подарок, ценнее груды золота?

— Возьми, голубчик, — промолвил Дед, — и не суди об этой вещи по внешнему виду. Неприглядна она, это правда, а между тем это самая ценная вещь из всех, какими я обладаю. Это волшебный перстень. Кто его носит, тот никогда ни о чем не печалится, у того исполняются все замыслы, все желания. Тот всего, чего ни захочет, достигнет без труда.

— Да может ли это быть? — воскликнул Иван и протянул руку за перстнем.

— Не думай, что я хочу тебя обмануть, — сказал Дед, подавая ему бесценный перстень. — Скоро ты увидишь, что я говорю правду. Впрочем, если когда-нибудь мой дар тебе разонравится, можешь вернуть его мне. Только приходи в лес, туда, где ты освободил меня из

темницы, и крикни трижды: «Дед!», и ударь палкой по дереву, я тотчас к тебе явлюсь.

— О, я думаю, что не придется мне утруждать вас, если только все, что вы говорите, правда! — воскликнул радостно Иван.

— Не привык я врать, — строго ответил Дед. — Так вот, еще раз тебе говорю: если только мой подарок когда-нибудь разонравится тебе, приди и позови меня, я возьму его назад. Ни в чьи другие руки, кроме твоих, он не пойдет и никому, кроме тебя, служить не будет, это запомни. А если отдашь его мне, то я тебе взамен него дам какой-нибудь другой подарок, какой сам себе выберешь. Ну, а теперь ступай и будь здоров!

Через несколько минут Иван был уже на воле.

## VII

Увидев себя на вольном, ясном свете, Иван немало удивился. Еще недавно, когда он шел с Дедом, ему казалось, что он находится в каких-то совсем незнакомых местах, среди огромных скал, гор, высотой чуть не до самого неба, и бездонных пропастей. А тут он увидел себя в хорошо знакомой местности, где лес был редкий, горы невысокие, скал и в помине нет, да и овраги не глубже обычных горных оврагов. Понял, что находится невдалеке от того места, где присел, только что войдя в лес, и где оставил свой топор, всадив его в пенек. Туда он и направил свои шаги.

Шел, еще не осмыслив до конца все, что с ним произошло. Испытывал только довольство, спокойствие и такую душевную полноту, точно был флягой, наполненной водой по самое горлышко. Ему даже есть не хотелось. Одно только знал: он может пожелать все, что ему вздумается, и все будет исполнено. Только не знал еще, чего ему пожелать в данную минуту.

Первое, что у него всплыло в памяти, были топор и дрова.

«Вот если бы, — думал Иван, — пока я дойду до места, мой топор догадался бы и сам дров нарубил,

а хозяин с ума бы спятил да за этими дровами сюда на повозке выехал, — вот это было бы здорово».

В ту же минуту Иван и в самом деле услышал в лесу страшный стук и треск, точно сто топоров сразу пустились рубить сухие сучья. Почти одновременно он услышал также тарахтенье и бренчанье повозки, ехавшей по неровной лесной дорожке. Пока он дошел до своего места, хозяин уже кончил накладывать на повозку нарубленный хворост. Поклажа получилась огромная, и хозяин был очень доволен.

— Хорошо ты сделал, голубчик, — обратился он к Ивану, — что так все устроил. Только мы кончили свою работу в поле, как вдруг прибежал хлопец, которого ты послал. «Дядько, говорит, Иван сказал, чтоб вы сейчас же ехали в лес. Он дров наготовил уйму, а лесничий после обеда уехал в город и по ошибке ворота не запер». Но как же тебе, голубчик, пришлось попотеть, чтоб за полчаса управиться, собрать и нарубить такую грудку хвороста. Да ведь иной раз и двое мужиков за целый день столько не наготовят! Я и не думал никогда, что ты такой работник. Знаешь, этих дров нам хватит до самой глубокой осени.

Иван слушал эти похвалы, и хотя не удивлялся им, потому что знал, как все получилось, однако ему стало немного совестно. Он бросился было помогать хозяину складывать дрова на возок, да куда там! Все, к чему он только ни прикоснется, летело и рвалось у него из рук и укладывалось именно на то место, где надо, укладывалось гораздо лучше и плотнее, чем это сумел бы сделать сам Иван. Попробовал он хотя бы помочь хозяину обвязать дрова на возу железной цепью, чтобы они лучше держались, но даже за цепь не смог взяться — та лишь мелькнула, звякнула, воз затрещал и уже был увязан и затянут так, словно его затягивало десятеро мужиков. Воз был готов. Хозяин уже запрягал лошадей. Тронулись.

— Ой, Иван, — вскрикнул перепуганный хозяин, глянув сбоку на огромную поклажу дров, перед которой мелкие крестьянские лошаденки выглядели просто как мыши, — что ж мы наделали! Такую тяжесть нам и с места не сдвинуть. Лошади надорвутся! Куда уж им тащить такую огромную тяжесть, а тут еще и горы!

— Э, не бойтесь! — сказал Иван. — Пособим им, как-нибудь и пойдет.

И, подойдя к возу, он взялся рукой за край. Лошади, до того еле стронувшие с места воз, теперь пошли совсем свободно, без натуги, будто с пустой повозкой.

— Ну и работник ты, Иван, — сказал радостно хозяин, когда через несколько минут по приезде домой дрова были не только свалены с воза, но и порублены, очищены и сложены под навесом. Впервые с незапамятных времен хозяин позвал батрака в кладовку и угостил его водкой, пшеничным хлебом и сыром.

### VIII

Слава Ивана, как «расчудесного» работника, быстро разошлась по всему селу. Хозяин, от которого Иван еще недавно доброго слова не слышал, теперь повсюду трубил о нем, как нанятый.

— Вот это сила! А проворство! Нет, такого работника я еще не видывал, сколько живу. И все сам!

— Да что тут такого, нечему и удивляться, — шутили богатеи. — Такой лентяй, столько лет берег свою силу, вот она у него и накопилась. Хотелось бы только знать, что это ему в голову пришло, что он теперь так взялся за работу? Но несомненно и то, что этого желания ненадолго ему хватит.

Однако, невзирая на эти насмешки, каждый богач хотел залучить Ивана к себе. Вот и начали они тайком, наперегонки шапки ломать перед Иваном, угощать его то водкой, то ромом и просить, чтобы он оставил нынешнего хозяина.

— Да такой голодранец и одного твоего пальца не стоит! — говорили ему. — И что ты у него выслужишь? Переходи ко мне, я тебе дам пятьдесят гульденов на год, одежду по-божески, есть будешь то же, что и я, а тяжелой работы тебе не будет.

Иван только, бывало, пробормочет: «Ну-у», «Эге-ж» да «Ну как же», «Посмотрим», а сам пил, закусывал и ни о чем не тужил, ходил, как бугай по молодому кле-

веру. Труд, как обязанность, а по сути, как тяжкое ярмо, перестал для него существовать. Мысли, которые до сих пор почти исключительно были прикованы к этой тачке, теперь освободились и впали в какой-то временный застой, как бы заснули, чтобы распрямиться, набраться силы и самостоятельности. Желания Ивана еще не могли вырваться из круга батрацкой жизни, за пределы родного села.

«Вот если бы сам пан войт пришел звать меня к себе на службу! — думал Иван. — Сказал бы я ему словечко правдивое за то, что недавно побил меня палкой, когда мои лошади потравили у него жито».

И верно, войт пришел, и Иван наговорил ему глупостей, которые грозный начальник сельского общества принял, как нечто давно уже ему положенное.

«Лучше всего, наверно, служить у попа», — подумал Иван. И тут же к нему явился пономарь, послан от батюшки — просить его прийти завтра на поповскую усадьбу, потому что его преподобие очень в нем нуждается. Поп угостил Ивана вином — первым, какое, кроме причастия, Иван пил когда-нибудь в своей жизни, — и просил его перейти к нему на службу.

— Приду, батюшка, отчего бы мне и не прийти, — весело сказал Иван, целуя руку попу, но на уме у него было совсем иное.

— А когда ж ты придешь? — спросил поп.

— Еще нынче уйду от своего хозяина, а завтра буду у вашей милости, — ответил Иван. Батюшка благословил его на дорогу, и он пошел в село.

Иван был слуга единственный в своем роде. Не только работал за десятерых, но — это было не менее важно и любопытно — не ел ничего. Да, да! С того памятного дня, когда он привез столько дров из лесу, хозяйка не видела ни ложки, ни куска хлеба у него в руке. И никто не видел, чтобы он ел. А между тем через несколько недель Иван расцвел и зарумянился, как маков цвет.

— Что это с тобой, Иван, — спрашивала его хозяйка, — почему ты ничего есть не хочешь?

— Я сыт, — отвечал Иван. — И не ставьте ничего передо мной, все равно я не могу есть.

— Но кто же тебя так угостил?

— Э-э, это уж мое дело. И не спрашивайте меня, все равно вам этого не скажу.

Пробовали и следить за Иваном, где и что он ест, но и слежка ничего не дала. Во время обеда, полдника или ужина Иван исчезал куда-то, словно камень в воде. Не нужно пояснять, что Ивана кормил его перстень. Когда только ему захочется есть — а есть ему очень часто хотелось, потому что до этой поры за всю жизнь у него было время похудеть на все застежки, — садился где-нибудь и шептал:

— Хочу, чтоб меня никто не видел.

И тотчас делался невидимым, а в то же время по его велению возникали перед ним наилучшие лакомства, какие только могла придумать его бедная, мужицкая фантазия: пироги с творогом, маком, капустой, колбаса, жареные куры, водка с медом, медовики, пшеничный хлеб. Иван уплетал за обе щеки. И теперь, когда он вышел от батюшки, у него одно было на уме:

«Теперь всегда буду пить вино».

## IX

Мечтам батюшки заполучить себе такого необыкновенного слугу не суждено было исполниться. Едва Иван вышел на улицу, как увидел нарядную карету, запряженную четверкой горячих лошадей в богатой сбруе. Два лакея вертелись около кареты, словно разыскивая что-то, а в карете сидел какой-то большой пан.

«Вот кабы попасть к такому пану на службу, — подумал Иван. — Я как-то служил у нашего помещика, да что это за пан? Ездил на паре лошадей и то на такой, что просто тьфу! А во Львов собирался три года, да так и не собрался. Нет, с этим вот паном я, наверно, повидал бы света».

— Гей, паренек! — крикнул ему пан из кареты.

Иван снял шапку и приблизился к карете. Пан долго и пристально присматривался к нему.

— Ты нравишься мне, — сказал он, наконец. — У меня как раз сбежал кучер. Умеешь ты править чет-

веркой? А то из этих болванов (он показал на лакеев) ни один не умеет.

— Умею, ясный пан,— сказал, не задумываясь, Иван.

— А хочешь поступить ко мне на службу?

— Хочу! — сказал с радостью Иван.

— Я князь Долгорукий, пан Чертопхалковской волости. Ты слыхал?

— Слыхал, ясный пан.

— Ну, так садись же на козлы и бери вожжи в руки, посмотрим, как ты умеешь править. Вези нас к своему хозяину: заберем твои вещи и рассчитаемся с хозяином.

— Нет надобности, ясный пан, — сказал Иван. — Я как раз закончил свою службу и искал другую, так что не с кем и рассчитываться. Вещи мои лежат в надежном месте, да я думаю, что они и не очень нужны мне будут на службе у ясного пана.

— Ты прав, — сказал, подумав, князь.

Княжеская четверка под руками Ивана шла, как степной ветер, легко, согласно, без усталости. Иван не брал даже кнута в руки, довольно было ему сказать слово, причмокнуть, тряхнуть вожжами, чтобы направить четверку куда надо, сдержать ее или заставить бежать быстрее. Иван разговаривал с лошадьми, как с детьми, старался освоиться с каждой из них, понять ее характер и норы, и, казалось, лошади понимали каждое его слово. Князь не мог надивиться ловкости и сноровке своего нового кучера.

В ближайшем городе он приказал справить Ивану нарядную ливрею, в которой тот выглядел так, будто родился заново. Из неуклюжего сельского увальня он превратился в удалого, красивого молодца, на которого так и засматривались все, когда экипаж мчался по улицам.

Но князь недолго развлекался в этом городе — центре его владений, где у него был свой дворец. Он направился за границу, где находилась его жена с дочерью. А так как в те времена не было еще железных дорог, то четверка лошадей, кучер и лакеи составляли необходимую принадлежность всякой панской поездки. Половиною успеха в пути был хороший кучер, вот почему князь, разумеется, был весьма доволен тем, что нашел такого кучера, как Иван.

Иван тем временем упивался своим новым положением. Он вступил на козлы княжеской кареты, как удельный князь в свою столицу, вполне сознавая свое достоинство, и уже в мужицкой сермяге приобрел уважение у лакеев и влиял на них. Еще больше пришлось по нраву этим лакейским душам его умелое обхождение с лошадьми, его горделивая натура, склонность к молчанию и раздумью и его необычайная красота, как весенний цвет распускавшаяся у них на глазах. В своем обхождении с лакеями Иван умел сразу поставить себя на какую-то высшую, независимую ступень и не изведал ни одной из тех обид, какие в изобилии подстерегают любого сельского простака, попадающего на службу в панский дом, и каких некогда, служа у своего помещика, он изведал досыта.

Теперь было совсем не то. Все забавляло, развлекало и радовало Ивана. Забавляла его кучерская служба, а особенно частые проезды по людным городским улицам, по которым прогуливаются хорошо одетые господа, мимо роскошных магазинных витрин или вдоль тенистых аллей огромного княжеского парка. Радовали его прекрасные лошади, отданные непосредственно на его попечение. Лошадей он любил издавна, но таких хороших, красивых и умных у него еще никогда не было под рукой. И не диво, что полюбил он их больше всего, что нашел в княжеском дворе, приглядывал за ними и берег их, как самого себя, беседовал с ними и ласкал их, как своих детей. Не диво, что и они с самой первой минуты привязались к нему, как дети. Доволен был Иван и князем, который хотя и не сыпал деньгами и даже на еду слугам давал скуповато — о «чаевых», очевидно, не было и речи, — но все же обращался с ними по-человечески, а с Иваном был даже необычайно ласков. Правда, лакеи тайком называли князя расточителем и банкротом, которого еврей-ростовщики быстро вышвырнут из родительского имения, но Ивана это нисколько не трогало. Пища лакейская ему не требовалась, чаевые тем меньше, — он хотел только видеть свет и людей, пользоваться жизнью во всей ее полноте, а для этого — казалось ему — должность княжеского кучера больше всего подходила.

Недолгая жизнь в городе, в кругу княжеской дворни, оказала на него большое влияние. Запросы его развились значительно и быстро. Все, что он видел, увлекало его, но вскоре и пресыщало. Забавлялся, как ребенок, всем, что блестит, но и бросал так же быстро. Портил себе желудок отборными кушаньями, какие видел на княжеском столе, но расплатой за это была потеря вкуса к самым обычным питательным кушаньям. Впервые в своей жизни почувствовал приступ тяжелой городской болезни — тоски, которая ему в селе никогда и не снилась. Среда, в которой он находился, совсем не пригодна была на то, чтобы направить его стремления в сторону каких-нибудь духовных занятий и интересов. Князь развлекался, ездил с визитами к городской знати и к окрестным панам, бывал в театре на оперетках, а еще охотнее проводил ночи в кафе-шантанах или в казино за картами, но книг никаких не читал, серьезных разговоров не любил, всякие «идеи» и «стремления» считал глупостью, свойственной исключительно голодным литераторам и голым учителям, которые ее и выдумали. Он и не помышлял о том, что в одно прекрасное утро сам он со своим княжеским титулом может оказаться в рядах этой «голи». Верил в свое счастье, которое уже столько раз приходило ему на помощь в те минуты, когда он оказывался на самом краю гибели и разорения. И не удивительно, что княжеский двор не был подходящей школой для духовного развития Ивана и что, удовлетворяя все свои невысокие запросы, только и доступные его неразвитой душе, он быстро пресыщался и начинал тосковать от своего вынужденного безделья.

## Х

Но счастье улыбнулось ему. Князь вспомнил, что у него за границей жена и дочь, что живут они там в дорогой столице на довольно скудном бюджете, что с нетерпением ожидают его приезда вместе со свежими капиталами, что капиталы эти, насколько удалось сколотить их и продажей зерна и волов и займами у евреев-ростовщиков, благополучно пребывают в его шкатулке и что, одним

словом, пора ехать. Вот он и приказал готовиться в путь, и через несколько дней тронулись. Поездка, забота о лошадях, непрерывное общение с природой освежили Ивана. У него было занятие, хотя и не требовавшее труда. Перед его глазами проносились окрестные места, села, в которых сотни подобных ему Иванов вздыхали и с тоскою глядели вслед улетающей княжеской карете, тщетно мечтая о наслаждении — хоть раз в жизни прокатиться вот так по свету, грязные и пыльные городки с неизменной кучей полуголой еврейской детворы посреди улицы и обрюзгшими лицами пьяниц, высывавшимися из окон и дверей кабаков. Иван вначале с любопытством торопливо ловил глазами все встречавшееся на пути, радостно приветствовал каждую далекую вершину горы, каждый неожиданный поворот реки, каждую невиданную еще башню, которая, как огромная игла, подымалась вдаль над зеленью леса или над золотистой равниной спелой пшеницы. Свежий воздух обострил и усилил его аппетит, разлил здоровый румянец на его щеках. Он испытывал удовлетворение, и ему не хотелось ничего нового.

Но удовлетворение это продержалось недолго. Ехали не спеша, и в конце концов путешествие начало утомлять его своим однообразием. Каждый новый пейзаж, поворот, мост, вершина горы рождали у Ивана неприятное: «Э, такое же точно я видел». В каждом новом городке с уст его неволью срывались привычные окрики: «С дороги, голь несчастная! А, чтоб вас!.. Прочь, не то раздавлю!» Впрочем, давали себя знать и некоторые дурные стороны княжеской натуры: плохой ночлег для слуг, недосыпанье, все более частые вспышки плохого настроения князя: непрестанные жалобы на леность, недостаточное проворство, лишнюю трату денег, порчу ливреи. Правда, князь ни в чем не мог упрекнуть Ивана, но эти вечные жалобы на лакеев, сидевших здесь же, рядом с ним, раздражали Ивана, как царапанье железом по стеклу. Козлы княжеской кареты с каждым днем становились для Ивана все более жесткими, неудобными и ненавистными.

— Господи, хоть бы какая-нибудь перемена, какое-нибудь происшествие в дороге, — вздохнул однажды

Иван, когда утром выбрались из гостиницы в дальнейший путь и перед Иваном возникла перспектива длинного дня, в течение которого предстояло трястись на кожаной подушке среди однообразия полей и лугов под горячими лучами августовского солнца. А тут еще вид тысяч людей, занятых полевой работой, пробуждал в душе Ивана какое-то неприятное чувство. Он и рад был, что вырвался из этого ярма, а вместе с тем начинал чувствовать что-то похожее на угрызения совести, словно эта его поездка была тяжким грехом. Но больше всего задели его песни этих тружеников. Пока еще он был Иваном Лентяем, он пел очень часто, и эти простые, сердечные песни о доле, о любви и любовных приключениях приносили ему какое-то облегчение. Но с той поры как чудесный перстень охватил его палец и пробудил в его душе новые силы, новый мир желаний, мгновенно удовлетворяемых и снова возникающих, устремляющихся всякий раз во все более широкие сферы, — с той минуты песня ушла от него. Поначалу она казалась ему пустяком, не стоящим того, чтобы тратить на нее даже минуту, а теперь звенела у него в ушах, как горькая насмешка. Эти люди поют — видно, они счастливы! И Иван попробовал заглянуть к себе в душу и спросил себя: «А счастлив ли я?» Не смог ответить себе на этот вопрос. Ведь, кажется, у него нет недостатка ни в чем, а между тем он чувствует себя таким одиноким, далеким от прочих людей, чувствует такую пустоту вокруг себя и не знает, чем ее заполнить. Несколько раз он пытался направить свои желания в эту сторону и потребовать их исполнения, но с удивлением и испугом убедился, что чудесный перстень в этом пункте бессилен. И не удивительно. Перстень исполнял только ясно выраженные желания, а таких общих, как «хочу быть довольным» или «хочу быть счастливым», перстень не мог исполнить. Тут уж исполнение желаний зависело от самого Ивана, тут никакой перстень ничем не мог ему помочь.

— Эх, хоть бы какое-нибудь происшествие в дороге, — вздыхал Иван, сидя на козлах, и с какой-то тревогой поглядывал в неясную даль, заслоненную полупрозрачной утренней мглой.

Правду сказать, без происшествий в дороге не

обходилось и до сих пор. Но все это были происшествия самые глупые, такие, что не могли дать Ивану никакого развлечения, тем более что сразу, с первой минуты, сила чудесного перстня направляла все так, что Ивану не приходилось даже пальцем шевельнуть. То колесо сломается, то постромка оборвется, то лошадь потеряет подкову — ну, что это за происшествие! Но на этот раз по желанию Ивана произошел случай позабавнее: князь потерял деньги. Видит Иван, что князь в карете вертится, мечется, вздыхает, а там ругаться начал. Видит это Иван, но ничего, молчит и едет. Вдруг князь кричит:

— Стой!

Иван остановил четверню.

— Что за черт, — ворчит князь, обыскивая все свои карманы и саквояжи, — ведь я же недавно его держал в руках.

Лакеи соскочили со своих сидений и в покорных позах стояли, вытянувшись в струнку, по обеим сторонам кареты.

— Эй вы, болваны, — крикнул, наконец, князь, — не видал ли кто из вас мой кошелек с деньгами?

— Нет, ясный пан, — в один голос ответили оба лакея.

— А ты, Иван?

— Я видел, ясный пан.

— Где?

— Вчера ясный пан дал его той пани, что пила у нас чай.

— Ты дурак, Иван! — крикнул князь, вспомнив в эту минуту, что Иван сказал чистейшую правду.

— Ну, если я дурак, — спокойно ответил Иван, — так пускай ясный пан пошлет лакеев поискать кошелек на дороге. Кажется мне, — прибавил он насмешливо, — что недавно что-то выпало из кареты. Может, это он.

Заметил князь, что Иван насмешается над ним, и весь вспыхнул гневом. Он хорошо понимал, что из закрытой кареты кошелек не мог выпасть, особенно если перед тем его в карете не было, и что даже если бы он и был и если бы выпал, то Иван, сидя на козлах, не мог бы этого ни видеть, ни слышать за грохотом колес и топотом кон-

ских копыт. Но все же, чтобы поддержать свой княжеский престиж в глазах лакеев, он крикнул им:

— Ну, что же вы, болваны, стоите? Бегите живей! Не может быть, чтобы кошелек пропал. Я тут наклонился, так, может, и вправду... Бегите! Дорога пустынна, если не очень далеко выпал, так непременно должен найтись.

А сам даже зубами заскрипел, что мог так забытья. Боялся, как бы лакеи не разболтали княгине историю про пани, которая приходила к ним пить чай в незнакомом городе и которой он подарил свой кошелек с двумя сотнями гульденов.

— Послушай, Иван, — сказал князь через минуту, когда лакеи, тоже недоверчиво усмехаясь, побежали вдоль дороги, — правда ли, что ты видел, как я давал той пани кошелек? Я что-то не могу этого припомнить, — должно быть, очень уж в голове шумело.

— Я дурак, ясный пан, — коротко отрезал Иван. — Ничего я не видел. Я только слышал, как кошелек минуту назад выпал из кареты. Вот уже и лакеи возвращаются, — прибавил он, оглянувшись. — Нашли, бегут.

— Что? Нашли? — крикнул князь, не приходя в себя от изумления.

— Да, есть! Вот он, ясный пан! — в один голос крикнули лакеи, подавая князю кошелек с деньгами.

Князь сначала остолбенел, не веря своим глазам, но кошелек со всей несомненностью был у него в руке, и ему не оставалось ничего иного, как только спрятать его в карман и воздать хвалу невыясненному случаю, избавившему его от забот. Но все же он заподозрил, что Иван так или иначе приложил к этому «случаю» свою руку, и потому вечером, когда остановились на постоялом дворе на ночлег, позвал Ивана в свою комнату и спросил его с глазу на глаз:

— Ну, Иван, скажи мне, что же было с этим кошельком?

Иван сначала прикинулся дурачком.

— Не мое дело знать это, ясный пан, — ответил он.

— Ну, брось, брось, не болтай пустое! — сказал князь, добродушно похлопывая его по плечу. — Ну, скажи, не бойся, я не буду сердиться.

— Да что тут говорить, ясный пан, — сказал Иван, — та пани, получив кошелек от ясного пана, как-то уронила его. Я поднял и спрятал, чтобы отдать ясному пану, а когда ясный пан начал искать кошелек в карете, я уронил его на дорогу.

— Ой, Иван, — воскликнул князь, — а если бы его нашел кто другой?

Иван улыбнулся.

— Ну, так что ж? — сказал он спокойно. — Достался бы какому-нибудь горемыке, а ясный пан все равно не подумал бы, что кошелек потерялся на дороге.

Князь хотел сказать еще что-то, но замолчал и только исподлобья, недоверчиво поглядел на Ивана.

«Эх, плохая шутка, — подумал Иван, заметив это. — Еще примет меня за вора. Лучше оставить его в покое».

## XI

После этого некоторое время ехали без всяких приключений. Иван томился все больше и больше, к тому же они давно въехали в чужую страну, где люди говорили на непонятном языке, а местность кругом была равнинная и однообразная, так что и смотреть с козел было скучно. Только тысячи жнецов и косарей мелькали по обе стороны дороги. И все чаще Иван улавливал в своей душе какое-то странное, неясное, робкое еще чувство, он как бы завидовал этим работающим, усталым, но неутомимым людям, то гнувшимся в дугу, залитым потом, так что издалека приметны были их мокрые рубахи, приставшие к плечам, то весело сидевшим кружком на жнивье, среди снопов, за полдником.

Но это неприятное чувство в душе Ивана мелькало только на минуту и, казалось, не оставляло по себе никакого следа, кроме вздоха. Горше допекало его однообразие езды и солнечный зной.

«Хоть бы лес тенистый встретился!» — подумал Иван и в ту же минуту, подняв глаза над головами лошадей, увидел неподалеку впереди темнозеленую стену высокого соснового леса, от которого, казалось, на тысячу шагов веяло освежающим холодком и дивным запахом

хвои. Даже как-то легче на душе у Ивана стало, когда он увидел, что дорога узенькой белой лентой врезалась в это тенистое зеленое озеро и тянулась, тянулась меж его стенами, пока совсем не затерялась где-то вдали. В лесу стояла строгая, таинственная тишина, а стук колес и топот копыт звучали как-то приглушенно, несмело.

«В таком лесу только разбойникам и гостить», — подумал Иван. Ему припомнились разбойники в темном огромном лесу, о которых он, малышом, столько страхов наслушался от бабки. «Вот бы нам повстречаться теперь с такими разбойниками!» — подумал он. И не успел он подумать это, как тотчас же с обеих сторон дороги, из чащи, выскочила целая шайка каких-то оборванцев и бросилась к карете.

— Стой! — закричали оборванцы, размахивая палками перед мордами лошадей и хватая их за постромки.

Иван остановил четверню. Бродяги окружили карету и первыми стащили лакеев.

— Где деньги? — вопили они.

— Спросите у пана.

— Бей лакейские души! — крикнул предводитель бродяг. — Бей, чтоб душа пить запросила, пускай признаются!

Бродягам не надо было повторять это дважды. Мигом несколько дюжих парней растянули бедных лакеев посреди дороги и давай молотить их палками. Тем временем другие вытащили из кареты князя, который со страху, казалось, совсем онемел.

— Где деньги? — крикнул ему вожак.

— Лю... лю... люди! Лю... лю... люди! — бормотал в испуге князь, не в состоянии выговорить ни слова.

— Ха-ха! У ясного пана язык заплетается! — насмеялись бродяги. Вожак тем временем обыскал внутренность кареты. Но как тщательно ни перетряхивал он вещи, все же ничего, кроме золотых часов и некоторых других ценных вещей, найти не мог. Денег в карете словно и не бывало.

— Наверно, он при себе держит их, — сказал вожак и начал столь же старательно обыскивать княжескую особу. Но и это было напрасно. Князь будто предчувствовал беду и утром, когда тронулись в путь, спрятал

деньги в тайник, сделанный в деревянном остове кареты и известный только ему одному. При себе он держал лишь несколько гульденов мелочью.

— Где деньги?— во все горло завопил бродяга, встряхнув князя, точно пучок колосьев, так, что чуть душу из него не вытряс.

— Лю... лю... лю... — только и лепетал князь, он дрожал и не мог стоять на ногах.

— Разложить его и бить, пока язык у него не развяжется, — скомандовал вожак.

Бедный князь не мог даже кричать и лишь пищал под ударами, как ребенок.

— Возьмите еще и кучера, может он нам скажет! — скомандовал затем вожак, и тотчас несколько бродяг бросились к Ивану, чтобы стащить его с козел.

— Не тронь, ты! — огрызнулся Иван; он все это время преспокойно сидел на козлах и держал лошадей. — Не тронь, а то лошадей испугаешь.

— Деньги где, лизоблюд?—кричал вожак, размахивая здоровенной дубиной.

— Не знаю, — ответил Иван.

— Сейчас узнаешь! — крикнули разбойники и стали тормошить Ивана.

— Оставьте меня в покое, а то рассержусь, — предупредил их Иван.

— А ну, ну, рассердись! — кричали разбойники и с громким хохотом так дернули Ивана, что он, как сноп, слетел с козел. Удары градом посыпались на его плечи.

— Ах, вы драться? — крикнул Иван.

— А ты думал, мы шутим? — гоготали бродяги и молотили все крепче.

— Ах вы бродяжьбы души! — крикнул Иван, вскочил с земли и схватил свой кнут за тонкий конец. Размахнулся длинным кнутовищем так, что в воздухе засвистело. Гибкий, оплетенный кожей прут змеєю обвил голову вожака, и тот от неожиданности повалился наземь как подкошенный. Второй взмах свалил второго разбойника, третий изувечил третьего, переломив ему кости обеих рук. Пока разбойники сообразили, что Иван вправду стал защищаться, пятеро из них уже было иска-

лечено. А Иван продолжал колотить, отвечивая каждому лишь один удар, но такой, что его хватало на всю жизнь. Освободил князя, оглушил тех, что держали лошадей, а те, что били лакеев, не ожидая, когда их попотчуют, сами пустились наутек. Тогда Иван спокойненько принес из ближнего ручья ведро воды, привел в чувство князя, дал ему напиться, поднял также лакеев и вместе с ними посадил князя в карету, а под конец эту же самаритянскую услугу оказал жожаку разбойников и его приятелям, которые валялись посреди дороги, как разбросанные снопы. Голова у жожака распухла, как котел, а поперек лица у него вздулся синий кровоподтек, как длинная колбаса.

— Ну, не говорил я вам: оставьте меня в покое? — добродушно сказал ему Иван. Но жожак все еще не мог прийти в себя. Он сидел посреди дороги и в беспамятстве только шевелил побледневшими губами, но не мог вымолвить ни слова.

— Будьте здоровы, люди добрые! — сказал Иван, влез на козлы и взял жожи в руки. Карета тронулась с места и быстро исчезла из глаз разбойников. В ближайшем городе князю пришлось задержаться дольше и несколько дней провести в постели. Иван ходил за ним, как за отцом, не спал ночами и подавал князю все, чего только тот потребует, хотя князь забыл даже выдать ему деньги на расходы. Наконец, через несколько дней князь вполне пришел в себя и мог уже спокойно вспоминать о страшном происшествии.

— Так это ты один побил их? — спросил он Ивана.

— Ну, а с кем же я мог их бить, — ответил Иван, — если они вас били?

— Но побойся бога, Иван, — воскликнул князь, — если ты чувствовал в себе такую силу, так почему же не побил их прежде, чем они вцепились в меня?

— Если бы мне ясный пан сказал, — начал Иван, с видом, глупее которого не сыщешь во всем свете.

— Боже мой, какой же ты дурень, Иван! — вскричал князь.

— Знаю это, ясный пан! — ответил Иван с веселым видом. — Именно потому я и не двинулся с места. Князь только рот разинул.

Наконец, приехали в город, где жила семья князя—жена и дочь. Должно быть, не очень сердечно встретились князь и княгиня, потому что деньги, какие привез князь из родных краев, совсем не соответствовали тому, чего ожидала княгиня и что требовалось обеим дамам. Иван сразу почувствовал, что в хорошенькой вилле, где жила княжеская семья и слуги, стоит какой-то неприятный дух, что здесь как-то давит, гнетет, как перед бурей. Из разговоров, какие изо дня в день велись среди слуг, он узнал, что обе пани в отсутствие князя наделали много долгов, которые вместе с прежними, образовавшимися до отъезда князя на родину, выросли в очень крупную сумму.

— Ну, и надоели же нам эти кредиторы, — говорили слуги. — Княгиня не раз уже приказывала выбрасывать их за дверь, не пускать в ворота. Да как ты его непустишь? В наших краях сразу бы узнал: придет еврей, в пейсах, долгополый, ну сразу видишь, что его надо за шиворот и за дверь. А тут черт их узнает, кто еврей, кто не еврей. Придет пан, в перстнях, при золотой цепочке, одет, как какой-нибудь князь! А через минуту ясная пани звонит и приказывает этого пана взять за плечи и вышвырнуть!

Из таких и подобных разговоров Иван узнал, что княгиня с грехом пополам сумела успокоить кредиторов, чтобы они ждали приезда князя, и что теперь, значит, они чуть свет налетят сюда, как воронье, а если князевых денег не хватит, то надо ждать большой беды.

Иван вначале не мог себе уяснить, почему все эти разговоры задевали его так больно, словно речь шла об его собственной семье. Что привязывало его к князю? Ничто. Княгиня не понравилась ему с первого взгляда. Это была рослая, прямая, гордая пани, которая еще ни разу не соизволила даже взглянуть на него и вообще обращалась с прислугой, как со скотом или бездушной мебелью. А княжна? Иван вначале ее и не заметил. Была она маленького роста, миниатюрная, с круглой, как яблочко, головкой, чуть вздернутым носиком и

черными любопытными глазками, чрезвычайно подвижная и щебетунья, вечно занятая собой, своими туалетами, своими обожателями. Иван увидел ее только через несколько дней по приезде, когда она пришла посмотреть четверню, прибывшую из родных мест.

— Ах, какие они хорошие! Ах, какие миленькие! — воскликнула она, поглаживая лошадей по хребтам, по мордам своей маленькой, почти детской рукой. — Теперь я смогу выезжать на корсо, правда, папочка?

— Ну, да, разумеется, — буркнул князь.

— Только ты должен купить мне кабриолетик, хорошенький, хорошенький. купишь, папочка?

— Ах ты щебетунья моя! — печально ответил князь. — Чего бы я для тебя не купил! Да только, видишь ли...

— Э, что там видеть! купишь, купишь, купишь! — приговаривала девушка, прыгая вокруг отца и поглаживая его по подбородку. — Ах, как это будет чудесно!

А потом прибавила, принимая вдруг серьезный и даже несколько озабоченный вид:

— А кучер? Это не тот ли кучер, которого ты, папа, привез из наших краев? — спросила она, указывая на Ивана, который стоял перед нею и держал лошадей.

— Тот самый, Ниночка.

— Какой скверный!

— Скверный, детка? Почему?

— Настоящий медведь. Куда я с ним покажусь?

— Так мы можем отослать его, — сказал князь.

— Отошли, папочка. Найдем жокея, такого, который сумеет во всем услужить.

И, ластясь к отцу, словно кошечка, она ушла за ним в дом.

Иван почувствовал настоящую ненависть к этой сороке, которая, казалось, не имела ни малейшего представления о божьем свете, о житейских заботах. Поэтому он и в самом деле почувствовал тайную радость, когда однажды кредиторы, узнав о приезде князя и дав ему немного отдохнуть, целой гурьбой обложили княжескую виллу и один за другим стали добиваться приема.

«Помог бы я им, — думал Иван. — Но если это такие легкомысленные люди, то пускай сами справляются как могут. И пальцем не пошевелину ради них, вот что!»

И сел на скамейку у стены виллы, покуривая трубку и не думая ни о чем, как это он привык делать по воскресеньям после полудня, когда еще служил в селе и когда ему выдавалась хоть минута досуга.

— Иван! — раздался вдруг серебристый голосок с балкона, прямо над его головой.

— Слушаю! — отозвался Иван.

— Будь добр, заложи пару гнедых в фаэтон!

Легкий шелест платья свидетельствовал, что обладательница этого голоса поспешно удалилась.

«Которая же это, старая или молодая? — думал Иван: он не разглядел ее лица. — Черт их по голосу узнает, когда обе пищат, как кошки. Но погоди же ты, белка!»

Ворча, он пошел в конюшню, где лошади были уже вычищены, фаэтон приготовлен, упряжь сверкала, как зеркало. Не успел Иван подойти к двери, как фаэтон был уже запряжен.

В эту минут из виллы выбежала панна Нина, румяная, свежая, в модном платье для прогулок.

— Там папа со своими кредиторами возится, — щебетала она не то сама с собой, не то обращаясь к Ивану. — Что мне слушать их скучные разговоры? Лучше проехаться в лесок.

И встала перед фаэтоном, ожидая, что Иван поможет ей сесть, но даже не глядя на него.

— Я с панночкой не поеду, — решительно сказал Иван.

— Не поедешь? Это почему же?

— Потому что я скверный, медведь, а панночке нужен жокей.

— Что? что? что? — лепетала панна Нина, и ее личико вспыхнуло живым румянцем — от гнева, а может быть, со стыда.

— Пускай панночка поищет жокея, а я не поеду, — повторил Иван.

Панна Нина еще с минуту всматривалась в него не то удивленными, не то бесконечно просящими глазами.

Румянец понемногу сошел с ее лица, оно совсем побледнело, а на глаза навернулись слезы.

— Грубиян! — прошептала она и отвернулась, собираясь идти назад, в комнаты.

Сердце Ивана словно клещами сжало.

— Ну, пускай панночка садится, — сказал он более приветливо. — Поедем, уж если панночке угодно.

— Я не хочу! Не поеду! — отрезала Нина и, не взглянув даже на него, вошла в дом.

— Ну и глуп я, как сапог, — ворчал на себя Иван, сидя опять с трубкой в зубах на скамейке (лошади и фэтон давно уже стояли на своих местах).

— Зря я выскочил. Подумает еще, что и я хочу воспользоваться их затруднениями, чтобы злую шутку с ней сыграть. Фу, Иван, это нехорошо, очень нехорошо!

Думал, передумывал, как ему быть дальше? Помочь князю или бросить его? Но, не придумав ничего путного, махнул рукой и сказал сам себе:

— Ну, ведь еще синагога не валится! Обождем, что дальше будет.

### XIII

Не тем, так этим князь сумел унять своих кредиторов, хотя тех денег, что он привез, не хватило даже на покрытие и половины долга. Но в хорошенькой вилле настали тяжелые времена. Надо было скупно выдавать на еду и на самые необходимые нужды, чтобы хоть как-нибудь поддерживать в глазах людей свое достоинство. Тайком продали пару лошадей и тяжелую карету, в которой князь приехал из своих краев, — но и этого ненадолго хватило. Только феноменальное легкомыслие князя и его дочери и неприступная гордость княгини могли еще кое-как поддерживать равновесие в этом безвыходном положении. Иван узнал от лакеев, что князь письмом приказал своему поверенному в родных краях поскорее продать большую часть имения.

— Поверенный, — продолжал лакей, — тотчас отписал нашему пану, что из продажи имений ничего в ближайшее время не выйдет, — во-первых, нет покупателя, а во-вторых, нечего продавать.

— Как это, нечего продавать?

— А так, что кредиторы влезли на земли ясного пана, наложили арест и устроили так, что весь доход идет им в уплату долгов и процентов. Будь один только кредитор или если бы все они меж собой поладили, тогда суд, пожалуй, продал бы имение. Но они почему-то не могут поладить, верно, надеются еще больше вытянуть у ясного пана, вот и держат его, точно за одну ногу подвесили. Потому-то поверенный и написал, что не может ни имение продать, ни доходы с него посылать.

Ивана прямо в жар бросило, когда он попробовал представить себе положение князя.

— Чем же это кончится? — спросил он.

— Дочку продадут, — злорадно усмехаясь, шепнул ему на ухо лакей.

— Дочку? Панну Нину? — остолбенев от удивления, вскрикнул Иван.

— А кого же еще? Есть тут один старый скряга, главный кредитор князя. Бароном титулуется, а сам простой еврей, который еще из отца нашего князя начал тянуть соки и на нем нажил большое состояние. Ну, и денежная шельма! Не отходит от нашего ясного пана ни на шаг, а когда мы здесь поселились — и он тут как тут. Ну, а при этом и других панов общипывает. Так вот этот барон знает очень хорошо, как обстоят дела нашего ясновельможного, но все же кредитует его. Теперь опять немалую сумму одолжил. Видать, хочет так опутать князя, что тому, наконец, придется отдать за него дочь. Он и прежде пробовал уже заполучить ее, но тогда наши паны были побогаче и чуть не вышвырнули его в окно. А ему хоть бы что, улыбнулся, попросил у князя и княгини прощения и продолжал свое ремесло. Но теперь, наверняка знаю, не сойдет уже так гладко. Теперь, если барон скажет: «Отдайте за меня панну», — они не посмеют отказать, еще и притворятся будут, что очень рады такому счастью.

— Ну, а что же панна? Неужто она так вот и пойдет за барона?

— Да что панна? Видишь ведь, какая она! Прыгает, поет, танцует, играет, словно ничего другого на свете и не знала. Что ты с таким веретеном поделаешь? Ну,

конечно, когда ей скажут идти за барона, так она не то запоеет. Только этой печали тоже ненадолго хватит. Барон богат, он даст ей то, что отец не может дать, а она за нарядами, забавами и кавалерами и про барона быстро забудет. Недаром говорят: жена, как верба, где ее посадят, там и примется.

У Ивана даже мороз прошел по коже от этих слов. Так вот какая судьба ожидает этого хорошенького, ничего не смыслящего ребенка! Он не сомневался, что князь способен продать ее. Хотелось только увидеть этого ворона, который так долго подстерегал свою добычу. И недолго ему пришлось ждать. В тот же день барон пришел отдать визит князю. Это был человек уже седоватый, с солидным брюшком, с гладко выбритым лицом и вставными зубами. У него была привычка громко откашливаться и покачиваться на ногах, словно бричка на рессорах. Большие оловянные глаза глядели тупо, без выражения, только на жирных губах проблескивала то и дело неприятная, вероломная, чисто ростовщическая усмешка.

«Ну, этот, наверно, человека спокойно проглотит и вином запьет!» — подумал Иван, присмотревшись к барону. И горько и жалостно стало у него на душе.

— Иван! — раздался тут над ним голос панны Нины.

— Слушаю, панночка, — сказал, оборачиваясь, Иван, смутившись почему-то, словно его поймали на каком-то дурном поступке.

— Сердишься еще на меня?

— Ну, что вы, панночка, говорите? — вскрикнул Иван, еще больше смутившись. — Разве я когда-нибудь?..

— Значит, поедешь со мной?

— Охотно. Мигом все будет готово.

Иван бросился к конюшне.

— Я сейчас оденусь, — крикнула ему вдогонку панна Нина.

Через самое короткое время Иван с лошадьми и фаэтоном ждал у крыльца. Вскоре вышла и панночка.

— Пришел этот противный барон, — щебетала она, обращаясь уже прямо к Ивану, пока тот помогал ей

сесть в фаэтон. — Ах да, ты его не знаешь! Счастливец ты! А я не хочу и пяти минут пробыть под одной крышей с ним. Пускай они там с отцом перебрасываются пустыми комплиментами!

Примерно через полчаса они приехали в лесок. Тенистые аллеи — место прогулок — были почти пусты. Воздух был чудесный, полный аромата и свежести, повсюду звенели птичьи голоса. Иван поехал медленнее. Ему непременно хотелось поговорить с панночкой, и каким-то чутьем он угадал, что и она беспокойно сидит в фаэтоне.

— Прошу прощения у панночки, — сказал Иван, слегка обернувшись к ней, — правда ли, что вы замуж выходите за барона?

Панна Нина встрепенулась в экипаже, как обожженная.

— Кто это тебе сказал?

— Да слышал я, как слуги говорили.

— А если бы и так, то что?

— Жалко мне панночку, очень жалко, — сказал простодушно Иван. — Тем больше, — прибавил он через минуту, — что, как я вижу, и панночка не очень его любит.

— Ох, я ненавижу его! — воскликнула панна Нина.

— А правда ли, — продолжал Иван, — пусть мне панночка простит мое любопытство, но я от чистого сердца спрашиваю, — правда ли, что родители хотят панночку продать барону?

— Что ты говоришь? — вскрикнула панна Нина, побледнев как смерть.

— Я, глупый Иван, повторяю, как ребенок, то, что другие говорят.

— Так вот они о чем насчет меня сговариваются! — прошептала панночка, чувствуя, что ей стеснило грудь.

— И правда ли, что отец панночки должен барону много денег и за это панночка...

— Молчи! Не убивай меня! — вскрикнула панна Нина, для которой только теперь, после грубых, но искренних слов Ивана, вдруг все прояснилось.

Лошади побежали быстрее. До конца поездки между Иваном и Ниной не было сказано больше ни слова.

На другой день Нина опять приказала Ивану приготовить лошадей и экипаж, хотя барона в тот день у них не было.

— Расскажи мне что-нибудь о наших краях, — попросила панна, когда они въехали в аллею.

— Да что же я могу рассказать панночке? — спросил Иван. — Знаю я только село да крестьянскую жизнь.

— Вот и расскажи о селе и о крестьянской жизни. Десять лет живу я уже за границей. Скучаю порой по селу. Боже! Там я еще была счастлива. А здесь...

Слезы прервали ее слова.

— Не плачьте, панночка! — успокаивал ее Иван. — Село не уйдет. Панночка еще может вернуться туда и стать счастливой.

— Пропало, Иван, пропало! — всхлипывала Нина, закрывая лицо руками. — Вчера папа продал меня барону. Даже контракт уже подписали. В мясоед наша свадьба.

У Ивана не нашлось слов утешения на это. А панна Нина вдруг утерла слезы и выпрямилась.

— Нет, из этого ничего не выйдет! — воскликнула она решительно.

Иван взгляделся в ее разгоревшееся личико, ее влажные еще глаза, метавшие искры.

— Не дождутся они, чтобы я стала жертвой их спекуляции!

— А что же панночка сделает?

— Утоплюсь!

— Господи! И что это панночка говорит! — воскликнул Иван.

— Утоплюсь, зарежусь, повешусь или убегу, поступлю на службу, но за барона не пойду. Ох, как я его ненавижу! И его и всех тех, кто заставляет меня называть их отцом и матерью, а умеет только разжигать во мне спесь и мошеннически торговать моею душой! Всех ненавижу, всех!

— И меня? — тихо спросил Иван.

— И тебя тоже, и тебя! За то, что, как лисица, хочешь закрасться мне в душу, из лакейского любопытства разглядеть, что в ней творится, чтобы потом было о чем говорить с другими лакеями, осуждать меня, высмеивать за глаза!

— Панночка! — сказал серьезно Иван. — Прошу вас не говорить так. Никогда никого не сужу и не осуждаю ни в глаза, ни за глаза. А если я кое о чем спрашивал у панночки, то только ради того, что хотел бы помочь панночке.

— Мне? Ты, Иван?

— А почему бы и нет? Если только панночка захочет.

— Но что же ты можешь для меня сделать, Иван?

— Все, что панночка захочет.

— Все! Ну, это уже слишком. А если я захочу, например, чтобы вон этот фонарный столб подошел сюда и поклонился мне?

Едва панна Нина произнесла эти слова, как толстый дубовый столб, на котором качался фонарь, тяжело постанывая и сопя, вылез из земли, подошел к фаэтону, смешно покачиваясь сбоку набок, и, сильно хрустнув посередине, поклонился ей, а потом вернулся назад, на свое место.

— Ха-ха-ха-ха! — Панна Нина не могла удержаться, чтобы не расхохотаться громко, несмотря на всю свою печаль. Но тотчас стала серьезной.

— Что это за чудеса, Иван?

— Ведь я же говорил панночке, что могу сделать все, что ни хочу, — спокойно ответил Иван.

— Так ты что же, волшебник какой-то?

— Волшебник не волшебник, но обладаю такой силой.

— Значит, можешь сделать и так, чтобы барон сломал себе шею, как только придет к нам?

— Могу, — сказал Иван. — Но для чего это панночке?

— Ты прав, — печально сказала панна Нина. — Злюка я, чувствую это. А его несчастье несколько не помогло бы мне. Не он, так кто-нибудь другой из его компании купил бы меня, безразлично, в долгу я или есть

у меня свои деньги! Так знаешь что, Иван, — сказала она, подумав с минуту. — Если хочешь что-нибудь сделать для меня, то сделай так, чтобы я была счастлива.

— Этого одного, прошу прощения у панночки, не могу сделать, — печально сказал Иван.

— Как это не можешь? Почему?

— Потому что, если бы мог, то сделал бы это прежде всего для самого себя.

— Значит, и ты тоже несчастлив? — с искренним сочувствием спросила панна Нина.

— О, и очень! — ответил Иван.

— Правда, ты слуга!

— Эх, что там слуга, — ответил Иван. — Если я служу, то по собственной воле. Ведь панночка понимает, что если я могу заставить столб поклониться вам, то не велика бы для меня была задача в одну минуту превратиться из слуги в пана. Но что мне из того?

— Ну, так чего же тебе недостает?

— Э, что там об этом говорить! — сказал Иван, махнув рукой.

Прошло несколько дней. Нина, казалось, сторонилась Ивана, который тоже, задумчивый и печальный, сидел большей частью в конюшне или возле конюшни. Он тосковал по селу, ему надоел город и эта непрерывная суতোлка чужих людей, и эти бесчисленные страдания и обиды, которые каждый из этих людей обычно носит с собой, тщательно скрывая от глаз соседа, словно какой-то клад. Пустота и бесцельность бытия, и до того не раз уже дававшие себя чувствовать, теперь предстали перед ним во всей своей безнадежной наготе, окружили его, как гладкие стены, вышиной до самого неба, как страшная тюрьма, которую он должен носить в себе до самой смерти. Воля его, не находившая ни в чем ни удержу, ни препятствий, ни границ, — ослабела. Впрочем, что ему до нее, если единственная препона ей возникла именно там, где было ядро всего. Все давал ему чудесный перстень, кроме счастья и внутреннего удовлетворения. Не раз Ивану приходила мысль в голову, что лучше бы ему обходиться без этого чудесного

подарка. Но все же какая-то надежда еще сверкала перед ним, а надежда эта приобрела теперь внешний облик, и лицо, и голос — панны Нины. Помочь ей, стать полезным, вырвать ее из рук мерзких ростовщиков и не менее мерзких родителей и этим и после этого снискать ее любовь — вот о чем думал Иван, сидя одиноко на своей скамеечке и покуривая трубку с коротким мундштуком.

Правда, Иван не сразу дошел до такой скромности. Вначале, поняв, что Нина начала ему нравиться, он пожелал, чтобы она полюбила его. Но, к его удивлению, перстень и тут оказался бессильным. Когда Иван хотел, чтобы она в эту минуту пришла на кухню или во двор, чтобы она потрепала лошадь по шее или хлопнула его по плечу, чтобы засмеялась или рассердилась, — все это исполнялось тотчас. Но самое горячее его желание — чтобы она полюбила его — оставалось неисполнимым. В ее присутствии он чувствовал себя робким, связанным, чувствовал, что от нее веет каким-то холодом, духом чуждым и непонятным ему, духом, стоявшим неодолимой стеной между ними даже тогда, когда она смеялась, шутила с ним и трепала по плечу.

«Напрасно, — решил, наконец, Иван, — видно, ее натура сильнее, чем у того столба, и мой перстень не может ее изменить. Ну, да это дело не горит. Может, со временем понемногу изменится. Может, когда увидит мою помощь, узнает меня поближе, тогда и...»

И он перестал делать опыты с перстнем, сидел, смотрел безучастно, слушал, что рассказывали слуги, и молчал.

А в вилле между тем хлопотали сапожники, портнихи, модистки, готовя свадебное приданое для панночки. Князь и княгиня, получив от будущего зятя изрядный задаток за дочку, целыми днями веселились вне дома, разумеется каждый отдельно, в своем кругу. Панна Нина также редко оставалась дома, откуда ее гнал теперь вид предсвадебных приготовлений. В кругу веселых щебетуний-подруг она сразу забывала свою печаль, смеялась, прыгала и шутила, словно никакого барона, и никакого контракта на ее душу, и никакого задатка за ее тело не было на свете.

Однажды панна Нина опять велела Ивану запрягать. Когда выехали, она приказала править в сторону, противоположную той, куда обычно ездили. Вскоре выехали за город и добрались до моста. Большая, быстрая и глубокая река с глухим шумом катила под ним свои волны. Панна Нина задрожала, услышав этот шум и стук колес по мосту, но сразу же начала довольно громко мурлыкать какую-то веселую песенку. Когда они были на середине моста, она крикнула совершенно свободно:

— Остановись-ка, Иван!

Иван остановил лошадей. Панна Нина отворила дверцу фаэтона, выпрыгнула из него и, проворно, как белочка, подбежав к перилам моста, перепрыгнула через них, бросившись в темноватые, вспененные волны реки. Но в ту минуту, когда она уже почти долетела до воды, она почувствовала, что какая-то невидимая и могучая рука схватила ее, подняла и посадила обратно в фаэтон.

— Незачем устраивать комедию! — сердито проворкотал Иван, спокойно сидевший на козлах.

— Комедию! — воскликнула панна Нина, заливаясь слезами. — Но ведь я и хотела положить конец той мерзкой комедии, которую со мною устраивают. Иван, Ивасик, прошу тебя. — обратилась она вдруг к нему, — дай мне умереть! Дай мне еще раз повторить то, в чем ты меня остановил!

— Пускай панночка даже и не думает об этом, — ответил Иван.

— Но побойся бога! Я не могу вернуться домой! Ведь сегодня должно состояться мое официальное обручение с бароном. Я не могу больше выдержать.

— Да кто же заставляет панночку возвращаться домой? — ответил с непоколебимым спокойствием Иван. — Я думаю, что можно не возвращаться и жить.

— Не возвращаться и жить? Но куда же мне деваться, что делать?

— Боже мой, мир так велик! Ведь панночка говорила, что готова и на службу поступить...

— Так ты советовал бы мне это сделать?

— Что ж, если нельзя иначе, то лучше поступить на службу, чем раков и карпов кормить под мостом. Но мне кажется, что панночке еще, слава богу, нет надобности идти на это. Почему бы панночка не могла... например...

— Что такое? Скажи!

— Ну, например... принять меня к себе на службу?

— Тебя? К себе на службу? — воскликнула панна Нина. — Ха-ха-ха! Тебя, который в любую минуту сам может стать себе господином, богаче и могущественнее всех господ в мире, — я, бедная, одинокая, лишенная всего на свете, могла бы принять тебя к себе на службу?

— А если бы я попросил вас об этом? — сказал Иван. — Поверьте мне, панночка, человек только тогда может лучше всего служить другому, если его на это толкает не необходимость, но лишь его собственная воля и собственная...

— Что — собственная?

— Ну, это не важно! — прервал Иван. — Так как же? Примет меня панночка к себе на службу? Я буду покладистым слугой. Платы никакой не требую, если меня панночка уволит, я уйду, но чего только панночка ни пожелает, чего ни потребует — прошу мне сказать. Все мигом будет исполнено.

Панна Нина, улыбаясь сквозь слезы, протянула руку и подала ее Ивану.

— Хорошо, — сказала она. — Я принимаю твои услуги, но с таким условием, что не буду тебе ничего приказывать. Бросая эту жизнь, которую ненавижу, хочу вместе с нею бросить и ее обычаи. Не хочу, чтобы ты был моим слугой. Будь моим товарищем, братом, — хорошо?

Иван пожал поданную ему панночкой руку.

— Против этого я не возражаю, — сказал он радостно.

— Ну, а что же нам делать теперь?

— Я думаю, — сказал Иван, — что лучше всего на минутку вернуться домой.

— Но зачем это?

— Прошу прощения у панночки, надо лошадей поставить на место.

— А... но как же мы уедем?

— Пускай панночка об этом не заботится, это уж мое дело.

— Слушай, Иван, — сказала, краснея, панна Нина, — не говори мне «панночка»! Говори мне «ты», «Нина», так, если бы ты обращался к своей сестре.

— Прошу прощения у панночки, — ответил Иван. — У меня никогда не было сестры, и я не знаю, как обращаться к ней. Но пока я сижу на козлах — буду говорить так, как говорил до сих пор. Потом, может быть, научусь и по-другому.

## XVI

С того времени в разных столицах Европы, на модных водах, на блестящих балах, на скачках и всюду в местах великосветских развлечений видели молодую пару, выдававшую себя за брата и сестру. Мужчина, изысканно, но просто одетый, был обычно молчалив, держался вдали от людей, не танцевал, в разговоры не вмешивался и вообще, казалось, как-то угасал и терялся в присутствии своей красивой сестрички. Она же, наоборот, была предметом всеобщего удивления и обожания — неизвестно, из-за своей ли красоты, или остроумия, или несчетного, как казалось, богатства, о котором можно было судить по ее дорогим платьям, брильянтам и другим драгоценностям, по блестящим экипажам и огромным расходам, какие они производили всюду, где только ни останавливались.

Эта пара были Иван и Нина. Покинув отцовский дом, Нина, правда, заявила Ивану, что хочет вернуться в родные края. Но Иван, достаточно хорошо зная ее натуру, рассудил, что ее отвращение к великосветской жизни минутное и вызвано тем тяжелым моральным ударом, который она испытала. Минута пройдет, раны заживут, и она наверняка затоскует по этой жизни. Вот потому-то он и предложил ей перед возвращением домой совершить вдвоем в течение нескольких месяцев поездку по Европе, которую он и сам хотел бы осмотреть.

Нина как-то неохотно приняла это предложение, но через несколько дней совсем позабыла о том, что еще недавно так хотела вернуться домой.

Сила волшебного перстня Ивана проявилась теперь в полном блеске. Этот перстень переносил их обоих из города в город в одну минуту, без труда и забот, давал в их руки неисчерпаемые возможности, позволял тратить неслыханные суммы, блистать безмерным богатством, которое ничего не стоило и обладало лишь тем недостатком, что, попав каким-нибудь образом в третьи руки, исчезало, как снег на солнце. Значит, оно было призраком, как в этом Иван вполне убедился, но призраком, совершенно достаточным для того, чтобы обеспечить им славу людей безгранично богатых.

Нина вначале несколько стеснялась черпать из этого волшебного источника.

— Какое у меня право на это?

Но Иван успокаивал ее.

— Если уж ты взяла меня к себе на службу, то позволь мне исполнять все твои желания.

— Но мои желания могут стать капризами.

— И капризы твои будут удовлетворены, — сказал Иван. На самом деле вскоре панна Нина стала весьма широко пользоваться предоставленным ей правом. Блестящий, шумный, оглушительный водоворот великосветской жизни был ее подлинной стихией. Она и бросилась в этот водоворот с горячностью, присущей ее пылкой натуре, позабыв вскоре обо всем другом. Иван, к которому она вначале чувствовала благодарность и хоть капельку подлинного расположения, вскоре упал в ее глазах до уровня низших существ, созданных только для того, чтобы удовлетворять потребности и капризы существ высшего порядка. В сравнении с блестящими денди, которые роями вились вокруг Нины, Иван, в самом деле, выглядел очень невзрачным. Он не умел говорить ни на каком языке, кроме своего родного, который, к счастью, блестящие паньчи не понимали совсем, — был неразговорчив, тяжел на подъем и уныл. Бывали минуты, когда он казался ей просто идиотом.

Они останавливались обычно в хороших виллах или

в первоклассных отелях, занимали по несколько комнат, причем Иван, по обыкновению, как упрямый русин, всегда селился в одной задней комнатке, обставленной скромной мебелью, а прочие предоставлял в распоряжение Нины и ее гостей. Спустя некоторое время он заметил, что его молчаливое присутствие и неуклюжие манеры не по вкусу гостям Нины, и перестал показываться в салоне, а по целым дням сидел в своей комнатке и скучал смертельно. Тысячу раз пробовал заняться чем-нибудь, ну, хотя бы строгать дерево или шить сапоги, чему когда-то научился у сельского сапожника, но всякий раз какая-то невидимая рука выхватывала у него из рук работу, которую ему самому хотелось сделать,— и все это в одну минуту уже лежало перед ним, сделанное без него.

И вот Иван уходил в город и бродил по улицам, одетый обычно как простой работник, чтобы никто не узнал его и не помешал. Молча присматривался он к жизни людей в этих огромных муравейниках, именуемых столицами мира. Многого он там не понимал, но все-таки картина нужды, в какой жил рабочий люд, фабричные, ремесленники, была ему слишком хорошо понятна и клещами сжимала сердце.

Так прошло несколько месяцев. Иван за это время высох, как щепка, и потерял всякую охоту к жизни. Наоборот, Нина расцвела, как роза, развернулась и чувствовала себя бесконечно счастливой.

— Слушай, Нина, — сказал ей как-то Иван, когда несколько дней не видевшись, они сошлись случайно в одной из комнат. — Не пора ли нам возвращаться домой?

— Домой? — удивленно спросила Нина. — А где наш дом?

— Ну, в наши родные края, к себе.

— Э, Иван! Что ты говоришь? Наша родина — это весь мир. А в тех краях, где мы когда-то родились, никто по нас не тоскует, никто о нас не вспоминает, и мы там не оставили ничего, так зачем же нам туда возвращаться? Разве нам здесь нехорошо?

— Мне, Ниночка, нехорошо, — сказал Иван.

— Да чего тебе не хватает? — воскликнула девушка,

даже не взглянув на него. — Ведь у тебя в руках все средства. Сделай так, чтобы тебе хорошо было!

— Хорошо мне может быть только в родном краю, я чувствую это, — ответил Иван.

— Так ты хочешь меня бросить? — вырвалось у Нины.

Иван взглянул на нее долгим, печальным взглядом и не сказал ничего. Теперь он понимал хорошо, что все его мечты о том, чтобы приобрести расположение этой девушки, были напрасны и бесплодны. Незримая стена, стоявшая между ними, не поддавалась силе его перстня и не хотела исчезать. И все же Иван не переставал еще надеяться, хотя сам не знал, на что. Теперь же, из этих слов Нины, он сразу понял, что ее с ним не связывает ничто, и почувствовал, что надежда его исчезает, развеивается, как дым. У него защемило сердце, он побледнел и стиснул зубы, чтобы не закричать от боли.

Нина не смотрела на него, занятая перед зеркалом своей пышной прической. Только молчание Ивана заставило ее спохватиться, что последние слова необдуманно сорвались с ее уст. И вот, окончив поправлять свою прическу, она вдруг обернулась, подбежала к Ивану и, переходя из одной крайности к другой, обхватила ладонями его голову и, лаская его и целуя в лоб (в губы они еще никогда не решались поцеловаться), сказала нежным голоском:

— Нет, Ивась, нет, братик мой! Я знаю, что ты меня не бросишь. И я тебя не брошу, верь мне! Скоро, через несколько недель, полетим вместе на нашу любимую родину. Вот только мясоед кончится. Ах, мне так хочется еще погулять, потанцевать, повеселиться! Ведь там, дома, как ты говоришь, мы засядем, как кролики в норе. Там не будет уже того, что здесь, правда? Я даже сама этого не хочу. Но теперь еще эти несколько недель пускай будут мои! Хорошо, Ивасик?

Иван был очень опечален. С некоторых пор он приметил одного панича, который все время вертелся возле Нины и, очевидно, завоевал ее расположение. Зависть побуждала Ивана тайно проследить жизнь и поведение этого паныча. Он убедился, что молодой граф Эдвин — человек весьма низкой пробы, картежник и распутник.

Проматав смолоду большую часть отцовского состояния, он теперь проматывал остатки. Учтивый и приветливый в обществе, он разыгрывал роль большого барина и человека чести, но втайне забирал в долг где только мог, не платил портным и прочим ремесленникам, в гостинице жил в долг и даже у своего старого кучера не постыдился занять крупную сумму денег, которую тот в лучшие времена скопил себе на старость. От этого кучера, с которым Иван подружился, он и узнал об Эдвине достаточно такого, чтобы составить себе ясное мнение о нем.

Эдвину грозило разорение, и он, очевидно, закинул крючок на Нину, которую считал большой богачкой. Ивану даже страшно делалось при одной мысли о том, что ожидает эту неопытную девушку в руках такого человека, и он решил предостеречь ее.

— Слушай, Ниночка, — сказал он, ласково уклоняясь от ее нежностей, которые вместо удовольствия и радости причиняли ему глубокую боль. — Я хотел бы спросить тебя об одной вещи, только дай мне слово, что не рассердишься на меня.

— Ну, спрашивай, спрашивай, медведь! — смеялась Нина, с комичной серьезностью опираясь локтем на его плечо.

— И скажешь мне правду?

— Это уж как мне понравится.

— Правда это или мне только показалось, что тебе понравился граф Эдвин?

— Что? — вскрикнула Нина и вся вспыхнула румянцем, словно преступник, пойманный на месте преступления.

— Не хочу ставить тебе это в упрек, — спокойно сказал Иван, — но только предостерегаю тебя, что граф — человек, недостойный твоего чувства.

— Почему?

— Не требуй от меня подробностей, но прими это предостережение от брата.

— А если это лишь низкая попытка очернить? — резко сказала Нина.

— У меня есть некоторые доказательства.

— Спрячь свои доказательства, — сказал Нина

оскорбленно. — Впрочем, уверяю тебя, — граф меня нисколько не интересует.

И повернулась, чтобы уйти.

— Слушай, Нина, — сказал Иван, не двигаясь с места. — Ты по крайней мере ничего не говорила ему об источнике нашего богатства?

— О каком источнике? — тихо переспросила Нина и вдруг побледнела.

— Да ведь ты знаешь, о чем я думаю. О моем перстне.

— Ничего. А что?

— Прошу тебя, не говори ему ничего и впредь.

— Что это опять за напоминания? И почему как раз в связи с ним?

— Ну, так, случайно пришло мне в голову. Человек может быть совсем напрасно введен в соблазн.

— Ты дурак, Иван! — крикнула Нина.

— Это совсем лишнее, Ниночка! Потрудись понять меня! Совсем лишнее!

Но Нина уже не слышала этих слов, — мурлыкая какую-то французскую песенку, она вертелась в соседней комнате.

А ночью, когда Иван, усталый от повседневных забот, спал крепко в своей комнатке, к нему вошел граф Эдвин, ступая тихонько на цыпочках, снял у него с пальца волшебный перстень и, уходя, запер за собою дверь на ключ. Внизу, в вестибюле гостиницы, его ждала уже Нина, одетая по-дорожному, а слуги как раз выносили огромный, тяжелый дорожный кофр.

— Ну, что? — шепотом спросила Нина.

— All right\*, — шепнул Эдвин. — Спит, как убитый. Когда он проснется, мы уже будем далеко. Вот перстень.

И Эдвин надел перстень себе на палец.

— Дорогой мой! Благодарю тебя! — шепнула Нина, пожимая его руку. — Ты подарил мне новую жизнь, освободил меня от этого медведя с лакейской душой.

Несколькими минутами позже экипаж, запряженный роскошной четверней, мчался во весь опор по улицам города, увозя счастливую чету беглецов.

---

\* Все хорошо (англ.)

Первое ощущение, какое испытал Иван, проснувшись довольно поздно на другой день, было ощущение какой-то удивительной легкости. Ему показалось, что с него спали какие-то тяжелые оковы и мир вдруг стал светлее. Не понял сначала, в чем дело, но вскоре, невольно коснувшись правой рукой — левой, почувствовал, что перстня на пальце нет. Удивился беконечно, стал вспоминать, где мог его потерять, но ничего не мог придумать. Направился к двери, чтобы рассказать Нине, что случилось, но дверь была заперта снаружи. В голове у него сразу прояснилось.

— А! Так вот оно что! — вскричал он. — И правда, мое предчувствие не обмануло меня! Моя Ниночка, в самом деле, сговорила с этим ветрогоном! Забрали у меня перстень, думая, что бог знает какой клад добыли! Ха-ха-ха-ха! Дай вам бог счастья! А мы тем временем попробуем, чем пахнет труд.

И взял щетку, чтобы почистить свое платье, но в ту же минуту почувствовал, как волшебный узелок снова завязывается вокруг него, как что-то выхватывает у него из рук щетку, обессиливает его мышцы — перстень снова был у него на пальце.

— Ну, не хотел бы я в эту минуту видеть лица их обоих, — сказал Иван.

Сила перстня сразу отворила запертую дверь. Иван вошел в комнаты Нины. Комнаты были пусты, все ценные украшения были взяты.

— Ха-ха-ха! — горько усмехнулся Иван. — Польстились на блестящие безделушки и убежали! Ну, наверно, скоро вернутся. Пойду встречу их.

Одевшись получше и позавтракав, Иван тихонько вышел, сел в коляску и поехал в ту сторону, куда за несколько часов до того умчались Нина и Эдвин. Не проехал Иван и полчаса, как на дороге показался крестьянский решетчатый воз, а в нем на снопе соломы сидели Эдвин и Нина. Когда обе колесницы поровнялись, Иван остановил их и сказал Нине спокойно, как если бы ничего и не произошло.

— Ну, не говорил ли я тебе, Ниночка, что все это

совсем напрасно? Ведь если тебе захотелось совершить прогулку, ты могла бы сказать мне об этом словечко.

— Молчи, хам! — вне себя крикнула Нина. — Как ты смеешь говорить со мной, как равный? Я княгиня, а ты простой мужик.

— Да ведь, Ниночка, — с несокрушимым спокойствием возразил Иван, — ты сама предложила мне так обращаться к тебе. А теперь, прошу тебя, садись вот тут, около меня. Не годится тебе, выехав четверней, въезжать в город на таком мужицком возу.

— Не нужна мне твоя коляска! Поеду так, как мне захочется, рядом с тем, кому принадлежит мое сердце, кому я отдала все... все, даже...

— И кто за все это получил ломаный грош! — насмешливо докончил Эдвин. — Нет, пани, я думаю, что вы и впрямь лучше сделаете, если вернетесь в объятия этого честного и благородного братца.

— Эдя! — с тяжелым упреком воскликнула Нина.

— Э, что там забавляться сентиментальными выдумками! — грубо отрезал Эдвин. — Ведь вы, пани, знаете, что я нищий, банкрот. А этот проклятый перстень, который вы велели мне снять с пальца вашего братца, — вот он, я вижу, опять красуется на том же самом пальце! А в ту же минуту, когда исчез перстень, исчезли также, как вы знаете, пани, все ваши деньги и драгоценности, даже экипаж и лошади. Осталось у нас только то, что я вчера не проиграл в карты, а этого было слишком мало, едва хватило на то, чтобы уплатить за ужин и ночлег и нанять эту изящную колымагу, на которой я уже растряс все свои кости. И как же вы, пани, представляете себе наше дальнейшее путешествие, наше будущее? Источники моих доходов совсем исчерпались, у вас, пани, столько же средств, сколько у турецкого святого, заработать на себя вы также не сможете...

— Буду зарабатывать, Эдя! Переломлю себя! Буду делать все, лишь бы не быть тебе в тяжесть, только не отталкивай меня! Я тебя люблю, Эдя, а к нему не хочу возвращаться.

— Нина! — воскликнул Иван, до глубины души потрясенный этой сценой. — Ты рвешься от меня, как от самого злейшего своего врага! Между тем довольно од-

ного твоего слова, чтобы я исчез с твоих глаз. Ты любила этого пана, я не хочу быть помехой тебе. Будьте счастливы! Охотно помог бы вам, если бы это было в моей власти, но теперь ты видишь и сама, что все, что дает мой перстень, он дает только мне; в руках других людей все это исчезает. Так прощайте же оба! Садитесь в мою коляску, она оплачена и не исчезнет под вами, как та четверня. А я пойду!

— Но куда же ты пойдешь? — спросила Нина, слегка пристыженная и взволнованная его словами, видя, что он сошел с коляски.

— Пойду домой, — ответил Иван. — Прощайте!

И Эдвин и Нина не успели еще усесться в коляску, как Иван исчез с их глаз.

## XVIII

Каким образом это произошло, Иван не понимал. Вероятно, какое-то тайное, ему самому неизвестное желание руководило в эту минуту волшебной силой его перстня. Довольно того, что в следующую же минуту после разлуки с Ниной он оказался в том городе, откуда он когда-то отправился странствовать по свету, полный розовых надежд и могучих желаний, — оказался перед пышным дворцом князя Долгорукого. Не очень пышно выглядел теперь этот дворец! Пусто вокруг, ни живой души. На воротах, на дверях, даже кое-где на окнах, поперек хрустальных стекол, были наклеены огромные печатные, красные, синие и желтые, бумаги.

«Что это такое? Чума тут вспыхнула? Или, может быть, нечистая сила заклала эту лачугу?» — думал Иван, ходя по дорожкам мимо зданий.

— Э-гей, парень! — окликнул его со стороны чей-то басистый голос. — Кто ты таков? Что тут делаешь?

Иван оглянулся — и перекрестился. Ну, слава богу, хоть одна живая душа отыскалась! Он узнал старого усатого сторожа, который охранял княжеский парк.

— Здравствуйте, Бантрогий! — воскликнул он радостно, подходя к старику. — Что ж это вы, не узнаете

меня? Я — Иван, княжеский кучер, которого недавно приняли.

— Тот, что с князем за границу поехал? — спросил удивленный Бантромий.

— Тот самый.

— Какой же черт принес тебя сюда? Иль, может, и князь приехал?

— Нет, Бантромий, я один приехал, верхом на палочке.

— Ну, а князь? Где он? Что с ним?

— Не знаю.

— Не знаешь? Да ведь он не сегодня-завтра должен тут быть.

— Ну? А зачем?

— Как, зачем? Разве ты ничего не видишь?

И он достал из кармана точно такую же бумагу, как и те, что были расклеены по всему дворцу.

— Видеть-то я вижу, еще, слава богу, глаза у меня на месте. Но что означают эти цидулы — ей-ей не знаю.

— Это, голубчик, объявления, и означают они, что нашему князю от его княжества осталось ровно столько, сколько стоит эта бумага.

— А много ли она стоит?

Бантромий только свистнул, смял бумагу в кулаке и сделал ею такой жест, что Иван, хоть и неграмотный, сразу понял его значение.

— Вон оно как! Ну, а все же, что это за бумага и что на ней написано?

— Написано на ней, голубчик Иван, что от сего дня через неделю состоятся торги и продажа этого дворца, и парка, и всего княжеского имения тому, «кто да вэнци»\*.

— О-о-о! — удивился Иван. — Так, как с самым простым мужиком.

— А что, голубчик, закон для всех один, и долг для всех долог, а отдача — коротка.

— Ну, а есть ли покупатели на это имущество?

— Ого-го, почему им и не быть! Но говорят, что никто

---

\* Кто даст больше (*польск.*) — возглас аукциониста при продаже имущества с торгов.

ничего не получит, потому что барон, — там какой-то жидюга, попросту пьявка народная, в барона преобразился, — так этот барон, говорят, уже все держит в кармане. Даже на торгах никто против него не выступит. Целую неделю уже вертится тут, в суде пропадает среди ростовщиков-евреев, — гляди, это он велел наш дворец так разукрасить! Распоряжается здесь уже, как в своем собственном. Всю дворню поразгонял, чтобы не кормить дармоедов, только меня оставил одного, вроде как на память, да и то, видно, скоро придется и мне на старости лет плестись куда глаза глядят. Скоро уж тут, голубчик, и слова людского не услышишь, а один только еврейский галдеж.

— Так барон здесь? — воскликнул Иван.

— Да где ж ему еще быть? Таскался за князем, таскался по заграницам, пока не высосал из него все соки, а теперь что-то там между ними произошло, поссорились, слышу, из-за панны, ну, вот наш барон и прилетел сюда, как ворон на падаль.

— И никого нет, кто бы прогнал его с этой падали?

— Его? Барона? Да ты во сне, что ли, голубчик! Он — сила! У него деньги! Кабы ты видел, как тут все льнут к нему!

В этот миг Бантромий вдруг, словно спугнутый с места, полетел куда-то, так полетел, что Иван и не ожидал даже, чтобы в его старых ногах оказалось столько прыти.

«Что это с моим стариком случилось?» — подумал Иван и следил за ним глазами, пока не заметил в конце аллеи какое-то черное пятно, вокруг которого летало что-то, как сверкающая золотая муха.

Иван быстро разобрал, что это за пятно. Это был барон, — он шел по парку, помахивая элегантною тросточкой с золотым шариком на конце. Старый Бантромий подбежал к нему, запыхавшись, встал перед ним смиренно, как никогда не стоял перед князем, и, отвечая на какие-то вопросы барона, при каждом слове низко изгибался, как складной ножик.

«Ну-ну!» — подумал Иван, плюнул и свернул на боковую дорожку, чтобы не повстречаться с бароном. Через минуту пришел Бантромий, смущенный и одновременно радостный.

— Ты, голубчик, не очень смейся надо мной. — сказал он, обтирая губы и поглаживая длинные усы. — Недостойно вроде бы прыгать перед такой жабой, как барон, это верно, но что поделаешь, если он — сила. А к тому же еще, голубчик, человеку и спекульнуть надо малость. Видишь, что барону это по нутру и он после каждого такого разговора ни за что ни про что червонец в руки тычет, ну, вот и думаешь: повредит мне, что ли, если спину согну? Она не переломится, а червонец, голубчик, на старости — самая лучшая подпора.

— Но все же, что вам такое наговорил янсвельможный пан барон? — спросил Иван, обходя щекотливую тему.

— О, нынче барон был очень ласков и весел. Говорил, что получил из-за границы очень радостную телеграмму, что сейчас едет туда и вернется только в день торгов, и поручил мне надзор за всем этим добром.

— Так возле вас можно будет и мне приютиться? — спросил Иван.

— Ютись, голубчик! Хоть в княжеской постели спи, но только до торгов. Потом уж не моя воля. Потом, может, я просить буду, чтобы ты меня где-нибудь у себя приютил.

— Хорошо! — весело воскликнул Иван. — Ловлю вас на слове. Потом я вам дам приют!

Бантромий грустно усмехнулся, потряхивая руку Ивана.

— Будем, видно, вдвоем ютиться так, как двое голых в одной рваной рубашке. Ну, да ты, верно, голоден, может, тебя угостить чем? Знаешь что, голубчик? Идем в княжеский погреб, там у меня в одном уголке кое-что припрятано, вот и побеседуем не сухим горлом.

Толкуя о том о сем, оба они подкрепились кое-чем. Бантромий раскопал бутылочку доброго вина, и они, сидя на пустой бочке, продолжали беседовать.

— Что же ты думаешь делать, голубчик? — спросил Бантромий Ивана.

— Не знаю еще, — сказал Иван. — Прежде всего хотелось бы мне устроить барону какую-нибудь хорошую штуку.

— Барону? Ты? — протянул Бантромий и посмотрел на Ивана, как на диво.

— Может, как-нибудь насолить ему с этими торгами? — задумчиво прикидывал Иван.

— Ты? Барону? — лепетал уже почти вне себя от удивления Бантромий.

— Да, да! — сказал Иван решительно. — Это, думаю, будет хорошо. Знаете что, дядько Бантромий, помогите мне с этим делом, уверяю, не пожалеете.

— Чем, чем тебе помочь, неразумный ты?

— Разузнайте в суде, на какую сумму будут торги и как принять участие в них.

— Да с тобой, с таким грязным батраком, в суде и разговаривать об этом не станут.

Иван, не говоря ни слова, поднялся с места, вышел за угол и через минуту появился перед Бантромием, одетый, как пан, при золотых часах, с толстой золотой цепочкой, в перстнях с дорогими камнями, а в руках держал трость с золотым набалдашником, который был значительно больше, чем у барона.

— А если я им вот так покажусь, — сказал, улыбаясь, Иван, — захотят они со мной говорить?

— Свят, свят, свят! — воскликнул, крестясь, Бантромий. — Что это такое? Какой нечистый сидит в тебе, Иван?

— Совсе не нечистый, дядько, — сказал Иван, и в тот же миг исчезло все его панское обличье, — это только так, шутка. Вот такую-то шутку мне и хотелось бы сыграть с бароном. Помогите мне, уверяю вас, не пожалеете об этом.

— Да разве такое уж большое дело разузнать про торги? — сказал Бантромий, все еще не оправаясь от испуга и начиная подумывать — не подкапывается ли под барона нечистая сила, чтобы взять его за старые долги. — А впрочем, если хочешь, чтобы я тебе помог, — будь по-твоему. Мне барон ни сват, ни брат. Только, голубчик, если хочешь приступить к торгам хоть и в шутку, то надо в суд залог внести.

— Залог? Что это за залог?

— Да какую-то сумму денег, и немалую.

— О, об этом не беспокойтесь, это у меня найдется.

— Найдется? Тьфу! А ну, перекрестись, Иван!

— Что это вы, дядько, придумали? Не верите мне?

— Ну да, не верю. Ну, перекрестись, а то и шагу с тобой не ступлю.

— И перекрещусь и молитву прочитаю, если вам это надобно, — сказал Иван и перекрестился, — только идите!

## XIX

Через несколько дней после этого разговора приехал князь. Он въехал не во дворец — тяжело было ему и смотреть на то место, которое некогда видело его величие, а теперь пропало для него, казалось, навсегда. Он поселился в маленькой еврейской гостинице, в одной комнате, выходившей окнами на грязный, вонючий двор.

Узнав от Бантромия о приезде князя, Иван тотчас же пошел к нему. Князь, одетый, полулежал на диванчике, курил трубку и, казалось, ни о чем не думал. Он не слышал даже, как Иван постучал в дверь, как открыл ее и как вошел в комнату. Иван, увидев князя, сперва подумал, что попал не в ту дверь: этот седой, весь в морщинах, потрепанный человек, эта дряхлая развалина, без мысли, без выражения на блеклом лице, лежавшая перед ним и моргавшая осовелыми глазами, — неужто это князь Долгорукий, тот самый, который еще так недавно рукоплескал опереточным певичкам и любовался прелестями шансонеток?

Увидев Ивана, он слабо усмехнулся и махнул рукой, не меняя своего положения.

— Хе-хе, Иван, Иван, помню. Хороший кучер, хе-хе, но плохой слуга. Сбежал, хе-хе, сбежал от меня, но ничего не украл! Нет, не могу этого сказать. Ну, хорошо, хорошо! Вернулся в село? А? На нищенские хлеба, а? Вот как и я, точнехонько! — дрожащей рукой он провел по глазам, словно хотел утереть слезу, но глаза у него были совсем сухие. Иван стоял перед ним, не сводя с него взгляда, и не мог вымолвить ни слова.

— Не могу, голубчик, не могу тебе ничего дать, — шамкал князь, с трудом улавливая обрывки мыслей, которые, точно шмели, в беспорядке пронеслись в его

истощенном мозгу, — голый я, голенький, вот как и ты. Все прошло. Все пропало. Мое прежнее счастье — хе-хе, голубчик, сломало ногу где-то по дороге, когда спешило в последний раз спасти меня. И мои бросили меня, хе-хе! Как от зачумленного убежали. Дочь пропала, может, утопилась... Княгиня умерла. По секрету скажу тебе, голубчик: она повесилась ночью над своей кроватью, бедная моя жена! А как же! Но мы скрыли это, сказали, что умерла... О, это он, этот мерзавец барон, доконал ее! В тот самый день, когда он по почте прислал нам печатное объявление о торгах на наши имения, — ты видел эти бумаги? Говорят, весь наш дворец облеплен ими. Я не поехал туда, не хочу видеть, а то и мне придет охота сделать так же, как княгиня. Бедная женушка, хе-хе! Ни словечка не сказала, не поморщилась, но взяла ночью и...

Иван стоял, ошеломленный...

— Зачем я приехал сюда, спрашиваешь? — продолжал князь, хотя Иван ни о чем его не спрашивал. — Сам не знаю. Не хотелось погибать на чужбине, как собака под чужим плетнем. Лучше под своим. А знаешь, в Локарно<sup>15</sup>, — ах, ты не был в Локарно? Красивая местность! Там какая-то старая гадалка предсказала мне: когда у вас крайность будет, возвращайтесь домой, там вас счастье ждет. Вот я и вернулся, собрал последние крохи и вернулся. Ну, ну, прощай! Иван, Иван, — а прозвища и до сих пор не знаю. Иван-кучер. Хороший кучер. Разбойников кнутом бил. Ага, ага, помню! И не украл ничего. Ну, ну, прощай, будь здоров!

Печальный и невеселый, шел Иван по улице, выйдя от князя. Ну, этому уже нечего и помогать. Этому разве что заступ да лопата помогут. О дочери, видно, ничего не знает, а может, и слышал, но не соображает. А стоило бы узнать, где панна Нина обретается.

В эту минуту что-то, казалось, схватило его глаза и с силою повернуло направо. В хорошем экипаже, запряженном парой резвых лошадей, быстро ехали в облаке пыли какой-то уже седоватый пан и молоденькая пани. Пан оперся левой рукой на тросточку с золотым набалдашником, а правой показывал в ту сторону, где стоял княжеский дворец. Пани сидела свободно, повернув

головку в том же направлении, и громко смеялась. Оба только мелькнули перед Иваном; экипаж сразу свернул в аллею княжеского парка и исчез между деревьями, но Иван тотчас узнал, что это — барон и Нина.

«Так я и знал, что ей ненадолго хватит любви с Эдвином, когда нечего будет есть. Но чтобы она добровольно ушла к барону, этому я не верю», — подумал Иван, идя вслед за ними.

## XX

Настал день торгов. Первым явился барон в одном экипаже с Ниной. Торги происходили не во дворце, а возле хозяйственных строений, на широкой площади усадьбы, где лежали еще толстые бревна, на которых совсем недавно, при панщине, гайдуки каждую субботу отсчитывали крепостным накопившиеся за недельную работу десятков, а то и два плетей. Нина вышла из экипажа и села на крыльце, барон ходил по двору, ожидая судейскую комиссию.

Появилась комиссия — чиновники, судебные исполнители с бумагами и молотком, а за ними валила густая толпа евреев, горожан, мужиков, ехал кое-кто из любопытных панов, приехал даже начальник уезда — пан староста — для поддержания порядка. Барон весело поглядывал на всех, здоровался с панами, как со знакомыми, со старостой завел разговор о политике, но, не закончив его, поспешил к столу комиссии, где удары молотка дали знать, что власти вступают в права.

В эту минуту толпа заволновалась, зашептала и заклокотала, как кипяток, когда в него бросят раскаленный камень. По дорожке от города подъехала небольшая коляска, вроде тех, на каких возят детей, только с ручкой позади. В этой коляске сидел сгорбленный, поседелый и сморщенный человек с лицом покойника и мутными глазами, а за коляской шагал, подталкивая ее вперед, молодой парубок, просто, по-мужицки одетый.

— Князь, князь, — шептались в толпе. Комиссия, услышав этот шепот, приостановила свою работу, пока коляска с князем не подкатилась к самому столу. Нина, сидевшая на крыльце, вздрогнула, увидев отца таким

несчастливым и беспомощным. Она побледнела, поднялась с места, но тотчас опять села, словно чья-то незримая рука взяла ее за плечи и с силою придавила к прежнему месту.

Начались торги. Судебный исполнитель начал медленно читать постановление, потом выкрикнул имена кредиторов, претензии которых были вписаны в закладной лист княжеского состояния. Из них отозвался только один—барон.

При объявлении каждой фамилии барон выкрикивал: «Удовлетворен!» — и клал на стол комиссии расписку кредитора с заявлением, что никаких претензий к княжескому имуществу больше не имеет.

В конце концов оказалось, что остался лишь один кредитор — барон, а его претензии равнялись сумме всех претензий прежних кредиторов. Сумма эта составляла круглым счетом полмиллиона.

Потом началось оглашение длиннейшей выписки и ведомости недвижимых имуществ, в которой содержалось подробное описание имений Долгорукого и определялась их стоимость.

Как ни истощены и заброшены были эти имения, все же стоимость их втрое превышала сумму долга.

— От имени единственного кредитора, барона, Шпицкопфа, предлагаю ясновельможному князю Долгорукому прийти к соглашению, — объявил громко судебный исполнитель, обращаясь в сторону коляски с князем.

— Пан барон готов отказаться от торгов, если князь Долгорукий откажется от всяких дальнейших претензий на свое имущество. За это барон готов дать ему почетное содержание до смерти.

— От имени больного, парализованного, но находящегося в здравом уме князя Долгорукого, — откликнулся в ответ чистый, звонкий голос из-за коляски, — заявляю, что князь таких условий не принимает и настаивает на торгах.

Слова эти произвели на всех собравшихся впечатлительные чуть ли не удара грома среди ясного неба. Барон так много наговорил всем о расположении князя к нему, о его боязни торгов, о несомненности согласия с его

стороны, что решение князя—настаивать на торгах — было для всех полной неожиданностью. Барон даже подскочил на месте, услышав эти слова, но тут же усмехнулся презрительно: окинув взглядом всех собравшихся, он увидел, что среди них нет никого, кто мог бы быть опасен на торгах.

Еще более сильное впечатление произвели эти слова на Нину. Она узнала сразу голос Ивана, которого до того совсем не разглядела позади отцовской коляски. Она тотчас поняла, что здесь произойдет что-то необычайное, но что именно и с какою целью, — не знала. Ее бросило в дрожь. Чувствовала время от времени, что Иван глядит на нее, но сама не смела и глаз поднять, с глухой тревогой ожидая каждого его нового слова среди всеобщей тишины, точно удара кнутом по плечам.

— В таком случае, — объявлял дальше судебный исполнитель, — о соглашении не может быть и речи. И потому выставляется на публичную продажу все описанное выше движимое и недвижимое имущество вельможного князя Долгорукого, оценочной стоимостью в полтора миллиона за объявленную сумму в шестьсот тысяч, на удовлетворение претензии барона Шпицкопфа в сумме пятьсот тысяч, а также судебных и прочих издержек. Объявлена сумма — шестьсот тысяч. Кто даст больше?

— Я даю шестьсот тысяч, — сказал громко барон и огляделся вокруг, как триумфатор.

— Я дам семьсот тысяч, — раздался вдруг голос Ивана из-за княжеской коляски.

— Что за я? Кто такой? — вскричал барон, как ошпаренный.

— Я, Иван Лентяй, — спокойно ответил Иван.

— Ты? От имени князя?

— Нет, от своего собственного.

— Прошу пана судебного исполнителя удалить этого дурака, чтобы не мешал ходу торгов, — обратился барон к исполнителю. — Он не имеет никакого права говорить здесь.

— Простите, пан барон, — вежливо ответил исполнитель. — Иван Лентяй допущен к участию в торгах, прошу убедиться.

— Как? И залог внес?

— И залог внес.

— А, Schlag soll ihn treffen!\* — вскричал барон, не в силах сдержать свою злобу.

Общий смех публики был ответом на этот невольный выкрик.

— Итак, Иван Лентяй дает семьсот тысяч, кто больше? — выкрикивал дальше судебный исполнитель.

— Я даю восемьсот тысяч, — сказал, отдышавшись немного, барон.

— Даю девятьсот тысяч, — тотчас сказал Иван.

— Я даю миллион, — злобно выкрикнул барон, чтобы криком этим, как громом, убить Ивана.

Слово «миллион» вызвало среди публики шепот удивления. Барон бросился к Нине и о чем-то живо заговорил с ней, но она не в силах была ответить ему. Зубы ее стучали, она тряслась, как в лихорадке, и еле-еле смогла сказать барону:

— Держитесь! Он вас хочет запугать! Он пришел по мою душу! Держитесь, барон!

— Я ему покажу, как со мной тягаться! — гордо крикнул барон, возвращаясь обратно к столу комиссии, где судебный пристав уже стучал и кричал, призывая народ к спокойствию.

— Я даю миллион и тысячу, — сказал Иван, не двигаясь с места.

— Ага, подается уже, подается, испугался! — гудела толпа, люди чуть не на голову лезли друг другу, чтобы посмотреть на этого диковинного покупателя в мужицкой домотканной одежде, о котором никто не знал, кто он, откуда взялся и на чьи деньги покупает.

— Я даю миллион сто тысяч! — крикнул барон.

— Bravo, bravo! — загудела толпа евреев, и пристав тотчас бросился успокаивать их.

— Я даю на тысячу больше, — сказал Иван.

— Я даю миллион двести тысяч!

— Я даю на тысячу больше, — как машина, повторял Иван.

— Я даю полтора миллиона! — заревел барон, красный как рак.

---

\* Чтоб его удар хватил! (еврейск.)

— Я даю на тысячу больше,—продолжал свое Иван.

Барона начал охватывать страх. Сумма, до которой он поднялся, значительно превышала все, на что он рассчитывал перед торгами. Он надеялся стать владельцем княжеского имения без всякого дальнейшего торга, забрать все за долги, а между тем ему придется или отступить и получить лишь свой долг и больше ничего, или продолжать этот сумасшедший торг. Ему вспомнились слова Нины, и он из последних сил крикнул:

— Даю миллион и шестьсот тысяч!

Ни один голос не отозвался на эти слова. Вся публика словно замерла, ожидая, что скажет Иван, но Иван молчал и был чем-то занят возле князя.

— Первый раз — миллион шестьсот тысяч, — кричал исполнитель. — Кто даст больше.

Никто не откликнулся.

— Второй раз! — кричал исполнитель.

Молчание.

— Третий раз!

Минута мертвого молчания — и барон из гордого капиталиста стал разорившимся владельцем княжеского имения. Он это ясно почувствовал в ту же минуту. Всея его наличности не хватало на то, чтобы покрыть объявленную им цену. Придется сделать крупный заем, сразу же заложить только что приобретенное имущество. А хозяйствовать на этих землях без оборотного капитала — это значит заранее обречь себя на множество забот, огорчений, разочарований, а в конце концов — на разорение. Вот тебе и на! И это был тот гешефт, которому он отдал всю свою жизнь! У барона похолодело на сердце.

— Ну, пан барон, — с насмешкой сказал ему Иван, — победили вы меня. Так много за это имение я не мог бы дать.

Барон только глазами хлопал.

В эту минуту Нина легко, как серна, сбежала с крыльца и склонилась у коляски, в которой сидел ее отец.

— Папочка! Это я! Я твоя! — воскликнула она, целуя его сморщенные руки. — Прости мне все огорчения, какие я тебе причинила!

— Нинка, Ниночка, эге-ге! — лепетал князь. — Моя дочка! Не утопилась. хе-ха! Денег много понадобится-

ся, но у нас теперь деньги есть, хе-хе! У барона выторговали!

Барон стоял неподалеку, слышал все это и как-то идиотически улыбался.

— А ты, Иван, сердисься еще на меня? — с обворожительной улыбкой обернулась Нина к молодому парубку. — Надеюсь, ты простишь мне, что там было... с Эдвином... — прибавила шепотом. — Подлая душа! Продал меня барону.

Все это барон слышал и при последних словах зашатался и рухнул на землю, как сноп.

Некому было и поддержать его. Пока привезли доктора, он был уже мертв.

## XXI

Не суждено было Ивану изведать счастье с Ниной. И кто ее поймет, женскую натуру? То сама набивалась, чуть не на шею вешалась ему, пока не поженились, а через несколько недель после свадьбы бросила его с гусарским капитаном.

Не дало ему счастья также и обладание княжескими именьями. Когда-то, еще сельским парубком, он не мог и восбразить ничего лучше и счастливее, чем жизнь помещика. Но теперь эта жизнь опротивела ему через несколько недель.

Видеть вокруг себя столько людей, которые работают на тебя, а самому не иметь возможности делать что-нибудь — это для него было наивысшим мучением.

Пробовал зиму проводить в городе, но городская жизнь еще меньше пришлась ему по вкусу. Развлечения наскучили ему, общество было ему не по душе, а главное и здесь его убивал недостаток труда. Он сохнул все больше и терял силы. Врачи посоветовали ему движение, перемену климата. И вот он пустился странствовать пешком. Но волшебный перстень не позволял ему даже этого труда. Хоть и казалось, что Иван идет пешком по земле, однако он чувствовал, как невидимые руки несут его по воздуху, не позволяя даже коснуться ногами твердой почвы. В этих странствиях Иван испытывал чувство листочка, несомого бурей. Воля его ослабела, потому

что ей не приходилось преодолевать никаких препятствий. Лишь теперь Иван понял по-настоящему, что труд — это не только неременная обязанность человека, но и первое условие его жизни, что труд необходим для жизни, как воздух для дыхания. Понял он, что без труда человек постепенно перестает быть человеком, самостоятельным существом. Недостаток этой человеческой самостоятельности не возместят ему никакие сокровища, никакие наслаждения, потому что все, добытое без труда, является чем-то чужим для человека, каким-то призраком, холодной иллюзией, которая не насыщает духа, но лишь отнимает у него желание, отравляет его.

И начал Иван проклинать тот волшебный дар, которому когда-то так радовался, как ценнейшему своему приобретению, и который теперь стал не собственностью его, но неумолимым господином, всемогущим властелином его тела и души. И это совершенно естественно: кто мне все дает, от того я весь завишу, у того я весь в руках. На душу Ивана все большей тяжестью ложилась черная туча того чувства, что он очень грешит, пользуясь всем без труда. Он сам начал бояться своих, даже самых невинных, желаний, чтобы не увидеть их тотчас исполненными. По целым дням он молчал, сидел взаперти и переносил адские муки, заставляя себя ни о чем не думать, ничего не желать.

Иногда он перебирал в уме свое прошлое с той минуты, когда услышал жужжанье зачарованной мухи в дереве. Что принес ему этот перстень? Что хорошего он узнал с его помощью? Правда, перстень удовлетворял его животные потребности, но не в большей мере и не лучше, чем это могла бы исполнить служба у простого мужика. Более того, там, на службе, он хоть порою испытывал удовлетворение, пел, отдыхал после труда, а главное — был здоров и силен, а теперь!.. Правда и то, что он повидал свет и людей, но какая ему польза от этого? Свет повсюду тот же, ибо люди те же, а познание людей вместо счастья, довольства и радости дало ему узнать и изведать целую бездну горя, страданий, лжи и подлости. Это знание очень сильно подорвало его веру в людей, его желание жить. Но самым болезненным для его чистого сердца было то, что перстень его не только не давал

счастья ему самому, но не позволял ему делать добро другим, помогать страждущим и обремененным. Все, что перстень этот давал, служило только самому Ивану; в третьих руках оно через некоторое время исчезало без следа, как пена на быстрой воде.

— Нет, не хочу больше жить в таком аду, да еще носить этот ад с собой! — сказал однажды себе Иван. — Не хочу больше носиться с этим перстнем. Не хочу быть с виду всемогущим, а на деле рабом, с виду обладать всем, чего душа пожелает, а на деле не иметь самого необходимого, без чего ни душа, ни тело не могут жить. Как ни мал этот перстень, — прибавил он, разглядывая подарок Деда на своем пальце, — но все-таки он стал для меня большим бременем, чем все, что я тащил когда-то во время моей службы, натер мне болезненные мозоли там, где их не натерли бы никакие мешки с зерном, никакие вязанки дров. Довольно страдать! Пойду на то место, которое указал мне Дед, и верну ему его подарок.

## XXII

Солнце уже склонялось к закату, когда Иван пришел на известную нам полянку. В лесу стояла торжественная тишина. Рои комариков и золотокрылых мушек звенели и переливались в тени деревьев.

Где-то неподалеку стрекотала сойка, стучал о сухое дерево дятел. Солнце пригревало середину полянки, где стоял запах разогретого чебреца, высокие головки тоненьких лесных трав склонялись перед солнцем. Большой черный гриб в понурой задумчивости стоял на гладком, голом месте под пихтой.

— Дед! Дед! Дед! — крикнул Иван и трижды ударил тростью по пихте.

От этого призыва задрожали травы, утихли мушки, а деревья передали слова Ивана с рук на руки, разнося их по оврагам и лесным заламам. Но эхо дремало. В эту минуту гриб пробудился из своей задумчивости, пошевелил широкой сплюснутой головою и начал расти, расти. Быстро изменил свою внешность, и перед Иваном предстал Дед в своем собственном виде.

— Ну, что ж, сынок, ты пришел все-таки! — сказал Дед, кивая головой на приветствие Ёвана.

— Пришел, Дедуся.

— Да скоро как-то, голубчик! Видно, не очень тебе по вкусу мой дар.

— Скоро? — вскрикнул Иван. — Но ведь я за это время пережил больше, чем за сто лет обычной жизни.

— Ну, а все же мой перстень хорошо исполнял свою службу? Надеюсь, не обижаешься на меня?

— Да обижаться-то нечего, — сказал Иван. — Он хорошо исполнял свою службу — это так. Только, видеть, служба эта не на мои плечи шита, Дедушка. Не могу я больше выдержать этого благодеяния и приношу вам назад ваш дар.

— Я так и знал, что не выдержишь, — улыбаясь, сказал Дед и, взяв перстень, надел его себе на палец. — Ну, а все же, что ты теперь будешь делать?

— Буду работать, трудиться! — радостно вскрикнул Иван. В эту минуту, избавившись от перстня, он почувствовал себя вдесятеро сильнее, здоровее и смелее, чем минуту назад. — Только теперь я узнал, какое благо для человека — труд.

— Но ведь ты, может быть, хочешь еще чего-нибудь от меня взамен перстня?

— Нет, не хочу ничего! — ответил Иван. — Да и что вы можете мне дать? Того, что мне нужно больше всего, — счастья, внутреннего удовлетворения...

— Э-э, голубчик, этого я тебе дать не могу! — сказал Дед.

— Знаю, — ответил Иван. — А за все прочее спасибо вам. Все прочее я добуду себе трудом, меньше ли, больше ли — разница невелика. Прощайте, Дедушка!

— Ступай, сынок, будь здоров! — сказал Дед и, завертевшись волчком на одном месте, ушел в землю, точно бурав.

Что произошло с Иваном? Ему показалось вдруг, что какой-то тяжелый кошмар, до этой поры державший его в своих лапах, отступил от него и позволил ему вздох-

нуть свободно и выпрямиться. Он вздохнул, поднял голову — и проснулся!

— О! Что это со мной было? — воскликнул он, поднимаясь с пенька, на котором дремал сидя.

— Сон это был или я и вправду странствовал по чужим краям?

Огляделся вокруг и увидел свой топор, всаженный в пенек.

— Тьфу, пропади ты пропадом!—воскликнул Иван.— И приснится же человеку такое! Наверно, я в какое-то дивное место топор всадил. Да и вправду ли это был только сон? Но, боже мой, как же я долго спал? Ведь мне привиделось, что я самое малое год прожил. Ну, а все-таки повидал свет, хоть и во сне только, да это все равно!

И, вспомнив все свои приключения, он со страхом принялся ощупывать свои руки и ноги, — в самом ли деле он не так слаб, как чувствовал себя минуту назад. Нет! Слава богу, он здоров, силен и молод. И хотя все приключения оказались только сном, но любовь к труду, которую он из этого сна вынес, осталась у него на всю жизнь.

И он бросился, нарубил дров, связал здоровенную вязанку и, взвалив ее себе на плечи с пенька, согнувшись надвое, но довольный собою, зашагал в село.

*Львов, 1890—1891*



## *Примечания*



## В П О Т Е Л И Ц А

### *Р а с с к а з ы*

1890

При жизни Ивана Франка сколько-нибудь обстоятельного собрания его сочинений издано не было. Прозаические произведения писателя печатались отдельными сборниками, брошюрами, многое оставалось разбросанным по газетам и журналам. Одним из наиболее полных прижизненных собраний рассказов Франка является книга «В поте лица», вышедшая в 1890 году с предисловием Драгоманова («В поті чола. Образки з життя робучого люду. Написав Іван Франко. Львів, 1890. Накладом Ольги Франкової»). В книгу вошло двадцать рассказов и очерков, написанных в период 1876 — 1890 годов. В предисловии к одной из позднейших книг Франко подробно рассказал историю возникновения и создания цикла рассказов, сложившегося постепенно в сборник под общим названием «В поте лица». Вспоминая свой спор с одним из галицких литераторов буржуазно-националистического лагеря, Владимиром Барвинским, по поводу творческого метода Франка, примененного им при создании рассказа «Лесихина семья», Франко писал:

«Барвинский так и не согласился с моей точкой зрения [...] Но для меня эта беседа с ним полностью прояснила план — собирать материалы, эскизы и рассказы, чтобы нарисовать картину нашего общества в различных его прослойках, в различных устремлениях, в труде, заработках, страданиях, порывах, иллюзиях и настроениях. Жизнь предоставляла мне больше чем достаточно возможностей для собирания таких материалов.

Случайные рассказы знакомых, фигуры, встреченные в железнодорожном вагоне, собственные воспоминания и наблюдения — все это превращалось постепенно, на протяжении лет, в рассказы и эскизы большего или меньшего объема. Я старался каждую такую картинку вынашивать в душе до тех пор, пока не вживусь в присущую лишь ей атмосферу, пока не найду присущий лишь ей тон и способ выражения. Труд этот подвигался у меня очень медленно; некоторые картинки мучили меня по нескольку лет; я по нескольку раз принимался излагать их на бумаге, но, чувствуя, что «не нашел тон», огбрасывал написанное и переходил к другой работе, чтобы спустя некоторое время снова возвратиться к заброшенному опыту. Таким образом, с маленькой юмореской «Гриць в школе» я носился более трех лет, перерабатывал несколько раз, прозой и стихами, рассказы «Леса и пастбища», «Поединок», «Сам виноват». Правда, иные рассказы бывали готовы сразу, за один присест, но обычно это происходило лишь тогда, когда рассказ уже перед тем был совершенно готов, выношен и отделан в душе и мне приходилось, так сказать, лишь переписывать с готового».

Далее, в том же предисловии, И. Франко писал еще о сборнике «В поте лица»: «Эта книжка, в которой была собрана самая значительная часть моих мелких рассказов (всего двадцать), во-первых, помогла ясно выявить тот план, какой лежал в основе всех этих рассказов, — дать как бы мозаичной работой исполненную картину нашего общества. Правда, я отобрал туда одни только «картинки из жизни рабочего люда», оставив в стороне рассказы про интеллигентов, или, как я тогда распределял для себя по социальным категориям — группы «учителей» и «эксплуататоров». Выпустить сборники этих рассказов мне тогда не привелось». (Предисловие И. Франка к сборнику рассказов «Хороший заработок», Львов, 1902.)

Эти слова Франка являются непререкаемым свидетельством того, какое значение он придавал именно сборнику «В поте лица», в котором нашли наиболее полное выражение его творческие замыслы. Совершенно очевидно также, в свете этого высказывания писателя, что сборник «В поте лица» отнюдь не является случайным механическим соединением отдельных рассказов, а представляет собою законченное целое. В соответствии со своим замыслом Франко включил в сборник, наряду с произведениями, рисующими жизнь тружеников Западной Украины, рабочих, крестьян городской бедноты также несколь-

ко рассказов, навеянных воспоминаниями детства и тюремными впечатлениями. В сборнике была напечатана также обширная автобиография Франко в виде «Отрывка из письма» М. П. Драгоманову, датированного 26 апреля 1890 года. В заключительном абзаце этого письма Франко подчеркивал автобиографический характер большинства произведений, вошедших в книгу. «О своих новеллах скажу только одно, — что почти все они показывают подлинных людей, которых я когда-то знал, подлинные факты, которые я видел, либо о которых слышал от свидетелей, рисуют пейзажи тех уголков нашего края, которые я, как говорится, измерил своими ногами. В таком смысле — все они частицы моей автобиографии».

Русское издание книги вышло в 1902 году (Ив. Франко, «В поте лица». Очерки из жизни рабочего люда. Перевод О. Рувимовой и Р. Ольгина. С предисловием и под редакцией М. Славинского. С.-Петербург. Издание М. Д. Орехова).

«Лесихина семья» («Лесишина челядь»). — Впервые опубликован в альманахе «Дністрянка на 1877 р.», вышедшем осенью 1876 года, — под псевдонимом Джеджалик.

«Два приятеля» («Два приятели»). — Одновременно с рассказом «Лесихина семья» был опубликован впервые в альманахе «Дністрянка на 1877 р.».

«Каменщик» («Муляр»). — Написан в 1878 году для «Славянского альманаха», издававшегося в Вене, но не был там напечатан. Впервые полностью опубликован на польском языке в 1887 году в еженедельнике «Prawda». По-украински впервые опубликован в 1890 году в сборнике «В поте лица».

Впоследствии Франко сообщил некоторые подробности, относящиеся к опубликованию этого рассказа: «...Интересна была судьба рассказа «Каменщик». Написанный в 1878 году для [...] венского «Славянского альманаха» и не пошедший там, он долгие годы лежал в рукописи. Первую половину поместил я в польском переводе в рабочей газете «Prawda» [«Труд»]; не успев почему-то представить во-время окончание рукописи, я невольно способствовал тому, что пок[ойный] польский писатель Б. Спауста доделал вторую половину моего рассказа; любопытный может сравнить ту вторую часть с моей. Спустя несколько лет я подал украинский текст в редакцию «Зорі», но редактор счел мой рассказ не заслуживающим печатания по той причине, что каменщики вообще великие лентяи, а такого факта, о котором расска-

зывают я, он не встречал никогда. Тем временем весь рассказ в польском переводе был уже напечатан в фельетоне варшавской «Prawdy» и встречен с похвалой некоторыми польскими писателями; по-украински он появился лишь в сборнике «В поте лица». (Предисловие И. Франка к сборнику рассказов «Хороший заработок», Львов, 1902.)

«Маленький Мирон» («Малий Мирон»). — Впервые опубликован в 1885 году в сборнике рассказов И. Франка «Галицкие картинки» («Галицькі образки»). По поводу этого рассказа и других своих рассказов о детях Франко писал впоследствии:

«Рассказы, собранные в данном томике, в большей мере, чем другие, имеют автобиографический характер. Они показывают в общих чертах ход воспитания крестьянского мальчика [...] начиная с первых проблесков собственного мышления и кончая старшими классами средней школы. Материалом послужили всюду мои личные воспоминания...» (Предисловие к сборнику «Маленький Мирон и другие рассказы», Львов, 1903.)

Говоря об автобиографическом характере своих школьных рассказов, Франко, однако, в этом же предисловии отмечал, что в них, «кроме автобиографического элемента, имеются также определенные художественные задачи, которые требовали известного расположения и освещения автобиографического материала. .» — и предостерегал от некритического использования этих рассказов в качестве источника для его биографии.

«Гриць в школе» («Грицева шкільна наука»). — Впервые напечатан в газете «Діло» за 1883 год, под псевдонимом Мирон\*\*\*.

«Карандаш» («Олівець»). — Напечатан в львовском журнале «Правда» в 1879 году, под псевдонимом Руслан.

«Schönschreiben» [«Урок чистописания»]. — Впервые опубликован в 1884 году в львовском журнале «Зоря». В том же году в переводе на польский язык напечатан в варшавской газете «Prawda», под псевдонимом Мирон.

«На дне» («На дні»). — Впервые опубликован в 1880 году отдельным изданием под заголовком: «На дне. Социально-психологический этюд», откуда вошел в сборник «В поте лица».

В своем письме-автобиографии к М. Драгоманову, напечатанном в сборнике «В поте лица», И. Франко подробно рассказал об обстоятельствах, при которых был создан этот рассказ. «В начале (кажется, в марте) 1880 года я выехал в Коломыйский уезд к К. Генику в Березов, чтобы пробыть там некоторое время, по дороге был арестован в Яблонове и затем вместе с К. Геником,

Ковцуняком и еще несколькими лицами привлечен к процессу, который велся в Коломые против сестер Павлык и селян Фокшеев. Нас держали три месяца и выпустили, а меня одного, как не проживающего в этом уезде, приказано было доставить под эскортом полиции на место жительства. Это путешествие по полицейским участкам в Коломые, Станиславе, Стрые и Дрогобыче принадлежит к самым тяжелым моментам моей жизни. Уже в Дрогобыч я приехал с сильной лихорадкой. Здесь засадили меня в яму, описанную в моей новелле «На дне», а оттуда в тот же день (благодаря протекции) стправили с полицейским пешком в Нагуевичи. По дороге нас захватил дождь и промочил до нитки. Я снова схватил сильную лихорадку, прожил неделю дома в очень тяжелых условиях, возвратился в Коломыю, чтобы добраться до Геника, провел там страшную неделю в гостинице, написал повестушку «На дне» и на последние деньги выслал ее во Львов, после чего существовал три дня на три копейки, найденные на берегу Прута, в песке, а когда и тех не стало, я заперся в своей гостиничной комнатке и пролежал полтора дня, больной лихорадкой и голодный, ожидая смерти, без сил и без желания жить. Один из моих союзников, посланный Геником, спас меня от голодной смерти...»

«...Во Львове, за время моего отсутствия, — писал далее Франко Драгоманову, — напечагали мою новеллу «На дне» на деньги, собранные складчину несколькими молодыми украинцами, поляками и евреями. Новелла произвела сильное впечатление...» (Письмо М. П. Драгоманову 26 апреля 1890 года.)

«*Сам виноват*» («Сам собі винен»). — Впервые опубликован в 1883 году в календаре львовской «Просвіти» на 1884 год.

«*Слымак*» («Слимак»). — Впервые напечатан в календаре львовской «Просвіти» на 1882 год, под псевдонимом Мирон\*\*\*.

«*Хороший заработок*» («Добрий заробок»). — Впервые опубликован в 1881 году в журнале «Світ» под псевдонимом Руслан.

«*Му жицкая управа*» («Хлопська комісія»). — Написан в 1881 году по-польски для петербургской газеты «Кгај», но опубликован впервые на украинском языке во львовском журнале «Зоря» в 1884 году. В том же году напечатан на польском языке в газете «Prawda».

В примечании к тексту львовской «Зорі» Франко сообщал: «Я записал этот рассказ со слов старого вора Михайла Забранского и подаю его здесь не ради какого-то морализирования или поучения, а лишь как материал для познания правовых понятий и

обычаев нашего простого народа. Правда, дословно записать весь рассказ, я тогда не мог, — хотя он, несомненно, получился бы живее. Все же, дополняя кое-что на память, я старался сохранить по возможности тон и слог первоначального повествования, и потому заранее предупреждаю, что моего участия как художника в этой работе очень мало. Я не пытался даже менять, из соображений художественности, основные черты мирозерцания старого вора, и оттого, может быть, кое-что здесь покажется диким и аморальным, — тут уж ничего не поделаешь! О самом человеке, авторе и герое этого рассказа, замечу только, что сам себя он причислял к разряду так называемых «домушников» и на ту пору, когда я познакомился с ним, был уже в весьма преклонных годах...» (Иван Франко, Твори в двадцяти томах, Держлітвидав, Київ, 1950, т. II, стр. 403 — 404.

«История моей ссаломорезки» («Історія моєї січкарни»). — Впервые опубликован в календаре львовской «Просвіти» на 1884 год, под псевдонимом Руслан.

«Цыгане» («Цигани»). — Впервые опубликован в 1882 году в львовской газете «Діло», под псевдонимом Мирон\*\*\*.

«Леса и пастбища» («Ліси і пасовиська»). — Напечатан впервые в календаре львовской «Просвіти» на 1884 год, под псевдонимом Мирон\*\*\*. В предисловии к одной из позднейших книг Франко писал: «Рассказ «Леса и пастбища» относится к невыясненной до сих пор в истории нашего экономического развития эпохе политической реакции пятидесятих годов прошлого века, когда наши крестьяне в конечном счете полностью проиграли так называемое дело о сервитутах и когда этим был заложен фундамент последовавшего экономического лихолетья и автономистской безлadyцы». (Сборник «Панщизняний хліб і інші оповідання», Львов, 1913.)

В результате революции 1848 года в Австро-Венгерском государстве, в состав которого входила Галиция, были отменены остатки феодальных повинностей (барщина, десятина и т. п.). Однако в последовавшие затем годы реакции немецким и польским помещикам удалось снова захватить в свои руки пользование лесными угодьями, выгонами и другими общественными землями (основанное в прошлом на так называемом сервитутном праве, о котором говорит Франко), — и этим полностью экономически подавить, разорить и обездолить крестьянство.

«Лсвбанюк» («Довбанюк»). — Впервые опубликован в 1886 году во львовском журнале «Зоря», № 7. По поводу этого

рассказа Франко писал 13 апреля 1886 года польской писательнице Э. Ожешко: «Удивляюсь, почему вы до сих пор не получили «Зорі». В очередном ее номере (7) поместил я свой маленький рассказик «Довбанюк», за который, боюсь, наши польские галичане сильно на меня ополчатся, но который между тем весь основан на живой действительности, не на фантазии» (Иван Франко, Твори в двадцяти томах, т. II, стр. 408).

«*Кустарный промысел*» («Домашній промисл»). — Впервые опубликован в 1887 году на польском языке в петербургской газете «Кгај», по-украински опубликован в 1888 году (львовский «Товариш», № 1), откуда вошел в сборник «В поте лица».

«*Конторщица*» («Маніпулянтка»). — Впервые напечатан польски в 1888 году в газете «Kurjer Lwowski». На украинском языке напечатан в 1890 году в сборнике «В поте лица».

«*К свету!*» («До світла!»). — Впервые опубликован в 1890 году в львовском журнале «Зоря».

«*Среди добрых людей*» («Між добрими людьми»). — Впервые опубликован в 1890 году в сборнике «В поте лица».

## П о я с н е н и я

<sup>1</sup> ...явишься в присутствии раз, второй, третий... — В Австро-Венгрии молодые люди являлись на призыв трижды по достижении призывного возраста (21 год); только после этого не принятые в солдаты освобождались от дальнейших явок.

<sup>2</sup> *Довбушук* — потомок Олексы Довбуша, знаменитого вожака западноукраинских и закарпатских «опришков» — повстанцев, боровшихся с помещиками и австрийскими властями. Довбуш погиб в 1745 году. В устах галицкого обывателя слова «довбушук», «опришок» были равнозначны словам «бунтовщик», «революционер».

<sup>3</sup> *Философия* — здесь: название среднего отделения духовного училища, семинарии.

<sup>4</sup> *Нормальная школа* — начальная городская школа в Австро-Венгрии, примерно то же, что городское двухклассное училище в царской России.

<sup>5</sup> *Базилиане* (василиане) — греко-униатский монашеский орден св. Василия, возникший в пределах старой Польши в начале XVII века и сохранившийся к описываемому Иваном Франком времени лишь на территории Западной Украины, где базилиане имели свои училища.

<sup>6</sup> *Старбство* — уездное управление, во главе которой стоял *староста*.

<sup>7</sup> *Теребвельские плиты* — по названию города *Теребовль* (в Западной Украине), где имелись каменоломни.

<sup>8</sup> ... *по Подгорью народ куда лучше, чем в Долине*. — Долина — низменная часть Западной Украины (в противоположность Подгорью и Верховине).

<sup>9</sup> ... *вроде вундтовского...* — *Вундт* Вильгельм (1832 — 1920) — немецкий физиолог, психолог и философ. Известен, в частности, своими работами в области экспериментальной психологии.

<sup>10</sup> Стихотворение «Челн» написано Иваном Франком 13 июня 1880 года, за несколько дней до начала работы над очерком «На дне». Вложив строки этого стихотворения в уста героя очерка, Андрея Темеры, писатель еще более подчеркнул автобиографический характер вещи. В варианте, приведенном в рассказе, имеются некоторые разночтения с окончательным текстом стихотворения.

<sup>11</sup> ... *цесарское не должно пропасть...* — подразумевается: принадлежащее цесарской казне. Галичане называли австрийского императора «цесарем» (от нем. Kaiser.)

<sup>12</sup> ... *панщину уничтожил...* — *Панщина* (украинск.) — барщина, даровой принудительный труд крестьян в пользу помещика. Панщина вместе с остальными пережитками феодальных отношений была уничтожена в Австро-Венгрии (в состав которой тогда входила Галиция) после революции 1848 года. Однако помещикам в дальнейшем удалось фактически восстановить значительную часть своих привилегий. (Об этом см. выше, историю текста рассказа «Леса и пастбища».)

<sup>13</sup> *Мазурская резня* — восстание крестьян Западной Галиции против польских помещиков в 1846 году.

<sup>14</sup> ... *года через два Польша снова будет...* — В хвастливых угрозах захудалого шляхтича Довбанюка крестьянам выражены затаенные помыслы националистически настроенных польских элементов в Галиции, мечтавших о восстановлении старой Польши «от моря до моря» и о возврате всех дворянских привилегий

<sup>15</sup> *Польская рухавка* — польское восстание 1863 года.

<sup>16</sup> *Маршалок* — выборный представитель польского помещичьего самоуправления в Галиции (нечто вроде предводителя дворянства в царской России). Возглавлял *уездное собрание* (так называемую Раду Повітову).

<sup>17</sup> *Кальвэрия* — католический монастырь ордена доминиканцев в Литве, куда сходились многочисленные паломники.

<sup>18</sup> *Цехмэйстер* — цеховой мастер, старшина цеха.

<sup>19</sup> *Грабен* — улица в Вене.

<sup>20</sup> *Кульпарков* — предместье Львова, где находилась больница для умалишенных.

<sup>21</sup> *Пдлта* — река, приток Буга, на которой расположен г. Львов; в пределах города Полтва заключена в подземную трубу, наподобие реки Неглинной в Москве.

<sup>22</sup> *Марьяцкая* (Марийская) *площадь* — одна из центральных площадей Львова; на ней находится памятник Адаму Мицкевичу (сооружен в 1905 году).

<sup>23</sup> *Целибат* — обет безбрачия, даваемый католическим и униатским духовенством.

<sup>24</sup> *Старший комиссар* — полицейский чиновник в старой Австро-Венгрии.

<sup>25</sup> *Фораминиферы* — корненожки, простейшие организмы, тело которых состоит из комочка полужидкой протоплазмы, лишенной наружной оболочки и способной изменять свою форму.

<sup>26</sup> *Диатомеи* — одноклеточные кремнистые водоросли.

<sup>27</sup> *Реверс* — денежный залог, который офицеры старой австро-венгерской армии, а также армий некоторых других буржуазных государств, должны были вносить в случае женитьбы, как обеспечение своей будущей семьи.

<sup>28</sup> *Арад*, Орадя — город в Западной Румынии, вблизи венгерской границы. В описываемое Франком время принадлежал Венгерскому королевству, являясь центром одноименного комитата (уезда). Старинная крепость Арад памятна по событиям венгерской революции 1849 года.

## РАССКАЗЫ

1876—1891

В этом разделе представлены рассказы Ивана Франка, написанные в период создания сборника «В поте лица», но по тем или иным причинам не вошедшие в сборник. Сатирические произведения этих лет (цикл «Рутенцы» и другие) помещены в третьем томе Сочинений.

«Угольщик» («Вугляр»). — Написан в 1876 году, одновременно с рассказами «Лесихина семья» и «Два приятеля», и пред-

назначался, повидимому, для альманаха «Днистрьянка», где эти два рассказа и были напечатаны. Рукопись же «Угольщика» была каким-то образом утрачена, и рассказ появился в печати только в 1909 году в журнале «Будучність» («Будущее»). По этому поводу Франко впоследствии сообщал: «Этот рассказ [«Угольщик»], написанный в первой половине 1876 года перед «Лесихиною семьею» и «Двумя приятелями», был первым из тех, которые я позднее собрал в цикле «В поте лица» и которые должны были дать художественную картину жизни галицко-украинского народа в разных его слоях и профессиях. Не помню, как и когда пропала у меня рукопись этого первого рассказа, и не знаю также, откуда и каким образом получил ее г. М. Венгжин, который в начале 1909 года без моего ведома опубликовал ее, изменив правописание, в первых двух январских номерах своего литературно-научного двухнедельника «Будущее». Отсюда перепечатаваю рассказ теперь, выправив язык, в этом новом сборничке моих рассказов». (Примечание к рассказу в сборнике И Франко «Батьківщина і інші оповідання», Киев, 1911.)

«Моя встреча с Олексой» («Моя стріча з Олексою»). — Опубликован впервые в 1878 году в журнале «Дзвін» («Колокол»), явившемся продолжением закрытого полицией «Громадського Друга» («Друг Общества»), который И. Франко издавал в сотрудничестве с М. Павлыком. «Дзвін» в свою очередь вскоре был закрыт, после чего Франко и Павлык предприняли еще одну попытку продолжать издание под названием «Молот».

В журнале рассказ был опубликован под псевдонимом Франка — Мирон Сторож. Встреча Франка с Олексой действительно произошла в родном селе писателя — Нагүевичах.

«Русалка» («Мавка»). — Напечатан впервые в 1883 году во львовском журнале «Зоря», под вседдонимом Мирон\*\*\*.

«Микитичев дуб» («Микитичів дуб»). — Предназначался для «Славянского альманаха», т. II, Вена, 1880. Том этот был конфискован и не вышел в свет, и текст рассказа был восстановлен впоследствии по случайно сохранившемуся прокурорскому экземпляру. Опубликован впервые в 1905 году в сборнике рассказов И. Франка «На лоні природи» («На лоне природы»).

«Панталаха» («Панталаха»). — Впервые опубликован польски в 1888 году в газете «Kurjer Lwowski». На украинском языке опубликован в 1902 году в сборнике рассказов Франка «Панталаха і інші оповідання». В предисловии к этому сборнику Франко писал:

«...Эпизоды тюремной жизни, рассказанные здесь, конечно, в значительной мере принадлежат уже истории, это последние следы старых, доконституционных отношений, а такие фигуры, как Панталаха [...] и герои «Мужицкой управы», — также порождение старого, крепостнического строя. Я передал эти эпизоды, не мудрствуя и не вдаваясь в философствования об их значении. Пусть их фактическая основа говорит сама за себя.

Жестокие времена и обстоятельства плодили жестоких людей. Но насколько все эти жестокости теперь уже *tempri passati* [отошли в прошлое], печальная и страшная сказка, а не действительность? Этого я не берусь решать, но последние события, бунт заключенных в Бригидках\* и те его причины, какие дошли до всеобщего сведения, свидетельствуют о том, что былое зло не совсем еще миновало. И не минует без основной реформы самого понимания того, что такое преступление с точки зрения социологической и психологической и каким должно быть наказание. Современная наука усердно трудится над этой реформой, но, пока наука роет свои глубокие ходы, старая рутинная господствует попрежнему, топчась людские души и гася последние искры человечности там, где в интересах общества и гуманности следовало бы поддержать их и раздуть в яркое пламя». (Иван Франко, Твори в двадцяти томах, т. II, стр. 421—422.)

«Ирригация» («Иригация»). — При жизни И. Франко напечатан не был. Впервые текст рассказа опубликовал в 1927 году акад. М. С. Возняк, установивший время его написания — восьмидесятые годы XIX в., когда Франко был соредактором «Зорі».

«Не знавший труда» («Без праці»). — Впервые опубликован в 1891 году в львовском журнале «Зоря».

## П о я с н е н и я

<sup>1</sup> Весной 1875 года шел я... в Велдиж. — Об этом своем юношеском путешествии Франко писал М. Драгоманову: «Окончив седьмой класс, я впервые отправился на время каникул в более далекое странствие, впервые не поехал домой пасти скот и помогать при уборке сена и хлеба. Я поехал железной дорогой до Стрыя, а отсюда двинулся Скольским трактом на Синеводсков и на Побук, Буднице, Тисов, Церковную, Мизунь, Велдиж, дошел до Лолина. Это маленькое путешествие помогло мне не\*

---

\* Тюрьма во Львове. — Ред.

сколько лучше узнать мир и людей, чем я знал до сих пор». (Письмо И. Франка М. Драгоманову, 26 апреля 1890 г.)

<sup>2</sup> *Проскрипция* — в древнем Риме публичное осуждение за политические преступления, с объявлением виновных вне закона. Имена осужденных вносились в *проскрипционный список*.

<sup>3</sup> ... *каплю той крови, которую французские «защитники порядка» не успели пролить в 1872 году...* — Речь идет о кровавой расправе буржуазии с участниками Парижской Коммуны.

<sup>4</sup> ... *о выстрелах в императора Вильгельма...* — Подразумеваются покушения на жизнь германского императора Вильгельма I, имевшие место в 1878 году. Воспользовавшись этими событиями канцлер Бисмарк провел в рейхстаге исключительный закон против социалистов, с помощью которого пытался подавить социал-демократию.

<sup>5</sup> *Брно* (немецк. — Брюнн) — город в Чехословакии. В XIX в. в окрестностях города, на горе Шпильберг, находилась австрийская государственная тюрьма.

<sup>6</sup> ... *что-то и наш ксендз толковал...* — В старой Галичине всех священников — и католических и униатских — в просторечии называли ксендзами.

<sup>7</sup> *Вертгёймовская касса* — несгораемая касса фабрики Вертгейма.

<sup>8</sup> *Нафтула* (Тепфер) — владелец ресторана на Трибунальской улице в старом Львове.

<sup>9</sup> *Картуш* Луи-Доминик (1693 — 1721) — знаменитый французский разбойник.

<sup>10</sup> ... *не манили его Карлсбады, Мераны и Остенде...* — названия известных курортов: *Карлсбад* — теперь Карловы Вары — в Чехии, *Меран* (теперь Мерано) — климатический курорт в предгорьях Альп, в северной Италии, *Остенде* — морской курорт в Бельгии.

<sup>11</sup> *Пропиндия*, пропинационное право — в старой Польше право землевладельца на монопольную выработку и продажу спиртных напитков. Обычно переуступалось другим лицам за крупное вознаграждение, являясь значительным источником дохода для польского панства.

<sup>12</sup> *Зебжидовский, Зборовский...* *перечислил по пальцам пан маршалок...* — Иронизируя над пышными фразами пана Зефирина о «добродетелях предков», пан маршалок перечисляет исторических деятелей, проявивших себя ренегатами, ради личных целей продававшими интересы Польского государства.

*Зебжиддвский* Николай (1553 — 1620) — воевода краковский, поднял смуту при Сигизмунде III; *Збордвский* Самуил — авантюрист, перебежавший из одной страны в другую, казнен в 1584 году; *Раздейдвский* Иероним (1632 — 1666) — подканцлер Польского королевства, перешел на службу к шведам; *Опалынский* Криштоф (1609 — 1655) — политический деятель и писатель, помогал шведам в их войне против Польши, в своих сатирах изобразил польское общество в карикатурном виде; *Счастный* (Щенсный) *Потдцкий* Станислав (1752 — 1805) — возглавил борьбу реакционных магнатов против польской конституции 3 мая 1791 года, что привело к окончательному падению независимой Польши. Получил после этого от царского правительства звание генерал-аншефа.

<sup>13</sup> *Краевое управление* (Відділ крайсвий) — орган административной власти в Галиции, руководил деятельностью *уездных управ* (Відділов повітових).

<sup>14</sup> *Ддвбушевы клады*. — Ддвбуш — знаменитый предводитель западноукраинских опришков (см. «В потр лица», примеч. 2). По преданию, оставил в Карпатских горах много кладов.

<sup>15</sup> *Локårно* — курортный городок в южной Швейцарии, на берегу озера Лаго-Маджоре.

## С Л О В А Р Ь

географических названий и некоторых трудно понимаемых слов, наиболее часто встречающихся в томе

*Бескіды* — срединная часть Карпатского хребта.

*Бельфер* — еврейский учитель в Западной Украине.

*Бойки*, бойчуки — западноукраинские горцы, населяющие северный склон Карпат, так называемое *Подгорье* (см.). Сами бойки называют себя верховинцами.

*Войт* — сельский староста.

*Рѳзный* — мелкий судейский чиновник; также: низший служащий сельской управы, рассыльный.

*Выборный* — член сельской управы.

*Гайдуки* — здесь: помещичьи слуги.

*Громѳда* — сельская община, мир.

*Гульден* — серебряная австрийская монета, около 92 копеек. В зависимости от времени и места выпуска гульден равнялся 60 или 100 *крейцерам* (см.). В Галиции гульден называли также «*рынским*», то есть «*рейнским*» (от польск. *reński*).

*Дил* — горная вершина неподалеку от Борислава.

*Долина* — низменная часть Западной Украины (в противоположность Подгорью и Верховине).

*Дукѳт* — старинная золотая монета.

*Думка* — род западноукраинской лирической песни.

*Запідска* -- женская одежда. род юбки.

*Кварта* — мера жидкости, около 0,75 литра; сосуд этой вместимости.

*Коломыя* — город в Западной Украине, на реке Прут, центр так называемого *Покутья* (см.).

*Коломыйка* — род плясовой песни, распространенный по всей Западной Украине, Буковине и Закарпатья. Название произошло от города Коломыи.

*Корѐц* — мера сыпучих тел, приблизительно шесть пудов (около центнера).

*Крѐйцер* — мелкая австрийская монета.

*Мазуры* — польские крестьяне в Западной Галиции.

*Малѐванка* — юбка из фабричного материала (с цветным узором).

*Медободры* (Товтры) — возвышенность, тянущаяся от Бродов до Каменец-Подольска.

*Морг*, мѐрген — мера земли, от четверти до половины десятины.

*Налыгач* — веревка, которою привязывают за рога скот.

*Парашка* — горный хребет, один из северных отрогов Карпат. По преданию, назван так в честь дочери князя Святослава

*Подгорье* — часть Западной Украины по северному склону Карпат (Стрыйский и другие южные районы Дрогобычской области УССР).

*Поддолье* — часть Западной Украины по левому берегу Днестра.

*Покутье* — местность в юго-восточной части Западной Украины, между реками Днестр и Черемош, в начале карпатского Подгорья.

*Полотнянка* — крестьянская одежда из сурового полотна.

*Постолы́* — род лаптей из сыромятной кожи.

*Присяжный* — помощник *войта* (см.)

*Сан* — река в Западной Украине, приток Вислы.

*Свича* — река в предгорьях Карпат, приток Днестра.

*Сопылка* — свирель, дудка.

*Стрый* — 1) река в *Подгорье* (см.) правый приток Днестра;  
2) город. один из центров Подгорья

*Тáлер* — старинная серебряная монета.

*Черногòра* — горная вершина в юго-восточной части Карпат.

*Шйстка* — шесть крейцеров, примерно 5 — 6 копеек (от польск. *szóstka*).

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакции . . . . .	III
<i>М. Н. Пархоменко. Иван Франко. Вступительная статья . . . . .</i>	V
<i>В ПОТЕ ЛИЦА. Рассказы 1890</i>	
<i>Лесихина семья. Перевод В. Бонч-Бруевича . . .</i>	3
<i>Два приятеля. Перевод В. Бонч-Бруевича . . .</i>	16
<i>Каменщик. Перевод А. Островского . . . . .</i>	27
<i>Маленький Мирон. Перевод В. Бонч-Бруевича .</i>	34
<i>Гриць в школе. Перевод В. Бонч-Бруевича . .</i>	42
<i>Карандаш. Перевод А. Островского . . . . .</i>	50
<i>Schönschreiben. Перевод В. Бонч-Бруевича . .</i>	64
<i>На дне. Перевод И. Дорбы . . . . .</i>	71
<i>Сам виноват. Перевод А. Островского . . . . .</i>	132
<i>Слымак. Перевод В. Радыша . . . . .</i>	142
<i>Хороший заработок. Перевод Е. Мозолькова . .</i>	152
<i>Мужицкая управа. Перевод А. Островского . .</i>	159
<i>История моей соломорезки. Перевод Г. Петникова</i>	173
<i>Цыгане. Перевод Г. Петникова . . . . .</i>	181
<i>Леса и пастбища. Рассказ бывшего доверенного.</i>	
<i>Перевод Г. Петникова . . . . .</i>	194
<i>Довбанюк. Перевод В. Радыша . . . . .</i>	206
<i>Кустарный промысел. Рассказ ложкаря. Перевод</i>	
<i>Е. Мозолькова . . . . .</i>	215
<i>Конторщица. Перевод М. Зелинской . . . . .</i>	225
<i>К свету! Рассказ арестанта. Перевод И. Дорбы.</i>	287
<i>Среди добрых людей. Рассказ. Перевод А. Деева</i>	310

**РАССКАЗЫ 1876—1891**

Угольщик. Перевод Е. Мозолькова . . . . .	333
Моя встреча с Олексой. Рассказ Мирона Сто- рожа. Перевод А. Островского . . . . .	343
Русалка. Летняя сказочка. Перевод А. Остров- ского . . . . .	362
Микитичев дуб. Перевод А. Островского . . . . .	368
Панталаха. Перевод И. Дорбы . . . . .	383
Ирригация. Перевод В. Радыша . . . . .	444
Не знавший труда. Сказка. Перевод А. Деев	475
<i>Примечания. Составил Б. Турганов . . . . .</i>	551
<i>Словарь географических названий и некоторых трудно понимаемых слов, наиболее часто встречающихся в томе . . . . .</i>	564

**ИВАН ФРАНКО**

*Сочинения в десяти томах, т. 1*

Редактор А. Деев. Оформление художника В. Селенгинского  
Худож. редактор Г. Кудрявцев. Техн. редактор Г. Архангельская  
Корректор В. Седова

---

Сдано в набор 2/1 1956 г. Подписано к печати 12/V 1956 г. А-06728.  
Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—38,5 печ. л. 31,57 усл. печ. л. 29,1 уч.-изд. л. +  
1 вклейка=29,15 л. Тираж 85 000 экз. Заказ № 8. Цена 12 руб.

Гослитиздат Москва Ново Басманная, 19

---

1-я тип. Трансжелдориздата МПС, Москва. Б. Переяславская, 46.